

*Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит...*

Булат Окуджава

**ОБРАЗЫ ЖИЗНИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**LIFE IMAGES
LITERARY ALMANAC**

Ответственный редактор: **Алла Ходос**

Безответственный редактор: **Марина Золотаревская**

Технический редактор: **Любовь Шапиро**

Фотография на обложке: **Юрий Золотаревский**
Набережная в Барселоне, Испания

Взгляды редакции не всегда совпадают со взглядами авторов.

Редакция не несёт ответственности за неточности и непроверенные факты в опубликованных материалах.

При перепечатке ссылка на альманах «Образы жизни» обязательна.

Альманах издаётся на средства авторов, проживающих в Америке и Израиле.

**Редакция благодарит за сотрудничество
международный интернет-журнал «Интерлит» и российский журнал «День и ночь».**

ISBN: 978-0-9832503-2-6

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2011



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Катишонок и

Евгений Палагашвили

Охота на фазана

Стихи и фотографии

4

Елена Катишонок

Стихи

13

Марина Золотаревская

Король Завидий

Сказка

15

Инна Мельницкая

Митька

36

Слово о Пушкинском

47

Стихи разных лет

52

Михаил Голубовский

Ироническая поэзия

54

Леонид Мачулин

Наваждение

55

Колокольчик номер четыре

56

Вашингтон, ДС

57

Татьяна Апраксина

Звук свободы

Стихи

58

Восток

Коллекция живописи

62

Екатерина Короткова

Январские каникулы

63

Пикуль

71

Внучка Рузвельта и другие

81

Согретые Сибирью

Письмо нашим сибирским друзьям

88

Сергей Кузнечихин

Убийство поэтессы С.

89

Коварная Лидия

93

Ирлан Хугаев

Там и потом

Стихи

97

Дмитрий Мурзин

Ничего не надо даром

Стихи

99

Виктор Арнаут

Из цикла "Мистические истории"

102

Тина Кошкина

Антигламур

Стихи

107

Анна Кононова

Лили

109

Мария Перцова

Баллада о перышке

Стихи

111

Александр Станюта

Пожар на карнавале

113

Лев Бертин

Господь сегодня в настроении

Стихи

118

Мартин Мелодьев

Ночной концерт

Стихи

121

Валерий Дашевский

Коридор

125

Александр Зевелёв

Встает заря над Силиконовой

долиной

Стихи

129

Алла Ходос

Маленький человек

Стихи

132

Клоун

Повесть в обрывках

135

ПЕРЕВОДЫ

Джордж Гордон Байрон

Лара

Перевод Марины Золотаревской

151

Курт Воннегут

Холодная индейка

Перевод Лины Марковой

153

Диана Кини

Мария, полная червей

Перевод Аллы Ходос

156

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2011



Сол Арис Кто такой Коровьев? <i>Перевод Лины Марковой</i>	157	Инна Мельницкая Немного орнитологии <i>Стихи</i>	213
ПРО СТРАНСТВИЯ И ПРОСТРАНСТВА		КОЛЮЧИЙ ОЖИГ	
Алексей Федосеев Жизнь в самолётах (Фрагменты)	161	Тихон Енькин Строки от лукавого	214
Александр Трегуб Афинский марафон, или новые приключения аргонавтов	173	Марина Золотаревская Про Воронкина <i>Пародии</i>	216
ЧЕМОДАН ЭМИГРАНТА		РЕЦЕНЗИИ	
Инна Трегуб Земля обетованная	185	Лина Маркова О сказке Марины Золотаревской «Король Завидий»	217
Бухгалтерия счастья	189	По прочтении романа Елены Катишонок «Когда уходит человек»	219
Рита Черкасская Билеты в одну сторону	191	О книге Елены Катишонок «Против часовой стрелки»	220
ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ		ИСКУССТВО	
Галина Курляндчик Московские каникулы <i>Записки для своих</i>	193	Михаил Голубовский Слова-повторы в языке (Редупликация)	225
XXI век и статья А.П. Ершова «О человеческом и эстетическом факторах в программировании»	201	Соблазны лимерика	230
Лена Цуркан Когда -то раньше времени	204	Волшба — памяти поэта Д.Авалиани	237
С чего начинается Родина	204	Соня Мельникова-Рэйч Неуловимая поэзия ваби-саби	240
Виталий Шрайбер Пропуск в рай	205	Галина Курляндчик Магия вышивки	242
Смерть Сталина	208	Александр Станюта Стефания	252
ЧИК-ЧИРИК		Борис Бернштейн Разговоры о зрителе	254
Кирилл Рыскин Про осень, собак и не только	211	Сведения об авторах	266
Нурия Мурсалимова Сказки-пересказки	212		



Елена Катишонок

Евгений Палагашвили

Стихи

Фотографии

ОХОТА НА ФАЗАНА

ГИМН ОХОТНИКОВ ЗА ФАЗАНАМИ

Солнце встало, хватит дремать –
Скорей застегни кафтан:
Каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.

Завтрак съеден, пора начинать –
Стрелы сложи в колчан:
Каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.

Бежит невеста, торопится мать,
Прижав платочки к глазам,
А каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.

Машут шляпами чернь и знать,
Идут, кто зван и не зван:
Ведь каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.

Краски взяли, чтоб кисть окунать,
Ван Гог, Моне и Сезанн:
Каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.

Кто первым сможет удачу догнать,
Виконт иль грубый мужлан, –
Но каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.

А если один вдруг начнёт стонать,
Другой даст волю слезам,
Хоть каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан.





* * *

Помнишь, листья неслись в потоке
И журавль стоял на камне?
Улетел давно... Эти строки
Я вдогонку пишу. Рука мне
Изменила: на снимке камень
И нога – журавля ли, цапли?
Из машины, в лиловой шали,
Вышла дама; под каблуками
Листья ёжились и шуршали.
С водопада летели капли;
Скверный кофе в кафе напротив
Обжигал; мы сахар мешали
Долго-долго. На повороте –
Сквер, скамейки; листья шуршали
И бесшумно падали в воду.
Журавля – или цапли? – не было;
Мокрый камень лежал тюленем.
Журавлю полагается – в небо,
Долго ждать неудачников лень им.
Помнишь, как по траве кругами
Бегал пёс – ярко-рыжий, тощий?
Шелестела листва под ногами
Цвета пса...

Помнишь листья в роще,
Где живут в октябре Жар-птицы
Цвета листьев, летящих листьев... –
Помнишь?..



ПОД КЛЁНАМИ

Хорошо в пять часов под клёнами,
Где от жёлтых листьев светло.
Между ветками, раскалёнными
Октябрём, синее стекло,
Но прохладнее, чем в апреле.
Что-то суетное ушло.
Стрелки движутся еле-еле –
Время мешкает. В полумраке
Мы с тобой рассмотреть успели
На коре документ о браке:
«Ann + Bobby = ...» Дупло.
Расписались внизу собаки.
От багровых листьев тепло.
Правда, странно: деревья греют
Одинаково в разных странах,
Хоть и Bobby, и Ann стареют,
Как и мы с тобой... Постоянна
Симметрия корней и крон,
Рассекаемая экраном
Пожелтевшей травы. Ворон
Пожилая чета на крыше
Чистит перья. Земля тиха,
И строка становится тише
У смолкающего стиха.



ТУМАН

Под мутной лупою тумана
Не видно берега реки;
И вместо школы в дверь шалмана
Вливаются ученики.
Палач берёт работу на дом,
К обедне душегуб спешит,
Оставив тёплый труп в парадном.
Изящно скроен, дурно сшит,
Костюм пустой торчит в витрине,
Пока блуждает манекен
В тумане, голым телом синим
Скользя меж голых синих стен.
Потом уверенно и рано
На день легла такая мгла,
Что мир в испарине тумана
Родить и поглотить могла.



СНЕГ

Так происходит лишь во сне:
Свет шёл не с неба,
Но с неба падал ровный снег,
А свет – от снега

На мир струился целый день,
Да день торопкий:
Скорее тёплый шарф надень,
Ступай по тропке

Между сугробов, чтоб застать
Свечение снега...
Но серый сумрак, словно тать,
Сокрыл полнеба.

Хоть на часах всего лишь три,
Включили вечер.
Оранжевые фонари
Идут навстречу.



ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ТЫ

Вот дом, который построил Джек,
Билл или Том, но давно уже.
И я давно живу в этом доме,
Совсем не помня о Джеке и Томе.
Стоит мой дом у самого озера.
Хоть и ноябрь, но не приморозило,
Ветки кустов и деревьев голы.
Дом стоит здесь долгие годы.
Может, сам по себе он вырос?
Двор завёл просторный, на вырост;
Справа – только решётка мостика,
Берег, камни – всё очень простенько.
Нет ни коровы, ни пастуха.
Воздух замер, вода тиха.
Нет пшеницы и нет синицы...
Может, домик мне только снится?
Может, Джек совсем ни при чём?
Я открою своим ключом:
Вот он, звякает на колечке;
Посидим с тобой на крылечке.
Под подошвами шорох листьев,
На стекле паутина виснет.
Переступим через порог,
Согревайся: ты весь продрог.
...У камина – детишки Тома
Или Джека, хозяина дома;
А быть может, семейство Билла –
Перепутала или забыла,
А ведь думала – ни при чём...
Я открою своим ключом
Тот, застывший на глади озера
(Хорошо, что не приморозило),
Настоящий мой белый дом
Под стеклом, как под тонким льдом.



* * *

Когда уходит человек
На час иль навсегда,
Горит не выключенный свет
И капает вода,
Хоть он закрыл на кухне кран
И снял ключи с гвоздя,
В холодный утренний туман
Поспешно уходя.

В тумане скрылся человек,
Ушёл он налегке,
Но след остался на траве,
Перчатка на песке,
А дома – недопитый чай
И сигаретный дым...
Ушёл на день или на час –
Назад пришёл седым.



* * *

Что здесь было вначале? –
Мелкой волны курсив,
Над морем чайки кричали
И выпускали шасси.

Набегают строчки на строчки,
Ветер волны качает
И текст выносит – без точки –
За фигурные скобки чаек.

Берег, не бывший пляжем
Вечность тому назад,
Песок расстелил. Мы ляжем
И закроем глаза.



ГОРОДУ

1

Время меняет лица,
Но оставляет лики,
А ветер уносит листья,
Как убийца улики.
Где-то остался город...
Даже не город – град,
Элегантный и гордый,
Город-аристократ.
Шведским камнем
 подкованный,
Город пел – после шёпота.
Мостильщики спят
 под кронами;
Сколько их было?
 – Сколько-то...
...Камень недавно выворочен,
Стали немymi стогна
Града, и город выпучил
И распахнул все окна.
Кто? Почему? За что же?!
Блики от окон – ввысь.
Запомни это, прохожий!
Прохожий, остановись!
Помнишь, было иначе? –
Пепел Клааса стучит...
Аристократ не плачет –
Аристократ молчит.
Молчит и сильнее сутулится,
А я вспоминаю с трудом
Мой адрес: пропавшая улица
И с нею исчезнувший дом.

2

Тот город был аристократ,
А этот взяли напрокат,
Как ночь в отеле,
И, несмотря на листопад,
Он мне пришёлся невпопад...
На самом деле
Отель ни в чём не виноват,
Что постоялец сам не рад:
Сидит в постели
И, ничего не говоря,
Кому-то пишет, только зря...
Летят недели,
Как лепестки календаря,
И в середине мартабря,
Под вой метели
Приснится город дорогой –
Неузнаваемый, другой,
Родные лица,

Чтоб на казённой белизне –
Отельной жёсткой простыне
Слезой пролиться.



НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ

На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной,
А ты кто такой?

Сами подумайте:
Разве я царь? –
Нет у меня золотого крыльца.
Я не царевич –
Отец мой не царь;
Нет у меня никакого отца.
Я не сапожник –
Нет дратвы и кожи;
Я не портной –
Нет иглы ни одной.
Я непременно бы кем-нибудь стал,
Если бы только не опоздал.
Я б обязательно что-то нашёл,
Но – опоздал.
А когда я пришёл,
На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной...
Я стал – «кতোакой».



* * *

Что кому дано,
Будет спрошено:
Кто отдаст зерно,
Кто –
Горошину.
Кто несёт баул,
Кто –
Котомочку;
Каждый долг вернул
Потихонечку.
Я бы отдал свой
Долг –
Сторицею,
Но стою с пустою
Страницею...



Елена Катишонок
СТИХИ



АННА АХМАТОВА

Обо мне ты вовсе не знала,
А писать давно подгоняла,
Когда что-то темно и вяло
Я кропала, наморщив лоб.
То иронией, то насмешкой
Торопила: скорей! Не мешкай!
Да эзоповым языком
Говорила, но в горле ком
От пронзительных строк в поэме
О раздавленной хризантеме
Под ногами несущих гроб –
Гроб с останками той эпохи,
От которой остались крохи:
Мемуарная ложь да вздохи
Тех, кто нёс её на погост.
Говорила: возня с укладкой
Никогда не проходит гладко;
Отираю глаза украдкой
И с колен встаю во весь рост.
Всё равно будут ночью сниться
Недочитанные страницы
Старых писем, и будет длиться
Пытка прошлым, пока окном
Новый день о себе объявит
И отбросит к трёхмерной яви,
Что, причуд Морфея корявей,
Притворяется новым сном.
Чашка падает и не бьётся;
Мышь, которой нету, скребётся,
Или нитка у бус порвётся
И на шее оставит след...

.....
Данту – лавры, тебе – терновый...
Двадцать лет со своей обновой
Прожила, чтоб осталось Слово –
То, что было в начале лет.

На странице второго тома,
Сразу после начальных строк,
Плоским крылышком невесомым –
Хризантемы – той – лепесток.

* * *

Когда я буду далеко,
Возьми мои ключи,
Налей Мозта иль Клико;
Не зажигай свечи.

Я не хочу, чтоб ты скучал
Один, и потому
Едва ль отыщется свеча
В моём пустом доме.

Напрасно времени не трать –
Налей второй бокал;
А эту чёрную тетрадь
Ты быстро отыскал.

И не грусти: я за рекой;
Мне просто и легко.
А до реки – подать рукой,
Но здесь не пьют Клико.

СИЕСТА В КАФЕ

Чашка бледно улыбалась
Отпечатком чьих-то губ;
Поцелуй застыл, расплавясь
На кофейном берегу.

Словно пара насекомых,
Ножки тонкие воздев,
Стулья спят в дневной истоме;
Чья-то кепка на гвозде.

Слышен моря пьяный лепет
В яркой сонной тишине...
Сигареты зябнет пепел
И мечтает об огне.

ПИСЬМО О ВОСЬМОМ СМЕРТНОМ ГРЕХЕ

/из цикла «Письма Горацию»/

На улице так тихо и так снежно,
Что, право, грех эпистолу небрежно
К единственному другу начинать...
Привет тебе!

У вас в разгаре осень –
Шуршит листва, а в небе журавли
Стремят на юг... Я осенью несносен:
Ещё сильнее нога моя болит.
Горацио, ты помнишь, я когда-то
Не дописал учёного трактата?
Я должен был представить труд на тему:
«Семь смертных человеческих грехов»,
А я как раз заканчивал поэму,
И в голове моей, кроме стихов
И той – ты помнишь? – девочки с сиренью,
Иного не было... Но ведь стихотворенью
Так много нужно времени и сил,
А сколько я стихов в себе носил!
Потом камин топил стихами теми –
И так вернулся к позабытой теме,
Хотя предмет мне был не интересен,
Тем более что, кроме пьес и песен,
Я мало что в те годы сочинял.
Но мой трактат я честно начинал
Писать раз шесть, но что-то всё мешало:
Починка дома иль сезон дождей,
Когда опять вгрызалось боли жало
И на ногу припарку из дрожжей
Прикладывали ночью мне, а толку?!
Свой манускрипт отправил я на полку,
Где он пылился тихо, чтоб спустя
Семь лет я вдруг решил поведать людям
Про смертный грех восьмой –
про Словоблудье,

Гордыни с Похотью любимое дитя.
Мой ментор вряд ли станет возражать,
Что может смертный грех другой рождать...
Потратил не один, Гораций, день я,
Чтоб сделать вывод после наблюдения:
Ребёнок был резов, но очень мил;
Не сквернословил, взрослым не хамил,
Был аккуратен, помыслами чист,
Но языком порочен и речист,
Как мать с отцом. Менялам и поэтам,
Политикам, купцам и мудрецам
Игру в слова подсунул он. Поэтому
Я перебрал архив мой, без конца
Выискивая пьесы и стихи,
Которые грешили словоблудьем,
Забыв другие смертные грехи,
За кои все наказаны мы будем.
Куда девалась прежняя хандра?
Я три поэмы в клочья изодрал –

Туда им и дорога... А в трактате
Поставил скоро точку я – и кстати:
Когда над всем довлеет властный рок,
Кто ведает, какой отпущен срок
От рук кормилицы нам – до ладьи Харона?
...Жаль, ты не видишь: чёрная ворона
Прошла, оставив строчку на снегу,
Без словоблудья... Мне так не дано
Воспеть любовь иль море, иль вино.
Я пробовал – и понял: не могу;
А птица, вишь, сумела...

Целый час
Пишу тебе, а просьбы не сказал.
Я о трактате вспомнил не случайно:
Всего, что я писал, стыжусь отчаянно
И, кабы мог, в мешок бы увязал
Все письма, а мешок тот – прямо в воду.
Но, чем губить невинную природу,
Не лучше ль бросить рыжему бандиту,
Что в очаге с утра гудит сердито?
Хотя, я слышал, люди говорят,
Что рукописи вроде не горят.
Ну, как же, не горят они... Ха-ха!
Те не горят, в которых нет греха
Восьмого... А мои к тебе стихи
Оборотятся горсточкой трухи
Без запаха, без цвета и без веса
И по миру рассеются безвестно.
Гораций, сделай это за меня!
Не раз меня ты прежде заменял
И руку помощи протягивал поэту...
Сожги мои эпистолы!

И эту.





Марина Золотаревская
КОРОЛЬ ЗАВИДИЙ

Сказка



За высокими горами, за глубокими морями, за тревожащими снами, повседневными делами, лежит страна Невоздания. Когда-то ею правили короли. Предпоследнего (о последнем речь впереди) звали Нивзуб Нагой. Ох и деятельный же был король! Всем занимался, во всё совался, даром что ни в чём не разбирался. Всех учил, как им лучше своё дело делать: жнецов и кузнецов, врачей и скрипачей, художников и сапожников, и даже каторжников-острожников. Так и сыпал приказами. То есть сам он именовал их советами. Но попробуй не послушаться королевских советов – вмиг из художника или там сапожника превратишься в острожника. А советы были – один ценней другого. То король велит слегка обжаривать зерна кукурузы перед посевом. То скажет: нечего расходовать чугуна на котлы и сковородки. Отныне будете вырезать их из дерева. Ведь бывают деревянные миски-ложки? А сэкономленный чугун пойдёт на лодки. Кстати, все знали: если слушаешься – с тебя же спросится. Почему, мол, жареная кукуруза до сих пор не дала всходов? Может, ты нарочно плохо её удобрил? Почему лодка из лучшего чугуна затонула? Может, ты назло просверлил дно?

Точно приходилось при короле Нивзубе тем, кто знал своё дело. Многие не выдерживали – бежали в соседнее королевство Достигаллию. Там их охотно принимали. Король достигалльский каждый день пил за то, чтоб Нивзуб подольше правил, и называл его благодетелем.

А все жители Невоздания, от первого министра до последнего нищего, спали и видели, чтобы их король вышел на пенсию и передал власть наследнику, своему племяннику. От молодого принца – звали его Зариций – ожидали перемен к лучшему. Образование он получил за границей, и, как говорили, был неглуп, неплохо разбирался в науках и в политике, да и в искусстве кое-что смыслил: пел прилично, рисовал симпатично, сносно играл на лютне, а при случае мог даже сочинить недурные стихи. Вдобавок он был хорош собой, особенно в профиль. Изобразишь такого на монетах – приятно будет посмотреть.

Увы, дядюшка-король не торопился на заслуженный

отдых.

– Пропадёт страна без моих советов! Разве мальчишка справится? Умеет лишь книжки листать да струны щекотать!

И вот в один прекрасный день... или не столь уж прекрасный? Ну, это как посмотреть. Короче говоря, однажды Нивзуб Нагой захворал. Болезнь его была пустячная, но всё-таки пришлось позвать лекаря. И стал король давать лекарю советы, как его, короля, лечить. Тот возьми и послушайся. Спросилось бы с него крепко, да спрашивать было уже некому.

Вот так принц Зариций сделался королём. А что первым долгом делает новый король? Понятно, хоронит старого. Вызвал Зариций министра похоронных дел. Министр явился, поклонился и брякнул:

– Ваше высочество...

Тут до него дошло. Хотел извиниться, а ляпнул куда хуже:

– ... простите, ваше коровельское...

И пожелтел от страха, хоть самого хорони. Но Зариций его успокоил:

– Ничего-ничего, я и сам покамест не привык. Ведь усопший король ещё не погребён. Потому я и послал за тобой.

Министр дрожащим голосом спросил:

– Что изволите приказать относительно похорон?

– Ничего не изволю, – отвечал молодой король. – Ты же в этом понимаешь куда больше меня. Объясни, что и как нужно устроить.

Министр сперва заморгал от неожиданности, потом опомнился, откашлялся и начал:

– Во-первых, государь, потребуется погребальная колесница...

Похороны Нивзуба прошли без сучка, без задоринки, – куда лучше, чем все его начинания. Правда, слёз было мало. Вернее, их не было вовсе. Нанимать плакальщиц Зариций запретил; сам он, как шёл за гробом, казался не опечален, а скорее озабочен, а что до подданных – те просто тихо радовались. Радость, впрочем, была у всех разная.

Министр, конечно, не смог умолчать о разговоре с королём. Вот иные и решили: раз наследник, едва взойдя на трон, уже попросил совета, то это будет не король, а кукла рукавичная; делать он станет то, что ему подскажут, и за счет такого правителя не поживится разве что ленивый.

Очень скоро напросился один тип к Зарицию на аудиенцию и завёл речь:

– Государь, ваш блаженной памяти дядюшка малость поистратился...

– Казна почти пуста, – признал король. – Дальше!

– Я знаю, как её наполнить.

– Неужели?

Тут проситель повертел головой, точно проверяя, не подслушивает ли кто, вытянул шею и прошипел:

– Ваше величество, я стою на пороге открытия. Месяц-другой опытов, и я добуду философский камень!

– Так-так. И что же тебе нужно для опытов?

Проситель прижал к груди ладошки:

– Реторты, колбы и горелки у меня свои. Нужно бы матерьяльца, сиречь золотишка... Немного, ста аптекарских фунтов хватит...

Зариций потёр подбородок:

– Выходит, тысяча двести аптекарских унций. А за три унции золота в нашем государстве можно приобрести корову или лошадь. Накладно получается...

– Государь! – воскликнул проситель. – Когда я открою философский камень, ваша сокровищница будет завалена золотом по самую крышу!

Король встал:

– Ну, ладно. Кое-что тебе выдать могу. Погоди минутку.

Он вышел и скоро вернулся, держа в руках что-то прямоугольное, обёрнутое парчой.

– Бери. Это – чистое золото! Своё, между прочим, отдаю, от сердца отрываю. Теперь, надеюсь, ты разберёшься с философским камнем.

Взял посетитель пакет – тяжёлый. Верно, слиток. Ну и обрадовался же мошенник!

– Благодарствую, государь! Ваше богатство к вам вернётся удесятёрённым!

А про себя хихикает: «Больше ты не увидишь ни его, ни меня, репка коронованная!» И давай кланяться и пятиться, и скорей вон из дворца, пока король не передумал.

Добравшись домой у мошенника не хватило терпения. Забежал куда-то в безлюдный закоулок на дворцовых задворках. Развернул парчу. Что-то блеснуло. Точно – золото!

Золото – да не то. В руках он держал толстый том с позолочённым обрезом – «Основы химии».

Как шваркнет мошенник книгу об стену:

– Чтоб ты провалился со своей учёностью!

Кусок парчи подобрал – вот и вся добыча.

Недели не прошло – является к королю другой молодчик, и тоже с прожектором.

– Хорошо бы, государь, закупить песок в тех краях, где есть пустыни, и засыпать им наше море. Получится суша. Разделить её на участки да продавать под застройку.хлопоты все беру на себя. Потекут в казну денежки. Ну, и мне, вашему верному слуге, малую толику за труды...

Зариций в ответ:

– Славная задумка, хотя надо бы её немного подправить. Продадим, во-первых, всё целиком. Во-вторых, не под застройку, а под посевные пашни. А в третьих, не кому-нибудь, а тебе, моему верному слуге, чтобы сеял ты на том песке-зыбуне чёрную икорку. Будешь снимать урожаи из цельных осетров. Хочешь – бери к столу, хочешь – торгуй осетринкой, вот и будет тебе за труды... Согласен?

Посетитель рот разинул, что твой осётр на песке. А король берёт его за локоток да бережно так подводит к дверям: «Ступай, милейший, подумай, не спеши. Может, море пока само высохнет...»

Выпроводили этого – приходит третий.

– Государь, надобно бы учредить новое ведомство, чтоб взимало налоги да штрафы.

– За что же? – спросил король.

– За мысли, ваше величество. А то каждый думает, что хочет, да ещё и не платит за это. Надобно за недозволенную мысль взимать штраф, а за дозволенную – налог. Вам, государь, даже и беспокоиться ни о чём не придётся, сам обо всём порадею, коль изволите поставить меня во главе...

– Погоди! Как же ты отличишь дозволенную мысль от недозволенной?

– В глазах прочту.

А король и говорит:

– Ну-ка, посмотри в *мои* глаза. Что ты в них читаешь?

Прожектёр отпрянул:

– Ваше величество, да разве я смею?...

– Давай, – настаивал его величество, – разрешаю!

Была не была, подумал тот, и заявил:

– В ваших глазах, государь, я читаю всемлистивейшее одобрение...

Вздыхнул Зариций:

– Нет, не сумеешь ты возглавить новое ведомство. Неправильно читаешь в глазах. Мои, например, сейчас говорят: *чтоб духу твоего здесь не было!*

Немало ещё прохиндеев пыталось достигнуть к новому королю, да не вышло. Отчаявшись, они даже жаловались один другому: «На козе к нему не подъедешь!»

Нашлись, однако, люди, которым король

доверился, только те брали не обманом. То были мостильщики и текстильщики, инженеры и землемеры, купцы и философы-мудрецы, повара и столяра, – словом, мастера! Всех, кто в своём ремесле, – понятно, честном – достиг совершенства, молодой король чтит и ценит, и не считал зазорным попросить у них совета. А как иначе мог бы он привести страну в порядок после того, как покойный дядюшка столько наглупил да напортачил?

Жареную кукурузу, запасённую при Нивзубе для посева, пустили на корм курам – не пропадать же добру. Это одна птичница подсказала. Переплавляли на сковородки почти все чугунные лодки – последнюю оставили, на пьедестал поставили, начертали на нём надпись в назидание будущим поколениям: не повторяйте, мол, наших глупостей. Это один философ посоветовал. И на все государственные должности теперь назначались те, кто знал дело, а не свой карман. До этого король додумался сам.

В общем, долго ли, коротко ли, начали дела в государстве налаживаться. Электричество провели, железную дорогу построили, шелковичных червей научились разводить. Главное же, что в страну один за другим возвращались искусники, бежавшие от старого короля: новый-то, узнали они, мастеров не поучает, а привлекает.

Был среди них один художник, которому покойный Нивзуб приказывал – то бишь советовал – рисовать в полной темноте, завязав глаза и стоя спиной к холсту. Поднёс этот художник свои работы Зарицию. Тот посмотрел, подумал, и сказал:

– Камни – с глазами, рыбы – с волосами, люди – летают; знаю, что так не бывает, а верится...

И велел построить для живописца мастерскую – чтоб была попросторнее, потолок повыше, света побольше. А там и кое-кто из заморских умельцев перебрался в Невозданию. Похорошела страна. Ожила торговля. Казна постепенно наполнялась. По праздникам устраивались гулянья с фейерверками, что раньше было непозволительной роскошью. На четвёртом году правления молодого короля казначейство пустило в обращение золотые монеты с его профилем. Отчеканили их по рисунку того самого художника, что любил изображать летающих людей.

Казначей вскоре сообщил государю:

– Ваше величество, народ называет новые золотые – зарициями.

– Так и называет? – переспросил тот.

– Именно. На рынке, к примеру, говорят: хорошая свинья, за неё и двух зарициев не жалко... Ой! Король захохотал и с полминуты не мог остановиться.

– Уморил, – простонал он, вытирая слёзы. – Выходит, цена мне – полсвиньи. Не так уж мало, если свинка и впрямь хорошая... Верно?

«Кажется, обошлось», – успокаиваясь, подумал

казначей. Давно он уже не слышал, чтобы его величество так хохотал. По правде говоря, в последнее время Зариций и улыбался-то редко. С ним вообще творилось что-то странное. Приближённые ничего не могли понять: государь вроде здоров, а невесел. Дела как будто перестали его занимать, досуги – тешить. Призовёт он, скажем, какого-нибудь архитектора; тот показывает ему расчёты да макеты и так увлечётся, что просто светится, а король, напротив, мрачнеет, как море в непогоду. Пригласит актеров или музыкантов – и аплодирует им, и награждает щедро; не скажешь, что недоволен, только в глазах у него тоска. Собственную лютню забросил, к палитре не прикасается, и стихов больше не пишет.

Придворные то и дело шептались по углам о причинах королевской хандры.

– Может, порчу на него напустили? – спрашивал один.

– Чепуха, – фыркал другой. – Жениться ему нужно, сразу повеселеет. Что за король без королевы? И о наследнике пора подумать. А эти его пассии – одна морока.

...Шила в мешке не утаишь. Были пассии, были. Поселил Зариций однажды в своих покоях девицу знатного рода, какое-то время делил с ней стол и ложе, но в конце концов дал ей богатое приданое и выдал замуж за вельможу. Эту девицу сменила другая, а потом и третья, и с ними произошло то же самое. Ни с одной король не прижил ребёнка, ни одну не пожелал сделать королевой.

– ...От иной жены ещё сильнее можно затосковать, – вступал в разговор третий придворный. – Лучше б он врача позвал.

– Тут не врач надобен, а шут, – возражал четвёртый. – Есть ведь у нас шут!

– Есть, – отвечал пятый, – да он вроде в отставке живёт, кто его разберёт...

Шут во дворце действительно имелся. Звали его Шиш. Был он немолод, костляв и почти лыс, лишь над ушами курчавились островки волос. На свою должность поступил он давным-давно, при прежнем государе, от которого за много лет ни разу не удостоился от того не то что похвалы – даже доброго слова. Меж тем от его острот и трюков покатывался со смеху весь двор; стражники, – и те не могли удержаться, прыскали. А король Нивзуб Нагой кривился: «Не смешно! Дурак!» – и награждал шута то пинком, то тычком, то оплеухой.

Однажды юный наследник (он как раз вернулся из-за границы, закончив учение) спросил Шиша: «Как тебя зовут по-настоящему?»

– Вашему высочеству известно, как меня называть, – отвечал тот. Голос у него был скрипучий, как жесткий башмак.

– Мне не особенно нравится твой псевдоним, – мягко сказал принц. – Как твоё настоящее имя?

– Я предпочёл его позабыть, – проговорил шут, уставясь в пол. – Не взыщите с дурака, ваше высочество.

Наследник вдруг предложил:

– Обращайся ко мне на ты. Просто Зариций, хорошо?

Шут вскинул голову, глянул принцу в зрачки:

– Не сейчас, ваше высочество – когда вы станете королём.

– Когда я стану королём.., – повторил наследник медленно, будто пробуя эти слова на вкус, и неожиданно закончил так:

– Когда я стану королём, то позабочусь о тебе.

Обещание Зариций сдержал. В первую неделю своего правления призвал он шута и ласково обратился к нему:

– Послушай, дружок. Ты немало натерпелся от моего дядюшки и заслужил спокойную, обеспеченную старость. Я распорядился, чтобы тебе назначили хорошую пенсию. Хочешь – оставайся здесь, во дворце; даю слово, что никто не посмеет чинить тебе никаких обид. А если желаешь, велю подыскать тебе отдельное приличное жильё.

Он был уверен, что бедняга предпочтёт второе – не захочет жить там, где его унижали. И поразился, услышав:

– Я останусь здесь. При тебе.

– Прости, друг, – улыбнулся король – но мне не нужен шут. Зачем?

Разгонять мою меланхолию, буде найдёт? С нею я должен справляться сам. Говорить мне горькие истины? На это имеют право все мои подданные. Не думай, – добавил он поспешно, – что я невысоко ценю твоё искусство. Но не стоит его тратить на одного-единственного человека, хоть бы и короля. Может быть, хочешь поступить в цирк или в театр? Пенсию за тобой сохраняю.

– Поздно, – вымолвил шут. – А тебе я ещё понадоблюсь.

– Едва ли. Ну, пребудь здоров!

И Зариций отпустил Шиша. Были у его величества другие заботы, поважнее.

Шут – или отставной шут? – остался во дворце, получал свою пенсию и жил тихо, точно дух. На покое он ни с кем не свёл дружбы; и хоть обижать его никто не обижал, но замечали очень немногие, король же почти позабыл. Однако пришло время, и Шиш сам напомнил ему о себе.

Король собирался самолично переговорить с одним купцом. Купец этот был такой отчаянный малый, что никто не хотел страховать его корабли. Так, незастрахованным, отправился он за тридевять

земель, благополучно возвратился и привёз заморскую диковину – автомобиль. Вот Зариций и хотел разобраться, есть ли смысл налаживать постоянный ввоз подобных штукотин в Невозданию. И если да, то какой должна быть пошлина, чтобы и купцам не в разор, и государству выгода? В общем, разговор предстоял серьёзный, так что король очень удивился, когда ему доложили: шут, мол, просит позволения при сём разговоре присутствовать.

– Пусть его, – подумав, решил Зариций, – скучно ему, бедному, а тут речь о дальних странах и новых планах.

Шиш пришёл не в шутовском наряде, а в обычной одежде. Зариций представил его купцу:

– А это мой старый приятель, артист комического жанра. Здесь он затем, что любопытствует; и я, признаться, тоже. Так что давай, пожалуйста, поподробнее...

Ушёл купец окрылённым: король счёл, что завозить морским путём иноземные автомобили – начинание стоящее, и обещал споспешествовать: может быть, даже расширить порт. Артист комического жанра в разговоре не участвовал, и Зариций вспомнил о нём, лишь когда проводил посетителя:

– Ну что, дружок? Интересно было?

– Очень, – проскрипел Шиш, – куда интересней, чем я думал. Не позволит ли мне твоё величество и впредь иногда присутствовать при таких встречах?

– Почему бы и нет? – отвечал его величество и улыбнулся про себя: «Теперь не шут станет развлекать короля, а наоборот! Ну что ж, вполне справедливо».

И с тех пор, когда король призывал для совета кого-нибудь из мастеров, – корабелов или виноделов, горняков или рыбаков, – он заодно вызывал и Шиша. Нередко тот сам напрашивался в сопровождающие, если его величество собирался, к примеру, на какую-нибудь церемонию. Напрашивался, впрочем, почти униженно, хотя один раз позволил себе изрядную дерзость. Зариций попытался сострить: «Хочешь, чтоб репортёры написали: *на парад прибыл наш король, и шут с ним?*» А Шиш отозвался: «Старая острота, государь! Я исключил её из своего репертуара много лет назад».

Король не разгневался – он смутился и сказал себе: «Тоже ведь мастер! Что же он похоронил своё мастерство!»

Шут в королевской свите – не диво, но он обязан играть положенную роль. А этот больше не одевал колпака, не валял дурака, и старался стушеваться в толпе придворных. Что за шут такой?

Кое-кто из приближённых даже пытался остеречь молодого короля.

– Ваше величество, вдруг он шпион?

– Бросьте, – отмахивался Зариций, – всё, что он визнаёт, можно прочесть в наших газетах. Какой

вред от любопытного старика?

И вот теперь на короля напала то ли душевная хворь, то ли тоска, то ли просто хандра. Справиться с нею сам, как собирался, он явно не мог. Тут бы отставному шуту и вспомнить своё искусство, развеселить, рассмешить, растормошить государя, вернуть ему бодрость духа. Ан нет! Шиш по-прежнему вёл себя тише мыши – до того самого дня, когда увязался за королём на церемонию открытия нового моста.

Столицу рассекала пополам широкая река. Старый мост через неё с годами обветшал, стал ненадёжен, а для проезда автомобилей не подходил вовсе. Решено было его разобрать и заменить другим, новой конструкции. Её придумал и рассчитал инженер по имени Крептер, низкорослый коренастый человек лет пятидесяти. Он же руководил строительством.

Из окон парадной залы дворца, выходивших на реку, Зариций мог наблюдать, как идут работы. Пришлось наладить временную переправу, паромную; пользоваться ею было не слишком удобно, но король не подгонял строителей. Мост соорудили точно в назначенный срок. Люди называли его подвесным; правильного названия – какого-то иностранного слова – никто, кроме Крептера, запомнить не мог.

С виду новый мост больше походил на музыкальный инструмент – не то арфу, не то лиру, – и при этом был крепок, как скала.

Церемонию открытия донельзя упростили – пышных церемоний Зариций терпеть не мог. Король взойшёл на мост, с другой стороны навстречу ему двинулся Крептер. За королём следовала свита; за инженером – рабочие. Примерно на середине моста все остановились, и Крептер произнёс положенное:

– *Принимай работу, государь!*

Их разделяло не более двух шагов – низенького, коренастого инженера и высокого, стройного молодого короля. Стояло лето, и Зариций в лёгких белозолотых одеждах был особенно хорош.

Он обвёл взглядом прочный певучий мост и вымолвил одно-единственное слово:

– Чудо!

Инженер поклонился. Король продолжал:

– За труд вам нынче же будет заплачено по счёту. Но сам вижу – этого мало. Проси в награду всё, что хочешь!

– Наградите рабочих, государь, – попросил Крептер, – они старались, ни одной заклёпки не поставили неправильно.

Зариций согласился:

– Молодцы. Неправильно поставленная заклёпка может обернуться катастрофой. – Он повернулся к свите. – Казначей!

– Здесь я, ваше величество! – отозвался тот.

– Каждому рабочему, сверх жалования, – по десять золотых.

– Будет исполнено! – отвечал казначей.

А рабочие дружно закричали:

– Да здравствует король!

– Хватит, ребята, – поморщился Зариций и опять обратился к инженеру. – Ну, а ты, друг Крептер? Как мне наградить тебя самого?

Эх, попросить бы Крептеру, к примеру, золотую готовальню, украшенную портретом короля и усыпанную бриллиантами! Может, всё бы и обошлось. А он сказал:

– Поручите мне, государь, построить ещё один мост, *вантовый* – по нему мы сможем пустить поезда. У меня, признаться, уже и эскизы имеются... Вот это и будет мне награждением.

Король замер, точно громом поражённый. Почему-то все сразу притихли. Стало слышно, как на мосту свистит ветер.

Наконец Зариций сдавленно спросил:

– Неужели ты настолько любишь своё дело?

Инженер ничего не успел ответить. Из толпы придворных, будто чёртик из коробочки, выскочил Шиш; гримасничая и приплясывая, подбежал к королю, и воскликнул своим скрипучим голоском:

– Что, завидно? Глядите-ка! Хорош наш правитель – король Завидий! – и ткнул в самодержца костлявым пальцем.

Все ожидали от Зариция гневного крика, а услышали глухой смешок:

– Браво, шут!

Кто-то нерешительно хихикнул и тут же испуганно смолк. Король будто не заметил. Адресуясь к инженеру, он проговорил невнятно:

– Насчёт моста... я подумаю... подумаю...

Развернулся на каблуках и, бросив: «Возвращаемся, господа!», – пошёл прочь. Свита – за ним, Шиш приплясывал позади, что-то бормотал, и придворные старались держаться от него подальше.

По дворцу в этот день поползли тревожные шепотки. И неудивительно: король вернулся сам не свой, отослал всех, заперся у себя в покоях и не стал ни обедать, ни ужинать. А вечером вдруг потребовал:

– Шута ко мне!

Шиша, о выходе которого знал уже весь дворец, препроводили к королю, и приближённые стали гадать, как поступит последний.

– Прогонит дурака к чертям собачьим, – говорил один, – прогонит и пенсии лишит.

– Простит, – уверял другой. – Он у нас отходчивый. Да и шутам многое прощается...

– Ну, не такое же! – не соглашался третий. – За такие выходки можно и в острог угодить!

Никто не мог бы догадаться, как на самом деле поговорили шут и король.

Оставшись с государем наедине, Шиш без приглашения уселся с ногами в самое удобное кресло

и, задрав острый подбородок, уставился на Зариция. Тот пододвинул себе другое кресло и сел напротив. С минуту оба молчали. Король заговорил первым:

- Раскусил меня, а?
- Давным-давно.
- Как ты догадался?

– Дураку ясно, – осклабился Шиш, – а я и есть дурак. Ах, светлый король Зариций, всем умельцам – первый друг, всем искусникам – отец родной! Который сегодня от зависти к инженеру-строителю готов был броситься вниз головою с его чудо-моста! Что, вру?

- Нет.
- Да ты не только господину Крептеру, ты им всем завидуешь, мастерам-то.

Зариций откинулся на спинку кресла и промолвил жалобно:

- У них есть то, чего нет у меня: призвание, искусство, любимое дело. Довольно, чтобы наполнить и жизнь, и душу.
- А желудок?
- Что?

– Ты хоть знаешь, что самый искусный мастер часто сидит без хлеба? А знаешь, каково это – когда твоё искусство втаптывают в грязь? А когда само творение не даётся, не получается – понимаешь, что это такое?

– Каторга, – отвечал Зариций, – каторга, за которую я сей же миг отдал бы свою корону.

- Теперь дурак – ты! – воскликнул шут.

И король Невоздании молча проглотил оскорбление.

– У тебя есть власть, – продолжал Шиш. Тебе ведомо, на что идут люди ради власти?

– Но я-то к ней не рвался, чёрт подери! – вяло огрызнулся Зариций. – Родился принцем, стал королём, вот и всё.

– Ага, просто должность такая – король. Ты и ведешь себя, как усердный чиновник средней руки. Погляди, как живут иные правители! Пьют-гуляют, казну распяляют, зато душу забавляют...

– Ничего-то ты не понял, – прервал государь шута. – Думаешь, я себя сдерживаю? Какое там! Не тянет меня к разгульной жизни, как не тянет повелевать людьми.

– А к чему тянет? Кем бы ты хотел стать, если бы не был королём?

Зариций ответил с мукой:

- В том-то и беда, что никем!..
- Ой ли? – поднял брови Шиш. – Ты ведь и живописью баловался, и музыкой, и стишками...

– Вот именно что баловался – душу в них не вкладывал.

– Велика беда! Одно твоё слово – и тебя объявят величайшим музыкантом и лучшим поэтом в истории страны, а за твои картины передерутся

директора всех музеев.

– Разве мне слава нужна? Да к тому же ещё дутая!

– Жениться не думал? – неожиданно спросил шут. – Отец семейства – тоже призвание.

– Не моё.

– А что же девицы твои, фаворитки?

– Ну что девицы... Я их желал, они не противились...

– Оно и понятно! – ехидно вставил шут. – А любил ты хоть одну из них?

– Если бы... Что ты выпытываешь, точно поп! – вспыхнул вдруг король.

Шиш помахал перед его глазами тощим пальцем:

– Те-те-те! Поп тебе скажет, что зависть – смертный грех, а власть надо употреблять на добрые дела, и велит поститься да молиться. А я, может, посоветую кое-что получше...

– Говори! – простонал Зариций.

Шут медленно промолвил, будто смакуя слова:

– Себе же на беду наводнил ты страну мастерами. Сам и позаботился, чтобы они с голоду не погибали и в безвестности не прозябали. «Проси в награду всё, что хочешь!» – передразнил он вдруг голосом короля. – Ладно, они процветают, а тебе-то каково с ними рядом? Они живут любимым делом, а тебе, монарху, и жить вроде нечем: власть для тебя – служебная лямка, кутежи – скука смертная, женщина – услада на миг, а искусство – баловство. Верно, король Завидий?

Король не отвечал, только сильнее вжался в кресло, стиснул подлокотники. Шут встал и наклонился над ним:

– Об одном ты позабыл: эти искусники да умельцы – твои подданные, и ты волен делать с ними, что хочешь.

– И что ты советуешь? Призвать ещё одного мастера – заплочного, чтобы выкручивал им золотые руки, рубил светлые головы? Так, что ли?

– Ну, зачем же, – усмехнулся Шиш. – Ты ведь у нас монарх просвещённый и милосердный. Гуманный, как нынче говорят. Просто предложи им – каждому – сменить занятие.

Зариций резко выпрямился:

– Ты это серьёзно?

– Шучу, конечно. И ты тоже пошути. Вызови того же господина Крептера и объяви, что назначаешь его... ну, хоть рыбаком. Посмотришь, как это ему понравится. А потом скажешь, что просто дурачился.

– Вздор говоришь, – пробормотал король, вставая. – Ступай. Я устал.

Шут отступил на пару шагов и поклонился почтительней некуда:

– Доброй ночи, государь.

И удалился чуть ли не на цыпочках.

А на другой день был вызван к королю и стал единственным свидетелем аудиенции, которую тот дал инженеру Крептеру. Состоялась она в парадной зале; обычно здесь принимали только послов и других почётных посетителей.

Погода опять выдалась солнечной; в свете, лившемся из окон, сверкал мраморный пол, розовый с красными прожилками. Крептера впустили ровно в полдень. Зариций поднялся ему навстречу; шут остался стоять за высокой спинкой королевского кресла.

Инженер, сам сиявший, как летний день, принёс с собой свёрнутый рулоном лист ватмана – несомненно, чертёж.

– Мастер Крептер, – начал король, положив руку на плечо гостя, – я подумал и решил...

Инженер сделал движение, точно собираясь развернуть принесенный рулон.

– ... решил, что тебе следует заняться рыбной ловлей, – закончил король.

– Рыбной ловлей, государь? – растерялся Крептер. – Вы желаете, чтобы я построил причал для рыболовецких судов?

– Нет, любезный. Я хочу, чтобы ты стал настоящим рыбаком. Завтра из порта уходит на лов сельди небольшое судно – «Невозданец». Ты отправишься на нём. Знаю, знаю, – продолжал он, легонько встряхнув собеседника, – ты скажешь, что ничего не смыслишь в этом промысле. Ну что ж, научишься, освоишься.

Инженер сделался белым, как ватман.

– Государь, я – мостостроитель...

– Ох, какое длинное слово, – улыбнулся Зариций. – *Рыбак* гораздо короче. И ты будешь по-прежнему близок к воде.

– Это... это шутка, ваше величество? – еле выговорил Крептер.

– Это приказ, друг мой. Надеюсь, тебе понятно, чем грозит неповиновение королевскому приказу. Ты свободен. – И правитель снял руку с плеча подданного.

Тот повернулся и побрёл к выходу, оскальзываясь на мраморе и судорожно прижимая к себе уже ненужный чертёж.

Тут Шиш, до сей минуты невидимый и неслышимый, подскочил к королю и быстро зашептал:

– Останови же его, останови! Скажи, что ты пошутил, что он по-прежнему будет строить мосты. Что построит их не меньше десяти, один красивей другого!

Но Зариций не стронулся с места, и с губ его не сорвалось ни звука. Он будто не замечал Шиша, не смотрел и на уходящего.

Взгляд короля был устремлён в окно, за которым был виден во всём великолепии новый мост.

Лишь когда Крептер скрылся за дверями, король

обернулся и встретился глазами с шутом.

– Ну? – спросил тот? – Полегчало?

...Так в Невоздании началась пора, что может лишь присниться, да и то если на ночь начитаться страшных сказок. Жители, ещё недавно любившие своего короля, теперь в ужасе спрашивали друг друга:

– Да что же это такое? Дядюшка в нём проснулся или бес в него вселился?

Ибо государь обнародовал какие-то дикие приказы: лучшего в стране арфиста переделать в артиллериста, самого опытного шахтёра – в полотёра, отличнейшего часовщика – в гробовщика.

Заморские умельцы, что прижились было в Невоздании – иные даже собирались принять подданство – услышав такие новости, вздохнули горестно, собрались наскоро, и прочь из страны. И чуть не каждый говорил на прощанье местным собратьям по искусству:

– Бегите и вы! Ничего хорошего от вашего короля ждать не приходится.

Но те отвечали:

– Может, он одумается...

Зря надеялись. Одного за другим лучших из них разлучали с любимым делом, навязывали чужое, и сперва никто не мог уразуметь, почему. Лишь когда люди вспомнили, что случилось в день открытия моста, они поняли: государь мастерам завидует.

Король соседней Достигаллии потирал руки:

– Смотрите-ка, и этот стал благодетелем!

Думал, что невозданские искусники опять к нему переберутся. Не тут-то было! Выезд из страны им запретили. Границу нынче сторожила изнутри не армия, не полиция – новая в стране сила; армейские с полицейскими сами её опасались. Называлась она Служба Распределения Справедливости, или, сокращённо, Служба РАСПРАВ.

В Невоздании, как и повсюду, существовали люди, которые занимались в жизни не тем, чем хотели бы. Кому-то нехватило здоровья, кому-то денег на учёбу; кто-то подчинился воле отца, кто-то сдался на мольбы невесты... С годами одни утешились, другие смирились, зато третьи озлобились на весь мир, особенно на тех, кто добывал хлеб насущный любимым делом. Вот из таких озлобленных и составили Службу РАСПРАВ; возглавил же её не кто иной, как бывший шут, а ныне генерал Шиш.

Его подчинённые действовали не только на границе. Они наводнили всю страну. Стоило какому-нибудь ремесленнику, учёному или даже чиновнику выбиться из средних хотя бы в хорошие, Служба РАСПРАВ доносила: «Новый умник появился!», и очень скоро бедняге приходилось распрощаться со своим занятием. Если же он артачился, с ним поступали старым способом, точь-в-точь как при покойном Нивзубе, – отправляли в острог. Настоя-

щие же преступники благоденствовали. Кому была охота их ловить и судить? Сыщики да судьи, как и все остальные, боялись отличиться в работе, а Служба РАСПРАВ вылавливала только честных мастеров.

Случалось, последние пытались скрыть своё умение. В присутствии *распределителей справедливости* актёры старались запнуться, певцы – сфальшивить, а философы-мудрецы – ляпнуть какую-нибудь глупость. Только у них у всех это получалось плохо – сразу видно, что нарочно. Да и у кого хватит духу всякий раз портить собственную работу, собственное творение? Рано или поздно искусник создавал что-то совершенное – и попадался.

Однажды пассажирский поезд сошёл с рельсов, потому что выполнять работу машиниста заставили массажиста. Чудо, что никто не погиб, а пострадал только один пассажир. Прибывший врач быстро и ловко перевязал ему сломанную руку – на свою беду. Пациент оказался бойцом Службы РАСПРАВ, и доктору велели сменить профессию. Из прекрасного врача сделали прескверного ткача.

В стране разваливались промыслы, погибали ремёсла, были парализованы науки. Почти достигнутое процветание сменилось упадком, но правителя это, похоже, не пугало и не печалило. Куда сильнее ему досаждало иное.

Среди его подданных завелись бунтовщики: люди, которые тайно пытались заняться своей прежней – теперь запретной для них – работой.

Бывший врач, как выяснилось, под покровом темноты посещал больных. Нашёлся ему и сообщник – бывший фармацевт, ныне никудышный кровельщик. Лишённый своей лаборатории, тот по ночам, будто какая-то ведьма, собирал травы и готовил из них лекарства. А бывший гончар, ныне овчар, тайком изготавливал для этих лекарств глиняные кувшинчики с пробками. И подобных злоумышленников с каждым днём становилось всё больше.

Когда генерал Шиш донёс о них Зарицию, король задал один-единственный вопрос:

– Это они ради заработка?

Шиш понимающе ухмыльнулся и процедил:

– Н-не только.

Король заскрипел зубами.

– Разберись с ними!

– Разберёмся. Правда, уличить таких бывает трудно. Иным для работы не нужны ни инструменты, ни медикаменты – лишь собственная голова. К примеру, Шмель, поэт... Такой чернявый, пучеглазый....

– Тот, что отправлен на кирпичный завод?

– Он самый.

– Ну и как он там работает?

– Не придерёшься: плохо, – признал Шиш, – хотя и старается. Загвоздка в другом: он продолжает

сочинять.

– Куда же вы смотрите?!

– Да ведь он ни строчки не записывает и никому не читает. Так, гудит что-то, недаром же Шмель; бормочет свои стихи себе под нос, подойдёшь – замолкает. Но те, что их расслышали, забыть уже не могут. Сперва повторяют про себя, потом вслух, для других. Кое-что даже на музыку кладут, песни получаются. А спросишь, чьи слова, отвечают: «Народные».

– Придумай что-нибудь!

Генерал обещал, но без особой уверенности, а какое-то время спустя явился с ещё более неприятным сообщением.

Выяснилось, что некоторые мастера умудряются свести на нет все усилия Службы РАСПРАВ. Когда их вынуждают заняться чуждым, незнакомым доселе трудом, они принимают изучать сперва его основы, а потом и тонкости, так усердно и так увлечённо, будто всю жизнь только о том и мечтали. И в конце концов опять становятся настоящими мастерами.

– Чума их возьми! – выругался король, услышав об этом. – И много таких?

– Мало, – был ответ, – но они опаснее бунтовщиков, потому что ничего не нарушают. Один Тарконт чего стоит!

Зариций отлично помнил этого тихого, медлительного человеком, блестящего физика. Точнее, физиком он был до встречи с подчинёнными генерала Шиша.

– А что Тарконт? Разве он не состоит теперь в пильщиках?

– Состоял. Но потом изобрёл электрическую пилу. С разными там насадками. Ребёнок и тот с нею справится. Так что мы перевели его из пильщиков в лудильщики.

– Правильно сделали.

– Погоди. Он предложил использовать вместо обычной полуды какой-то не то сплав, не то состав; в общем, покрытые этой ерундой металлы не только не окисляются, но и становятся ужас какими жаропрочными. Тогда его определили в стекольщики...

– Ну? Что он на этот раз изобрёл или придумал?

– Небьющееся стекло.

– Тьфу, чёрт!

– А главное, – закончил Шиш, – что он нас даже благодарит. Спасибо, мол, что дали ему возможность попробовать себя в новых сферах. Не всё же, дескать, чистой наукой заниматься.

– Я что, должен за вас думать? – закричал король. – Да отнимите вы у него очки и переведите его в шофёры!

– Чтобы он изобрёл автомобиль для слепых водителей? С него станет. До тебя всё ещё не дошло? И Шиш прошептал почти уважительно:

– Это гений!

– А ты – генерал! – отрезал Зариций. – И твоя

задача – найти гению место, где он перестанет быть таковым. Иначе недолго останешься генералом.

Глава Службы РАСПРАВ невозмутимо отвечал :

– Можно подыскать для него занятие, далёкое от техники. Скажем, режиссура... Однако... что, если он справится? Вдруг мы имеем дело с универсальным гением?

Тут в глазах короля мелькнуло настоящее бешенство – впрочем, ничуть не испугавшее Шиша. Бывший шут выждал несколько секунд и продолжал:

– Есть решение, есть; и думаю, твоему величеству оно придётся по душе.

– Надеюсь, – процедил Зариций, – ради твоего же блага...

– Решение простое: предоставить Тарконту и прочим гениям, коли обнаружатся, полную свободу творчества. Мысленного. И только мысленного.

– Ты что, предлагаешь поместить их в дом умалишённых? – нахмурился король.

– Напротив, – хихикнул Шиш. – В Дом Умников.

– Что это ещё за Дом Умников? – с подозрением спросил Зариций.

– Мы его построим. Вот послушай...

Пять минут спустя король сказал:

– Быть по сему! Надзирать за работами будешь сам. Строительство вести за забором, и всем участникам держать язык за зубами. Но если в заборе или меж зубами обнаружатся щёлочки... может, это и к лучшему.

И вот в отдалённом районе столицы, на большом пустыре, теперь огороженном забором, закипела непонятная работа. О ней ходили самые разные слухи, доподлинно же было известно лишь одно: король, который прежде непременно посещал все главные столичные стройки, ни разу не побывал здесь, зато генерал Шиш чуть ли не каждый день появлялся на строительстве.

Когда же оно закончилось и забор убрали, оказалось, что новое сооружение скрыто от глаз высокой, обсаженной розами круговой стеной с железными воротами и встроенной караульной будкой. В ней уже торчал часовой.

– Объект ждёт одобрения заказчика, – известил короля генерал. – Обойдёмся без церемонии? Вскоре они стояли перед воротами. При Зариции не было свиты, только охрана – без охраны он теперь не выходил никуда.

– Ну, показывай, – обратился он к Шишу, – хвастайся.

Ворота отперли.

– Стойте на месте, – приказал король охране, толкнул створку ворот, шагнул внутрь и ошеломлён от неожиданности и негодования.

Во дворе он не увидел никакого строения. Там не

было даже кирпичика – только редкие сорняки на немощённой земле.

– Сюрприз! – прокричал за его спиной генерал Шиш.

Зариций в ярости повернулся к нему, но тот лишь молча ткнул пальцем куда-то себе под ноги. Тогда король понял:

– Под землёй?!

– Под землёй, под землёй, – передразнил его Шиш. – Мог бы догадаться и сам. Ворота – декорация. Вход – в караульной будке. На первом, то есть верхнем этаже – комнаты персонала. Разные службы – на втором. А уж на третьем – помещения для обитателей. Что желаешь осмотреть?

– Помещения... – выговорил Зариций пересохшим вдруг голосом.

И последовал за генералом, но сперва на миг обернулся, окинув долгим взглядом голый двор с жалкими сорняками.

Коридор третьего этажа освещали тусклые лампы. Сюда выходили двенадцать дверей: шесть с одной стороны, шесть с другой. Каждую перечеркивал поперечный металлический брус засова. Шиш остановился у самой первой.

– Дедовскими методами небрегать не след, – указал он на засов. – Да и нынешние штучки-дрючки бесполезны. Кнопочку возле косяка видишь? Электрический замок.

И генерал отодвинул засов, а потом нажал на кнопку. Дверь легонько щёлкнула и чуть приоткрылась.

– Добро пожаловать, государь, – с поклоном отступил в сторону Шиш.

Зариций отчего-то едва заставил себя переступить порог. Глазам внезапно стало больно от сильного, резкого света; меж тем его источником была единственная лампочка, висевшая на коротком проводе под неожиданно высоким скошенным потолком. Сама же комната – точнее, камера – оказалась очень узкой. Потолок был белёсым, а стены – такого унылого мутно-синего цвета, что при одном взгляде на них хотелось умереть. Что до обстановки...

– Тюфяк на полу да удобство в углу, хе-хе, – комментировал бывший шут. – А что ещё нужно для спокойной жизни? Еду-питьё им станут подавать сюда же. Вон лючок на потолке, оттуда раз в день будут спускать кувшин с водой, – хочешь, пей, а хочешь, умывайся, – и миску с едой: кусок варёного мяса да ломоть хлеба.

– Всегда одно и то же?

– Ну, может, в мясе разок попадётся махонькая косточка. Косточкой не пробьёшь стены... зато можно вскрыть вены. Ты что? У тебя с желудком неладно или с юмором? Ладно, слушай дальше. Мирские шумы не потревожат наших постояльцев: в это помещение, когда оно заперто, не просочатся

никакие звуки. Наружу из него, кстати, тоже.

– А если обитатель захворает, как же он позовёт на помощь?

– С чего бы ему захворать в таких хороших условиях?

Король промолчал. Генерал продолжил деловым тоном:

– Здешний устав прост, и жильцам его объяснят заранее. Если еда и вода изо дня в день остаются нетронутыми в течение месяца, их прекращают подавать. Персоналу в таких случаях полагается выждать для верности ещё неделю, а потом помещение следует открыть и вычистить. Да ты совсем позеленел, государь. Прилечь не хочешь? Заодно тюфячок опробуешь.

Зариций, не в силах вымолвить ни слова, покачал головой. Он опёрся было ладонью о стену, но тут же отдёргнул руку: стена показалась ему вязкой. Не сразу разобрал он: Шиш продолжает что-то говорить.

–... никто и ничто не докучает. Есть надежный кров и полный покой. И никаких забот о хлебе насущном. Словом, наши гении здесь смогут полностью сосредоточиться на творчестве. Правда, им придётся обходиться без всяких материалов и причиндалов; ну, не беда. Всё это они легко сумеют вообразить.

– Вообразить? – слабым голосом переспросил король.

– Ну конечно. Химик вообразит свои приборы и реактивы, скульптор мысленно выберет самый лучший мрамор, а балерина...

– Ты и женщин собираешься сюда сажать?

– Справедливость так справедливость. Найдутся женщины-гении – с дорогой душой устроим их здесь! Но ты меня перебил, изволь дослушать. Наши гении тут и ценителей могут навоображать – целые толпы. Думаю, однако, это им ни к чему. Истинный художник не для толпы творит, и свои творения оценивает сам. А для общения с самим собой мы ему предоставим неограниченные возможности... Ну что ж, *принимай работу, государь!*

– Кто всё это строил? – спросил король. Голос его немного окреп.

– Ясно кто, – фыркнул Шиш, – специалисты, мастера. Пришлось их освободить от новых обязанностей, допустить к прежней работе... на время, разумеется!

– Они хоть понимали, что строят?

– Государственный объект особой важности, что же ещё. Понимали, конечно, и многие отказались участвовать в строительстве. Знаешь, я не стал их неволить. Нашлись другие: тем было всё равно, настолько они истосковались по любимому делу. А как дорвались до него, уж они и расстарались! Взять хоть эту лампочку, – генерал показал на потолок. –

Рассчитана на несколько лет работы, даром что будет гореть днём и ночью. Изобретение этого... как там его...

Тут король снова прервал генерала:

– Неважно, кто её изобрёл. А вот кто заказал такую? Кто велел построить такие помещения и придумал их обстановку? Кто разработал такой устав? А главное – кто решил, что строение будет подземным?

– Всё идеи – твоего покорнейшего слуги, – расшаркался Шиш. – Я в полную меру использовал в этой работе свои небольшие способности...

– Не скромничай, – бросил в ответ Зариций. Дурнота его, похоже, совсем прошла, голос был твёрд, взгляд ясен. Слишком ясен.

– Досточтимый Шиш, – молвил он важно. – Твоя работа свидетельствует, что в мучительстве ты не просто мастер, а подлинный гений!

И король улыбнулся. Шиш остолбенел и так выкатил глаза, точно его душили.

– Да, да, – ещё шире улыбнулся Зариций, – догадка твоя верна. Ну вот, теперь ты сам позеленел. Не хочешь прилечь, опробовать тюфячок? Впрочем, у тебя будут для этого неограниченные возможности. В глазах Шиша мелькнул настоящий ужас. А потом он начал смеяться, смеяться, смеяться... Согнулся, скорчился в приступе страшного, безумного смеха и вдруг повалился на пол, прямо к ногам короля.

Зариций не тронулся с места. Бывший шут подёргался и затих. Глаза его постепенно остекленели, но остались открыты, а рот оскален, будто Шиш продолжал смеяться и в смерти.

...Солдаты королевской охраны, которым было приказано оставаться у стены, успели меж тем заскучать и, думая, что король с генералом вернутся нескоро, сели играть в кости. Они так увлеклись игрой, что ничего вокруг не замечали, и вздрогнули, услышав:

– Несёте службу?

Над ними стоял король. Он часто дышал и как-то странно улыбался – скорее щерился. Генерала при нём не было.

Солдаты разом вскочили, и один из них промямлил:

– Да мы тут... хотели чуток постучать косточками, ваше величество...

– Косточки пока подождут. Ты и ты, – Зариций указал пальцем на двух ближайших солдат, – отправляйтесь за министром похоронных дел. Скажите, что я ему приказываю немедленно прибыть сюда. Пусть его проведут на третий сверху этаж, в первое от входа помещение... там... там найдётся для него работа.

И солдаты поняли, почему король вернулся один.

Министр похоронных дел оставался чуть ли не последним опытным чиновником, ещё не потерявшим своей должности, и потому особенно за неё дрожал. Так что сейчас он не знал, как поступить.

Устроить Шишу генеральские похороны: гроб на лафете пушки, военный оркестр и салют? Или похороны шутовские: катафалк, украшенный бубенчиками, визг дудок и процессия ряженных? И в том, и в другом случае могло оказаться, что министр всё сделал как надо, а это грозило опасностью. Куда безопаснее было схалтурить.

В результате Шиша зарыли как собаку. И ничего – сошло.

А службу РАСПРАВ король возглавил сам.

Он собственной персоной провожал в Дом Умников первого постояльца – физика (а также пильщика, лудильщика, стекольщика и несостоявшегося шофёра) Тарконта.

– Счастливого полёта мысли, – произнёс Зариций, когда учёного втолкнули в камеру.

Тарконт молча обернулся, поправил очки, глянул королю в лицо и сам захлопнул дверь.

Его величество потом не спал ночь.

Физик тоже не спал, но совсем по другой причине. Он занялся делом: прикидывал, на какой глубине находится камера, изучал её устройство, тщательно выстукивал стены, дверь и пол, и в конце концов сказал себе:

– Вероятность успешного побега близка к нулю.

После чего улёгся-таки на тюфяк, сгибом локтя прикрыл глаза и уснул. И приснилось ему странное сооружение – вертикальное, узкое, обтекаемой формы, высотой с трёхэтажный дом. Один за другим туда вошли несколько человек. Прозвучали слова: «Счастливого полёта!», и удивительная конструкция вдруг свечой взлетела в небо.

Утром – если это было утро – Тарконт долго сидел на тюфяке, о чём-то думал, порой бормотал себе под нос: «так-так», и отвлёкся от размышлений, лишь когда ему спустили еду. Едва он взял из миски хлеб и мясо, она взвилась под потолок. Дождёвая, узник чуть не сломал зуб: в мясе попалась косточка. Маленькая, твёрдая, острая, как стальное перо. Тарконт подошёл к стене и черкнул по ней кончиком косточки. На мутно-синей поверхности появилась красивая белая, точно светящаяся парабола.

– Ах, – прошептал учёный, – как хорошо, что у меня не отобрали очки.

И стал выводить на стене какие-то цифры, буквы и знаки.

Несколько дней спустя у Тарконта (хотя тот не мог об этом знать) появился сосед – поэт Шмель. С этим пришлось повозиться: видно, работая на кирпичном заводе, он нарастил кое-какие мускулы. Шесть бойцов службы РАСПРАВ с трудом водворили Шмеля в отведённое ему помещение. Седьмым провожающим был Зариций. Стоя на пороге камеры, он пожелал поэту:

– Отдохновения и вдохновения!

– А тебе – издохновения! – крикнул в ответ Шмель и бросился было на короля, но тот успел отскочить и захлопнуть дверь.

Со всей силы поэт жажнул по двери кулаком:

– Негодяй! На какую дешёвую рифму меня спровоцировал!

И опять король и новый узник не спали всю ночь, каждый по своим причинам. Шмель непрерывно шагал от стены к стене, восклицая «тиран, душегуб, завистливый злодей» и тому подобное – сперва просто так, а потом в рифму.

В конце концов он выбился из сил, ничком повалился на тюфяк и заснул. И сперва к нему во сне пришли новые стихи, а потом приснилось, будто он их забыл. Поэт вскочил в ужасе. Горел яркий, резкий свет. Приснившиеся стихи ещё сидели в памяти. Шмель пошарил по карманам – нет ли хоть огрызка карандаша да клочка бумаги. Ничего не нашёл. Тогда он просто стал повторять новое стихотворение вслух. Умолк, лишь когда ему спустили еду: не жевать же строчки вместе с пищей!

Хотите верьте, хотите нет, только поэту тоже попала в мясо маленькая косточка, твёрдая и острая, как стальное перо. Сперва он её отбросил, однако тут же поднял, подбежал к стене и раз-другой царапнул по ней косточкой. Получилось что-то вроде белых кавычек.

– Ах, – выдохнул поэт, – как хорошо, что здесь всегда светло!

И торопливо вывел рядом с кавычками заглавие сочинённого во сне стихотворения.

А третьим обитателем Дома Умников стал солдат. Прозывался он Однопят.

Когда-то он был справным солдатом, да получил увечье – не на войне, на смотре. Дело было при короле Нивзубе Нагом. Он-то, Нивзуб, и посоветовал забить в пушку тройной заряд, чтобы стреляла втрое дальше. Пушка взорвалась; осколком металла солдату повредило ногу. Охромел он навсегда и, понятно, к строевой службе сделался неспособен. Перевели его в инвалидную команду при каком-то гарнизоне. Там и служил он до седых волос, а уже при Зариции попросился в отставку, думал приискать себе где-нибудь место сторожа. Ан вышла ему резолюция: рядовому Однопята в отставке отказать и направить одного рядового на такую-то пограничную заставу для несения дальнейшей службы.

Резолюция исходила не от армейского начальства, а от ведомства Распределения Справедливости. Слыхивать о нём служивый, конечно, слыхивал, только никак не думал, что оно может заняться рядовым инвалидной команды. Опечалился солдат. Ну, ничего не попишешь. Получил сухой паёк, личное оружие почистил, с товарищами простился и

похромал к месту дальнейшей службы.

Прибыл уже под вечер, отправился доложить начальнику заставы, а тот – тьфу, пропасть! – сидит пьяный. Не то, чтоб совсем лыка не вязал, но видно, что принял на грудь. Ворот расстёгнут, глаза мутные.

– Где прежде служил? – спросил он заплетаясь языком. – В инвалидной команде? Н-ну и чёрт с тобой. Всё-таки с-солдат. Как там тебя? Однопят? Н-назначаю тебя, Однопят, в ночной дозор. Пароль... а-а, на кой ляд он тут нужен. Пост в-вон там – указал начальник трясущейся рукой. – Шагом марш!

Что солдату оставалось делать? Молвил: «Есть!», отдал честь, развернулся, про себя ругнулся. И как был, не покушав, не отдохнув, поковылял на пост. А сам думает: «Куда я попал? Не застава – кабак!»

Невдомёк ему было, что и здесь недавно похозяйничало ведомство РАСПРАВ. Оттого начальник и заливал теперь горе. Позор какой, хоть стреляйся: его как выпивоху оставили в должности – почитай, отбраковали! А всех пограничников, бывших под его командой, услали – потому как те служили исправно – и перевели в писаря. На их место силой пригнали дюжину людей, оружием не владеющих вовсе: счетовода, учителя, ветеринара, портного, стеклодува, ещё Бог весть кого... И под конец решили – в смех, не иначе – прибавить к ним одного-единственного солдата. Инвалида.

Нет, Однопят всего этого не знал. Зато знал кое-кто другой.

... Достигалльский король уже давно интересовался обстановкой в Невоздании. Не зря к нему в любое время имел доступ министр разведки боем. Вот однажды король и спросил его, будто невзначай:

– Как у нашего соседа Завидия, то бишь Зариция, обстоят дела в армии?

Тот доложил:

– Стало быть, в армии у них такой же...э-э-э... разлад, ваше величество, как и везде! Не то что кадровых офицеров, но даже опытных солдат разгоняют!

– Ага, – кивнул король, – а вот, к примеру, как там у них с охраной границы?

Министр разведки боем и на этот счёт был осведомлен.

– Изнутри границу они охраняют очень даже хорошо – от своих, чтобы к нам не перебежали – а снаружи, стало быть, плохо. Да вот наши шпионы на днях донесли, что на одной невозданской заставе всю команду пограничников, кроме начальника-пьяницы, заменили штатскими. – И министр захихикал.

А король ему:

– Ой ли? Недурно бы это проверить делом.

– Война, ваше величество? – шепотом спросил министр.

Король достигалльский уставил глаза в потолок:

– Я разве сказал «война?»

– Никак нет, ваше величество!

– То-то же. Не война, а вылазка. Послать одного капрала да нескольких солдат. Если их того... не пропустят, то один разговор. Если же они пройдут – тогда другой коленкор. Тогда можно это самое... действовать дальше. Но учти – коли они попадут в плен, я их знать не знаю!

И чуть не в тот же день к границе с Невозданием стянули войска, сосредоточив их напротив злополучной заставы. Выбрали капрала – не слишком храброго, чтобы на рожон не полез, и не слишком трусливого, чтобы пятки сразу не показал. Растолковали ему задание и дали под начало двенадцать солдат. Подумал капрал: «Чёртова дюжина получается. И без того может выйти худо...» Но приказ есть приказ. Дождались они ночи и пошли.

... Стоит Однопят на посту час, другой... Голод его донимает, так он даже рад – голод дремоту отгоняет. Тучи на небе разошлись, появилась луна.

– Что, – сказал ей солдат, – ты тоже в дозоре? Вместе на посту постоим: ты в небе, я на земле... Ну, тебя поутру солнышко сменит. А меня?

Тут он верно угадал: начальник заставы и не подумал назначить ему смену. Как отправил в ночной дозор солдата, так и забыл о нём, а сам окончательно назюзюкался и завалился спать. И всё, что случилось той ночью, проспал.

... Смотрит Однопят – что такое? Луна с ним шутки шутит или ему с устатку чудится? На той стороне границы будто какие-то кочки виднеются. Раньше их не было. Протёр глаза, посмотрел снова – кочки-то движутся!

– Тревога! – закричал солдат и выстрелил в воздух.

На крик да на выстрел прибежали новоиспечённые пограничники, все двенадцать, – полуодетые, одни вовсе без оружия, другие держат ружья не за тот конец. Однопят им:

– Что стоите? Враг лезет, готовьтесь к бою!

Те спрашивают:

– А как?

Горе-войаки, подумал он, рывкнул: «Ложись!» и сам хлопнулся наземь.

Остальные послушались – тоже плюхнулись.

– Ружья на изготовку! – скомандовал солдат.

Но его сосед справа, толстячок в мундире шиворот-навыворот, растерянно сказал:

– Видите ли, коллега...

– Я хоть и калека, да стрелять умею! – огрызнулся солдат.

– Но мы-то не умеем, в этом вся проблема, – отвечал мундир-наизнанку, – а коллега означает товарищ по работе. Понимаете, нас не учили стрелять,

нас вообще прислали сюда только позавчера. Однако мы готовы драться врукопашную.

– Рукопашному бою обучены? – спросил Однопят уже без злости.

– Увы, тоже нет. Будем драться как сможем.

– Отползайте! – потребовал солдат.

Тут все двенадцать разом зашептали:

– Это ещё почему! Разве мы трусы?

Как дети малые, сказал себе Однопят. Бросил взгляд вперед – кочки уже не кочки, а будто ползучие холмики. Присмотрелся – то, сильно пригнувшись, крадутся люди. С ружьями наперевес.

И подумал он: «Быть сейчас кровавой бане. Ладно, я-то солдат. Но эти – необстрелянные, необученные... За что им такое?»

Тоска взяла служивого – хоть волком вой!

Тут его и осенило.

– Войте, – велел он. – Войте, коллеги! Кто как может, только громче!

И сам затянул: у-у-у!

Первым подчинился толстячок; как потом оказалось, в недавнем прошлом он был учителем и потому понимал важность дисциплины. Он тоненько завыл, и ему отозвался бывший ветеринар. Ну, у того вой получился отменный. С переливами! Потом взвыл стеклодув – малость фальшиво, зато громко; лёгкие у стеклодувов – что у трубачей. А там и остальные подключились.

...Одиночный выстрел с той стороны границы не особенно испугал достигалльского капрала с солдатами. Они были готовы к бою. Но не к вою.

Луна, как нарочно, зарылась в тучу. Стало совсем темно. И вдруг из тьмы навстречу нарушителям поплыл страшный, леденящий кровь вой, да всё низом, низом – точно из-под земли.

Они оцепенели.

– Подумаешь, собаки, – не слишком уверенно вымолвил капрал. – Пулями их накормим!

– Пограничные собаки лают, а не воют, – возразил самый старший из его солдат.

Другой, самый молодой, пролепетал:

– Это не собаки, господин капрал! Это... это оборотни! Или мертвецы!

– Молчать! – цыкнул капрал.

А вой всё громче, всё страшнее... Молодой солдатик затрясся:

– Господин капрал, ведь *их* простой пулей не возьмёшь, только серебрянной...

– Твоя правда, – нехотя признал тот. – У кого есть при себе серебрянные пули?

– Да откуда... – буркнул пожилой солдат.

Тогда капрал решил: «С людьми сражаться – куда ни шло. Но с нечистой, да к тому же ночью, пускай наш король сам воюет!»

И скомандовал:

– Кру-угом! Бего-о-м марш!

Никогда ещё эту команду не выполняли с такой охотой!

Едва оказавшись на своей стороне границы, капрал обратился к солдатам:

– Ну вот что: противник встретил нас массированным ружейным огнём. Вы – молодцы, отступили без паники и без потерь. Ясно?

– Так точно! – гаркнули те: не дураки были.

Вот капрал и доложил о доблестном отступлении офицеру, офицер – генералу, генерал – министру разведки боем, а уж тот – самому королю. Но поскольку отвечать за провал операции не хотелось никому, массированный ружейный огонь по ходу передачи сообщения превратился сперва в пулемётный, затем – в артиллерийский, и до короля известие дошло в таком виде:

– Наши воины в составе двенадцати солдат и капрала были встречены на границе ураганным артиллерийским огнём, после чего доблестно отступили без паники и без потерь!

Монарх кисло глянул на министра разведки боем:

– У соседа-то выходит, охрана границ поставлена как надо, и в армии не разлад, а полный порядок! Что же ты рассказывал, будто там разгоняют всех стоящих военных?

– Стало быть, разгоняют для отвода глаз, ваше величество! – не растерялся министр. – А потом снова сгоняют!

Король пожевал губами:

– М-да, покамест нам не след, наверно, с Невозданием это... связываться. Ладно. Капралу выдать медаль «За самые секретные заслуги перед отечеством» с тем, чтоб он носил её изнутри мундира и никому не показывал. Солдатам – водки, одну рюмку на всех. И ещё: шпионов за ложные сведения понизить в звании.

Медаль капрал снял уже через пару часов – неудобно, колется... Водки едва хватило, чтобы солдатам по губам помазать. Шпионов же в звании так и не понизили: что может быть ниже звания шпиона?

В Невоздании дело обернулось по-другому.

...Начальник заставы – не иначе как с похмелья – написал поутру донесение, из которого выходило, что простой солдат, к тому же инвалид, с горсткой вчерашних гражданских отбил ночью атаку то ли вражеской роты, то ли дивизии, то ли вообще целой армии.

Такое донесение, понятно, не могло не дойти до правителя страны.

– Как? Как он это сделал? – прочитав, ахнул Зариций.

– Верно, стратег-самородок, ваше величество, – отвечали ему. – Непризнанный гений военного искусства!

– Будет ему оценка по заслугам! – вскипел

король. – В Дом Умников его!

Когда за Однопятом приехали из столицы, он, грешным делом, решил, что его хотят представить к награде. Когда люди в странных, никогда не виданных им мундирах вели его из караульной будки Дома Умников вниз по лестнице, он уже догадывался, что его ждёт, но догадкам своим не верил. Лишь когда перед ним отворили дверь в камеру, увидел служивый, какую такую награду ему уготовили.

Его ткнули в спину, и он влетел внутрь. Хромая нога подвернулась; солдат едва не упал.

– Погодите, подлецы, – выкрикнул он, оборачиваясь, – вот узнает государь!

В этот миг из коридора выступил на свет стройный человек в сверкающих одеждах, в тонкой золотой короне.

– Государь знает, – промолвил Зариций почти мягко.

Солдата точно ударили прикладом под дых. Он только и смог выговорить:

– За что, ваше величество?

Ответа он не дождался, да так и стоял, уронив руки, пока дверь не закрыли.

Король опять провёл бессонную ночь. А солдат, когда его заперли, кулаком отёр глаза, скрежетнул зубами, улёгся на тюфяк, да и заснул. В первый раз за многие годы он проспал, сколько хотел. И ничего ему не снилось, а проснулся он оттого, что проголодался.

Вскоре ему спустили еду.

– Отличный паёк, – покусав, сказал Однопят.

Что правда, то правда: хлеб был свежайший, мягкий, мясо тоже. А что в мясе остренькая косточка попалась, так это хорошо. Пригодится, будет вместо шильца.

И солдат положил дочиста обглоданную косточку под тюфяк.

Однако неделю спустя пища уже не лезла ему в горло – помещение делало своё.

Сперва узник колотил в двери, громко требуя, чтоб его вывели на любые работы – пеньку трепать или камень дробить – и дали возможность покинуть на время эти стены. ...Потом стал просить, чтобы к нему в камеру кого-нибудь подселили – пусть вора или даже злодея, лишь бы рядом был живой человек.

...И наконец, принялся умолять своих невидимых тюремщиков, чтобы они отозвались, хоть бы выругались – только бы слышался человеческий голос. Солдат охрип почти до немоты, сбил кулаки до крови, но никакого отклика не получил.

Он попробовал молиться. Но ему всё казалось, что он обращается к самому себе.

И начал служивый мешаться в уме. Когда он пытался уснуть, шум крови в его ушах превращался в маршевый шаг огромной армии врагов. Чем крепче он зажимурился, тем яснее их видел: они шли

неведомо откуда бесчисленными полками, не таясь, не пригибаясь, с ружьями наперевес – прямо на него. Он размыкал веки, и враги исчезали, чтобы снова появиться, как только он опять попробует заснуть или просто прикроет глаза.

Настал день, когда узник не прикоснулся к пище, только глотнул воды.

На следующий день и миска, и кувшин вернулись полными.

На третий день Однопят даже не поднялся с тюфяка. Он лежал с открытыми глазами, но всё равно слышал мерный грохот шагов, теперь сопровождаемый барабанным боем и рёвом труб. Враги торжествовали победу. Что мог сделать один солдат против целой армии?..

И вдруг он услышал новый звук. Будто кто-то работал крохотным буравчиком.

Это пришли тебя вызволять, сказала ему подступающее безумие.

Это тебе мерещится, сказал слабеющий рассудок.

Солдат не знал, чему верить. Ему показалось, однако, что звук идет от ближайшей стены, а перекатившись на бок, он заметил кое-что ещё.

Ненавистная лампочка сейчас оказала ему услугу: при её резком свете он увидел, что в стене, над самым полом, появилась дырочка – будто от дробинки. На его глазах из этой дырочки высыпалось несколько песчинок.

Жук? Червяк? Да разве жуку-червяку под силу проточить камень?

Дрожащей рукой солдат поспешно нашарил под тюфяком припасённую косточку и принялся расковыривать её острым кончиком крохотное отверстие. Он даже не подумал, что может спугнуть неизвестного точильщика. Ему удалось расширить отверстие до полудюйма, прежде чем косточка сломалась.

Тут как раз с потолка спустилась миска с едой. Почти не понимая, что делает, Однопят отщипнул несколько мясных волоконцев, прибавил хлебную корочку с кусочком мякиша и сложил всё это под стеной, возле дыры. Потом лёг. Почему-то сейчас ему не явились никакие враги, и даже шум в ушах прекратился. Солдат сам не заметил, как уснул.

А когда проснулся, оказалось, что он уже не один.

У стены, подбирая последние крошки, суетился небольшой серый зверёк. Это была крыса.

– Живая тварь... – прошептал солдат. –

Господи, спасибо тебе!

Крыса, поджав переднюю лапку, замерла на месте. С полминуты они разглядывали друг друга. Глаза у крысы были как чёрные влажные бусины, уши – дымчатые, хвост и лапки – розовые, а на грудке виднелось белое пятнышко.

– Не бойся, – сказал ей Однопят.

Но крыса только сильнее испугалась, метнулась к

отверстия в стене и мгновенно в нём исчезла. Солдат испугался тоже: вдруг она никогда не вернётся? Однако к следующей кормёжке серая гостья появилась вновь.

Её ждали крошечная еда и чашечка из хлебного мякиша, наполненная водой.

Человек сидел, точно каменный, затаив дыхание.

Крыса приняла угощение. Каждый кусочек она сначала брала зубами, потом придерживала передними лапками и, усевшись столбиком, деликатно съедала.

Аккуратно вылакала из чашечки воду. А потом принялась грызть саму чашечку. Увидав это, Однопят не выдержал – засмеялся хрипло. Он и не знал, что ещё способен смеяться.

– Умница, – похвалил он, – чего провианту пропадать.

При звуке его голоса крыса вздрогнула и с недогрызенной чашечкой в зубах побежала к дыре, забавно крутя боками.

Но сейчас он был уверен, что она возвратится, и оказался прав.

С неделю спустя она отважилась взять еду из его руки.

– Умница, – повторил солдат.

Ещё через несколько дней он в первый раз её погладил. Погладил по спинке мизинцем. Она – ничего, не укусила, не убежала, только ушки прижала. Снова служивый промолвил:

– Умница!

Так он её и нарёк.

Скоро Умница совсем осмелела и полюбила играть с человеком: то легонько, нежно покусывала его пальцы, то вскарабкивалась на плечо, то забиралась в карман. Теперь она ела с его ладони, умывалась и чистилась, сидя у него на коленях, и больше не пряталась в норку. А когда солдат ложился спать, тёплым комочком устраивалась на его груди, будто кошка.

Так в Доме Умников появился четвёртый обитатель, – единственный, кто поселился там добровольно и без ведома владельца.

Последний отчего-то не торопился заполнить оставшиеся помещения. То ли в Невоздании перевелись гении, то ли они научились скрывать свою гениальность, то ли король полагал, что далеко не каждый из них достоин Дома Умников, только неделя шла за неделей, месяц за месяцем, а из двенадцати камер девять по-прежнему пустовали.

Что до наличествующих жильцов, то их благополучием его величество весьма и весьма интересовался. Каждый день спрашивал, принимают ли они пищу и воду. Принимают, отвечали ему. Стало быть, живы и не рехнулись – во всяком случае, не настолько, чтобы перестать есть и пить.

Год спустя Зариций не выдержал – сам отправился взглянуть, что же происходит на третьем,

нижнем этаже подземного здания за высоким круговым забором, обсаженным розами.

Сначала он решил проверить камеру Тарконта.

Давно, давно никто не отпирал её дверь. Однако брус засова легко скользнул в сторону, а электрический замок открылся от одного касания.

Правду сказал покойный Шиш: строители Дома Умников каждую мелочь сработали на совесть. Если, конечно, здесь можно говорить о совести.

Король знаком приказал охране оставаться в коридоре, шагнул внутрь – и на мгновение ослеп. Он успел забыть, какой пронзительный свет горит в камере. Невольно он зажмурился и вдруг услышал:

– А, это вы, государь.

Король приоткрыл глаза.

У стены напротив входа стоял исхудалый, обросший седой человек в донельзя заношенной одежде и спокойно смотрел на него сквозь очки.

Зариций попятился, не оборачиваясь, нашарил дверную ручку и дёрнул её на себя.

– В коридоре стоит моя охрана, – прошептал он.

– Позвольте им войти, – живо отозвался Тарконт. – Я тут кое над чем работал... как раз закончил. Им, пожалуй, будет интересно. А вам, государь, тем более.

Только сейчас король заметил, что на мутно-синих стенах камеры ярко белеют строчки формул, колонки цифр, какие-то графики...

– С вычислениями можно ознакомиться потом, – перехватив его взгляд, сказал узник. – Лучше взгляните на иллюстрацию.

Он указал рукой на стену, и Зариций увидел рисунок.

– Что это? Шутиха?

– Недурно, недурно, ваше величество. – Физик одобрительно кивнул королю, точно студенту.

– Очень даже недурно. Ведь тут изображена ракета. Летательный аппарат с реактивным двигателем, способный передвигаться в безвоздушном пространстве.

Король задохнулся, будто сам на миг попал в безвоздушное пространство:

– Ты... ты работал над этим *здесь*?

Учёный пожал плечами:

– Знания и очки оставались при мне. Нашлись и писчие принадлежности...

И он подбросил на ладони белый мелок. Нет, не мелок – то была маленькая белая косточка.

– Вы уж простите за исчерканные стены, государь, – прибавил Тарконт, улыбаясь.

– Как же он ошибся... – подумал вслух король.

– Кто?..

– Мой покойный знакомец... Неважно. – Зариций потёр лоб. – Что значит реактивный?

– О, это совсем простая штука...

Учёный пустился в объяснения. Король слушал внимательно и скоро сказал :

– Достаточно, я понял. Охране видеть такое незачем. Не их ума дело.

Он помолчал, будто собираясь с силами, и в конце концов выговорил:

– Твоя идея гениальна.

Физик слегка поклонился, и Зариция прорвало.

– Да, гениальна, – закричал он, – но неужто ты рассчитывал увидеть её воплощённой? На что ты надеялся? На мою смерть? На государственный переворот? На чудо?

– Все три предположения ошибочны, – сдержанно отвечал Тарконт. – На самом деле я надеялся... надеялся доказать, что моя идея осуществима. Я это доказал. – И он обвёл рукой испещрённые выкладками стены камеры.

– Кому доказал?

– Вопрос поставлен неверно. Речь идёт о научных доказательствах в виде точных расчётов.

– Ну, хорошо, – согласился Зариций, – подкрепил ты свою идею точными расчётами. А если теперь я прикажу, к примеру, тебя казнить?

– Казнь как дополнительное доказательство? – спросил узник без всякого страха, даже с некоторым интересом. – И что дальше?

– А дальше я пришлю сюда маляра...

– Смотрите, ваше величество, – предупредил Тарконт, – как бы маляр не оказался бывшим профессором физико-математических наук. В нашем государстве сейчас это вполне вероятно.

– Я выберу такого, – пообещал Зариций, – который не знает даже арифметики. Закрасит он твою идею вместе с расчётами, и ей конец!

– Законы природы, – возразил физик, – невозможно похоронить под слоем краски. Рано или поздно кто-то догадается использовать их таким же образом.

– Законы природы существуют с начала мира! И никто не додумался...

– Значит, человечество созрело до нового открытия лишь на нынешнем витке познания. Но всё-таки созрело.

– Человечество? Как бы не так! Один человек! Только твой гениальный ум...

– Найдётся конгениальный, – перебил Тарконт.

– Когда? Лет через сто?

– Возможно, – был ответ. – Не исключено также, что через пятьдесят лет. Или через год. Или через месяц. Кстати...

Учёный подошёл к королю вплотную, снизу вверх глянул ему в лицо и негромко спросил:

– Вы уверены, государь, что никто в целом мире не работает над чем-то подобным... в эту самую

минуту?

Король отпрянул и, не ответив ни слова, метнулся вон. Солдаты охраны изумились, когда его величество выбежал в коридор, рывком задвинул засов и на миг прислонился к двери, будто придерживая её. Потом, переведя дыхание, он шагнул к соседней камере.

На сей раз, входя, король рукой притенил глаза – и сразу встретился взглядом с обитателем помещения, стоящим у дальней стены.

Тот был вдвое моложе Тарконта, но за год их точно переделали на один образец. Грязная истрёпанная одежда висела на узнике мешком, чёрная кудлатая грива смыкалась с такой же бородой. Глаза казались ещё более выпуклыми из-за худобы.

– Ага, пожаловал, – прогудел ровный голос.

– За дверью ждёт моя охрана, – торопливо проговорил Зариций.

– Вижу, – усмехнулся Шмель, – ты не забыл нашего нежного расставания. Ладно, не бойся. Ведь сейчас ты у меня в гостях. Потчевать тебя, правда, нечем, зато почитать тебе кое-что могу.

Король уже заметил, что на стенах камеры белеют строчки: где одна, где две, где целые столбцы; некоторые зачёркнуты до полной неразборчивости, другие обведены кружком...

– Тут большей частью пустяки-черновики, – объяснил поэт. – Потом просмотришь. Ты лучше сюда взгляни. Только что завершил...

Он указал на дальнюю стену, где было начертано единственное стихотворение.

Зариций подошёл и прочёл. В стихотворении было двенадцать строк, и каждая разила наповал.

– Ты... ты сочинил это *здесь*? – ахнул он.

– А что было делать, если сочинялось именно здесь, – отвечал Шмель. – Грешен, стены исцарапал. Казённое имущество вволю попортил. Ну кто же виноват, что у меня оказалось столь острое перо!

И поэт подкинул на ладони маленькую белую косточку.

– Как же он промахнулся... – промолвил король.

– Кто?..

– Мой покойный приятель... Не суть важно. – Зариций махнул рукой. – Прочти-ка это вслух.

– Изволь...

Выслушав, король прошептал, обращаясь скорее к самому себе:

– Я запомнил всё...

Ненадолго он умолк, а потом вымолвил через силу:

– Это стихотворение гениально.

– Рад слышать, – хмыкнул поэт.

– Да, гениально, – закричал король, – но неужели ты рассчитывал, что оно увидит свет? На что ты надеялся? На мою смерть? На государственный переворот? На чудо?

– Неплохие варианты развития событий, – дерзко отвечал Шмель. – Но я надеялся совсем на

другое. На то, что мне удастся найти верные слова. Похоже, что получилось.

– Ну, хорошо. Нашёл ты верные слова, перелил в них душу. А если я сейчас прикажу, скажем, тебя казнить?

– Казнь в знак признания! – воскликнул поэт почти весело. – А что потом?

– А потом я пришлю сюда маляра...

– Смотри, – поостерег короля поэт, – как бы маляр не оказался бывшим литературным критиком. Нынче у нас в государстве это ох как возможно!

– Я выберу такого, – посулил Зариций, – который не знает даже азбуки! Краска покроет все верные слова вместе с черновиками, и конец твоему бессмертному творению!

– Как не так! – засмеялся Шмель. – Чтобы покончить с ним, тебе придётся покончить с собой.

– Что?

– Навряд маляр сумеет закрасить краской твою память. Или купоросом вытравить из неё мои стихи. Ты их запомнил. Значит, они будут жить по крайней мере столько, сколько ты сам. А главное...

Поэт подошёл к монарху вплотную, глянул ему в глаза и негромко спросил:

– Ты уверен, государь, что никогда не прочтёшь эти строчки вслух? Во сне? Во хмелю? В предсмерном бреду?

Зариций отшатнулся, и не молвив не слова, бросился вон.

Сейчас охрана изумилась ещё сильнее: его величество выбежал, спотыкаясь, с трудом задвинул засов на двери и привалился к ней, будто его не держали ноги. Так простоял он целую минуту, потом выпрямился и подошёл к третьей камере.

Тут ему представилось, что обитатель – тот самый стратег-самородок – наверняка разработал за этот год какой-нибудь гениальный план военных укреплений. Три стены покрыты набросками этого плана, а на четвёртой начертан только что доработанный окончательный вариант, и автор, любуясь, стоит рядом. Входя, Зариций заранее стиснул зубы.

Однако мутно-синяя краска стен оказалась нетронутой. Узник сидел на тюфяке, спиной к двери, и даже не заметил прихода короля. Не успел тот переступить порог, как услышал:

– Го-ол!

«Сей уж точно рехнулся!» – злорадно подумал король. И сразу же увидел, что ошибся.

На полу камеры действительно шла игра в футбол – правда, не совсем обычный.

Во-первых, вместо спортивной формы один из игроков был одет в солдатские штаны и рубаху, а другой, его соперник – в серый мех.

Во-вторых, сей соперник являл собой средних размеров крысу.

И в-третьих, спортивный инвентарь тоже имел непривычный вид. Две пары маленьких хлебных шариков обозначали ворота, а третий, побольше, служил мячом; как раз в настоящий момент крыса покатила его передними лапками прямо к воротцам соперника. Пару раз человек отбил хлебный мячик лёгким щелчком, а затем то ли зазевался, то ли поддался. Вот крыса толкнула мячик носом...

– Го-ол! – снова воскликнул человек с такой гордостью, будто он не пропустил этот гол, а наоборот, забил. – Ничья! Один-один! Ну поди, поди сюда, хорошая моя, спинку тебе почешу... Сырком, сырком бы тебя побаловал, – приговаривал он, поглаживая зверьку, – да сама понимаешь где ж его взять, коли паёк завсегда одинаковый...

Тут крыса вдруг тревожно пискнула и встала столбиком.

– Ты что? – спросил узник, и скосив глаза, увидел в двух шагах от себя королевские сапоги. Подхватив крысу одной рукой, солдат неловко поднялся.

– Здравия желаю, ваше величество, – сказал он просто.

Но его величество онемел от изумления и только переводил взгляд с грызуна на человека.

Этот узник так же отошал, как двое других, однако выглядел поопрятнее. Рубаха на нём (солдатский мундир, аккуратно сложенный, лежал в изголовье тюфяка) оказалась довольно чистой. Никак, он стирал её водой, подаваемой для питья? Отросшие волосы солдата были заплетены в косицу и перевязаны ниткой, длинные усы подкручены, даже борода приглажена.

Крыса с виду ничем не отличалась от своих бесчисленных сородичей, кроме белого пятнышка на грудке. Сейчас она сидела на запястье человека, будто ловчий сокол.

Зариций, обретя дар речи, даже забыл пригрозить узнику своей охраной и произнёс лишь одно слово:

– Откуда?...

Однопят понял и охотно объяснил:

– Она сама сюда пожаловала.

Он указал на стену. Да, там всё-таки имелась одна отметина – небольшая дыра над самым полом.

– Ход прогрызла, – продолжал солдат. – Зубы-то у ихнего брата что сталь. Ну, и я ей подмог, стенку подковырял со своей стороны...

– Косточкой? – догадался король.

– Так точно.

– Какого же он сваял дурака... – пробормотал король.

– Кто? – удивился Однопят.

– Мой покойный друг... Ладно, чёрт с ним. Как ты сумел выдрессировать эту тварь?

– Тварь-то добрая, – отвечал узник сухо. – И

умная. Её так и звать – Умница...

– А она об этом знает?

– Умница, – со всей серьёзностью обратился Однопят к своей крысе, – ну-ка, приведи себя в порядок, ведь к нам пришли!

И та принялась усердно умывать мордочку.

– Видите, государь, она всё понимает!

Зариций, сам не зная почему, протянул руку к зверьку. Крыса обнюхала его тонкие пальцы.

В глазах у короля мелькнуло что-то такое, отчего солдату вдруг стало его ужасно жалко.

– Погладьте, погладьте её, ваше величество, – предложил он.

Но король опустил руку, и лицо его потемнело.

– Зачем ты её приручил? – спросил он с отчаянием и злостью. – Зачем обучил всяким фокусам? Рассчитывал выйти отсюда и кому-нибудь её показывать? На что ты надеялся? На государственный переворот? На мою смерть? На чудо?

– Бог с вами, ваше величество, – отвечивал узник. – Фокусам я её обучил, чтобы было повеселее. И ей, и мне. Потому как мы с ней друзья-приятели.

– Друзья-приятели? – переспросил Зариций.

– А если я велю тебя...

Но страшное слово будто застряло у него в горле, и он выговорил иное:

– ...велю тебя избавить от подобной дружбы! Чтоб эту твою приятельницу – за хвост и об стенку! Ужаснулся служивый:

– Как можно, ваше величество? Она же человеку доверяет!

– Тем легче будет с ней разделаться, – улыбнулся король.

Солдат схватил Умницу за шкурку, сунул себе за пазуху, и бросил королю в лицо два слова, – нет, не ругательство и не проклятие. Он просто произнёс:

– Постыдитесь, государь!

И тогда...

И тогда по всему Дому Умников вдруг пронёсся пугающий гул – будто залопотало под ураганным ветром гигантское полотнище. Подземное здание задрожало...

Сперва удрали персонал, затем – королевская охрана. А сам король, то ли ахнув, то ли застонав, ладонями закрыл лицо, и ослепительный белый огонь, от которого померк электрический свет, побежал по его рукам, по плечам, по всему телу. Зариций обратился в горящий столб.

Солдат живо схватил свой мундир и бросился на помощь. Он знал, как надо тушить загоревшееся на человеке платье. Но здесь горело не платье, и напрасно Однопят пытался загасить, задавить пламя плотной тканью мундира. Меж тем ему самому оно не причинило ни малейшего вреда.

В несколько мгновений всё было кончено.

Тонкая золотая корона с тихим звоном откатилась в сторону. Нетронутые огнём королевские одежды с шорохом осели на пол. Под ними не осталось даже пепла.

И лишь потом понял солдат, что сгорел король Невоздании от стыда.

Поначалу Однопят стоял как потерянный. Хотел обнажить голову, но вспомнил, что головного убора на нём нет.

Полностью опомниться он не успел. Вдруг раздался страшный скрежет, дверь камеры накренилась и рухнула наружу. Почти тотчас весь коридор наполнился лязгом и грохотом.

Однопят отскочил к стене, прижался к ней спиной, осторожными шагами продвинулся к проёму и выглянул.

В коридоре не было никого. Но нельзя сказать, что там ничего не происходило.

Прочные дверные засовы один за другим разваливались на части: скобы, вроде бы вделанные намертво, выскакивали из стен; лишённые их опоры, падали тяжёлые деревянные брусы. Двери слетали с петель, рассыпающихся на глазах. Узнику на миг подумалось, что потолок сейчас тоже рухнет, да и всё сооружение провалится прямо в тартарары, – отсюда, должно быть, это рукой подать. Но нет. Когда дверь самого дальнего помещения грохнулась на пол, разрушение прекратилось, и всё стихло.

Немного придя в себя, Однопят обнаружил, что так и держит в руках свой мундир. Машинально натянул его, запахнул на груди. Тёплый комок копошился за пазухой, попискивал. Солдат прошептал:

– Ну, крысонька, попробуем...

Он заковылял прочь из помещения, и тут услышал шаги. Спотыкаясь, в коридор выбрались ещё два человека, оба обросшие и грязные, один – седой, в летах, с очками на носу, а другой чернявый, молодой, с глазами навывкате.

Все трое уставились друг на друга. Тот, что в летах, заговорил первым:

– Так я и предполагал. Здесь содержались ещё люди...

В этот миг у солдата из-за отворота мундира выглянула серая мордочка.

– Да тут и животные имеются! – заметил молодой.

Однопят повертел головой туда-сюда, увидел, что все камеры теперь пусты, и подытожил:

– Людей три человека. А животная одна.

– Что произошло? – непонятно кого спросил пожилой, оглядывая царивший вокруг хаос.

– Землетрясение? Картина, правда, нетипичная...

– А может, конец света, – беззаботно бросил молодой.

– Навряд, – сказал солдат. – Мир-то вроде ещё стоит.

– Простите, – продолжал седой, – вы оба – не сон? И ещё мне кажется, что здесь побывал король. Он даже грозился меня казнить.

– Если это сон, то общий, – отозвался чернявый.

– Я тоже видел короля и слышал от него те же угрозы.

– Был король, был, да вышел весь, – изрёк солдат так мрачно, что те двое воскликнули в один голос:

– Что это значит?!

– Потом расскажу, – заторопил их Однопят, – пошли отсюда, ребята, пока путь свободен!

– А мои расчёты?! – вскричал тот, что по-старше.

– А мои стихи?! – завопил тот, что помоложе.

Солдат, конечно, ничего не понял, так что отвечал наугад:

– Наверху запишете, наново!

И, одной рукой крепко взяв за локоть седого, другой – чернявого, потащил их, слегка упирающихся, к лестнице. На ходу он попытался рассказать, что случилось с королём. Те двое так и ахнули.

– Возможно, шаровая молния... – предположил седой.

– Самовозгорание человека! – решил чернявый.

Солдат промолчал.

Поддерживая друг друга, они поднялись наверх и свободно вышли из Дома Умников тем же путём, каким когда-то их втащили туда – через караульную будку, сейчас никем не охраняемую. Она оказалась неповреждённой.

Стена с железными воротами тоже была цела.

Но великолепные розовые кусты, выращенные вокруг неё, теперь валялись на земле, поджав корни.

Что-то сместилось в мире. Может быть, именно поэтому он всё ещё стоял.

... Погибель короля поначалу привела подданных в смятение. Во-первых, никто не мог понять, что всё-таки с ним произошло. Споры в научных кругах и слухи в народных массах на этот счёт не утихли до сих пор. Во-вторых, не то, чтоб Зариция оплакивали, просто люди растерялись, оставшись без правителя. Наследников у покойника не было. Где же взять нового монарха?

Тогда-то жители Невоздании спросили себя и друг друга: а надо ли? Дурен король – подданным мучение на много лет, а если даже хорош... ведь этот, последний, поначалу был – лучше некуда, и вот как всё обернулось. Ну их совсем, королей!..

– Кто же будет нами править? – возник резонный вопрос, и тут же нашёлся ответ:

– Сами собой будем править. По очереди.

– А давайте попробуем!

– А давайте!

И стала с тех пор Невоздания – республика.

Службу РАСПРАВ разогнали первым же указом. С перепугу её бывшие бойцы в ближайшую ночь посжигали свои мундиры. Ну, а дальше? Надо на жизнь зарабатывать, только на какую работу возьмут с такими навыками? Да и что обычная работа в сравнении с их недавней службой? Взяли они и всем скопом подались за границу: может, какому-нибудь иноземному правителю понадобится их опыт? И не вернулись. Верно, их и вправду кто-то нанял, и в другой стране теперь тоже есть Служба Распределения Справедливости, то бишь Служба РАСПРАВ. Разве что называется она как-нибудь иначе.

Долго думали новые власти Невоздании, как поступить с Домом Умников. В конце концов там устроили музей ужасов отечественной истории. Посещают его, правда, всё больше иностранные туристы, а из местных – только школьные экскурсии. Остальных что-то не тянет.

Золотые монеты с профилем последнего короля вскоре изыали из обращения. Это теперь за такой золотой нумизматы готовы отдать целое состояние.

А все мастера страны вернулись к своим искусствам и ремёслам.

Инженер Крептер возвёл ещё полдюжину мостов, один лучше другого; но на тот, на котором он стоял когда-то рядом с королём, больше не то что ступить – смотреть не хотел.

Те трое, что при Зариции были сообщниками-бунтовщиками – врач, фармацевт, и гончар – стали партнёрами и открыли гомеопатическую аптеку. Она существует и по сей день, и лекарства там отпускают не иначе как в глиняных кувшинчиках ручного производства.

Физик Тарконт всю оставшуюся жизнь совершенствовал свой проект ракеты. Увы, ещё долгое время стране было не до полётов в безвоздушном пространстве. Лишь через много лет по смерти учёного взмыл в небо серебристый аппарат невиданной конструкции и красоты – *Тарконт-1*.

Поэт Шмель продолжал сочинять стихи. Однако ни одно его творение не обрело такой славы, как те двенадцать строк. Народ превратил их в песню; её распевали и продолжают распевать по всей стране, даже перевели чуть ли не на все иностранные языки. Вот только об истинном авторстве текста почему-то забыли. Ещё при жизни поэта песню стали именовать народной.

Сам Шмель, бывало, интереса ради спрашивал исполнителей:

– А слова чьи?

– Как чьи?! – возмущались те. – Народные! Так он даже не спорил, только смеялся.

Напрасно его уговаривали друзья, знающие правду:

– Обратись в суд, добейся восстановления справедливости, тебе ведь и авторские полагаются...

– Какие ещё авторские, – отвечал Шмель. – Народ присвоил себе мои слова. Это ль не награда? Кто их, поэтов, поймёт...

А вот солдат Однопят не вернулся к прежнему занятию, то есть в армию. Вышла ему от новых властей долгожданная отставка с выдачей на руки разовой суммы в размере годового жалования. Но искать место сторожа он раздумал. Сделался уличным артистом. Купил на полученные деньги шарманку, новое платье, сапоги попрочнее, а ещё – дорожный посох; взял свою верную Умницу и стал ходить по ярмаркам да базарам, по площадям да перекрёсткам: шарманку вертел да учёную крысу показывал. Людей сходилась немало. И то сказать: было чему подивиться.

Крыса пролезала туда-сюда через медный браслет, танцевала под шарманку, встав на задние лапки, умывалась по команде, и, конечно, играла в футбол со своим другом, человеком.

А затем начиналось самое чудесное.

Однопят доставал закрытый деревянный ящичек с маленькой – как раз крысе пролезть – круглой прорезью. Внутри лежали сложенные квадратиками бумажки с предсказанием судьбы, именуемые «счастьем». Приобрести «счастье» можно было за одну монету; какую – это уж каждый решал сам. Кто-то платил грош, кто-то серебряный пятачок, а кто-то и полновесный золотой. Деньги отдавали Умнице: та зубками брала монету и перекладывала её в ладонь шарманщика, а потом вытаскивала из ящичка бумажный квадратик.

Подумаешь, чудеса, скажете вы. Чуть не всякий шарманщик держит при себе ручную зверушку или птицу, которая обучена вытаскивать из ящичка листочки с предсказаниями, причем последние составлены так, что толковать их можно как угодно. Что ж, предсказания отставного солдата (он сам писал их) вправду могли означать всё, что угодно. Кроме плохого.

Они гласили:

«Скоро тебе повезет».

«Не отчаивайся; придёт к тебе радость».

Или совсем просто:

«Всё будет хорошо».

Нехитрое дело, конечно, – посулить такое. Но в том-то и штука, что немудрящие эти предсказания всегда сбывались.

С каждым человеком, получившим от хромого шарманщика и ручной крысы бумажное «счастье», очень скоро случалось именно то, что было для него настоящим счастьем.

Кто-то находил работу, о которой мечтал, а кто-то –

доброго мужа или славную жену. К одному приходило вдохновение, а к другому являлся мириться сосед. Кто-то выигрывал в лотерею, не так много, чтобы потом всю жизнь бить баклуши, но достаточно, чтобы открыть своё дело – иногда театр, иногда магазин. А у кого-то выздоравливал безнадежно больной ребёнок... По городу пошли слухи. Теперь появление Однопята всюду собирало толпу. От желающих приобрести чудесный бумажный квадратик не было отбоя, но оказалось, что это не всегда возможно.

Иногда крыса, пошуршав в ящичке, вылезала наружу ни с чем. Вид у неё при этом был очень грустный. Однопят возвращал покупателю деньги и разводил руками:

– Прости. Видно, нет на земле того, что нужно тебе для счастья.

Ещё бывало, хотя и редко, что Умница вообще отказывалась брать у кого-то монету, пускай даже золотую. Человек уходил разъярённый, а зрители упрекали Однопята:

– Зачем же так?

Но шарманщик только хмурился и бормотал себе под нос:

– Так оно лучше будет. Недоброе ему надобно счастье, недоброе...

Зато порой люди, которых он и не помнил вовсе, подходили к нему и благодарили, в гости зазывали, в пояс кланялись: дескать, он сделал их счастливыми.

– Да это не я, – отнекивался Однопят, – это всё крыска моя!

– Выходит, она волшебная? – шепотом спрашивали те.

Бывший солдат усмехался в свои пышные усы (после Дома Умников бороду он сбрил, а усы оставил, только подравнял) и отвечал:

– Не то чтобы волшебная, просто она – Умница! Иногда он соглашался погостить денёк-другой у кого-то из этих людей, и хозяева начинали его уговаривать:

– Оставайся у нас насовсем. Будешь жить в добре да в почёте, и зверька твоего станем холить-лелеять, кедровыми орешками кормить.

– Благодарствую, – отвечал гость, – но я на чужих хлебах никогда не жил и не собираюсь. На прокорм да на постой мы всегда заработаем, правда, крысонька?

– Да ты подумай, – уговаривали его, – что за радость под старость лет скитаться по свету? Оставайся, будешь у нас вроде родного дедушки.

Но Однопят отказывался, говоря:

– А кто же будет разносить счастье?

Так он прожил лет шесть. Ночевал если не в гостях, то в каком-нибудь трактире; своего угла не имел. А днём его видели то на окраинах, то в центре города: в руке посох, за плечами вещевой мешок, на одном плече шарманка, на другом – Умница.

Знающие люди утверждали:

– Крысы так долго не живут. Первая, верно, давно померла, а он другую поймал, приручил да обучил. Знатокам возражали те, кто привык верить своим глазам:

– Это та же самая. Можно узнать по примете – у неё на грудке белое пятнышко.

Но все сходились на одном – крыса такая же необычная, как и её владделец.

Как-то под вечер Однопят зашёл в небольшой пригородный трактир. Спросил ужин и комнату для ночлега. Настоял на том, что заплатит вперёд, хотя трактирщик, который никогда его прежде не видел, но был о нём наслышан, поначалу не хотел брать с него ни гроша.

Других посетителей в этот вечер в трактире не было. Однопят сперва накормил крысу, потом сам отужинал под рюмочку наливки. Со стола убирала рыженькая девочка лет семи, дочка хозяина. Она унесла пустую посуду, потом вернулась и робко попросила шарманщика:

– Дедушка, дай мне счастье...

И протянула золотой.

Умница осторожно взяла его зубками, передала Однопята, и тот вздрогнул. На монете был изображён в профиль красивый молодой человек в короне.

– Откуда это у тебя, дитя? – спросил Однопят.

– Крёстная на зубок подарила, – ответил за дочку отец, протиравший столы.

Бывший солдат вздохнул и, глядя на монету, пробормотал что-то непонятное:

– И всей-то славы...

А потом добавил:

– Теперь-то я мог бы ему помочь...

Он немного подержал тяжёлый золотой кружок в ладони, будто согревая его, и вернул девочке.

– Сохрани это, дитя. Мы с Умницей и так дадим тебе счастье.

Однако ящичек был пуст. Содержимое, как всегда, раскупили. Однопят вынул из кармана карандашик и один-единственный листок бумаги, секунду помедлил, потом что-то нацарапал на листке, сложил его квадратиком и сунул в ящичек. Крыса добросовестно шмыгнула внутрь и вынесла «счастье» девочке.

Развернув его, та прочла по слогам:

– Не сто-ит пла-кать.

– Вот видишь! – засмеялся трактирщик. Он был вдовец и души не чаял в единственной дочке. – Значит, найдётся твоя кукла! Спасибо, сударь!

Пропавшая кукла действительно отыскалась в тот же вечер, – уже после того, как Однопят удалился на покой, – и девочка была на седьмом небе от радости. А наутро гость не вышел из отведённой ему комнаты. Подождав, хозяин решился заглянуть к нему сам. Приоткрыв дверь, он услышал отчаянный писк и

увидел, что крыса бежит по полу, натываясь на мебель, будто ослепшая или отравленная.

Однопят не слышал её. Он лежал на постели и спал – вечным сном.

Хоронили шарманщика всем городом. Никакой министр похоронных дел не смог бы устроить ему такого погребения. Люди несли гроб на плечах, сменяя друг друга. Следом первой шла рыженькая девочка; она не плакала. На руках у неё сидела притихшая Умница.

Девочка очень хотела взять её себе, но того же хотели чуть не все жители столицы – и взрослые, и дети. Зачем и почему – это уже другой вопрос. Одни предлагали бросить жребий, другие говорили, что чудесная зверушка должна сама выбрать себе нового владельца – точнее, друга. К кому она сама подойдёт, у того и будет жить. Немного поспорив, люди решили ничего не решать до окончания похорон.

Решать им ничего не пришлось. Когда всё было кончено, крыса соскочила с рук девочки, подбежала к заваленному цветами могильному холмику, встала столбиком. И на глазах у множества людей – исчезла. Только белая шерстинка – или, может быть, пушинка – какое-то время ещё плавала в воздухе. А потом её унёс ветер.

2009 – 2010





Инна Мельницкая
МИТЬКА



Мне приснился Митька – маленький, семи - восьмилетний, каким я его не знала. Он спал. Тёмные волосики прилипли к влажному детскому лбу, чуть шевелились от дыхания чёрные гусенички ресниц.

Во сне я знала: он проснётся и станет быстро-быстро расти, неудержимо, стремительно проходя короткий путь, отмеренный ему судьбой. Какой-то шумный маленький приятель вертелся рядом, и я боялась, как бы он его не разбудил, потому что знала: с момента пробуждения – с той самой минуты – начнёт неумолимо сокращаться пространство его времени. Но Господи – как мне всё-таки хотелось, чтобы он открыл глаза!

Увидеть в них радость узнавания, почувствовать, что мы по-прежнему то же, чем были друг для друга... То же – а что? Ведь нет такого слова, я не знаю названия радостной общности, объединявшей нас в том светлом полёте, прекрасном свободном парении, который поднимал нас туда, туда – в высоту, продуваемую ветром, пронизанную солнцем.

Что это было? Это были МЫ!

Между нами была большая разница в возрасте – я была намного старше, зато Митька был на голову выше, но души наши были одного роста, и мы видели всё одними глазами. Нам не надо было слов, чтобы понимать друг друга. Мы могли полчаса идти рядом – и вдруг он говорил, вслух отвечая моим мыслям: «Да нет, не может быть,» – или – «Ну конечно, всё правильно!»

Наверное, мы возникали вместе и должны были родиться одновременно, но какой-то недобрый тектонический сдвиг разъединил наши половинки и выпустил в жизнь с таким интервалом.

Как он вошёл в мою жизнь?

На какой-то перемене меня поймала Вера Ивановна, преподававшая у нас немецкий. Не знаю, почему она выбрала именно меня.

– Послушайте, Инночка, вам ведь не помешает немножко подработать? У меня есть для вас ученик: хороший мальчик, из хорошей семьи. Отец – профессор, мать – доцент, очень милые люди. Подумайте, не отказывайтесь!

Мне очень не хотелось, чтобы на наш убогий чердак явилась важная профессорша и сытый

профессоренок – но как отказаться от заработка, когда дома голодно и каждая копейка на счету?

Я нехотя согласилась, и назавтра они пришли – русая большеротая женщина в неброском пестрёмком платье и долговязое чудо в синем лыжном костюмчике. Никакой вальяжной дамы-профессорши, никакого сытого профессорёнка – просто два улыбчивых очкарика. И сразу стало легко, и не надо было никем казаться – можно было быть самой собой.

– Ну вот, – сказала Галина Ивановна, – насчет оплаты вроде договорились, а в остальном вы сами поладите.

Мы действительно поладили – раз и навсегда.

Мы сидели друг против друга, как два веселых щенка: нас объединяла щенячья радость познания, неутолимая жажда открытий и неодолимая потребность немедленно ими поделиться. Наверное, я была никудышным учителем, но мне самой было так интересно пробиваться к значению слова, слой за слоем снимая срезы его оттенков, я так упивалась стройной логикой языка и наивным очарованием отступлений от этой логики, что Митька невольно заражался моим восторгом. Я решила отказаться от пресных текстов учебника: мы смаковали парадоксы Уайльда, разбирали по кирпичикам и снова воссоздавали его отточенные фразы – и каждый чувствовал себя немножко Богом – точнее, языкотворцем.

Иногда мы отрывались от стола и выходили в мир. Нам нравилось превращать всё окружающее в английские слова и отделять себя от других прозрачной стеной непонимания. Нам было забавно и уютно в этом ограждении. Но уроки переставали быть уроками, мы больше не были учителем и учеником, это было совместное познание – а то, что я на корпус шла впереди – ну что ж, так бывает. За это нельзя брать деньги – и, как ни трудно было, я отказалась. И меня поняли: за дружбу нельзя платить. И сразу стало легче. Всякий раз, удивляясь любому новому открытию, каждый тащил находку другому, чтобы радоваться вместе.

Я забыла сказать, каким он был, Митька. Высокий, лёгкий, он нёс широкие плечи, чуть приподняв и

подав их вперёд, словно готовясь сейчас, сию минуту что-то сделать или сказать, и мохнатые близорукие глаза под длинными, взлёт, бровями смотрели весело и точно.

Меня всегда занимало, как, чем и в чём мы так удивительно похожи – при всей внешней непохожести. Мне нравилось смотреть на наши руки. Они казались мне отдельными существами, живущими своей, обособленной, таинственной жизнью. Это было так интересно – когда они лежали на столе, друг против друга: Митькины, большие, белые, сильные руки пианиста, с широкой, сухощавой ладонью, и мои – гибкие, смуглые зверьки, плавно перетекающие из круглого запястья в узкую нежную кисть, Но пальцы у нас были одинаково тонкие, длинные – скорее, длинные – такие говорящие руки!

Однажды Митька выманил меня в гости. Кажется, это был день рождения отца... Я шла к ним с робостью: половина гостей были учёные с европейской известностью – это были УМЫ, и я казнилась сознанием собственной несоизмеримости с ними. Митька меня успокаивал, что сам с малых лет участвовал в таких сборищах – сначала под столом, потом за столом – уже на равных. И я согласилась – в конце концов, пусть под столом...

Но страхи оказались напрасными. Меня приняли так, словно я была лучшим подарком имениннику – как будто только меня и ждали.

Такой это был дом.

Тут всё было большое и надёжное. Громадный, как Кельнский собор, резной буфет, громадный кожаный диван, на который можно было забраться с ногами и уютно потеряться в уголке, глубокие книжные шкафы и полки до самого потолка, дубовый письменный стол с мраморным чернильным прибором, по которому бежал шустрый мраморный зверёк, то ли куничка, то ли горностаи. Тут всё было настоящее – и вещи, и люди, и меня здесь приняли.

Митька поступил на радиофизический. Он учился жадно и радостно, и с царской щедростью делился со мной всеми открытиями, которые сам переживал. Я окуналась в таинства квантовой механики и нелинейной оптики и, ошалело отфыркиваясь, выныривала на поверхность, захлёбываясь непостижимой красотой человеческой мысли. Убогий мой экстернат лишил меня свободы на просторах точных наук: я едва способна была оценить абстрактное изящество идеи – но и этого было немало! И каждый раз, одарив меня очередным откровением, Митька был горд и счастлив, как несущка, только что положившая тёплое, смуглое яичко в соломенный уют гнезда.

Однажды его одноклассники выследили нас в парке: мы сидели на скамейке, и Митька вдохновенно чертил прутиком какой-то график на песке дорожки. Назавтра вся группа умирала от хохота, когда согладала в лицах показывали, как Митька объясняется со

своей девушкой. Он сам смеялся, рассказывая мне об этом, и я видела, что ему почему-то приятно, что меня приняли за его девушку.

А потом грянула беда. Он заболел гриппом, неделю провалялся с высокой температурой, потом температура упала, но не до нормы. Пошла вторая неделя, третья – а грипп всё не проходил. Дежурная флюорограмма не вызвала тревоги, но мать заволновалась и потащила Митьку к знакомому рентгенологу. Снимок лёгких показал каверну, анализ мокроты – БК+. В тубдиспансере Митька продолжал заниматься: отпрашивался на контрольные, сдавал зачёты. Туберкулёз обнаружили у соседской Нели. Семьи дружили: дети росли вместе, вместе ели и пили, и теперь Митька казнился, что, может быть, она заразилась от него: ведь никто не знал, сколько времени до того у него таился открытый процесс.

Когда через полгода туберкулёз нашли у меня, я не испугалась и не удивилась. Нет, я ни секунды не думала, что заразилась от Мити. Просто по справедливости и не могло быть иначе: раз общая радость, так и беда одна.

Процесс у Митьки был упорный – но таким же упорным был он сам. Об академотпуске и слышать не хотел – какой там академотпуск? Всю сессию сдал на пятёрки. После каждого экзамена забегал ко мне и мы «шли на Москву»: вверх по Сумской, по Белгородскому шоссе, мимо пограншколы, Бакинститута, вдоль строя старых тополей – пока хватало духу и времени: к вечеру Митьке надо было возвращаться в тубдиспансер.

Он знал каждую травинку, каждый кустик – это было в нём от родителей-биологов. Ещё маленьким они брали его с собой в экспедиции, приобщая к тому необъятному, прекрасному в каждой мелочи, что привычно именуется затасканным сочетанием «родная природа». Им она была по-настоящему родной, и Митька был приучен общаться с ней породственному: каждого паучка, каждую бабочку он знал пофамильно.

Вырываясь из больничных стен, где так тоскуешь по красоте, он упивался запахами, шорохами, шелестом, бесконечным разно-образием – формой листьев, оттенками зелени, строением цветка – полевой гвоздики, незабудки, гусяного лучка, лаковыми листьями копытника, резными – лютика, густым пурпуром крокодилки... И здесь срабатывал неизменно великодушный петушинный рефлекс: «Смотрите – я нашел! Вот оно какое!»

У нас было общее пристрастие – к высоте. Не к возвышению над другими – это было нам ни к чему, – а к той высоте, которая открывает перед тобой, вокруг тебя такие дали, что дух захватывает. Бугры, холмы, триангуляционные вышки – всё это обладало для нас неодолимой притягательностью: вот взобраться, вскарабкаться – и, распахнув душу, замереть, захлебнуться простором!

Потом я сама угодила в больницу, и

Митькины родители выкрадывали нас обоих: его из тубдиспансера, меня – из студенческой.

Подгоняли «Маняшку» – старенькую «победу», самого первого выпуска – я выскальзывала с чёрного хода, на мой больничный халат накидывали Митькину курточку с капюшоном – и умыкали. За городом буйно цвёл терен, тоненько гудели первые ленивые комары, лопотала молодая листва. Мы возвращались в свои узилища тем же порядком: сначала завозили меня; сбросив курточку, я ныряла в открытую дверь чёрного хода. Через минуту «Маняшка» легонько, словно невзначай, твякала под окнами моей палаты – это был «салют наций». Прощальные взмахи рук – Митькина улыбка – и снова больничные будни. Но – в палате остается ветка цветущего тёрна в молочной бутылке и слабый, нежный запах весны...

Так оно всё и шло: больница, тубдиспансер, время от времени побеги на «Маняшке», радость общения с деревьями, лужицами...

И вот — удивительное дело: всё это вспоминается светло, как постоянное ожидание радости. И в Митькиных письмах тоже: «Вчера сбежал из санатория в лес, на лыжах. Лес тут сосновый, летом однообразный – а зимой хорош! Такую полянку нашёл сказочную – сбегаем когда-нибудь?..» Или: «Ага, а у меня тут такая вышка обнаружилась триангуляционная – просто умереть-уснуть! Куда там той, нашей, в Даниловском лесничестве! Тут лезешь-лезешь, лестница почти отвесная – и конца ей нет! А зато как выберешься на самый верх – аж под лопатками защекочется: чувствуешь, как крылья растут. Непременно слазим вместе! Так и быть, возьму Вас – я добрый!»

Он не умел радоваться в одиночку.

Однажды вечером, в конце апреля, к нам забежала Галина Ивановна:

– Инночка, я к вам посланником от мужского населения. Завтра к шести утра будьте готовы: едем в Крым.

Я оторопела:

– Как в Крым? Куда – в Крым?

– На Маняшке, к моречку. И Инночка с нами.

– Господи, я же в трамвае укачиваюсь! И температура у меня...

– У всех температура. В Крыму пройдет.

– Укачаюсь я, – обреченно проямлила я.

– Никак нет, Митька не позволит.

– Ой, не знаю...

– Ну, ладно. Ночь на размышление.

В шесть утра тихонько вякнул дверной звонок. За дверью – утренний, сияющий Митька.

– Едем?

– Едем.

Перехватил рюкзак, поминутно оглядываясь на меня, скатился по лестнице. Во дворе умытая,

улыбающаяся Маняшка, за рулём довольный Папик в чёрной узбекской вышитой тубетейке на бритой голове:

– «Налечу, загремев бубенцами, и тебя на лету подхвачу!..»

Я умищаюсь на заднем сидении рядом с Галиной Ивановной, и мы выкатываемся из обыденной жизни в песню, в сказку – неведомо куда...

Вы знаете, что такое Крым в предвкушении мая и в самом его начале? И – что такое предвкушение Крыма?

Маняшка катится по степи споро и весело. У меня к ней особое отношение. На мой взгляд, нет машины вернее и надёжнее, чем старая «победа», – как нет собаки мудрее, отважней и преданней, чем фокстерьер. Есть мощнее, красивее, есть престижнее – сколько угодно, но т а к и х – нет. И она меня тоже любит. В любой другой машине я укачиваюсь до дурноты – но Маняшка несёт меня нежно и бережно. Митька, сменивший отца за рулём, время от времени оглядывается – в порядке ли? не укачалась? – и, убедившись, что в порядке, довольно задирает нос. В эти минуты он похож на скрипача – артистизмом, плавностью движений и единством с инструментом.

Степь, сбрызнутая алой кровью диких тюльпанов и маков, отматывается назад, как рулон полотна, небо седеет от обилия света, потом затягивается дымкой. Откуда-то набегает мелкий и совсем не мокрый дождик – так, просто порыв влажной свежести, – и в воздухе вдруг ощущается тонкий, едва уловимый, очень знакомый запах. Пахнет непонятно чем, но так тревожно и нежно...

Мы останавливаемся размяться и перекусить, я бдительно оглядываюсь – нигде ничего, – закрываю глаза и слепо иду на запах.

– Инка! Слушайте, что с ней происходит?

А я обнимаю телеграфный столб. Миленький! Отсырел – и вспомнил, что был кипарисом. Вспомнил – и вдруг запах!..

Я не жадная, я всем даю его понюхать, все ахают и смеются, и долго потом вспоминают, как Инка нюхала телеграфный столб.

Так начинается Крым.

Что следует затем, рассказать просто невозможно. Лиловая пена глициний на жёлтом песчанике, на сером диорите, золотой дождь раkitника, сочный пурпур иудина дерева и всякая мелкая прелесть, цветущая под ногами, хрустальные брызги прибоя в прибрежных камнях, резкие крики чаек – и воздух, напоённый ароматами и такой лёгкий, что кажется – не надо ни вдоха, ни выдоха, он сам проникает в лёгкие, тихонечко их расправляет, делая тело радостно невесомым, как воздушный шар...

Флаги расцветивания на кораблях Севастополя, огни праздничного фейерверка над Графской пристанью, гаснущие у памятника

затонувшим кораблям; дремлющие на солнце львы у Воронцовского дворца, корона Ай-Петри над Алупкой, усталый медведь Аю-Дага, припавший к сине-зелёной воде – и всё это в головокружительном счастливом цветении – утро мая в Крыму...

Маняшка, отфыркиваясь, глотает невеликие крымские километры, перенося нас от радости к радости – и вот перед нами уже Кара-Даг, его зубчатые скалы, его уютные бухточки со смешными названиями и крохотными пляжиками, где среди нарядных камешков бегают бочком шустрые маленькие крабики и хлюпает, заботливо умывая позеленевшие камни, холодная, весёлая вода.

Мы с Митькой бродим вдоль берега, пьём из ладошек свежую до ломоты в зубах воду, сочащуюся из расселины (мудрый Митька ткнул в щель тоненький прутик, и вода сбегает по нему сверкающей струйкой), он пудрит мне обгоревший нос мягким крымским известняком – и нет на свете ни ТБЦ, ни палочек Коха, ни разницы в возрасте, ни черных, зловещих рентгенограмм.

На Карадагской биостанции нас встречают, как самых дорогих гостей, потому что нет такого места в нашей большой стране, где биологи не знали бы Митькиного отца – хотя бы понаслышке.

А поздно вечером, в кромешной темноте аллея парка Крымского Приморья (или Южных Культур?) мудрый волшебник в чёрной тюбетейке нежно разговаривает с засыпающими птицами на разных птичьих языках, и птицы откликаются ему чистыми, звонкими голосами.

– Слушайте, – восклицает Митька, – а у Инки волосы пахнут лугом. Нет, правда, – какими-то травами!..

Запахи – они живут в памяти дольше, чем краски...

А потом мы возвращаемся домой, в Харьков, потому что праздничные дни, как и всё на свете, имеют конец. Митька ведёт машину бережно и осторожно, чтобы не расплескать то драгоценное, что мы увозим с собой. Только, по-моему, он напрасно осторожничает, потому что оно неистребимо – это чувство нерасторжимой общности четверых людей – и Маняшки, устало улыбающейся свежесмытой мордой, и серой ленты шоссе, и сияющей чаши моря, и тёмных кипарисов, и летящих сосен, и гроздьев глициний, и случайного паруса на горизонте – всего, что называется Крымом, пока другое, исчерпывающее название еще не найдено.

И кажется, что позади у нас не неделя, украденная у будней, а целая сверкающая жизнь, каким-то добрым чудом доставшаяся нам в придачу к той, что отпущена каждому от рождения, – той, в которую, как в тёмную воду, мы вступаем, возвращаясь домой.

Снова ложатся на плечи учеба, работа, забо-

ты. Митька сдаёт очередную сессию и уезжает в очередной санаторий. Теперь врачи им довольны и говорят, что ещё немножко – и можно будет делать операцию – серьёзную операцию с красивым названием – к а в е р н о э к т о м и я. Митьке отрежут ту долю лёгкого, где сидит проклятая каверна, и выбросят вон вместе с туберкулёзом, и жизнь станет ещё лучше – даже представить невозможно, какой она будет, эта жизнь!

Нас швыряет в разные стороны, но это ничего не значит, потому что есть почта, есть телеграф, есть, наконец, телефон – не всегда, правда, достигаемый, и почти каждая неделя приносит прекрасные Митькины письма написанные гадким Митькиным почерком, так что мы всё равно рядом, независимо от того, где проштемпелёван конверт: Черкассы, Москва, Симеиз, Харьков, Алупка, Москва...

Иногда случается так, что наши географические координаты совпадают и мы бродим по парку или пьем чай с черными сухариками-«матючками» за необъятным дубовым столом, или снова, лёгкие, длинноногие, шагаем вдоль шоссе «на Москву»...

А потом я зачем-то вышла замуж – но это уже другая история и об этом в другой раз. Для меня это ничего не изменило, а человек, который вошёл в мой дом, великой мудростью любви понял, что Митька и я – это МЫ, и ничего с этим нельзя – да и нужно ли? – поделаться, и всякая ревность тут беспомощна и неуместна. Остается принять всё, как есть. И он принял.

А Митька, узнав, сначала оторопел, попятился, слегка отдалился и даже попытался называть меня в письмах по имени-отчеству, но потом всё устоялось, и я снова стала Инкой, у которой можно не извиняясь прихлопнуть комара на лбу, с которой можно о чём угодно молчать, а в случае разногласий выразить порицание красноречивым собачьим жестом презрительной правой ногой. МЫ по-прежнему были.

Настало ещё одно лето, очередной отпуск. Путёвки в санаторий мне не дали, обещали на осень, так что в Крым пришлось ехать дикарём. Я поселилась в старой алупкинской гостинице под пышным названием «Магнолия», которую истомлённые диким образом жизни отдыхающие прозвали «Монголия». В период отпускного демографического взрыва веранды «Монголии» превращались в дешёвые номера-общежития по шесть-восемь человек в каждом. Поскольку, как правило, каждый уважающий себя дикарь в гостинице только спит, а в нашем «номере» никто, по счастливой случайности, не храпел, к проблеме перенаселения можно было относиться философски.

Днём я болталась в море, где-нибудь подальше от городского пляжа, потому что мои нахальные заплывы доводили спасателей до истерики, или

пыталась что-то писать, примостившись на стволе низко склонённой сосны. В парке было тихо; время от времени с ветки на ветку перелетала озабоченная белка. Пахло морем, нагретой смолой и хвоей. Стихи получались ленивые и благостные, а рассказы – коротенькие и улыбчивые, похожие на стихи, но шлифовать, доводить до кондиции ни то, ни другое не хотелось. Я просто переворачивала страницу и начинала новое, чтобы снова бросить, не закончив.

Изредка мимо проходили экскурсанты. Экскурсовод с пафосом декламировал заученный текст, обгоревшие до мясной красноты курортные дамы старательно задавали вопросы, мужчины галантно поддерживали потные локотки дам либо, опустив вялые носы, безучастно тарасились на пятки впереди идущих.

Иногда подгребал какой-нибудь ловелас, но, столкнувшись с полным отсутствием интереса, оскорблённо отваливал; иногда возникала ничейная (или всеобщая?) собака Пальма, дружески обнюхивала меня и, убедившись в наличии полного понимания при полном, однако, отсутствии чего-либо съедобного, укладывалась рядом, время от времени по-лошадиному подёргивая кожей и перекатывая в пыли дорожки усталый хвост.

Если мне приходило в голову прогуляться в Мисхор, Пальма провожала меня до самой границы Алупки, а там, у смотровой беседки, останавливалась: извини, мол, дальше уже не моя территория, – и возвращалась, не оглядываясь.

Когда солнце садилось и море становилось шёлковым, а линия горизонта растворялась в опаловом свечении, я совершала ритуальный заплыв: если плыть от берега брассом без погружения, кажется, что вплываешь в небо – и так не хочется возвращаться на землю!..

Вечером, наспех перехватив что-нибудь в оскудевшей за день столовой, мы с соседками иногда шли в кино. Фильмы демонстрировались в санаториях на открытых площадках. Дармовые места на деревьях и на заборах занимали местные мальчишки. Время от времени кто-то шлёпался с ветки, как спелая груша. Всплёскивался хохот, и снова все успокаивались, сосредоточившись на экране.

Однажды после полудня мне повезло: скамейка над обрывом возле скалы Айвазовского оказалась свободной, и я вольготно устроилась на ней, разметав руки и блаженно подставив сомкнутые веки мягкому свету и ласковому ветерку. Должно быть, меня сморила полудрёма: очнувшись я оттого, что какая-то настырная муха щекотала мне плечо. Я отмахнулась – муха не улетала. Открыла глаза, дёрнула плечами – муха оказалась подозрительно настойчивой. Запрокинула голову, оглянулась – над мной склонилось смеющееся Митькино лицо.

Откуда, какими судьбами? Очень просто. Получил стипендию, принёс домой. Папик сказал –

на пропой. Взял билет по студенческому и приехал. В той же «Монголии» обещали место после шести. Оставил сумку в камере хранения – и пошел искать. Нашёл – что ещё? Чудо – это всегда просто.

Купаться Митьке нельзя было, и мне было мучительно стыдно, что я могу упиваться этим блаженством, сколько захочу – это было просто несправедливо! Чтобы я не терзалась, Митька до обеда уезжал в Симеиз, в санаторий имени Семашко, где у него с прошлого раза осталось много друзей.

Остальное время мы бродили по мисхорским лесам, поднимались на Диву и Кошку, карабкались на Ай-Петри, кормили белок, рвали в заброшенных татарских аулах рубиновый кизил и сладкий сухой инжир.

Топтаться вечерами на танцах почему-то не хотелось – я даже не знаю, хорошо ли Митька танцевал. Вместо этого мы бродили по парку, слушали тихие голоса чёрных лебедей, тревожные возгласы белых, скандальные вопли павлинов и шелест воды в прибрежных камнях.

Море уже начинало светиться – это было особенно прекрасно в безлунные ночи. Плывёшь – и загорелые руки кажутся чёрным мрамором в необъяснимо светлой воде; с каждым броском вокруг тебя возникают завихрения света и с кончиков пальцев разлетаются каскады искр. И что совершенно удивительно: если по возвращении, не зажигая света, развернуть в тёмной комнате мокрый купальник, на нем ещё долго посверкивают крохотные звёздочки – как воспоминания о море.

Мы могли подолгу стоять на скале Айвазовского, наблюдая, как вспыхивают, разбиваясь о камни, маленькие волны. Митька клал мне руку на плечо – оно как раз подходило ему по росту, Им было хорошо обоим – руке и плечу: тепло, надёжно и верно.

Я повсюду таскала с собой трофейный артиллерийский бинокль: пристрастие к «дальнобойной» оптике живёт во мне с детства. Есть что-то неотразимо притягательное в доступном ей волшебстве – возможности приближать россыпи мохнатых звёзд на бархатном, не городском небе, наблюдать, не спугнув, птиц и всяких мелких зверушек, читать мысли и чувства людей, не подозревающих, что они не одни.

Мы ловили в объектив огни поздних катеров и теплоходов, ползущих на дальнем рейде, вглядывались в переменчивое лицо луны, когда она соизволяла появляться, отыскивали знакомые созвездия...

Однажды вечером море сыграло с нами шутку, не разгаданную до сих пор. Мы стояли на отвесной скале между двумя санаторными пляжами. Море, чуть отсвечивая, тихо плескалось внизу. Временами то тут, то там вспыхивали пучки более яркого света. Мы знали, что источником света служат какие-то микроорганизмы, но на этот раз неистребимый щенячий рефлекс «что это такое» почему-то заглох. Почему-то не хотелось искать этому чуду какое-то прозаическое объяснение. Мы просто стояли и молча

созерцали творившееся у нас под ногами таинство.

И вдруг, при полном штиле, у самого берега взметнулась и обрушилась на нас неправдоподобно высокая волна. Нас окатило с головы до ног – и тут же всё успокоилось.

Со стороны моря это было непостижимое коварство.

– Ну что ж, моречко знает, на кого плюнуть, – философически констатировал Митька. – Пошли сушиться.

И мы пошли сушиться. Мы шагали, облепленные мокрой одеждой, и солёная влага стекала с наших волос.

На освещённых аллеях нарядная публика взирала на нас с весёлым недоумением.

– Это что – заплыв в полном обмундировании?

До сих пор не могу понять, как это случилось, – но на этом чудеса не кончились.

Через несколько дней в Алушке должен был состояться праздник песни. На Солнечной поляне плотники возвели эстраду; откуда-то, наверное, из Ялты или Мисхора, привезли рояль. По обе стороны поляны поставили щиты, долженствовавшие довести до сведения населения и отдыхающих достижения местных санаториев и познакомить общественность с передовиками курортного производства и героями сферы курортного обслуживания.

Целый день в парке царила предпраздничная суэта, стук молотков и разноголосый гомон. К вечеру всё стихло, и мы с Митькой отправились в очередной обход береговой полосы.

Вечер был тихий, безлунный, в аллеях было темно. Справа, внизу, тяжело вздыхало и ворочалось море. Твёрдо хрустя галечником, мимо протопал наряд пограничников. Присветили нам в лицо фонарём и, махнув рукой, молча проследовали дальше. И вдруг впереди, от Солнечной поляны, послышались звуки рояля. Это было не радио, не магнитофонная запись – нет, музыка была живая.

Митька остановился, принялся – и определил: Шестая партита Баха.

Нет, я не настолько эстетически созрела, чтобы вот так, в кромешной темноте, с ходу опознать в лицо Шестую партиту Баха, – но раз Митька сказал, значит, так оно и есть.

Музыка крепчала. Смирив шаги, мы подошли к поляне и остановились, стараясь не выдавать своего присутствия.

– Здорово играет, – прошептал Митька. – Настоящая рука!

В такой темноте, подумать только! Ему же, наверное, и клавиатуры не видно!

Рояль смолк, словно задумался, потом зазвучал снова: полонез Огинского. Как он тосковал, этот поляк!

– А теперь Шопена, – подсказал Митька.

Секунду помедлив, пока не угадали отзвуки полонеза,

пианист заиграл изящный минорный вальс – как будто исполнял концерт по заявкам.

– Телепатия, – хмыкнул Митька. – Ну что ж, закажем Чайковского. Пусть будет «Баркаролла».

Идя навстречу пожеланиям трудящихся, над поляной зазвенел «Июнь». Это уже было на грани фантастики.

Потом был Григ, а потом полилась совсем незнакомая, грустная и ласковая мелодия. Мы затаили дыхание, боясь спугнуть концертанта, – но это был последний номер. Негромко щёлкнула крышка рояля, по поляне скользнула едва различимая тень – и все смолкло. Концерт был окончен.

По дороге в «Монголию» мы заспорили: кто это мог быть? Митька предположил, что это заезжий аккомпаниатор, решивший попробовать инструмент перед завтрашним концертом. Но с какой бы стати он играл целый вечер – «забесплатно», без публики и без аплодисментов?

И тут меня осенила идиотски гениальная мысль: это физик! Почему физик? А вот просто так! Почему Эйнштейн должен был играть на скрипке?

Назавтра, выстояв в длинной очереди котлету с застывшими макаронами и нахлебавшись жидкого чаю, мы отправились в парк, взглянуть на грандиозные приготовления к празднику, пока туда не нахлынул истомлённый бездельем отдыхающий люд.

Моё внимание привлёк щит, представлявший общественности городскую библиотеку и ставший мне родным домом санаторий Министерства обороны. Выкатившееся из-за кипарисов солнышко справилось с тучками, обласкало наши спины и бросило на стенд чью-то длинную смешную тень.

Я оглянулась. Сложив на груди худые, загорелые руки, позади стоял высокий парень в клетчатой ковбойке, шуря на передовиков узкие мохнатые глаза.

– Слушайте, это не вы вчера играли в парке?

Я выпалила это раньше, чем успела подумать: просто у него такие были пальцы.

– А мы слушали, с начала до конца, – вмешался Митька. – Концерт, можно сказать, был составлен по нашим заявкам. Эдакий музыкально-телепатический сеанс.

– Ну, знаете, это чудеса какие-то, – усомнился маэстро.

– Вот-вот, – откликнулся Митька, – чудеса – это как раз по нашей части. Вообще мы только последнюю вещь не могли угадать. Что это было? Кто это?

– Разрешите представиться, – произнес наш новый знакомый, важно выпятив клетчатую грудь, – Сан Саныч Зимянин, собственной персоной.

– Неужели твое? – ахнул Митька.

– Свеженькое, с пылу с жару. В день отъезда написал, – сообщил Сан Саныч со скромной

гордостью.

– Откуда? Из Москвы?

– Из нее, из белокаменной. Вы тоже?

– Нет, мы из Харькова. Москва – это наш пригород, – ответил Митька нахально.

– Скажите, вы кто – физик, да? – вторглась я со своей гипотезой.

– Ребята, вы и впрямь телепаты. У меня что – так просто на лбу и написано?

– Это Инка определила, – честно сознался Митька. – У нее нюх на физиков.

– Без пяти минут биофизик. А вы куда сейчас направляетесь?

– На моречко, Инку макнуть. Пошли?

И мы пошли. Организованным лежбищем городского пляжа мы пренебрегли и расположились на диком, в рассеянной тени кустов тамариска.

– А ты что – купаться не будешь? – спросил у Митьки Сан Саныч, похлопывая себя по худым плечам.

– Не буду. Из принципа, – отвечивал Митька.

– Ну что ж, принцип – дело святое, – согласился Сан Саныч.

Мы это оценили.

Красиво прошёлся сажёнками и тут же объяснил:

– Это я для форсу. Долго так не покрасуешься. Брассом оно надёжнее.

Это нам тоже подошло. Словом, он вписался. Однако, какая-то муха ему, видимо, ещё докучала.

– Слушайте, ребята, я что-то не пойму. Вы тут познакомились или давно друг друга знаете?

Митька задумчиво втянул душистую мякоть персика и произнес:

– По-моему, всю жизнь.

– Тогда как это у вас получается – Инка, Митька – и «на Вы»?

– А это, Сан Саныч, дело тонкое. Простому биофизику не понять, – сказал Митька солидно, целясь косточкой в сверкающий на солнце камень.

– Да где уж нам. Только я, с вашего разрешения, буду «на ты», а то тут с вами запутаешься.

– Персик на брудершафт, – предложил Митька. Персик был принят безоговорочно.

Нам было легко вместе. Саша не спрашивал, почему мы избегаем солнца, и, когда мы устраивались в тени, он растягивался рядом на солнце. Мы слонялись втроём по Голубому заливу, поднимались на Кошку, в обсерваторию, копались в раскопах генуэзских поселений – правда, безрезультатно.

На тропе, ведущей из Симеиза в Голубой залив, нас остановила надпись: она белела на скале, как выплеск души, когда счастье так безгранично, что захлёстывает потребность поделиться им со всем миром. «МЫ ЛЮБИМ! АРКАДИЙ И ЛЮСЯ ЛИВШИЦ». И дата.

Где они сейчас, эти Аркадий и Люся? Счастливы ли по-прежнему? Я терпеть не могу наскальных надписей, если только они сделаны не доисторическим человеком, но эта – я надеюсь, что на неё до сих пор ни у кого рука не поднялась.

А тогда Сан Саныч погрузился и сказал, что ему хочется сесть за рояль, а мы с Митькой просто промолчали. Что тут скажешь, что к этому добавить?

Незаметно подошел день, когда ребятам надо было уезжать. Мы пошли прощаться с моречком.

На рейде стоял военный корабль: видимо, в Мухоматке, на правительственной даче изволила отдыхать какая-то особо важная персона. Мы сидели на скамейке у скалы Айвазовского и смотрели в бинокль на мелькающий экран: на палубе крейсера показывали какой-то фильм.

Сан Саныч, обычно разговорчивый, как скворец, приумолк. Правая рука его настойчиво барабанила что-то на колене.

– Новенькое что-нибудь? – поинтересовался Митька.

– А? Да, – рассеянно обронил Саша – и вдруг, словно проснувшись, торопливо заговорил:

– Слушайте, ребята, вы ко мне приедете? Оптом и в розницу, обоим принимаю. Этого же не может быть – чтобы вот так – и насовсем!..

Автобус уходил рано; надо было идти домой, чтобы не проспать. Первым поднялся Митька. Размахнувшись, швырнул монетку. Монетка срикошетила о скалу и прыгнула в воду. За ним швырнул монетку Сан Саныч. Я не уезжала.

Поднимаясь в номер, я хватилась: нет расчёски. Потеряла. Наверное, обронила, когда доставала бинокль. Вернуться, что ли? Потеря, конечно, невелика, но утром придется выходить нечёсаной...

На крыльце гостиницы одиноко торчал Сан Саныч.

– Ты куда?

– Обратно, к Айвазовскому. Расчёску потеряла.

– Я с тобой?

На палубе крейсера всё ещё шло кино. Мы добросовестно общарили всё под скамейкой и вокруг – расчёски не было.

– А что, собственно, мы ищем? – невинно спросил Сан Саныч.

– Здравствуйте! Расчёску мою!

– Ах, расчёску, – нахально сказал Сан Саныч, – не эту случайно?

И невозмутимо вытащил мою пропажу из кармана.

– Ох и негодяй же ты, Сан Саныч! Что же ты молчал? Она что – у тебя с самого начала была?

– Можно сказать и так. Я решил, если сразу хватишься – пойдем искать. А если нет – заберу на память. А ты, слава Богу, хватилась.

– Ну, знаешь, у меня просто слов нет!

– Не надо слов, не надо объяснений, – ин-

тelligentным тенором пропел негодяй. – Посидим немного? Кстати, ты не сердишься, что я к вам присох? Я не мешал?

– Ну что ты! Всё было хорошо.

– Я ведь Митьку с самого начала спросил: я не лишний? Знаешь, что он мне ответил? «Одним физиком больше, одним меньше – дела не меняет.» Она тебе кто, спрашиваю. «Ну, как тебе подходчивей объяснить, говорит. – Наша Инка». Вот и всё. Яснее ясного, да?

Он был прав, Митька. Даже если бы двумя физиками больше – всё равно...

По экрану побежали большие буквы – и свет погас. Отбой.

Автобус уходил с площади, от библиотеки. Я подоспела к самому отправлению. Ребята уже сидели внутри. Я приложила к стеклу обе ладошки, и они с той стороны прижали к моим свои.

Мне оставалось ещё четыре дня.

А дальше события нашей жизни дали какой-то сбой и пошли вразнос. Я вернулась домой – Митьку уже отправили в санаторий. Я вышла на работу – пришла путёвка обратно в Алупку. Туберкулёзная путёвка – от двух месяцев, а там как пойдёт. Отпуск использован – значит, больничный.

У меня было ощущение, что это уже перебор. Снова «Аллея Коха» с бронзовым, скуластым Амет-Хан Султаном («Один в Крыму татарин остался – и тот бронзовый»), пруды с лебедями – в малом черные, в большом белые – и всё, кроме моречка, потускнело и вроде припылилось, утратив пронзительную, праздничную чистоту. А санаторные «гусары» с их плоскими «подзаходами» вызывали тоскливую оскмину.

С домом я разговаривала по телефону; писем от Митьки, усмешливо-заботливых и ласково-ворчливых, непривычно долго не было. Знакомая девочка в отделе «до востребования», завидев меня с порога, уже отрицательно мотала головой. А когда, наконец, пришло – словно повторилось крымское землетрясение:

«Инка, друг, где Вы, что с Вами? Каким образом Вы снова оказались в Алупке – дикарём или в санатории, как долго собираетесь там пробывать? Что делаете сейчас и что собираетесь делать? Пишется или не пишется? Наверное, мои вопросы запоздали, и письмо может вовсе не застать Вас в Алупке, но у меня была трудная полоса, и я хотел написать после окончательного решения. Ну вот, теперь всё решилось. На свой день рождения я ездил домой и к тому же женился. Как и почему это всё получилось, я лучше напишу или расскажу попозже. Всё так неожиданно даже для меня, не говоря уже о родителях, друзьях и знакомых. Родители переживают очень сильно, особенно мама. Вообще-то досталось всем. Как всё это пойдет дальше, сам не знаю...»

Дальше он пытался по обыкновению шутить, но шутки были вымученные и беспомощные. И, под конец: «Инка, – большая просьба, – как только получите моё письмо, сразу ответьте. Если нет настроения писать письмо, то хоть открытку. Хорошо? Ваш Митька.

P.S. Путёвка у меня до 7 октября, но, возможно, ещё продлят. Если будет хорошая погода, и я буду поправляться, то останусь здесь, в санатории, сколько продержат, потому что в Харькове меня, скорее всего, положат в тубинститут. Так хотят врачи».

Бедный Митька! Письмо меньше всего было похоже на восторги счастливого молодого человека, как он ни старался бодриться. Тревога, тревога, растерянность – и снова тревога. Неожиданность...

Я знала: параллельно с нашими ирреальным, светлым миром существует, течёт другой – земной, реальный, о б ы д е н н ы й мир, он так или иначе соприкасается с нашим. Это он вторгся и захлестнул Митьку сейчас – а Митька оказался к этому не готов. Но где, когда возникла трещина?

И вдруг я вспомнила: однажды весной Митька забежал ко мне растерянный и смущенный. «Представляете, как я околдовался? Меня пригласили на день рождения в одну компанию, а удрать из стационара никак не удавалось. Вообще нас предупреждали: если тебе предстоит такая ситуация, что никак нельзя не выпить, – ну, скажем, день рождения или встреча Нового Года, – не принимай лекарства в этот день, лучше пропусти. А тут я забыл (и не очень-то хотелось), целый день принимал, да ещё перед самым уходом принял – сестра над душой стояла. Пришёл с опозданием – мне, как водится, штрафную – и я сразу вырубился. Ничего не помню. Проснулся на другой день в чужой постели. Кто меня укладывал, кто раздевал – ничего не помню. Просто срам – никогда такого не было!»

Пипольфен... Господи, это же пипольфен! Митька ведь аллергик, ему всё время пипольфен давали!

У нас в санатории доблестное офицерство, обезденежев «до ручки» за долгий срок лечения, клянчило у сестричек пипольфен, когда хотелось выпить. Одна таблетка, рюмка водки – и пьян в стельку. Дёшево и сердито! Одной чекушкой втроём напивались до положения риз. А тут ещё штрафная...

Я ответила в тот же день. Письмо вышло сумбурное, нескладное – но что можно было ответить? Я только знала, что сейчас это важно – «как только получите!» – я знала, что ему очень трудно, что нет человека честнее и чище Митьки, и ему очень нужно, чтобы его поняли и поддержали в его решении. А было ли оно правильным? Принесёт ли кому-нибудь счастье? Я не знала – но надо было отвечать. Не помню, что я тогда написала. Написала, что никто не виноват в том, что – то ли я поспешила, то ли он опоздал родиться; что, не будь этого сдвига,

возможно, всё было бы по-иному, но он есть, и никуда от этого не денешься; но всё равно, я знаю, никто не сможет занять моего места в Митькиной жизни, как никто никогда не сможет занять Митькиного в моей. Поэтому никакие обстоятельства, никакие мужья и жёны ничего не могут изменить, и всё останется на своих местах, как неподъёмный бабушкин комод, который нельзя вынести из дому, потому что дом перестанет быть домом. Я не могла ему написать, как мне страшно за него, как больно, что он женился без любви, из чувства долга, – всё это осталось в тени, фигурой умолчания – просто очень важно было скорее протянуть ему руку.

В письме, которое пришло через неделю, Митька написал: «Что же касается положений диссертации о «невыносимом комод», то они относятся к фундаментальным законам физики и не требуют подтверждений или доказательств в каждом конкретном случае. Что я – зря пытаюсь уже столько лет просветить Вас в области физики и электроники? Серость! До встречи! Ваш Митька».

Ребёнок родился через три с половиной месяца после свадьбы. Немногие верили, что он Митькин, не знаю, верил ли сам Митька, но он оказался идеальным отцом. Простудировав со свойственной ему обстоятельностью толстую книгу «Мать и дитя» как руководство к действию, он научился пеленать и стирать пелёнки, и совмещать укачивание младенца с подготовкой к лекциям, и тот, откликаясь на заботу, стал проявлять черты несомненного сходства, так что у нас потихоньку отлегло от сердца: наш! А вот Аля оказалась не наша. Нет, я не хочу сказать о ней ничего плохого – просто она была другая.

Когда-то Митька мне разъяснял, что каждый электрон вращается по своей, разрешённой ему, орбите. Как-то так счастливо получилось, что у нас четверых – у Митьки, Митькиных родителей и у меня – она была одна, общая. А у Али орбита была другая.

Она это понимала.

В доме, таком добром и дружном, чёрной трещиной разлома обозначилась линия противостояния. Казалось, что всё, до тех пор составлявшее Митькину жизнь, Але ненавистно: сама квартира, вещи, её заполнявшие, мудрые фолианты в дубовых шкафах, старинное пианино, старинные портреты – и люди, приходившие сюда на огонёк, их непонятные разговоры, и Митькины товарищи, спорившие о непонятных и неинтересных ей предметах, – всё было ей враждебно – и она объявила Великую Войну.

Программа у неё была чёткая: прежде всего – квартира. У неё должна быть о т д е л ь н а я квартира.

Поднаторившись, родители купили молодёжным кооперативную. Дальше – мебельный гарнитур. За гарнитуром должна была следовать шуба.

Новую квартиру с новой мебелью заполнили новые люди, молодая богема – бойкие, разухабистые ребята, броские девочки без предрассудков. Митька был среди них чужим. Две разные орбиты никак не совмещались.

Пианино осталось с родителями, оно не захотело переезжать на новое место – да и открывали его теперь всё реже. Фортепианная музыка в Алиной компании была не в чести.

Нет, Митька обо всём этом не рассказывал. Это Мотя, бывшая Митькина няня, жившая в доме на правах члена семьи, горестно жаловалась, перехватив меня в коридоре.

Митька перестал у нас бывать, звонил изредка и даже к родителям забегал нечасто и ненадолго, поминутно поглядывая на часы. И всегда один. Они тосковали. Временами Папик звонил мне: «Приходи, генацвале! Приходи посидеть с ногами!»

Я приходила, сбрасывала туфли, забиралась с ногами на диван, рассказывала всяческие новости. Я очень старалась, просто из кожи лезла вон, чтобы развеселить их – они тоже старательно смеялись и смотрели на меня грустными, ласковыми глазами.

Однажды папик подарил мне туманный, как будущее, розовый карадагский сердолик – нежно отшлифованное воспоминание о Сердоликовой бухте. Я подержала подарок в руках, заглянула в его розовый туман – и тихонько поставила на тоскующее пианино: пусть поживёт у вас, ладно? Он – мой, но пусть побудет с вами, моим полномочным представителем.

Так он и остался – рядом с Митькиной фотографией.

Вскоре Митьку направили в Москву, в ЦНИИТ – Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза. Должен был решиться вопрос об операции. В письмах, как прежде, приходивших каждую неделю, как всегда весёлых, как всегда шуточных, сквозили страх и надежда. Мне предстояла научная командировка в Москву, и Митька ждал – но в последнюю минуту командировку отменили. Я послала телеграмму.

«...Телеграмму мне принесли в операционную. Я прочитал, согласно показаний врачей, сказал: «Инка пришла» – и снова вырубился. Очень интересно, что я ещё говорил. Стенограмма не сохранилась, но доктор сказал, что может дать мне справку для медвытрезвителя, что во хмелю я кроткий и социальной опасности не представляю...»

«...Ага, а дядя Богуш мне такую цепочку танталовую подарил – жаль, что видно её только на рентгеновском снимке. А то, что видно простым глазом, пока неаппетитно. Но я уже потихонечку выхожу гулять».

«...Сегодня – ура! – попробовал играть в настольный теннис. Жаль, что Вас не пустили – а то бы я Вас поучил. Приезжайте! В моём сегодняшнем качестве я как раз подходящий для Вас партнер (А, каково?)...»

«...Доктора мной довольны. Господи, неуже-

ли я наконец просто здоровый человек! Вот уж я Вам покажу, на что я способен! Равняйтесь на правофлангового! Да, Вам там хорошо – Вы всё обо мне знаете от родителей, а я о Вас – почти ничего! Я скоро Вас увижу?

P.S. В последней фразе вместо знака вопросительного следует читать знак восклицательный!»

Нет, оказалось совсем не так скоро: после операции Митьку poslали в санаторий на реабилитацию, а потом так уж оно получилось: в письмах он был всё время рядом, а возвратившись – отдалился. Приехал – не пришёл, позвонил торопливо и стеснённо – и снова пропал.

Я знала, что он начал работать – преподавать на своём же факультете. Студенты его полюбили – иначе и быть не могло: он умел выстроить мысль чётко, красиво и лаконично, как модель атома Бора – это в нём всегда было. Мы иногда встречались в толчее университетского буфета (факультеты наши были в разных корпусах), но встречи эти не радовали. В них была какая-то напряжённая, неловкая пустота, заставлявшая нас шараться друг от друга. «Парадоксальная реакция, – пошутил Митька невесело, когда я сказала ему об этом напрямик. – Вот такая обратно пропорциональная зависимость: чем дальше, тем ближе – и на оборот». Так оно и было.

Иногда я забегала к Митькиным «старикам». Мы пили чай с «матючками» – так назывались чёрные сухарики с солью, – вспоминали Крым, папик рассказывал о прошлых экспедициях, я тешила их университетским побасёнками, но что-то было не так. Мы об этом не говорили, это было табу – и каждый себя успокаивал: ничего, зато Митька теперь здоров!

А Мотя ловила меня в коридоре и жарким шёпотом жаловалась на Митькину судьбу – ведь сам Митька никогда не жаловался. Однажды, под большим секретом, она поведала мне, что Аля ревнует Митьку к родителям и ко мне и запрещает ему с нами общаться. Это было глупо и обидно, но с этим надо было мириться. Только бы Митька был здоров!

Приходили письма от Сан Саныча – то длинные и забавные, то просто пять линеек нотного стана и несколько тактов мелодии. Если над линейками значилось *scherzo* или *allegro vivace*, за Саньку можно было не беспокоиться: там всё в порядке. Если же *doloroso* или, не дай Бог, *fugioso* – надо было срочно отвечать: требовалась неотложная помощь. Великий Биофизик получил назначение в Пущино-на-Оке, святая святых биофизики, разрывался между музыкой и английским, замышлял немыслимые походы – словом, жил нормальной сумасшедшей жизнью и действительно приглашал в гости.

Но однажды зазвонил телефон, и в трубке раздался Митькин голос. Этого так давно уже не случалось, что я не обрадовалась: мне стало тревожно.

И я не ошиблась.

– Инка, требуется совет. У меня маленькая неприятность: обнаружены свежие очаги.

Я молчала.

– Алло, Вы меня слышите? Аля требует, – он впервые произнёс её имя в разговоре со мной, – Аля требует, чтобы я сделал повторную операцию. Говорит, что я могу заразить её и сына.

Я молчала.

– Инка, мне так не хочется!

Я, наконец, обрела дар речи:

– А что говорят врачи?

– Наше главное светило считает, что можно ограничиться консервативным лечением. Очажки небольшие, их немного, БК минус.

– Тогда зачем же?

– Она настаивает. Говорит, я эгоист, не думаю о них... А мне так не хочется снова под нож!..

– А мама?

– Мама боится советовать. Говорит, решай сам.

– Господи, а я-то что могу? Может быть, проконсультироваться у Богуша?

– Мама ему звонила. Он говорит, что не видит необходимости, но, если до этого дойдёт, он согласен оперировать.

Впервые за много лет Митька не пытался шутить и не скрывал тревогу.

– Если я соглашусь, – Вы приедете? Только не сразу, сразу не надо – лучше через неделю после операции. Обещайте, что приедете!

– Я постараюсь – отпрошусь, возьму больничный – что-нибудь придумаю. Но может быть, всё-таки не надо?

Всё решило чувство долга – ах, это чувство долга!

Они поехали в Москву, Митя с матерью, – я даже не успела с ними повидаться. Приняв решение, Митька не стал откладывать. Тем более, что профессор Богуш собирался в командировку.

В день операции вечером мне позвонила Галина Ивановна. Операция прошла успешно: Богуш успел прооперировать до отъезда. Оставалось подождать неделю, как было условлено.

Договориться насчёт подмены удалось на удивление легко. Часть нагрузки необходимо было вычитать до отъезда; я крутилась, как белка в колесе, но всё шло без напряжения: так надо Митьке, и я, слава Богу, на этот раз сумею сдержать обещание. Но где-то, глубоко и скрыто, неотступно присутствовала какая-то внутренняя дрожь. Я старалась к ней не прислушиваться – словно совсем близко, в тёмном углу, стоит кто-то тёмный; ты знаешь об этом, но стараешься не смотреть в ту сторону, убеждая себя, что там никого нет.

В субботу я допоздна возилась с вечерниками. Утром в воскресенье вышла на кухню поставить чайник. Старик-сосед, ненужно суетясь у плиты и

подозрительно пряча глаза, сказал:

– Вам вчера звонили, но вы поздно пришли, и я уж не стал вас тревожить. Просили позвонить – я записал номер.

Номер был знакомый – близкие друзья Митькиных родителей. Взглянула на часы – не рано ли звонить. Нет, ничего: скоро десять.

– Доброе утро! Вы мне звонили? Какие новости, как Митька?

Последовала странная пауза, затем голос медленно ответил:

– Мити больше нет.

На мгновение у меня заложило уши. Как же так? Всего три дня назад всё было в порядке, операция прошла успешно; сегодня я иду заказывать билет... Я же обещала, Митька будет ждать...

– Мити больше нет. Сегодня в двенадцать его кремируют. Разве вам не сказали?

Если бы сказали! Я могла бы вылететь первым рейсом, я бы успела! Я бы выполнила своё обещание – он бы меня дождался!..

Он чувствовал, он знал, Митька! Как он не хотел ехать!

Сам шёл в операционную, шутил с сёстрами... В ночь после операции дренажная трубка провалилась в полость, отток прекратился. Это обнаружилось только утром. Пришлось снова под наркозом снимать швы, вскрывать и осушать полость, устанавливать дренаж. Два наркоза, две операции, одна за другой. И тут грозно и безжалостно восстала Митина аллергия: начался отёк, Митя задыхался – и растерянные хирурги в третий раз повезли его в операционную, делать трахеотомию. Больше он в палату не вернулся.

На аэродроме сухой и пыльный ветер резал глаза, трепал волосы, теребил полы плаща, швырял в лицо встречающим тугой рёв моторов. Навстречу нам, медленно увеличиваясь, шли две фигуры с изжелта-бледными окостеневшими лицами.

Не знаю, – наверное, были ещё другие люди, много людей, но я видела только их – словно они шли вдвоём по голому, пустынному полю – только двое, – а в руках у отца тяжёлый портфель...

Кто-то кинулся помочь – но портфель не отделился от нёсшей его руки – словно пальцы её оцепенели, словно им невозможно было расстаться со своей ношей.

Всё, что было потом, мелькает в памяти, как рваная кинолента. Как ехали из аэропорта, как вошли в дом – ничего не помню. Помню безутешную Мотю, людей, толпившихся на лестнице и в коридоре – но может, это было в день похорон?

Хоронили Митю на добром старом кладбище, где мы когда-то, ещё маленькими, почтительно рассматривали скорбящих мраморных ангелов и по складам читали надписи на надгробьях. Митина аллея

была узкая, у самой ограды, и не могла вместить всех пришедших; они просачивались между соседними могилами, по параллельным дорожкам.

Ещё дома, в тоскливой толчее полутёмного коридора Илья Борисович подошёл, склонив высокую голову, прислонился холодным лбом к моему лбу и, едва шевеля белыми губами, чуть слышно сказал: «Не разводи сырость, слышишь?» Я отважилась взглянуть в его глаза – они были сухи. В них клубилась такая жгучая боль, что, казалось, на слёзы уже не осталось влаги. Я молча кивнула.

На кладбище, над маленькой – для урны – могилой что-то говорили – не помню кто и что. Так было странно: Митька такой большой – а могила такая маленькая...

Отец не выпускал портфеля из рук – мне казалось, от самого самолёта. Но вот кончились речи, настало время, и кто-то потянулся за урной. Илья Борисович открыл портфель и достал то, что осталось от Мити. Галина Ивановна чуть слышно ахнула – и тут я утратила чувство реальности: на Митиной урне был обозначен м о й г о д р о ж д е н и я! Я не знаю – может быть, мне померещилось, или там, в Москве, в крематории кто-то ошибся, – но под Митиным именем, отделённый чёрточкой от горькой даты смерти, значился его день и мой год рождения – словно сама смерть уравнивала нас навсегда, исправив нелепую ошибку наших судеб.

Плакали все – кроме нас троих. Митька был бы нами доволен. На театрально рыдающую Алю я старалась не смотреть. Я понимала, что, наверное, несправедлива – но ничего не могла с собой поделать. Ведь это она виновата, что он больше никогда не засмеётся! Пройдёт время, у неё будет другой муж – а у нас другого Митьки не будет!..

Теперь они лежат здесь рядом – Митя и его отец. Я изредка прихожу к ним – постоять, помолчать, почистить снег. Галина Ивановна живёт с семьёй внука. Он большой и добрый, и улыбка у него – ответ Митиной. Два раза в год у них собираются Митькины одноклассники и университетские товарищи, приходят телеграммы и телефонные звонки с разных концов света.

Аля живёт в другом городе. Говорят, теперь это кругленькая, уютная женщина, довольная жизнью и собой хлебосольная хозяйка. У неё есть другой муж, есть дочь. Пусть ей будет хорошо – ведь она мать Митькиного сына.

Но зачем, зачем, зачем она послала тогда Митьку на смерть?! Думает ли она когда-нибудь об этом?

Инна Мельницкая

СЛОВО О ПУШИНСКОМ

Он носил, как Суворов, многоэтажную дворянскую фамилию и держался в полном соответствии со своими титулами и званиями. Но – не будем забегать наперёд. Лучше я обо всём расскажу по порядку.

В то лето мой ТБЦ, неотвязное напоминание о безнадзорном детстве и полуголодной юности, в очередной раз одарил меня путевкой в Алупкинский санаторий Министерства Обороны. И пока я, исхлестанная и исцарапанная упрямыми ветками, носилась по мисхорским лесам, карабкалась, как горная коза, крутыми тропками Ай-Петринской яйлы и слушала шелест волны в прибрежной гальке, поражая мужское население санатория счастливым невниманием, мои домашние потихоньку без меня дичали.

Грозная моя свекровь, утратив в моём лице мальчика для битья и грубую рабочую силу, заскучала и поехала к дочери, так что на хозяйстве остались двое беспомощных мужчин: Володя и сосед Абрам Григорьевич.

Письма из дому приходили грустные и ласковые, с подробным описанием погоды и мелких домашних событий, а потом однажды Володька осторожно написал, что в моё отсутствие в доме появился квартирант. Один товарищ, уходя в отпуск, попросил на время приютить котёнка. Котёнок, родившийся на военном аэродроме, панически боялся самолётов и пылесоса, видимо, принимая его за некую бескрылую ипостась своего заклятого врага.

В качестве продуктов питания он, как оказалось, признавал преимущественно сливки и финский сервелат, отчего я почувствовала себя несколько уязвленной, ибо в мой повседневный рацион финский сервелат всё-таки почему-то не входил. С аборигенами квартиры гость держался несколько высокомерно, а для отправления естественных надобностей делил с соседской собакой Жулькой её священный песочек.

Кончилось лето, кончился срок путёвки – два быстрых месяца; канули в воду со скалы Айвазовского прощальные монетки, и в пять часов утра санаторный автобус увёз невыспавшихся, серых спросонья отъезжающих в Симферополь.

В Харькове меня встретило хмурое, пасмурное утро, моросящий дождь и отощавший счастливый Володька. Ключнул где-то в ухо, в глаз и поволок к подземному переходу.

Сосед Абрам Григорьевич распахнул дверь, едва слышав на лестнице наши голоса. Такими я их и увидела: танцующий на пороге в радостном ожидании седой, сизоносый Абрам Григорьевич и гладкий чёрный молодой кот, уставившийся на меня светло-зелёными внимательными глазами, держа трубой чёрный, с белым кончиком, хвост.

Абрам Григорьевич засуетился, захлопотал, потащил меня на кухню попить чайку с дороги, а кот холодно повернулся и ушёл.

Я отхлёбывала терпкий, душистый настой,

Володька торопливо отчитывался, выкладывая харьковские новости, Абрам Григорьевич подливал чаёк и ахал, как я посвежела и похорошела – словом, всё шло, как положено после долгого отсутствия.

Брошенные на произвол судьбы, мои двое мужчин хозяйничали сами, как могли, решая возникавшие перед ними проблемы методом проб и ошибок. Когда в доме водворился новый жилец, бедняги пережили потрясение, о котором Володя в письмах застенчиво умолчал. Дело в том, что квартирант оказался блохливым, и над соседской Жулькой нависла угроза, косвенно распространявшаяся и на самого Абрама Григорьевича, ибо Жулька, совершив вечерний туалет и «помыв ручки», укладывалась в хозяйскую постель.

Два технических гения решили проблему гениально просто: кота окропили блошиной отравой и завязали в мешок, оставив на свободе только голову (почему-то им казалось, что на голове блох не бывает.) Несчастный орал, возмущённый насилием, потом уgomонился и затих у Володи на руках.

Выдержав таким образом положенное, по их мнению, время, кота развязали и пустили проветриваться на балкон, где он с негодованием стал умываться, восстанавливая поруганное достоинство – и, естественно, отравился. Ни водичку, ни молоко, ни ряженку – он уже ни на что не реагировал. Пытались влить ему сквозь стиснутые зубы общепризнанное противоядие – кислое молоко – тщетно. Он не глотал.

Невольные убийцы в полном отчаянии положили свою жертву на подстилку и принялись вызывать ветеринарную скорую помощь. Однако, умереть от блошиной отравы гордому брюнету не было суждено: спасение явилось к нему в образе любопытного воробышки. Увидев в тени на балконе издыхающего – илидохлого? – недруга, воробышка приблизился к нему нахальным скоком. Пушок не вынес подобного глумления – и воскрес к великой радости своих убийц.

Пока они наперебой описывали мне все эти драматические подробности, герой событий стоял в стороне, слегка выгнув блестящее гладкое тело, и слушал, уставившись на меня зелёным критическим взглядом.

Когда же новости исчерпались и я, допив последний глоток, поднялась из-за стола, он вдруг исполнил непостижимый трюк: обошёл меня сзади, просунул голову между моими щиколотками, положил правую щёку на пол и с непонятным слово-звуком – чем-то вроде «мырк!» – мгновенно перевернулся на спину, забросив вверх передние лапы в белоснежных перчатках и сладко зажмурился.

– Признал! – восторженно воскликнул Абрам Григорьевич. – Смотрите, признал хозяйку!

«Мырк!» – сказал котёнок и дрыгнул животом.

Естественным побуждением было наклониться и почесать его в знак признательности, но Володя перехватил мою руку.

– Ты что – забыла, на каком этаже живёшь? Не пачкай руки – мыть нечем. Тут тебе не санаторий.

Воду дают после часа ночи, часов до пяти-шести утра – и то чуть-чуть, по капельке, не знаешь, то ли чай пить, то ли морду мыть. Мы с Абрамом Григорьевичем по очереди дежури́м, чтоб хотя бы чайник набрать.

Ах ты Господи, и вправду забыла! Ну что ж, нельзя руками – попробуем ногами. Я сжала щиколотками гибкое тельце и легонько покачала: извини, милый, иначе приласкать не могу! Такая жизнь!

Котёнок сказал «Мр-р-р», удовлетворенно перевернулся, сделал «потягустики» и встал.

С тех пор это стало обязательным ритуалом приветствия. Не знаю, что должна была символизировать эта церемония, но, очевидно, коты уделяют символике не меньше внимания, чем депутаты. Каждый раз, встречая меня на пороге (если только у меня не было в руках горячего чёрного хлеба), квартирант проделывал в точности одно и то же: подходил сзади, протискивался между щиколотками, клал правую (непременно правую!) щёку на пол и, сказав «мырк!», переворачивался кверху брюшком и замирал в ожидании. В ответ я должна была покачать его ногами и в свою очередь сказать какие-то ласковые слова – после чего он поднимался и отправлялся по своим текущим делам.

Но если на сцене появлялся горячий чёрный хлеб – это коренным образом всё меняло. Если верить в переселение душ, то в прошлой жизни (возможно, одной из многих) котёнку, наверное, довелось пережить голодуху, и поэтому самым любимым лакомством для него, как и для меня, на всю жизнь остался горячий чёрный хлеб. Учувяв его волшебный запах, он забывал всю свою степенность, поднимался на задние лапы и служил Его Ржаному Величеству, как самый преданный пёс.

Значительные трудности возникли у нас с его именем: тут он проявил тот же упрямый депутатский формализм. На банальное «кис-кис» он категорически не отзывался, равно как и на данную ему при рождении кличку «Пушок», поэтому изыскания с ним было весьма затруднительно, если только инициатива не исходила с его стороны.

Володька выдвинул гипотезу, что родившийся на аэродроме котёнок оглох от рёва моторов, но я никак не могла отделаться от потребности как-то к нему обращаться. Однажды, перебирая наугад возможные варианты кошачьих имён, я позвала: «Пушинский!» Кот шевельнул ушами, словно спрашивая: «Что?» Я повторила. Он прыгнул с батареи и подошёл. Отныне он стал Пушинским. Очевидно, он сам понимал, что при его аристократической внешности вульгарное «Пушок» – просто нонсенс. Был он весь ослепительно чёрный, в белых перчатках и белых носочках, с изысканной белой манишкой, но особую элегантность придавали ему белые волоски бровей и белые усы-вибриссы.

Словом, нет ничего удивительного в том, что графский титул как бы сам собой возник и пристроился впереди имени. «Граф Пушинский» звучало вполне подходяще – солидно и импозантно. Нам с Володей было позволено называть его по-

свойски – «Пух», но Абрам Григорьевич, невзирая на приятельские отношения, права на подобную фамильярность не имел: никому, кроме нас двоих, он иначе как на «Пушинский!» не откликался.

Наверное, Пушинский знал, что к кошкам я склонности не питаю, и поэтому вёл себя как большая собака: «кис-кис» почитал за оскорбление, ни на диван, ни на стол, ни, тем более, на кровать не прыгал, ничего не крал, не кланчил, и вообще держался с величайшим достоинством.

Зато у соседа он озоровал, как хотел: прыгал на кресла, на кровать, воровал коржики со стола, терзал гардины, играл бомбошками от скатерти – одним словом, притворялся обыкновенным шкодливым котом. Старик прощал ему это амикошонство, потому что Пушинский был моим рыцарем, а меня Абрам Григорьевич любил, как родную дочь.

Как уже было сказано, Пушинский признал меня сразу и безоговорочно: он ходил за мной, как паж за королевой, а если я в дневной суете сует обретала где-нибудь оседлость, он садился рядом и созерцал.

Вообще по натуре он был созерцателем. Особое, полумистическое отношение вызывал у него процесс переодевания. Он замирал на месте, уставившись на меня изумлёнными глазами, и не двигался с места, пока переодевание не заканчивалось. Возможно, его завораживала непостижимость самого факта – что человек у него на глазах умудряется в считанные минуты поменять свою оболочку.

Впрочем, аналитик Володя выдвинул встречную гипотезу: по его мнению, в одной из прошлых жизней Пушинский был ваятелем или художником.

Вопреки широко распространённому мнению, что кошки боятся воды, Пух считал своим долго присутствовать при каждом омовении. Как только зажигалась колонка и включался душ, он усаживался на коврик у дверей – и созерцал. Если кто-то успевал закрыться в ванной, оставив Пушинского за дверью, он учинял истинный дебош: царапал филёнку и возмущённо орал. Его впускали – и он успокаивался.

Но однажды произошёл драматический эпизод, когда Пушинский буквально потряс меня своей беззаветной преданностью. Как-то раз, неведомо по какой причине, мне вдруг взбрело в голову вопреки обыкновению принять ванну вместо душа. Пока наливалась вода, Пух патрулировал в коридоре, ожидая, когда же, наконец, начнётся мистическое действо.

Мы вошли, я привычно разделась, ступила в ванну, но, вместо того, чтобы включить душ, легла и погрузилась в воду. Обожаемое божество исчезло! Господи, что творилось с Пушинским! Он рыдал, он бросался на ванну, царапал её борта – горе его было неопишимо!

Тронутая его отчаянием, я подняла голову и высунулась из ванны: Пушиночка, что ты, маленький? Он с воплем вцепился в меня когтями, больно распоров щёку и верхнюю губу – но как я могла на него сердиться? Он ведь бросился спасать мне жизнь!

За спасение утопающих герой был пожалован княжеским титулом и двойной фамилией. Отныне он стал именоваться граф Пушинский, князь Котовский-

Котопашкин. К титулу он отнёсся спокойно, на Котовского отзывался так же, как на Пушкинского, а вот Котопашкина не признал: очевидно, это ему показалось недостаточно аристократичным.

Поначалу, как уже упоминалось, для отправления естественных надобностей он делил с соседской собакой Жулькой её священный песочек. Жулька была дама нервическая, чёрная с рыжими подпалинами, пучеглазая и притом калечка. Когда-то, ещё в нежном возрасте, она повредила в плече правую переднюю лапу и поэтому передвигалась несколько боком. Старики, потерявшие в войну единственного сына, души в ней не чаяли: ели с ней из одной тарелки, укладывали спать на своей подушке. Потом Мария Ефремовна умерла, и Абрам Григорьевич остался один с Жулькой. Пушкинский относился к ней так же, как я: не любил, но мирился с её существованием. Правда, в отличие от графа, я никогда не позволяла себе по отношению к ней никакого рукоприкладства.

Жулькин песочек стоял на кухне под столом Абрама Григорьевича. Радости, конечно, в этом было мало, так как особой опрятностью Жулька не отличалась, но мы не возражали, потому что любили старика и боялись его огорчить. Зато аккуратист Пушкинский решил всерьёз заняться Жулькиным воспитанием и привить ей гигиенические навыки.

Как только отворялась соседская дверь, и Жулька, ковыляя, направлялась на кухню, Пушкинский залегал в коридоре, как тигр в засаде, и, покачивая боками, ждал, пока она, совершив своё чёрное дело, проследует обратно. Тогда он выскакивал из засады и нёсся за ней на трёх лапах, правой нашлапывая её по чёрной лоснящейся заднюшке с рыжим зеркальцем под коротким хвостом. Жулька с визгом спасалась в комнате, а Пушкинский возвращался к ящику, с брезгливой миной закапывал содеянное ею, и, отряхнув последовательно все четыре лапы, отправлялся на свой наблюдательный пункт – табуретку в прихожей. Отсюда он, как диспетчер, следил за всеми нашими передвижениями.

У него было два любимых места: пока в квартире царил дневное движение, он сидел на вышеупомянутой табуретке у телефона, а вечером вальяжно растягивался на горячей батарее в нашей комнате и нежился там, пока его не выдворяли. Ночевал он на кухне.

Поначалу ему разрешалось спать на подстилке около дивана, но, на беду, по ночам его иногда обуревала жажда душевного общения: он трогал меня лапой и говорил: «Мырк!» – а я в испуге просыпалась и долго потом не могла уснуть. Посему «каждый вечер, в час назначенный», а точнее, в одиннадцать часов ему говорили: «Пушкинский, спать!»

На первую реплику он не реагировал.

– Пушкинский, кому говорю – спать!

Пушкинский двигал ушами и почти беззвучно говорил:

– А-а?

В третий раз, уже педалируя звук:

– Я кому сказала – спать!

Он нехотя плюхался дородным дворянским телом на пол, выходил на середину комнаты – и строго

по центру, под люстрой, клал правую щёку на паркет, переворачивался брюшком вверх и, зажмурившись, замирал.

Кто-нибудь из нас, я или Володя, подходил, и, памятуя суровый график подачи воды, ногой, чтобы не пачкать руки, откатывал бездыханное тело к дверям. Кот не проявлял никаких признаков жизни – но у самого порога он вдруг, внезапно, воскресал, и, задрав хвост трубой, независимо шествовал на кухню.

Этот торжественный ритуал повторялся с безукоризненной точностью изо дня в день, вернее, из вечера в вечер, в одно и то же время.

Но однажды нам вздумалось продемонстрировать его гостям, и где-то около девяти мы скомандовали:

– Пушкинский, спать!

Он не реагировал. Согласно протокола, повторять следовало трижды, и я подала следующую реплику:

– Пушкинский, я кому сказала – спать!

И тут он дёрнул ухом и недовольно сказал:

– Ты что – в своём уме? Кто ложится спать в девять часов вечера?

И уткнулся носом в свои белые перчатки.

Хотите верьте, хотите – нет, но гости все как один утверждали, что он сказал именно это.

Вернувшийся из отпуска хозяин не спешил его забирать, да мы и привыкли. А вот когда приехала Володина мать, тут же начались проблемы.

Граф Пушкинский, он же князь Котовский-Котопашкин, увы, не был знаком с античной мифологией – а жаль: горький опыт Париса мог бы уберечь его от многих неприятностей. Он не был дипломатом – точнее, не снисходил до дипломатии и по-прежнему оказывал мне королевские почести. Чего-чего, а этого Варвара Павловна не могла ему простить. Бедняга нажил себе лютого врага.

Он был эстетом. Он был Великим Эстетом. Он обожал цветы. Это обнаружилось ранней весной, когда цыганки начали продавать пучочки южных фиалок и бледные анемоны. Я прилепила вазочку-присоску с букетиком фиалок к оконному стеклу и села печатать в соседней комнате. Через некоторое время к пулемётной трескотне пишущей машинки стали примешиваться какие-то странные звуки – мягкие, ритмичные удары. Я заглянула – и что бы вы думали, я увидела?

Пушкинский, мерно подпрыгивая, силился лапой достать фиалки. Мы посмеялись – и забыли. А зря!

Весна окончательно утвердилась в своих правах, началась заочная сессия, а с ней – цветочная вакханалия в нашей квартире. Не было дня, чтобы кто-нибудь из моих пригородных заочников не приволок мне пучочек ландышей, букет тюльпанов или охапку сирени. Дом благоухал. Стало катастрофически не хватать тары: все банки, бутылки, кувшины и вазы – все ёмкости были заполнены. И тут в доме завёлся какой-то барабашка или, по-западному, как теперь

модно, полтергейст. Ухожу из дома – всё спокойно, прихожу – вазы опрокинуты, вода пролита, словно по квартире в моё отсутствие гуляют ураганные сквозняки.

И вот как-то приношу очередную охапку – а ставить некуда. Надо освободить какую-нибудь посудину. Сунула свежий букет в молочный бидон, поставила на буфет и отправилась на кухню с привидшим, чтобы вымыть вазу и набрать воды. И вдруг – дикий грохот и отчаянный вопль!

Влетаю – цветы на полу, бидон аж под столом, а Пушкинский с безумными глазами, выгнув радугой спину, стоит посреди лужи.

С того дня – и пока не кончилась цветочная вакханалия, я каждый раз, уходя из дому, аккуратно выставляла все букеты на пол. Граф замирал, уткнувшись носом в цветы, и по возвращении я заставляла его в той же позе. Ни одна ваза не опрокинута, ни один букет не перевернут – лепота! Как сказано в писании: «На земле мир и в человеках благоволение!»

С тех пор, как на кухне воцарилась Варвара Павловна, граф окончательно отказался делить с Жулькой её песочек. Теперь он заходил туда только для того, чтобы получить причитающийся ему паёк, а, закончив трапезу, поворачивался и уходил, не выражая никаких эмоций. Вместо песочка он устремлялся на балкон, а с балкона на соседнюю крышу. Если балкон был закрыт, он выскакивал в форточку, а если и форточка была закрыта, требовал открыть.

Наступила зима. На балконе вальяжно расстился пушистый снежок. Сидя на окне, Пушкинский подолгу наблюдал за жирными, склочными голубями, за воробушками, бойко расшивавшими белое покрывало мелкими частыми крестиками. Иногда делал вид, что хочет пугнуть или даже цапнуть, но всерьёз охотой не занимался: видимо, помнил, как однажды, ещё в ранней юности, погнавшись за воробьём, не удержался на перилах и упал с пятого этажа. Тогда, однако, всё обошлось: потому ли, что сам ещё был в весе пера, или благодаря удивительной кошачьей природе – так или иначе, он остался жив и только несколько дней хромал.

И вдруг перед самым Новым Годом случилось несчастье. День был тревожный, ветреный. Пушкинский, как обычно, толкнул форточку, выскочил на балкон, походя спугнул синиц, пробежался по соседней крыше и, совершив всё, что было запланировано, хотел было вернуться, прыгнул – и тут, в те доли секунды, когда он был в полёте, внезапный порыв ветра захлопнул форточку, ударив кота по носу. Пушкинский упал. Мы похолодели. Это был уже не легковесный котёнок – «дороден был князь», как писал Алексей Константинович Толстой, а пятый этаж в нашем старом доме по высоте равен седьмому!

Володя стремглав скатился по лестнице и вернулся бледный как смерть. На руках у него безжизненно повисло обмякшее тело нашего любимца: нарядные вибриссы и манишка были

испачканы кровью, зелёные глаза недвижимо полуоткрыты.

– На чёрта ты его принёс? Чтобы тут подох? – накинулась на Володю Варвара Павловна. – Там бы уже и бросил, на мусорке – всё равно уже не жилец.

– Да что ты, мама! Он же ещё дышит! Пушиночка!

Мы постелили ему в самом тёплом уголке, на кухне, около батареи. Абрам Григорьевич принёс молока, Володя нарезал колбаски – всё напрасно: он даже не открывал глаз. Так и пролежал до утра, не шевелясь и лишь изредка постанывая.

Володя ушёл на работу расстроенный. Вслед за ним надо было уходить и мне, так что вахту около Пушкинского принял Абрам Григорьевич.

Вернувшись, я застала больного в том же состоянии. К еде он даже не притронулся. Огорчённый старик суетился около него, и даже Жулька, как могла, выражала сочувствие.

Володя пришёл поздно, принёс красавицу-елку, втащил её в комнату и поставил у балконной двери. Пока я подтирала снег на паркете и печально обзревала перепачканные смолой шинель и перчатки, со стороны кухни вдруг донёсся неясный шум и слабый стон. Мы остолбенели: не обращая ни на кого внимания, со стоном волоча задние ноги, к ёлке полз Пушкинский. Дополз, уткнулся разбитым носом в зелёную хвою – и затих.

Как мы ревели над распростёртым тельцем Великого Эстета! Даже Баба Варя подкладывала ему все мыслимые лакомства – тщетно. Он по-прежнему ни к чему не прикасался.

Но утром Володька вытащил меня из ванной, как была, с зубной щёткой во рту – и торжествующе поволок к ёлке: чуть привстав, Пушкинский вялым розовым язычком тихонько лакал молоко! Да, тысячу раз был прав Федор Михайлович: красота спасёт мир!

Через несколько дней Пух уже кое-как ковылял, а ещё через несколько дней, придя с работы, я, к удивлению своему, застала его на диване. Это было неслыханно!

– Пушкинский, ты что? Как тебе не стыдно?!

– А-а, – кисло сказал Пушкинский, – ты забыла, что я болен?

Я устыдилась своей чёрствости и извинилась.

Ещё, наверное, с неделю граф нахально возлежал на диване. И как только он туда забирался, при всех своих увечьях – уму непостижимо! Однако, как только он перестал хромать, всё возвратилось на круги своя: Пушкинский водворился на своё обычное место – горячую батарею, а диван снова стал неприкосновенным.

Казалось, на этом можно было бы и закончить рассказ: дело шло на поправку, и выздоравливающий уже поглядывал на синиц, приветственно стучавшихся в окошко. Мы успокоились, но ненадолго, потому что в доме уже назревали иные страсти.

Варвара Павловна, до глубины души уязвлённая предпочтением, которое оказывал мне Пушкинский, повела атаку в новом направлении. Апеллируя к нашей совести, она утверждала, что мы ограничиваем личную жизнь нашего любимца.

– У Лиды коты по двору гасают, а вы своего как в тюрьме держите.

Однако гулять во дворе Пушкинский категорически отказывался. Если его выносили, он либо прятался под машину, каким-то необъяснимым образом безошибочно опознавая свою среди прочих, одинаково воняющих бензином металлических чудовищ, и ждал там, уверенный, что в конце концов его непременно заберут обратно, либо пулей мчался на родной пятый этаж и умачивался ждать под дверью или на чердачной лестнице.

Ясно было, что на этот раз нашла коса на камень. Баба Варя настаивала, Пушкинский упорствовал. Она пыталась насильно выгонять его – он сопротивлялся. Она несколько раз побила графа венником, и он решился на крайние меры: когда Баба пошла гулять, он в отместку окропил её тапочки. Тапочки заблагоухали. События приняли угрожающий характер, и однажды, придя с работы, мы обнаружили, что Пушкинского нет.

– А что такого? Попросился кот, и я его выпустила.

Выразить Варваре Петровне недоверие – это, как говорится, чревато!

– А давно?

– Давненько уже, – подавляя довольную улыбку, ответствовала победительница.

Мы долго не ложились спать. Выглядывали на лестницу, осматривали с балкона соседские крыши, выходили во двор – Пушкинского не было.

Ночью я проснулась от смутного беспокойства. Володя стоял у окна и в двенадцатикратный бинокль обзоревал голубые в лунном свете пустынные крыши. Я притворилась, что сплю.

Наутро я учинила допрос всем дворовым ребятишкам – никто Пушкинского не видел. Володя после работы обошёл все соседние дворы – тщетно.

Прошла ещё неделя. Варвара Павловна тихо торжествовала, мы грустили. Но как-то раз, когда я тщетно пыталась высыпать мусор в полный до краёв мусорный ящик, меня окликнул замурзанный мальчуган, увлечённо малевавший что-то на дверях нашего сарая:

– Тётя, а ваш котик приходил. Ваша бабушка его венником била.

– Так где он? – встрепенулась я.

– Убежал. Я ж говорю, она его венником била. Он в эту дырку ушёл.

Выяснять обстоятельства было бесполезно. Варвара Павловна всё категорически отрицала:

– Ты что – в своём уме? С чего бы это я его била? Врёт твой пацан – или ты сама всё выдумала. Загулял твой кот, а ты на меня собак вешаешь.

Мы с Володей, уже не таясь друг от друга, по очереди осматривали в бинокль окрестные дворы. Абрам Григорьевич с Жулькой самоотверженно патрулировали по улицам, заглядывая во все подворотни. Однажды старик пришёл удручённый и озабоченный, звал меня к себе и шёпотом сообщил, что дворничиха Надя ему сказала: «Дело, конечно, не моё, но пацаны говорят, несколько раз кот приходил, а Павловна его венником, венником...»

Говорить с Володей о матери нельзя, это – табу. Он, бедняга, в детдоме рос. Мать о нём вспомнила, только когда он женился. Этого касаться нельзя – до сих пор больно...

К майским праздникам скопилось несколько отгулов, и мы завезли Бабу в Изюм, к сестре, а сами, прихватив с собой Абрама Григорьевича, махнули на недельку в Крым – развеять тоску, надышаться впрок солёным ветром, наглядеться на цветущие глицинии, золотой дождь раkitника, на зубчатые бастиины Ай-Петри... Старик радовался, как ребёнок – мы его повсюду с собой...

А когда, загорелые и обветренные, мы снова поднялись на свой пятый этаж, нам под ноги с чердачной лестницы с громким мурлыканьем метнулось что-то неузнаваемое, невероятное – и нестерпимо родное. Пушкинский был гол. Страшный лишай, как степной пожар, охватил всё его исхудавшее тело, выжег дотла его нарядную шелковую шёрстку. Он тёрся о наши ноги, он пел от счастья – а мы онемели.

Не распаковывая чемоданов, даже не умываясь с дороги, мы сунули счастливого Пушкинского в мешок и бросились в ветеринарную клинику.

Приговор был беспощадный: немедленно усыпить! Стригущий лишай, твердил ветеринар, равно заразен и для животных, и для человека. Мы умоляли, мы клялись, что готовы дать любую расписку, взять на себя любую ответственность, заплатить любые деньги; заверяли, что будем держать Пушкинского в полной изоляции – в ванной, в кладовке, на балконе... Ветеринар был неумолим.

– Кошек, даже породистых, мы от этого не лечим. Собак – да, тех можно, а у кошек особый подшёрсток, их наши лекарства не берут. Вы можете рисковать собой, но рисковать другими вы не имеете права. Подумайте о соседях, соседских детях, об уборщице, которая моет полы в подъезде! Ведь лишайные чешуйки переносятся даже подошвами обуви. Нет, я не могу вам его отдать – и не просите. Если бы вы ещё жили одни, в частном секторе – а так это преступление.

Наверно, у нас был хороший вид, потому что он, смягчившись, добавил:

– Вы не бойтесь, ему не будет больно. Только один укол – и всё.

По дороге домой мы не разговаривали и не смотрели друг на друга.

Прошло много дней, месяцев, лет – а мне всё ещё порой снится один и тот же сон. Ко мне приходит голый Пушкинский и с укоризной говорит:

– Предала... Не защитила – а я тебя спасал...

И я молчу. Мне нет оправдания. И мы молча сидим на завалинке какого-то незнакомого домишки, где-то на Холодной Горе – я и преданный мною мой преданный друг...

А что, если ветеринар нас обманул?

Инна Мельницкая

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Что рукописи не горят – не верьте!
Приходит тихий, ясноглазый мальчик,
Подносит спичку – и они горят...
Не думайте, что мальчик этот зол,
Что он – ваш враг. Он вас почти не знает,
Но знает жизнь, и, что всего важнее,
Он знает: спички у него в руках.
Вы думаете, судьбы не горят?
Они горят бездымно и бесслезно,
Почти не видно, как костёр на солнце, –
И остаётся от твоей судьбы
Щепотка пепла – да и ту развеет
Бродяга-ветер и размочит дождь.
Но это всё – потом. Сперва
приходит
Всё тот же мальчик. Он к твоей судьбе
Приценится, всё трезво просчитает,
Прикинет варианты – и решит.
Ведь если вдруг одна судьба сгорит,
Другой просторней и вольготней станет.
Всё дело в выборе...

Но почему, скажите,
Вы спички доверяете ему?

1985

К ВОПРОСУ ОБ ЭМИГРАЦИИ

Обидой до костей обожжены,
Без розовой надежды на удачу,
Евреи уезжают из страны,
А я о них ночами трудно плачу...
Нам нагло лгут, что в них чужая кровь,
Но, если честно вспомнить всё, что было, –
У нас она земля, одна любовь –
И лишь случайно не одна могила!
На Волге, на Дону и над Днепром,
С годами не меняясь, не старея,
Ни разу не помянуты добром,
Лежат мои товарищи – евреи.
Что из того, что генотип не тот:
Глаза печальней, волосы курчавей –
Кто, будь он проклят, обрекать их вправе

На их второй, трагический Исход?!
Мы были рядом в круговерти дел:
Под грохот строек и под гомон птичий
Нас поднимали вместе, без различий
В атаку, на прорыв – и на расстрел.
Нет, наша кровь давным-давно смешалась –
И, тёмный стыд глуша, как сердца стук,
К себе –

не к ним –

испытываешь жалость,

Нащупывая рядом
пустоту!..

1988

ТВОРЧЕСТВО

Дорога по жизни избита, изрыта –
Судьба так решила, иль тянут грехи?
Недаром горчат над постылым корытом
Рождённые в будничной спешке стихи.
Так славно когда-то творили поэты:
Скрипели гусиным пером, не спеша,
Влюблялись, стрелялись, дарили букеты –
В изящных стихах изливалась душа!
В серебряном веке, в красивой печали
Глаза не от лука щипала слеза,
А тут вот не знаешь, что делать вначале –
Как, стирку окончив, поспеть на базар,
Сварить, и убрать, и подумать о Боге,
И краешком глаза вокруг поглядеть,
Чтоб, щурясь сквозь пыль беспощадной дороги,
Какие-то песни упрямые петь!
Тащу свою совесть немереным грузом –
Ну что б тебе груз выбирать по плечу? –
И жёстким стихом, как ладонь, заскорузлым,
Долги свои снова плачу и плачу.

2002

У ОСТАНОВКИ

Тяжело переваливаясь на опухших ногах,
к трамваю бежит старая женщина.
Светофор уже мигнул жёлтым
и ласково засветился зелёным,
но вагоновожатая терпеливо ждёт.
Старуха подбегает, задыхаясь,

благодарно запрокинув побагровевшее лицо, –
но двери перед ней захлопываются,
и трамвай плавно трогается с места.

Каждый забавляется по-своему, не правда ли?

2003

ТРЕЗВОЕ

Скажи, зачем ты мне напоминаешь,
Что близок Стикс – и нет пути назад?
Для нас – для всех – конечна жизнь земная,
И пред тобой, как предо мной, – закат.
Но пусть мой путь к нему чуть-чуть короче,
Мы обе всё равно идем туда.
Я не боюсь.

Ведь самой тёмной ночью

Кому-то где-то

светится звезда.

И может статься – за моим уходом

Ещё звезда

на небесах взойдет?

Что ж – поглядим, что там, за небосводом!

Ты остаёшься?

Я иду вперёд.

2009

ТИХАЯ ПЕСНЯ

Тихий дождик чуть слышно лопочет в саду,
Струйки робкие нежно журчат в водостоках...
Я по желтой тропинке неспешно бреду –
Хочешь, тихую песню сложу на ходу,
Раз уж осень в наш сад заглянула до срока?
Не грусти: эта боль неизбежна – смирись!
Величаво строга красота увядания...
Всё проходит – ведь ты это знала заранее:
Наше время крадётся беззвучно, как рысь.
Улыбнись и скажи ему: что ж – до свидания!

2009

БОРЩ

(Страдания переводчика)

Как объяснить им, что такое борщ?
Для чужаков – непостижима тема!
Как ни старайся, как тут лоб ни морщь –
Им не понять, что борщ – это поэма.
Здесь общего для всех рецепта нет:
Хранимый бережно, как полковое знамя,
У каждой молодежи свой секрет,
На опыте настоянный веками.
Приправленный хохлацкой хитрецей,
Он – Символ Нации, а значит – не безделка!
У каждого Борща – своё лицо.
И вы его увидите.
В тарелках.

2012

AD PISCES¹

Чищу рыбу под названием "пеленгас".
Морда рыбины таинственно печальна:
В плоских бусинах застывших рыбьих глаз –
Рыбами подсмотренные тайны.
Мне бы к этим тайнам прикоснуться,
Рыбий голос услышать хоть раз –
Только рыбе не дано проснуться!
Чищу рыбу под названием "пеленгас".
Чищу рыбу...

2012

¹ О рыбах (лат.)

Михаил Голубовский
ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Здесь силы разрушенья взяли верх
Над созидательным началом жизни:
Собрать – Соединить – Сосредоточить.
Разъятье и Разорванность. Раскол и
Расщепление. Рассоединенье и
Раздробление. Распря и разрыв.

...Мы впревые

Вдруг осознали вешнее значенье
Старинных этих слов: Собор-сборность.
Соборный-собиранье. Собирай,
Но не Раскладывай. Как это просто!

Ю.В. Линник

В лесах Карелии, где ночи длинны-
длинны,
Я Космос наблюдаю – Ю.В. Линник.
Планеты, чудится мне, гибель непреложна.
В приставках *раз-* и *со-* открылся смысл
предложный!

Грозят Земле Разрыв, Разъятие, Разрядка –
с предлогом *раз-* не будет в ней порядка.
А вот с предлогом *со-* уже другая повесть:
Со-звучие, Со-жительница, Со-весть!

Хочу я всех людей в один собор собрать:
Давайте со-зидать, со-петь и со-членять!
Я убеждался в жизни много крат:
Был прав Платон: его учил Со-крат!

Прекрасно Линниково мнение.
Но нас берёт, увы, Со-мнение.
Собор хорош. Но станет ясно сразу,
Что рядом следует поставить Разум.

Творец дал *гомо сапиенс* мышление.
Рассудок – не сосуд, в основе – Размышление!
Собрались люди строить дом –
Без Разума получится Содом.

О, как нам памятны Собранья,
Где ложь в со-вокупленьи с бранью.
Иной Совет, Союз, Созыв
Несёт Разлад, несёт Разрыв.

И соловья-солиста лучше пение,
Чем коллективное Сопение.
Вот в изначальной простоте Соитие.
Но пусть за ним последует Развитие!

Чтоб красоты достичь и лада,
Нужна, наверное, **триада**.
К примеру: Совесть, Разум, Верность:
Вот это будет **со- раз-** мерность!

P.S. Хоть для забавы, хоть для справки
Заметим: *раз-* и *со-* приставки.
А Линник их называл *предлог*.
Он лучше выдумать не мог?

1978



Леонид Мачулин

НАВАЖДЕНИЕ

Рассказ



Я проснулся от выстрела. Но мне было все равно. Война так война! То, что теперь называлось «я», было не в силах даже открыть глаза, не говоря уже о том, чтобы повернуть голову или шевельнуть рукой. Пятый день это «я» лежало в запертой темной комнате с температурой под сорок. По непонятному графику она иногда падала на целый градус, и тогда у меня появлялись силы доползти к столу и проглотить какие-нибудь таблетки. Так, на всякий случай, вдруг поможет.

Работа мозга всё-таки разбудила тело, и когда раздался очередной выстрел, я уже не спал. Ага, скорее всего, это не война. Похоже, стучит створка окна.

Стучит?

Я собрался с силами и прислушался: за окном устрашающе шумел порывистый ветер. Так. Значит, пока я тут валялся, невыносимую жару за окном стал разгонять ветер. Без меня. И, судя по обжигающим его потокам, врывающимся в форточку, он не принес ни туч, ни дождя. Суховей...

Сирокко?!

И тут же вспомнил, что сегодня жду её звонка. С ужасом подумал, что при температуре в квартире плюс 31, за окном плюс 34, а моего тела – плюс 40, свидание может не состояться.

Створка окна выстрелила еще раз. Наверное, надо всё-таки подняться и прикрыть её, иначе ветер разобьёт стекло. Но тело разламывалось на маленькие колющие кусочки и, чтобы его собрать в единое целое, надо было придумать какой-нибудь стимул. Бонус, приз, всё равно что.

Кажется, скоро полдень. Значит, скоро может позвонить она. Тогда я скажу, что не могу выйти, так как болен. Может быть, она решится прийти? Нет! В квартире неубрано, это нехорошо, надо хоть сгрести разбросанную одежду в шкаф...

... Я поднимался или нет? – подумалось в очередное выныривание из забытья. Прислушался: за окном всё также шумел ветер. Который час? Может быть, она уже звонила? Нет, ну это же сумасшествие – постоянно думать о ней!

Надо сходить в аптеку. При такой температуре оставаться на ночь без жаропонижающего – всё равно, что играть в русскую рулетку.

Надо подниматься.

Сирокко, сирокко, как ты мне нужен....

– Что такое сирокко? – спросила она как-то.

– Это знойный ветер в северной Африке.

Время от времени он налетает на юг Италии, Сицилию, Корсику, разгуливает по несколько недель и вселяет в души людей необъяснимые ощущения тревоги и возбуждения. Кто-то из писателей сравнил его с любовным помешательством...

В другой раз она сказала: «Слушай, Эл, я готова заниматься с тобой любовью, готова быть твоей девочкой по вызову, твоим эскортом, всем, кем хочешь. Только, пожалуйста, не зови меня в жены...».

С ума сойти!

В тот раз я вспомнил бабушку по отцу. В детстве мы жили вместе, и у нас с ней были какие-то особые отношения. Мы не были дружны, но оба, кажется, оба, чувствовали себя заговорщиками. Как-нибудь, промежду прочим, она вдруг, ни с того ни с сего, могла что-то рассказать совсем неподходящее моему возрасту. Например, про любовные похождения деда.

Мой легендарный дед попал в плен к немцам в сорок третьем, а в сорок шестом его вернули в Союз. Но тогда почти всем советским пленным давали срок еще и на Родине. За то, что попали в плен, а не покончили с собой. И дедушка отработывал еще и в советских лагерях. К счастью, его лагерь находился под Изюмом, в сорока километрах от нашей деревни. И бабушка, собрав нехитрую котомку – несколько варёных картофелин, лепешку, когда стакан молока, – два-три раза в месяц, в любую погоду, пешком, напрямую через лес ходила за сорок километров, чтобы сказать деду, которому в лагере исполнилось пятьдесят, что она его любит, и дома его ждёт трое детей...

Когда они состарилась, бабушка всё показывала на ноги, увитые венами, толщиной с бельевую веревку, на скрюченные пальцы, и жалостливо приговаривала: «Ох, внучок, внучок, как же они болят...»

Вернувшись в очередной раз в сознание, я прислушался: ветер утих также неожиданно, как и поднялся. Значит, не сирокко...

1998

Леонид Мачулин

КОЛОКОЛЬЧИК НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Накануне море штормило. Целых три дня огромные волны неистово налетали на пирс, вдребезги разбивались о серость монолитного бетона и насыщали вкусом соли прибрежный воздух Феодосии.

Мы молча – из-за непрерывного шума моря – гуляли по набережной. Вдруг она неожиданно взяла меня за руку и, напрягая свой тихий голос, воскликнула:

– Завтра обязательно сфотографируем тебя на фоне этих грандиозных волн! Смотри – они точно как на картине в твоём кабинете!

Я рассмеялся и нежно поцеловал ее в открытые, чуть соленоватые губы:

– Ты просто прелесть! Так и сделаем.

Последнюю неделю мы проводили вместе двадцать четыре часа. На календарной границе лета и осени, изнеможенные длинными и жаркими летними днями в шумном и пыльном Харькове, каждый из нас нашел повод улизнуть из города на недельку; и вот она заканчивалась. Вначале, добравшись до провинциальной Феодосии, слегка грустной от наступающей осени и предстоящей безлюдной зимы, мы, по ее предложению, не стали превращаться в «морских котиков». Пока стояли прозрачные осенние дни, успели сходить по горным тропам в Орджоникидзе и Планерское, побывали на заброшенном маяке, в старом феодосийском порту, поднимались на Митридат... При этом умудрились обгореть, вволю накупаться, там и сям продегустировать местное красное вино, собрать коллекцию мелких камешков на мозаику для панно...

Когда восточный ветер поднял шторм и заходить в воду стало просто опасно, мы начали гулять по старой Феодосии. Упражнялись в латеральном мышлении, на ходу сочиняли и тут же рассказывали по очереди роман с интригующим названием «Опаленные солнцем». Накопленный за лето стресс постепенно отпускал, ощущение ужасно тяжелого года уносило волнами прибой, и я вновь ощутил вкус к жизни...

Буквально за месяц до этой поездки она осторожно спросила: «Ты уже разлюбил меня?» – «Почему ты так решила?» – растерянно переспросил я. «Ты уже давно не пишешь свои рассказы...».

Она была права. За последние пять месяцев я не написал ни строчки. Даже пять полнолуний и наступившая весна остались незамеченными. Но причина, конечно, была в другом. В тот год я кожей почувствовал состояние своего любимого Бунина, когда он в определенный период жизни был раздираем сомнениями и выбором. Несмотря на понимание и поддержку друзей, я всё никак не мог найти ту внутреннюю опору, которая помогла бы устоять против пошлой действительности. Внутренне я готовился отправиться вслед за Иваном Алексеевичем. Но, видимо, что-то – еще мне неизвестное – не отпускало меня. Как я ни старался расставить все точки над «i», часть работы подсознания всё же была скрыта вуалью. Не удивительно, что знакомые при встрече

сочувственно качали головой: «Ты плохо выглядишь, пора в отпуск».

Как можно отдохнуть от состояния выбора?

Перед отъездом я решил купить ей какой-нибудь сувенир на память. В его поисках переходил от одного лотка к другому, произвольно расставленных вдоль набережной. Колечки и сережки с крымскими самоцветами, акварельки, плетенные кошельки, кораблики из рапанов, картинки и поделки из корней дерева... Вдруг среди этой мишуры увидел несколько старинных икон. Продавал их бомжеватого вида мужик в татуировках на всех открытых частях тела. Подхожу ближе и вижу рядом с иконами небольшой, размером с кофейную чашку, колокольчик. Весь его вид – и цвет меди, и потерянная юбка, и форма ушка выдавали возраст.

Едва сдерживаясь, чтобы не ухватить его тотчас, со скучающим видом стал рассматривать иконы. Было ясно: стоит мне проявить интерес к колокольчику, как его цена возрастет неимоверно. Интуитивно определив приоритеты мужика в продажах, я спросил:

– Вот эта иконка сколько стоит?

Он ответил. Я озадаченно покачал головой.

– А подсвечник?

Он назвал цену, я прокомментировал и её. Выдержав паузу в три минуты, взял в руки заветный колокольчик. Он оказался без язычка и, слава Богу, целый, без трещин и сколов. На головке выбита цифра «4».

– Ну, а колокольчик сколько?

Мужик, видимо, понял, что клиент небогат, и что сегодня он может остаться совсем без выпивки. Полупрезрительно посмотрев на меня, мол, что без толку спрашивать, назвал абсолютно приемлемую цену. Я повертел в руках колокольчик, показал ему отсутствие языка и предложил скинуть треть. Он возмутился, как настоящий торговец, но я уже понял, что мужик уступит. Поставил колокольчик на место, сделал жест «Ну, мол, что же...», вернул руки в позу скучающего курортника, и лениво двинулся в сторону следующего лотка с безделушками. Мужик, уже нарисовавший в своем воображении стол и закуску, судорожно спросил у своего напарника: «А, может, отдать на почин?» и, не дожидаясь, пока я растворюсь в толпе отдыхающих, громко позвал: «Эй! Ладно, забирай!».

Не торопясь я вернулся, отдал деньги, взял колокольчик. Мужик суеверно пробормотал: «Первый покупатель – мужчина», и поводит моей купюрой по оставшемуся товару, словно причащая его к продаже...

Я отошел подальше за спины прохожих, взял колокольчик за ушко и, сдерживая охватившее напряжение, постучал по нему ногтем. Колокольчик тут же, как ребенок, соскучившийся за мамой, отозвался таким чистым и глубоким звуком, что я, неожиданно для себя, от радости рассмеялся. В тот самый момент я понял, что всё встанет на свои места – если оставаться самим собой, не изменять себе и не ломать себя. И тогда у нас будет всё: и «Опалённые солнцем», и «Несгибаемые ветром», будут другие покорённые горы, солёное море, будет свобода и счастье, и будет ещё много-много рассказов...

1999 г.
Феодосия

Леонид Мачулин ВАШИНГТОН, DC

– Стоп! Так дальше не пойдет, – сказал я сам себе. Оглядевшись по сторонам, увидел, что нахожусь у сквера со скамейками и памятником Джону Барни, кажется, герою 1803 года. – Отлично, наконец-то нашёл, где присесть!

Ощущение беспокойства, смешанного с раздражением, терзало меня последние несколько часов. К счастью, я был уже хорошо знаком с подобными приступами. О-о-о, это ужасная смесь! В таком состоянии можно легко надеть много разных глупостей, о которых позже обычно жалеешь! Но, слава Богу, с годами я, кажется, научился выходить из подобных состояний с наименьшими потерями. Без запоев, загулов, уездов, без срывов на ближних и дальних, словом, без всей той чепухи, от которой страдает большинство мужчин в сложные периоды жизни. Одно из выстраданных золотых правил – не оставаться наедине с собой в замкнутом помещении. И я его выполнил – не остался сидеть в номере «Plaza», хотя день был трудным и я чертовски устал. Но когда знаешь название болезни и знаешь, как её надо лечить, остается одно – действовать. И тогда я пошёл по 14-й стрит между зеркально-бетонными коробками офисов в сторону Белого Дома. Теперь надо разобраться с причиной и следствием.

Вашингтон мне однозначно не нравился. В этом городе, как, впрочем, и по всей Америке, после работы люди не болтались по улицам, не засиживались в маленьких кафе и ресторанчиках, как в Европе, а дружными рядами направлялись в своих авто домой. Неудивительно, что в половине седьмого вечера улицы городов по всей Америке, казалось, пустели. За исключением каких-нибудь маленьких питейных заведений с дансингом по вторникам и четвергам...

Впрочем, если честно, не это же причина моей хандры? Откуда пришло это состояние угнетённости? Ведь всё предсказуемо, ничто не может изменить расписания ближайших дней, разве что внезапная смерть. Так что надо просто ждать. Ждать, ничего не предпринимая – таковы правила игры!

Разве так не бывает осенью, когда смиренно встречаешь каждое утро, осознавая: за дождливыми и слякотными днями, с их бесконечными сумрачными вечерами, наступит зима – с морозцем, с пушистым белоснежным покровом, искристо-слепающим солнцем... И снова будет радостно на душе от одного вида из окон твоей квартиры, вида на крыши старого города, одинаково укрытых снегом...

Бывает, бывает, и снова будет. Но будет потом,

позже, а пока я вынужден сидеть здесь, на скамейке в сквере 14-й стрит, Вашингтон DC, щелкать земляные орешки и раздраженно думать о том, что хочу домой, в Харьков, на свою Рымарскую, на улицу с голыми ветвями лип, мокнущих под дождем...

«И ещё важно, чтобы тебя там ждали...», – всплыла вдруг кем-то заготовленная фраза и я сразу понял, откуда моё нетерпение и раздражение. Всё дело в том, что в этот раз меня дома ждут! И цветы в вазу поставит не консервированная, а живая, и повсюду будет много не мужских вещей, и в квартире будет заметно присутствие заботливой женской руки...

Ощущение домашнего тепла и уюта передалось за двенадцать тысяч километров вместе с воспоминаниями о другом возвращении – из Франции, под самый Новый год. Тогда в Европе резко похолодало, солёная вода в топливном баке нашего автобуса постоянно замерзала, мы часто останавливались, водители отогревали её, и автобус двигался дальше. Пассажиры, вымотанные дорогой, сдерживались из последних сил мечтами о скором возвращении домой, в Харьков... А там царила темнота и всё тот же холод. Термометр на Сумской показывал ниже тридцати пяти по Цельсию, в моей квартирке – ниже нуля, водопровод и канализация замерзли; воды нет, продуктов нет, магазины закрыты, ведь это была эра до маркетов, наступала ночь с субботы на воскресенье; и я всю ту ночь топил газовый камин, отогревал стены, пил водку, не закусывая, и убеждал себя в том, что пора кончать эту личную драму и не мучить себя бессмысленно-колючим вопросом «Почему»...

Я прислушался к себе. Всё тихо. Теперь я встану и спокойно вернусь по 14-й стрит к себе на восьмой этаж, подальше от этих спящих авто, сирен полицейских, санитарных и пожарных машин, в полной тишине включу полюбившуюся местную радиостанцию «Classik», заварю крепкого чёрного кофе, привезенного с собой, потому что американцы в нём ни черта не понимают, и с тихим наслаждением, смакуя, напишу рассказ о том, как хорошо, когда тебя ждут дома, о том, как я провез через санитарный кордон саженцы настоящих аризонских кактусов, и как их горшочки будут стоять рядом с теми пальмочками, что мы с ней привезли из сентябрьской Алушты...



Татьяна Апраксина
ЗВУК СВОБОДЫ

СКАЧУ...

Скачу.
Мешая слёзы с речной водой.

Питаюсь.

Градом
Дымом костров и сигарет.

Сгорая.
В движеньях словах и обьятиях.

Распластываясь.
На холсте на земле и на дереве.

Уходя.

В тучу волну
Вращенье светил
И в горизонт.

Остаюсь.

Всегда.
Навсегда.
Во всём.

Здесь.

Биг Сур, 1999

ЦВЕТ КАМНЯ

Цвет изменчивый
Камня,
Принявшего волны,
Потемневшего,
Ставшего ярким,
Прозрачным,
Глубоким,

Говорящим,
Что он не серый,
Что ему нет конца,
Что его сотворило бессмертие.
Чтобы сиять,
Он ждёт только капли
И света.

Чтобы гореть,
Он должен накрыться водой,
Утонуть

И перестать считать
Истраченные киловатты.

Биг Сур, 1999

КОЛЬЦО

Говорят, что золото — как масло:
Слишком мягкое и слишком золотое.
Непрактично для суровых будней
И товарный вид со временем теряет.

Но товар любви, полученный безмерной платой,
Никогда мне не назвать своим,
Если душу он не окружит мне, как и палец,
Летней ясностью и послушаньем золотым.

Почему бы не признаться, что чужое
Часто кажется надёжней своего?

Вот поэтому холодный блеск металла
Радует расчёт, не притупляя жала.

Биг Сур, 2000, 4 апреля

ЗАКОН НОТ И ЧИСЕЛ

Ты чувствуешь, что нот и чисел простота
Многозначительна, как неба высота?
Пытаясь жизнь свою начать с нуля,
Ты первым делом постигаешь ноту “ля”.

Закон простейших чисел мир узнал,
Определив небесный интервал.

А Рубикон математической науки
Мы переходим, изучив “Искусство фуги”.

Пойми значение каждого числа и ноты —
И ты услышишь звук своей свободы.

Биг Сур, 2000

УРОК

Дороги завиток
Улиткой виноградной
Свернулся под горой,

На скалы лёг
Под лаской океанской
Дымящийся прибой.

Поняв намёк,
Кипит границей влажной,
Бежит змеёй,

Как белый островок,
Как знак мечты туманной
Под бешеной луной.

Доходчивый урок:
Какой певец прославит
Земли покой?

Десятки строк
Ни капли не прибавят
К воде морской.

Биг Сур, 2001

ФЕТИШ

Когда пишу — я всё пишу тебе, хотя порой,
Когда пишу, я помню и о тех, кто за спиной,
Чьи голоса, как пальцы, обнимающие скрипки гриф,
Своим присутствием определяют мой мотив.

Как камень скал под жадным языком волны,
Дрожу под пламенем, коснувшимся струны.
Беру, не спрашивая, отдаю — стократ,
Не дожидаясь почестей или наград;
Ни просьбы о спасении, ни выигрышных дней.
Люблю — когда горю: слабей или сильней.

И простодушной пляжной ракушки залог,
Зажав в руке, я точно так же не предам измене,
Как хрупкой жёлтой канифоли уголёк —
Фетиш, подобранный на досках знаменитой сцены.

Биг Сур, 2001

* * *

Меня гора учила быть горой,
Гроза — грозой, и капли в воздухе — туманом
И ливнями.
На каменных костях земли и океана
Мой дух распластывался, становясь земной корой.

Биг Сур, 2001, июль

ГАВАНЬ

Дойдя до гавани, сижу на камне, повторяя:
В порту — всё та же океанская вода.
В халате мирного уютного угла,
Как альпинист на кухне, отдыхает.

Ну до чего смирна!..
Пассивна ... Нежно мерит
Истоптанный песок, пологий берег,
Миролюбиво отражает мачты яхт
И ресторанные огни.
Лениво их шевелит.
Играет нехотя, как сытый старый кот,
Забравшийся в буфет, пока хозяин дремлет.

Монтерей, октябрь 2001

ТАМОЖЕННИКУ

В переполненной нише
Новостей предыдущего века
Он застыл неподвижно,
Избегая прямого ответа ...

Разве мог он увидеть,
Посмотрев на лицо твоё бледное,
Пропахавшее бездны пророчеств
За двухдневные вёрсты бессонницы,

Что комета индейских волхвов,
Отсчитав перелётную пошлину,
Опустилась со снежных обочин
На горячую грудь Калифорнии?

Что по праву прологов эстетики
И с учётом систем профилактики
Он отрезал планете три месяца:
На прощания, на междометия,
На нелепые детские шалости?

Разве мог он понять,
Что счёт открывает немеряный,
Пропуская тебя
Неохотно в полночной таможне?
Что срок назначает —
Континенту Америки,
Заставляя тебя
Заказать у судьбы невозможное?

Монтерей, 2001, 31 октября

ОДАЛИСКИ

(к Музам)

Мои рабыни — одалиски одного гарема:
Привыкли узнавать владыку по шагам,
И, затаив дыханье, ждать,
К кому из них он постучится.
Ему хватает ласк
Лишь только если все они довольны
И утомлённо закатив глаза,
Считают, все ли рёбра уцелели
В любовной схватке ... —
Но господина не желают отпустить!..

Хотя б у ног сидеть!..
Хотя бы голос слышать!...
И могут сотнями чужие удалыцы
Ходить под их окном
И прятаться за дверью,
Пытаясь обольстить ...
Пустое! Нет причин
Брать евнуха для услуженья.
Султан у них один!
И свято помня, кто он,
Все одалиски хором,
Как одна душа,
Незванных обольстителей
В породу евнухов запишут.

Монтерей, 2002, 10 января

ЗВОНОК

Поэту Х

Дух ленивый и злобный и пьяный питает таланты,
И страсть получает урок,
Создавая мучительный отклик похмелья.

Отсыревшие простыни, телефонный звонок,
И пичуга мелькает на стриженном дереве
Сквозь стихи, как сквозь дворницкий мат,
Наугад
Оживающий словом поэзии.

У меня за окном океан,
У поэта — двуличное “верую”
Предлагает дежурный стакан
И поездку дежурную к северу,
Где зарыта любимая кость,
Что когда-то вела вдохновение,
Взять наскоком желанный авось, —
Исходя кислотой вождения,
Отгрызая за пядью пядь,
Отмирая отравленным семенем,
Называя зеванье искусством писать.

...

Океан измеряется временем.
Всем поэтам случалось на могилах лежать —
Но встанут исключительно гении.

2003

ВЫСОТА

Поэту Х

Каждый хочет накинуться
На свою высоту,
Поцелуй принудительный
Пригубив на лету,
Прихлебнув кислорода,
Надкусив небосвод.
Но шальная погода,
Нарезвившись, пройдёт.
И бездонное небо
Только град и грозу
Посылает поэту,
Что остался внизу,
Что и рад бы подняться,
Но не помнит, зачем,
Возвращая в объятья
Разжиревшую лень.

2003, 11 апреля

СУДЬБА
Поэту Х

Сколько ни стой над судьбой,
Выше не вырастет.
Щёку к плечу уронив,
Вяжет в венок одуванчики.

Щиплет траву из-под ног,
Жмётся и щурится ...

Есть ли у львов и орлов
Право быть курицей?

2003, 11 апреля

* * *

Поэт не умирает от любви —
Но от попыток соответствовать уставу
Реестра общего рождений и смертей
Легенд поэтов.

2003

НОЧЬЮ НАД БРОДВЕЕМ

Между двумя церквами
Под баскетбольным щитом
Посреди затемнённой стоянки
Сидела под утро.
Овчарка сидела рядом,
Скуля и вздыхая.
Бледный язык полуострова
Задрался, как палец пророка,
Над шиферной крышей.

Оплот адвентистов.
Свингующий чёрный служитель
Свой храм покидает последним.

2003, 25 июля



Т. Апраксина
Двойной канон (диптих), х.,м., 2003

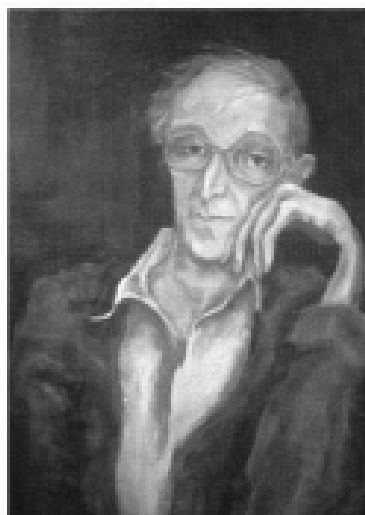
Татьяна Апраксина
ВОСТОК
 Коллекция живописи



Т. Апраксина
 Лики Шостаковича, х.м., 1986



Т. Апраксина
 Трапеза, х.м., 1995



Т. Апраксина
 Портрет композитора Александра Лощкова, х.м., 1987



Т. Апраксина
 Приношение 1, х.м., 1988
 50 x 100 см



Т. Апраксина
 Приношение 2, х.м., 1988
 50 x 100 см



Т. Апраксина
 Гентль/Гутиково, х.м., 1996
 65 x 77 см



Екатерина Короткова ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ



Я не помню того времени, когда мы жили все вместе втроём – папа, мама и я. Правда, в письме к своему отцу папа пишет: «Катюша разговаривает, ходит, кланяется тебе». Судя по дате, мне было тогда полтора года. И год спустя опять в письме к отцу: «Беседую с Катюшкой – о козлах, котах, скверных мальчиках и примерных девочках...»

Твёрдая, не эпизодическая память началась с того дня, когда меня привезли из голодающего Киева в Бердичев. Дядя Давид, муж бабушкиной сестры, Анюты, был лучшим в городе врачом, и семья не бедствовала. Киева не помню, кто провожал, кто вез меня – как ножом отрезало, не помню. Кто встретил, как везли с вокзала, тоже скрылось куда-то в тумане.

Но отчетливо помню: я стою в большой красивой комнате, а меня окружают незнакомые взрослые люди и с интересом разглядывают. И я, конечно, озираюсь с любопытством. Затем мне задают вопрос, который, разумеется, и следовало предложить мне в первую очередь: «Что ты больше всего любишь кушать?»

Я ответила по-чужацки, но логика здесь была – на первом плане самое желанное. Я не сказала «Борщ со свининой», а выпалила: «Свинину с борщом». Все громко расхохотались, и я, наверно, сильно смутилась, раз с этого момента началась моя память. Но в то же время, может, я обрадовалась, усмотрев в веселом, добродушном смехе обещание кормить меня мясом. Вот такой дикий ребенок приехал к людям, говорящим по-французски.

А потом оказалось, что Маугли хорошо запоминает французские слова, в четыре года выучился читать и шпарит наизусть стихи Лермонтова, нежно любимого бабушкой. Я и сама их всей душой полюбила: «Три пальмы», «Спор» и обжигающее жгучей прелестью: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...»

Я очень быстро освоилась в этом гостеприимном доме. Дядя Давид катает меня на извозчике, когда ездит по визитам. Он и маму мою когда-то так же катал, о чём мы с ней впоследствии с удовольствием вспоминали. Я и сейчас всё помню до мельчайших подробностей: вот я ступаю на пружинистую подножку, взбираюсь наверх, сажусь на мягкое сиденье... и покатили!

Я подружилась с соседской девочкой Мусей, мы играем – в доктора, конечно, ведь мы жили в доме врача. Кто-то из взрослых подслушал, как одна из нас (доктор) строго спрашивает пациентку: «Вы мужчина или женщина?»

В один прекрасный день дом оживился. Все забегали, засуетились: «Папа приехал! Папа!» Он схватил меня и поднял высоко-высоко. Не успела я опомниться, как уже сижу в бабушкиной комнате на её кровати. А отец, весёлый, молодой, сидит напротив в низеньком ковровом кресле и наизусть читает мне Чуковского. Читает громко, быстро, энергично. Он мне очень нравится, но я несколько ошеломлена этим стремительным потоком слов.

Это было незадолго до моего возвращения в Киев.

С шести лет меня сажали в поезд, и я ехала одна чуть ли не двое суток – почтовый поезд Киев-Москва, 30-е годы.

Мама обаятельно улыбалась соседям по вагону и говорила: «Присмотрите за ребенком». Мне это вовсе не казалось странным. Может, это и не было странным в те времена.

Я ехала на лето на дачу к папе подышать свежим воздухом, – мама получала в своем Наркомате 450 рублей и не могла снять дачу, а ребенку нужно дышать свежим воздухом.

Но не это главное. Важнее всего было повидаться с папой. Я ехала к своему хорошему, интересному, любимому папе, не чувствуя себя одинокой в плацкартном, полном людей вагоне, ехала почти двое суток, прижавшись лицом к окну, часами глядя на лес, на степь, на поле; деревни с белыми украинскими хатами, а после Хутора Михайловского деревни с деревянными серыми избами. А то вдруг речка, светлая, блестящая, промелькнет внизу в зеленых берегах и загрохочут по мосту колеса. Мне и в голову не приходило, что это может надоест.

Отец был поглощен работой. Он писал свой первый большой роман «Степан Кольчугин». Эта книга, несправедливо сейчас забытая, принесла ему всенародную славу и выдержала более десяти изданий. При всей занятости он находил время для нас, детворы, сочинял занятные, уморительно смешные

сказки, пересказывал доступную нам классику.

Затем дачи кончились, и в моей жизни появился пионерский лагерь. Первый из них – «Внуково», подмосковный лагерь для детей писателей, где я сразу почувствовала себя хорошо и свободно.

Я не жалела, что из моей жизни исчезли Лианозово и Загорянка и начались костры, походы, спортплощадка, которая влекла меня, пожалуй, больше всего.

Но я скучала без папы, и, хотя интеллигентные вожатые писательского лагеря развлекали нас изо всех сил и даже читали нам из приложений к дореволюционному журналу «Нива» захватывающий роман «Корсар-триплекс», который мы ежедневно, затаив дыхание, слушали после полдника, почему-то получалось так, что приключения корсара я быстро забыла, зато помню до сих пор, как отец нам пересказывал «Собаку Баскервилей» Конан-Дойля. Чувство ужаса, которое при этом возникало, было одновременно пронзительным до боли и прекрасным. Страшная старинная легенда: Баскервиль-холл, загадочный дом сквайра, окруженный мрачными болотами; Гримпенская трясина, как бы затягивающая в себя и нас; ну, и конечно, самое ужасное – этот тоскливый и жуткий, внезапно возникающий собачий вой и огромные следы собачьих лап на песке рядом с телом умершего от разрыва сердца старого сквайра.

Отец с таким вдохновением создал атмосферу повести, которую он пересказывал, что я до сих пор ощущаю ее ужас и красоту.

Книгу я прочла через несколько лет и помню что-то похожее на легкое разочарование – у папы было интересней, сильнее, страшней. Хотя повесть, конечно, великолепна, это лучшая вещь Конан-Дойля. И тем не менее, вдохновение рассказчика было мощней, талантливей.

На следующий год вместо Внукова я оказалась в лагере, расположенном неподалеку от Киева. И в этом лагере мне жилось хорошо. Но однажды воскресным утром к нам не приехали, как это полагалось, родители. Они стали появляться днем, разрозненно, поодиночке. И по лагерю пронесся слух, что началась война.

А почему, собственно, меня надумали посылать в лагерь? Расширить круг общения? Он и так был не мал. Я уже ходила в школу, до школы было два детских сада. Ходила в детскую читальню. Чего стоил один лишь наш огромный двор, где я все игры постигла, а заодно научилась драться. Совсем не то, что сидеть дома с бонной. Но в те поры я не рассуждала. Лагерь – так лагерь.

Четыре военных года я прожила с мамой в Средней Азии. Все это время я не встречалась с отцом. Но переписывались мы постоянно, он писал мне даже из Сталинграда. В одном письме сетовал, что оглушительный, неумолкаемый грохот великой битвы так заполняет все вокруг, что нет возможности читать.

Затем добавил: «Читать можно только "Войну и мир"». В письмах к маме он расспрашивал обо мне, просил выслать мои стихи (их передавали по ташкентскому радио).

За год до конца войны в Ташкент приехал Липкин, слегка уже толстеющий, но безумно элегантный в белом кителе морского офицера, и по просьбе папы оформил мне обеды в литфондовской столовой. В свой следующий приезд Семен Израилевич привез мне посылку в серой матерчатой обертке – два отреза, шелковый и вискозный, и нарядные белые гольфы для очень крупной немки. Мы долго ломали голову над назначением этой штуковины, которую я называла «носки великанши». Это по-настоящему трогательно, если вспомнить песенку фронтовых корреспондентов: «Средь огня и насилий едет Гроссман Василий, только он не берет ничего, шли Курганов, Горбатов по квартирам богатым...»

Я так отвыкла от обновок за четыре военных года, что к выпускному вечеру, где я вела конференс, мне сшили платьице из серенькой обертки заграничной посылки. К шелкам мне еще предстояло привыкнуть.

Война шла к концу, и ташкентские улицы запестрели светложелтым и розовым. Наши модницы обрядились в марлевые платья, покрашенные стрептоцидом и акрихином. В начале лета нашей семье выдали грядку на институтском огороде. Мы тут же засадили её помидорами и капустой, и острое чувство голода стало терпимым.

Летом 45-го мы перемахнули с восточных окраин державы на западную, в город Львов. Впервые за пять лет мы в Москве увиделись с папой. Он сразу потащил меня к фронтовому другу, знаменитому художнику Борису Ефимову. Затем мы все оказались у Фрайермана, автора милой, трогательной книги «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». Хозяин дома встретил нас радушно и тут же принялся демонстрировать таланты своей собаки, кажется, пуделя. «Пальма, критик!», и собака сердито залаяла. По-моему, всем, кроме меня, был давно уже известен этот номер.

Все жили в центре, ещё кто-то набежал. «Девочке из страны помидоров» поручили приготовить яичницу, но тут же отставили от этого серьезного дела. «Что она делает, эта девочка? В Москве столько с помидоров не срезают. Это не Ташкент!» Помидоры испещрены были пятнами.

Затем меня заставили читать мои стихи. Взрослым московским писателям особенно понравилась строчка: «Тают декады на карточках хлебных...» «Это мог написать только тот, кто годами стоял в этих очередях!»

Хорошее это было время, сразу после войны – время светлых надежд и фронтовой дружбы. Помню, в конце 50 – х я разглядывала в кабинете отца полку с книгами – подарками писателей. Вдруг я увидела фамилию человека, с которым у отца были крайне враждебные отношения. Мне стало любопытно: что он

мог когда-то написать? Открыла книгу: «Васе, другу, брату...» Уверена, что совершенно искренне.

Сентябрь 45-го, на редкость теплый для Москвы.

«У меня новостей нет, кроме одной: была здесь проездом Катюша, ехала с матерью и отчимом во Львов.

Прожила у нас три дня. Чудесная, замечательная девочка – умница, чистая, добрая. От души жалею, что им так быстро удалось достать билеты, жалею, что тебе не пришлось её поглядеть. Ну, ничего Львов все же ближе в 3 раза, чем Ташкент». (Письмо к отцу, Семену Осиповичу Гроссману, 25 IX 45 г.)

И в самом деле – Львов в три раза ближе, и отец уже не ездит по фронтам. На дачах я теперь почти не бываю, зато зимою, на январские каникулы непременно отправляюсь в гости к отцу. Короткий праздник, две недели каникул я вспоминаю потом целый год.

Кончились годы учебы, я сама стала учительницей, но и, живя в Донбассе, я не пропускаю московских каникул.

«Столица нашей Родины Москва!» – радостно объявляет звучный мужской голос, все бросаются к окнам, поезд замедляет ход, и я вижу: меня встречает папа. Он степенно движется по платформе и поглядывает сквозь очки на обгоняющие его вагоны.

Мы едем на такси, отец, нагнувшись, старательно пристраивает мой крайне неудобный чемодан и произносит, как всегда, неторопливо и важно:

– Ну, вот... теперь ты можешь, наконец, протянуть ноги. И, помолчав, шутливо добавляет: – Разумеется, не в прямом смысле слова.

Затем пауза, мы с недоумением смотрим друг на друга и начинаем хохотать, как сумасшедшие. – То есть... то есть, именно... – Смех не дает ему договорить.

Взглянуть на нас со стороны – скорей приятели, чем отец с дочкой.

Январские каникулы, волшебный долгожданный праздник. Театры и музеи, часто два спектакля в день. К тому же я хожу в гости, и к нам ходят гости. Мы смотрим телевизор, танцуем под патефон. У папы один из первых телевизоров в коттеджном поселке на Беговой, населённом литераторами и людьми искусства. Маленький телевизор с линзой. Смотреть итальянские фильмы к нам ходят Заболоцкие и Каверины.

С Заболоцкими мы дружим семьями. У молодого поколения дружбу очень укрепляет патефон. Десятиклассник Никита, когда ему звонит приятель, подносит трубку к патефону и небрежно говорит: «Откуда музыка? А... это мы танцуем со студентами».

Создается впечатление, что эти две недели растягиваются, как резиновые. Мы ведь ещё играем почти каждый день. В шахматы я не умею, зато приобщилась к картам. Наследственность, наверное, не даром и папа и мама – серьезные игроки. Играем вечером, если нет гостей. Самый азартный игрок – Ольга Михайловна, часто объявляет темную, волнуется и сердится всерьез. Её азартность проявляется даже

в словесных и литературных играх. Впрочем, это мирное занятие никогда не обходится без эмоций. Ликуем, посадив всезнающего Липкина. «А вот откуда это: "Чуден Днепр при тихой погоде"?» (На моей памяти никто ни разу не угадал). Временами вспыхивают споры, и если спорщики непримиримы, папа достает с полки Брокгауза.

У папы правило: что бы ни случилось, он работает каждый день. Поэтому в театры мы ходим с Кирой, племянницей Е.В. Заболоцкой. А вот в зоопарк мы непременно пойдем с папой и будем бродить у вольеров, там, где всякие орлы и белые медведи не маются в такой тюремной тесноте, как этот замученный облезлый волк в своей клетушке. Мы покормим бубликами винторогого козла. Мы обязательно спустимся к рыбам, питая иллюзию, что эти прелестные вуалехвостые создания живут почти в натуральной среде. Заглянем к носорогу и слону. Но ни за что не пойдем к несчастным обезьянам. Этот маршрут мы выработали, почти не сговариваясь, уже несколько лет назад.

В теплой квартире на Беговой своя фауна: те же рыбы, четыре кошки и кудрявая белая Люба, которой папа посвятил стихи: «Люба ходит гулять с папой, шевеля мохнатой лапой». Стихи не вызывают у окружающих восторга, но, главное, автор доволен. Любу мы выгуливаем вместе.

Коттеджный поселок, как говорят теперь, элитный, живет просторно. Домики не лепятся друг к другу, как на улице, и в каждом двухэтажном домике всего четыре семьи. Коммуналок почти нет, я лишь одну встречала.

А потому гуляем мы, как на даче – среди ослепительно белых снегов, по широкой, слабо протоптанной, вязкой дорожке. Бредем неторопливо, да мы и не спешим.

Иногда гуляем днем, иногда – вечером.

Эти прогулки и беседы наши в папином кабинете, который одновременно служит столовой, а в начале января еще и моей спальней, – особая часть январских каникул, несуетливая и самая значительная часть.

Папа заработался, я читаю на своем диване, бесшумная, как мышь. Но вот он крикнул, потянулся, захлопнул папку. Я откладываю книгу.

О чём мы только не говорим! О чём бы мы не говорили, это всегда интересно. О войне, о том, как она быстро выдвинула на командные посты способных молодых ребят. «А если и остался где-то «дуб», – добавляет он с усмешкой, – то у него начальник штаба мальчик с такими глазками, глянет, сразу ясно: все в порядке в этом полку».

О феномене храбрости, о том, что это разные понятия на фронте и в тылу, – фамилии он называет щедро – наш разговор не для печати. О дезертирах, о страхе первого дня. Вот ведут солдата, заподозренного в дезертирстве, в трибунал, и вдруг немцы. Конвоиры, бросив оружие, разбежались, а дезертир схватил

винтовку, двух немцев убил, третьего взял в плен, отволок в трибунал и произносит поразительную фразу: «Судиться пришел». Неужели его расстреляют?

Отец был убежденным и убедительным противником казни для тех, кто испугался в первом бою.

Конечно, мы не говорим все время о войне. Порой случается, он начинает мне рассказывать анекдоты. У него даже записные книжки с этим жанром есть; и там все расположено тематически. Узнала я и популярный писательский фольклор: шуточки Михаила Голодного и парикмахера ЦДЛ Маргулиса. Очень остроумный был человек. Ему даже стихи посвятили: «На фронте были мы, /Иные не вернулись,/ И снова бреет нас Маргулис».

Память собрала черты одного плана: доброта, неравнодушие, любовь к животным, юмор. Только это отнюдь не весь Василий Гроссман. Был он вспыльчив, грозен, требовательный к себе и к людям, причем к людям никак не меньше, чем к себе. Помню, как он рассказывал мне о недобросовестной кампании, затеянной против романа «За правое дело». Статьи в газетах, жесткие разборки в Союзе писателей. Даже карикатуру в «Крокодиле» поместили: Гроссман, унылый и почему-то рыжий, стоит за партией. И надпись: «Провалился по сочинению». Тихо, одиноко стало в доме. Многие знакомые отшатнулись от него, и даже одна очень симпатичная пожилая супружеская пара вызвала его на улицу и с извинениями сообщила, что порывает с ним. Его бросили в одиночестве в трудное время. Звонили лишь немногие старые друзья: Ниточкины, Тумаркины, Лобода.

Вижу его и сейчас, как живого: возмущенный, гневный, в нем всё кипит. «Мёртвый телефон!» – гремит его яростный голос, и он с размаху ударяет кулаком по столу.

Был ещё один случай, когда вспыхнув, он сам дал волю гневу. И хотя речь шла о давно минувшем, мне показалось, что мир рухнул, и я лечу в пропасть. Я не спала всю ночь со страшным убеждением: все кончено, нормальной прежней жизни уже быть не может. Так болезненно я восприняла враждебность между самыми мне близкими – отцом и матерью.

Эта черта у меня отцовская. И он, особенно в молодости, старался, чтобы все, кого он любит, полюбили друг друга. И больно ушибался, наталкиваясь на сбой. Но первой мыслью всегда было: всем вместе поехать в Кринуцу; познакомить свою избранницу с друзьями.

Чем дольше вспоминаешь, тем больше вспоминается. В честь дня Победы сейчас по телевизору показывают старые фильмы и эстраду. Мне вспомнилось: отец очень интересно сказал о комическом актере Тимошенко (Тарапунька). «Я все думал: в чем секрет его обаяния? И понял, наконец: в нем соединились интеллигентность и народность. Это очень ценно и редко бывает».

Он ходил в консерваторию, любил серьезную

классику. Но ему нравились и комедии и мелодрамы, если в них угадывалось подлинное чувство. Его растрогал «Мост Ватерлоо», он мне писал об этом. Да и «Тарзан» был чем-то симпатичен. Но не раз я видела и такое: полминутки постоит у телевизора, сморщится, досадливо махнет рукой: «А, мура!» и тут же отходит.

Наши читательские симпатии почти всегда совпадали. Мы любили перебирать забавные находки классиков. «Откуда это: "Эк тебя..." – спросил он как-то. – Там еще был какой-то глагол». Я тут же вспомнила: «"Эк тебя разобрало!" Это из "Женитьбы". Невесте сваха говорит». «Ну, конечно, Гоголь! – тут же подхватывает он. – Это если к носу такого-то да прибавить дородность еще одного...» Мы начинаем перебирать "Вечера". Папе очень нравится фраза: "Вспомнил! Вспомнил! – закричал он страшным голосом, и топор на два вершка вбежал в дубовую дверь". Его приводит в восторг яркое слово "вбежал" применительно к с размаху брошенному топору. (Отец цитировал это неоднократно, и я точно помню, как он говорил. Начало у Гоголя немного иначе. Но понравившуюся ему фразу он запомнил слово в слово). Оба мы восхищаемся Толстым. В ту пору я еще безоговорочно разделяла папино преклонение перед Чеховым. И Лесков нам нравится обоим, и Есенин. Из поэтов он называет «четыре вершины»: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов. И никакими силами мне его не убедить, что любимый и мною Некрасов все же не вершина.

В один из последних моих приездов он только что дочитал «Житие» протопопы Аввакума и был полон восхищения и произведением, и личностью автора. В молодости непримиримый атеист, он с годами с уважением и большим интересом относился к людям искренней, горячей веры.

Диккенса мы оба очень любим. Любит его и Катя Венгрова, сталинградская радистка, похожая на меня гораздо больше, чем Надя Штрум. Позже, когда я совсем переселилась в Москву и начала уже работать над английскими переводами, я ходила в гости к прекрасной переводчице Вере Максимовне Топер и встречалась у неё с другими известными переводчицами, как правило, немолодыми. Отец всегда расспрашивал, что они говорят о своем деле, переводе английской литературы. Как-то я рассказала, что одна из них назвала Диккенса плохим писателем, а другая возразила, что писатель он хороший, только очень уж плохая книга «Пиквикский клуб». Отец был поражен и возвращался к этому не раз. «Так старые ведьмы ругают Диккенса? – спрашивал насмешливо и удивленно. – Значит, старым ведьмам не нравится «Пиквик»? Сам он очень высоко его ценил и «Пиквика» в особенности. Говорил примерно так: «Это чудо, гениально, что писателю удалось описать смешного, толстого, совсем не героического человечка, со множеством комических бытовых черт и сделать его великим, показав только одно – обаяние доброты». Он в последние годы очень ценил в людях доброту, считал её важнее ума.

С интересом расспрашивал меня о причинах развода Диккенса. «Вот он ушел от жены, с которой нажил десять детей. Что у них там случилось, что-то серьезное? А может быть, Кэт просто очень любила пудинг и не интересовалась его произведениями?»

Однажды речь зашла у нас о Шолохове. И разгорелся нешуточный спор. Предмет спора был совсем не тот, что обычно возникает в связи с «Тихим Доном». Кто автор? Это осталось за пределами дискуссии. Отец очень огорчился, узнав, что эта книга у меня настольная в буквальном смысле слова. В самом деле и сейчас, перечитывая «Тихий Дон», я вдруг спотыкаюсь – пропущено крохотное не смысловое словечко. Беру издание 47-го года, там стоит это «ить» (ведь). Все в порядке – ритм не нарушен.

Отец безоговорочно признавал авторство Шолохова, но говорил, что книга слабая, говорил обидно: «провинциальная», «не без клубнички». Впоследствии Липкин утверждал, что отцу нравился «Тихий Дон». Не знаю, как это совместить с тем, что он наговорил мне в пылу спора. Вряд ли он и Липкину хвалил этот роман, но, наверно, признавал за ним что-то. А в нашем споре разгулялись эмоции, и речь шла уже не только о книге, но и об отношении к казачеству. В «Степане Кольчугине» казаки только и делают, что машут плетками и разгоняют демонстрации. А я выросла и воспиталась в казачьей семье. «Тихий Дон» мы с мамой читали и перечитывали, обсуждали разные эпизоды, и мама мне говорила: «Вот видишь, как он благородно поступил. Это настоящий казак».

Отец писал когда-то о моем возвращении в мамину семью: «Если я узнаю, что Кате в Киеве плохо, то я приложу все силы и средства, чтобы забрать её». Не знаю, в какой мере он понимал, что это был единственный дом, где меня по-настоящему любили.

Думаю, он понимал, а еще больше чувствовал: дочь, во многом на него похожая, в то же время «другая». Не девочка, выросшая в московской либеральной детской. Не Надя Штрум, совсем не Надя Штрум. У нас и политические разногласия бывали. Помню, сидели мы с ним за обеденным столом, пили чай – чаепития в Москве, как и в Казани, располагают к спорам. Говорили об арестах, о жестокости режима. Я это не понаслышке знала. В конце тридцатых годов вся наша деревенская родня, голодные, раздетые, разутые проходили через наше полуподвальное жилье. Мы мало чем могли помочь, но помогали. Ведь они босые приходили в ноябре, даже старые галоши были в радость. Помню, жили у нас по несколько дней титка Ксенья, титка Харитына, и не поймешь, которая из них была хозяйкой «справной» семьи, а которая – беднячкой. Это возвращались на родину семьи моих раскулаченных дедов, родных братьев бабушки, похоронив кормильцев в Сибири. Людская череда бескрайняя. Видно, большие семьи жили в казачьем селе.

Отец мне говорил, что эшелоны раскулачен-

ных могли остановиться в зимнюю стужу в чистом поле, далеко от жилья. Их высаживали, а эшелон уходил. И все-таки я спорила, убежденная, что ничего не может быть страшнее той бездушной машины, что убивала организованно, по порядку, и уже никто не возвращался домой. Я не принимала сравнения своей страны с фашистской. Не принимаю и сейчас.

Спорил он со мной не свысока, на равных. Что еще важнее, многое мне позволял. Он, конечно, был поборником свободы. Но существует всё же понятие «свой круг». Я ходила в дом, который Надя Штрум за версту обошла бы. Встречала у них Новый год, дружила с хозяйкой. Песни русские там пели под гитару так, что таяла душа. А на гитаре играл Вадим Кожин. Папины друзья удивлялись, как он мне всё это позволяет. А он отвечал: «Ничего, ничего, туда разные люди ходят. Есть и такие, кто хорошо относится ко мне». Это правда, там его поклонники бывали.

Он и сам дружил иногда «не с теми людьми». С Корнелием Зелинским, например. Приходил такой барин в шубе, с пронзительными черными глазами.

Я всё же думаю, он с ностальгическим чувством написал свою либеральную Надю. Нади из меня не получилось и получиться не могло. Но, по-моему, он предпочитал: не совсем своя, но с искренними собственными убеждениями. Мог ведь быть и третий вариант: готовность поменять любые взгляды на подходящие.

Я не раз пыталась себе представить: что сказал бы он, увидев теперешних нас. Наверное, его многое бы возмущало. И все же, в чем-то существенном, мне кажется, мы бы разошлись. Сын подпольщика-революционера, он усвоил взгляды горячо любимого отца. Февральскую революцию считал великим благом, «глотком свободы». А я давно уже её воспринимаю, как начало всех бед.

Да разве это так уж важно? Политические убеждения могут не совпадать, а люди любят и уважают друг друга. Есть что-то важнее «направлений», которые меняются с годами. Как много пишет он в своем последнем романе о верных, добрых, справедливых людях. В его печальную сумрачную книгу они вносят теплоту и свет.

Об этих главных человеческих качествах он постоянно думал. Они даже играли с приятелем в некую ими придуманную игру. Очертив круг близких женщин, разбирали, кому из них в полной мере принадлежит некое нравственное достоинство. Оказалось, что и нравственность многолика. В романе «За правое дело» есть детдомовская нянька Соколова, которую инспектриса сперва хочет уволить – Соколова выпивает, у неё временами ночует шофер. Но в детском доме живет несчастный больной мальчик – на его глазах убили родителей, и он перестал говорить. И только непутевая нянюшка Соколова горячей сердечной жалостью растопила его немоту.

Мне не очень понравилось, что двое умных пожилых людей затеяли такую игру. Ну откуда им знать, окажется ли Пенелопой незамужняя молодая девушка. В этом тайме они многих оставили под вопросом. Но игроки твердо остановились на двоих: Ольга Михайловна и её невестка Ира. Вот и ответ на многие недоразумения. В молодости он пережил мучительную ревность и женскую верность высоко ценил.

Но в жизни все так перепутано, как с нянькой Соколовой. Отец старается достичь предельной объективности, он честный игрок. И несмотря на все давнишние обиды, он говорит, что в жизни знал только двух женщин, совершенно лишенных антисемитизма, и первой называет мою маму.

И наконец, последний тест на душевные свойства. Самая лучшая и самая скверная черта. И тут он с явным удовольствием мне сообщает: самая лучшая моя черта – сердечность. И добавляет, что наихудшая черта дочери его приятеля – бессердечность. Ничего себе придумали забаву на старости лет – препарировать родных дочек.

Но я довольна. Вот они, январские каникулы! Познакомились заново после долгой разлуки и обоюдно обнаружили сердечность.

Живая жизнь, пусть это даже краткий двухнедельный праздник, не всегда состоит из одних лишь интересных разговоров и приятных развлечений. В ней есть неслышные подземные течения, временами набегают тени. Правда, я стараюсь их не замечать.

Замечать пока почти нечего. Ведь я приезжаю всего на какие-то 12-14 дней. И если мои приезды не всем по душе, то на такой короткий срок можно кое-как сдержаться. Но вот что удивительно: я, кажется, не замечаю, но помню всё до малейшей подробности, помню всю жизнь. И фразы память моя фиксирует с точностью магнитофона.

Взять хотя бы ту давнишнюю историю, когда мне сказали, что со следующего лета я буду ездить в пионерский лагерь, а не к папе на дачу. Я приняла это решение послушно, хотя и огорчилась разлуке с отцом. Но что предшествовало этому решению, какие события привели к нему? События эти были мне известны, мало того, никто иной, как я сама была их зачинщицей. Позже, уж не помню с каких пор, я сама это отлично понимала. А вот в тот год, когда это случилось, не связала одно с другим.

Тени... От шести до девяти лет это были весьма заметные мне тени. А в эпоху январских каникул я их не замечаю. Затаились, но куда бы им деваться?

О том, что папа был замечательный рассказчик, я писала уже, вспоминая довоенные поездки в Москву. Но у него была редкая для хороших рассказчиков черта. Он любил расспрашивать, был полон, как пишет он об одной из своих героинь

«невыведанного интереса к людям».

Мне рассказывал участник Сталинградской битвы, что был свидетелем того, как отец втянул в общий разговор целый взвод, до единого человека. Не раз, подходя к нашему коттеджу, я видела, как мой папа беседует с дворниками, внимательно слушает маленькую женщину, известную под прозвищем Жучка.

А когда я возвращаюсь из гостей – нормальная жизнь всё же вернулась, и я по-прежнему ходила в гости – он ни за что не удовольствуется одной-двумя фразами: «Нет, девка, так не пойдет. Рассказывай всё по порядку. Вы позвонили в дверь, вошли в прихожую, а там? Все выкладывай, и чем кормили – подробно».

Этот постоянный, неподдельный интерес создавал атмосферу забытой теперь теплоты. Я приходила из гостей, из музея, театра, нагруженная впечатлениями и до сих пор сохранила привычку делиться ими, да часто некому рассказать.

Интересует его многое, порой совсем неожиданное: «Кто самая хорошенькая учительница в твоей школе? – спрашивает он, когда я приезжаю из Донбасса. – А как её имя и отчество?» Наша молоденькая «украинка» Надя Чурсина смущена и довольна тем, что о ней знает знаменитый московский писатель.

Впрочем, отнюдь не всё ему любопытно. Мир интеллигентных барышень, события и страсти библиотеки иностранной литературы он определяет коротко: ерунда.

А вот Донбасс... Донбасс совсем иное дело. Особенно веселит его случай на выборах. «Как же, как же, двое пьяных с урной приходили».

Он внимателен, ничего не пропускает. «Передай привет твоей квартирной хозяйке, – говорит он мне на прощанье. Я несколько удивлена: отношения с хозяйкой у нас мирные, но она порядочная стерва. – Непременно передай, – внушительно повторяет он. Только ни в коем случае не выходи замуж за её сына».

Он расспрашивает потому, что ему интересно, и в то же время цепкая писательская память выхватывает то, что может пригодиться.

У меня семь классов, более трехсот учеников. Фамилии, донецкие фамилии! Есть Бутковы и есть Бутко. Процесс ясен: обрусение. «Все твои Бутко еще не успели стать Бутковыми». И в самом деле – ведь Донбасс не совсем Украина.

А он требует новых и новых фамилий. Я перечисляла их без конца, простые и странные; тех, кто сердил меня на уроках, и любимых учеников; умниц и благородных хулиганов.

«Заморуев! – восклицал он, расхаживая по комнате. – Какая жуткая фамилия: За – мо – руев!» И мне рисовался страшный человек, которому подошла бы такая фамилия.

Заморуев, однако, в литературу не попал. Зато в роман «Жизнь и судьба» угодил Закаблука, лихой и хитрый украинец, командир эскадрильи. Тоже ученик нашей школы.

Я встречаю их на страницах романа как

старых знакомых, иногда с очень тёплым чувством. Сержант Генералов. Как-то случилось, что мы трое (мама, тетя и я) несколько дней ехали в одном вагоне с военными. Товарный вагон был полон солдат, уже побывавших под огнем, их куда-то перебрасывали. Они очень трогательно к нам относились. Незабвенный Степан Сергеич, светловолосый деревенский паренек рассказывал мне всю дорогу сказки. И лишь один, лохматый и черный, внезапно вскакивал и начинал выкрикивать непонятные мне слова. Его старались урезонить и, если это не получалось, звали начальство: «Генералов!» И тут же появлялся сержант Генералов, маленький, похожий на воробушка, со встрепанными рыжеватыми волосами и строгим голосом приказывал: «Отставить матерки!»

Эта замечательная команда очень нравилась другу моего отца Андрею Платонову. А вот во времена гонений автору поставили в упрек: очерняет облик советского воина.

С таким же увлечением подбирал он имена-отчества. Он часто брал их готовыми – у родственников, знакомых. Обычно он не повторял их, и персонажи не похожи на людей, чьим именем воспользовался автор. Но его, как видно, зацепило своей старинной красотой имя-отчество моей киевской бабушки. Мария Тимофеевна встречается у него не однажды и каждый раз это достойная пожилая женщина. Бывали случаи, когда по употреблению имен можно было судить о времени написания первого варианта рассказа.

Рассказ «В Кисловодске» – последнее, что он написал. Он был уже очень слаб, рука дрожала. Предпоследний свой рассказ «Обвал» он писал с большим трудом, увечными буквами. А «В Кисловодске» одним пальцем настучал на машинке. В этом рассказе три имени-отчества знакомых мне людей. Все последние годы он не сталкивался с ними, во всяком случае, с двумя из трех. Значит, рассказ задуман был или начат много раньше.

Кое-какие связанные со мной эпизоды, словечки школьного жаргона, даже одна больничная легенда были использованы моим отцом и не только в романе. Но это крохи. Основной источник его главной книги – сама война, фронтовые записки, то, что писалось по горячим следам, не за письменным столом, а на планшете.

Но конечно, дочери приятно сознавать, что она хоть как-то поучаствовала в отцовском творческом процессе. И я добавлю напоследок, что началось это очень давно, когда я еще дошкольницей приезжала к папе на дачи и привозила целый ворох старинных украинских казачьих песен. Их пел мне дядюшка, мамин старший брат, который часто ездил с ямщиком, еще до революции, да и вообще украинцы петь любят.

Папа отнесся к этим песням оживленно, заставлял меня их повторять, цитировал понравившиеся строчки.

Многие из них вошли в роман «Степан Кольчугин», где симпатичные украинские интеллигенты «спивают» их по вечерам столь дружно, что воробьи испуганно взлетают с веток.

В моем архиве лежит толстая, битком набитая папка – письма моего отца к его отцу. Он писал ему очень часто, иногда раза по три в неделю. Это уже скорее дневники, чем письма. Заново перечитывая их сейчас, я испытываю смешанные чувства: растроганность, недоумение, печаль. Мое имя встречается в этих письмах неоднократно. Отец тревожится обо мне. Когда мама забрала меня в Киев, он опасался, что мне там будет плохо, и был намерен в этом случае меня забрать. Опасения эти, я думаю, развеялись в первый же мой приезд на подмосковную дачу. Я переполнена была казачьим песенным фольклором чуть ли не с времен Тараса Бульбы, а это как-то не вязалось с представлением о том, что ребенка обижают.

Пришла война и он тревожился о бабушке и обо мне: «...беспокоюсь дни и ночи о маме и Катюше» (9 сентября). «Очень хочется знать, есть ли сведения о маме и Катюше». (14 сентября). И наконец, письмо от 1-го октября: «Очень рад, что Катюша нашлась, но вдвойне стало мне печально за маму». Он не сразу узнал о её страшной судьбе, но к октябрю, помнится, немцы уже взяли Бердичев. Правда, оставалась ещё надежда, что бабушка успела эвакуироваться.

Отец со мною переписывался и в военные, и в довоенные годы. Но я не понимаю, что ему рассказывали. В этой папке нет ни слова о том, что представляется мне важным.

С первого дня в Ташкенте я подключаюсь к взрослой жизни. Помогаю маме на работе. Стою в длинных, тысячных очередях. Бестрепетно покупаю собрания сочинений Сталина – они идут на растопку нашей маленькой железной печки. Ну, об этом-то, конечно, в письме военного времени не напишешь. Продаю на рынке белый хлеб, чтобы купить побольше черного. Два последних военных года ежедневно торгую старыми газетами – их раскупают курильщики.

Меня сильно обижает отчим, я с ним враждую: «Ты мне не родной отец, не имеешь права меня бить», и наталкиваюсь на очередную колотушку. Постоянное чувство голода. Очень много читаю. Могу подраться с мальчишкой. Самостоятельно научилась плавать. С дисциплиной у меня неважно: много прогуливаю, обычно из-за кино.

Меня дважды исключали из школы: на три дня и на две недели. Эти репрессии я игнорирую – как ни в чем не бывало, хожу на уроки. Учусь я хорошо, и мне многое сходит с рук. Историк на меня не нахвалится. В восьмом классе решаю пойти на истфак. К этому времени я прочла уже «Войну и мир», «Преступление и наказание». Заметила, что чтение заглушает голод.

Очень странен мне тот жалкий призрак, что возникает из отцовских впечатлений. Катя вытянулась,

бледная, худая, наверное, чем-то болеет.

Обожаемая мною мама вдруг почему-то написала, что у меня трудный характер. Отчим, что ли, нажаловался, что я смиренно не принимаю побои? Так она же на него за это сердилась, даже уйти хотела.

Вывод печальный: к моим пятнадцати годам отец меня совершенно не знает. И когда я на три дня приезжаю в Москву, и он видит хорошую, веселую, живую девочку, для него это неожиданный сюрприз.

Знакомство состоялось поздновато и десять лет поддерживалось ежегодными встречами. Вот почему мне так важны наши январские каникулы, мы с отцом узнавали друг друга, наверстывали упущенное.

Время летит, мне уже двадцать пятый год. И в доверительных разговорах с папой появилось нечто новое.

Он мне жалуется на тяжелый нрав Ольги Михайловны и тут же вспоминает Екатерину Васильевну. Какая славная она, как с ней легко, мягкая, добрая, деликатная.

Однажды спрашивает меня: «Как ты думаешь, я молодой или старый?» «Конечно, старый», – отвечаю я со всей безжалостностью молодого поколения. Он огорчился. «Неужели я такой уж старый?» Я поясняю: «Но ведь не молодой». Он деликатно мне подсказывает: «Но существует же и средний возраст». Мне жаль, что обидела папу, и с радостью хватаюсь за этот вариант: «Ну, конечно, средний! Как же я забыла?»

А вот ещё один вопрос в том же роде, но, по-моему, мы двинулись дальше: «Как ты думаешь, у меня может быть роман?» Я ужасно удивляюсь: «Нет, конечно». Снова огорчила папу, но он не сдаётся. «А у Липкина роман может быть?» «У Липкина может». «У маленького, толстого Липкина может, – возмущается он, – а меня нет. Почему?» Я простодушно объясняю: «Потому что ты папа». Этот ответ его, кажется, успокоил.

Вот такие мы ведем с ним беседы.

А что ж подземные течения и зловещие тени, мимо которых я торопливо проходила, чтобы не омрачать свой праздник. Рассеялись? Куда там! Тени сгустились и теперь их нельзя не заметить. А течения вот-вот прорвутся и тогда уж всё – потоп!

С зимы 55-го года я живу в Москве постоянно. В теплом доме на Беговой я продержалась недолго. Очень скоро меня переселили к старикам, знакомым бабушки Екатерины Савельевны. И я жила за ширмой в громадной пятидесятиметровой комнате.

Тогда ещё сохранились в центре Москвы такие особнячки. Две огромные комнаты и крохотная комнатуха для прислуги, а на первом этаже – студия. Здесь не чувствовалась «оттепель». Вся лестница была заставлена бюстами Ленина и Сталина, изваянными дряхлым скульптором, единственным нашим соседом. И мои хозяева были совершенно реликтовые старики, партийные, идейные, не разуверившиеся

в своих старинных идеалах и даже свойственники товарища Сталина. Мне не нравилось у них только одно: стремление держать открытой форточку даже в сильный мороз. Впрочем, я уже не раз замечала такую странность у очень старых людей.

В конце концов я всё же простудилась и пришла на Беговую оформить больничный по месту прописки. Папа растрогался: «Заболела и пришла, поболеть пришла, как больная собака». Я переночевала там, а наутро, после очередной нелепой и оскорбительной сцены, ушла из дома с полной убежденностью, что никогда больше туда не вернусь. Не я одна чувствовала, как сгущаются тени. В доме было нервно, взрыв мог возникнуть из любого пустяка. Из пустяка он и возник.

А спустя немного времени этот дом покинул и отец. Разрыв с Ольгой Михайловной давался ему нелегко и в конечном итоге оказался неполным.

Я перешла за грань январских каникул и забралась в московский период. Не такой уж маленький – девять лет. В эти годы мы очень сблизились с отцом. Одно время мы даже жили вдвоем в маленькой комнатухе писательской коммуналки. Жили дружно, вели немудрое совместное хозяйство. Отец любил стряпать «кулешик» – густой пшеничный суп с картофелем, я пекла коржики (из готового теста), ещё что-то варила. Отец, посмеиваясь сам над собой, рассказывал, как проснувшись рано утром, долго ходил голодный и с раздражением думал обо мне: «Вот кобыла, молодая, здоровая, спит себе, и нет ей дела, что отец не ел всё утро. Потом, не выдержав, жарил себе яичницу, пил чай на кухне, снова входил в комнату и мысли у него возникали совсем другие: «Пусть поспит бедная девочка, вчера весь день на работе, а потом сидела допоздна за переводом. Надо же ей отдохнуть».

Отец подал заявление в кооператив на двухкомнатную квартиру для нас обоих, но тут я вышла замуж, и этот план расстроился. Об этой части жизни я писать не стану. Насыщенные событиями, сложные годы. Годы большого счастья и страшного, отчаянного горя.

А что касается январских каникул, в них, говоря по правде, ничего такого уж особенного не было. Нормальные каникулы, как у всех. Точно так же, как все счастливые семьи счастливы одинаково.

Но для меня эти десять – даже не лет, а коротких приездов – одно из самых светлых воспоминаний в жизни. А в наших отношениях с отцом – весьма существенный этап. Не так уж много выпало на нашу долю счастливых встреч, когда нам почти не мешали узнавать друг друга, радоваться и дружить.

У Марьи Егоровны было все, как у людей. Однокомнатная квартира. Двое детей, трое внуков. Дочь звали Лена, а сына — Дима. Димина супруга именовалась «она», а Леночкин благоверный — «он». Соответственно одна сватья называлась «ее мать», а вторая — «его мать». Димкиными детьми, как полагается, занималась «ее мать», а Марья Егоровна опекала Леночкино чадо. Так у всех, дочь ближе сына, это факт общеизвестный.

Семейные сборища при таком большом родстве и свойстве бывали часто, одних дней рождения свыше десяти, хотя не у всех были мужья. Марья Егоровна, например, — которую, к слову сказать, никто и никогда не называл в глаза Егоровной, а, согласно ее требованию, Георгиевной — овдовела еще до пенсии. Собирались, однако, главным образом у нее, она была и инициатор, и тамада, и повар. И все успевала.

«Ее мать», та вечно бегала, как оглашенная, и все жаловалась, что никакой физической возможности нет управиться с двумя детьми. «А чего «она» их столько народила? — поджав губы, удивлялась Марья Егоровна. Ей напоминали, что ведь и у нее самой двое детей, Марья Егоровна возражала: «тут никакого сравнения нет».

Когда Марья Егоровна впервые увидела Леночкиного малыша — младенец, вынесенный из роддома, спал, опустив длиннющие ресницы, внутри у нее что-то дрогнуло, и умиленным голосом она произнесла: «Ну, чистый ангельчик!»

Окруженный заботой любящей и расторопной бабушки, ангельчик рос, как князь Гвидон, и вскоре стал называться просто ребенок.

Развивался ребенок нормально, вовремя научился ходить и говорить, а за длинными ресницами обнаружили огромные серо-голубые глаза.

Марья Егоровна прогуливала ребенка в детском парке сперва в импортной коляске, потом в сидячей колясочке (импортной же), и не успела опомниться, как уж «ножками, ножками!»

Ребенок топал ножками, Марья Егоровна, поглядывая на него, сидела около песочницы и неподалеку от пруда, где на нескольких скамеечках размещались бабушки. Она со многими перезнакомилась. Единство цели их объединяло. Все следили, чтобы свой или чужой ребенок не ткнул товарища совком по голове, и вообще, шлифовали манеры: «Ты чего так выгваздала новые колготки?», «Бабушка тебе сказала «здравствуй», что надо бабушке сказать?»

Труд воспитания не требовал особых усилий, и нестарые, общительные пенсионерки всю трещали о магазинах и телепередачах.

Марья Егоровна всегда садилась с Лидией Тимофеевной, высокой бабушкой в очках и с книжкой. Еще издали завидев Марью Егоровну, она пододвигалась: — «Присаживайтесь, Мария Георгиевна», — и закрывала книжицу. У Лидии Тимофеевны не было внуков, но когда ей кто-нибудь говорил: «Вы бы сели вон на ту скамеечку, вам, наверное, тут шумно читать», она отвечала: «Шум мне абсолютно не мешает, зато мне нравится среди людей сидеть. Кроме того, тут пруд недалеко, а у воды сидеть полезно».

Иногда какая-нибудь бабушка или мамаша спрашивала Лидию Тимофеевну, читала ли она новое произведение Фазиля Искандера или Анатолия Ивонова — «Это такая прелесть, именно вам ее надо прочесть». Лидия Тимофеевна отвечала высокомерно и твердо: «Я таких книг не читаю. Я классику люблю. И Пикуля».

На этом литература кончалась и снова начиналось телевиденье. Осуждали Леонтьева. Хвалили Софию Ротару.

Ровно в два часа дня мимо пруда проходила элегантная дамочка со здоровенным белым догом. Все мамы и бабушки, как по команде, поворачивали головы и настороженно глядели ей вслед. Спину дамочка держала очень прямо, шла она каким-то необычным плавно-четким шагом и при стройненькой фигурке была коротконогая. От этого всего Марье Егоровне казалось, что дамочка не ходит, а едет верхом на очень маленьком пони.

По воскресеньям Марья Егоровна навещала Димкиных и «ее» детей — все же родная кровь, — а ребенка в это время возили в гости к «его матери».

Тут подошла перестройка. Бабушки, чтобы меняться периодикой, стали выписывать чертову гибель журналов и газет. Лидия Тимофеевна совершила широкий жест — выложила 22 рубля на «Огонек» (могла себе позволить, не тратясь на детей и внуков). Марья Егоровна — не хуже людей — подписалась на «Советский экран».

У телевизора сидели теперь долго. Но передачи шли какие-то чудные. Показывают заключенных с лопатами, и вдруг, — что-нибудь хорошее — физкультурный парад или молодежь на демонстрации. И почему-то впечатление, будто те, что поют, посадили сперва этих заключенных и радуются.

Неправда это. Никого они не сажали. Всем известно: раньше люди были лучше, чем сейчас, — у родителей на шее не сидели, не сдавали их в дома престарелых, песни пели всю дорогу — очень петь тогда любили, а теперь одни магнитофоны.

Что касается заключенных, в семье Марьи Егоровны репрессиям никто не подвергался. Ей рассказывали, что во время нэпа посадили мужа бабушкиной сестры, и после многих родственников раскулачили, но маленькая Маша жила тогда в Москве и только слышала от родителей это слово — «раскулачивание». Через несколько лет стали заходить к ним в коммуналку бабы с ребятишками, все рваные, босые, хоть была уже зима. Это родственники приходили — жены и дети кулаков. А сами кулаки поумирали в Сибири. Машины родители давали им старую одежду и старые галоши.

Телевизор, телевизор... Многие жаловались, что из-за этих передач времени ни на что не хватает.

У Марьи Егоровны хватало. Ребенок — он уже в школу ходил — примерно со второго класса стал целые дни пропадать на каких-то сборах и дежурствах. Марья Егоровна его совсем почти не видела, так мало видела, что было это уже не хорошо, а скорее неприятно и непривычно.

Марья Егоровна чего только не вытворяла — крутила и консервы, и компоты, металась по очередям, так что не только Леночке доставалось, но и «она» заботами свекрови начала вполне прилично одеваться.

Однокомнатная квартира Марьи Егоровны превратилась в постоянное место семейных торжеств. «Его мать» и «ее мать» приходили иногда с мужьями. Марья Егоровна звала еще золовку с мужем, деверя, свекра и школьную подругу Соньку. За столом все еле размещались, а когда расходились, ну, чисто Мамай прошел. Марья Егоровна тут же принималась за уборку и мытье посуды и на следующее утро просыпалась в чистой, как промытая пробирка, квартире. Времени катастрофически хватало.

Гулять с ребенком удавалось лишь по воскресеньям (за счет визитов к Димкиным). Но в один воскресный день из кустов вылез какой-то черный, лупастый и тощий, как килька, и поманил ребенка к себе. Марья Егоровна ринулась к кустам, как буря. «Надо, бабушка», — сказал ребенок, проникновенно глядя на нее честнейшими, серо-голубыми глазами. «Очень важное мероприятие, Мария Георгиевна», — подтвердил лупастый, и оба скрылись, словно растаяли, в кустах.

— Очень важное... а как же... мероприятие... ах, ты, шкет!» — бормотала Марья Егоровна, тяжелым шагом возвращаясь к скамейке. Молниеносное исчезновение ребенка настолько ее поразило, что в ее активном словаре само собой вдруг выскочило слово «шкет», давно никем не употребляемое, да и сама Марья Егоровна отродясь

его не говорила, а только слышала в детстве от родителей.

Так сиденье в парке утратило основную цель, но осталась и вторая, тоже важная — здоровье. Она сидела на скамеечке, одна, как Лидия Тимофеевна, а в руках держала «Советский экран». «Не возникнет ли ощущение притихшей земли, еще не оправившейся от морока, от диктата злых трихин, от разгула аморальной притихшей силы?» — прочла она и вслух произнесла: «О, Господи!»

Глядеть на чужих внуков и читать про злых трихин было тошно.

Марья Егоровна попробовала от песочницы отсесть — пришла однажды и уселась со своим «Экраном» на скамеечке под кустом сирени.

Номер этот не прошел. Дело в том, что хотя у Марьи Егоровны было все, как у людей, но люди не совсем одинаковы.

Марья Егоровна сроду была поворотливая, общительная и очень приятной внешности. И в девушках, и позже, в замужестве, все замечали ее миловидность, и один раз даже кто-то громко сказал, провожая взглядом ее с мужем: «Мужичок невидный, а какую отхватил». Слышать это было неприятно, тем более, что истинная правда. Даже сейчас, в свои под шестьдесят, Марья Егоровна красила в светлый цвет волос, делала укладочку и химию, забегала регулярно в косметiku покрасить брови и реснички, окаймлявшие весьма живые карие глаза. Одним словом, на языке то ли своего, то ли следующего поколения Марья Егоровна была именно то, что называют «бабуля в порядке».

И как только Марья Егоровна уселась на скамейке и открыла «Экран», а журнальчик оказался полезный, — Марья Егоровна путем эксперимента быстро разобралась: что в «Экране» хвалят, смотреть не нужно, ну, а если уж ругают, по большей части стоящая вещь.

Она проглядывала отклики на «Маленькую Веру», которую уже после первой рецензии обходила за версту, как вдруг перед ней появился какой-то в новеньком костюме, с очень красной мордой.

— Вы разрешите? — спросил незнакомец.

Марья Егоровна сухо кивнула, подумав: «Хорошо бы закусить».

— Жаркая погода, — сказал владелец нового костюма.

Марья Егоровна ответила «да» и подумала: «Что же ты в жару с утра так нажрался?»

Собеседник сразу взял быка за рога и минут через пять — от силы семь — предложил Марье Егоровне руку и сердце.

Марья Егоровна не знала, что и думать, но вместо мыслей родились слова. Она сказала вслух: «Всю жизнь мечтала», встала, взяла сумку, «Экран»

и, смущенная своей невежливостью, добавила мягко: «Вы б пошли домой, поспали, гражданин».

— Что вы меня гражданином обзываете, как зэка? — обиделся влюбленный, но Марья Егоровна уже шла к той скамейке, где сидели бабушки и играли в песочнице дети.

Теперь Марья Егоровна стала ходить сюда, как на дежурство. Не то чтоб она очень испугалась, что будут пьяные старики приставать, но, отваживая этого деда, смутно, хоть и карикатурно напомнившего ей покойного супруга (кстати, покойник, не тем будь помянут, тоже зашибал), она почувствовала, что сидеть ей надо там, где бабушки, песочница и дети.

Раньше Марья Егоровна жалела Лидию Тимофеевну, теперь выходило, вроде Лидия Тимофеевна жалеет ее, — все заговаривает и непременно спросит: «сколько вы, Марья Георгиевна, провели на воздухе часов?» Оказалось, на воздухе надо проводить шесть часов, как минимум, и совсем уж на худой конец — четыре. Марья Егоровна проводила на воздухе много часов, но воздух не всегда был парковым — приходилось временами торчать на солнцепеке за сахаром.

Гримасы перестройки обсуждались на семейных сборах. «Он», «она» и «его мать» вошли в такой раж, что готовы были терпеть хоть карточки и даже безработицу, которая, как «он» утверждал, у нас и без того давно уж есть в скрытом виде. Безработицу в скрытом виде Марья Егоровна переносила с легкостью, поскольку исправно получала зарплату всю жизнь. Безработица в открытом виде ее сильно пугала.

Мыли косточки Раисе Максимовне — ну, это всю дорогу, и в парке, и на семейных торжествах. Марья Егоровна за Раечку вступалась — она всегда была за женщин, — впрочем, вопрос ее не очень волновал, зато при этом разговоре мысли ее принимали неожиданный крен. Нравился ей Николай Иванович Рыжков. А тут еще она узнала, что он с ней одного года. Это надо же, ей в голову бы не пришло. Правда, Марье Егоровне тоже не дают ее возраст. Конечно, сейчас, когда он в Совмине, а она у песочницы... Ну, а встретились бы они, скажем, сорок лет назад. Ох, хорош, наверно, был. Но хороша была и Маша.

Кооперативы все ругали дружно, и только «он» и «его мать» из упрямства утверждали, что это единственный выход. Из-за чертовых этих кооперативов у Леночки с «ним» всерьез испортились отношения, иногда они по целым дням не разговаривали.

Тем временем с прилавков исчез стиральный порошок, за чем постоять в очереди, придумывать не приходилось, но времени у Марьи Егоровны по-прежнему катастрофически хватало. Не каждый

день, все же стояла она в очередях, и уж вовсе некуда было девать себя вечерами.

Откуда ни возьмись, вдруг новая беда — давление. Врачиха выписала рецепты, сказала: возраст, стрессы, и велела побольше бывать на свежем воздухе. В стрессы Марья Егоровна не верила совсем, в свежий воздух она верила свято. В непогожие дни, когда добрая бабушка не потащит из дому внука, одна скамеечка не пустовала — дышать свежим воздухом надо было каждый день, и одинокие бабушки, не страшась простуды, вели между собою разговоры, кому что выписали, есть ли польза от трав и вообще, что вредно, что полезно.

О том, что вредно, что полезно, разговаривали иногда и на семейных праздниках, отъединившись от молодежи, — вернее, норовила отъединиться или пораньше смыться молодежь, — и тут однажды «его мать», старуха в принципе бестолковая, сообщила удивительную вещь: полезно держать в доме собаку или кошку. Статистика утверждает, что домашние животные влияют на продолжительность жизни.

Днем, в парке, оказалось, что бабушкам известно это средство. Понижает давление, предохраняет от инфарктов. «Вон видели эту с догом? Такие ничего не делают зря».

Лидия Тимофеевна сказала с вызовом: «Пусть от чего хотят предохраняют — не возьму. Это какую же грязь заводить в квартире», — и уткнулась в потрепанного Пикуля, очереди на которого долго где-то ждала.

Марья Егоровна взглянула на ее помятое пальто, плохо чищенные сапожки, вспомнила одинокие вечера, когда всех родственников обзвонила, а по телевизору передают ерунду, и подумала: «В моей квартире грязь не заведется».

Котенка нашли быстро. Был он дымчатый, с белой грудкой и белыми лапками. Марья Егоровна простегала мягкую подстилку, положила в углу, купила формочку для заливной рыбы, поставила в туалете и стала приучать животное к порядку. Конечная цель — чтоб, когда хозяйка в доме, кот мяукал у дверей туалета, а когда хозяйки в доме нет, дверь придется оставлять открытой.

Но до конечной цели было далеко. Марья Егоровна тыкала котишку носом в следы преступлений и убирала, убирала без конца, а после капала шампунем, отбивая запах. Однокомнатная квартирка ее была по-прежнему чиста, как только что промытая пробирка, и пахло в ней, как в парикмахерской.

Зверек оказался смышленным — начал он с линолеума в прихожей. Марья Егоровна, увидев на бело-черном леопардовом полу пятна отнюдь не

леопардовые, жалостно заохала. Сообразительный кот понял, что линолеум не про него, и перенес эти дела на паркет в комнату.

Марья Егоровна взвыла, как в старину на похоронах. Котенок некоторое время пометался между комнатой и прихожей, надрывая хозяйкино сердце, чего Марья Егоровна не могла и не пыталась скрыть.

— Мама, что ты делаешь? — сказала Леночка, которая в последнее время стала частенько к матери забегать. — Линолеум гораздо легче вытирается. Он бы постепенно приучился, а сейчас бедный кот не знает, что еще изобрести.

— Ох, да не могу я на своем линолеуме такого видеть, — стонала Марья Егоровна. — Я ж его все время в туалет ношу и прямо в формочку лапками ставлю. Чего ему изобретать?

Но котенок изобрел. В один прекрасный день, войдя в комнату, Марья Егоровна увидела, что кот напрудил на зеленую тахту из нового австрийского гарнитура. Тут с ней случилось такое, что котенок тотчас же возобновил эксперименты на полу.

— Ох, Пикуль, ох, и Пикуль, — вздыхала Марья Егоровна, шлепала котишку веничком для пыли, тыкала его носом, а потом появлялись тряпка, ведро и шампунь.

— Закрой дверь в комнату и ограничь его прихожей, — диктаторским тоном внушала Леночка. Она работала в роно. — Формочку тоже перенеси туда. Хвали его, если он в формочку сходит.

— Хвали, как же, — отвечала мать. — Может, орден ему дать? Знак почета?

Леночка часто навещала теперь маму, но радости с этого не было никакой.

Стала она рассеянна, неразговорчива, как ненормальная бросалась к телефону и говорила: «Да... Это сейчас неудобно... Конечно... Не сейчас...»

Текст был вполне красноречив, и Марья Егоровна была не дура. Дело ясное — дочь завела роман. Спит она с ним или не спит, Марья Егоровна не знала, но с полной определенностью знала одно — «этот» заезжал за ее дочерью на синем «москвиче». «Москвич» прекрасно был замечен из кухонного окна и появлялся минут через пятнадцать после телефонного звонка. В эти четверть часа дочь штукатурилась — надо сказать, весьма искусно: краски, вроде, никакой, а вдруг похорошела — рассеянно произносила: «Ну, мама, я пошла» и испарялась. Через минуту мимо кухонного окна проезжал синий «москвич».

«Пусть, — думала Марья Егоровна, — дело ее молодое». Суть в том, что «он» был во всем

виноват — довел Леночку — и дурацким поведением: мог, как следует, репетиторством заняться, а он все в книжку, в книжку; и дурацкими разговорами: за границей все хорошо, у нас все плохо. Умные только «он» и «его мать», а кругом одни дебилы.

— Ну, как ваш питомец? — любопытствовали мамы в парке.

Марья Егоровна задумчиво глядела вслед роскошной дамочке на коротких ножках и думала о том, что у нее, небось, не однокомнатная квартира, а метров на сто, и белый дог там никогда не гадит.

— Питомец? — спрашивала она. — Чудной какой-то — я иду, а он меня за пятки хватает.

— Это он играет. Он же маленький, — пела нежным голосом толстая мамочка в очках, любительница Искандера.

— Да нет, — отмахивалась Марья Егоровна. — Он какой-то не такой. Я открою кран, а он водой играет. Разве можно все время играть?

Порядку котишка почти научился. Шмыгал в свою формочку сквозь приоткрытую дверь сортира. И лишь изредка, обнаружив где-нибудь в углу рецидив, Марья Егоровна бралась за веничек от пыли и, исполняя экзекуцию, говорила: «Ох, Пикуль, ну, Пикуль, одно слово — Пикуль».

С Леночкой бог знает что творилось. Вдруг заявила, что не хочет отмечать день своего рождения дома. Такие штуки выкидывала обычно «она» — от лени. Но дочь Марьи Егоровны, родная, истинная ее дочь, лентяйкой сроду не была, а кулинаркой была отличной. И матери помогала готовить. И фирменные салатики, и табака, и ореховый торт.

А на сей раз она влетела на собственный день рождения, когда уже все, почитай, собрались. Влетела радостная и чужая, с огромным букетом белых хризантем.

«Он» пришел как побитый, принес пять гвоздичек, и сидели они с Леночкой не рядом, Леночка вдруг заявила: «Я сегодня сяду с мамой. Сегодня мама самый главный человек».

Тут все стали говорить, что дочь совсем не то, что сын, и Марье Егоровне очень в этом смысле повезло, — вот уже и внук большой, а с дочерью такие теплые отношения.

Теплоты Елена не излучала никакой, сидела рядом, чужая и непонятная, и прислушивалась к телефону. Марья Егоровна тревожно косилась на «него». «Он» подсел к деверю — тот тоже, как покойный братец, был не дурак по этой части — и под деверевым руководством «он» так набрался, что у Марьи Егоровны от жалости слезы подступали к глазам.

Потом раздался наконец звонок. Леночка выскочила в прихожую к телефону, и что уж она там лопотала, осталось неизвестным — в комнате стоял

густой политический ор.

Вернулась Леночка, таинственная и похорошевшая, а «он» глядел на нее такими несчастными глазами и нес такую ахинею про плюрализм (как он только выговаривать его научился). Свекор Марьи Егоровны, с 18-го года старый большевик, слушая речи внучкиного мужа, тряс сокрушенно головой и только повторял: «Как меньшевик! Ну, совсем, как меньшевик!»

А деверь, старая сволочь, все подливал «ему» да подливал и поглаживал котенка, сидящего у него на коленях.

Странное дело. Как только все расселись по местам и произнесли три первых тоста — за Леночку, за Марию Георгиевну и за «него», — при этом тосте Марья Егоровна с тоской взглянула на несчастные гвоздички, — котенок вылез из угла, неторопливо, но прямо направился к деверю и вспрыгнул ему на колени. Марья Егоровна, потратившая много сил, чтобы приучить животное к месту и не позволявшая ему сидеть по креслам, возмущенно вскрикнула: «Пикуль!»

— Брось, Маша, пусть сидит, — вступился деверь, и котенок целый вечер провел у него на руках, а деверь временами чесал его за ухом и говорил: «Ишь, мурлычет. Пикуль у нас хороший, Пикуль хороший».

— Вы Пикулем его называли? — светским голосом осведомилась «его мать». — Какое удачное имя.

Марье Егоровне, честно говоря, было начхать, что у кота вдруг появилось имя, и даже на то, что он полез к деверю на колени, — ее одолевали мысли.

Вспоминалось почему-то, как «он» впервые к ним пришел, совсем мальчиком в застиранной рубашечке, это уж Леночка попозже вправила ему мозги, а «его мать» возмущалась и называла это «вещизм» и даже идиотским словом «рвачество». Как будто они не на свои деньги живут, а у кого-то что-то вырвали.

К красивой одежде «он» сразу привык, утверждая, впрочем, что это ценности второго ряда, а сейчас вот пьяным голосом кричит, во сколько раз американский программист больше его получает.

Марья Егоровна пыталась представить, как он выглядит, тот, в синем «москвиче», а сама все вспоминала, как тринадцать лет назад к ним пришел мальчишечка в нефирмовой рубашке, и сейчас, когда «он», может, вскоре будет ей уже не зять, она впервые за многие годы мысленно не называла его «он», а именно вот «зять», и даже более того — «Сережа».

А еще у нее надрывалось сердце, когда она глядела на его бедненькие жалкие гвоздички, а потом переводила взгляд на пышные и наглые белые

хризантемы, сиявшие на серванте. Гвоздичек было всего пять штук, а хризантем этих как бы не тридцать.

Ночью у Марьи Егоровны подскочило давление. Пока мыла посуду, вертелись в голове всякие мысли, по большей части глупые — как «этого» придется называть — с сопляком Сережкой таких проблем не возникало. Потом, когда отмывала утятницу, внезапно обожгло: «а вдруг женатый?»

Когда ложилась спать, просто глаза слипались, но почему-то уснуть не смогла, лежала в темноте и даже собиралась зажечь свет и полистать «Экран», как вдруг почувствовала, что голову как обручем сдавило и еще что-то — не кружится, не болит, а как-то вот нехорошо. Приняла таблетку, а оно все не проходит. К утру, впрочем, заснула и часа два поспала.

Позавтракав, Марья Егоровна ушла на весь день в парк. Голову обручем уже не давило, а вот это самое продолжалось и только к концу дня прошло.

Дома ожидал сюрприз — Ленка. Сидит в материнском халате и ласковым голоском говорит: «Мамочка, можно, я у тебя переночую?» Марья Егоровна хмуро взглянула на дочь и спросила: «С какой радости?» Ленка легкомысленно пропищала: «Мы с Сережкой поругались», и тут же принялась щебетать: «Мы сейчас поужинаем, потом чай попьем с тортом. Знаешь, Пикуль какой молодец? Он не в формочку твою, он в унитаз прямо ходит. Ты его похвали непременно».

Марья Егоровна буркнула: «Знак почета», и пошла смотреть, не замочил ли котик стульчак.

Ела она мало, чаю выпила всего две чашки, блокировала глухим молчанием дочкину болтовню, а потом сказала: «Ты мне мозги не пудри. Разводиться надумала или просто погулять?»

— Ну, откуда ты взяла, — удивилась Ленка. — Я просто не понимаю, откуда?

— От верблюда, — сказала Марья Егоровна.

Она почувствовала: из Ленки ничего не выжмешь, и отомстила ей лишь тем, что сама перемыла посуду и не пожаловалась на болезнь.

В девять Лена звонила ребенку, спрашивала, как английский, и строго сказала: «Завтра будешь делать уроки со мной». Потом сказала: «Видишь, мама, я к тебе один лишь разочек зашла с ночевой, а ты уже такое сочиняешь. Негостеприимная ты».

Марья Егоровна молча раздвинула кресло и вынула из шкафа белье.

Ленка себе постелила и ушла на кухню смотреть телевизор, а Марья Егоровна легла спать. Но, конечно, не спала. Вернулась Ленка, бесшумно, как Пикуль залезла в постель, но, судя по дыханию,

не дрыхла. Марья, Егоровна сказала:

— Вы пошляетесь да разбежитесь, а как к тебе Сережка будет относиться? Ты хоть думаешь об чем-то головой? Или только про этот веник?

Дочь промолчала и довольно скоро все-таки заснула — молодость, — а Марья Егоровна не спала и думала о том, что трещину в семейных отношениях не склеишь, и что сердцу в общем-то не прикажешь, а Сережка сам виноват, веник же этот — хризантемы — хорошо бы выбросить на помойку, и подумать только, Леночка с Сережкой лаялись всю жизнь, но ведь не доходило да такого, главное же, как этот синий «москвич» будет относиться к очаровательному, но чужому ребенку?..

Вдруг раздался страшный грохот, Марья Егоровна вскочила, Ленка, в момент проснувшись, включила бра, и они увидели, что на серванте, сверкая глазами, сидит Пикуль, а на полу валяются мокрые хризантемы и осколки хрусталя.

Ленка кинулась подбирать цветочки, но Марья Егоровна тяжелой поступью командора прошла на кухню, взяла ведро и остальное, вернулась и сурово произнесла: «Дай сюда». Ленка безропотно вручила матери хризантемы и взялась за тряпку.

Весь следующий день Марья Егоровна провела в парке.

— Вы не заболели, Мария Георгиевна? — спрашивали ее.

— Нет, — отвечала она, хотя с головой опять вот это самое поехало.

— Может, у вас что случилось?

Марья Егоровна подумала немного и сказала:

— Кот хрустальную вазу разбил.

— В мусоропровод такого кота, — сказала здоровенная квадратная мамаша, при взгляде на которую Марья Егоровна вспоминала почему-то слово «стройбат».

— Это экстремизм, — возразил кто-то.

Марья Егоровна обиделась:

— Уж прямо экстремизм. Орден ему надо выдать. Знак почета.

— Пикуль награжден орденом Знак Почета, — вдруг сказала Лидия Тимофеевна.

У Марьи Егоровны отвисла челюсть. Во-первых, Лидия Тимофеевна эти слова не произнесла, а как-то каркнула. Во-вторых, она, помнится, не говорила в парке, как зовут кота. Главное, чего бы ради награждать котишку орденом, и как это произошло, если он безвылазно сидит в квартире. Ей представилась черная «Чайка», подъезжающая к их пятиэтажке, какой-то военный выходит из нее, а за ним сопровождающие лица. Она сидела молча,

сжав губы, чтоб нечаянно чего не сболтнуть.

— Не огорчайтесь, — сказала какая-то мамаша. — Примета есть. Разбилось — это хорошо.

— Лучше некуда, — буркнула Марья Егоровна и вновь погрузилась в молчание. Весь день она старалась ничего не говорить, чтобы не приняли за чокнутую, и ничего не думать, чтоб не чокнуться и впрямь.

Впрочем, с разговорами к ней приставали недолго. Ровно в два часа дамочка с белым догом свернула с аллейки не вправо, а влево, и прошла не по берегу пруда, а буквально в двух шагах от скамеек при песочнице. Плавнo-четко, прямо держа спину, на коротеньких ногах.

Все затихли, внимательно ее рассмотрели и обсудили. Одета она, конечно, уникально. Косметика — нет слов! Но при всем при этом лицо... «Вы заметили, косая она, что ли?» «Да, с глазами что-то не тае...»

Марья Егоровна, оберегавшая себя от мыслей, вяло подумала: «Один в Багдад, другой — в Ленинград».

С тех пор дамочка повадилась гулять мимо песочницы. То по берегу пруда, как раньше, а то вдруг — раз, и к ним свернет.

Ленка исчезла, словно корова языком слизала... Только звонки: «Мама, как ты себя чувствуешь? У нас тоже все нормально, спасибо». И весь разговор.

Марья Егоровна и в самом деле чувствовала себя нормально. Все как-то быстро и незаметно наладилось после того дня, когда она сидела, стиснув губы, в парке, и в голове творилось что-то не то, а мысли набегали такие странные, что одно лишь оставалось — мыслей избегать.

Дочь исчезла, но зачастил в дом ребенок. Марья Егоровна кормила его чем повкусней, а заодно и лупастого, который бегал за ее внуком, как пришитый.

Деверь как-то заглянул, поддатый. Сидел, поглаживал кота. Вообще у Марьи Егоровны создалось впечатление, что гости теперь ходят к Пикулью, а не к ней.

На восьмое марта, например, только и было разговоров, что про Ельцина и про кота. Женский день вроде, а про женщин ни слова. Лена молчала, как в рот воды набрала, только топала на высоких своих каблучках из кухни в комнату, из комнаты в кухню.

Была она бледновата, и материнское сердце не выдержало. Марья Егоровна спросила: «Может, заночуешь?» Лена посмотрела на мать отрешенно и сказала: «Что ты, мама? У нас ведь еще математика». И тут Марья Егоровна точно поняла: Ленка плакала под одеялом в ту ночь, когда кот разбил вазу, и были

выброшены хризантемы. Плакала горько, но так тихо, что даже чуткий слух матери не смог различить, было это на самом деле или игра воображения.

И еще одно неприятное подтвердилось, о чем она давно подозревала. Проходя мимо ванной, где курила молодежь, Марья Егоровна услышала, как «она», сноха, говорит Димке: «за такое жаркое, конечно, можно вытерпеть эту скучищу и даже тосты».

Ты им варишь, ты им паришь, тосты эти заранее про каждого готовишь, чтобы не обидеть никого, а у них одна жратва на уме.

Впрочем, совсем не думать про жратву стало невозможно. Исчезло мясо, в рыбном отделе — только хек или совсем ничего. Пикуль же категорически от хека отказался. А с февраля начался такой гололед, что не больно-то побегаешь по магазинам.

В день выборов Марья Егоровна с утра пораньше отправилась на избирательный участок и подивилась неторжественности обстановки. Всю жизнь она выбирала, и всегда процедура совершалась чинно, празднично. А это что? Бардак.

Вечером явился зять, Сережка. Марья Егоровна сперва решила, что он выпил, потом поняла: опять Ленка что-то начудила.

— Мария Георгиевна, — спросил Сергей с надрывом, — за кого вы сегодня голосовали?

— За Ельцина, как люди, — ответила теща.
— А ты за кого?

— Я-то за Ельцина, вы же знаете мои взгляды. А как вы думаете, за кого голосовала ваша дочь?

«За молодого этого, что ли?» — подумала Марья Егоровна, вслух же не сказала ничего, зная, что Сережка вопрос задал для блезиру и через секунду сам ответит на него.

— Она ни за кого не голосовала, — возопил Сережка. — Она вообще не явилась на выборы. Мария Георгиевна, вы представляете себе: назло мне, специально назло, она вошла в этот ничтожный процент аполитичных. Раньше мы нарочно не ходили голосовать. А сейчас, не только среди моих знакомых, я вообще ни о ком не слыхал... ваши бабушки возле песочницы голосовали?

— Что ж бабушки, по-твоему, не люди? Наши все за Ельцина голосовали, у нас в парке все, как у людей. 0-ой!

Сидели они на кухне, и Марья Егоровна, беседуя с зятем, готовила Пикулью еду. Дело в том, что чертов кот объявил голодовку. Марья Егоровна, исполнив гражданский долг, съездила в центр, купила какую-то неведомую ей дотолу рыбку и надеялась Пикулью наконец угодить. Не больно приятно смотреть, как огромный котик, — а он вымахал за зиму будь здоров, — безостановочно

бродит по квартире и сверкает на хозяйку гневными голодными глазами.

Сготовив рыбку и остудив до тепленькой температуры, Марья Егоровна положила ее в кошачью миску и поставила на пол. Пикуль вальяжным шагом к миске подошел, отведал, столь же вальяжно направился к хозяйке и неторопливо, но очень больно укусил ее за икру. Укусил до крови, окаянный. Сережка, сочувственно стеная, ринулся искать йод и искал его, конечно, не там, где он находился.

Когда зять ушел, Марья Егоровна с тоской подумала, что дело, видно, зашло далеко... Или наоборот, совсем заглохло, и Ленка дразнит мужа с досады. Как бы узнать это, как бы узнать? Материнский у Елены характер — клещами из нее не вытащить того, чего не хочет говорить.

Жизнь пошла нескладно, зыбко. Навдвигалось очередное семейное торжество, но Марья Егоровна его уже не предвкушала, а боялась. Велика радость — заявятся скучать и жрать. Не утешал телевизор — мельтешили клипы, истошными голосами вопили длинноволосые. Забегал ребенок, но не к ней ведь, а к Пикулью. Единственное удовольствие в парке подышать. Лидия Тимофеевна сквозь очки читает «Советскую Россию», в этом году она не выписала «Огонек». Все мамы и бабушки держат детей на коленях — кругом непролазная грязь. Но солнышко выходит все чаще, и дорожку уже подсушило. По подсохшей дорожке в бежевых сапожках и серебристом плащике скользит, словно едет на маленьком пони, косенькая дамочка на коротеньких ножках, и белый дог перебирает лапами аккуратно, все посуху, не ступая в грязь.

Но тут пошли косяком такие дела, что стало не до парковых развлечений.

Марья Егоровна, придя как-то из магазина, двинулась с сумкой на кухню, однако вдруг, будто кто ее толкнул, метнулась в комнату. На окне, на розовом тюле колыхалось что-то такое страшное, что у Марьи Егоровны провалилось сердце. Не то пятно, не то нашлепка... и внезапно поняла — Пикуль. Вцепился в чешский тюль когтями и повис на четырех лапах. Марья Егоровна бросилась его высвобождать, но Пикуль дернулся, свалился на пол, выхватив из занавески огромный клочок. Был он в этот миг страшноват, и между когтями у него торчали розовые ошметки.

Марья Егоровна не без робости шагнула к нему, но кот зашипел и ощерился. Марья Егоровна сделала шаг назад, кот сделал шаг вперед. Тогда Марья Егоровна кинулась в ванную и едва успела в ней захлопнуться — кот толкнулся, дверь заперта. Ноги у Марьи Егоровны после очередей так и

гудели, и она сожалела, что не спряталась в сортир — там хоть можно было посидеть. Животное давно уgomонилось, когда она решилась наконец: схватила половую щетку, проскользнула в прихожую и вызвала по телефону деверя, отсыпавшегося после ночной.

Потом ждала его на кухне, не выпуская из рук щетку. Кот признаков жизни не подавал. Только розовые ниточки валялись на полу. Появилось это чудище, лишь когда притопал деверь и, оглушительно мурча, стало тереться о его ногу.

— Озверел ты, что ли? — выговаривал ему деверь. — Не об чего тебе больше когти точить? Занавеска, она денег стоит. Ты деньги зарабатываешь? Пенсию получаешь? Значит, собственность не твоя. Есть у тебя потребность чего-то порвать, дери свою подстилку. А занавеска, между прочим, дефицит. Маша за ней в очереди целый день стояла. И охота была стоять за таким дерьмом... Ты, сестра, не обижайся, это я к слову. Слушай, может, я его заберу у тебя?

— Нет, — твердо и даже с обидой отрезала Марья Егоровна. — Как жил, пусть так и живет. Еще котов мне не хватало бояться.

Марья Егоровна была бы рада избавиться от жуткого кота, но рассердилась на деверя и потому отказалась. Вещь хорошую обозвал дерьмом. Главное, Марья Егоровна была убеждена: слов человеческих кот не понимает, и не нотации ему надо читать, а хорошенько выдрать.

В дальнейшем получилось так, будто кот и слова понимает. Свою подстилку рвать не стал, но именно с этого вечера принялся усердно отгрызать уголки пододеяльников и наволочек на хозяйкиной постели. Когда он успевал — уму непостижимо. Постель Марья Егоровна держала в шкафу, спала же она очень чутко, верней, очень плохо спала.

Колготная это оказалась работка — подшивать уголки. И удовлетворения никакого — были вещи новенькие, а теперь — сплошные латки. Труды затягивались еще и оттого, что открылся съезд, и временами от телевизора невозможно было оторваться.

Съезды Марья Егоровна никогда раньше не смотрела. Включит нечаянно, увидит ровные, как лесопосадки, ряды и тут же другую программу включает. А сейчас какие уж лесопосадки. На трибуну так и рвутся. Ни в одной очереди так себя не ведут.

Молодые совсем одурели. Такую самокритику развели... И слова у них все не по форме, «товарищи» никто не скажет, то «уважаемые депутаты», то какие-то «коллеги», а то еще «парла-мен-тарии».

Паренек один назвал Горбачева «гражданин

президент». Горбачев обиделся, и Марье Егоровне вспомнился прошлогодний поклонник: «Что вы меня гражданином называете, как зэка?»

Глядя на эту молодежь, Марья Егоровна подумала: совсем, как наш Сережка, только он на кухне до сих пор выступает, а эти вон куда забрались.

Тут звонок — Сережка, легок на помине. Марья Егоровна впустила его и опять на кухню: «Беги скорей, Старчак чего-то говорит». Сережка неожиданно махнул рукой: «Не Старчак, а Собчак. Ну его...» Марья Егоровна взгляделась в зятя: «часом не заболел?» И вдруг как обухом ударило: «Ленка!»

— С женой опять поссорился?

— У меня нет жены.

— Это что еще за новости? Ты не блажи.

Сергей молчал, и упавшим голосом Марья Егоровна спросила: — С каких это пор у тебя нет жены?

— С тех самых, как она переехала к Светке Кисловой. Две недели. Я думал: вернется, не хотел вас волновать. А вчера она мне сообщает, что выходит замуж.

Никакой Светки Кисловой Марья Егоровна не знала. Новая какая-то. Дела! Две недели каждый вечер матери звонит и хоть бы чем себя выдавала.

— Ребенок с кем? — спросила она строго.

— Пока со мной. Она его три раза навещала.

Навещала! Три раза! Собственного ребенка в собственной квартире! Ну, Елена Викторовна, погоди! Звонить в роно Марья Егоровна не стала. Дождалась, когда Ленка прозвонится вечером в обычный час, и, потерпев немного, пока та вешала ей на уши лапшу, вдруг железным голосом сказала: «Сейчас же приезжай. Пусть твоя подруга, у какой ты кантуешься, хоть на даче живет, приезжай». Тут голос у нее сорвался и, позорно жалобно, она добавила: «Ты слышала, дрянь, тебе мать велела: приезжай». Ленка заскулила: «Мамочка, ты не волнуйся, мамочка, я не на даче, я через полчаса, ты не волнуйся, я сейчас».

Приехала она действительно примерно через полчаса, заплакала, обняла мать, сказала, что «этого» любит, что он очень хороший и будет хорошим отцом.

Услышав, что у ребенка кто-то будет отцом, Марья Егоровна расплакалась тоже. И тут Ленка разревелась в три ручья и, как в старые времена, когда еще училась в школе, все откровенно рассказала — что любит она его не так, как когда-то Сережку, с Сережкой тоже была настоящая любовь, но там все было просто, весело, ничего они не боялись. А сейчас ей все чего-то страшно, эта взрослая любовь, как болезнь, — она мучается, и не до смеху ей, наоборот, часто плачет.

В то же время она понимает: та любовь была ребячество, теперь — серьезно. И человек серьезный, на него жена может положиться, как на каменную стену — автомобиль, квартира, диссертацию защитил. А Сережка — многого он к тридцати двум добился? Ей надоело всю дорогу быть за мужика и с этим идиотом мучиться.

— А не женатый?

— Нет, он разведенный.

— Точно?

— Мама, бог с тобой, я паспорт видела.

Они проговорили до четырех часов. Марья Егоровна плакала, обнимая дочку, как когда-то в детстве, — жаль было Леночку, а заодно себя — ведь и она всю жизнь вкалывала за мужика, и покойный супруг, не тем будь помянут, тоже был порядочный идиот.

Потом они уснули, тихо, сладко, наутро Лена отпросилась, не пошла в роно, пили на кухне кофе, смотрели телевизор. Светило солнышко. На солнечной полосе на полу сидел Пикуль и умывался. Горбачев в этот день был строгий, навел дисциплину, и Марья Егоровна, очень поздно идя в парк, думала: «Давно уж пора, распустились».

В парк после утреннего заседания набежал народ — нельзя же из-за съезда заморить совсем без воздуха детей. Марья Егоровна блаженно шурилась на солнце, вспоминая теплый и душевный ночной разговор. Вокруг, конечно, обсуждали съезд.

— А я говорю: правильно, — каркнула Лидия Тимофеевна. — Без дисциплины распустились. Их давно пора прижать.

Марья Егоровна, запрокинув голову и глядя на зелененькие в синем небе верхушки высоких берез, неожиданно резко сказала:

— Хватит уже прижимать. Жали, жали. Сколько можно?

И резкость была неожиданная, и мысли. Ведь полчаса назад, идя в парк, она думала то же самое, что Лидия Тимофеевна, и даже теми же словами. Лидия Тимофеевна не возразила ей. Она сидела рядом с Марьей Егоровной и молчала. И остальные почему-то замолчали, и бабушки, и мамы. Только дети лопотали.

Марья Егоровна опустила глаза. Перед ней стояла косенькая дамочка с догом и смотрела ей в лицо.

— Ваша дочь работает в Ворошиловском роно? — спросила она. Голосок у нее был звонкий, четкий. — Елена Сазонова?

Марья Егоровна растерянно кивнула.

— Мне надо с вами поговорить, — сказала дамочка и, не оглядываясь, поплыла на коротких ножках, прямо держа спинку, словно ехала на маленьком пони. Марья Егоровна встала и пошла,

покорно, тяжело, глядя ей в затылок и смутно припоминая, что такой костюмчик, бледно-голубой, уже видела на ком-то, итальянский.

Отойдя от песочницы шагов на двадцать, дамочка остановилась и повернулась к Марье Егоровне лицом. Сейчас вблизи было особенно заметно, как портит ее глаз, глядящий в Багдад.

— Вы знаете, что ваша дочь разводится с мужем?

Марья Егоровна кивнула, удивляясь себе, всегда находчивой, хамства ни от кого не терпящей.

— И что замуж снова собирается, знаете?

Марья Егоровна кивнула опять.

— Этого не будет.

Марья Егоровна спросила:

— А он вам кто?

— Бывший муж. Но я с себя ответственности не снимаю. — Марья Егоровна молчала. Дамочка рассудительно, не торопясь, объяснила: — Ну и что ж, что бывший? Мы его курируем. Сделали ему диссертацию, жилплощадь, автомобиль. — Она вдруг усмехнулась. — Правда, он бордовую машину хотел, а мы ему устроили синюю. И жениться можем разрешить. Только не на вашей дочке.

Марье Егоровне было очень трудно возражать. Она за собой такого не знала. Но заставила себя, сказала:

— А какое вы имеете право командовать? Он свободный человек.

Собеседница взглянула ей в лицо прозрачным, как стеклышко, косеньким глазом:

— Он вообще не человек. Он ничто. Мы его сделали. Без нас он не то, что жениться, руки вымыть не имеет права.

В голове что-то поплыло, опять творилось это непонятное. Вместо того, чтобы поставить стерву на место, Марья Егоровна спросила с любопытством:

— Почему вы против их брака?

— А не хочу, — ответила коротконогая нахально.

— Ну, знаете, дама, — все же вспыхнула Марья Егоровна, — не такие теперь времена. Между прочим, теперь гласность.

— Я сама знаю, какие теперь времена. Не хочу, чтоб он женился на такой.

Марью Егоровну затошнило. С трудом ворочая языком и подавляя тошноту, она спросила:

— На какой — такой?

— А на такой, как ваша дочка. На дочери такой, как вы. Вот увидите: не только брака, романа не будет. Придет для начала инспектор из горono, а потом уж ей не до романов станет. Я и так им слишком много позволила. Пока.

Она повернулась и пошла прочь, будто ехала на пони, и белый дог, стоявший неподвижно в течение их разговора, аккуратно шел по тропке, перебирая лапами.

Соседки по палате, все, как одна, завидовали Марье Егоровне. Такая большая, такая дружная семья. Столько родственников — дочь и сын, и зять приходят поочередно, а иногда и сразу потренировать мамашу, прогуливать ее по коридору. И еще — ну, ежедневно кто-то из родни. И приятельницы ходят.

От школьной подружки Соньки, всегда молчаливо сидевшей на семейных торжествах, Марья Егоровна узнала, что Димкин день рождения не отмечался. Сонька заглянула все же к ним из любопытства и обнаружила — тещи дома нет, дети сами по себе играют, а «она» при появлении Соньки вскипятила чайник и плюхнула на стол простейший из тортов — «вафельный», за рубль пятнадцать. «Как хорошо, что вы зашли, Софья Максимовна, сейчас Диму будем поздравлять». Оба были до смерти довольны, что день рождения можно отметить без хлопот.

Марью Егоровну расстроил этот рассказ — жизнь круто повернула в сторону и потекла сикось-накось. Рассыпалась семья, не соберется больше за одним столом, хотя в больницу все ходят исправно. Неужели никому из приходящих к ней не жаль, что не будет больше хлопотать за накрытым белой скатертью столом поворотливая и радушная хозяйка?

Может, жалеет кто, да ей не говорит? Ведь неудобно же в глаза брякнуть: «Очень жаль, Марья Георгиевна, что вы теперь навеки инвалид. Тем более, сами мы ни хрена делать не хотим и не умеем».

Речь восстановилась полностью, рассудок не пострадал. Рука слушается плохо, но сказали, разработается частично. Ну, и хуже всего, конечно, нога. Марью Егоровну даже не обнадежили, что она без посторонней помощи сможет хоть когда-то ходить.

В палате женщины ей не сочувствуют. Там все — калики перехожие, но не у всех так, чтобы и дочь хорошая, и сын, и даже зять. И конечно, с женщиной, к которой сыновья не каждую неделю заходят, Марья Егоровна не делится своими опасениями, как дальше жить.

А опасения есть. Димка хороший, но с «ней» Марья Егоровна не уживется. С кем будет Лена — одна, с Сережкой или с этим, которому все устроили? И где будет она, и какая она будет? Характер ведь у девочки совсем не такой, как посторонним кажется. Характер Ленкин —

скрытный, непростой — вон, только раз раскололась, когда вместе плакали, а сейчас опять молчок. Марья Егоровна как-то спросила: «К тебе инспектор не заходил?» Лена ответила: «Я сама инспектор».

Для соседки по палате, которую не навещают сыновья, все это — «нежности при нашей бедности». Еще бы — столько народу бегают, и все к одной.

Лидия Тимофеевна заходит раз в неделю и приносит гладиолус. Заходит та мамаша, которую Марья Егоровна когда-то называла «Стройбат». Сейчас она ее называет Наташенька. Эта здоровенная квадратная мамаша на себе доволокла Марью Егоровну с того места, где она упала, до скамьи. Потом смоталась в районную поликлинику рядом с парком. Там уже толклась Лидия Тимофеевна и клячила машину, упирая главным образом на то, что все мы советские люди. Регистраторша из вызова на дом отвечала, что машину не положено давать, а стоявший рядом санитарный шофер прикрикнул: «Чего выступаешь, бабка? Скорую из автомата вызывай». Тут запыхавшаяся Наташенька покрыла их таким матом, что водитель уважительно сказал: «Вы не имеете права оскорблять», — и немедленно повез Марью Егоровну в больницу.

Лидия Тимофеевна рассказывает про съезд, он все тянется, уже не первый месяц. Интересно ужас — хоть бы глазком взглянуть — в холле стоит цветной телевизор, и некоторые больные смотрят, но Марье Егоровне это напрочь запрещено.

Ребенок в лагере, написал бабушке открытку. Марья Егоровна перечитывает ее и почему-то плачет. Она теперь частенько плачет, но скрывается от соседок, все же положение ее лучше, чем у многих.

Но на слезу все время тянет, а один раз даже захотелось написать Рыжкову. То ли помощи просить, то ли узнать, как они там женятся в своем партийном аппарате.

Заходит деверь, всегда трезвый, хвалит шахтерскую забастовку. Сережка трепется, будто сухой закон принят из-за Пикуля. Говорит, кот как-то так наколдовал, что бутылки со спиртягой лопаются сами собой то на столе, то у деверя в сумке.

Врет, ясное дело, врёт. Но когда Марья Егоровна вспоминает, как котяра сбросил вазу с хризантемами, а потом сверкал на серванте глазами, дело не кажется таким уж ясным. Вдруг и в самом деле Пикуль чего-то творит? Но деверь на кота не серчает.

Екатерина Короткова

ВНУЧКА РУЗВЕЛЬТА И ДРУГИЕ

Отрывок из повести



Я давно заметила, что ни у кого из моих приятельниц нет знакомых военных. Приятельницы мои дамы интеллигентные, перечитывают классику, а там чуть не на каждом герое военный мундир.

Я не спрашиваю у них, заметили ли они исчезновение из жизни главного героя. Мне кажется, я знаю их ответ. Все Печорины и Вронские погибли или изгнаны во время Гражданской войны. Остался нам на память поручик Голицын.

Ну а те, кто носит погоны сейчас, это люди не нашего круга. Армия очень изменилась. Изменилась, согласна. Но изменились и мы. Интеллигенты, пожалуй, побольше военных. И уместнее, наверно, спрашивать меня. Почему все эти странности? С офицерами дружишь, сочиняешь батальные сцены, роешься в отцовских военных дневниках?

Сама не знаю. Такой уродилась. Может быть, небеззаботное детство оставляет более глубокий след. Казачьи песни с детства слушаю. До чего ж он нежен, хохлацкий язык. Даже войну называют «вийнонька». И себя — уменьшительно, ласково. «Засвистали козаченьки в похид о пивночи, заплакала Марусына в свои кари очи». Ночной поход, горят костры, мелькают тени всадников в высоких шапках — воевать собрались козаченьки. И тополь гнется на ветру над одинокой казацкой могилой.

Кроме казачьих и ямщицких, что пел мне дядя, в моем детстве звучали и песни ожидаемой войны. «Если завтра война, если завтра в поход...» Как-то на даче, в открытом кинотеатре я увидела фильм, который пленил меня на всю жизнь. На экране был красавец, мужественный и добрый. Улыбка — солнце. Как ослепительно они улыбались: Крючков, Алейников, Николай Баталов. В том дачном фильме герой Николая Крюčkова, уже повоював, вернулся к

мирному труду. Но с ним была гармонь, и тишину степной украинской деревни пронизывали грозные раскаты: «Гремя огнем, сверкая блеском стали...» До чего ж это нам нравилось!

Скажу честно, слушая полюбившиеся нам песни, мы совсем не ожидали, что вскоре начнется война. Но нам показали нашего защитника — доброго и сильного.

О войне не думали, но идея все же была запущена, и девочки постарше меня, сами того не зная, уже готовились стать санинструкторами и радистками. В пионерском лагере, куда и маленьких брали, нас учили ползать по-пластунски, водили в походы, затеяли военную игру.

Тогда и взрослые играли в эти игры. Выходной день, солнышко на ясном небе, и вдруг гудки, тревога. Все торопливо натягивают маски с хоботом, не то объявят тебя отравленным и на носилках унесут. Я до сих пор помню, как их натягивают, эти маски — уже в эвакуации, в жаркой Средней Азии военрук накрепко вдолбил: подбородок вперед.

Большим успехом в те предвоенные годы пользовались девушки спортивного типа. Ну, а девочки? Девочки моего поколения не так уж много играли в куклы, а больше в подвижные игры, которые легко переходили в драку. Озорные они были — «девчонки с нашего двора». И я от них не отставала. И даже в чем-то обогнала, но озорство мое носило особый, выборочный характер.

Девочка я была тихая, вежливая, законопослушная. Никогда не говорила неправду. С ужасом и негодованием отвергла предложение подделать мамину подпись в дневнике. И уж конечно никого не обижала и не мучила.

И в то же время какой-то настойчивый внутренний голос то и дело толкал меня на отчаянные, порой опасные для жизни поступки. Причем опасны они были только для меня самой.

Совсем маленькая, я взбиралась на высокий забор к ужасу бабушки, тщетно умолявшей меня спуститься.

Свой первый бой я приняла в возрасте пяти лет через несколько дней после возвращения в Киев, уж не помню, в который раз вернулась. Битва была нешуточной — воевали с соседним двором, стенка на стенку. Это когда уже не кулаками лупят, а швыряют камни. В своем первом сражении я оказалась потерпевшей — угодили камнем в голову, вполне закономерно, ибо была маленькая, неопытная и неувертливая. Жалеть меня сбежались и взрослые, и дети с обоих дворов. Киев, хоть и не Одесса, но тоже тёплый южный город, всегда готовый посочувствовать. Меня обильно полили йодом и не запретили бегать во двор. Вот такое приобщение к военному делу.

А там уж началось!

То я лечу на санках в обществе таких же умников по наклонной Караваевской улице

и врезаюсь в самую гущу автомобилей, которые мчатся в обе стороны по оживленной улице Саксаганского. Милиционер тут же отлавливает меня – самую мелкую – и начинает «внушать». Кто-то из мальчишек отвязывает веревочку, я хватаю санки рукой за холодную металлическую перекладину, с которой снята веревка, и улепетываю, не выслушав наставлений.

То я вдруг ни с того, ни с сего чуть ли не с первого класса начинаю сбегать с уроков и не домой иду, а в кино на страшный фильм о Стеньке Разине, с пытками. Эти пытки меня доконали. Я выскакиваю из кинотеатра вся в слезах, в равной степени угнетенная своей греховностью и наказанием за неё – ничего подобного я до сих пор в кино не видала, конечно, это результат моих безумных действий. Я бегу по улице столь зарёванная, что даже хулиганы мальчишки отказываются от идеи подразнить меня и отпускают со словами: «А, ну её!». И наконец я дома и утешаюсь после всех этих ужасов некрасовской поэмой «Кому на Руси жить хорошо» — моё главное в том году утешение.

Но лиха беда начало. С уроков я продолжаю сбегать и это превращается в приятный и безобидный обычай, сохранившийся до окончания института.

Добавим сюда ещё семечки, которые, возвращаясь из школы, мы с подружками сгребаем у торговков на бегу. Чуть попозже, в эвакуации, я и по чужим садам шуровала.

Впрочем, были в нашем довоенном детстве и умирительно скромные забавы. Мы чуть ли не часами могли смотреть, как работает на соседней улице продавец газировки. Вода брызжет, стакан наполняется мигом, пузырьки мечутся в стакане, сталкиваются, стремятся вверх. А потом продавец поворачивает краник в баллоне с соком, и вода в стакане окрашивается в темно-красный или золотисто желтый цвет. Чистая стоит одну копейку, с сиропом — три, а с мандариновым — пять, только он не всегда бывает. Вкус божественный — я один раз попробовала. У нас есть с собой какие-то копейки, но воду мы покупаем редко, обычно чистую. Нас интересует процесс.

Возраст наш далек от переходного, но, в каком-то смысле, переходный: от неуправляемой зверюшки к примерной девочке. Это интересно отражается на посещениях Ботанического сада. Нам повезло. Ботанический сад, «Ботаника» начинается на нашей улице. Справа наши дома, слева ограда «Ботаники». Мы выскакиваем из нашей длинной, тёмной подворотни, словно стая диких обезьян. Не оглядываясь, перебегаем улицу — по ней редко ходят машины — перелезаем через узорчатую металлическую ограду, и вот уже под ногами шуршит сухая прошлогодняя листва. И мы носимся с жутким шорохом по пригоркам и оврагам. Киев город холмистый, Ботанический сад — тем более.

Но временами в наших юных душах берет

верх другая ипостась — примерных девочек. Мы осторожно переходим улицу, опрятные и чинные, сворачиваем за угол и направляемся к кассе у входа с целью купить билеты в Ботанический сад. Нас обычно пропускают и без билетов и подробно объясняют, что нам надо посмотреть в саду, и мы степенно движемся к бассейну с золотыми рыбками.

Оба эти варианта, как правило, кончаются тем, что мы оказываемся в дальнем конце сада — путь не близкий — и наблюдаем там, как делается мороженое. Процесс намного сложнее, чем налить газировку. Мы следим за ним, не отрывая глаз. Чего он только не проделывает, этот мороженщик, и механизм у него хитроумный. Он крутит белую снежную массу в своём бачке, сыплет соль, не в бачок, конечно. Мы спрашиваем, зачем соль, он нам все объясняет, продолжая работать: крутит, вертит, что-то подкладывает, подливает, и происходит чудо: в бачке не белый снег, а желтоватое, сливочное, самое вкусное на свете мороженое.

Вот с такой гремучей смесью закон-опослушности и беззакония я встретила свалившуюся всем нам на голову войну. Стоит ли удивляться, что когда при ночных налетах пионервожатая будила нас и вела в щель, я останавливалась, чтобы полюбоваться предрассветным небом.

В Киеве то же самое — в убежище ни ногой, стою, разинув рот и наблюдаю падающие, правда, где-то совсем далеко, черные бомбочки и маленького парашютиста. И мне очень стыдно, что дядя Василий — глава семьи, казак — спит теперь не на кровати, а под кроватью.

Но пришла пора напугаться и мне.

Мы очень поздно покинули Киев. Из тех, кто сразу же решил эвакуироваться, большинство давно уже было в пути. А мы ведь тоже сразу же решили, но всё не уезжали, тянули неделю за неделей, ожидая, когда же выпишут из больницы тетю Марусю, и мы все вместе повезем её в её далёкий Казахстан... Её муж и сын давно уже туда уехали. Ждать больше было нельзя. Бабушка ни за что на свете не покинула бы больную дочку, и дядя Василий остался с ней. В дорогу собрались мы с мамой и тетя Женья. Раскололась семья.

Но тут же снова обросла, и не чужими, а родными. К нам присоединилась папина тётя, Мария Савельевна Беньяш, она же тётя Малина — домашнее прозвище, прилипшее к ней ещё в детстве, как говорили мне, за ослепительный цвет лица. С ней и её покойным мужем мы постоянно виделись, дружили. Сопровождала тетю Малину компаньонка Тина, высокая молчаливая немка, бывшая бонна её внука Юры, который уже призван в армию.

Жить в товарном вагоне мне ещё не приходилось, но в моей короткой жизни было столько перемен, что к новой обстановке я привыкла легко. Ехали киевляне, общительный, разговорчивый народ, ещё не замученный военными тяготами.

Быстро завязывались дружбы, и мама особенно подружилась с одной женщиной. Мы и устроились рядышком. К этой даме часто подходил человек, с которым она тоже познакомилась лишь в этом вагоне. Почему-то они говорили друг другу «ты». В те времена у интеллигентных горожан такого принято не было. Я спросила маму, почему они на «ты», и мама коротко и веско пояснила: «они коммунисты». Я удовольствовалась этим ответом. 41-й год – дух революции еще витал в атмосфере.

Дверь-здвижка товарного вагона приоткрыта. Мы пока ещё не попрощались с Украиной. То лесок мелькнёт, то речка, то «садок вишневый коло хаты». Но это лишь мелькнёт, а постоянны и необозримы золотые поля пшеницы. Красивы они – глаз не отвести, налитые, спелые колосья, золотое море. Какой роскошный урожай нам выпал в лихую годину. В вагоне то и дело говорят, что такие урожаи всегда бывают в первый год войны. А 45-й будет неурожайный год. Но мы ещё не знаем, что война закончится так не скоро.

«Белоруссия родная, Украина золотая, наше счастье молодое мы стальными штыками оградим», — пели идущие на фронт красноармейцы. Через много лет я обнаружила, кто первым нашел эти слова: «Золотая Украина». Иван Алексеевич Бунин.

Тётя Женя постоянно выходила па станциях и очень часто появлялась в вагоне, когда поезд уже шел полным ходом. Было много волнений, я сердилась на тетку и с бессердечием, свойственным легкомысленному детству, от души желала ей отстать насовсем.

Ехали мы себе, ехали, и вдруг оказалось, что нам очень скоро предстоит расстаться. Тетя Малина с Тиной направлялись к родственникам на Северный Кавказ. Это о ней написал мой отец в своих чудесных воспоминаниях «Добро вам!», назвав её там Рахилью Семеновной. Он не только имя изменил, но и личность, и семью, и судьбу этой вымышленной семьи. Оставил только факт: его тётя действительно ехала этой дорогой. Интересное исключение, над которым стоит подумать: единственный абзац во всей повести, где автор прибег к вымыслу. К чему бы это?

А у мамы вдруг появилась совсем не светлая мысль. Она узнала, что Виктор, её муж и, соответственно, мой отчим, в Днепропетровске, и решила завернуть к нему: повидаться и заодно аттестат оформить. Аттестаты, как я знала, можно и письменно оформлять. А заворачивать поближе к немцам ради встречи с Виктором, который за год сумел развить у меня к его особе острую неприязнь, нет, совсем не по душе была мне эта идея. А мы ведь ещё не знали, что ждет нас в Днепропетровске.

Ожидало же нас нечто такое, что вошло в историю великой Отечественной войны, как один из самых трагических её эпизодов. Стремительным ударом немцы прорвались к Днепропетровску и лишили город возможности пользоваться железной дорогой. Между тем на путях, идущих от вокзала,

стояло множество эшелонов с воинскими частями и с беженцами.

В город мы попали вечером и остановились у родственницы, тети Домны, помню, бабушка называла её Домахой. В 30-е – 40-е годы у всех было много родственников. У тети Домахи было множество внуков, и я с ними играла в прятки, а потом мы забрались в отлично оборудованную щель и там тоже начались игры: зажгли восковую свечу и гадали – капали растопившийся воск в кружку с водой. Ничего внятного нам не нагадалось.

В эту ночь, проведенную не в вагоне, а на перинах у гостеприимной Домахи, очевидно и осуществился этот роковой прорыв немецких воинских частей, лишивший всех, кто находился в городе, возможности его покинуть. Ну, а пока мы там играли и гадали, противник, вероятно, закрепил захваченный рубеж. Мама за это время успела разыскать Виктора и оформить этот самый аттестат.

Днем, торопливо перекусив, мы попрощались с нашей славной хозяйкой и, подхватив свои вещи, отправились на вокзал.

Вокзальная площадь битком была набита народом и гудела голосами. В середине площади возвышалась гора из чемоданов, узлов, свернутых одеял и всевозможной тары, пригодной для переноски вещей, включая ведра. Мама с тётей пристроили туда и наше имущество.

Мы присели на ступеньку у входа в вокзал. Но никто туда не входил. Люди метались по площади, лица тревожные, испуганные, все что-то кричат. Я прислушалась. Ой, что ж это они кричали! «Вы же слышали, сказали ясно: отправления не будет», «То есть как, а воинский эшелон?» «Воинский – другое дело». «Немцы рядом, в восьми километрах стоят». «Дорога перерезана, не выбраться нам отсюда». «Говорят, станцию на тот берег перенесли».

Немцы в восьми километрах! Ну и ну! Надо было нам так уж сюда торопиться.

В воздухе возник какой-то новый звук, и все бросились в центр, к чемоданной горе. Мама с тётей потащили меня за руки и мы плюхнулись на наши чемоданы и узел. Звук нарастал. Я уже слышала его не раз, но не так близко. «Бомбить... бомбёжка» — шелестели голоса. Как же это может быть? Здесь же только женщины, старики и дети. Неужели они прилетели, чтобы нас бомбить? «Это артобстрел», успокаивала я себя. Невыносимо было думать, что прямо на меня бросают бомбу. Пальба из пушек и минометов почему-то представлялась мне более безобидной.

Вой, грохот, треск. Казалось, небо раскололось, весь воздух раскололся до самой моей головы. Тётя накрыла меня подушкой. Какой он страшный, этот грохот, уши лопаются, тело болит.

А тетя что есть сил прижимает ко мне подушку. Смешно – разве подушка спасёт? Но в этом грохоте, что обрушился вдруг на площадь и терзает

и мучает всех, только они и были из человеческой жизни, из нормальной, доброй, прежней жизни – подушка и прижимающая её ко мне тетина рука.

Самолеты улетели, а на площади творилось такое, страшней чего я не видала никогда. Люди мечутся, как сумасшедшие, кричат, зовут кого-то, у всех испуганные, стеклянные глаза. Я увидела мертвых. Вот женщина несет неподвижное тело девочки. Старушка наклонилась к мужу и уговаривает, как маленького: «Васенька, родненький, ну что же ты, что?», а он не двигается и не отвечает.

И наконец-то я увидела такое, что уже не надо было больше спрашивать: «Бомбежка?» «Обстрел?» Большой четырехэтажный дом без стены. Груда кирпичей под домом и облако пыли над ними. Чьи-то комнаты, мебель, струйки пыли от оставшихся стен.

— Это бомба! Это бомба! – твердила я в ужасе.

Постепенно всё затихло. Те, кого не затронула бомба, разыскивали свои вещи и, усталые, сидели на них. Очень скоро появился Виктор и присел на чей-то рюкзак. Мы разговорились с какой-то женщиной и она нам предложила переночевать у неё. «Дом у самого вокзала. Бомбить, правда, всю ночь будут. Зато идти недалеко».

Как чудесно было очутиться в этой квартире. Уютно, как до войны. Ворсистые пестрые кресла, такой же диванчик. Много книг и много ламп. Лампы красивые, все разные и все чудные. Наверное, старинные. Я забила в уголок дивана и не двигаюсь, постепенно отхожу. Интересно, что за книги там на полках? Я выбралась из своего убежища в углу ворсистого дивана с проплешинами. Видно, здесь богатые люди живут: мебель мягкая и книги стоят не на полках и этажерках, а в книжных шкафах. Я двинулась вдоль шкафов с книгами, разглядывая корешки. «Бегущая по волнам» — прочла я на одном из них. «Можно мне почитать эту книжку?» — умоляюще спросила я хозяйку. «Конечно, деточка, но ты ведь её всю не прочтешь». «Да я совсем немножко посмотрю». Книга так к себе и тянула. «Бери, бери, сколько прочтешь, столько прочтешь». Когда случилось что-нибудь плохое, я всегда находила утешение в книгах. Но такого ужасного, как сегодня, со мной никогда ещё не бывало. Поможет ли мне эта «бегущая?»

Я открыла книгу и ушла в чудесный и волшебный мир. Оказывается, после самого страшного наступает самое прекрасное. Затаив дыхание, я впитывала каждую строчку. Впоследствии я прочла её целиком. От того чарующего впечатления не так уж много осталось.

А потом меня укладывали на постель, подсунули под голову подушку. «Вмиг сварились. Неудивительно. Такой денек», — услышала я и совсем уж провалилась в сон.

Спала я крепко. Я слышала, всю ночь я слышала оглушительные разрывы бомб. Но я

слышала их сквозь сон. Иногда, тоже сквозь сон, пробивались голоса: «Может, отнесем её в убежище? Весь дом спустился». «А кто её угадает, эту бомбу? Может быть, она на лестнице нас настигнет? Вы спускайтесь, спускайтесь, а я тут побуду». Я слышала всё: бомбежку, голоса, но ни разу не проснулась. Так мы и провели всю эту ночь вдвоем с мамой, на верхнем этаже пустого дома.

Виктор явился не так уж рано – мы все уже успели попить чаю, когда он затрезвонил в дверь. Он сиял, он столько сделал за утро, что нам и не снилось. Вещи уже у моста. Откомандирован боец, который переправит нас через мост. Вот ходатайство в эвакупункт за подписью начальника штаба с просьбой оказать содействие семье командира. Боец ждёт нас у моста, там же ждёт сюрприз.

У моста топталась такая толпа, что к нему, казалось, и за сутки не пробраться. Виктор поставил чемодан на чемодан и, взгромоздившись на них, внимательно оглядывал толпу. «Вот он!», — сказал он и слез с чемоданов. «От меня не отставать», — строгим голосом распорядился он и стал двигаться сквозь толпу, повторяя этим новым строгим, командирским голосом: «Разрешите», «Позвольте пройти». По очень узенькой и не прямой дорожке мы довольно быстро пробились сквозь всю эту массу людей.

А там уж был сюрприз из сюрпризов. Телега с настоящей лошадей. И правил этой лошадей боец, которому Виктор вручил ходатайство из штаба и сказал: «Я на вас очень надеюсь, Лагутин». «Будьте спокойны, товарищ старший лейтенант», — слегка окая, ответил боец Лагутин. Он был худенький, с голубыми глазами. И хотя я не особенно понимала, как это взрослые делятся на пожилых и молодых, но на сей раз поняла, что боец Лагутин молодой.

Телегу быстро нагрузили нашим и еще чьим-то имуществом. Меня втиснули между узлами, так что я немного возвышалась над толпой. Люди громко, возбуждённо кричали, у меня прямо в ушах звенело.

Примерно через час мы были уже на мосту. В самом, самом его начале. Ухали и свистели снаряды, но не долетали до моста. Лошадь Ромашка перебирала ногами и, казалось, она совсем не продвигается вперед. Немного впереди виделась черная «эмка» и, казалось, она неподвижно стоит в толпе.

Слышалось сплошное шарканье подошв. Мост был плотно забит людьми, так плотно, что, хотя они все время шаркали ногами, казалось, что никто не продвигается вперед – ни идущие пешком люди, ни телега, ни черная «эмка». Я вдруг заметила, что люди, шаркавшие по мосту, все, как по команде, задрали головы и смотрели на небо. «Наши. Наши. Ястребки», — шелестело в толпе.

— Прикрывают нас, как вы считаете, товарищ Лагутин? — окликнула ездового тётя. Я уже знала, что в своей сегодняшней должности боец Лагутин называется ездовый.

— Похоже, так, — отозвался Лагутин. — Надо же народ оборонить.

И стало жарко от страха. Снаряды были и плюхались в воду по обе стороны моста, то недолёт, то перелёт. Но, наверно, всё-таки не из-за них появились над мостом истребители. Не из-за них бредущие понуро люди задирают головы и смотрят в небо. Будет еще что-то, от чего нас собираются оборонить.

А всё же, если смотреть на перила, видно — есть движение. Вон та доска с жирным черным пятном была впереди, а теперь она сзади.

...И вот тут-то он раздался, знакомый вчерашний гул.

Я подняла голову и увидела, как засуетились в небе «ястребки», как, постепенно делаясь всё больше, приближаются немецкие бомбардировщики. Их было три.

Я не отрываясь, смотрела на тот, что впереди. Вот он, большой и жуткий, словно не замечая истребителей, оказался прямо у меня над головой. И я увидела, как когда-то в Киеве: из пуза самолета вывалилась черная бомбочка, и я тотчас же уткнулась головой в колени.

Бомба с воем ринулась вниз и плюхнулась в воду. Потом снова вой, и снова, и ещё. Бомбы, как какие-то железные киты, сигали в Днепр с тяжелым оглушительным всплеском, поднимая фонтаны воды. Воют бомбы, плещется вода, трещат, захлебываясь, пулеметы. А на мосту и крик, и плач. «Вот дают ястребки!», — услышала я сквозь шум голос Лагутина.

Я не поднимала головы, я ждала: вот какая-нибудь из них попадет в мост и конец нам всем, и маме, и мне, и тёте, и всем, кто рядом с телегой, и всем, кто далеко.

А потом шум передвинулся в сторону, я не сразу это поняла.

«Отогнали, слава Богу, отогнали», — гомонили вокруг голоса.

Я подняла наконец голову и огляделась. Мне казалось, прошло ужас сколько времени, но мы совсем недалеко продвинулись вперед. Мы, наверно, ещё и до середины моста не доехали. Я глянула вперёд: народу бездна. Назад обернулась: там тоже целая толпа. Где всё-таки больше, впереди или сзади?

По правую сторону от телеги бубнили поющие голоса — двое приятелей, они идут рядом с нами и вспоминают кинофильмы. Всю дорогу, до начала бомбежки не слезали с этой темы. Улетели «мессеры» и вновь я слышу: «Вот Крючков жизни дает!»

Худенькая старушка-одуванчик вздыхала, опираясь на бортик телеги: «Ой, этот Антон, ой, этот Антон! Погубит он бедную девочку!»

Каждый про свое, и никто про бомбежку. Но ведь смотрели только что на небо, весь мост головами вертел.

Я поглядела вокруг. Никто не вертит головами. Кто молчит, большинство разговаривает. Шаркают подошвы. Неужели никто не думает о бомбежке?

Ясное дело: думают только о ней. Просто взрослые затеяли какую-то свою игру.

А мне во что играть в моем возвышенном одиночестве? Ведь перекрикиваться я ни с кем не смогу. Надо думать о чём-то хорошем, решила я. Самое хорошее, наверно, вчерашний вечер. Уютная комната со старенькой ворсистой мебелью и эта девушка, бегущая по волнам. Вот было бы здорово, если бы мы все умели так бегать. Спрыгнули бы с моста и побежали по волнам. А немцы бы палили в нас из пулеметов. Нет, лучше уж идти по мосту. Я смотрела то на небо — там не было сейчас самолетов, то на быстрые днепровские волны, разбиваемые снарядами, то на людей, бредущих по мосту. Они уже не кричали, как утром, в самом начале. Шли, понурившись, молча, хотя порой невнятно шелестели голоса.

Люди утомились, прошаркав полтора километра. Вошли в притихший, неразговорчивый, усталый ритм. Даже, когда снова налетели «мессеры», в нашей части моста было намного спокойней, чем во время первой бомбежки. Волновались те, кто недавно вступил на мост. А здесь устали не только от ходьбы. Устали и от беспокойства.

Мне приснилось, что я уснула в классе, во время большой перемены. Класс наш был экспериментальный: половина детей домашних, моего возраста, а половина — бывшие беспризорники, парни лет шестнадцати-семнадцати. Наш староста Андрей, здоровенный детина, увидел, что я сплю, и принялся орать: «Пошла вон из класса, чтоб ноги твоей тут не было! Дома будешь дрыхнуть! Убирайся вмиг, а то убью!» Очень громко он орал, так громко, будто не один, а много людей кричат.

Я вздрогнула и открыла глаза. Вокруг все громко говорили. Ромашка стояла на месте, И все стояли. Ногами никто не шаркал.

— Перед концом всегда затор, Обычная вещь, — успокоил меня Лагутин. Минут через двадцать будем на твёрдой земле.

Ух ты, мы подошли к концу моста. Вон он, берег, прямо перед глазами, домики, деревья. А солнце уже коснулось земли, значит, прорываться в эшелон нам в темноте придется. Что в эшелон придется прорываться, это я твердо знаю. Это будет уже третий эшелон. Как-никак у меня опыт.

Тот же опыт мне говорил, что в эшелон мы рано или поздно прорвемся.

Я устала за этот бесконечный день и мечтала, чтобы прорыв остался позади, и мы все очутились наконец в вагоне. Мама и тётя поставят чемоданы у стены. Я растянусь на полу на старом мамином пальто и усну под тревожные голоса: «Почему стоим?» «Когда же отправление?» А проснусь под стук колес. «Едем», — подумаю я сквозь сон, перевернусь на другой бок и снова усну.

Я оказалась права – в эшелон мы попали. Поезд дрогнул, снимаясь с места, застучали колеса и мы выбрались из-под самого носа фашистов, на ту землю, которую они еще не успели захватить.

У нас, детей войны, уже образовался опыт. С ужасом вспоминаю теперь эти посадки. Я смертельно боюсь давки, боюсь толпы. Но отчетливо помню: тогда я не боялась. Я сама была частью этой толпы. Для меня, как и для всех вокруг, штурмовать вагон привычное дело.

Платформа забита бескрайней толпой – люди, вещи, узлы, костыли, чемоданы. Рупор начальственно гремит: «С грудными детьми не брать!» И тут же пронзительный женский голос: «Меня пропустите, меня, я с грудным ребенком, да пропустите же меня вперед!»

И вот подгоняют товарный состав, откатывают широкие, во всю стену двери, а там уже люди сидят, и как мы туда попадем, вопреки законам физики, которую я ещё не проходила, и законам данной станции по поводу грудных детей?

Мы бросаемся в эти широкие двери отчаянно, карабкаемся, лезем, сзади давит толпа. А потом поезд идет, постукивая колесами на стыках, все разместились, сидят на вещах и женщина с грудным ребенком – тоже. А два каких-то дяденьки смастерили здоровенные нары для ребят постарше, и мы там горя не знаем под потолком, играем в короли, в какие-то придуманные нами игры, даже в какой-то невинный ребяческий флирт. Весело, хорошо, о тесноте и речи нет – помост широкий, а нас не так уж много. Неделью мы там блаженствовали, а то и больше, в эвакуации не помнишь дней.

Правда, такая роскошь выпала нам на долю лишь один раз, ну, а в вагон-то попасть мы всегда попадали, не в тот, так в следующий. Сколько же их было, этих пересадок! Казалось бы, полтора месяца на колесах с бесконечной сменой поездов и штурмовыми бросками в вагон вырваны из нашей жизни – разве мы тогда жили? Но это была жизнь, своя, особенная жизнь. И вспоминается она со всем хорошим и скверным.

Первое время, когда мы ещё недостаточно удалились от линии фронта, нас нередко обстреливали. Боялись ужасно, но судьба хранила наших спутников и нас. Позже, уже в безопасной зоне после очередной пересадки мы оказались в одном вагоне с ранеными беженцами. В первый и последний раз в жизни я столкнулась с невоенными, ранеными на войне. Все они были в бинтах, помню красивую черноглазую девушку с забинтованной по брови головой. Мне было их очень жалко, но сразу же началось такое, о чём я вспоминаю с недоумением и стыдом. Вагон был почти пуст (большая редкость), мы не страдали от привычной духоты.

Тем не менее, раненым было душно. Они широко распахнули двери, нашли в глухой стене какие-то люки, и по движущемуся на огромной

скорости вагону загуляли пронзительные сквозняки. Так среди общей беды, которая нас всех объединила, разгорелась маленькая, но свирепая война. Я сидела тихо, мне было стыдно, что бой идет из-за меня: «Ребенок слабый, плохие легкие, что вы тут творите?» Я считала, что «наши» должны уступить. Подумаешь простуда, ведь с нами раненные едут. Я им сочувствовала, но они были мне неприятны. С такой ненавистью глядели они на нас. Как я теперь понимаю, у мамы с тетей были серьезные основания для конфликта. Не простуды они боялись, а самого худшего. Беженцам болеть нельзя — лечить их некому и негде, и простуда тут же перейдет в воспаление легких, и не станет девочки, задует её сквозной ветер. Каждая сторона была по-своему права. Виновных, вероятно, не было. Кто уж тут виноват — измученные люди сорвались в экстремальных условиях. Они и в не экстремальных сплошь и рядом срываются.

А всё же скверно вспоминать об этом. Наверно, можно было как-нибудь по-доброму, иначе. Обсудить все вместе, кое в чём друг другу уступить. Меня, например, в какой-нибудь угол пристроить. Но по-доброму не могло получиться – между нами пылала вражда.

Потом в каком-то другом поезде с нами ехал довольно противный старик. Он все время бурчал, ругался не матерными, но грубыми, скверными словами.

– Диду! — не выдержала моя вспыльчивая тетя. — Чого це вы все время лааетесь?

– Хиба ж я лаюсь? — удивился дед. – Я же не матюкаюсь.

И улыбнулся добродушно. Спор на том и закончился. Крыть нечем. Я неожиданно подумала: «Со своими-то легче договориться».

Да какой же он нам свой, этот корявый дед? С ранеными мы, казалось, принадлежали к одной среде – горожане, интеллигенты. Неужели наша слабенькая связь с деревней сказывалась на нас? Не уверена, что так уж важна деревня, но мы были р а з н ы е горожане. Наши были открыты, легко шли на контакт. А в несчастных наших оппонентах чувствовалась твёрдая закрытость. Кто знает, может, и деревня сработала тут. У людей, с которыми мы враждовали, связь с деревней, даже самая минимальная, представлялась невозможной.

Мы все больше удаляемся от Украины. С боем врываемся в вагон, в этот момент такой желанный, а через несколько дней покидаем его. Мы ведь едем не от места до места, как в мирное время, Мы кусочками перебираемся на попутных эшелонах в нужную нам сторону. Такой себе автостоп. Ночуем на вокзалах, спим сидя, иногда меня укладывают на скамью. На одной такой скамейке я однажды ночью проснулась от холода. Кто-то украл пальто, в котором я спала. Знать бы мне, что новое у меня появится лишь через четыре с лишним года. Мы ведь думали тогда, что война

кончится зимой.

Однажды нам пришлось довольно долго – в детстве ведь всё долго – ехать с воинской частью. Их куда-то перебрасывали, заново сформировав из тех, кто уцелел.

Две женщины и девочка в большом, то-варном, полном солдат вагоне и блаженное чувство защищенности, давно забытое за время наших скитаний.

Они нас очень трогательно опекали. Делились по-братски пайком. Я все эти дни проводила со Степаном Сергеевичем, как я его называла, — как же иначе взрослого назвать? Он был худенький, светловолосый, совсем ещё юный деревенский паренек, очень похожий на того, что вёз нас на телеге. Он всё рассказывал мне сказки, толковали мы о чём-то. Наверное, в своей деревне он так же нянчил младших братьев и сестер.

Страшно думать, как мало их осталась в живых, тех, кто принял на себя первый удар. Так хотелось бы верить, что он оказался в числе этих немногих, вернулся в свою деревню и дожил до тех лет, когда не только дети называют его по имени-отчеству. Так хотелось бы надеяться, что не сработал подлый закон войны – погибают самые лучшие.

Временами где-то сзади поднимался шум. Лохматый, черный, немолодой уже красноармеец, махая руками и дергаясь, словно в припадке, яростно выкрикивал непонятные мне слова.

Его принимались урезонивать, а если не получалось, кричали: «Генералов!» И рыжеватый, маленький, похожий на взъерошенного воробья сержант Генералов властно командовал: «Отставить матерки!»

Я рассказала эту историю отцу, а отец – что он часто делал – пересказывал её своим приятелям. Особенно понравилась она его другу Андрею Платонову.

Отец вставил эту команду в роман «За правое дело», и когда книгу стали ругать в газетах, досталось и этой фразе – искажает, мол, Василий Гроссман моральный облик армии.

Чего он вдруг начинал буйствовать, этот мужик, один в огромном спокойном вагоне? Что это было – страх смерти? Клаустрофобия? Просто присущая ему нервная агрессивность?

И этого помню, и его мне теперь жаль. Каковы бы не были причины, в одиночку маялся бедняга.

Все же быстро человек ко всему привыкает. В этом странном, казалось бы, невозможном существовании появляются свои привычки, неистребимое желание наладить быт. Чего стоят одни лишь эти отчаянные мужички, которые, как только

поезд подходит к станции, хватают чайники и бегут за кипятком. Ведь всем известно, что эшелон может простоять на станции трое суток и с той же степенью вероятности немедленно продолжить путь. Так что кипяток всегда в вагоне есть.

Питаемся мы стихийно: иной раз дают на станции какие-то талоны, а то меняем что-то на еду. Таков наш новый бытовой обычай.

Я уже рассказывала о нарах, устроенных для детей. Знали ведь, что всего на несколько дней. Но еще многие и многие скажут спасибо неведомым плотникам, обнаружив эти столь уместные в тесном вагоне полати.

Быстро завязываются знакомства и интересы не ограничиваются одними только «когда?», «куда?» и «на каком пути?» На одной из станций мама покупает томик Пушкина. С нами едут два брата, молодые польские евреи, плоховато говорящие по-русски. Они просят «дать им эту книжку почитать» и приобщаются под стук колес к великой русской литературе. У тетки тут же возникает желание самой перечитать повести Белкина. Мама стыдит ее: «Неудобно, нехорошо. Люди впервые Пушкина читают». Вот так мы и живем.

Это, конечно, жизнь, но жизнь на зыбком песке и терпеть это можно, лишь утешаясь мыслью, что когда-то оно кончится. Едва прижились в Бог весть каком по счету вагоне и уже снова вылезать, бродить по станции, искать, расспрашивать. Хорошо ещё, если днем. А могут растолкать и ночью, в час самого крепкого сна. «Вставай, вставай, Катюшка, ну, проснись же, надо идти».

Ночь холодная, сентябрьская, непроглядно чёрная, так черна, что отсвечивает каким-то темно-фиолетовым цветом матросского бушлата или засохших чернил. Нигде ни звездочки, ни искры – маскировка.

Спать хочется до смерти, хочется в сон, в тепло телячьего вагона, откуда почему-то меня вытащили мама с тетей и поволокли сквозь тьму, и я иду и ничего не спрашиваю, и ничего не вижу, только переступаю через рельсы; тетя и мама тормозят, тянут меня, и мы, втроем, с вещами, всё перешагиваем через рельсы, а иногда обходим вагоны или целые составы. Большая станция, узловая, но не видно ничего, и лишь одинокий женский голос поет что-то унылое, вроде бы колыбельное, напев странный – русский и нерусский... Поволжский? Областной?

Мы бредем, переступая через рельсы, тьма бушлатная, тьма непроглядная, а голос все поёт.

Война. Россия.

СОГРЕТЫЕ СИБИРЬЮ

Письмо нашим сибирским друзьям

Я так и знал, что в Сибирь попаду!

*Профессор Борис Бернштейн
об отправке ОЖ в Красноярск*

Дорогие друзья!

Стихи и проза авторов красноярского журнала *День и Ночь* (редактор Марина Саввиных), напечатанные в прошлом номере нашего альманаха, были прочитаны и прочувствованы русскоязычными американскими читателями.

Одни эмигранты читают по-русски ради сохранения культуры и языка, другие – из желания вновь окунуться в ту реальность, из которой они выпали или были вырваны.

Оказалось, что живая современная проза значит для нас не меньше, чем классика.

Итак, о том, что пришлось нам по сердцу.

Плотный и вещный поэтический мир Сергея Кузнечихина удерживают в воздухе крылья бабочки:

*(...) полет
Изумительно бестелесен,
И услужливо тих рассвет.
Как зазор между крыльями тесен,
Даже места в нем телу нет.*

Нам, живущим в Сан-Франциско, с его вечной – то ли весенней, то ли осенней – прохладой, все же внятно, как:

*...осень, сжав уста,
Ушла одна с пустынного бульвара,
И новый день не поднял с тротуара
Перчатку пятипалого листа.*

(Михаил Тарковский)

Мы вместе с поэтом Айратом Бик-Булатовым чувствуем боль его героя, геолога, предъявившего милиционеру ненужные государству шпаты, *сад из прекрасных камней, аккуратно сложенных вдоль бассейна всего чемодана*, в качестве удостоверения личности.

Вместе с Александром Командиным мы сидим без света.

С Андреем Дёмкиным ходим в тумане, где неожиданно(...) Ёжик обнаруживает присутст-

*вие чего-то очень большого, что, возможно, и есть
Ось мира.*

Дарья Серенко вводит нас *под купол – не то церковный, а, может, и цирковой.*

Мы были потрясены, узнав от Вячеслава Тюриня, что:

*..нету лишнего на свете.
Все сгодится дворнику в костёр.*

Порой наша взгляды встречаются:

*Там, где небо, когда смотришь очень
нежно, рдеет, опуская взгляд.*
(Вячеслав Тюрин).

Нам вкусен хорошо пропечённый, с горьким привкусом, *Цыплёнок табака* Михаила Стрельцова.

Стихи Марины Саввиных делают трудноуловимое до боли явным, рассеянное в эфире, сфокусированным. Вместе с нею мы *...скользим по нити дождевой:*

*По нити дождевой, осколок световой,
Пульсируя, снуёт – назло крыльцу и тучам.
Давай же соскользни (по нити дождевой!),
Как семечко в гряде, в круговорот живой,
Сомкнись с самим собой в его котле
кипучем!..*

В нашей нынешней жизни мы говорим не только по-русски, но, услышав живое русское слово, обнаруживаем, что *нам внятно всё*. Мы согреваемся душой, думая о нашем союзе с писателями Сибири.

Редакция ОЖ





Сергей Кузнечихин
УБИЙСТВО ПОЭТЕССЫ С.



1

А так ли виноват мужчина, этот горбоносый баловень удачи, демон жен преуспевающих чиновников и городских интеллектуалок, которые принесли ему славы больше, чем многочисленные статьи, распечатанные по всей стране и даже переведенные в Европе, мужчина, из-за которого подспудно враждуют местные и заезжие соблазнительницы, а их свахи и сводницы, устроив романчик, пишут злорадные анонимки обманутым мужьям своих приятельниц — так ли виноват этот мужчина и виноват ли вообще?

Ни в чем — уверена женщина.

Во всем — убеждена поэтесса.

Женщина влюбилась в него издалека, молчаливо и тайно, ходила на его выступления и лекции, прогуливалась по вечерам возле здания в котором он работал, искала знакомства с его собутыльниками, подружилась с одной из бывших приближенных, но из рассказов ее о мужчине, поняла, что связь, если она вообще существовала, была очень короткой и легкой, — воспоминания слишком походили на мечты, чтобы им верить, но слушать их было все равно приятно — легкий хмель и плывущая расслабленность, как от сигареты, единственной за неделю.

И все-таки она отыскала возможность встретиться в одном из трех домов, мосты к которым наводила одновременно, узнав, что он там бывает, — поставила на три карты и одна оказалась козырной.

Она подошла к мужчине и заговорила, но не о себе, не уверенная, что будет ему интересна, женщина заговорила о поэтессе и убедила, что ему надо обязательно послушать ее стихи. Выманила приглашение, но радости не случилось. Мужчина позвал не ее, а поэтессу, уже наслышанный о стихах, он даже цитатой щегольнул, вспомнил две строчки из поэмы “Аборт”. Но не объяснять же интеллигентному человеку, что поэму эту сначала пережила она, женщина, а потом, с ее слов, самоуверенная девчонка зарифмовала чужой кошмар и бесстыдно выставила на потеху другим. Зачем? Чтобы привлечь внимание мужчин? Поэтесса никогда не сознавалась в этом, заверяла, что стихи появляются помимо ее воли, даже вопреки ей, и сами ищут уязвимые души. И тем не менее — стрела, выпущенная наугад, попала именно в того, которого любила женщина — непреднамеренная помощь.

Мужчина пригласил и ее, разумеется, из вежливости и, конечно, заботясь о поэтессе, желая смягчить ей неловкость первой встречи, щадя ее, а может, и догадываясь, что женщина не отпустит поэтессу одну, не доверит щепетильную встречу неуравновешенному существу, не оставит глупышку без защиты.

2

— Не пойму, кого все-таки пригласили, тебя или меня?

— И тебя, и меня.

— Вместе?

— Да.

— Зачем ему две? Он, что — любитель групповухи?

— Замолчи! Не понимаю, как ты можешь при твоей чувствительности к слову, говорить такие...

— Ну что же ты засмущалась, договаривай.

— И скажу. Тебе не стыдно произносить подобные пошлости?

— Нисколько. Произносила и буду произносить, потому что, как ты изволила заметить, у меня повышенная чувствительность к слову... и требовательность — тоже повышенная. Моя речь полностью отражает мою сущность.

— А тебе не кажется, что для дамы не всегда полезно да и неприлично обнажать свою сущность?

— Это ты стараешься казаться дамой. А я — баба! Самка! Полагаю, ты знаешь, что означает это слово?

— Знаю и не хуже тебя.

— Ну вот и договорились.

— Так мы едем?

— А почему бы и нет?

Хрупкое женское перемирие. Очень хрупкое. Как стекло. С ним надо быть особенно осторожным. Стекло может разбиться и поранить острыми осколками. Стекло может давать отражение. Отражение способно ранить тяжелее, чем самый острый осколок. Стекло, покрытое серебром, называется зеркалом. Перед визитом к мужчине мимо зеркала пройти невозможно. Отражение в зеркале яркое до

безжалостности.

Одно лицо и два разных человека — уверена женщина.

Одно лицо и два разных человека — убеждена поэтесса.

— Ну, разве можно так одеваться?

— А почему бы и нет?

— Замолчи! Не понимаю, как могут уживаться изысканный литературный вкус и вульгарная безвкусица в одежде?

— А что в ней вульгарного?

— Да все: и цвет не твой, и висит на тебе, как чужая, — мы же к мужчине идем.

— Я ему и такая понравлюсь.

— Вы полюбуйтесь, какие мы самоуверенные!

— А хотя бы и так.

— Не надо. Сыта я этими сказками. Послушайся меня хоть раз.

— И два, и три, и четыре — сколько прикажешь.

— Как будто у нас нечего надеть.

— А разве есть? Эти жалкие пародии ты называешь одеждой? Одеваться надо или у самых дорогих модельеров, или в спецовку. А все твои попытки выдать кошку за соболя...

— Замолчи, дура!

— Ну вот и дождалась. Давно подозревала, что ты считаешь меня бездарной графоманкой. Тогда зачем тащить в гости к своему самцу?

— Что ты делаешь?

— Разве не видишь? Раздеваюсь.

— Зачем?

— Приму душ и лягу спать.

— Но мы должны идти. Я обещала.

— А я здесь при чем? Мне никто не нужен, я могу вообразить, что ко мне в гости пришел Челентано и мне будет достаточно.

— Почему Челентано, что за дурацкие фантазии?

— Итальянец все-таки, фирма. Но если ты такая патриотка — вместо воображаемого Челентано могу сходить к реальному Андриюше: выпьем, поговорим и так далее.

— Замолчи! Даже имени его слышать не могу, меня тошнит от дешевого портвейна, от его стишков... Разве это мужчина? Ты же сама говорила, что связь двух поэтов — извращение хуже инцеста и гомосексуализма. Говорила или нет?

— Говорила. Но с тоски и не в такое вляпаешься. И вообще — пошли вы все...

— Ну успокойся, зачем ты плачешь. Сейчас и я зареву.

— Да ты уже давно реवेशь, вон тушь плывет.

— Ой, правда, пойду умоюсь.

— Загляни заодно в холодильник, там полбутылки вина должно остаться.

— А хуже не будет?

— А разве может быть хуже?

— Значит, мир?

— Мир.

— Вместо того, чтобы нервировать меня, взяла бы и написала нечто этакое — на удивление и на зависть.

— С тобой, озабоченной, напишешь. Думаешь, мне самой не хочется, но ты же всю душу измотала, а Муза этого не любит. Впрочем, подожди, опять какой-то гомосексуализм получается, Муза, она ведь женского пола. Нет, я не лесбиянка. Муза не нужна, нужен Муз.

Он. Жду, когда прилетит Муз.

Поэтессе необходим Муз.

А женщине — муж.

— Вот и развеселилась. Ожила. Теперь поехали,

пока снова не поругались. А то уже опаздываем.

— Никаких опозданий, брось эти дамские фокусы. Берем такси... и с точностью до секунды. Но сначала по рюмочке для храбрости, тебе это нужнее.

3

Таксист пошлее и прилизаннее конферансье заштатной филармонии. Рот его вымощен золотом, но все равно кажется беззубым. Он сыплет комплиментами и шуточками, как неопратно жующий старик слюной и крошками. Поэтессу он не замечает и женщина его не интересуется, а свою болтовню расценивает, как платную услугу, ему нет дела до того, что зажатая в кулачке ассигнация — последняя. Но женщина обязана об этом помнить, и все-таки прощает поэтессе широкий жест, боится обвинений в мелочности, боится новой ссоры — не время. Другое дело уже в подъезде, перед дверью, здесь можно позволить некоторую психологическую игру. Очень важно кому входить первой. Она специально подзуживает поэтессу, надеясь, что девчонка, из вредности, спрячется за ее спину. И ошибается. Поэтесса требовательно давит на кнопку звонка, плечи ее расправлены, подбородок надменно вздернут.

“Зря все-таки подпустила ее к холодильнику”.

Мужчина в дверном проеме, как в раме — портрет кисти классического живописца — влюбленной женщине хочется задержаться перед ним, чтобы всмотреться в мужчину и на всякий случай запомнить его позу, его лицо, его мягкую, очень естественную улыбку, но самоуверенная поэтесса не задумываясь входит в квартиру.

— Вы рассчитывали, что я не приеду?

— Ни в коем случае, но опасался, что забудете.

— А я приехала. Только не вздумайте вести меня на кухню, осмотр мужских квартир я предпочитаю начинать со спальни.

“Ну что, получила? Такого шокирующими манерами не испугаешь, он даже не удивился”.

— Прекрасно. Вы успокоили мою совесть, потому что спальня у меня намного уютнее кухни.

“Растерялась, дурочка, и обижаться не на кого, сама напросилась, теперь следуй за ним, можешь даже

присесть на кровать, показывая, какая ты смелая”.

— Пружины перетружены, но терпимо, спать можно.

— Я и сам не из легковесов, и характер у меня тяжелый, и ночью постоянно дома.

“Какой он все-таки молодец! Ни суетливых движений, ни хвастовства. Единственное, чем можно погасить глупое самомнение, — это достоинством”.

— А где же шампанское?

— Сюда, в спальню? Или?

— Или.

— Прекрасно. Тогда прошу к столу.

“Сейчас она выпьет полный фужер и потребует второй”.

— После первой, как писал классик, я не закусываю, а кушать хочется.

— Если хочется, зачем себе отказывать, мне кажется, что классик на вас не рассердится.

“Теперь она замолчит, якобы углубится в себя, потом сама себе нальет, усмехнется и небрежно поинтересуется, почему ее не просят читать стихи”.

— А почему меня не просят почитать?

— Не могу отважиться.

“Не слишком ли подобострастно? Хотя стихи у нее изумительные. Повезло дурочке. А как он красиво слушает. Неужели не притворяется? Конечно, притворяется. Разве можно серьезно воспринимать подобный цирк. И эта хороша. Ясно, что волнуется. Сердечко-то чувствительное, но все равно не стоит устраивать балаган и превращать все в пародию, зачем такие театральные жесты? А стихи все-таки выбирает самые звонкие, хочет понравиться”.

— Дальше читать?

— Обязательно.

“Нет, не притворяется, да разве можно притворяться, слушая такое? Но зачем придвигать стул? И руку на плечо — зачем? А она вроде как и не замечает. Бессовестная. Смотреть противно. Лучше уйти на кухню и слушать оттуда”.

— Читай еще.

— Сейчас. Никак не могу вспомнить первую строчку.

“Ишь разволновалась. Но почему она замолчала? Целуются. Не терпится ей. Войти, что ли, и устроить скандал глупой девчонке? А какая польза? Кто выиграет в этом скандале? Только не я. Нельзя вмешиваться, нельзя себя обнаруживать, не время еще”.

Когда в комнате потух свет, женщина на цыпочках подошла к небранному столу, села на место поэтессы, взяла недопитый бокал и попыталась представить, каким красивым был бы он на свету, но ей не хватило воображения, а щелкнуть выключателем она не решилась. Сидела в темноте, медленно, по глоточку, допивала шампанское и прислушивалась — что же там в соседней комнате. Все слышала, все понимала...

“Нельзя же так. Сколько я об этом мечтала. Но не сегодня. Хотя бы завтра. Надо было уйти и увести ее. Не решилась. И теперь эта распутная дуреха может

все испортить своей спешкой. Стыдно. Ох как стыдно и горько. Единственное спасение — свалить все на поэтический темперамент”.

4

Утром, пока были в его квартире, кое-как еще сдерживали себя, но стоило выйти на улицу — и начался скандал. Возвращались пешком и ругались всю дорогу. Дома, уставшие, решили поспать и даже выпили за примирение, но сна не было, а взаимных претензий больше, чем хотелось бы. И снова — упреки, оскорбления, слезы — час, два, три... До изнеможения. На другой день поэтесса почти не вставала с дивана, то и дело проваливаясь в тяжелый потный сон. А потом пошли стихи, после изнурительного, почти полугодового молчания, вдруг словно прорвало, стихи рождались сами, казалось, что Кто-то оттуда, из-за облаков, подсказывал не отдельные слова, а готовые строфы, оставалось только вслушиваться и записывать, но ни в коем случае не отвлекаться, не отлучаться из этого волшебного полусна, потому что обратную дорогу потерять очень просто, а найти — почти невозможно, отвлеешься и снова начнутся бесконечные и бесплодные блуждания в дебрях черновиков.

А женщина нависала над плечом и нашептывала, заманивала в гости. Поэтесса отмахивалась, умоляла замолчать, гнала искустельницу из дома, и та вроде бы исчезала, обиженно надув губы, но быстренько возвращалась и продолжала уговаривать сходить к мужчине, хотя бы ради новых стихов, которые могут зачехнуть без читателя или слушателя, ее снова гнали, она с показной покорностью отступалась, но, подыскав новые доводы, продолжала уговоры. Бесхитростной, детской бесцеремонности поэтессы противостояла утонченная и вкрадчивая бесцеремонность женщины. И нашлась-таки подходящая минута и необходимые для нее слова, от которых поэтесса не смогла отмахнуться. А как отмахнешься, если стихи действительно явились к ней после встречи с мужчиной, встречи, перед которой так же эгоистично капризничала.

И снова был стол с хорошим вином, стихи при свечах, красивый, уверенный в себе хозяин, хмельная поэтесса и притаившаяся женщина, хладнокровная созерцательница с рассчитанными жестами и взвешенными словами, женщина, присутствие которой почти не обнаруживалось. До поры. Когда мужчина подошел к канделябру, чтобы задуть свечи, она вывела поэтессу на кухню, поставила перед ней бутылку крепленого вина, а сама впорхнула в спальню. В молчании они были неотличимы, разве что тело женщины было более гибким, руки — сильнее, а губы — мягче, но эти перемены разрешалось расценивать мужчине, как собственную заслугу. Под утро женщина привела к нему полусонную поэтессу.

Подмена осталась незамеченной. Мужчина ничего не заподозрил. Поэтесса все заспала, да и мысли ее были заняты единственным желанием — скорее возвратиться в то волшебное облако, из которого она так не хотела отлучаться, и теперь уже каялась, что сдалась на уговоры.

Чего боялась, то и случилось. Настоящие стихи перестали приходить. Дома поэтесса нервничала, в гостях капризничала. Выпив лишний бокал, она пыталась что-нибудь прочесть из старого, но путалась в строчках, требовала, чтобы мужчина подсказывал, и обижалась, если тот не мог вспомнить стихов. Ее простодушный эгоизм сначала забавлял его, но когда капризы стали повторяться с удручающей однообразностью, он заскучал. И тогда в игру вступила женщина. Она незаметно уводила поэтессу в чулан, закрывала ее там с бутылкой вина, потом возвращалась в комнату и начинала читать сама. Все написанное поэтессой женщина знала наизусть. Еще до появления мужчины она с удовольствием читала в компаниях друзей. Но мужчина не был ее другом. Она его любила. И еще сильнее, чем любила сама, хотела, чтобы мужчина полюбил ее. Хотела и знала, что тем и закончится... если она не будет спешить. Поэтому приходилось проникновенно читать стихи соперницы, выдавая себя за поэтессу. Но стихотворная доза с каждым разом становилась все меньше и меньше. Она старательно искала плавный переход к бытовой болтовне, каждый раз новый, чтобы не насторожить любимого повторами, и обязательно своевременный, предугадывающий его желание спуститься на землю. И женщина находила и угадывала, а поэтесса все дольше и дольше просиживала в темном чулане, засыпала на картонном ящике с туристской одеждой, а проснувшись, старалась как можно бесшумнее отыскать недопитое вино и радовалась, что бутылка не кончалась и ее не надо ни с кем делить.

5

Когда женщина узнала, что скоро станет матерью, терпеть присутствие поэтессы в доме мужчины стало намного труднее. Неединожды удостоверившись, что нисхождение с высот поэзии тяготит мужчину намного меньше, нежели пребывание на этих высотах с поэтессой (или с ней), женщина поняла, что может существовать в этом доме без помощи экстравагантной девицы, и лишь из врожденной осторожности не спешила сказать о ребенке, дождалась, когда он поедет в командировку и на перроне за минуту до отхода поезда, чтобы не заставлять его стыдиться за невольную растерянность, уверенная, что потом, когда отступит страх и успокоятся нервы, мужчина оценит ее заботу. А пока он в одиночестве привыкал к новой роли, женщина решила разобраться с поэтессой, тратить душевные силы на ее капризы стало уже непозволительно — и любовь, и нежность,

и терпение — все должно принадлежать ребенку. Избавиться от нее? Но как? Как разговаривать с человеком, который не желает понимать и даже слушать не желает. Пришла в дом мужчины и сразу же за сигарету. Ну сколько можно терпеть...

— Перестань курить.

— Мне хочется.

— Мало ли, что тебе хочется.

— В сущности — не много, но в данный момент не отказалась бы от хорошего стакана вина. Может, сходим в магазин?

— Никуда мы не пойдем.

— Но ведь хочется.

— Когда ты перестанешь быть такой эгоисткой, ты думаешь только о себе.

— Я думаю о душе, это она просит выпить.

— Никакой выпивки, и потуши сигарету. Это вредно, сколько можно повторять?

— Для меня вредно слушать твои ханжеские разговоры.

— Так почему бы тебе не уйти?

— А почему не уйти тебе?

— Я люблю этого мужчину.

— А он любит меня.

— Тебе так кажется.

— А тебе случайно не кажется, что и твое чувство не любовь, а нечто другое?

— Замолчи, дура.

— Интересный поворот.

— Не зли меня, мне вредно злиться.

— Тогда пойдем в магазин и вспомним старые добрые времена, когда не было этого самца.

— Хватит болтать глупости и выкинь, наконец-то, сигарету.

— Выкину, если сходим за вином.

— Никакого вина, будем пить сок.

— Сначала сок, а потом вино.

Женщина пошла на кухню, достала из холодильника сок и подмешала в стакан поэтессы снотворное, подмешала с единственной целью — отдохнуть от надоевшей собеседницы, остальное произошло словно по наитию: она заглянула в темнущую, в которой уже доводилось держать подвыпившую соперницу, увидела стеллаж возле задней стенки, освободила нижние полки и усадила туда сонную поэтессу, потом принесла с балкона обрезки досок и наглухо загородила стеллаж. Чулан уменьшился, но когда были наклеены новые светлые обои и выброшен ненужный хлам, он стал казаться свободнее, чем был.

К приезду мужчины она успела отремонтировать и кухню.

6

Первое время, заходя в чулан, женщина слышала ритмическое бормотание, она угадывала некоторые сло-

ва, записывала их в тетрадь, но в стихотворение эти слова не выстраивались, постепенно бормотание становилось все глуше и невнятнее, а потом исчезло совсем.

КОВАРНАЯ ЛИДИЯ

Над окошком висела табличка: «ПРОВЕРЯЙ ДЕНЬГИ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ», но, едва Хангаев расписался в ведомости, как его оттеснили. Он не боялся, что обманут, но если написано, значит, так и положено, значит, надо проверять. Народу в коридорчике набралось много. Хангаев на кого-то натыкался, его толкали, на него шикали, но он сосредоточенно пересчитывал зарплату, тем более что получал на своем складе намного меньше рабочих, денег всегда не хватало, и видеть их в куче было, кроме всего, приятно. Из кассы он сразу пошел к дядьке Намжилу в отдел кадров, где тот работал начальником уже много лет.

В кабинете у дядьки сидели посторонние, и Хангаеву пришлось ждать минут пятнадцать, а может, и дольше. Несколько раз он собирался уйти и отложить разговор на другой день. Собственно, и говорить-то было не о чем. Всего и дел — отдать долг. И он бы ушел, если бы верил, что деньги смогут продержаться до другого дня.

— Как дела, Ганс Моисеевич? — спросил дядька, отпустив посетителей.

— Получку сегодня давали. Должок принес.

— Возьму, когда принес. Только надолго ли?

Хангаев понял намек, но промолчал. Ссориться с дядькой Намжилом он не хотел. У него бы и язык не повернулся.

— Ехал бы ты, однако, домой, парень. Делом бы занялся. Сестра бы тебе невесту в улусе нашла. Я, когда летом в отпуске отдыхал, таких невест подсмотрел, красавицы выросли — пальчики оближешь. Эх, где мои семнадцать лет и правая рука! Не оставь, однако, все это на фронте — неужели бы я здесь брюки просиживал. Да ни за какие деньги! Разве здесь место настоящего мужчины?

Хангаев приподнялся со стула и положил перед дядькой долг, но тот сердито дернул култей и продолжал:

— Живи как знаешь. Самому скоро тридцать лет. Но если оставаться на заводе, тогда надо и специальность хорошую получать, так я, однако, думаю, Ганс Моисеевич.

— Мне и на складе неплохо. Все время на людях. По имени-отчеству называют. А денег всех не заработаешь. Вот если бы ты милиционером меня устроил. У них работа чистая, в галстуках ходят, и зарплату, я слышал, им прибавили.

— Я тебе не про зарплату говорю, а про специальность.

— Я пошел, дядя Намжил, некогда мне. Спасибо, что выручил.

Дядькины разговоры он слышал уже много раз. Знал, чем они начинаются и чем кончаются. Говорились, может, и правильные слова, но ему они не подходили. Что он не видел в своем улусе? Каких настоящих мужчин или — еще смешнее — красивых невест можно там встретить? Да и откуда старому однорукому дядьке знать, что такое красота! Конечно, на войне могли попасться ему польки или венгерки, но сколько времени прошло с тех пор. Старикан, однако, и не помнит их. И красота теперь другая стала. Вот если бы дядька на Лидию разок посмотрел — был бы настоящий разговор... Только и здесь Хангаев не шибко надеялся, что дядька Намжил сможет оценить новую красоту как положено. Поэтому он и не пытался ничего объяснять, не переводил слова попусту.

В общежитии дежурила Вера Ивановна. Ей Хангаев был должен два шестьдесят. Вахтерша взяла трешку, Дала ему сорок копеек сдачи, а когда Хангаев пошел к телефону, спросила:

— Что, Ганс Моисеевич, опять будешь гостей собирать?

— Не знаю. Наверное, нет, — быстро ответил Хангаев.

Ему стало неудобно звонить Лидии при Вере Ивановне, набрав наугад несколько цифр, он подержал трубку возле уха и ушел.

«А может, и вправду не звонить, — подумал он на улице. — Сколько можно позволять издеваться над собой? Пойду лучше в кино».

Хангаев брел по тротуару и доказывал себе, что встречи с Лидией ни к чему хорошему не приведут, объяснял (опять же самому себе), какая она нехорошая, и полностью соглашался со своими доводами.

Только и в кино его не тянуло. Скучно было сидеть в душном зале и смотреть на жизнь, которую никогда не видел вблизи. Другое дело, если бы к ним приехала Эдита Пьеха или ансамбль танца Сибири, ансамбль даже лучше — там столько красивых девушек!

К Дому культуры он все-таки завернул. Ни Лидии, ни ее подруг там не было. Хангаев прошелся перед колоннами парадного и остановился возле Доски почета. Он внимательно рассмотрел все фотографии и не нашел ни одной красивой женщины. Единственная блондинка, воспитательница детского сада Новожилова Н. И. была курносой, а курносых Хангаев не уважал. Рядом с Доской почета стояла такая же — для лучших рационализаторов. Среди рационализаторов женщин не оказалось вообще. А как было бы здорово, если бы здесь висел портрет Лидии: И лучше — цветной. И тут же Хангаеву пришла мысль: а что, если навдумывать штук десять рацпредложений и подать половину под своей фамилией, а половину под ее — тогда их сфотографируют и поместят рядышком, на зависть всему заводу. Он вспомнил свой склад,

проходы, заставленные ящиками, и пожалел, что работает не в цехе.

Потом, даже не узнав названия фильма, он прошел к кассе и встал в очередь. Конечно, можно было бы взять два билета и «лишний» предложить самой красивой девушке, он слышал, что в больших городах так делают многие парни. Но в их городишке билетов хватало на всех, особенно летом. Могло, конечно, случиться и такое, что за ним займет очередь стройная блондинка и тогда само-собой выйдет, что им достанутся соседние места. Но на место блондинки встал механик транспортного цеха. Хангаев увидел непробитую складку второго подборodka, лицо цвета непромытой моркови, и оставаться в очереди ему стало неловко.

* * *

В магазине продавалось вино с названием «Лидия». Он несколько раз перечитал надпись на этикетке, и все время получалось «Лидия». Глаза радовались от случайной встречи с любимым именем. Он проверил на слух, и вышло еще лучше, еще нежнее. И здесь же, прямо возле входа, оказался исправный телефон. И в общежитии быстренько позвали Лидию.

«Приду, если пообещаешь хорошо себя вести», — ответила она.

Хангаев, не задумываясь, пообещал. Но когда повесил трубку, настроение сразу испортилось. Вспомнились последняя встреча, и предпоследняя, и еще несколько похожих одна на другую. Муторно ему стало, до стога муторно, от стыда и злости на себя.

Из магазина он заспешил в общежитие. Надо было приготовить к приходу гостей.

Сосед валялся на койке и уходить не собирался, хотя и обещал ночевать у своей «вдовы». Пришлось выставлять бутылку. Пить на двоих вино с таким названием Хангаеву было особенно неприятно. Он молча смотрел на стол и ждал, когда у соседа проснется совесть, а тот повеселел и нес без остановки всякую чепуху. О чем он рассказывает, Хангаев не понимал, но с каждым словом нервничал все сильнее. Сосед небрежно разливал вино, а Хангаев ругал себя за то, что не догадался взять на этот случай чего-нибудь попроще: «Вермута», например, или «Варны». И еще он сердился на дядьку Намжила, который до сих пор не помог ему получить квартиру, потому что, будь у него свой угол — все бы шло по-другому. Бутылка опустела, а сосед не вставал из-за стола, но поторопить Хангаев не осмеливался, боясь, как бы тот не раздумал уходить. Забыв, что уже полгода у него нет часов, он широко повел рукой, освобождая запястье от манжеты.

Его не очень интересовало время, главное, он пытался дать понять, что надо торопиться: не хотелось, чтобы Лидия застала их вместе. Кто мог знать, какая блажь взбредет в ее шальную голову.

Когда Хангаев, наконец-то, остался один, спокойнее на душе не стало. Он суетился, хватался за ненужные вещи, ставил их обратно, забывал и, сделав

с десяток кругов по комнате, снова тянулся к ним. За считанные минуты бедная пепельница успела постоять и на столе, и на подоконнике, и на тумбочке, и в шкафу. Доставая из чемодана фужеры, он чуть не разбил один. Это так испугало Хангаева, что он взял себя в руки. Быстренько навел порядок на столе. Достал из сетки десяток помятых ромашек, которые сорвал по дороге из магазина, и поставил их в пол-литровую банку. Не хватало только музыки, но свой магнитофон Хангаев давно продал, а купить новый никак не мог. Приходилось ждать до зимы, до охотничьего сезона, когда можно съездить домой и попросить у отца денег.

И вдруг он услышал голос Лидии. Ее и еще чьи-то голоса.

Все повторялось: опять Лидия притащила подругу, опять начнет издеваться над ним при людях и опять он же останется виноват, Хангаеву сразу расхотелось выходить к гостям, говорить какие-то слова...

С Лидией, как всегда, пришла Рита, а с Ритой, как всегда, новый парень.

— Ну показывай, где у тебя вино, названное моим именем? Прекрасно. Умничка, Ганс Моисеевич, а теперь поцелуй вот сюда, — она указала пальцем на щеку и нагнулась.

Хангаев, не глядя на ее спутников, медленно подошел и поцеловал, куда велела.

— Когда ты научишься целоваться? И учти, на старости я с тобой все равно разведусь, потому что нагибаться с радикулитом — удовольствие ниже среднего.

— А он подставочку сделает, — осклабился парень.

— Умничка, Боб, ты спас нашу будущую семью! Шутка Хангаеву не понравилась, но он промолчал.

— Хватит вам. Поцелуй и меня, Ганечка, ты же знаешь, как я тебя люблю.

— Ритка, учти: я не ревную, но предупреждаю, — и Лидия притворно погрозила пальчиком.

Но каким красивым был этот длинный пальчик, ровненький, без единой морщинки, с блестящим ноготком!

Хангаев смотрел на него и не знал, с чем сравнить свое изумление. Где и когда он видел подобное? Разве что в детстве, в лесу, когда неожиданно возникал в мокрой от росы траве стройный молодой подосиновичек с молочно-белой ножкой и малюсенькой шляпкой темно-красного цвета, еще не успевшей распрямиться. А голос! Какой голос! Не голос, а лесной ручеек, бегущий по чисто промытым разноцветным камушкам: зеленым, белым, малиновым. А волосы! И для волос ее Хангаев придумывал множество сравнений, то они казались ему мехом лисы, то пенящейся на перекате водой, то степным ковылем.

— Ну, Ганечка, когда же ты меня поцелуешь? — надоедала Рита.

Вот у нее совсем не такой голос, глухой, словно холодной воды напилась, и волосы короткие, черные,

жесткие, как у девчонок из его улуса. Одно непонятно, как она ухитряется часто менять парней.

А Борис уже совсем освоился в комнате, распорядился закуской, открыл вино и достал два стакана.

— Я, как человек новый в этом доме, буду пить из фужера, из второго, конечно, ты, Лидок, как будущая хозяйка.

Рита увидела, как смотрит Хангаев на парня, и крикнула:

— Боб, не борзей, это Ганечкин фужер.

— Молчу. Но предварительно, девочки, наведите маленький марафет: помойте тару, вытрите стол и потом по коням, как говорили предки нашего доброго хозяина.

— Ты моих предков не трожь!

— Прошу пардону. Все понял — предков необходимо уважать.

Когда сели за стол, Хангаев заметил, что исчезла банка с цветами, и сразу подумал на парня — только тот мог выкинуть их. Он почувствовал, как начинают мелко дрожать колени от злости и страха. Но злость перебарывала, и Хангаев почти поверил, что теперь даже Лидия не сможет помешать ему ударить губастого верзилу.

— Куда дел цветы?

— Какие цветы?

— Ромашки.

— Не видел я никаких ромашек.

— Ромашки? — спросила Лидия. — Ромашки спрятались, завяли лютики. Я выкинула их вместе с банкой. Там остатки кабачковой икры на стенках были. И хватит меня томить, хочу выпить моего вина...

Она говорила, а Хангаев молчал, и ему было стыдно, что он крикнул на гостя, стыдно за грязную банку и завядшие ромашки.

— А если машину назовут «Лидия»? «Ладой» же назвали — ты мне подаришь ее?

— Значит, обвинение с меня снимается? — поднялся Борис. — Все хорошо, все мирно. Грянули, девочки.

— Подарю, — шепнул Хангаев Лидии, — обязательно подарю.

Потом Борис начал вспоминать один за другим грузинские тосты, а когда Лидия предложила выпить за любовь, оказалось, что вино кончилось.

— Брось ты, какая в наш век может быть любовь. К тому же за нее поднимают третий тост, а у нас уже десятый, так я говорю, Боб, — Рита похлопала кавалера по щеке и многозначительно добавила: — А может, и больше.

— Второй, а не третий, если на то пошло, — капризничала захмелевшая Лидия.

— Нет, третий!

— Ерунда, для вас главное первый, а потом хоть тысячный.

— И дурак же мне достался.

— Не верь, Боб, ты умничка. Ганс Моисеевич, дай ему денег, пусть он сгоняет.

— Ганечка, не давай.

— А я хочу — за любовь! И танцевать хочу. Когда ты, наконец, купишь магнитофон?

Хангаев достал деньги. Борис потребовал портфель и собрался уходить.

— А я пойду музыку раздобуду. Я хочу танцевать.

— Лидка, сиди!

— А ты кто такая? И ты молчи! Все молчите. Я хочу музыки и любви.

* * *

Когда они ушли, Рита присела рядом, с Хангаевым.

— Зачем она тебе, Ганечка? Ты же для нее пустое место.

Хангаев наклонил голову, зажмурил глаза. Но слезы все равно выступили и покатались по щекам. Он вытирал их, а они текли и текли. Попробовал встать, чтобы сходить умыться, но Рита не отпускала, а у Хангаева уже не было сил вырваться.

— Хочешь, я останусь у тебя?

— Уйди, пока не схлопотала.

— Глухой, я же тебе добра желаю.

Она не договорила. В коридоре зазвенел голос Лидии. Хангаев ждал, что Рита сейчас же отодвинется или встанет, или хотя бы уберет руку с его плеча, ждал, но она продолжала сидеть рядом, почти касаясь его грудью. Она улыбалась и заглядывала Хангаеву в глаза. Тогда он вскочил сам. И вовремя: Лидия стояла в дверях, раскрасневшаяся, с растрепанными волосами. Отсутствие Бориса ее расстроило. Она передала магнитофон через стол, едва не уронив его, расслабленно села на кровать и закрыла глаза. Хангаев долго крутил пленку, пока не подобрал нужную мелодию. Но Лидия танцевать не захотела. Сказала, что танго повредит ее здоровью. Хангаева пригласила Рита. Пришлось идти с ней. И сразу же Лидия живо поднялась и стала танцевать одна, сама с собой.

Когда Борис вернулся, снова начались грузинские тосты: «...не за те рога, из которых мы пьем вино, и не за те, что украшают наши жилища, а за те, что украшают головы наших врагов», — говорил Борис, коверкая слова. Теперь после каждого тоста выходили размяться. Лидия продолжала капризничать: то ей надо было танцевать с Борисом, То с Ритой.

Через час за магнитофоном пришел хозяин. Его начали упрашивать, Рита принялась угощать, а Лидия положила руки ему на плечи и велела переставить пленку. Они танцевали, а Хангаев смотрел на них и подливал в свой фужер. Кончилось

танго, и началось другое. Если после танца с Борисом Лидия всегда возвращалась к Хангаеву, то теперь она даже не оглядывались на него, словно пришла не к нему. Они бы танцевали бесконечно, если бы Рита не вызвала парня в коридор. Магнитофон остался в комнате.

— Боб, а ты не боишься, что он Риту заклеит,
— поддразнила Лидия.

— Это ее дело.

— Нет, твое. Все вы, мужики...

— Сами не лучше, правда, Ганс Моисеевич?
Хангаев не ответил.

— Я ведь не такая, Ганс Моисеевич? Ну,
скажи?

— Да, — прошептал он.

— Что да? Такая или нет?

— Нет, — сказал он еще тише.

— Слышал, Боб! А если ты тряпка, то попроси
меня. Я ее живо приведу.

— А сама останешься, — хохотнул Боб.

— Скотина, — крикнула Лидия и выскочила
в коридор.

В комнате стало тихо. Подруги долго не возвращались. Боб предложил выпить. Хангаев показалось, что парень переживает из-за Риты, и он попробовал его успокоить.

— А ну их всех, — отмахнулся Боб.

— Ритка хорошая, она добрая.

Боб засмеялся.

Потом в коридоре застучали каблучки.

— Наши идут, — обрадовался Хангаев.

— Я же тебе говорил, что никуда они не
денутся.

— Это я тебе говорил.

— Слушай, Ганс, это правда, что у якутов
есть такой закон, по которому хозяин укладывает
гостя спать со своей женой? — спросил Борис, когда
все уселись за стол.

— Я бурят, а не якут.

— А закон?

— Нет у нас такого закона. И у них нет.

— Рассказывай! Я же читал.

— Нет такого закона.

Тогда Борис перегнулся через стол и зашептал, почти касаясь губами его уха. Но шепот был достаточно громкий:

— Шух бабами. И по росту как раз подходят.

Хангаев долго соображал, о чем ему говорят, потом отпрянул от Бориса и, не удержав равновесия, упал, но быстро поднялся.

За столом хохотала Лидия. Хангаев размахнулся и хотел ударить Бориса, но тот легко, перехватил далеко отведенную руку.

— Да я же тебя щелчком прибью, — Борис действительно медленно и со вкусом щелкнул его в лоб.

— Зарежу.

Нож лежал на столе, совсем рядом, но его никто не попытался спрятать, а Хангаев стоял, словно окостенелый, и только хрипел:

— Зарежу!

— Он что, юмора не понимает?

И Лидия, и Рита разом поднялись и начали успокаивать хозяина. Потом оказалось, что кончилось вино, и Бориса послали в магазин.

Снова пришел хозяин магнитофона, пообещал новые записи, и Лидия сразу же увела его в коридор. Ушла и пропала. Хангаев послал за ней Риту.

Потом отправился сам. Долго блуждал по общежитию, никого не нашел, а когда вернулся в свою комнату, все уже сидели за столом.

— Штрафную Гансу Моисеевичу! — закричала
Лидия.

Борис протянул ему полный стакан.

Дверь в комнату была приоткрыта, динамик передавал утреннюю гимнастику. Когда разошлись гости, Хангаев не помнил. Но выпили все. Он позавтракал остатками вчерашней закуска и принялся убирать со стола. Сначала спрятал в чемодан фужеры. Бутылки он брал по одной, нес через всю комнату и ставил в угол. Закончив уборку, стал одеваться. Денег в пиджаке не осталось, одни медяки и то не больше сорока копеек. Он спустился вниз, Вера Ивановна готовилась к сдаче смены.

— Дайте, пожалуйста, рубль, — почти шепотом попросил Хангаев, глядя в сторону.

— А что вчера говорил?

— Последний раз, Вера Ивановна.

— Два года уж про последний раз слышу.

Опустив голову, Хангаев направился к выходу. Оставалась надежда перехватить у кого-нибудь на складе и уж в самом крайнем случае у дядьки Намжила.

— Ладно уж! — окликнула дежурная и протянула трешку, ту самую, что он отдал ей вечером.

— Честное слово, последний раз.



Ирлан Хугаев
ТАМ И ПОТОМ



ДЕЖАВЮ

День умирал. Темнели тени.
Редели звуки. Рдел закат
Сквозь сень таинственных растений,
Как много сотен лет назад,
До совпадений.

Я вспомнил всё – елей и плети,
Ворон над куполами царств,
Столетия, отданные Лете
За опыт пыток и мытарств...
О, все на свете.

И принял я другую статью,
Усвоив в сердце непреложно:
Учение любое ложно,
И сущее нельзя познать;
Но вспомнить – можно.

ВСПЫШКА СВЕРХНОВОЙ

Грусть требует уюта, стен.
Весёлость хочет простора, воздуха.
В тоске человек сворачивается клубком,
желая стать точкой, раствориться, исчезнуть.
В радости воздевает руки к небу, уподобляясь
звезде.
Он сияет: смотрите, каков я!
Я есть!

МАМА

Сегодня бродил по городу –
С голоду, с молодую;
Бессмысленно;
Просто не хотелось домой.

Болтал ни о чем со знакомыми,

Молчал обо всем с незнакомыми,
Строил глазки прохожим дурам;
Выпил две кружки «Баварии»,
Видел две небольшие аварии,
Выкурил двадцать две папиросы.

Пришел домой пыльный,
Уставший, опустошенный –
Мама радуется,
Словно с войны я вернулся.

ГЕНИЙ

Континуум идей – ледовый оком,
Я – ледокол за пеленой нирваны.
Самодовольных критик караваны
Идут, пыхтя, в фарватере моем.

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Повсюду зрим врага, но враг – незрим.
Разрушен Карфаген – падет и Рим.
Зла – не прощаем, воздаем сторицей;
За добродетель – не благодарим.

ВЕЧЕР И УТРО

Нет: смерти нет. Я вечен, вечен.
Я побеждаю смерть, как срам:
Я умираю каждый вечер –
И воскресаю по утрам.

ЗОЛОТО

И умника порой заглохнет суд,
Хотя обычно умнику неймётся.
Молчанье люди золотом зовут:
Хотя не дешево, но продается.

ЧУДО

Не семью семь, не семь, а лишь одно.
В виду наук из всех чудес на свете
Одно лишь мне чудесно и чудно –
Что на земле ещё родятся дети.

ТОНКИЙ ХМЕЛЬ

Любовь цветёт, как тонкий хмель в крови.
Огонь любви – агония любви.

СТИХИ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Ползи, улитка,
По склону Фудзи
Вверх до самых высот.

Кобаяси Исса. Улитка

Там солнце лишь бутон, а не цветок.
Расцвет, зенит японцам невдомёк.

Глаза японца не вмещают солнце.

Их тексты – контур, линия, прибой,
Иероглиф сумерек на матовом оконце.

Читая Иссю, становлюсь японцем.
Читая Шиллера – самим собой.

ТАМ И ПОТОМ

Если нет ни Там, ни Потом,
Если есть лишь Здесь и Теперь, -
Для чего, не мирясь с грехом,
Мне гореть от стыда потерь?

Для чего не смыкать очей
Вопреки слепоте ночей,
И молить о тебе, ничьей,
Небо мира, как о моей?

Для чего столько сил и дум,
Столько радости и тоски,
Если Там, куда я иду,
Мы не будем с тобой близки?
Я за то, чего нет, отдам
Все что было, и все, что есть:
Неизбежно Потом и Там,
Скоротечно Теперь и Здесь.

Здесь тревога, а там покой;
Здесь крапива, а там левкой;
Там сияет, права, жива,
Только слава, а не слова.

Ты не веришь тайны прочесть:
Отчего ж ты не гасишь свет?..
Мир есть больше, чем то, что есть:
Он стоит на том, чего нет.



Дмитрий Мурзин

НИЧЕГО НЕ НАДО ДАРОМ



* * *

Сдержанное молчание
На основных частотах.
Нет. Ещё не отчаянье.
Но уже что-то. Что-то.

Пыжится даром ижица.
Зная поистрепалось.
Мало того, что не пишется.
Не хочется, чтоб писалось.

* * *

Как мало воздуха и света
На родине моей, в промзоне.
Мои любимые поэты
Не продаются на «ОЗОНе».

И пусть с вином у них – вендетта,
И вечно не хватает денег...
Мои любимые поэты
Не против выпить в понедельник.

А кто осудит их за это –
Почувствует себя здесь лишним.
Мои любимые поэты
Уснули.
Тише!
Тише.
Тише...

* * *

Время? – После обеда.
(кажется мне не рады)
Мыслю в порядке бреда.
(что тогда – беспорядок?)

Мыслю в порядке бреда:
Выпал четверг и вторник,
Помню хотя бы среду,
Фикус и подоконник.

Лепо всё иль нелепо.
Вспомнить – где сколько выпил.
Вспомнить – куда я еду.
В качестве Бреда.
Пита.
В количестве Джонни Деппа.

* * *

Зарекшись от сумо и от трюмо,
Не поступив ни в ГИТИС ни в МГИМО
Как, в общем-то, не поступил бы каждый,
Сижу теперь над рухлядью бумажной,
Проходят дни, короче этих строк,
И важное становится неважным.

Добавь сюда, по вкусу, матерок.

* * *

Наш повар варит борщ, наш повар чегеварит,
Наш повар бородат, банданист и лукав,
И лук в его руках слезу в глазу нашарит,
И защекочет нос набор его приправ...

Всё под его рукой кипит, бурлит, клокочет,
Костёр его – горит, дрова его – трещат,
Он, знай себе, поёт, он, знай себе, хохочет
Поёт – о том, о сём, смеётся наугад.

Он весь – из озорства, побасенок, улыбок,
Случится коль чего – так он и горю рад.
А что судьба его – комедия ошибок –
Зато – костёр горит. Зато – дрова трещат.

* * *

«я сослан к музе на галеры»

Леонид Губанов

1

Принять с утра две полумеры,
Потом сварганить бутерброд,
Я твой навек, моя галера,
Зашей мне рот.

2

Стихи меня не прокормили –
С паршивой музыки – рифмы клок,
Но чтоб меня не отпустили –
Внеси страдательный залог.

* * *

Мама, мне снилось поле,
В поле гуляла пуля.
Было ей там раздолье,
Было ей там июле.

Было ей там раздолье,
Было чем поживиться.
Птицы ушли в подполье.
Люди стали как птицы.

Мама, мне снилось лето,
Пчёлы, солнце в зените,
Первая сигарета,
Прожжённый свитер.

Старая радиола.
Бал выпускной и танцы...
Мама, мне снилась школа...
К чему покойники снятся?

* * *

Эта музыка – музыки для.
Для того, чтоб вращалась Земля,

Для того, чтобы розы цвели,
Чтоб хмелели, смелели шмели,

Чтоб прозрачный и призрачный весь
За деревьями прятался лес,

Чтоб, пробившись меж сосен и туч,
В паутине запутался луч...

А диктует мне весь этот свет –
Афанасий. Не факт, что не Фет.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Конец света

пришёл человек
отключил за неуплату свет.
стало темно.
скучно.
потёк холодильник.

Конец звука

пришёл человек
отключил за неуплату звук.
стало тихо.
не тикает.
не капает.
не скрипит.

Дальше

темно и тихо.
не увидим и не услышим
как придёт человек
и отключит за неуплату всё остальное

* * *

Как нахохлишься – сразу направо,
Загаси, положи на пенёк,
Как накроется слава, халява –
Пригодится бычок.

Всё закончилось. Сточены ляды.
Хватит корчить придурка.
Ты вернулся напрасно.
Ни пенька. Ни окурка.

* * *

Мастер пропивает мастерство.
Домино. Костяшка «пусто-пусто».
Из запоя делает искусство.
Из искусства лепит баловство.

Мастер пропивает мастерство.
«Направленье спьяну», как у Пруста.

Ничего не надо даром

Виноват, мол, есть такое чувство,
Номер шесть, палаты статус-кво.

Каждый день с утра душа горит.
Пушкин строго смотрит на пиита:
Жив ли этот хоть один пиит?
Каждый день с утра душа горит.

Мастер болен. Мастера тошнит.
Мастер пропивает Маргариту.

* * *

Не давай мне, Боже, власти,
Чтоб тираном я не стал,
Да избави от напасти
Капиталить капитал.

Ниспошли смягченье нрава,
Всё, что будет – будет пусть,
Но не дай отведасть славы,
Потому что возгоржусь.

Ничего не надо даром,
Для других попридержи
И большие гонорары,
И большие тиражи.

Дай мне, Господи, остаться
Аутсайдером продаж
И блаженно улыбаться
Раздаривши весь тираж.

Но дрожат от счастья пальцы,
В голове – мечтаний дым:
Сколько же сорву оаций
Я смирением своим.

* * *

ад писателя – это лес,
срубленный для его публикаций.

сплошные пенёки до горизонта.

садишься на пенёк,
а он тебе нашептывает
строки твои.

и на какой пенёк не сядешь –
звучит что-то жалкое,
твое, но жалкое.

и ты мечешься
от пенёка к пенёку,
ищешь дерево,
срубленное не зря.



Виктор Арнаутов

ИЗ ЦИКЛА «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»



НА МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ...

– А что-нибудь ещё похожее было? – проявляю я свой интерес к рассказам Полины Матвеевны.

– У-у-у, я Вам такого нараскажу – не переслушать! Да вот хотя бы, случай такой был. Обхохочешься!. – Полина Матвеевна хохотнула, предчувствуя мою реакцию от очередной байки. – Это уже не про домового, скорее про чертей каких... С кумом маминым, Алексеем Михайловичем, приключилось. Тоже бы не поверила, расскажи кто другой, а уж Лемешин бы врать не стал. Мама ещё живая была. Вы поди помните, как раньше день Молодёжи отмечали?

– Это когда массовое гулянье устраивали?

– Массовое гулянье, – кивает мне Полина Матвеевна.

– Мы, ребяташки, ещё не понимали этого слова и называли по-своему – маслогуляньем, – смеюсь я, предаваясь воспоминаниям детства. – Может, потому, что проводили его за маслозаводом, на берегу реки.

– Ну, и у нас тоже своё постоянное место было – между Копытным озером и Чузиком.

– Помню, у нас тогда концерты устраивали там, на поляне. А на сосне вешали большой чёрный динамик от кинопередвижки – музыка раздавалась на весь лесок. Гармошки – чуть ли не у каждого куста играли, песни пели, плясали. Со всех деревень окрестных съезжались на машинах, грузовых. Соревнования устраивали – на лучшего водителя, тракториста, по волейболу – между деревнями, по футболу... А для нас, пацанвы, главное – киоски вывозили. Особенно запомнились почему-то белые свежие булочки и газировка клюквенная или лимонад... Мы ещё потом по кустам лазали, пустые бутылки от газировки собирали, сдавали их тут же и опять газировку брали. Казалось, что слаще тех булочек и газировки – и быть ничего не может... Я всё думал в ту пору: вот вырасту, никогда водку пить не буду, только газировку... Извините, перебил я Вас...

– Да, ничего. У нас ведь тоже такое бывало, район-то один. Соседями, считай, были. Как раз посевная заканчивалась к тому времени, а покосы

ещё не начинались. Вот и давали людям передышку небольшую. Потом-то ни выходных, ничё не было, до самых белых мух...

... Так вот, в тот раз меня пригласил в свою компанию кум мамин, Лемешин. А уж год, однако прошел, как мужа-то я похоронила. Выпили там, как обычно, после концерта да всех мероприятий, напелись... А я певунья была... Мне не столько выпить, сколько попеть да поплясать надо было. Мама, бывало, говаривала, что я и за двадцать пять вёрст пешком по морозу убегу, в соседнюю деревню, если на гулянку помянут! А тут компания: директор совхоза, конторских человека четыре, ветврач – сосед наш бывший, ну и Лемешин с дочерью и зятем Тимофеем. Зять-то его тоже директором был, только леспромхоза. Алексей Михалыч с гармошкой, как всегда. Баба Саня-то, жена его, не была тогда, приболела, видать, дома оставалась.

Ну, я посидела с ними, хорошо так посидели. А погода тёплая стояла, ведро. Домой пора мне, управляться идти. К вечеру дело-то уж было. Ну, я собралась и ушла. А назавтра, к Лемешиным заглянула. Спрашиваю: “Ну, как там погуляли Алексей Михайлович, без меня?” А баба Саня мне: “А ты спроси-ка его, где его черти носили всю ночь?” – “И вправду, черти, наверно,” – понуро так это, отвечает он, а сам трубку раскурил, попыхивает ею и рассказывает:

– Вскоре, как ты ушла, и я засобирался домой... Ну ты, Полина, скажи хоть ей, ведь не пьяный же я был!

– Да нет, не шибко, – говорю, – играл всё нам на гармошке...

– Дак меня бы и дочь с Тимофеем одного не отпустили, кабы я пьяный был, – оправдывается он. – Ну, я гармошку через плечо – и домой. Нина-то, дочь ещё и говорит мне: “Тятя, ты один-то дойдёшь?” – “Что я, маленький что ли, или поздно уже? Не заблужусь, поди, – смеюсь ещё. – Деревня, дома-то – вон они, видать отсюда даже.”

– Вот-вот, не заблужусь, – это уже тётка Саня его передразнивает. – Нина с Тимофеем пришли, уже поздненько, спрашиваю: “А где деда оставили?” – “А что, его, разве, ещё нету дома?” – “Дак нету...” А

сама думаю, может, к Петру Ивановичу, к куму зашли да и сидят, балясы точат по-стариковски, выпивают, поди...” – вот баба Саня-то мне и рассказывает, – продолжает Полина Матвеевна. – Стемнело уже, а его всё нету и нету. Я всю ночь его прождала: куда старик запропастился? Такого ещё с ним не было, чтобы напился и домой ночевать не пришел. Утро подошло. Слышу, вроде как калитка стукнула. Выхожу, а он на лавочке сидит возле дома. Гармошку рядышком поставил. Сам весь, как леший, в грязи! Комары его заели совсем, лицо аж опухшее всё. Господи, да где же ты был? – “Ой, старуха, не говори, сам не знаю – где я был...” – “У кого, где же ты ночевал, в луже грязи что ли? Я думала – ты с кумом загулял...” – “Да ни у какого кума я не был!” – “Да где же тебя тогда леший носил?” – “Вот, меня леший, наверно, и носил...”

– Он же не верил никогда ни во что, – продолжала Полина Матвеевна, – всю жизнь, как Вы говорите, атеистом был, ещё и пропагандировал, что Бога нету... Вот он нам и рассказывает:

“Когда пошел я домой, дохожу уже до мостика. И встречаются мне какие-то бабы. Молодые, разодетые! Вроде цыганок. Просят меня: “Ну, дедушка, поиграй нам!” Слушай, Польша, тебя с ними не было? – “Да вы что говорите, Алексей Михайлович, смеётесь?!”

– Ладно, и вправду, тебя я среди них вроде не видал, а то бы узнал, – недоверчиво посмеивается Лемешин, попыхивая себе трубкой. – А эти – незнакомые всё какие-то. Думал, может, артисты какие из Парабеля приехали. Дак, опять же, чё, у них своего баяниста не было, что ли? Вот и говорят они мне, мол, поиграй нам, дедушка. Ладно! Я взял гармошку-то развернул и давай наяривать! Да так ловко у меня выходить-то стало! Раньше, вроде, так никогда и не получалось. Ну – чисто артист какой! Играю, мы идём, а уж они передо мной пляшут, уж они пляшут! Песни поют, хохочут! Идём-идём, идём-идём мы... Вроде и мостик-то не так далеко от деревни был, а мы всё идём и идём. Уже и домов почему-то видать не стало. Играл-играл я, до тех пор уже – умучался весь, а им – хоть бы хны! Передо мною так и кружатся, так и выкамаривают! И что интересно – ни одного мужика среди них нету. А баб-то, небось с десятков, как не поболе. Да все молодые, да все красивые! И никого нигде не встречал раньше. Пляшут они, а я всё играю, я всё играю – сил никаких уже нету. До тех пор доигрался, что и говорю, вроде, как сам себе: ” Господи, я так уже устал...” И как только у меня вырвалось это – “Господи”?! Я же неверующий. И тут слышу, вроде, петухи пропели откуда-то. Когда я сказал так-то:” Господи, я так уже устал от вас, как вы меня замучали...” – смотрю: сижу я на каком-то пенёчке, в каком-то болоте... А комарья! Всего меня облепили, сам весь в грязи... И гармошка моя рядом стоит. “Да где я есть?” – Ничё понять не могу. Ну, раз такое дело, надо выбираться отсюда, доигрался... А куда, в каку

сторону идти – сам не пойму. И место-то незнакомое. И сумерки. Ладно, полез направо через кусты. Поободрался весь. Вроде, впереди просвет какой-то. Ага, на тропинку вышел. Пошел по этой дорожке, долгонько так шел, минут пятнадцать, однако, не меньше. Главное – слышу, вроде впереди коровы мычат, собаки лают, а выйти никак к деревне не могу. Потом смотрю – берег, речка – Чузик наш! “Почему же я к Чузику-то вышел? Он же ведь в другой стороне от деревни...” Ничё понять не могу. А того, что я на другой стороне оказался – мне и в голову прийти не могло! Гляжу: за омутом, напротив, мужик с удочками сидит, лодка возле него. Пригляделся – Василий Козубов. Я к нему. “Василий, – говорю, – ты чё там делаешь?” – “Как чё? – рыбачу!” “А почему на той стороне, клюёт лучше, что ли?” А он смеётся: “Я-то на своей стороне, а вот чё ты там делаешь таку рань?” – “Да разве я на той стороне? Ничё не пойму я...” Присмотрелся – и вправду, на той стороне, выходит я, а не он. Дошло до меня. – “Дак, чё делаю, – говорю ему, – домой иду, с массового гулянья...” Он ка-ак расхохочется! Мне-то и невдомёк, что утро уже, а не вечер. – “Да како массово гулянье?! Оно ведь вчера было!” – “А чё теперь – утро или вечер?” – “Утро уже... Ну, и назюзюкался ты, Алексей Михайлович! Так ты зачем на ту сторону-то упорол? Как ты попал туда? Кто тебя перевозил?” – “Да никто меня не перевозил, – говорю, – помню хорошо, что всю дорогу с бабами пешком шли, я им на гармошке играл, а они всё пели да плясали... И не переходили мы речку нигде вброд... Я бы тогда мокрый был, а то ведь только в грязи... Перевези меня, Василий.” Перевёз он меня на нашу сторону. Ох, и посмеялся же он надо мною! А я... хоть бы сказать, что пьяный был... Так, ведь и Нина не отпустила бы меня одного, и мужики – проводили бы, поди, до дому-то...”

– Рассказывает он мне такое, а сам опять спрашивает: ”Польша, признайся, это не ты меня за речку увела? Поди с девками подшутили?!” – “Да Бог с тобой, Алексей Михалыч! Разве я бы такое позволила себе?!” – смеюсь я над ним... – Вот такие чудеса с дедом были. От него самого слыхала... А уж он врать бы не стал... И что это было?

СО СВОИМ ТАБАЧКОМ

...Со вторым-то, Сергеем Георгиевичем, прожили мы, считай, как и с первым, пятнадцать годочков без малого. Всяко бывало, чего греха таить. И бегала от него, от пьяного, и уходить собиралась. Так-то он ничего был, работающий. Но уж как попадёт в рот – тут уж ему не перечь! А так – ничего, всё делал по дому и мне помогал всегда. И к ребятам моим неплохо относился, да и они к нему – тоже. Отцом, правда, не называл никто, всё больше по отчеству... И своих двое было, помогал он им, я не противилась. Мои-то уже все повзросли, девки в

техникумах учились, а парни уже позаканчивали институты. Своими семьями жили.

Потом болеть стал, жаловаться на печень, а чё ж не жаловаться – попей-ка столько! Сам ничё не ест, а всё одно – пузан-пузаном. Полный, тучный он был всё время, даже и болел когда... А сам-то родом из Украины, с Гуцульщины был... Там и семья у него осталась, дети...

Прихожу я как-то с работы, глянула: ба-тюшки! Его перекосило, рот на боку. Врачи сказали – парез лицевого нерва, паралик, значит. Но ничё, оклемался тада. Я ещё ему говорю, мол бросай пить Сергей, а то и вовсе кондрашка хватит. Он мне : “Всё, мамо, бросаю!” Кого там!...

А перед этим сон мне снится, – продолжала свои истории Полина Матвеевна. – Будто я со своей свекровью, матерью первого мужа, в каком-то доме, возле стола. Окошко тут. Она в окошко-то посмотрела и говорит мне: ”Смотри, Сёма приехал!” Я выглянула. И-и- и-и!... Правда Семён! А у него, значит, такой чёрный жеребец, блестит аж весь! И ходок – тоже, чёрный-пречёрный, как вымоленный весь! Он сидит на передке ходка, в руках вожжи и бич. Потом соскочил с ходка, бич в руках длиннющий! Я окно открыла, спрашиваю: “Чё ты приехал?” А сама уже знаю, что он неживой, помер уже. – “Выходи, поехали со мной!” – “Я не поеду с тобой!” – сама-то уже знаю, в голове держу – он же мёртвый, как я с ним поеду? А он мне одно: “Выходи!” – и всё тут. Я будто вышла на крылечко и опять ему: “Нет, я не поеду с тобой!” А он: ка-а-ак щёлкнет бичом! “Но, сама не хочешь ехать, пусть твой пузан выходит, с ним поедём!” Я тада и говорю ему: “Ну, если захочет – пусть едет с тобой...” Вышел Сергей Георгиевич откуда-то. Семён опять на передок уселся, а Георгич – в ходок, развалился так, и поехали они вдвоём...

Рассказываю на работе этот сон, а мне баба одна и говорит: “Слушай, как бы у тебя Георгиевич не умер...” Как в воду глядела... Заболел он, а через полгода и помер.

... Умер Сергей Георгиевич от цирроза печени. Пропил он свою печенку, я так думаю. Похоронили его, девять дней отвели, уехала я к дочери, в Красноярск. Это к той, что провожала меня давеча, – поясняет Полина Матвеевна. – Домовничать оставила соседей, печку топить, собаку кормить, кур... Холода тогда стояли, в феврале он помер-то. Месяц, однако, пробыла я у дочери.

Вернулася уже перед сорока днями. Прихожу домой, двери открываю, глянула: Бо-о-о-же! Все стены, потолки, аж чёрные! Дымом позакопчёно всё, как в бане по-чёрному. Домовница моя тут же. “В чём дело?” – спрашиваю её. – “А, и не говори... Топили так... Как ты уехала, пришли мы с Николаем печку топить – не топится. Никак растопить не можем. Мы уж и так, и эдак – весь дым в избу идёт! Открываем избу, а он не в трубу, а в двери – так и прёт! Что

случилось? Ничё понять не можем. Я уж потом одна и ходить сюда побаивалась... С Николаем, вдвоём ходили. “Это Георгич не даёт нам топить,” – говорит тада Николай. Приходим в другой раз. Николай – поддавши, осмелел, говорит: “Георгич, хватит тебе беситься! Чё ты не даёшь... это, печку нам топить?” И так вот несколько раз, да с матерками!” – рассказывает мне Зинка-соседка.

А печку ту Сергей Георгиевич сам ведь перекладывал в доме, что мы с ним покупали, когда от сына уехали. Зинка-то мне и рассказывает дальше. Мол, после того-то, как Николай поматерился прямо в доме на Георгиевича, печка лучше топиться стала. А всё равно, дым в избу попадал, хотя и не весь уже. Общем, надомовничали они мне...

Я-то када зашла, Зинка мне про это всё и рассказала. Ладно. Разделася я, дров принесла, сложила в печку, спичкой чиркнула – затрещали дрова, а потом аж загудело всё – такая тяга была! И ни дыминки в избу не попадает! Вот ведь как бывает!

– Да они, поди, вьюшку, заслонку не открывали, – делюсь я своими соображениями с Полиной Матвеевной.

– Вот и я им сказала так же сперва. Обиделись. Говорят, мол, чё, мы не знаем как печки топятся? И правда, были бы городские какие-нибудь... Не-е-ет, это он, Георгиевич! Сколько я ещё натерпелась из-за него... Избу-то пришлось белить потом аж на три раза! И Зинка помогала! Но это ладно...

Потом-то, как начал он мне маячиться!... Думала, свихнуса вовсе. Одна же я в доме этом осталася. В доме-то аж три комнаты было да кухня большая. Сени-веранду уже сам Георгиевич переделывал, по-своему. Хорошо так, уютно, просторно было.

А из спальни дверной проём выходил у нас в зал. Портьеры на нём были хорошие. И через дверь эту, из спальни, видно было как в зале телевизор стоял, трельяж перед ним, стол большой – ближе к двери. А Сергей любил сидеть за этим столом, телевизор смотреть. Место у него было – удобно было сидеть, смотреть. Который раз в карты садимся играть, или обедать с гостями – он, как хозяин, всегда на своём месте. И курил там же. Пепельница у него была большая, закрытая такая, парни мои дарили ему... Так это облокотится руками, голову подопрёт и курит, телевизор посматривает себе...

И вот, когда я одна-то осталася, лежу как-то в спальне, смотрю в дверной проём. Слышу, будто кто-то по половицам идёт: скрип, скрип, скрип... Прислушалась. А из окошек – свет. Напротив нас контора совхозная была, лампочка там всегда горела. Ну, и от неё в наши окна свет всегда попадал, даже сквозь шторы. Лежу значит, смотрю – он проходит, садится верхом на стул, спиной ко мне, как раньше сидел... И закуривает. Не поверите – вижу даже, как дым идет от его сигареты. У меня всё так и обмерло внутри! Батюшки мои! Встать не могу, ноги

подкашиваются. Ну, думаю потом, может привиделось. Бывает же такое... На другую ночь – он опять то же самое! Который раз боялась на ночь и телевизор выключать. Переборю страх, выйду в зал – вроде, никого нету. Потом уж стала на ночь в спальне, на пол, ночник ставить. Так всю ночь с ночником и спала.

А раз как-то гости были, Зинка с Соней приходили, соседки. Посидели мы, я им ещё про свои страхи порассказывала. Чаем угостила. Ушли они. А я ночью в туалет захотела. Встала, свет в зале включила, выхожу в другую комнату, к двери направляюсь. Глянула на кухню, в сторону кути – сидит он! На столик навалился, в фуфайке, вот так вот, – Полина Матвеевна показала мне, как он сидел, – и опять курит. Я ка-а-ак заору! Не помню себя, как я и вылетела из этой кухни, всю меня заколотило! Батюшки мои!

А один раз лежу, к стенке так придвинулась. Чувствую – ложится он ко мне на кровать на свободное место. И ещё как будто говорит: “Подвинься, я лягу”. Я одной-то рукой упираюсь об стенку, а другой – его сталкиваю. И прямо рукой его лицо чувствую. Стала я это лицо прямо царапать. Царапаю, а сама ору, а сама ору! Ору и матерюся, сколько духу есть! Столкнула я его тогда, точно помню.

– Неуж-то не сон это был? – сомневаюсь я.

– Да какой сон?! Не спала я нисколько! Вот те крест!

– А матерились зачем?

– А слыхала я, что надо не только Бога молить, чтобы от покойника избавиться, но и материть его вслух, чтобы отвязался, отпустил...

И до тех пор я стала бояться одна оставаться в этом доме, что подумывала о его продаже. Здоровьишко никудышным совсем стало. Ноги разболелись, не знаю – куда бы их и девала... Весна подошла, огородчик копать надо, садить, сеять всё, а я не могу ногу поднять, лопату приступить... А тут ещё дочь в Красноярске квартиру четырехкомнатную получила. Вроде одну комнату, как специально, для меня. Звать к себе стала... И старший тоже, в Омск, к себе зовёт жить. Куда мне одной такой домище? Мне бы, дуре, взять, продать его, да там же другой домишко и купить, поменьше-то. Глядишь, и Георгиевич от меня отвязался бы...

Стала я искать покупателей. Вот, вроде, договорюсь с одними – нет! С другим – опять не получается. И просила за дом недорого. За ту же цену, что и покупали... Тогда ещё цены были постоянные, не было никаких инфляций. Письма детям понаписала, мол, согласная я к ним переехать, в Красноярск, что распродаюся уже, на узлах сижу...

А весна вовсю уже. Окно в палисадник открыто было. А на столе у нас часики стояли, небольшие, коричневые, кто-то из ребят дарил... И глаксинья белая, такая рясная цвела! Штук тридцать колокольчиков разом высыпали, букетом прямо, усыпано всё. Сижу я, значит, за этим столом, пишу письмо, что всё,

договорилась уже с домом, продаю. Слышу – из-под стола будто кто-то: стук, стук, стук... Думаю: “Кто где стучит?!” Понять не могу. Под столом посмотрела. В окошко выглянула, в палисадник – нету никого. Только опять писать начинаю – снова постукивание, да всё настойчивее так! Посидела-посидела на стуле я, продолжаю письмо пистать, что всё, мол, скоро встретимся, уезжаю я. И в это время такой грохот по столу раздался! Будто мужик какой кулаком стукнул, когда сердитый: Кэ-э-эк даст! Потом ещё раз! Часы, что стояли на столе – так вот и заплесали на месте, подскочили аж! И цветы задрожали все! Это-то уж я хорошо заметила... Я как пуля, в другую комнату и вылетела. Меня опять всю заколотило! Не могу в себя прийти никак. Это вообще... было что-то! Ну, ладно, когда в спальне лежала, ночью – может, который раз и пригрезилось что, а тут ведь день же был, солнце светило! Я ведь не спала, ничё...

В ограду я выбежала из дому, а назад возвращаться боюсь. Побывала маленько в ограде, поуспокоилась. Пошла к Зинке. Рассказываю ей, мол, так вот и так... А она мне: “Это тебе Георгиевич не даёт дом продавать!” – “А чё мне делать?” – спрашиваю её. – “Не знаю...”

Это, когда он болел уже, всё мне наказывал: “Ты, Полина, никуда из этого дома не уезжай, не продавай его! Не слушай никого, пусть тебя и звать будут к себе – не соглашайся, живи тут! А то останешься одна, без угла своего никому не надая...” Так оно и вышло всё. Но это уже после, а тада...

Договорилась с одним. Всё, цену обговорили, дом он обсмотрел – понравился ему. Пошли оформлять документы на продажу, вот те на – всё разладилось. Кто-то сказал ему, что, мол, дом-то уже изгнил весь... И так – три раза. Вроде соглашаются, как дело до купчей доходит – всё, разлад. Ну, не могу никак дом этот продать – и всё тут! Пришлось уже и огород садить, картошку, и мелочь всю в огородике. Думаю уже: ладно, лето придётся ещё здесь прожить. А уж осенью – всё одно, уеду. Не продам, так оставлю доверенность на ту же Зинку, чтобы продала. А куда деваться? Письма опять всем понаписала, что остаюся мол, не могу никак с домом управиться, не найду покупателя...

Троица подошла, поздняя была в том году, уже в июне месяце. Одна женщина мне и говорит: “Раз ничё не получается, сходи-ка ты на могилки и попроси у него разрешения продать дом, что к дочери собираешься уехать. Мол, разреши мне дом продать...”

Пошли мы с Зинкой-соседкой на могилки. Помянули его там прямо. Соседка на могилки к родне подалася, а я осталася одна, на коленочки встала, плачу и разговариваю с ним: “Ну, дак чё, дружок, ты меня не отпускаешь-то? Не хочешь меня отпустить из дому? Но ты пойми меня правильно – не могу я здесь одна жить. Поеду я к детям... Хотя я

тебе и обещанье давала... Ну, тяжело мне здесь одной. Отпусти ты меня Христа ради! Разреши ты мне наш дом продать?! А я к тебе буду приезжать на могилку, проведовать тебя...”

На следующий день приходит ко мне из конторы женщина, ну, которая занималась продажами да приватизацией, говорит мне: “С тебя бутылка, тётя Поля, нашла я тебе покупателя! На почте работает. Ищут они себе дом. Пошли к ним!” Ну, потом они ко мне пришли. Обсмотрели всё. И сговорились тут же. И всё! Оформили документы, они мне деньги отдали, продала я дом! Вот какие дела... Ну скажи, не чудеса ли?

...Такое ещё было. Когда он болел, ну, Георгиевич, с куревом у нас плохо было. Вот он на всякий пожарный случай и собирал окурки. Последнее-то время он всё больше курил не папиросы, а “Приму” я ему покупала. С мундштуком курил он сигареты те. Что не докурит – всё в банку складывал. Потом перешелушит их, табак чистый получался. На черный день всё копил. Мешочек целый так вот и нашелушил. Помер он. Куда этот мешочек девать?

А накануне ещё и говорит он мне: “Знаешь, мамо дорогая, як я помру, ты той табак положи ж со мною. Смотри, не забудь...” Я вроде посмеялась ещё, дескать, зачем он тебе там понадобится? А когда он помер – про наказ его и вспомнила. Взяла, да и положила ему в гроб тот мешочек, газету свернула для цигарок, ещё и коробок спичек в него вложила...

И вот вижу я сон. Будто вышла я куда-то и оказалась у вышки, будто телевизионной. И народ там идёт какой-то. И я будто у этой вышки тоже стою. А они всё мимо идут. Одежда на них вся какая-то... Знаете, как раньше была у заключенных... Шапочки на головах такие серые, круглые, без козырьков. Пижамы, как полосатые... Наверно, я в кино где видала такую. Идут все мимо меня. А я всё смотрю, смотрю... Вот тебе – идёт мой Георгиевич! Я будто рядышком пристроилась, иду с ним сбоку. А он сначала голову так опустил... Я и спрашиваю: “Куда вы все идёте?” Он мне и отвечает: “На станцию, железнодорожную.” – “А чё там, на станции?” – “А там нас в вагоны грузить будут и дальше повезут.” Я у него и спрашиваю: “А чё тебе принести? – “Курева мне принеси!” А я будто знаю уже, что он помер-то, отвечаю ему: “Так я ж тебе табак-то, как ты и наказывал, курить-то положила!” Он мне: “Ой, мамо! Та шо це за табак? На той ведь свет никто со своим табачком не приходил ещё! Я один пришёл, сдогадался! Як вси обступили мени: “Дай закурить! Дай закурить!” Я весь табак той и раздал!”

Проснулася я, лежу и думаю: “Надо же такому присниться!?” Пошла в магазин, купила папирос, мужикам раздавала в пожарке, где он работал раньше. Ещё и сон им рассказала. А те смеются, говорят, чтобы я почаще такие сны видала... С тех пор, как

прихожу к нему на могилку, всегда приношу курево, кладу у памятника...

...Ещё один сон видала... Надоела я Вам, наверно, со своими снами да небывальщиной? – усмехается Полина Матвеевна.

– Да нет, отчего же? Очень даже занятно... И, надо сказать, не лишено здравого смысла... Сны – это ведь сплошное белое пятно для науки. Ни природы, ни смысла снов толком никто ещё не знает. Догадываются, на уровне гипотез всё... Но, несомненно, между снами и реальностью есть какие-то связи. А вот какие? Может, наше сознание во сне, как телевизионный приёмник настраивается на какие-то импульсы, волны, витаемые в пространстве... Отсюда – и картинки такие зримые, такие правдоподобные... Порой, и вещи... Символические. Правда, я больше верю в то, что и значение снов во многом индивидуально, а не универсально, как во всяких сонниках, толкователях... Извините...

– Да нет, это Вы меня извините за мою навязчивость... Так вот, иду я будто куда-то. А тут – гора. И он, Сергей Георгиевич, на горе. В пальто своём коричневом, демисезонном, и шляпе гуцульской, с пёрышками на боку. Машет мне рукой. А с этой горы катаются – кто на санках, кто на лыжах, кто прямо так. Будто и мне к ним надо подняться. Вот я и хочу к ним. Иду – городьба какая-то, не пускает меня к горе, никак мне через неё не перелезти. До верху так я и не добралась, села и скатилась назад, от городьбы. Иду, думаю, ведь должен же быть где-то проход, раз они туда забрались. Мост какой-то горбатый, вроде лестницы, а за ним – такая зелёная трава! Поляна целая, и коровы пасутся на ней. Мужик какой-то спустился ко мне, перешел через мост. Подхожу к нему, спрашиваю: “Вы скот оттуда пригнали?” – “Оттуда!” – “А как мне туда попасть, на ту сторону?” Он мне: “У-у-у, девка, ты туда не попадёшь!” “Ну, как не попаду?! У меня же мужик – вон на той горе стоит, зовёт меня к себе! Он же ведь как-то на эту гору попал?! А я везде обходила – и там, и там – никак ходу нету. Ты же ведь оттуда свой скот пригнал сюда!? Дорога где-то быть должна...” А он мне своё: “Тебе туда не попасть. Рано ещё. Ворочайся-ка ты, девка, обратно!”

А я тогда болела сильно... Не умереть тогда мне, видать, было. А он ведь меня на тот свет, к себе, должно, уже звал... О-ох, прости меня Господи!

– Успеется туда ещё всем, – утешаю Полину Матвеевну.

– Да я и сама знаю. Никому не миновать этого. Каждому только своё время отведено... Да каждому бы знать – хоть с каким своим табачком туда явиться?... – многозначительно закончила она.



Тина Кошкина АНТИГЛАМУР



* * *

Придумал меня остряк –
Зрачок, как швейцарский флаг,
А мозг, как швейцарский сыр,
Зеленая с бирюзой.

Я вставлена в афоризм,
Я пошленький эвфемизм,
И вписываюсь в сей мир,
Как розовый куст с гюрзой...

Зализанная до дыр,
Как вместе чума и пир,
Как солнечно и вампир,
Сарказм и анахронизм;

Живу я среди прониры,
Как кот говорящий: «мир»,
Под звуки потертых лир
И свет искаженных призм.

Как высосанный укус,
Гибискус – на цвет и вкус, –
Искусно сказал Иисус
Про странный запретный плод.

Он сладок – и в том искусе,
Во мне, без забот и уз,
И все разговоры Муз –
О том, как душа поёт...

БУДДА

Будда будет сидеть на диете,
Будет думать и делать деньги.
Будда – свет и тепло на планете,
Будда в метро и у хиппи в феньке.

Будда играет всегда как будто,
Будда вас слышит, раз вы молчите.
Будда чихает – любой иуда
Скажет: здоровье тебе, Учитель.

Будда – папа и мама тоже,
Будда – море и материк...
А на обочине, трезв, похоже,
Будда стоял и всех материл...

* * *

Какой-то люд пошел не разный,
Вот снова празднуется праздник,
Гудят все три двора.

А я плюю на разговоры,
Смотрю на звезды сквозь приборы,
Считаю: «Три, два, раз...»

Стрелы осколок в брэнном теле, --
Не в мыслях, а на самом деле, --
Не промахнулся взгляд.

Ах, если б больше было силы
И если б люди не дебилы –
Любила б всех подряд...

Так хорошо с собою вместе
Построить дом без лжи и лести,
Без свай и молотка...

И, словно прячась в цитадели,
Открыть бутылку Ркацетели
И выпить два глотка...

ЛЮБЛЮ В...

Со мной случались –
И что такого? –
Мистификации.
Какое счастье –
Любить живого,
В груди стагнации, –
Бескислородная,
Бесперспективная
Любовь в пол-мира.
Да разве ж модно
Иль эффективно
Любить вампира?
Подруга давит:
«Лечись от лени,
Махнем в Германию...»
А я страдаю,
Как лох последний,
Вампироманией.
Ему согласна я
Отдаться в доноры
И жить на грани....
А мне: «Опасный он!
Считает доллары
В вампирском клане».
И Муза кинула –
Ушла в Кукуево,
Ржавеет лира...
Три года минуло,
А я люблю его...
Люблю вампира...

АНТИГЛАМУР

Я декадент, антигламур,
Ко мне прибыть – не нужно виз.
Я платьев шорох, шелк, пурпур
И проводов души стриптиз.

Я ведьмин шабаш с кровью кур...
Я голубых кровей снобизм.
Из крепких слов алмазный бур.
Я позабытый спиритизм...

Войди в лохмотьях от кутюр,
Примерь мой стиль сквозь десять призм,
Я декаданс, антигламур,
Я сам себе сюрреализм.

Я, может быть, античный бог,
И мир перевернуть б сумел...
Да лень подняться, бок затёк...
Антигламур. Доска и – мел...

* * *

Был маленький он
Бес,
И хлюпал сырой
Дождь,
Бесёнок промок
Весь,
И била его
Дрожь.
Продрог, и дорог
Тьма
Покрыла его
Шерсть
И рожки с боков
Лба.
Он очень хотел
Есть!
...Увидел её
Вдруг,
И дождь переврал
Такт,
И капли ловя
Стук,
Бесёнок сказал
Так:
“Облазил я низ-
Верх,
Глотал фонарей
Смог,
Но нету давно
Тех,
Кто б беса понять
Смог”.

Она, не узрев
Льда,
С него отряхнув
Грязь,

Сказала: “А я –
Та”.
И Лидией назвалась.

Бесёнок с тех пор
Здесь,
В её уголке
Губ,
И в левом глазу
Есть
Блестящий смешной
Клуб.
С тех пор и горит
Свет
В глубинах земных
Глаз.
Никто не поймёт,
Нет,
То – беса лихой
Пляс.



Анна Кононова

ЛИЛИ



Со стороны матери Лили — восьмое поколение иерусалимских евреев, а со стороны отца, выходца из марокканских «сфарадим»¹ — первое. То был, конечно, мезальянс, когда гордая дочь раввина Бен Шломо спуталась с простым марокканским парнем, оле хадашем, чья семья еще жила в маабарот². Извиняло ее то, что парень был писанным красавцем, этаким "latin lover", смуглокожим, широкоплечим, с сияющими глазами. Блестящие черные волосы он с помощью бриолина зачесывал назад, и каждое утро опасной бритвой подравнивал тоненькие, в ниточку, реттбаттлеровские усики.

Ради него Лилина мать забросила религию, ну не совсем, конечно, праздники в семье были праздниками, бриты и бар-мицвы справлялись, как положено, но не было страха перед грозным богом иудеев, который увидит все и воздаст каждому по деяниям его. И хотя отец так и остался необразованным и всю жизнь проработал маляром, а подраставшие дети искали и находили себе работу, любовь не выветривалась из дома, дети росли красивыми — в отца и гордыми — в мать.

Бабушку, папину маму, звали Сарина. Она вдовела много лет и достойно несла это состояние, которое, как образ на туринской плащанице, проступало в ее одежде, прическе и походке. Приблизившись к ней, самые безбашенные мужчины почтительно снимали шляпы и мяли их в руках в течение короткого обмена любезностями, который — и только — позволяла гверет³ Сарина. У Сарины была сестра, Жанин, годом младше, и тоже вдова. Она каждый день приходила к Сарине, тщательно одетая, еле приметно седеющие волосы собраны в узел с подколотой на кукусу кружевной вуалькой, оставленные по бокам пейсики накручены спиралью с помощью раскаленной рукоятки стального ножа.

Две грандессы сидели рядом, попивая кофеек из фарфоровых чашек, вели неспешный разговор под звон быстро-быстродвигающихся спиц, из-под которых разрасталось что-то цветное-пушистое или

кружевное-белое, в зависимости от того, какому внуку или внучке готовился подарок. Лили и ее братишка Даниэль крутились рядом, играли с кубиками, спорили из-за красивых стеклянных шариков и таскали миндальное печенье со стола. После кофе приходил черед отдыху с сигаретой, курящейся в тонких пальцах, и неизменной ссоре. Дети, хорошо знавшие эту особенность бабушкиного общения, все-таки всякий раз заново были поражены внезапным сверлящим мозг первым визгом савты⁴ Жанин и первым грохотом в сердцах отодвигаемого савтой Саринной стула.

— Уходишь? Уходи, уходи!!! Ни минуты не пожалею! — кричала Сарина. Жанин нервно, дрожащими руками собирала вязанье и принесенные ею финиковые шарики в сум-суме. — Ты всегда была маджнуна⁵, как и твой идиот-муж, о Дио, прости мне, грешной! Деланное спокойствие изменяло младшей и она взрывалась визгом и брызгами слюны.

— Ты всегда отиралась возле Виктора, думала, он на тебя клонет! А когда не добила своего, так он стал маджнун! Закрой свой рот, пута⁶! — Она высказывала, хлопнув дверью с такой силой, что сыпалась штукатурка.

Лили и Даниэль стояли у столика, раскрыв рты. Сарина смотрела на них и начинала хлопотать.

— Деточки мои, завтра Пурим (Ханука, Песах, Шавуот)⁷. Савта приготовила для вас пурим динеро!⁸ Она совала каждому в потную ладошку по лире и мягко подталкивала их к двери.

В те времена иерусалимским детям удавалось зарабатывать гораздо больше, а главное, веселее, чем сегодня. На Пурим ряженные ребятишки стайками ходили по Ромеме⁹, стучались в знакомые и незнакомые двери, пели куплеты и требовали подачки. И добрые иерусалимцы подавали.

⁴ Бабушка (ивр.)

⁵ Сумашедшая (ивр, сленг)

⁶ Проститутка (исп.)

⁷ Ерейские праздники

⁸ Пуримские денежки (исп.)

⁹ Район в Иерусалиме

¹ Испаноязычные евреи (ивр.)

² Бараки для новых репатриантов

³ Госпожа (ивр.)

Кто горсть конфет, кто мешочек засахаренного миндаля, а кто и денежку вынесет: "Нате, деточки, на здоровье!" А хитрые деточки бежали домой, переодевались — и делали еще кружок-другой.

Когда Лили исполнилось 15 лет, она нашла себе чудную работу — уборку у Фортуны. Фортуна была бездетная небедная женщина, скучавшая целыми днями в ожидании, когда муж, важный чиновник, вернется со службы.

Общаться с соседками она, видимо, считала ниже своего достоинства, поэтому, когда ладненькая шустрая девушка приходила убирать и без того светящуюся чистотой квартиру, Фортуна втягивала ее в долгие разговоры, выпрашивала о новостях Ромемы, поила какао и платила за все это хорошие деньги—15 лир. Это были большие деньги. Проезд на автобусе стоил 13 грошей, потом подорожал до 14. Мать давала Лили на проезд каждый день 50 агорот — путь от дома до школы Слисберг был неблизкий, но Лили экономила, назад шла пешком через весь город, впитывая в себя его подъемы и спуски, дворики, мощеные мостовые, разноцветный и разноголосый рынок Махане Ехуда, на котором и спускала сэкономленные грошики на сладости или переводные картинки.

В понедельник, 5 июня 67 года, рванула шестидневная война. В 10 часов утра, когда иорданцы начали палить из пушек по зоопарку, который тогда

был рядом со школой Слисберг, отец Лили бросил кисти и олифу и как был, в рабочей одежде, побежал за дочкой. Первый и единственный снаряд, упавший на улице Яффо¹, остановил его бег. Рабочая правая рука его была прошита осколками вдоль и поперек.

Мать Лили в те дни кормила грудью своего младшего, Рони. И вдруг — звонок. Эстер, твой муж ранен... Где? Как? Что? Бомбежка продолжается, всем находиться в убежищах...

Эстер поцеловала малыша, оставила его на соседку и под свист снарядов побежала а Шаарей Цедек...²

7 июня наша армия захватила Восточный Иерусалим. Старый город наш! Стена плача — в руках евреев! Эстер рыдала — какой роскошный подарок! Можно сходить в Шейх Джерах³, найти дом, где она росла, вспомнить заветные слова древней молитвы, и у Стены плача попросить Бога, чтобы ее любимый выздоровел. Маленький Рони улыбается в коляске, Лили и Даниэль справа и слева прижимаются к матери, и семейство отправляется в путь, чтобы припасть к корням в первый же день освобождения.

И это ничего, что приходится пробираться через горы зловонного мусора, и ошибаться дорогой несколько раз — еще не изобретен GPS, и детская память подводит Эстер, это ничего. Все будет хорошо. Теперь все будет хорошо.



¹ Центральная улица в западном Иерусалиме
² Больница в Иерусалиме
³ Район восточного Иерусалима



Мария Перцова

БАЛЛАДА О ПЕРЫШКЕ



* * *

А я плачу за то, что не вступилась
За старика, стоящего у стенки
В желтушном колотящемся вагоне
Привычного бакинского метро.

Отчаянием захлестнутое утро,
Как осень — до последнего листа
Деревья, оборвало все маршруты.
В вагонах проверяли паспорта.

И я, как все, протягивала паспорт,
Я — не армянка, хоть дрожит рука,
Пока в углу под света перепляски
Ногами колотили старика.

Я выбрала — уехать, чужестранство,
Сменить больные войнами места,
Но и вдали, с завидным постоянством,
На стол ложатся старые счета,

И я плачу — за то, что не вступилась
За старика, стоящего у стенки
В желтушном колотящемся вагоне
Привычного бакинского метро.

* * *

Когда господь ваял меня
На склоне сумрачного дня,
Ему башмак нещадно жал,
И каждый звук ему мешал,
И глины кончился запас,
И свет невовремя погас.

Когда господь тебя ваял,
День липкой почкой набухал
И распускался свеж и чист,
Как молодой нахальный лист,
Господь мечтательно свистел,
Возок далекий тархтел...

Закончив, он окликнул рать
И повелел тебе не знать

До самой гробовой черты
О том, как совершенен ты,
И как несовершенна я,
Земная спутница твоя.

А может быть мой ангел врет
И было все наоборот,
Но я, стесняясь наготы,
Шепчу, как совершенен ты,
И ты, дыханье затая,
Все шепчешь, как прекрасна я..

ДРУЗЬЯМ

Как живется мне без вас, мои милые?
Вниз да вверх, да пот на лбу от ходьбы,
Ухватила бы, скользя, за перила я,
Только нет у ней перил, у судьбы.
Пусть у каждого из нас своя лестница,
У кого-то, может быть, даже лифт,
Но одна у нас на всех юность тесная,
Коммуналочка с окном на залив,
И один, не разделить, город древний наш,
Башни круглые его и дворы.
Приглядитесь, это мы за деревьями,
В бурых платьицах принцесс той поры,
В серых курточках князей того времени,
Нет еще у наших душ ни цены,
Ни купца, и в той весны оперение
Мы, как нитки в гобелен, вплетены.
Пусть пророчества судьбы мне не лестные,
Состраданье у нее все же есть,
Залетит в мое окно птица-весточка,
Заплывет в мои моря рыба-весть.
А кто пишет, не узнать мне по почерку —
Электронный век, компьютерный слог.
Сын родился, и пошли в школу дочери,
Дом достроился, отец занемог..
Ваши лица так легко вспоминаются,
Словно минуло не двадцать, а год,
И молитвы, как стихи сочиняются,
И горит свеча всю ночь напролет.

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Весна бакинская, печаль напрасная,
Идет шукшинская «Калина красная».
Мне лет четырнадцать. Картина взрослая.
Но я — настырная, но я — несносная!

Спешу паломницей по мокрой улице.
(Все, что не вспомнится, то дорисуеться,
Как ощущение придет из прошлого
То освещение вечерней площади.)

Ситро угрюмая плеснет буфетчица,
В упругом сумраке экран засветится,
Тряхнет калиновым, сухим стеклярусом —
Как по любимому, заплачу яростно...

Войдут суровые в своей решимости
Тона багровые непоправимости —
И в утра серого прикосновение,
И в ужас первого стихотворения.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Что вы лезете: Европа да Европа!
Возьму и открою другую страну.

Маяковский “Христофор Колумб”

Не с первого взгляда, не с трапа, не с ходу —
С разлада, надсада, с изнанки, с исподу...
Вошла в мои помыслы позже, чем надо —
Новейшей истории дерзкое чадо.
Не сразу, с тележками, в утреннем дыме,
Твои сумасшедшие стали родными,
Не вдруг мою грудь прокололи несмело
Подветренных сосен амуровы стрелы.
Твои города — не спеша, постепенно,
Меня провели за кулисы, за сцену,
Оставивши в силе иные законы,
Меня допустили в свои павильоны.
Позднее пришло обобщение сходства —
Твоя красота рождена из уродства.
Язык твой облекся значением не сразу —
Шипение речи? Кипение джаза? —
Уайльдовский пир на Шекспировом блюде —
Чужой и великий, таким и пребудет.

МОИМ КНИГАМ.

Никаких там читалок, публичек,
Вы — кирпичики жизни моей,
Вы со мною пребудете лично
До конца моих дней.
Вот Макбета четвертая сцена...

Маргарита парит на метле...
Вы — совсем не такая уж ценность
В эту пору, на этой земле.
Рассказать, как застоя икринку
Грел, сжигая до дыр пуловер,
В муравейнике черного рынка
Раздобытый за сотню Флобер?
Как бежалось — с поджаростью гончих,
Наконец-то напавших на след,
Обменять на заветный талончик
Пожелтевшие кипы газет,
Как во тьме шебуршали засовы,
И горел, задыхаясь, ночник —
Как поил своим холодом соевым
Самиздата строптивый родник?
Мои прежние книги остались
В той стране — ее нету на свете.
Вы — другие, из глянцевого стаи,
И мне некому вас завещать.
Иногда, поздний гость, вас приметив,
Узнает на предмет почитать.
Я чуть-чуть постою, повздыхаю,
Переплеты в ладонях вертя,
Но конечно даю, отпускаю,
Словно к бабке, на лето — дитя.

БАЛЛАДА О ПЕРЫШКЕ

И когда прояснилось, что мир наш сошел с ума,
И когда оказалось, что стыдно в глаза смотреть,
И строчит из угла не перышко — автомат,
Невозможно перышку стало в ночи скрипеть —

Про тугую колючую проволоку ветвей,
Про ползучую черную глину осенних троп —
Если рядом опять отстреливают детей,
И ложится в осеннюю землю за гробом гроб.

Как из скважины нефть, хлещет ненависть, шелестя,
И по всем широтам безбожный огонь горит.
Невозможно перышку петь под накрап дождя,
Невозможно ему скрипеть... Но оно скрипит.



Александр Станюта

ПОЖАР НА КАРНАВАЛЕ

Глава из романа "Городские сны"



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ПОЖАР НА КАРНАВАЛЕ

I

Улицы уже были расчищены от груд битого кирпича, обгоревших покорженных листов жести и путаницы ржавых проводов.

Серое здание на углу среди развалин удивляло своей нетронутостью и казалось очень высоким.

Кто-то привел его к этому зданию, зачем-то понадобилось войти в него. Внутри было темно, но широкая лестница слабо освещалась. Потому что двери на улицу оставались открытыми. Лестница вела вверх к другим дверям и, заглянув за них, Сережа едва не шагнул назад – такой глубокой темнотой было заполнено широкое пространство впереди.

Потом глаза стали различать длинные матерчатые полосы, покрывавшие ряды стульев. А там, где они кончались, тяжёлыми складками собирался алый бархат, высвеченный снизу. И от него трудно было отвести взгляд, потому что чем дальше он смотрел на него, тем огромнее тот становился, восходя кверху и ширясь одновременно.

Почему-то нигде не было видно людей и даже голосов не слышалось, и он вдоволь насмотрелся на высоченную густокрасную стену из бархата, удивляясь, что его может быть так много сразу. А потом рассказывал во дворах своей улицы, как побывал в театре, без конца описывая только огромный алый бархат. Но тогда еще мало кто понимал, о чем это он.

Все, что лежало грудами развалин в центре города, раскапывалось, вывозилось, перелопачивалось и огораживалось.

Одно время на строительство будущего жилого дома с башенными часами немецких военнопленных возил в кузове грузовика сержант, бывший начальником над ними в часы работы. И как-то утром он отвел привезенную группу не на площадку, а в подвал и разрядил в нее там весь диск своего автомата. Гадали, был он пьян или больной? Узнали: накануне получил письмо из России – там бывшие соседи подробно описывали уничтожение немцами всей его семьи в деревне в сорок втором...

Но жизнь идет.

В киосках, где продаются газеты, фотокарточки артистов, брошюры Ленина и Сталина, выставлены «Непокоренные» Бориса Горбатова (а в конце года «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова), плакаты «Александр Матросов», «Зоя Космодемьянская», «Орден Победы», сборники стихотворений Константина Симонова.

В парках и скверах, на площади Свободы и на выставке трофейного немецкого оружия красуются фанерные щиты с портретами советских маршалов. Вот Жуков, а вот Конев.

И Рокоссовский, Малиновский, Василевский, Толбухин, Черняховский. А вот герои неба, истребители-легенды: Покрышкин, Кожедуб...

Новая, мирная жизнь жадно бросается вперед, наперстывает все, что упустила.

Симонов приезжает в Минск и выступает в уцелевшем довоенном пединституте возле Дома правительства. Громадный зал с балконами полон. Слышно, как муха пролетит, потом вдруг обвал аплодисментов. Симонов виден по пояс, он из глухого ящика трибуны, будто из танка высунулся: темный пиджак, темные волосы, слегка курчавые на затылке. Лицо загорелое, хочется сказать «фронтовое». Он что-то рассказывает, тут же читает стихи, тогда слышно, как он картавит, но это делает его голос по-своему привлекательным, еще больше приближая его к слушателям, студентам этого вуза и соседних университета, мединститута. «Жди меня, и я вернусь всем смегтам назло...»

Мать дома говорит:

– Ну, Симонов!.. Столько сталинских премий – он же миллионер.

В кинотеатре «Первый», в фойе, развешаны фотоснимки, кадры новой картины «Алишер Навои». Говорят, что это был такой узбекский поэт в древности. Но дело не в нем, а в узбеках, в самом этом слове; здесь что-то тугое и упругое, сбитое, крепкое – и далекое, давнее: круглые щиты воинов, кривые мечи-сабли; походы, битвы, в общем – Азия, минареты, купола... Но не таджики, не туркмены, не киргизы – а именно узбеки, здесь что-то нравится – а что?

Мать, когда у нее хорошее настроение, напевает что-то из довоенной сказки «Золотой ключик»:

Далёко-далёко у моря
Лежит золотая страна...

А иногда она поет по-русски танго «Хризантемы», которое когда-то пела в Белостоке, повторяя польскую пластинку с мужским голосом:

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь все живет
В моем сердце больном...

В конце Комсомольской, у самой Немиги – парикмахерская. Сережа чувствует в этом уголке города что-то особенное. Тут много людей, тихое снование их туда-сюда бесконечно; магазинчики, запахи керосина, парикмахерской, краски, карбида, свежих досок. А за Немигой, выше, на Островского, живет Степан Степанович Бирилло, друг мамы, он актер. У него много книг, журналов, и на его улице – библиотека... Островский... это тот, кто – «Как закалялась сталь»?

– Был и другой Островский, драматург, – как-то взволнованно, горячо говорит Степан Степанович. – У нас шли его пьесы. И еще будут идти, надеюсь.

Мать иногда поет по радио. Она там репетирует, записывается, видит много разных людей. И платят неплохо. Дома она рассказывает:

— Сегодня Эдди Рознер был со своим оркестром. Вот это музыканты! Я до войны с ними пела, видела их живьем, и вот опять: без всяких нот играют, с чистого листа. И всякий раз как-то по-новому! И чтобы там схалтурить, на ширмачка, — ну, нет даже намека.

Однажды Сережа находит на грязном пустыре, через который идет тропка, двадцать пять рублей. Это большие деньги.

— Может, поискать, кто потерял? — говорит мать. — Но как найдешь? Господи, вот находка! Как знак чего-то — только бы хороший.

Дед это слышит, хитро улыбается под седыми усами, молчит. У него большие пальцы рук на концах сильно заггибаются кверху; Сережа думает, что и у всех художников так, они же растирают краски, выдавливают их из тюбиков...

Лето — и дед переходит на летнюю форму одежды: парусиновые брюки широкими мятыми трубами и такой же парусиновый мятый пиджак с хлястиком на спине. В каждый светлый сухой день он уходит из дома с большой папкой: там чистая бумага, крупные листы, обрезки. Он идет в сквер или парк, где будет сидеть и зарисовывать что-нибудь до темноты.

— Михал Петрович уже потопал на свои этюды!..

— Вы рисовать — да, дядя Миша?

— Да-да, — отмахивается с раздражением дед. Он необщителен. Когда кто-нибудь в парке долго стоит за спиной, глядя на его рисование, он, не оборачиваясь, говорит:

— Сделайте ласку, проходите себе, не мешайте работать.

Дома дед на холсте копировал левитановский «Март» с тающим клоком снега на крыше над крыльцом. Март этот, так и не законченный, годами висел на одном и том же месте.

Летом сорок пятого года дед быстро собрал большой подрамник, натянул на него холст, загрунтовал и усадил свою дочь Леокадию, Сережину маму, в старинное кресло с черными резными подлокотниками и спинкой, с одной сломанной передней ногой. Мать была в темно-красном платье с короткими рукавами. И дед, ее отец, сказал, чтобы она сейчас красила губы, держа перед собой сумочку с зеркальцем, вделанным в нее. А сам поставил у ее ног ведро с большими красными пионами в воде. Два или три раза он ее такой «писал маслом». Подолгу колдовал над этим полотном и без нее. И не закончил.

И точно так потом все повторилось с портретом внука.

— Ну хоть бы раз ты что-нибудь закончил, папа, — вздыхала мать.

Но, кажется, однажды это произошло. Сын деда Вовка понуро, отрешенно стоял на тротуаре возле разбитых железных ворот во двор, напротив окон Забелл. Дед взял лист ватмана, карандаш и начал зарисовывать. Вовка стоял в оцепененье, почти неподвижно, наверное, с час — такое с ним бывало. Дед цепко все это схватил и перенес на ватман, проработал. Вышел законченный рисунок. Его найдут в завалах дедовых бумаг спустя несколько лет...

А денег в доме не хватает, несмотря на все старания Леокадии на радио и в филармонии. И жена деда, тетя Клава, просит его:

— Мишенька, сходил бы ты в свой союз...

Но дед почему-то и слышать не хочет о своем союзе художников. Он раздраженно шипит, багровеет лицом и выходит из комнаты, громко стучая дверью.

II

Стремительно летело время, кончался сорок пятый год, остался за спиной радостный май с ракетами Победы, и впереди был первый за четыре года мирный Новый год — 1946-й.

В Минске решили дать Новогодний бал. Дать по всем правилам, если уж бал — так бал.

Место для этого нашли такое: площадь Свободы, самый-самый центр, клуб имени Дзержинского в квартале зданий, что были заняты немецкими властями в годы оккупации. Теперь здесь располагалась республиканская госбезопасность во главе с Цанавой.

Хотели, чтобы бал начался именно в новогоднюю ночь, 31 декабря сорок пятого года. Но так и не смогли наладить электрическое освещение — площадь Свободы, как и все ближайшие улицы, в сплошных руинах, уже с пяти часов вечера была в полной темноте.

Но 3 января удалось-таки подключить свет. Уже была привезена и установлена в актовом зале клуба большая елка. Ее украсили, как смогли, были гирлянды, чьи-то уцелевшие довоенные шары и звезды, игрушки из картона, на елочные лапы положили ватные комки — как будто снег идет.

Клуб и двухэтажное здание, примыкавшее к нему, старательно охранялись солдатами внутренней службы. В этом соседнем здании в те дни заканчивала работу комиссия, расследовавшая немецкие преступления во время оккупации. Приговоренные к смерти фашисты дожидались в подвале казни, она должна была состояться 9 февраля на бывшем ипподроме у реки Свислочь, где до войны был расквартирован и кавалерийский полк.

Самые лучшие старшеклассники минских школ готовились быть гостями и хозяевами карнавала. Горком комсомола бурлил, жил одной идеей: заветные пригласительные на первый городской бал молодежи должны попасть в руки отличников, примернейших, активнейших учеников. Не забывались и студенты первых курсов медицинского, педагогического институтов.

О бале-маскараде говорил весь город. В семьях, где девочки учились в девятом и десятом классах, мамы ночами шили карнавальные наряды из портьер, гардин, пододеяльников, а на оборки, рюши шла марля и бинты.

Вкус, запахи уже не военной, мирной жизни невольно кружили головы. Мечталось и хотелось неизмеримо большего, чем есть. А было еще голодно и холодно, были бездомность, детское сиротство, нехватка дров, теплой одежды. Люди, пришедшие с войны, часто ютились с семьями в подвалах и полусараях, в бараках, в отгороженных закутках под лестницами.

Но уже в сорок пятом для своих детей родители могли покупать рыбий жир. Горсовет напрягся еще — и стало легче добывать керосин. Учебники в школах к зиме выдавали уже не на пятерых, а на двоих. Все реже выключалось электричество в долгие зимние вечера.

Бесперебойно звучало радио по проводной сети, по-белорусски и по-русски. Пели Лариса Александровская, Галина Цепова, Рита Млодэк, пели Николай Ворвулев и Исидор Болотин, партию фортепьяно, как всегда, исполнял Тамара Миансарова. И настоящими праздниками у Забелл стали вечера с электролампой на голом шнуре под церковно-сводчатым потолком с причудливыми тенями, когда из ящика репродуктора на стене слышались голоса и музыка «Театра у микрофона». Тогда возвышенно страдал несчастный одинокий Король Лир — и в голосе актера Кистова были любовь и гнев, гордыня, гибельное одиночество. Тогда по-белорусски рассказывал Леонид Рахленко, как вредила немцам в Краснодоне «Молодая гвардия». По-белорусски же, правдоподобно и смешно, орали немцы-оккупанты, полиция, какой-то Шурка Рейбанд («Маўчаць!»). По-белорусски прощались на рассвете и все не могли проститься у балкона Ромео и Джульетта с голосами Бориса Платонова, ясным, твердым, и его жены Ирины Жданович, звеневшим, как серебряная фольга...

Но днем убожество и нищета жизни вокруг опять обступали со всех сторон. Собирали в ведра золу из протопленных вечером печек — ее надо было сдавать как удобрение для буду-

шего урожая, иначе не купишь муки. Городские власти бились над задачами почти неразрешимыми: как, например, накормить тысячи и тысячи детей без матерей и отцов в специальных приемниках, в детских домах?

Среди развалин между улицами Интернациональной и Советской, главной, стоял среди тополей чудом уцелевший двухэтажный детдом, чьих обитателей трудно было когда-либо увидеть возле дома или в окнах. Зато они коварно и жестоко били камнями из своих укрытий в руинах всех пришедших – и ребят, и взрослых, кто забредал на их территорию.

А этой территорией было все вокруг – вздыбленное и сгоревшее, разрушенное, покореженное, то, что подступало вплотную к улице с дворами и мячами, с гармониками и развешанными после стирки бельем, а главное, с голосами чьих-то мам и пап. И во дворах все понимали, просто чувствовали это:

- Лучше не лезь к тем, из детдома. Не договоришься.
- Ну почему?
- А потому. Они не любят ничего такого.
- Чего?
- Ну... Нас и всего нашего. Ненавидят.
- Сучата.
- Им нечего терять. И никого у них – только чужие, понял?..

III

Никто не знал и не узнает уже никогда, слышали ли в том детдоме, что будет карнавал на площади Свободы. А горсовет опять ухитрился сделать чудо: под елкой в зале клуба ждали гостей подарки и призы. Тут было то, чего нельзя было найти. Настоящие новенькие калоши, елочные игрушки, пакетики с конфетами-ирисками, карандаши.

Человек ввести могли бы хорошо, свободно чувствовать себя весь вечер в зале. Но пригласительных билетов пришлось раздать намного больше. Готовились к танцам под оркестр Белорусского военного округа. Готовились встречать знаменитых белорусских актеров – Жданович, Глебова, Платонова, Ржецкую. Пришло много молоденьких офицеров, уже демобилизованных и еще нет, у них никто билетов даже и не спрашивал: какой же бал без кавалеров-офицеров?

Входивших, возле лестницы, ведущей вверх, встречали двое: Арлекин и Кремль. Кремлем была стройная девушка в красном платье с зубчатым стоячим воротом, что должно было напоминать кремлевскую стену, с короной в виде Спасской башни. Другие девушки, одетые цыганками, просили загадать желание и сопровождали гостей до третьего этажа.

Вот здесь и был актовый зал, а сбоку, перед залом – гардеробная комната. В зале все было красочным и походило на забытый детский сон. Елка, огромный ватный Дед Мороз, две Избушки на Курьих Ножках, рисунки масляной краской на стенах. А в одной избушке сидел киномеханик и показывал оттуда мультфильм. Это было самое удивительное, все за эти годы позабыли про кино. Никто не обращал внимания на то, что коробки с пленкой, открытые, лежали чуть ли не под самой елкой...

Заметили – и сразу стали говорить друг другу, что пришла сама жена Пономаренко, первого секретаря ЦК. Пришли актеры минских театров, артисты филармонии. Начались викторины, игры, конкурсы. Весь бал вела массовик-затейник Цецилия Ионичева из горкома комсомола. Гремел оркестр, и танцевали медленные танцы – было так тесно, что для вальсирования парам приходилось становиться в очередь и, соблюдая этот порядок, кружиться вокруг елки.

Намечено было закончить бал сразу после одиннадцати вечера. Началось прощальное танго – «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...» И только некоторые, не спеша, двинулись к гардеробу. Человек триста оставались в зале.

Леокадия Забелла минут за десять или пятнадцать до этого

со своим давним знакомым Степаном Бирилло из белорусского театра драмы были уже в гардеробе. Оба с полчаса назад освободились после конкурса, где сидели в жюри. Бирилло предложил проводить ее к дому – тут было совсем близко до Интернациональной, метров шестьсот-семьсот; но темень страшная, везде развалины, и ни души вокруг.

– Выйдем спокойно, без толкучки, соглашайся, Леля.

Они не торопясь оделись, она чуть задержалась у большого зеркала. Когда были уже на лестнице, она сказала:

– Степа, тебе не кажется, что вроде дымом пахнет?

– Да, слышу, наверное, окурки в урне... Нет, что-то тут не так...

– Ой, лучше быстрее выйдем!

И они вышли. Стали смотреть вверх, на ярко освещенные изнутри окна – и скоро услышали крики, увидели мелькающие в окнах тени.

А в зале в это время был уже полный хаос. Одни продолжали танцевать, как ни в чем ни бывало, улыбаясь, как шутке, в ответ на чей-то голос:

– Пожар!

Другие в нерешительности остановились, готовые если не поверить этому, то понять, в чем же дело. Третьи успели заметить в открытых дверях темный дым со стороны главной лестницы и тут же услышали громкое и нервное:

– Товарищи! Только без паники!..

Это был человек в темно-зеленом кителе без погон.

Те, кто увидел в главных дверях дым, не решались бежать в ту сторону, тем более забегать еще в раздевалку перед лестницей. Они, а потом и другие, почти инстинктивно устремились к другим дверям из зала, но вдоль стен стояли отодвинутые туда стулья в три ряда.

– Уже вызваны пожарные машины, не волнуйтесь!

– Не открывайте окна! Огонь тогда пойдет еще сильнее!

Паника нарастала. Страх толкнул многих на сцену с оркестрантами. За сценой была комната для начальства и похожие на тупики тесные помещения без окон, служившие гримерными для артистов во время концертов. В эти глухие отсеки набились люди, уже почти парализованные страхом. Но молодые офицеры, не теряясь, вытаскивали их оттуда за руки, увлекали за собой вниз по узкой служебной лестнице.

Минута-две – и эта лестница тоже стала недоступной для тех, кто был в зале. Вспыхнуло пламя, горели ватный Дед Мороз и киноплёнка под елкой, занялась снизу и сама елка. Огонь рванулся вверх и в стороны – яростно, жадно, с гулом, треском.

Кто был посмелее, посильнее, выбивали окна, цеплялись руками за нижние рамы, мгновение висели, хоть немного сокращая расстояние до земли, и разжимали пальцы, летели вниз, надеясь, хоть бы и сломав ноги, остаться в живых. Нескольких офицеров, неизвестно когда успев взять в гардеробе шинели, растягивали их внизу под окнами, держа руками навесу; кричали вверх, чтобы прыгали сюда, здесь удар об землю был бы смягчен. Но прыгавшие все равно ломали ноги, позвоночники, разбивались насмерть. У этого трехэтажного здания был очень высокий фундамент, и прыгать приходилось, по сути, с четвертого этажа. А в тупиках-гримерных скованные страхом люди оказались отрезанными даже и от возможности добраться до окон.

Приехали военные грузовики, милиционеры. Пожарная была рядом, метрах в шестистах, на улице Бакунина, спускавшейся вниз, к Торговой. Но, приехав тоже не сию секунду, пожарники не смогли подключиться к воде. Пожарные лестницы с этих двух машин подали к окнам третьего этажа, чтобы по ним могли спускаться, – но спускаться уже было некому. Огонь внутри здания бушевал. Пол верхнего этажа провалился. Потолок на втором этаже тоже не выдержал. Наконец за-

работали брандспойты, водой пришлось заливать уже чуть ли не сплошные угли. Минут сорок пять, немногим больше — и все было кончено.

Стояла январская ночь, висела в небе полная луна, выбеленный снегом город в центральной своей части лежал холмами приснеженных развалин, без фонарей.

Как этот город узнал в первый же час о страшной беде на площади Свободы, неизвестно. Но узнал. Бежали к площади, едва успев одеться. Бежали, задыхаясь, никакого городского транспорта не было в помине. Отчаянные крики и летящие вниз, обезумевшие от страха, от удущья и огня, чудом сбереженные в войну, при немцах, дочери и сыновья, — этого нельзя было вообразить себе, но это-то и воображалось на бегу по ночным улицам.

Вот и эта площадь, наконец. Вот темный, дымящийся квартал со зданием госбезопасности и клубом имени Дзержинского. Выкрикивают имена своих детей, рвутся поближе к стенам, ко входу — и повисают с плачем на руках солдат из оцепления...

Грузовики, пожарные машины, каски пожарников, их шланги... Из темных окон с выбитыми стеклами ползет тяжелый дым — то черный, а то серый; слышны рыдания, нервные команды военных — и снова вопли, голоса мужские, женские зовут по именам своих детей, и снова люди бросаются на цепь растерянных солдатиков.

Кто задохнулся в дыму, в гари и в темени — ведь свет погас, когда стало гореть; кто разбился насмерть, прыгая с верхнего этажа на землю, расчищенную перед клубом от снега; кто умер уже в госпитале, обожженный, с сотрясением мозга, сломанными ногами, позвоночником, отбитыми внутренностями; а кто все-таки спасся, пробравшись с офицерами, со смелыми парнями туда, откуда можно было прыгнуть на близкую крышу здания во дворе.

Кошмар этого бала-маскарада остался уже навсегда с теми, кто уцелел. То, что было у кого-то перед глазами, и то, что другие слышали от очевидцев, то, что произошло на самом деле, — и слухи, домыслы, все скрытое властями в печати, в документах, — все это соединилось, переплелось, пронизало одно другое, свалилось в громадный темный, тяжелый, плотный ком. Там — и любовно, долгими зимними ночами сшитые для юных дочек первые карнавальные платья из купленного на Комаровском базаре парашютного шелка — в них девочки мгновенно вспыхивали, и от огня уже не убежать... Там и пальто для дочерей от ЮНРА или из американской помощи — они сгорели вместе с гардеробом, так и не взятые никем по меркам. Но там — и сгоревшая дочь коменданта этого клуба, Героя Советского Союза. Там — пожарники, кем-то и как-то вызванные в то же самое время, как нарочно, в другие места, даже и в Лошицу, чтобы тушить горевшие сараи; а ведь совсем близко, за Интернациональной улицей, в начале Опанского, размещалась еще одна пожарная часть в дореволюционном кирпичном здании — когда-то первое пожарное депо... И наконец — неумолимый дежурный госбезопасности за дверью перед лестницей, которая могла спасти людей, но вела в помещения, куда нарком Цанава строжайше приказал не допускать никого и ни за что.

А сколько потом говорили, вспоминали, пересказывали! О том, что тот, дежуривший у лестницы офицер, а с ним еще один, выбросились на провода с высоким напряжением, поняв свою вину. О том, что первыми вообще примчались не пожарники, а именно гбэисты — они спасали только ящики с бумагами, не обращая внимания на людей... И о том, что на подоконниках вверх, еще не решаясь прыгать, мальчики стояли, как зажженные свечи, у них горели рубашки, волосы, огонь сзади бушевал и гнал их вниз...

Люди в городе еще долго говорили друг другу все, что

знали о родителях погибших, о сгоревших детях, об увечьях выживших. Но ни по радио, ни в газетах, ни на собраниях — нигде ни словом этот карнавал-пожар не упоминался. И много месяцев прошло, пока зашептались: осуждены женщина, дежурившая в тот вечер в зале, начальник клуба, киномеханик, оставивший открытыми коробки с пленкой, и сын работника госбезопасности, куривший вблизи елки, бросавший спички где попало, — он якобы пошел в колонию, а позже, лишь исполнилось 16 лет, был снова осужден и сел в тюрьму...

Эту огромную беду Цанава засекретил как государственное политическое дело. Начались чистки в горкоме партии, в горкоме комсомола: там, оказывается, «оторвались от масс» и потому «не сумели обеспечить безопасности».

IV

Было часов десять утра, когда Сергей Забелла с Вовкой пошли на площадь Свободы, к скверу на ее высокой середине. Они хотели увидеть следы того, что было там, в квартале старых двух- и трехэтажных зданий этой ночью. Все во дворе уже знали о пожаре, гибели людей. И площадь сейчас к себе притягивала, что-то зловещее было там, идти туда не то чтобы хотелось, но вынуждало какое-то неприятное любопытство, беспокойство.

И они шли, молча, глубоко засунув руки в карманы, опустив головы в шапках-ушанках. Прошли полквартала по своей улице до площади. И дальше, вперед и чуть вверх, до ступеней к скверу на возвышении. Сero и зябко, ветер, лицо сечет снежной крупой. Взошли по каменным, полуразрушенным ступеням на белый холм с черными голыми деревьями. Слева — зеленый газетный щит, и от него аллея ведет прямо туда, где ночью был пожар. Нет, не пошли этой дорогой, сделали вид перед самими собой, что вроде бы хотят просто пройти по скверу, без всякого намерения, без цели.

Идут по главной, самой широкой аллее, огибаят каменную громадину разбитого фонтана. До революции, говорили, здесь был памятник Александру II — «комод».

Останавливаются у выхода из сквера. Прямо и вниз уходит улица Бакунина. В начале ее, слева — кафедральный собор, в конце и справа — военная комендатура и пожарная, мигалка-светофор на перекрестке с улицей Торговой. А здесь вот, возле сквера, слева, шагах в пятидесяти — тот квартал, где ночью и происходило все.

И они просто струсили и не пошли к тем зданиям. А ведь вокруг никого не было, не то чтобы военных или милиции, — даже прохожих. Дул слабый, но колючий ветер, сеялся косо мелкий снег. И было все вокруг каким-то сизым, неуютным, неприятным.

Остановившись, морщась от холода и ветра, они смотрели на дома, среди которых был выгоревший внутри ночью клуб. Облупленные, с подтеками от пожарных брандспойтов стены, закопченные разбитые стекла окон, разломанные двери.

А левее, у низенького деревянного ограждения сквера что-то уложено в ряд, прикрыто уже заснеженным брезентом или еще чем-то... может быть, десять, может быть, двенадцать, если посмотреть подольше.

Но они больше не смотрели.

Они поняли.

Поземка заметала это. И что-то было в этом настолько неподвижное, не вязавшееся ни с чем, что они не столько поняли, сколько ощутили: мертвые люди.

Мертвые люди, трупы, скорее всего, обутленные, черные. Их положили тут, сложили, как чурбаки. Лежат пока вот так — значит, за ними вот-вот приедут, будут грузить в машину, в кузов...

Надо уходить.

И, не сговариваясь, так же молча, как пришли сюда, они потопали назад, домой. Дома об этом тоже не говорили, не хотелось. Каждый уткнулся в свое, а потом уже надо было собираться в школу. Кто-то пьяный во дворе тянул пропитым

голосом на мотив патефонного танго «Брызги шампанского»:

Новый год,
Порядки старые,
Колочей проволокой наш лагерь окружен...

В то утро они первый раз после войны видели мертвых. Ни тел, ни лиц как следует было не разглядеть. Но мертвых они все же видели – да, видели, и никогда уже не могли забыть этого.

Месяц шел за месяцем. Тонкий золотой рожок в черной чугунной стыни над головой полнел и ширился, а то наоборот. Мать говорила:

– Ты приставляй к лунному серпику палочку слева, и будет «р» – растет, или «у» – убывает.

Порой над крышами сараев стоял и полный круг луны, близкий и тяжеленный. При слове «полнолуние» думалось про ту ночь, когда на площади Свободы горели люди, и мать спаслась.

– А когда месяц молодой и тонкий, еще растет, надо звенеть деньгами в кармане и целоваться, тогда будешь богатым и любимым. Так я запомнила от мамы, твоей бабушки.

Таял снег; опять обнажались бурые нагромождения руин, наводили тоску своей бесконечностью. Но все же там, в развалинах, тархтели экскаваторы, отваливалась нижняя челюсть их зубчатых ковшей, и самосвалы вывозили горы битого кирпича. Пленные немцы тряпичными куклами болтались на тросах, раскачивая и сваливая в конце концов остатки стен и дымоходы. Саперы толом взрывали подвалы, и в близких домах опять, как при бомбежках, наклеивали крест-накрест бумажные полоски на дребезжащие оконные стекла. А на улицах появлялось все больше заборов, пахнувших свежими досками, все больше деревянных тротуаров с навесами и козырьками.

V

Но то, что было в январе на площади Свободы, – не забывалось. Минск, еще страшный, развороченный войной, не мог никак забыть того пожара, того ужасного карнавала, который называли «новогодний». Кто утверждал, что сперва вспыхнуло под елкой, где стоял большой Дед Мороз из ваты. Кто настаивал, что дым все-таки повалил с лестницы, снизу. А кто повторял, что ребята, прыгая с подоконников горящего зала, даже пыгались как-то долететь до водосточной трубы, чтобы по ней сползти на землю, но труба оборвалась... И без конца в домах и во дворах, в очередях, на огородах, на базарах слышалось:

– Цанава двери запасные позакрывал – ну, и конец всем...

– Он же спасал свои секреты, не детей...

– Цанава со своими в огне не горит, в воде не тонет!...

– А сам, если по улице надо пройти, идет по середине, не по тротуару, и всем машинам – стой!...

Никто не знает, как Цанава удержался на посту после пожара и стольких смертей в квартале своей резиденции. Мало кто знал о том, что он придумал после такого удара по своей репутации, чтобы подобное не повторялось. Но мысль о том, что это был не просто случай, а диверсия, его не оставляла.

Через три месяца он после наркома стал именоваться министром. И надо было теперь крепко, долго думать, как обезопасить свое министерство безопасности от... ну, допустим, случая, хотя мы *ПАНЫМАЙМ*, что без врагов не обошлось...

Тогда и придумал он иметь свои глаза и уши возле людей, живших поблизости и бывших в оккупации. Ведь, что ни говори, а три года под немцами проживши, можно такое в голову себе забрать, что ого-го... Кто-то из таких разумников уже тянет за это срок в местах далеких и надежных. Но здесь, в их семьях, могут быть особенные настроения, их надо знать, надо интересоваться. Тем более, если такие семьи живут вот тут, в шагах от министерства. Ведь получают письма, пишут сами, это не секрет. А что говорят у себя дома, во дворе? Та атмос-

фера, в которой растут их дети? И кто к ним ходит, круг общения?

А тот пожар на новогоднем бале в клубе у Цанавы еще сильнее подтолкнул главу республиканской безопасности к тому, чтобы покинуть эту проклятую для него площадь Свободы. Съехать отсюда, чтобы ее больше не видеть. Съехать и строить на новом месте. Конечно, тоже в самом центре города – вот там, где с давних пор так по-хозяйски располагается министерство внутренних дел. Да, рядом с ним. Чтоб уже сомкнуться и замкнуть...

Отсюда и берет начало история дворцового ансамбля безопасности Цанавы на минском проспекте Сталина. Так начиналась та эпоха второго, послевоенного, рождения Минска. В нем теперь все планировалось и возводилось заново, красиво и просторно. Но центром возрождения города из пепелища, пупом его архитектуры был этот дворец, круглые сутки при Цанаве охранявшийся часовыми.

То ли еще в войну, то ли накладка в памяти произошла – и позже, уже в другой пещере деда, на Интернациональной, но виделось отчетливо: большая книга – и еще одна, где барельефные и скульптурные портреты Ленина и Сталина заштрихованы черным карандашом, да, заштрихованы. Но и Ленина, и Сталина сразу узнаешь...

Деду, художнику, наверное, приходилось и немецких офицеров рисовать: их же была тьма тут, в довоенном Доме правительства, громадном, будто город в городе, в тогдашнем небольшом Минске. Надо же было как-то жить с новой женой, маленьким сыном. Нужны были немецкие марки, нужны были «заказы». И, может быть, заказчики из офицеров бывали тут, сидели и позировали, как сейчас в парках и подземных переходах. Но ведь нельзя было позволить им листать те книги, где Ленин-Сталин были как иконы.

А после войны, когда немцев прогнали, эти книги тем более нельзя было показывать кому-нибудь: Ленин и Сталин, звезды и гербы СССР, Кремль, Мавзолей, затушеванные черным карандашом... да вы с ума сошли, под немцев тут подлаживались, что ли, вражьи души?

Все это ниоточкой, цепочкой вытягивалось из того мгновения прошлого: детство, война и редкий выход в город с улицы Толстого – и домик деда возле большущего Дома правительства.

Теперь здесь площадь Независимости. А тогда дед Забелла жил по адресу: Советская, 20, куда для конспирации и слал свои карандашные письма замужней Леокадии Забелле бывший зарубежный нелегал, чекист «Аля».

Все это, если захотеть, если умело взяться, можно было представить как интересный материал в Министерство Государственного Бдения, людям Лаврентия Цанавы. Тем более, что бывший, довоенный муж этой певицы был в Минске в оккупации, работал тут на бирже труда, за что и поехал на десять лет в Воркуту. Но если сам он далеко уже, то его бывшая жена и сын – здесь, близко, теперь уже на соседней улице Интернациональной. И ненавязчивый, но бдительный к ним интерес не помешает – просто на всякий случай, ну зачем же думать нехорошее?

Вот так, на всякий случай, во дворе домов на этой улице стал появляться неприметный худенький паренек, что жил где-то неподалеку. Завел знакомства здесь, стал приходить, сидеть на лавочке по вечерам, когда там начинали свой «базар» и взрослые, и дети. Скоро он стал привычен для всех глаз. Все его видели, зато никто толком не знал, к кому, зачем и с каких пор стал хаживать этот «тощага», как его прозвали.

Вот интересно, что он тогда видел? Как все это подавал туда, через квартал, за сквер на площади Свободы, в тот уцелевший после всех бомбежек – и немецких, и советских – облупленный серый торт, слепленный из еще дореволюционных зданий?



Лев Бертин

ГОСПОДЬ СЕГОДНЯ В НАСТРОЕНИИ



* * *

Я расскажу о том, как
без фонаря в глуши
бродил, бродил в потемках
чужой чуднОй души.

Себя уничижая,
могу признаться я :
душа та – не чужая,
душа была своя.

ИРЕ

*В Америке граждан, достигших
определенного возраста, называ-
ют seniors – "синьоры".*

Кислый вкус у яблока раздора.
Слава богу, все у нас в порядке.
Мы с тобой синьоры-Помидоры, –
овощи, цветущие на грядке.

Что у нас там в ящике Пандоры –
седина, таблетки и очки?...
Ты и я – мы оба – Помидоры,
гладенькие, розовые щечки.

Время потревожит нас не скоро
чередой шагов своих балетных.
Я синьор, а ты – моя синьора.
Оба – из семейства многолетних!..

* * *

Шум дождя, как жалоба ребенка...
Жалко, господа, что нет вас там,
где неспешно мокрая гребенка
по траве прошла и по кустам.

А еще она прошла по душам,
потревожив наш привычный быт.
...Сад умыт, причесан и надушен.
И ребенок, улыбаясь, спит.

МОИМ ДЯДЬЯМ

*"А тот, иной, но пусть он ждет,
пока мы кончим ужин"...*
А.

Не уходите, слышите, дядя.
Из той страны, похоже, нет возврата.
Пусть кто-то, не спросясь, листает даты
и манит, манит в дальние края,..
не уходите, слышите, дядя.

Давайте лучше сядем-ка за стол,
не торопясь, как много раз бывали,
и примем потихонечку по сто,
как по пятьсот когда-то принимали.

Как метроном, стучит в тарелке нож.
Как костерок в ночи, роднит беседа.
Вы мне еще расскажете про деда –
я на него ни капли не похож.

Его лишь ваша память бережет.
Лишь нам одним тот разговорец нужен...
А тот, иной, но пусть Он ждет,
пока мы кончим ужин...

БЕЛОРУССКИМ ДРУЗЬЯМ

*Когда говорят пушки,
музы молчат...*

Молчите, музы, если правосудие
безмолвствует который год подряд.
Молчите в грозный час, когда орудия
без пауз на трясянке¹ говорят.
Жизнь удалась! Где будем делать талию ?
А вас, далеких, пусть судьба хранит.

¹ Смешанный язык на основе белорусского .
Возник как средство общения между городскими и
сельскими жителями.

Молчи, Эвтерпа¹ не усердствуй, Талия².
Одна пусть Мельпомена³ говорит.

Уехал я, лишился права голоса.
Ну, что же, поделом мне, подлецу.
Но не могу смотреть, когда за волосы
или когда – ногами по лицу...

CHATTANOOGA CHOO CHOO

*Чаттануга Чу Чу – железнодорожная
станция в штате Теннесси, ставшая широко
известной в конце 30-х годов прошлого века
после появления одноименной джазовой
композиции Глена Миллера.*

Эти поезда никуда не торопятся.
Что им торопиться, куда?
Этих шпал и этих дней чересполосица
тянется к нам через года.

Что им, поездам, в догонялки детиниться,
белый дым пускать на ура?
Где шумела станция, нынче гостиница,
в поездах теперь номера.

Далеко ли, близко ли все перемелется.
Выйди подышать на перон.
Станционный колокол даже имеется,
тот, – из "черно-белых" времен.

Отзовется солнце в асфальтовых лужичках...
Отзовется старая медь
не служебным звоном, но, если прислушаться, –
музыкою (джазом, заметь).

Все давно оплакано и все оплачено,
каждому маршрут свой рейс.
К будущему прошлое наспех прихвачено
нитками железными рельс....

* * *

Pume C.

Пишу для рифмы (и не только) Рите.
Жизнь по ночам я вижу без очков.
Цветные сны мне снятся на иврите.
В них мир горяч, криклив и бестолков..

* * *

*Там плачет женщина,
я был когда-то с нею...
В. Коротич*

*Теперь пройду и даже не узнаю...
А если и узнаю, не окликну...
Окликну если, что я ей скажу ?..*

RIVIERA MAYA Диалог

В предверьи мая
ревела мама :
«Riviera Maya,
Riviera Maya».

– Куда ты, доча?
Скажу любя :
“**Buenos noches**”
не про тебя.
Тебе, дурехе,
еврея мало?
А та на вдохе:
– Riviera Maya.

– Какой бикини?
Какой шезлонг?
Тебя там кинут –
и всех делов.
Учеба как же?
Карьера, Маня?..
Той, что не скажешь –
– Riviera Maya.

Riviera Maya.
В траве ладошка.
Ревела мама.
Ревела дочка...

¹ Муза лирической поэзии

² Муза комедии

³ Муза трагедии

ТОЛИКУ, МИШКЕ, РОМКЕ

Моне

*Нас много. Нас может
быть четверо...
А. Вознесенский*

Четыре масти на виду
тасуются в колоде.
Четыре времени в году
отмечены в природе.

Писатель редкого ума,
поживший и матерый,
старик Дюма назвал роман
"Четыре мушкетера".
Не три, не пять... Там, под пером
история чудила...
Играли "Битлы" вчетвером –
неплохо выходило!..

* * *

*"God's in a good mood"
Плакатик у дороги*

Господь сегодня в настроении,
спешите с просьбами к нему.
Об урожае, вдохновении,
о мире в собственном дому.

Об избавленьи, исцелении
от боли, что сидит в груди.
Господь сегодня в настроении,
а завтра... знает Он один..

* * *

Аава (иврит) – любовь.

АавА кругом, **аавА**.
Говорят о том мне – трава,
над травой – золотая листва,
над листвою – синь-синева...

О любви одной те слова.
АавА права, **аавА**.
И, когда **любовь** не права,
и тогда права **аавА**!..

Кто едет в Мекку, а кто в Мексику.
Ну, что ж, у каждого свой хадж.
Ты загляни любому в метрику,
поймешь, любой не без греха.

Как будто лампы Аладина,
вам светят Мекка и Медина.
(Где, говорят, не нужно виз).
А нам – Панама и круиз.

Что может дама видеть в щелочку,
когда на голове никаб?
А наши здесь, откинув челочки,
Глазеют, спасу нет никак.

Все знают, даже и невежды, –
на вас там белые одежды.

Но тайны нет и от невежд,
что мы тут вовсе без одежд.

Вы о души спасеньи молитесь,
в экстазе чувств входя в пике.

А нам звонил сегодня Мони тесть,
сказал, что все у них О'Кей.

Нам алкоголь в жару привычен.
Несимметричен, симпатичен
без жертв, хоть и не без греха, –
таков ответный наш джихад!

* * *

На улице пахло серой.
То ли машина проехала,
то ли черт пробежал,
стуча копытами....

* * *

Пете Г.

Петры когда-то шли в апостолы.
Цари Петры стучали по столу.
Но нынче уж не тот замах...
Родные минские, московские,
ах, наши Пети не таковские.
И никакие не Чайковские.
(Что дамам нравится весьма...)



Мартин Мелодьев

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ



O Rus!
Хор.

2

Казалось бы, художнический долг
запечатлеть страну, в которой даже
тамбовский волк без мафии не волк,
а моська в светло-сером экипаже.

Армейские казармы, КПЗ,
канарский рай, турецкий марш гетеры.
Казалось бы, ну что они тебе,
этюды на лирические темы?

«Когда в кругу убийственных забот
нам все мерзит, и жизнь,
как камней гряда,
лежит на нас – вдруг знает Бог откуда
нам на душу отрадное дохнет...»

(Тютчев)

1

Сыграй мне, дождь!, серебряный тапер,
аккордов ряд, разбитых и неточных,
на потемневшем пластике лотков:
табачных, винно-водочных;
цветочных.

Сыграй мне дом,
где вырос я и где
накрыт сегодня, как во время оно,
стол, за которым все мои друзья;
цейлонский чай и золото лимона...

О дождь! Я не хочу быть остряком.
Ни сочинять «персидские» мотивы.
...Сыграй мне в одиночестве квартиры
этих на тему «Осень на Морском».

Ее лицо
смотрело как Луна на Млечный Путь,
а ночь была темна,
и это было так непоправимо!
Марина!... это было так давно.

Давным давно,
и станции той нет.
План Гоэлро провален, и в Кашире –
когда-то наша – молодость в эфире
витают, не попав на Интернет,
над городком, где к шапочкам-шарфам
идут:

берез коричневые листья,
стеклянных сосен дымные соцветья
и чуть морозом тронутый шафран...

3

Я к Вам пишу... Вдали араукария
гоняет над газоном мошкар,у,
крутя ветвями, как початок догов
размахивать бы мог, когда бы мог он
размахивать хвостами на ветру.

Чего же боле... Парадокс секвой:
могучий ствол и женственная крона,
нависшая над самою кормой
недавно арендованного дома,
как макраме. Когда бы дом был мой,
я указал бы также номер дома.

Кому повем? Сын герцога в тюрьме.
Ему там дали чашку, ложку, кружку
и адвоката. Лучше б дали мне:
по крайней мере выпили б кларету.

Мой генерал! Как не тужить корнету?
Барух-ата, ...налейте водки мне.

ВЗДОРЫ

повесть в частях

1. ДИСТАНЦИОННЫЙ СМОТР

Блаженны пролетевшие дуплетом
Москва — Новосибирск — Москва ...
Дуб. Летом. Зеленый. —
крикнул мне под Муромом: «Зима!!»

...Четыре станции свели меня с ума.
Забуду ли Корёгу, Секшу, Соть?
С проводником Валандой Лаводарских
мы толковали о Буонаротти,
а поезд шел, расталкивая ночь.
...Я видел, как по станции Корёга
прогуливался Лишний человек.

Над Сотью мы стояли пять минут,
и выходила к насыпи собака,
держа в зубах дымящуюся пасть.
Известно чем порадовала Секша...

А поезд мчался, скорость набирая
вдоль темных окон станции Любим.

2. СОН НА РЕТРОГРАДСКОЙ

Пришла пора предаться сожаленьям,
оглядываясь в сотый раз назад,
о жизни, схлынувшей нагроможденьем
географических названий, дат.

Так по сибирским рекам ледоход
на Арктику натаскивает льдины
и топит их, пройдя ло половины,
входя в азарт.

Крутятся, относит черная вода
знамена снега и плакаты льда,
...блескучая ограда голых веток
с приклепанными к ней снежками звезд...
Я сплю.

Мне снится Бродский,
он же Дрозд,
и Георгины первых пятилеток.

Я верю в расписанья поездов.
Они не врут! — и с этими словами
Отечеству, за неименьем няни,
я посвящаю следующий Вздор.

3. РЭПСОДИЯ

Ты помнишь бесконечную дорогу,
где по краям ромашки да ковыль?
Мы от нее отходим понемногу...
Еще чуть-чуть, и были таковы
прогорклый запах тлеющих снегов,
работницы в шальварах из ватина
и, цвета ржавой крови, паутина
на железобетоне городов.

Дорога вьется... голые поля,
вороньих гнезд стрелецкие слободы,
вдали Владимир «...и писал бы оды,
да Ольга не читала...»

— О-ля-ля! —
стучит рояль, как дождичек по крыше,
фаллический журавль зажат в руке...
Мы — призраки!.. Белеют наши ниши
на голубом, как небо, сквозняке.
На сквозняке...

В железных лапах гарпий,
влеком к тысячелетью рубежам, —
мартиролог российских биографий:
Цветаева...

Высоцкий...

Мандельштам.

А с тумбочки, как маленький казах, —
таращится будильник, цепenea,
туда где цепью гименея бредут слепцы.

4. ХРАНИ ТЕБЯ АЛЛАХ

СТРОФЫ

Недели плывут по волнам четвергов,
абзац. Человек — машинист рычагов,
он думает, стоит налечь на пейзаж,
как будто прочесть «Отче наш» —
и вдруг разольются как море огни,
и хмуро завьются над ними дымы;
и белое небо: сахара песка,
куда отступает тоска,
зане человек — машинист рычагов;
но Солнце закатывает глаза
обратно в глазницы: и сиз кипарис,
и рубит пространство лоза.

1

Свободный художник Илья Эмигрант
рисует сантехнику горных дубов,
корявые фланцы ветвящихся труб
кривят уголки его губ;

Ночной концерт

три трака в Лас-Вегас бегут под уклон:
он смотрит на них под углом,
как белая лошадь со склона горы,
а в небе летают орлы.
И школьница Барби плетется домой,
глотаю одну за одной
тетради, в которых сплошные колы —
а в небе летают орлы.

2

Окно в USA прорубив, Елисей
батрачит на фирме, клонируя код
эпохи застоя... Бродячий славист
сидит на панели, читая доклад.
Абзац. Человек-машинист, — Рычагов
имел управления без году год,
и-мейл, по-английски: «ис из кипарис»,
и солнце на северо-за-
паде чуть блестит, как машинка для за-
кручивания банок... Закат.

3

Сняв голову с плеч, воевода Мороз,
начальник борейской страны,
пьет водку в единой семье воеводств
от Вологды до Костромы;
недели плывут по волнам четвергов,
и автор, как Мариенгоф,
мечтает роман сочинить, без вранья:
«Перу не хватает сырья».
Мой верный товарищ!.. Махая крылом
в степях аравийской земли —
я из лесу вышел, дул сильный норд-ост...
Такие ветра замели.

СТОРОЖЕВАЯ

Elle ete forte desabille,
Et des vieux arbres indiscret
Au vitre...
Rimbaud

Вневедомственная охрана!
Перо тебя упомянуть
не в силах не. Не где-нибудь,
а на посту младая грудь
впервые вышла из тумана
чего-то газового... О!
Скрипи, нескромное перо!

NN, наш друг-искусствовед,
предпочитал места люднее:

к примеру, клубы победнее
иль ЖЭКи, на худой конец.

Он пудрил там мозги народу,
а нас тянуло на природу.

И то сказать, ну кто из нас
в глухой сибирский зимний час
у кипятильника с тоскою
не бдел в застойные года?
не подпирали щеки рукою?
Куда все кануло?... Туда.

В.Д.Н.Х., У.В-К.Х. , et cetra...
все не без греха:
мы сторожили, и за это
Кудимов не осудит нас.
«Она была полураздета
и со двора нескромный вяз».¹

А все же самый лучший пост
был: стройка нулевого цикла.
Еще ни шпатели, ни цикла
ее не тронули корост
бугристых... глинистая охра,
сторожка, телефон... о, Вохра!

СУВЕНИИ

Souvenir, souvenir. Que me veux-tu?...
Верлен

Как резко отличаются от янки
в калифорнийском парке китайки,
как весело стучат их каблуки!

Они идут, счастливые как пони,
подставив ветру щеки и ладони —
а мне все снится город у реки:

Березы в белых ягодах дождя,
промокшие от ветки и до нитки.
Вокзал; сырые челюсти метро...

Ларек «Альтернативные Напитки»
и Опер-группа в бронзовых пальто.

Холодный день глядит на злобу дня,
И облака, сошедшие со сцены,
плывут вдали как белые сирены.

¹

«Она была полураздета,
И со двора нескромный вяз...»

Пер. М.Кудимова

...«Чего ты хочешь, память, от меня?»

Здесь чайки разделяют целиком
игру воздушных масс над океаном.
Здесь горы и дома цветным туманом
слизнуло, как корова языком.
Граненый морем остров Алкатрас,
как Ленин в шалаше, торчит в Заливе.
Здесь русский дух, что б там ни говорили.
«Там чудеса...» Особенно без нас.

Брожу в лесу, и сердце птицей тянет
на ржавчину — господствующий цвет
отечественной мысли: как ботаник
в рефургиум, уйдя в словесный бред.

Такие дни бывают, чтоб в тоске
их провожать под шорох листопада.
...Фаянсовая накипь винограда
блестит, как жир, на горном шашлыке.
В лиловых елях небо надо мной...
Сказать «люблю» — язык не повернется
над Русской речкой...

Вольный житель США,
вернусь ли я когда-нибудь домой,
в края воспоминаний и сиротства,
где на глаза, как слезы, навернется
то первый снег, то замша камыша.

УКРАДЕННЫЙ ДЕД

1

Украина, год 1902-й,
между англо-бурской и русско-японской войной.
По центральной улице Кременца
заблудилась и спит овца.

Этот город, горой прикрывавший грудь —
побратим Сан-Марино; один из двух,
завернувший монголам оглобли вспять...
не мешающий овцам спать.
Царство вскорости рухнет, ну а пока
в церкви сорок второго Якутского, брат, полка —
офицерно. У дамы в руках букет,
и в крестильной купели — дед.

Господин подпоручик из юнкеров,
молодецкая кость, голубая кровь,
выходящий в отставку, сложив добро,
у Еврейского кладбища ходит-бро...
Делать в городе нечего все равно:
бывший польский лицей под замком давно,
магдебургское право легло на дно,
от насельников Лавры¹ — в глазах темно.

...Продолжительно смотрит на письма
подпоручик, рвя барбарис.
Тут же сын его, дед Борис,
совершенно не в курсе отцовских тягот,
колупается в красных гирляндах ягод.

3

Хорошо и Бердянской бредя косой,
наблюдать над лиманом встающий свет:
вечерами — арбуз, по утрам — рассол...
Императорских корпусов кадет —
это кто в гимнастерке, один как перст,
называется военспец ?

Сквозь решетки акаций — как будто знал,
что другие решетки за ним придут —
“Дон Сезар, — говорите вы, — де Базан”
с Маританой — гулять идут.

Огоньками буксиров сигналит рейд,
ночь сомнительна и нежна.
Моей бабке Марии семнадцать лет...
Ну какого им всем рожна !?
“Ау!” — зову деда. Но деда нет.
Потому, украденный дед.

¹ Почаевской



Валерий Дашевский

КОРИДОР



Быть может, в недалеком будущем всех в самом деле расселят в изолированные квартиры, но Феликс говорит, что ему торопиться некуда — он, мол, сто раз выкрутил бы себе изолированную, если б захотел, и это, похоже, правда, как и все, что он говорит, даже если хватил лишнего. Второй такой, как его теперешняя, ему, конечно же, не найти — в министерских домах не спускают глаз с соседей, каждый суется не в свои дела, а где еще найдешь квартиру, где тебе фактически принадлежат четыре комнаты, причем отдельные; властям, пожалуй, пришлось бы всучить ему ордер с милицией и понятыми, а еще верней, что в последнюю минуту он выменял бы себе еще худшую дыру где-нибудь в Столешниковом переулке, где потолки осыпались, разбиты дверные косяки, где в свободные комнаты вносят коляски, корыта, лыжи и прочий хлам, и тотчас прибрал бы к рукам полквартиры, приплатив жильцам, чтобы не открывали рта, и тогда его гости курили бы на общей кухне или у входной двери с десятком звонков на панели, и сам черт не разобрал бы, кто приехал, а кто уехал. А пока, если негде убить вечер, можно зайти к нему на Малую Грузинскую и, если его нет, поболтать с его женой Наташей в ожидании, пока он заявится, но обычно он дома — он хороший отец и, трезвый или пьяный, предпочитает возвращаться до темноты. Ну, а когда он возвращается, услышишь, если и не захочешь: внизу, во дворе, в промозглых сумерках гложет мотор, бахают дверцы и Феликс командует таксисту, чтобы тот отпер багажник голосом, который слышно на пятом этаже, и через минуту-другую появляется в дверях — огромный, белозубый, нагруженный свертками по подбородок, а позади приезжий армянин тащит ящик с соками феликсовым детишкам. Если армян несколько, забавно смотреть, как они разбирают феликсовы шлепанцы сорок шестого размера, суеться вокруг Феликса, заполнившего собой прихожую; тут же

вертится сынишка Феликса и дочь жены, говорят по-русски и по-армянски, половины не поймешь, зато знаешь, что это единственный дом, где тебе сразу нальют полстакана коньяка и спросят, как она, жизнь — единственный и, скорей всего, последний. Вот именно. Феликсу лет под сорок, хотя по нем этого не скажешь, и похоже, он невысокого мнения обо всех нас, о Москве и москвичах, хотя по нем не скажешь и этого. Поначалу трудно было понять, чего он хочет, когда велит жене запечь в духовке рыночную свинину, которую режет сам, а сам, хочешь ты или нет, несет из комнаты, где нечто вроде склада, немецкое пиво в жестянках, коньяк — бутылочный или отлитый из канистры — аперитив или яичный ликер, бразильские орешки или фисташки из Израиля с ценниками с Драгомиловской, все, за чем едут к нему из Еревана, Киева, Калининграда и Новосибирска, и только тогда садится против тебя на табурете, здоровенный, в майке «Адидас», полистеровых брюках и шлепанцах на босу ногу, и, усмехаясь, смотрит, как ты пьешь, или лениво поглядывает в сторону жены из-под полуприкрытых ресниц, а то вдруг шлепнет ее по задку, чтобы ворочалась побыстрее. Похоже, он не хуже нас знает, как отзываются о нем наши жены в наших домах — все эти пересуды десятилетней давности, что его деньги — грязные и сам он — грязный рыночный армянин, и что его не пускали бы на порог, если бы не бедняжка Наташа. Быть может, поэтому ему доставляет такое удовольствие задаривать тебя перед уходом, пришел ли ты на час или на минуту, по делу или без, чтобы твоя жена знала, что ты — от Феликса. Не было случая, чтобы кто-то из нас убрался от него с пустыми руками, кто бы не испытал минуту вовсе не свойственной нам непонятной стесненности от феликсовой тяжеловесной щедрости, сколько не отнекивайся; мы берем, хотя эта баночная ветчина у нас на

столах не переводится, мы не бедны, мы вовсе не бедны. Трудно сказать, что он думает при этом. Может быть, он одаривает нас также спокойно, привычно и естественно, как звонит из своей обшарпаной передней в «Космос», или «Битцу», или в загородный мотель, чтобы устроить на ночлег своих приезжих приятелей, записывает номера телефонов на обоях, ставит жестянку с окурками на соседкину плиту или говорит, что пора выпить за его погибших друзей. Что за друзья и отчего они погибли, мы можем только догадываться, как и насчет того, чем Феликс занимается на самом деле или почему его соседка никогда не выходит в общий коридор в эти вечерние часы. Вообще он любит слушать, шумно дыша и поглаживая по голове сынишку, а если речь о делах, тотчас отсылает его в гостиную, а с ним и дочку жены; в гостиной видеоманитофон, стенки с книгами, велюровые кресла, бра, ковры — но Феликс предпочитает кухню. О своем прошлом он не распространяется, усвоив, что в Москве нельзя верить некоторые вещи посторонним.

Одно время мы были уверены, что он ищет знакомств, как каждый провинциал-южанин, пока не выяснилось, что его возможности значительно превосходят наши, и тогда мы сошлись на том, что ему нужно, чтобы жена не потеряла компанию и его дети водились с приличными детьми, вообще чтобы все было прилично. Говорит Феликс почти без акцента, только по его приятелям, да по тому, что Наташа не садится за общий стол без спроса, знаешь, что он — армянин. Одевается он шикарно. В кабаках больше молчит, шуруется, пьет не пьянея и курит почти беспрерывно, выложив перед собой на стол собственную пачку «Данхилла»; поневоле задумаешься, что у женщин он пользовался бы бешеным успехом, если бы захотел, и просто не знает себе цену — или, наоборот, слишком ценит себя, чтобы изменять жене. Пьет он действительно много, пьет часто, в последнее время пьет его жена, излюбленная тема наших жен: кто из них сопьется первым. Конечно, они прекрасно знают, что не сопьются ни он, ни она, он — раз не спился до сих пор, она — вернее всего, потому, что побоится. В последнее время она, как правило, навеселе к середине дня, ездит по гостям, и, как ни странно, зачастила в церковь, но все равно всем ясно, что с Феликсом ей повезло, даже если она не говорит об этом. Все знают, что он содержит ее родню и, если поколачивает ее, тут же дарит ангорскую кофту или норковый жакет, в котором она щеголяет

следующую неделю. О Феликсе мы знаем больше от нее — что он, к примеру, окончил авиационный институт и до сих пор читает научные журналы; жены — давнишние ее подруги — вспоминают, что когда она была в первом браке, они были бедны, как церковные мыши, и на Наташке не было лица, пока не появился Феликс и не спустил ее мужа с лестницы; потом, он, кажется, дал мужу денег, чтобы тот не появлялся вообще и записал девочку как дочь — какая, в конце концов разница, если он мог себе это позволить? В конце концов, это дело Феликса. Это не наше дело, потому что Феликс платит всегда и за всех, кто у кого бы не собрался, платит привычно, полупрезрительно, не позволяя платить нам, кажется, все мы за тем и собрались, даже норовит заплатить таксисту, когда идет провожать тебя до стоянки у Тишинского рынка — в тех же полистеровых брюках, в валяющихся у вешалки для таких случаев сапогах морского пехотинца, оставшихся у него с армейской службы, в канадской, подбитой мехом, куртке, расстегнутой на разгоряченной груди, даже если кругом снег — с непокрытой головой, руками, спрятанными глубоко в карманы, стоит и смотрит, как отъезжает машина. Днями он заимеет свою, он берет кооперативный магазин. Уже два года, как никто из жен не говорит, что он опасен и с ним страшно иметь дело.

2

Наташа, кажется, несостоявшаяся актриса, без косметики, после ночной попойки выглядит на полных тридцать семь лет, другое дело, когда она при параде: у нее русые волосы с отливом, то уложенные тяжелым узлом в стиле старой русской аристократии, то экстравагантно взбитые, макияж броский — розовые тени, алый рот, при ее бижутерии и бриллиантах, прямой спине, точеной шее никогда не подумаешь, что у нее двое детей. Одно время, когда у нее завелись деньги, она усиленно следила за собой, пока до нее не дошло, что в кругу денежных людей не разводятся даже с неряхами; прежде она искала кремы, косметичек, зал для аэробики, абонементы в бассейн для себя и детей, теперь все больше говорит о точечном массаже, медных браслетах, головных болях, ну, и, конечно, о том, где они были с Феликсом — о шведской и корейской кухне, о Пицунде и Дагомызе. Когда она приезжает в гости, навеселе, в середине тусклого, невралгического дня, заранее чувствуя себя виноватой, дарит подарки детям, забывает вещи

в такси, по-прежнему берет по пять-шесть кофт, когда идет распродажа на чьей-нибудь квартире, особое внимание уделяет нижнему белью, которое так будоражит Феликса — он прямо как мальчишка, дорывается до нее, где ни попадя, лишь бы рядом не было детей. О соседке она помалкивает, но никому не составляет труда сопоставить детали трехлетней давности, благо обо всем этом она говорила раньше: то, что соседка одинока, мелкая служащая и одно время была без ума от Феликса, и после обыска в их квартире не покидает комнаты. Лучше молчать о том, как оно было, тем более, что сочувствия ждать неоткуда, подробности отпугнут подруг или дадут новый повод пересудам, безвоздушное пространство образуется вокруг нее еще раз, а снова быть парией у нее нет сил. Три года назад к ним в самом деле пришли из ОБХСС, и, пока длился обыск, она сидела у погашенного телевизора, прижав к себе детей, полумертвая от ужаса; Феликс зашел в гостиную только раз за своими документами; наконец, она услышала, как мужчины выходят из квартиры. Феликс вышел с ними на лестницу. Он вернулся через минуту. «Обошлось, — шепнул он ей, обдав ее щеку горячим дыханием, — надо же, я, как знал, не взял ни ящика на этой неделе!». Он стоял в полутемной прихожей, прижав ее к груди и переводя дух. Потом легонько отстранил ее и подошел к соседкиной двери со стремительностью, всегда поражавшей в этом огромном теле. Секунду помедлив, он пнул дверь каблуком так, что застонала филенка. «Еще раз выйдешь в коридор, я тебе шею сверну, сука! — прорычал он». Всегда можно походя пнуть ногой дверь; случайно погасить свет в ванной; сорвать щеколду в туалете, чтобы не запиралась дверь; махнуть рукой, чтобы кастрюли попадали с плиты. По дыханию и шорохам она знала, когда Татьяна ждет, чтобы выйти из квартиры с утра, пока Феликс еще в постели, как и когда она возвращалась, понять было нельзя; месяц спустя стало ясно, что она готовит в своей комнате, пять месяцев спустя Наташа услышала из-за соседкиной двери негромкий вой, как по умершей. Феликса не было дома, и она решила постучать в соседкину дверь. «Таня, Таня, — негромко позвала она, — что с тобой? Ну, не молчи ты ради Бога!» Дверь тихо отворилась в тишине коридора — в щель она увидела соседкин халат, руку, стиснувшую полы у груди, лицо, залитое слезами. «Поговори с ним, Наташенька, — слышался быстрый шепот, — Скажи, что со мной нельзя так обращаться, я же человек, как же он может!» — «Поговорю. Обещаю тебе. — Она

тоже понизила голос до шепота. — Да успокойся ты, все обойдется! Можно мне войти к тебе?» — «Нет». — Дверь затворилась также тихо, оставив ее в коридоре. Она не находила себе места, пока не пришел Феликс, против обыкновения, один; став в дверях спальни, смотрела, как он читает вечернюю газету, изо всех сил стараясь быть спокойной.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала она как можно сдержанней.

Он посмотрел на нее поверх газеты, пристально, испытующе, потом отложил ее на ночной столик, на котором мирно лила свет громоздкая лампа, украшенная искусственными цветами.

— Сдается мне, я знаю, о чем ты, — сказал он негромко, без выражения. — Ты не забыла, что перед женитьбой мы условились: ты не задаешь мне вопросы — что я делаю, почему, как?

— Нет, я помню, — откликнулась она. — Но я — твоя жена. У нас сын. Один-единственный раз я имею право поговорить с тобой.

— Хорошо, пусть, — сказал он. — Если ты не можешь без этого. Один раз. Я слушаю.

— Зачем ты преследуешь Татьяну? Чего ты добиваешься?

— От тебя — чтобы ты на минуту распрости-лась со своей непроходимой глупостью, — сказал он. — Помнишь обыск? Случайность, что я не загремел, а приди они днем раньше, мне вlepили бы в лучшем случае лет восемь. Конфисковали бы все, включая твои погремушки, и твои милые друзья, вся эта шатия с Аэропорта, не дали бы тебе ни рубля, даже если ты бы пошла по ним с протянутой рукой. Дерьмо. Я знаю им цену. Ладно, не о них сейчас речь. Твоя Татьяна квасится в четырех стенах, чтобы не видеть то, что ей не полагается видеть. Может, ты снова хочешь, чтобы я пригласил ее за общий стол, как это было вначале? Тогда поступи проще — позвони куда надо и скажи сама, что мне оставляют жратву валютный магазин и четыре кабака, а я контролирую вывоз на Юг и на Юго-восток. Телефон я тебе дам. Зачем нам ждать, пока она это сделает?

— Ты хочешь сказать, что ты уверен, что на тебя донесла именно она?

— Уверен, — сказал он. — Видишь ли, я узнал об этом, что называется, из первых рук.

— От одного из этих людей, — прошептала она, чувствуя слабость в ногах.

— Да, — сказал он. — За четыреста, тогда же.

— Ужасно, — прошептала она.

— Может быть. Предвидеть, что я до всего

докопаюсь, она, сама понимаешь, не могла.

— Зачем, по-твоему, она это сделала?

— Вот именно, зачем! Ты абсолютно уверена, что хочешь услышать это?

— Теперь не знаю. Наверное, хочу. Я боюсь, Феликс. Ну, говори, раз уж начал.

— Ты бы боялась раньше, — сказал он. В огромном, овальном зеркале на стене, забранным в фигурную бронзовую раму, она видела покрывало постели, золотистый велюр кресла и профиль мужа — блестящие черные волосы, упавшие на лоб, брови, сведенные к переносице, твердый рот. Она взглянула на него. — Вот именно, — сказал он, — я об этом. Ты знаешь, я говорю правду. Ты знаешь, что у нее нет мужика, а баба она видная. Была видная. Я ничего не жалел для нее, помнишь, думал, все обойдется, но, как видишь, не обошлось. Обычная история. Хотела занять себе мужа. Теперь ты в курсе.

— И сколько же ей там сидеть одной?

— Пока я не сменю занятие. Это не самое худшее. Вспомни, куда она чуть было не упрятала меня. А как ты думаешь, каково ей выйти?

— Феликс, это невыносимо! Я не могу каждую минуту знать, что она доходит в своей комнате!

— Говорят тебе, это решено. Она сама виновата. Пойми, не может стать ничего так, как было!

— Ты можешь простить ее. Ради меня. Заклинаю тебя. Хочешь, на колени перед тобой встану!

— Нет, ты все-таки дура, — сказал он медленно, и по тому, как побелели у него ноздри, она поняла, что он свирепеет. Она знала, что когда он говорит таким тоном, перечить ему нельзя. — Вы все на один лад, что мужчины, что женщины, прямо не разберешь — пакостите, потом просите прощенья, снова пакостите, и никак не возьмете в толк, что есть вещи, которых не прощают!

— Феликс, мне было бы легче, если бы ты взял ее в любовницы.

— Я так и знал, — сказал он. Он смерил ее глазами. — Ладно, поговорили и хватит. Иди уложи детей.

Вот и все, и всегда можно поехать к подругам, той или другой, когда дочь уйдет в школу и отведешь Сурена в детский сад, или упросить Феликса пообедать в рыбном ресторане, в «Белграде» или в каком-нибудь из новых, которых сейчас полно, а откроется еще больше, а когда принимаешь друзей мужа, мечешься, как угорелая, голова идет кругом, только ночью иной раз услышишь сквозь сон, как в ванной зашумит

и смолкнет вода; самое лучшее — выпить рюмку с мужчинами и не будет нехороших мыслей. Ведь никому не расскажешь, что за эти годы она видела Татьяну всего несколько раз, мельком, только один — лицом к лицу, и как страшно она переменилась, и как сама она, скрепя сердце, прошла мимо в коридорной полутьме, благо, через четверть часа явился Феликс, и как месяц назад, когда Татьяну забрали в клинику, пришел участковый опечатать дверь, и про то, что она видела — про бельевые веревки в комнате, тазы, главное, про ведро, назначение которого с грубоватой прямоотой объяснил ей участковый. В церковь она ходит часто — в Ивана-Война у Октябрьской, если идет вечерняя служба, стоит ее, просит церковных старух поставить свечи за мужа и за себя, не зная толком, как надо молиться. Феликс отвозит ее в церковь на одной из машин, на которых ездит по доверенности.

— Ты не зайдешь со мной?

— Нет. Подождать — подожду. Только давай там побыстрее.

Оглянувшись в воротах, она видит, как он курит, развалившись за рулем, и в ветровом стекле — отражающееся небо.



Александр Зевелёв

ВСТАЁТ ЗАРЯ НАД СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНОЙ



ПАМЯТИ ГАРИКА ДЕМИЧЕВА

Вот мы приходим.
И уходим.
Никто не скажет нам — зачем?
Мы пишем тысячи мелодий.
Мы пишем тысячи поэм.
Но все равно же мы уходим!
Под влагу слез.
Под шелест слов.
Оставив флоксы в огороде,
Долги,
Друзей,
Детей и вдов.
А мир по-прежнему чудесен!
Свистят скворцы,
Цветут цветы...
Еще не спето столько песен!
И кто ж споет, когда не ты?
А жизнь бодлива.
Жизнь блудлива.
Она горька
И нелегка,
И ни к кому не справедлива,
И неприлично коротка...

ВЬЮГА

Завывает злая вьюга
по Неглинке и Трубе...
Ты прости меня, подруга:
я сегодня не в себе.
Может, это просто нервы,
или вьюга на дворе...
Крематорий номер Первый
при Донском монастыре.

Доношу свои обноски.
Докручу свое кино.
Насосую своей «Смирновской»
да и выброшусь в окно,
полечу я, вьюге вторя,
на потеху детворе.
Цель полета: крематорий
при Донском монастыре.

И тогда, моя родная,
вопреки дурной молве,
все на свете проклиная,
по завьюженной Москве
повезешь букет, который
не завянет в декабре
по дороге в крематорий
при Донском монастыре.

ГРАФОМАНИЯ

Вот тут пытаюсь разобраться я
и даже плохо сплю поэтому:
с чего бы, братцы, в иммиграции
мы все становимся поэтами?

Причем не просто стихоплетами —
нет! Мы же требуем внимания.
А где же медики? Да вот они.
И есть диагноз: графомания.

И заболев, терзаем лиру мы.
А вирус ширится, мутируя.
Но никого не изолируем
и никого не депортируем.

Вооружившись сигаретами —
стихи слагать, оно не просто ведь! —
и ощутив себя поэтами,
мы начинаем стихоплетствовать.

На кухне ночью, на балконе ли
творим что можется и хочется,
кляня всех тех, что нас не поняли,
и воспевая одиночество

и все рассветное-закатное,
и все весеннее-осеннее,
и все такое непонятное...
И домочадцам нет спасения!

Ах домочадцы те болезные!
К утру добив свои творения,
мы погружаем в наши бездны их,

перебудив без сожаления.
Мы их замучаем цитатами,
завалим пошленькими штампами.
Ведь мы Цветаевы-Ахматовы
и пастернаки с мандельштамами.

И как бы я – совсем уже не я.
Совсем другие ощущения
по ходу самовыражения,
в процессе перевоплощения.

Ах домочадцы, домочадцы, вы
терпимей будьте и гуманнее!
Ну, что поделать – иммиграция...
И что поделать – графомания...

ДРУГУ

Тихий вечер. Уснули стихии.
А назавтра – тайфун и чума.
Вот сегодня читаю стихи я,
а назавтра – сума да тюрьма.

А назавтра захлопнутся двери,
И – крутая дорога во тьму...
Ты прости мне, я больше не верю
ни тебе, ни себе – никому!

Мой старинный, старинный дружище
с тех времён и на все времена,
приезжай! Будет день, будет пища
и, конечно, стаканчик вина.

Посидим, сосчитаем потери,
захлебнёмся в табачном дыму...
Не приедешь. Не лги. Я не верю
ни тебе, ни себе – никому!

Озверевший от скуки и пьянки,
постепенно сходящий с ума,
я плыву до последней стоянки
сквозь чужие хлеба и дома.

И нигде, ни в одной из Америк
нет надежды и места тому,
кто ни в бога, ни в чёрта не верит,
ни друзьям, ни себе – никому!

* * *

День смурной стоит.
Небо серое.
Настроение – вниз к нулю.
Не соврешь себе, что, мол, верую.
Что надеюсь, мол.
Что люблю.
Помечтается...

Померещится...
И откуда такая блажь?
Погляжу в окно – дождик плещется.
Хоть какой-никакой пейзаж.

Там за матами-перематами
мужики у пивных ларьков.
Вот стоят они.
Вот лежат они.
Нету, господи, мужиков!

Раз-два-три-четыре-пять,
Вышла Зойка погулять.
Где ж вы, братцы-кобели?
Что вас – выюги замели?

Всё постирано, всё поглажено...
Для чего это? Для кого?
Жизнь устроена. Жизнь налажена.
Только нету в ней ничего.

Растеряла всё,
всех друзей-подруг
и сижу, реву от тоски...
Погляжу вокруг – мужики вокруг.
Да какие ж вы “мужики”?

Вон, горланят: то ржут, то лаются.
И ни сердцу ведь, ни уму.
Так, вот, кажется – отдала бы всё.
Отдала бы всё...
А кому?

Ах ты, шлюха, ах ты, ...мать!
Вышла Зойка погулять.
Изо всех щелей земли
выползайте, кобели...

Ну довольно! Закрою форточку.
Пригублю вина на ходу
и накину на платье кофточку,
глянусь в зеркало – и пойду.

Добрый вечер, пьянчужки милые!
Нет, спасибо, я не курю.
А пьянчужки глазёнки вылупят –
я на них и не посмотрю.

Пусть подумают, что на танцы я.
Пусть подумают – вот, ...звезда!
Ну а я прямиком на станцию
и билет куплю.
В никуда.

ОТПУСТИ МЕНЯ!

Светит на небе луна.
Воют волки под луною.
Я, как волк голодный, вою:
отпусти меня, жена!
Сколько можно шею гнуть,
лицемерить, отречься?
Надоело куваться.
Дай немного отдохнуть.

Дай немного отдохнуть.

Ты не спрашивай, куда?
И не жди меня к обеду.
Просто сяду и поеду,
благо, ходят поезда.
Я разгула не хочу,
зря копейки не потрачу,
поразмышлю и поплачу
или просто помолчу...

Да, скорее помолчу.

Я найду зеленый луг,
с головой зарыюсь в клевер...
Отпусти меня на север,
отпусти меня на юг.
Плеск воды и теплый мох,
и неспешный треск поленьев...
Умоляю на коленях:
дай мне выдох! Дай мне вдох!

Дай мне выдох! Дай мне вдох!

Ночи долгие без сна.
Я устал за эти годы!
Дай мне чуточку свободы!
Отпусти меня жена!
Приоткрой чуть-чуть тюрьму!
Распусти чуть-чуть ошейник!
Я добытчик... Я затейник...
Дай побыть мне одному!

Дай побыть мне одному.

Отпусти меня, жена,
из проклятого уюта!
Ты представь хоть на минуту:
я – один и ты – одна!
Друг от друга отдохнем.
Этот отдых нужен людям.
Все плохое позабудем,
а потом опять начнем...

Может быть, опять начнем.

* * *

...И когда-нибудь, может быть, вскоре,
повернувшись лицом на закат,
на террасе у тёплого моря
мы закажем себе оранжад.
Облака, как верблюды на марше,
будут греться в закатных лучах
и воздушный оранжевый шарфик
трепетать на любимых плечах...

* * *

Посвящается супругам поэтесс.

Встаёт заря над Силиконовой долиной;
навстречу солнцу просыпается страна.
А в доме пусто. Ни травы. Ни кокаина.
Нет даже водки. Лишь окурки и жена.

С утра супруга в бигудях слагает вирши.
До десяти закрыт ближайший магазин.
И мне ей-богу наплевать на крах на бирже.
Не дорожали лишь бы водка и бензин.

А что в квартире? Там собаки, кошки, дети...
А позади – мосты, спалённые дотла.
И как обычно – нет бумаги в туалете.
И как обычно – нет ни денег, ни бухла.

А эти праздники!? Скажите, бога ради,
кто их придумал, этот гитлер-блин-капут!?
Припрутся гости, всё сожрут, везде нагадят,
ещё обидятся, что чаще не зовут!

И всё же, братцы, мы не янки, мы – другие:
мы рвёмся-бьёмся, чтоб зачем-то кем-то стать.
А уж поэзия ли там, драматургия –
хоть литургия, право слово, вашу мать!

Но вот пропел я вам, друзья, куплеты эти,
и мне подумалось – среди общей тишины –
что, мол, пускай собаки, кошки, даже дети
и крах на бирже – лишь бы не было войны!

2011



Алла Ходос

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК



РУСАЛКА

Разлилась бесчувственная тишина,
как речная вода без дна.

Ты о чем молчишь, беззвучно маня,
голубые веки смежив?
Расскажи!

В эту воду можно венки ронять,
будто здесь уже нет меня.

Ветерок
пролетел над вымокшею землей,
над зареваною зарей.

Как легко летаешь ты, ветерок.
Для себя хранишь свой мирок.

Я надеялась от себя уйти.
Потерять себя. Превзойти...

НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА

Детство. Клоун игрушечный, как живой,
ты опять у всех на виду!
Повисает на елочке мой герой,
доставаемый раз в году.

Тряпичный, а воротник из фольги
тоньше, чем кружевной.
Гордость и выражение слуги.
Игрушечный и живой.

Ты подвешен за шиворот,
мой дорогой,
для кого же взгляд свысока?

Нет, ей-богу моргнул,
и кивнул головой,
лёгкой, как у цветка.

В тусклом блеске трепещущей мишуры
после самых единственных слов
я тебя отпускаю.
Блистают шары,
как живые подобья миров.

* * *

Жизнью меченые –
замеченные.
Искалеченные – любой.
Переученные. Залеченные.
Засекреченные.
С тобой –
Забываюсь.
Борюсь и боюсь.
Ночью омута стерегусь.
Утром в омута умываюсь.

* * *

Мой друг, любовь тяжка, как крест.
А мы его на Эверест.
А там и дышится легко.
Хоть мы вздыхаем глубоко.

* * *

Не умея, стараюсь помочь.
Предлагаю настои спасения, —
ими полнятся хляби весенние
и нестойкая майская ночь.
На лету холодеет душа.
Не спеши к своим мукам, оплошная.
Больше выть, как сирена истошная,
не моги. Можно жить чуть дыша.
А спасенье то снится, то чудится.
Терпелива любовь, как верблюдница.

* * *

Если боль растереть в порошок,
горьких трав добавить и мяты
шоколадной,
родится стишок.

Продолжать. Не идти на попятый.
И пойдет прошлогодний снежок.
...Он летит, добротою объятый,
и стоит снеговик, как божок.
Чтоб избитый, больной и распятый
сделал еле возможный шажок.

* * *

Лаура!
В сердце столько жара!
А в церкви тихая прохлада...

Лаура ходит по базару...
Утомлена, украдкой рада.

(Скрытна иль искренна?
Щедра иль бережлива?)

К святым причислена.
Но Боже, как красива!)

Под вечер гости.
И беседа
течет лениво.
(В сердце столько жара!...
Задумчива иль говорлива?)

Непоседа
соседский слушает,
и кот, и муж нестарый.
(Порывиста иль терпелива?...

И есть ли в Риме место,
где не жарко,
Петрарка?)

* * *

— Продолжать — это подвиг, ей-Богу,
Не замысливать, а развивать.
Поменяю коней, но дорогу
не примусь, как беглец, разбивать,
чтобы след уничтожить. Напротив!
Утрамбую, заглажу, как лист.
Пусть, коньки голубые отбросив,
поскользнётся на ней пессимист.
Я тебе предлагаю, как другу:
Дышишь, значит, вставай, эскапист!

— Что же, снова, как кони, по кругу?
Затоптать всё, чем пусть серебрист?

...День и ночь осыпается галька,

Гасит искру усердье копыт.

— Да не круг это! Видишь, спиралька!
Завиток просто веткой прикрыт.

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

Утром встал человек
и умылся в океане.

* * *

Прозрачный человек,
почти что человек-невидимка.

* * *

Блестящий человек!
Он в плаще стоит под дождём.
А если он снимет плащ,
сразу станет мокрым человеком.
Жалко его! Он стоит под дождём!

* * *

Чистый человек.
На него выливают грязь
и умывают руки.
С них всё как с гуся вода...

* * *

Грустный человек!
Он греет руки над газом.
А если отключат газ,
он перестанет грустить!

* * *

Маленький человек — это сердце.
На тонких ножках,
на вывернутой шее.
Он кутает его в шинель.
— Что у тебя, вражина, за пазухой?
— Одно только сердце.

* * *

Нахрапистый человек!
А мне милее лошадь.
Ей неизвестно, куда
она так бешено мчится.
У неё красивая грива
и она под музыку бежит.

* * *

Вполне прекрасный человек.
Он может и не быть идиотом.

Пожалуйста, не стань идиотом,
почти прекрасный человек!

* * *

Легкомысленный человек!
Он думает лёгкими, а не мозгом!
Думает он или дышит,
держите его, он парит.

* * *

Большой человек!
Он стоит на танке.
Поэтому он — большой человек.

* * *

Публичный человек.
Он кусает свою собачку.
А если укусит собачка,
он станет частным человеком.

* * *

Маленький человек
вдруг начинает стремительно расти.
Его подбрасывают в воздух.
Надутый маленький человек.

* * *

Богатый человек!
Он имеет то, чего не отнимешь.
Нету над ним лишь крыши.
Жалко его, он под градом стоит.

* * *

Ветреный человек!
Он ещё не знает, что свечка,
на которую он часто дует,
шикает и машет руками
не может вечно гореть.

* * *

Человек говорит, говорит,
согревая разговором воздух.
*Один только воздух, который
вы не можете у него отнять!*

* * *

Суется маленький человек,
словно мышь перед входом в сыроварню.
Пару кусков заглотит,
пару под шёрстку завернёт.

ВЕЩИ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Как много у человека вещей!
Как будто он боится пространства.
Сюда повесил картинку,
туда положил пистолет.

* * *

Вечно вы берёте за живое,
сердце переворачиваете, вещи!
Если камень, то уж камень на шее.
если хлеб, значит голод в Поволжье,
Почему уж не может здесь просто
хлеб, твёрдый, как камень, лежать?

СВЕЧКА

Свеча горит ради баловства.
На электричестве никто не экономит.
Её треугольный огонь с ореолом
как парусник в стоячей воде.

ВИЛКА

Вилкой наворачивая длинные макароны,
видит, как на вилы подцепил его Гулливер.
Снова на развилке, на распутье.

ЛЕЙКА

Лейка, лейка, на чью мельницу льёшь ты воду?
Всё щёлкает, всё шпионит лейка.

МАЛЕНЬКАЯ БАБУШКА И СЕТКА

Сетка, из тебя торчит буханка.
Или ты лежишь на бабушкиных жидких волосах.
Сетка морщин возле глаз и губ,
а затем по всему лицу.
В то же время — юная улыбка.
Восхитительно всё устроено, детка!
Старик вновь забросил сети в море.
Внук включил компьютер, вошёл в сеть.
И хоть сети заговоров недобрых
плетутся по всему свету,
бабушка, рачительная паучиха,
заманивает в сеть соседок,
подкармливает их новостями.
Всех бы ей посадить за столом просторным,
сочетать завитком соборным...

Алла Ходос

КЛОУН

Повесть в обрывках



Не разделяюсь никак
Я с тоской.
Что ж, достану свой колпак
Шутовской.
Хоть не слишком эту роль
Я люблю,
Засмею свою я боль,
Затравлю.
Через много мутных дней
Гляну ввысь,
И скажу тоске своей:
«Воротись!»

Марина Золотаревская

ЗВЁЗДЫ В ШЛЯПАХ

Утром Виталий Воронин носком ботинка подбросил и одной рукою поймал лежавшую у входа в гараж воскресную газету. Он хотел немедленно раскрыть раздел объявлений о приёме на работу, но почему-то передумал, решив сначала прогуляться по набережной. Толпа, осенённая чайками, облаками, дельтапланами казалась без памяти счастливой. Люди шли, то ли подпрыгивая, то ли приплясывая, то ли всё, что несли, подбрасывая в воздух — пустые стаканчики, рекламные листки, скрученные в трубочку, и мелкие монетки — сдачу, которая осталась у кого после совершенных трат, а у кого и после сведённых счётов. Улыбки прохожих отражались в глазах Виталика, а в сердце его разгорался прихотливый огонёк, который просто так, сам собою, уже целую неделю теплился там, неожиданно сменив угрюмую ностальгию, — Виталик два года безуспешно отгораживался от неё учебниками. Что же, сейчас, с этими всполохами в груди, бросаться карьеру делать, притворяться деловым и целеустремлённым? Да что вы, полноте!

Морской воздух на вкус напоминает молодое виноградное вино. А питаться ведь можно свежим кислым хлебом, как чайки. В этом городе долго будешь сыт. Потом медицина, успеется, потом.

* * *

Выпускник киевского мединститута, в Америке он сдал экзамен на звание медицинского брата. Друг Женька, художник, снимал гараж, и был рад, когда товарищ занял угол и взял на себя часть арендной платы. Сумма совсем небольшая, Виталик её всегда играючи заработает. А пока можно пожить, как Бог на душу положит. Виталик станет частью этого вихря, хлебной крошкой, голубем мира. Пиджак расстегнёт, разгонится хорошенько, лети, Воронин, всё забудь. Через Майдан ты уже перешёл, а теперь забудь обидчивую Свету: ей нужен не ты, а спонсор. Забудь, как у бабушки в деревне с опаской ел сливы — их косточки казались жуками в янтаре; выплюнешь косточку, жук заползёт в глубь мягкой земли, и через

год вырастет новое деревце. Забудь город мёртвых в Лавре, забудь Бабий Яр и препарированные трупы в морге. Не вспоминай о Чернобыле и поминальных свечках каштанов. Растворись, Виталик, в этом воздухе и ты не исчезнешь.

Его чувства будто вырвались на свободу. Над головой проносились неоконченные фразы, уже не иностранные, но ещё не родные; их смысл казался неуловимым. Сказанное уже никому не принадлежало. Покрывшие себя серебряной краской славы стойки, в фигурах которых замерла жизнь, а в глазах застыла надежда, терпеливо ждали, когда им подадут... Продавцы огней на велосипедах, с горящими зубами и в сверкающих ожерельях, шляпами ловили падающие звёзды. Запахи дурмана и устриц кружили голову... Виталий словно примеривал вытянутые губы стремящегося вслед за музыкой чернокожего трубача. Потом его взгляд поспешил за гладкошёрстной собачкой, нечаянно соскользнувшей с чьих-то рук; её манил знакомый запах абрикосового мыла, а ведь на этот раз он исходил от чужого человека, нюх подвёл её, маленькую, но пожившую; она несётся всё вперёд и вперёд.

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ

Так гуляя, он вдруг увидел бесформенный куст, росший посреди тротуара. Как раз в этот момент с Виталиком поравнялись моложавая пенсионерка и её подтянутый муж. Вдруг куст сорвался с места, подскочил и с воплем полетел на пожилых людей. Женщина, вскрикнув, резко потянула своего мужа вбок; тот её обнял крепче... Когда орущий куст возник перед молодой мамой, только что весело тормозившей немного сонную девочку, Виталий резко обернулся. Оказывается, кустом управлял хохочущий хлыщ. Не раздумывая, Виталик схватил хулигана за свёрнутый воротник и приговаривая: «Мразь, плыви отсюда!» потащил к воде.

Виталик почувствовал себя уверенным и сильным, — или это барахтавшийся у него в руках человек был странно лёгок? Хулиган брыкался; натянутый воротник душил его. «Надо поосторожнее», — решил Виталик. Морщась от гадливости, он сгрёб затейника в охапку и понёс, как ребёнка. При этом куст вывалился из несильных рук хулигана, а из-под толстого воротника показалась удавка, к которой была приделана табличка с надписью: «I have AIDS!».

«Вторая профессия? — подумал Виталик с удивлением. До обеда — нищий, просящий милостыню у входа в подземку, а после обеда — бандит на людной дороге. Ах ты, проходимец! Ну вот и проходи! Только на глаза мои больше не попадайся!» И опустив симулянта на землю, Виталик

¹ «У меня СПИД».

разжал руки.

«Вторая профессия? — потерянно повторял он про себя, торопливо обгоняя раскрепощённых прохожих. — Ну и артист!... Поставщик ненависти. Распространитель боли. Сборщик страха... А вдруг он и правда в океан сиганул?» Виталик подошёл к воде, постоял, послушал. Тишина, словно тёмная вода, на него надвинулась, поглотила смех и говор. «Надо было хоть парой слов с ним обмолвиться прежде, чем за шкурку тащить, — подумал Виталик, — А, может, вняв моим извинениям, он бы с бомбой пришёл! Мою жалость бомбой гасить!...»

АРТИСТУ ПОДАЮТ

Вернулся Виталик поздно. В соседнем дворе смеялись дети, подпрыгивая к потолку надувного домика. У Воронина была привычка усыплять себя самодельными стишками. Он лёг и долго бормотал, пока не получилось складно:

Надувная радость у дома.
Лёгким счастьем полнится грудь.
В голове труха и солома.
Больше вам меня не надуть.

Расплывутся смутные речи.
Уплывут стратостаты мечты.
Нищему укутаться нечем,
кроме собственной теплоты.

* * *

Утром он попробовал думать практически: «Артист работает. И ему подают. Профессионалы — из солидарности. Влюблённые — из благодарности. Не знающие своей судьбы студенты — чтобы её задобрить. А вот те, которые впряглись в нелюбимую лямку и чьи глаза заливают ответственность, не подают. Бедные! Для них — бесплатно».

Отжав массивную железную дверь своего жилища, Виталик посмотрел на небо и задумался. Настоящий уличный артист будет стараться всё уловить из воздуха. Поймает шарик за верёвочку. Приблизится с шапкой к неосторжной бабочке — и передумает. Из тополиного пуха коврик соткёт. А когда в небо для лучшего обзора поднимутся турист с фотоаппаратом, конный полицейский вместе с лошадью и пограничник на катере, Виталик тоже, будьте спокойны, воспарит и поплывёт за ними следом, как Марк Шагал.

* * *

Решив всё оформить законно, Виталик отправился в мэрию. В очереди сидела сероглазая девушка с тёмными, до плеч, волосами, которые она, наверное, не успела сегодня расчесать. Её

чёрная майка была перепачкана краской. Девушка чуть покусывала обветренные губы. В одной руке она держала точно такую жёлтую бумажку, какая была и у Виталика — разрешение из департамента полиции, — а в другой книжку, на обложке которой что-то было написано хорошо знакомыми буквами. Виталик не мог отвести от девушки глаз. Поэтому он их закрыл.

А когда открыл, буквы почему-то расплылись; название книги он так и не сумел прочесть.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вначале ему надо было перебраться парой фраз со зрителем, чтобы понять, кто перед ним. «Мальчик, хочешь шоколада?» — спрашивал он немолодого жилистого клерка. Как раз этот вопрос задавала тому бездетная соседка, тётя Рэчел, когда будущий клерк перелезал через забор, чтобы наворовать слив в её саду. Голос тёти был сочный и немного перезревший. Рэчел знала, что родители мальчика днём спят, а ночью пьют, вот и потчевала его. Виталик садился верхом на спинку скамейки: так его герой сидел на заборе, когда в первый раз осмелился залезть в чужой сад. Теперь он поспешно рвёт сливы двумя руками, наполняя карманы, кепку и вдруг догадывается, что это разрешено. Он их рвёт вместе с листьями, чтобы дерево стало пореже, ведь к чему такая пышность... Пусть будет вовсе без листьев и без слив — подумаешь, кому они нужны, эти сливы, дерево тоже всё равно когда-нибудь само по себе засохнет, а шоколадка растает на жаре. «Иди сюда, мальчик», — говорит Рэчел и, улыбаясь, подаёт ему размягчённую, угодливо изогнувшуюся плитку. Он хочет вернуть сливы тёте; но она говорит: «Спасибо, не надо! Только не ешь немытые».

* * *

Закончив представление, Виталик захлопнул чемоданчик с выручкой и собрался уходить, как вдруг увидел приближавшийся куст. «А-а, это ты! How are you?¹» — взволнованно спросил Виталик и рванулся навстречу к старому знакомцу. Вместо ответа прощельяга напружился, сложил пальцы наподобие клюва (в толпе кто-то простодушно засмеялся), схватил чемоданчик и был таков. Воронин отступил в тень. «Это он с голодухи, наверное. Примелькался людям в метро, и не шибко подают, — расстраивался Виталик. — Деньги я проворонил, но ничего, завтра снова заработаю. Зато на заборе посидел».

КРЫЛЬЯ

Наутро Виталик обломал редкого сорта куст розового жасмина, беспечно росший возле гаража. Увидев такое, Женька вскричал: «Ты варвар, Воронин!» Пока Виталик прибинтовывал цветущие

¹ Как поживаешь?

ветки к плечам и туловищу, друг налил чаю себе одному и демонстративно съел весь хлеб с сыром.

Придя на набережную, Виталик разогнулся и побежал. Он так плавно взлетел на скамью, что зрители заплодировали. Там он взмахивал ветками и озирался, надеясь, что человек-куст разглядит собрата, объявится и согласится работать с ним на пару. «О чём ты, Воронин? — вдруг протрезвел Виталик, потерянно глядя вдаль. — Кто я — растение? Что-то цветы мои пахнут удушающе. Птица? Ну да, прыгаю я неплохо. Правда, крылья вот-вот отвяжутся. Потом сделаю из них веник и подарю Женьке». Вид у Виталика был неуверенный и почему-то зрители от смеха не умирали.

Неподалёку от него вырисовывалась тонкая девушка; она устанавливала мольберт, время от времени поглядывая по сторонам. Когда она наклонилась, чтобы достать что-то из сумки, тёмнокаштановая волна плавно сбежала по её плечам и коснулась земли. «Какая красота!» — воскликнул Виталик, запрыгивая на изогнутую спинку скамейки. Может быть, эта фраза, сказанная на незнакомом языке, прозвучала как крикание или карканье, только зрители удивились и заплодировали. Без сомнения, это была она, девушка, которую он видел в мэрии! «Поздравляю с выходом на работу!» — вскричал Виталик и, выдернув из-под бинтов цветущую ветку, бросил её к ногам художницы. В ответ девушка послала Виталику удивлённую улыбку, которую он тут же с восхищением поймал.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ

Закончив бухгалтерские курсы, Аня проработала девять месяцев в бухгалтерии шоколадной фабрики, а к лету заскучала и безрассудно уволилась. «Всех денег всё равно не пересчитаешь», — сказала она себе. В мэрии Ане выдали лицензию уличного художника, и теперь набережная стала её излюбленным и основным рабочим местом.

Сегодня ей позировал писанный красавец — блондин с презрительно прищуренными глазами и растительностью на щеках, напоминавшей курчавый светлый мох.

Когда Аня рисовала, в нагрудном кармане молодого человека зазвонил мобильный телефон. Блондин поднялся «Прямо в сердце позвонили!» — улыбнулась Аня. Небрежно проговорив на ходу: «Let's do it next time!» — красавчик ушёл. Его акцент был знаком Ане. Подумав: мало ли чудачков... и, почти не огорчившись, она убрала рисунок в папку.

А дома осветила портретик лампой и увидела, что молодой человек как-то слишком худ; его щёки ввалились; и вовсе он не прищурился, а зажмурился, словно от боли.

Обычно Ане некогда было смотреть по сторонам. Работала она быстро; ей даже казалось, что,

чем меньше она раздумывает, тем точнее получается бумажный двойник заказавшего портрет человека. Чем случайней, тем вернее.

В перерывах Аня открывала большой альбом для скетчей и карандашом набрасывала прохожих в полный рост. Их одежда развевалась на ветру, а ослеплённые солнцем разноплеменные лица казались похожими. Если рисунок ей не нравился, она отрывала взмахнувший на прощанье лист и, быстро скомкав его, отправляла в урну.

Покойся, милый прах,
до радостного утра.

* * *

Аня узнала худощавого человека мгновенно. Он прошёл в двух шагах от девушки, даже не посмотрев в её сторону. Взгляд его будто сам в себе тонул, но о помощи не просил. Сегодня красавец был в модной шляпе и плаще, застёгнутом наглухо. Шёл он медленно: то ли не мог быстрее, то ли некуда ему было спешить. «Совершенно типажный молодой человек», — сказала Аня себе в тревоге. Тут она вспомнила его глаза на портрете, и, пытаясь сопротивляться охватившей её жалости, пробормотала: «Манекен. Звезда экрана. Тайный агент».

Пока она провожала красавца взглядом, на стульчик, стоящий перед ней, сел подвижный ребёнок, и она начала рисовать. Когда шеголь свернул за угол, рука Ани немного дёрнулась, и одна щека вертящегося перед ней обезьянкой мальчика вышла толще другой. «Ему и так сложно усидеть на месте, а я вот портрет испортила», — рассердилась на себя Аня. «Just a moment, please!»² — сказала она матери мальчика, торопливо беря другой лист бумаги. Во второй раз мальчик, стараясь меньше шевелиться, наморщил лобик, и на рисунке получился совсем похожим на обезьянку. «Да что это со мной!» — мысленно возмутилась Аня. Но добрая мама уже ахала: «He is so cute!» — и протягивала деньги. «Thank you», — покраснела Аня, — «You don't have to pay». «Why not?» — удивилась мама. «Your boy is really so cute... It is my gift to you»,³ — пробормотала Аня, готовая провалиться в какой-нибудь люк.

² Минуточку, пожалуйста!

³ Он такой хорошенький!
Спасибо.

Вы мне ничего не должны.

Почему?

Он действительно такой симпатичный.

Это мой подарок Вам.

¹ Давай в другой раз!

СТАКАН ЛИМОНАДА

Проработав целый день на жаре, Аня заглянула в пустое кафе. Над головой, сонно гоня жаркий воздух, вращался вентилятор. Тени, словно призраки прохлады, скользили по стенам и потолку. Когда Аня подошла к стойке, работник повернул вентилятор, и тени задвигались оживлённей. Перебегая на пол, они становились совсем прозрачны. Светлые тени льнули к лицу и рукам. «Ластятся», — усмехнулась Аня. Пока она пила лимонад со льдом, работник бросал на неё утомлённые взгляды. Наконец он встал и выключил вентилятор. Тени сломались и застыли. Ане стало не по себе оттого, что механическое движение оборвалось, — его сменил неподвижный душный сумрак.

ОТРАЖЕНИЯ

Аня и Виталик любили гулять в парке «Золотые ворота». Вместе решали: вон той пожилой женщине, сгорбленной, но гордой, посадить бы на плечо ручного орла... Вон той парочке, ну вон же, на скамейке, кошку дать, чтоб сидела между ними и выгибалась дугой. Нет, смотри, они берут друг друга за руку, почти с отвращением, зачем они вместе? Кошка ужасается, дыбится вся, чувствует фальшь. Видишь, вон тот! Только что с метлы спрыгнул. Пыль вокруг него вьётся.

«А наша работа — непыльная», — вздыхала она.

* * *

Однажды я переходила дорогу. Машины объезжали замотанного тряпьем неподвижного человека. И я услышала, как муж сказал своей жене по-русски: «Надо жить как живётся, а ты всего хочешь! Видишь — мумия». А недалеко от моего дома сидит на асфальте другой бездомный, с собакой, каждый день, как на работе. Нередко он лежит. Поэтому рабочее место за ним всегда сохраняется. Он подростковую шапочку себе на голову надевает, а когда потеплеет — снимает шапочку. И то оденет на собаку собачье пальто, то снимет. Знаешь, Виталик, иногда в дождь они всю ночь кружат на автобусах, а некоторые предпочитают метро. Бывают ещё полу-

нищие. Они умеют показывать фокусы со змейками или застывать в позах. Виталик, ведь они работают и зарабатывают. Многие играют на инструментах, может, и лачуга у них есть для ночлега. Третьи делают бизнес из своего нищенства, и эти — совсем как все.

Ещё раньше был случай, когда мы только приехали... Однажды в автобусе я чуть не наступила на пса, лежащего в проходе. У него на спине

была попонка: «Пожалуйста, не гладьте меня. Я не домашний пёс. Я сотрудник Общества помощи слепым и инвалидам». Но я погладила. И он мне ткнулся носом в руку... Еду дальше, улыбаюсь и смотрю в окно. Вдруг вижу, посреди мостовой, на разделительной полосе, топчется старик...

— Щёки обросли щетиной и свисали на помятый воротник. Плащ был застёгнут в середине живота на одну пуговицу. Ветер безучастно возился с полами и отворотами, — быстро вставил Виталик.

— Да. Откуда ты знаешь?.. — Я подумала: «Бойтся перейти». Выскочила на ближайшей остановке — и к нему. Увидела ящик с табличкой: «Готов работать за еду». Я тогда совсем опешила... Стала шарить в сумке, а там только ключи и засохшая кисточка. Потом я обнаружила, что снова стою на остановке. Представляешь, Виталик? — Аня вдруг замолчала.

— Ты тут мне кончай переживать! — сказал Виталик сурово. — Всё равно непонятно, кому твоя помощь на пользу. С оглядкой надо. А если нутром не чувствуешь, тогда по графику: в понедельник жертвуешь, неделю свободна.

Аня, казалось, его не слышала.

— Говорят, что это безумные подонки. Любой сейчас ножом кого-нибудь пырнёт. Надо делать зачистку Сан Франциско. Слишком расплодился. А я знаю, что в Нью-Йорке семнадцатилетние мальчишки облили бензином бездомного и подожгли. Что же делать, Виталик!? — Она вдруг достала из сумки маленький пакетик. «Это одноразовые носовые платки», — догадался Воронин. «Можно самим в бомжи податься...», — предложил он, проведя ладонями по её щекам; да так и остался стоять, не решаясь вытереть растопыренные пальцы.

— Это как у нас раньше в народ ходили? — уточнила Аня, быстро пряча пакетик в сумку.

— Только на новом витке, — Виталик старался говорить уверенно. — Вообще-то мы уже и так народ. Если никому не поможем, так растворимся! Возьмём тележку в Safeway'е, положим туда кое-что из одежды и плакатик напишем: «Хочу работать»... Сидеть на солнышке и хотеть работать, что ещё человеку нужно? И от бабушки уйти, и от дедушки уйти, опуститься на землю. И чтоб дождик пореже, да тележка чтобы не скатывалась.

— Ты не сможешь, Виталик! На скамейку вскочишь и станешь прыгать, тревожиться.

— Чего тревожиться, ведь зрителей всегда достаточно! — буркнул Виталик.

— А вот я за дерево спрячусь, и будешь беспокоиться! — улыбнулась вдруг Аня.

— А я все деревья в городе вырублю! И не о чем станет тебе заботиться! — вмиг разозлился Виталик.

— Воронин, где же ты совьёшь себе гнездо?

— Я его к камню прилеплю. У тебя ведь

каменный дом...

— Да что ты, деревянный, как все дешёвые апартаменты. А сверху бурой краской покрашен.

— Ночью, в дождь, трудно разобрать, из чего он сделан... На крепость уж точно не похож! — воскликнул Виталик.

«И ОН ЖЕЛАЛ, ЧТОБ ВЕТЕР БЫЛ НЕ ТАК УНЫЛО»

Женя, как обычно, работал на пленэре. Отслужив искусству полный рабочий день и выполнив три сверхурочных этюда при усилившемся ветре, он вернулся в гараж и обиженно уснул, не сняв куртки. Он прихварывал в последнее время. То грипп, то бронхит. Виталик недавно купил ему малинового варенья из русского магазина. А сейчас подошёл, прислушался. Просто насморк. Прикрыв приятеля старым одеялом, из которого лез пух, Виталик подумал: «Влюбиться ему — и всё пройдёт».

Погода совсем испортилась. Ветер ударял в железную дверь с бешеным напором, будто бил в тарелки; дождь барабанил всё сильнее. Виталик лёг и стал слушать звуки рока, пока не уснул. Ему приснились низкорослые растенья с мокрыми присосками вместо цветов; присоски уже касались его лица и шеи. Виталик вскочил. Сквозь неплотно закрытое, но затянутое паутиной окошко в гараж проникала, подбираясь к картинам, вода. С треском захлопнув окно, Виталик воскликнул:

— Не спи, художник! Женька вскочил весь в пуху и уставился на друга.

— Теперь ты вылупился, — улыбнулся Воронин. — За работу!

Вдвоём с приятелем они быстро переставили картины и вытерли пол.

— Заодно согрелись, — заметил Женька. — Я недавно три работы одному любителю продал. Скоро мастерскую подыщем, Виталик! На чердаке ты себя почувствуешь вольнее.

— Я и так не стеснён, — вежливо заметил Виталик.

— Сейчас ещё чайку попьем, — радостно ворковал Женя. — Когда свистит чайник, чувствуешь себя черовски уютно.

Виталик не отвечал. Рокот не унимался. Воды вдруг втекли в подземные каналы, и всплыл Петрополь как тритон по пояс в воду погружён.

— Ты чего такой отсутствующий сидишь? Пей чай! — стал уговаривать его Женька.

— И вправду. Чего я расселся? — подхватился Виталик. — Жень! Ты сам попей сегодня!

— Да я всегда сам! Тоже попей, чего ты!

— Ты вот музыку включи. Я два диска купил: Шуберт «Симфонии. «Трагическая» и «Малая. До мажор.» Брамс. «Песни. «Путь к любимой», «На

чужбине» и другие. Порисуй пока под музыку, ладно? — бросил Виталик и, приподняв гаражную дверь, быстро шмыгнул в щель, крикнув приятелю: «Закрывай скорее!»

Дорогу он знал назубок. Полчаса бегом, держась за зонтик, рвущийся ввысь, мимо обезглавленных деревьев, воздевших молодые ветки в мутное небо.

Нельзя без приглашения. Пустяки. Главное, чтоб не хлынуло. Скажу, шёл мимо и промок. Гроба с размытого кладбища плывут по улицам, — схватился он за голову.

«Хорошая дверь. Недавно заменили. Видать, дубовая», — вздохнул он с облегчением. А потом вздохнул ещё раз, с разочарованием: «Ни капли не просочится». По бледнокоричневой, маскирующей ветхость строения штукатурке расплозились пятна. За третьим слева окошком на первом этаже было темно. «Спокойной ночи», — сказал Виталик равнодушному зданию.

Дождь ослабел. Выбросив сломанный зонтик, Виталик философски хмыкнул и отправился в обратный путь. Куртку он выкрутил уже у входа в гараж.

РАНКА

— Почему балерины в лёгких тапочках летают над землёй? — спросил Виталик.

— Потому что ходить по земле можно только в кованых сапогах, — ответила Аня.

Тут Виталик споткнулся и, подпрыгнув, грохнулся.

— Ой! — вскрикнула Аня.

— Ничего! — проговорил Виталик, продолжая лежать. — Земля мягкая... Вот послушай, — сказал он, задирая подбородок к небу, чтобы не встретиться с нею взглядом.

Судьба меня хранит,
но предостерегает.
(Казалось, я — гранит.)
Свет, словно снег, мелькает.
Прозрачно намекает,
поспешно говорит
о том, что я не вечен.
Лучами дождь подсвечен.
Не зря фонарь горит.

— Ты это сам придумал?! — воскликнула Аня.

— Сам. Но не сейчас. Вот и накаркал! — пожаловался Виталик, смахивая назойливую мошку с лица.

— Ушибся? — поспешно наклонилась к нему Аня.

— Кровь струится, — прошептал он, задирая ногу.

—Пустяки!—возразила Аня.—Мнительный какой!

Достав из сумки бутылочку с каким-то пахнущим водкой бесцветным желе, Аня быстро обработала ранку на голени и заклеила её пластырем.

—Запасливая!—восхитился Виталик.

В темноте что-то блеснуло.

—Так это ты на стекло напоролся!—сообразила она.

—Хуже,—мрачно проговорил Виталик.—На железо! Видишь, мусорка переполнена. Вот баночка и выкатилась. От томатной пасты... Нет, нет, кровь настоящая!—заверил он её...

—Не туда выбросили,—заметила Аня.

—В кусты, что ли, надо было бросить?—удивился Виталик.

—В recycle,¹—пояснила Аня.

—Молодец!—похвалил её Виталик.—А то замусорили всё кругом. Вот ведь рядом ресусле стоит, а не бросили! Отстоишь планету?—спросил Виталик и даже причмокнул, упиваясь обидой. Что ей его рана: у неё дела поважнее!

—Всех банок не соберёшь,—вдохнула Аня.

—Сейчас достанем, дома вымоешь и положишь в специальный чистый бак.—Зардевшись, он нагло добавил:—Или я себе возьму. Буду мыть и пить повторно!

—Если б все так!—рассмеялась Аня.

—О душе надо подумать—наморщив лоб, проговорил Виталик.—Йогой что ли заняться? Скоро все погибнем. А души усовершенствуем—вот и не растворятся в сернокислом эфире.

—Сначала сдадим металлолом, а потом займёмся йогой,—деловито сказала Аня.

—Ещё нашёл!—воскликнул Виталик, поддевая носком бутылку от пепсиколы. А вот бумажный стаканчик. Можно все в один бак?

—Раз другого нет...—сказала Аня.

—Ну что ты такая грустная, Анечка! Я сейчас весь парк для тебя очищу,—воскликнул Виталик.—Он сегодня то воспарял, то сдувался. Гордость в нём сменялась горечью. «Пока сосу свою обиду, как пустышку, она заботится о среде обитания»,—расстраивался он.

Они остановились под фонарём. К чёрному драпово-

му пальто Виталика прилипли несколько травинки и фантик от конфеты. Фантик Аня заметила и сняла.

—В макулатуру?—уточнил Виталик.—Обычно ему было недосуг чиститься, а тут он вдруг стал быстро отряхиваться; при этом вид у него был какой-то подстреленный.

—А может и зря—фонарь,—пробормотал он.

Аня быстро подошла и почистила ладошкой его пальто.

—Щекотно,—сказал он, смеясь, хотя на самом деле ему казалось, что она мягкой кисточкой проводит по его сердцу.

* * *

После прогулки он обычно долго бродил по улицам.

«Ну что?»—спрашивал Женька спросонок.

«Спи, пожалуйста»,—просил Виталик голосом экстрасенса.

«Подольше бы гулять с ней,—неотступно думал он. Но нельзя. У неё сердце надрывается, когда она видит бездомных, спящих на люках в мешках и дырявых пледах... Я бы дал квартиры всем бомжам Сан Франциско. Хорошие, не гаражи. Обязал бы их спать в тепле. Лечил бы под симфоническую музыку. Она бы тогда, чувствуя себя в полной безопасности, гуляла со мной до утра. Виталик вздохнул. А утром бы, узнав, куда они подевались, сказала: «Выпусти их, Виталик! Ещё вчера у них была пряная свобода, а сегодня только пресная терапия...»

СТИХ НАШЁЛ

—Я как-то зашла в забегаловку выпить лимонада со льдом. Очень странно на меня хозяин смотрел. Нехорошо смотрел,—понимаешь, Виталик?—спросила Аня.

—Как тут не понять!—воскликнул Виталик, закипая.

—И тогда я подумала, что он меня разгадал!

—Как же это возможно, Аня?—принудил себя улыбнуться Виталик.

—Тунеядка! Зашла в кафе! И приглядывается, ища ласки!—выпала Аня.

—Так разве ж я бы не...—задохнулся Виталик.

—Не будем об этом,—насупилась Аня.—Поговорим о работе!

—А я тебе не Human Resources!²—вознегодил Виталик.

—Ах, вот как!—опешила Аня,—и замолчала, не собираясь плакать при таком грубияне.

Виталик сильно дёрнул себя за чуб и побледнел от боли. Укоризненно вздохнув, Аня решила продолжить.

—Притворившись художницей, я стараюсь много не замечать... Но разве та, что пробует рисовать, имеет право закрывать глаза?!

—Как же ей видеть сны?—как ни в чём не бывало спросил Виталик.

Аня только рукой махнула.

—Иногда я немножко уродую людей, а если мне кто понравится,—лицу,—продолжала она.—Одного мальчугана я нарисовала с толстой щекой,

¹ В утиль.

² Отдел кадров

словно он заболел свинкой! Это неумышленно... Но это ещё хуже! Он может потерять самоуважение, глядя на такой портрет, — голос Ани стал тонок, как у молодой учительницы, не могущей совладать с собой.

— Это ещё что такое? — удивился Виталик. — В пацане и уже самоуважение!?

— Ну этот их self esteem¹, ты разве не знаешь! — робко уточнила Аня.

Виталик только плечами пожал.

— В Америке можно себе многое позволить, — продолжала она. — Тут есть еда, даже бесплатная, — и можно выжить. И вот, девица — выпендривается. Всем, что в руки идёт, — пользуется!

— Что это ты в рифму? — удивился Виталик.

— Стих нашёл!... Давай поженимся, — ни к месту пробормотал Виталик, да так тихо, что эту фразу вполне можно было не расслышать.

Но Аня расслышала.

— Ах, что же ты всё мешаешь в одну кучу! Как можно жениться на человеке, который не нашёл себя!

— Анечка! Мы найдём тебя! — смело воскликнул Виталик. — Я ж тебе говорил, я медбрат. Я мигом на работу устроюсь. Будем плакать по одну сторону стены. И потом — я смогу заплатить за твою учёбу в Академии Художеств!

ШАНС

— Когда я не знал тебя, мне нравилось лицедействовать, — скромно сознался Виталик, останавливаясь перед зеркальной витриной. — Что мы видим? Взлохмачен. Носат и тёмноглаз, а на подбородке ямочка. Здесь кто-то ещё угадывается...

— Многоликий Вранус, — улыбнулась Аня.

— Я не могу больше никого изображать. Лицо осталось, а действия нет. Одно замешательство, — пробурчал Виталик.

— Неужели ты не уверен в себе? — удивилась Аня.

— Нет, не в себе. И не в себе я тоже... Я себя люблю, потому что... — пробормотал он.

— Что?

— А ты разве не знала, что тоже меня любишь?! — проговорил Воронин, боясь её жалости и её честности. И вдруг воскликнул:

— Какой же я везучий!

Аня взглянула на него испуганно. Виталик сжался и опустил голову.

— Нахотеленный Воронёнок, как же тебя не любить!..

— Когда ты радуешься, я ликую... когда печалишься, я отчаиваюсь... когда болеешь, я умираю... — пробормотал Виталик.

— А если всё это закончится? — спросила Аня.

— Что? — не понял Виталик. — Ах, вот ты о чём, —

тут же догадался он. — Да я буду на целый день от тебя улетать, — всплеснул он руками, — лишь для того, чтобы к вечеру ты соскучилась!..

— Да нет же, — нетерпеливо сказала Аня, — вдруг ты меня разлюбишь?

— Как это?... А-а... — Если я тебя разлюблю, Аня, я, конечно, и себя разлюблю. А разлюбив, быстро израсходую.

Перед его глазами вдруг проплыло добродушное лицо Женьки и доброе лицо киевской бабушки; она сидела возле массивной полки, уставленной банками компотов и варенья, глядевшими в тёмную комнату густоцветными стеклянными глазами. Тут со всех сторон набежали лица зрителей: кто-то недоуменно хмурился, а кто-то доверчиво улыбался. У большого дерева, подсвеченного луной и фонарями, притаился слабо шевелящийся пожелтевшими ветками куст.

«Да вас тут пруд пруди, — удивлённо подумал Виталик. — Зачем вы здесь? Помирать я ещё не собираюсь...»

Он схватил Аню за руку и быстро заговорил:

— Ты не бойся, Анечка, я вот уже отбоялся. Раньше за тебя всё время боялся. Если бы мог, всюду б следовал за тобой и зонтик бы над твоей головой держал — от сосулек, самолётов, ну и от солнца, конечно.

— И от птиц? — прыснула Аня.

Виталик улыбнулся доверчиво и заверил:

— Птицы не обидят...

— Я всё время боялся за тебя, Аня, — сказал он тихо. Ведь ты — невероятная, тебя и вообразить невозможно, если не знать.

— Виталик, ты многое навоображать можешь, — ласково сказала Аня.

— Не возражай! — воскликнул он. — Мне выпал шанс! То есть не выпал пока ещё! Но почти. На меня свалилось всё небо! А если ты не будешь со мной, оно снова ввалится в себя и меня всосёт.

Аня слегка прикоснулась к его лбу, словно проверяя температуру, а потом погладила по голове.

КОЛОКОЛЬЧИК ОДНОЗВУЧНЫЙ

Обычно симфонии навевали на Виталика сладкий сон, но когда Аня предложила ему пойти на симфонический концерт в парке Золотые Ворота, он чуть не подпрыгнул от радости.

Он оттопырил свои немзыкальные уши и шапочкой их придавил: если уши жмут, — не уснёшь. К тому же теперь, когда они чутко наставлены, музыка легко проникнет в его сознание. Всё было напрасно. Скосив глаза, он замечал, как менялось Анино лицо. «Воспаряешь? Одна? — ревниво думал он. — И меня возьми! Я тихо, я не помешаю!» Он совсем изныл, пока она слушала своих Брамсов с Шубертами. По её

¹ Самоуважение

смуглым щекам пробегали бледные пятна — может, просто дрожащие листья отражались ...

Когда, после концерта, они решили побродить среди тёмных эвкалиптов, Виталик вдруг взял, да и спросил её:

— Хочешь знать, как я люблю тебя, Аня? Ведь правда, ты хочешь знать?

— Правда, — ответила девушка.

— Тебе поросто любопытно, да? — сник Виталик.

— Чуть больше, чем просто любопытно, — улыбнулась Аня.

— Но ведь ты любишь другого, — проговорил Виталик, как будто надеясь, что сейчас она всё опровергнет.

— Я люблю тебя. Просто иначе, — ответила Аня.

— Ты любишь двоих сразу?

— Хочешь, я тебя поцелую? — виновато спросила Аня.

— Нет. Раз ты спрашиваешь... — Во мне больше нет ничего, Аня. Может, и было когда-то, я не помню. А ты как замок на горе. Столько комнат с высоченными потолками. На стенах — портреты. Кумир твой — на отдельной стене. Как Джиоконда. Брамс с Шубертом рокошуют, перебивая друг друга. — Он вздохнул. — Я очень быстро могу тебе наскучить...

— Рыцарь бедный, — проговорила Аня.

— Если по какой-то невыносимой причине то, что есть во мне сейчас, уйдёт, я стану как слепая резиновая игрушка и буду не в силах донести себя до помойки. Но кто-то добрый придёт и выбросит меня.

— Бог что ли? — уточнила Аня. Виталик только плечами пожал...

— Мой надутый рыцарь, — проговорила Аня и взяла его за руку.

— Так ты хочешь знать — как? — настойчиво повторил Виталик.

— Ну конечно!

— Если это облечь в слова, получится монотонное пустозвонство...

— Однозвучно звенит колокольчик. Едешь в степи, зимой, замерзаешь, а колокольчик не даёт уснуть, — проговорила Аня, не глядя на него.

— В этом случае надо просто тулупчик хороший и зарядку сделать перед сном, — заметил он.

— Виталик! — воскликнула Аня, словно просыпаясь — Облекай!

— Нежно и трепетно.

Немного помолчав, Аня взглянула на него и спросила:

— Ты не стесняешься своих слёз?

— Я — совершенно беззастенчивый тип...

— Я больше не хотела бы при тебе реветь, — вдруг насупилась она отчего-то и, посмотрев ему в глаза, спросила:

— А я — какая?

— На первый взгляд, — ты тонкая и хрупкая, но внутри у тебя горячее ядро, — выговорил Виталик.

— Сердце что ли? — спросила Аня.

— Как хочешь называть. Горячее ядро и тонкая оболочка — это опасно... Поэтому, если хочешь знать, — мучительно... Боюсь ранить... — пробурчал он. Аня вздохнула и чуть заметно улыбнулась.

— И ещё, — вдруг осмелел Виталик, — испуганно.

— Это — как бык на красную тряпку?

— То есть я всегда чувствую преграду... — поморщился Виталик.

Помолчав немного, он воскликнул:

— Восторженно! Внутри и снаружи — всё в тебе красота!

— Мои сосуды подобны трубам органа! — приснула Аня. — Морозные узоры бронхов украшают мои лёгкие... Кишечник свернулся, как удав, но никогда не отдыхает...

— Ты веселишь моё сердце, — улыбнулся Виталик.

— Разгоняю твою меланхолию? — уточнила Аня.

— Я весело тебя люблю... Раньше грустно было. Но эту стадию я как-то проскочил... Зато порой (он робко на неё посмотрел) — мрачно и безнадежно.

— Ну пожалуйста, Виталик, не реви как девочка...

— Что же мне тебя стесняться? Ты — родная.

— Ох! — воскликнула Аня.

— Так, может, на... роду написано? — запинаясь, проговорил Виталик.

По дороге домой он придумал стихотворение.

Ты вся ручей:
и голос твой и речи.
Прохлада утра.
Жаркий шёпот дня.
В твоих глазах играет чёртик вечный,
когда ты нежно смотришь на меня.
Не только щебетание июля!
Неутолимой совести закон.
И чем непоправимее люблю я,
тем больше новых у тебя имён.

ВИД ИЗ ОКНА

Выйдя из парка, они пошли по неказистой улочке и оказались в тупике, заставленном разномастными домами: одни из них норовили выбежать вперёд, к краю дороги, а другие стремились задвинуться подальше, вглубь двора.

— Здесь дорожка обрывается! — сказал Виталик. — Снимем комнату на двоих.

— Ну что ты! — возразила Аня. — Надо, чтоб

вид был из окна.

— Чем тебе не вид! — воскликнул Виталик, указав на огромный разлапистый кактус, весь в шишечках и колючках, росший у двери бледнорозового дома, оставляя открытым большое окно.

— Он скорее на человека похож, чем на вид, — заметила Аня. Громоздкий, колючий. Видишь, сколько надо ему щупалец! А за веточку дёрнешь, сразу и отвалится.

— Во-первых, без толстых перчаток не дёрнешь. Во-вторых, оторванную ветку можно вставить в землю и вырастет новый человек! — возразил Виталик.

— Совсем зелёный, но невыносимо колючий, — сказала Аня.

* * *

— Это кого ты имеешь в виду? — думал Виталик обиженно по дороге домой. Чтобы утешиться, он сочинил стихотворение:

Ярких окон улыбка во весь фасад
прикрыта ветвями от посторонних.
Щит луны блестит, охраняя сад,
заслонив кошёлочки гнёзд вороньих.

К вам стучится клювом голодный сын.
Он сглотнул туман и ночную сырость.
Уязвлённый взглядом судьбы косым,
Не сдаётся, дерзкий, судьбе на милость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Последнее время Аня смотрела на Виталика с какой-то усиленной добротой. «Наверное, и солдатам, идущим на смерть, дают дополнительное питание», — пугался своих предчувствий Виталик.

В этот вечер он долго ничего не мог придумать. Поэтому сначала просто ходил и разгонял шляпой чаек, переходивших дорогу перед тормозящими машинами. А потом купил себе приторной сладкой ваты; она была похожа то ли на белое пламя, то ли на клочья тумана. Он стал задумчиво помахивать ею в воздухе, стараясь загасить или развеять. Прохожие начали на него с любопытством смотреть... И вдруг, ни с того ни с сего, его глаза увлажнились. Он тут же их прикрыл, чтобы быстрее рассосались непредвиденные слёзы, но не получилось... Взгляд упал на угрюмую девочку-подростка. Он подумал, что, наверное, и её, как того клерка, не баловали в детстве; теперь у неё есть немного карманных денег, но она думает, что детей баловать нельзя, а другие родители просто поступают непедagogично. Девочка тянется к недозволенному и осуждает свои желанья. «Ах, какая сильная воля! — посочувствовал ей Виталик — Ведь поплакать на людях всё же легче, чем слёзы свои проглотить». И он стал плакать, уже никого не стесняясь. Вдруг

на вату села оса, он осторожно извлёк её, и хотел было помыть ей липкие лапки, но она укусила его за палец. Дёрнувшись, Виталик стал поливать место укуса водой из бутылки. Скучающие зрители, не понявшие смысла его странных манипуляций, начали расходиться. Увидев это, Виталик воскликнул: «И ты, Муза, мне изменяешь!» Он оторвал губами кусочек белой липкой массы, — теперь она показалась ему лишь сладковатой — и сел на каменную скамейку. Полы его расстёгнутого пальто легли на свежие сорнячки, торчащие там и сям из щелей в камне. «Я хочу ужаться, но как тесто, занимаю слишком много места», — механически срифмовал он. «Ты просто дразнишься?» — спросил он Музу. Кстати, сколько вас?

МУЗА

Виталик встрепнулся, когда Аня, наконец, под села к нему. Он замёрз, ожидая её, и сел на свои ладони, чтобы их согреть.

— Смотри, поосторожнее, Воронкин, того и гляди, взлетишь! — сказала Аня.

— Не беспокойся, — сдержанно ответил Воронин. — Заземлят...

— Как ты думаешь, Аня, из меня мог бы получиться доктор? — спросил Виталик.

— Ты клоун, — ответила Аня. — Зритель приходит к тебе беспокойный, заражённый ядом. Ты высасываешь из него яд.

— Что ты — яд! — засмутился Виталик. — Я занозы вытягиваю. Клювом.

— Вытягиваешь зло, которое в них засело, — пояснила Аня.

— Поэтому, когда меня укусила оса, они так зло надо мной смеялись? — грустно спросил Воронин.

— В тот момент, — ответила Аня, — они смеялись не вместе с тобой, а над тобой. Им надо было твоего униженья, бедный Воронкин.

— Действительно, — согласился Виталик. — И теперь яд у меня в крови...

— Балансируй, Виталик, — сказала Аня. — Дай им упиться лёгким превосходством, и они уйдут от тебя излечённые. Будь смешным, но не будь смехотворным! — сказала Аня и почему-то крепко пожала Виталику руку. «Будто бы коллеге!» — мысленно восхитился он.

ЧЁРНЫЕ ПТИЦЫ

Назавтра, когда Аня закончила рисовать, они уселись на изображающих пни чурбаках, разбросанных там и сям вокруг пустых, нарочито корявых столиков. — Руку? — переспросила Аня. — Вот тебе моя рука. «Кожа совершенно шёлковая!»

— восхитился Виталик, но руку взял молча.
— Хочешь погадать? — и она убрала руку.
— Собирался поцеловать.
— Аня потрепала его по тёмным

взъерошенным волосам. — Я должна с ним встретиться.

— Да? — только и сказал Виталик.

— Чем бы это ни кончилось, нам с тобой нельзя больше видаться.

— Кто сказал, что нельзя! Друзьями можно оставаться по гроб жизни! — вскричал Виталик. — В этот момент его смуглое лицо показалось Ане и впрямь клоунским. Оно побелело под загаром, как под слоем грима.

— Первый раз слышу как ты орёшь. И уши совсем бледные. Воронкин!... Ну какой же ты друг? Ты слишком нежный друг. — Аня улыбнулась ему как немолодая мать так и не повзрослевшему сыну.

«Откуда только взялись у неё эти морщинки у губ и возле глаз?» — забеспокоился Виталик.

— Ты слишком много бываешь на солнце и ветру, Анечка! — глухо проговорил он.

— Что, нос облупился? — уточнила она.

Обычно ты не замечаешь моих недостатков.

— Их нету, — прошептал Виталик.

— Ну, ну, — усмехнулась Аня.

— А теперь один будет.

— Какой же? — мягко спросила она.

— Недостаток меня!

Больше он не мог сказать ни слова. Ни «прощай», ни «до свиданья», ничего... На мгновение ему вспомнился человек-куст с верёвкой на шее. Виталик пошёл прочь. И ходил долго: час, или два, или три. Наконец, вышел на пыльный пустырь с узловатым деревом и тремя деревянными ступеньками в центре, оставшимися от какого-то строения и торчавшими теперь как нелепый пьедестал. По ступенькам ползла веточка дикого винограда, на которой оставалось несколько листьев, недоеденных улитками. По земле прыгали чёрные галки. Виталик уронил чемоданчик на землю. Замок раскрылся, зазвенели монетки. «Нищий, — подумал Виталик, опускаясь на ступеньку. — Только подать некому. Да разве мне теперь что-то надо? Или кто-то». — Так он долго сидел. Иногда он зажимал рот кулаком, чтобы нечаянно не прорвался крик. Потом начинал бормотать: «Пусть без меня, пусть. Лишь бы живая... Здоровая и счастливая, — суеверно добавлял он. — Я только время от времени буду проверять. Если что — подпитаю... Меня не допустит... А если очень будет надо?! Не надо, чтоб было надо. Не надо! Шут гороховый! Ты не сможешь без неё...»

Быстро темнело. Виталик свернулся калачиком на ступеньке и закрыл глаза. В голове гудело, мешая уснуть.

Птицы свернули шеи,
в чёрное небо глядя.
Птицы летать не умеют.
Крыльями землю гладят.

Белая смерть, дай корма
чёрным усталым птицам.
Сыты землёй по горло, —
дай им воды напиться.
Чёрную землю птицы клюют
и не поют.

Скоро он проснулся и решив, что ещё успеет к последнему поезду метро, быстро пошёл через пустырь. Птицы загомонили, потом немного посторонились, давая Виталику пройти, и опять принялись клевать, не обращая на него никакого внимания.

В чёрствую землю глядя,
птицы галдят и гадят! —

воскликнул Виталик.

ВЕСЁЛЫЙ БОГ

Вечерний луч зажигал охапки листьев, затем их подхватывал ветер, и через мгновение листья гасли в сумерках. Будто по земле пробегали рыжие белки. Откуда? Здесь таких не бывает! «А может быть, — подумал Виталик, — это Бог шевелит листья, как ему вздумается. И гасит». Виталик подумал, что Бог должен быть добрым, весёлым и здоровым. И свободу любить в человеке. Гадов он, конечно, обязан вразумлять, а если не поможет, от них отворачиваться. Для самых больших гадов, — эвтаназия.

«А невинным страдальцам я сам помогу!» — вдруг воскликнул Виталик, быстро оглянувшись. Ему показалось, что его кто-то подслушивает. «Слушай открыто себе на здоровье, — сказал он Богу. Я не стесняюсь своих мыслей».

На работу в хоспис Виталика приняли по основной специальности.

КАК БОГ НА ДУШУ ПОЛОЖИТ

Хоспис — светский монастырь. Обезболят, и думай о душе, сколько влезет, всё равно больше нечего делать.

Вот сидит землячок. Его терзают рак и совесть. А вот другой к нему пришёл, пообщаться. Орёт на совестливого: «Чтоб ты сдох, последний кислород в комнате отравляешь!» А совестливый выдыхает смрад и жалеет злобного, чья будущность загублена.

— Ведь я такой же грешник, а, может, ещё хуже, просто лицемерный! К тому же капризным становлюсь от болезни, — говорит Петро. — И что за

мысли каждую минуту в голову приходят! Вот только сейчас подумал, что этот сдохнет от злобы раньше, чем от рака, и поделом! Теперь я поступки свои вспоминаю. Тёщу, к примеру, регулярно обманывал. Жену нет, боже упаси! У Зои серьёзное увлечение. Она фотографирует вечерний Сан Франциско с верхних этажей. Думает книгу фотографий за свой счёт издать. Я обычно её сопровождал. Мамаша Зоина не хотела, чтобы мы время тратили попусту. Ворчала, кричала, сильно била себя в грудь, а когда становилось больно, корвалол пила гранёными стаканами, вывезенными из послевоенной Одессы. Я как-то на работе задержался; Зоя возьми да и сама пойди. Я говорю тёще: Зоя в магазин или на курсы пошла... Что тут началось! «Как ты можешь так хладнокровно сидеть и ждать, не зная, что с нею сейчас происходит! — орала тёща. — Хоть бы у подъезда её караулил! Или выглядывал в окно!» У меня нервы не выдержали, и я запер тёщу в кладовой. Стала причитать: «В пыли! Во тьме! Без кислорода!» — я терпел, но когда заголосила: «Старую женщину-у!», — проняло меня, и я её сразу же выпустил. Тут она меня металлическим совком по руке! Я схватил её за эту оголтелую руку, а она её согнула, словно птичка лапку, и поехала на рентген по скорой помощи. А лапа крепкая, когтистая, что с ней сделается! В тот день Зоя корвалол пила, но из рюмочки, и в ванной запиралась, чтоб запах не распространился по дому и чтобы я не догадался. Но я-то знал, потому что целовал её в губы. Так что, Витя, и в Зое изъян? Обмануть хотела и вообще... она же и вправду время от семьи отрывала и фотографировала. И я туда же. А сынок в это время у телевизора засыпал!

— Нет у Зои изъяна. А ты что, её грехи хочешь первым делом замолить? Или тёщины?... Ты не волнуйся. Шучу. И в тебе нету изъяна. Хочешь, я тебе батюшку приведу?

— Попа? Ну vedi... Подожди. Никогда к ним не ходил. Жил, как Бог на душу положит, а теперь, позови? погоди, не vedi пока. Кислороду можешь больше отвинтить, Виталий?

— Сейчас, Петро. И окно открою. Ещё хорошо, что у тебя отдельная палата. Скажи, чтоб соседя не впускали, и всё. А у нас ведь, небось, до сих пор, десять человек в одну комнату запикивают. Какой-нибудь подлюга не дал бы окошко открыть, если б душно было, а если б холодно, пошире б отворял!

— Да, мне повезло с отдельной палатой. И с тобой. Ты нормальный мужик. Чего ты тут страдаешь, шёл бы компьютеры изучал!

— Я забиться хочу, Петро... На фиг, понимаешь, влюблён. До умопомрачения.

— Так ты будь мужиком. Терпи. Заслужить внимание старайся... Отвинти ещё! Что там, вентиль сломался?

— До конца открутил... А чего ты сползаешь? Ты сиди. Сидя легче. Сейчас я тебя подтяну.

— Так лучше... Мне повезло. Мы с Зоей

хорошо жили. А твоя что, — гуляет?

— Да не женат я. Моей девушке просто другой нравится.

— Если она с ним гуляет — это грех... Не ржи... над умирающим... американец! Кока — колы дай. Да держи ты ровно, медбрат!

— Я ровно держу, просто у тебя не в то горло идёт.

— Водка бы в то пошла, я тебя уверяю.

— Ты не разговаривай, когда пьёшь. Я б и то кашлял, если б пил и разговаривал...

Ну погоди, Петро, вперёд тебя немножко наклоню. Пить надо меньше! Да не смотри на меня с укором! Ну погоди! Не умирай!

— Ещё нет. Заладил! Обожду. В землю лечь всегда успею. Тем более в чужую, Витя.

— Какая тебе разница — в какую?

— Не всё равно, Витя. Мне, русскому человеку, не всё равно. А ты что — еврей?

— Да. На двадцать пять процентов. Ну и сволочь ты, Петро. Не ожидал. На остальные двадцать пять я украинец и на пятьдесят русский. А ты стопроцентный... Виталик вздохнул... дурак.

— Умирающего оскорбляешь?

— Ещё и баба. На жалость бьёшь. Ведь и я помру. С медбратом или без — не знаю... Ладно, — Виталик свёл вместе густые брови. — Ты, давай, не расстраивайся из-за мелких разногласий. Думай позитивно: главное, есть Зоя. Ну, а также непрерывная подача кислорода и трясогузки за окном.

— Колибри. Надо знать мир птиц. Я интернационалист, Витя. Моя Зоя — тоже смешанная. Я ж просто хотел сказать, что некоренной национальности легче уехать и прижиться на новом месте.

* * *

— Ему немного лучше сегодня, — сказал он Зое, взглянув ей в лицо и отведя взгляд. Виталик принёс для неё удобное кресло с валиком для ног. Встал на лестницу и направил лампу так, чтобы не била людям в глаза.

Зоя попросила: «Виталий, посидите, пожалуйста с нами». Он взял Зоину руку, погладил и ему удалось, наконец, вздохнуть. Тут же подумал, что надо дышать деликатнее. Анину руку он мысленно в мгновенном испуге отпустил, проговорив про себя: «Я сам, ладно?»

Когда принесли ужин, Пётр посмотрел на Зою и показал глазами: «Ешь». Она поставила тарелку с курицей мраморного оттенка и овощами на колени и стала медленно есть ужин Петра. Виталик поспешно сходил за кофе и, конечно же, расплескал его. Схватив салфетку, осторожно протёр вокруг Зоиных туфель. Зоя словно ничего не заметила... Губы её дрожали, когда она ела и потом, когда перестала. Казалось, она всё время хотела что-то сказать.

* * *

Город за окном палаты часто скрывался в тумане и не выдавал себя ничем. Только мост Золотые Ворота призрачно намечался. По нему двигались игрушечные машинки. Виталик расставил бы их иначе. Он бы их рассредоточил. Что-бы ехали согласно, но друг другу не мешали. Это только отсюда кажется, что машинки никогда не покинут мост. А если я поеду,— вжик — и промчусь. Сверну и останусь один. Это не по мне — стоять отдельно. Аня, я всё время ощущаю, что держу тебя за руку. Держусь или тебя придерживаю? Мешаю? Где я сам? Можно ли меня любить — меня ведь нет почти. Забыть себя Виталику удавалось всё чаще,— да и было ли в нём что-то, за что стоило бы держаться?

Лишь однажды он подошёл к дому, где жила Аня, и, как промокшая птица, тихо свистнул у неё под окнами.

* * *

Когда Петро умер, Виталик работал с другими пациентами. Уколы успокаивали боль, нагретые простыни уменьшали холод, обложки журналов напоминали о том, чего не случилось. Часто он ждал в надежде услышать просьбу, глядя то на больного, то в окно. Он словно не жалюзи раздвигал, а занавес, чтобы вдруг возникла панорама города; казалось, за летящие облака можно было ухватиться. Нередко туман скрывал строенья, но когда Виталик заходил в другую палату, солнце освещало какую-нибудь стену, башню или пролёт.

Лица посетителей были бледны, а лица умирающих порою розовели. Виталик не забывал, кто из них пациенты, но иногда сбивался и вёл себя так, словно смерть никого здесь не может коснуться. Вдруг ему начинало казаться, что все сейчас вытянут руки-ноги и умрут, а он, ненужный, по чьей-то жестокости или недосмотру, останется. Тогда он мучительно старался шутить.

Бывали дни, когда ему становилось сложно разговаривать. Молчаливый и собранный, похуевший, в бледно-фиолетовой униформе, свисавшей с костлявых плеч, он шёл на кажущийся звук и на слабый зов. В перерывах засыпал. Иногда его будил коллега, и Виталик спросонья улыбался в ответ странной, шутовской улыбкой.

Чувство, что в городе слишком много свободного воздуха, не оставляло его. Как это он умудрялся держаться за воздух? Когда Воронин брёл по ночному городу, его иногда посещала неожиданная мысль о том, что всё будет хорошо... потому что, каким-то непостижимым образом, всё и есть хорошо.

Так он проработал полгода. Освободившаяся кровать пустовала не больше часа или двух, пока заполнялись документы на нового пациента. Однажды он подошёл к изголовью пустующей кровати и, быстро крутнув, развернул. Кровать на

колёсиках даже приподнимать не понадобилась. На всякий случай потренировался.

МУЗА У ЧЕЛОВЕКА ОДНА

Когда Женька ходил на пленэр, Виталик подолгу сидел, уставясь в затянутое паутиной окошко. Строчки метались в голове. Он пытался поймать то одну, то другую.

* * *

Сию я в подвале
в полнейшем развале.
Сердце и голова
дрожащего льва.
Намокшей вороны перья.
Господи, что за зверь я!
Как я недоволен собой.
Как тебя оградить от напасти любой,
любимая!?
Чтобы чуя опасности запах,
унести тебя в мощных лапах!
Пошли мне, Всесильный, слова и силы,
чтоб и волос с причёски милой
не упал!

Он сразу заметил неточность: в лапах медведь бы нёс, а не лев. Но оставил всё как есть — какая разница, если Аня всё равно не прочтает.

* * *

Как свежевыкрашенная стена,
пористая, влажная,
душа моя vystоявшая должна
дать прислониться каждому,
кто неуверен или смешон
иль в тайный сговор со мной вошёл.
Кто не боится запачкать пальто,
выйти к чужим и подумать не то.

* * *

Туман висел между сосен,
как будто сосны курили,
когда о нас говорили.
Наверное, мой характер несносен,
ведь я каждый твой шаг караюлю.
Но я не хочу твою доброту
глотать как пилюлю.

* * *

«Что это?— спрашиваешь,— гроза?»
Это у меня блещут глаза,
когда я думаю о тебе в темноте.
Тень листа дрожит на листе,—
значит где-то светит фонарь.
Подойди. В полутьме нашарь

мою тень.
Я тебя ожидал весь день,
но зато обнимал всю жизнь.
Ах, со мною только свяжись,—
неотступно буду с тобой,
смуглолицый хранитель твой.

* * *

Взгляд — в зеркало, а розу — в банку!
Уже иду я!
Как на нечаянную ранку,
на счастье дую.
Мгновенье медлю на обрыве,
и — отрываюсь!
Ты, радость, дремлешь в перерыве,
а ярываюсь...

* * *

Тополей усталых мощи.
Палая листва.
Но дарован воздух общий
тёплым существам.
И летит, роняя блики,
вдаль, сквозь облак темноликий,
в дом вершин и мокрых гнёзд
стая звёзд.

* * *

Боль и память сцепились в клубок. Боль не отпускает, потому что память жива. С памятью не поспоришь. Память не поцелуешь...

Когда я буду умирать, — от горя или от гриппа, — ты возьми красок: фиолетовой, тёмносиней, серебряной. Нарисуй нас с тобой, словно мы только что с луны свалились. Мы так часто были счастливы здесь, а там — всегда. Переселяйся на луну!.. Помнишь, это только оттолкнуться было непросто. Подпрыгнешь и заводишься. Внизу — зияющий провал. Я нередко чем попало его забрасывал. Птичьими перьями, прутьями отсыревшими. А вернёшься на землю, привяжи себя. Ах, да, забыл! Ты ведь не меня любишь. Хороший совет пропадает.

ИДИ ДОМОЙ, ВОРОНКИН!

Идя на остановку после ночной смены, Виталик старался не смотреть по сторонам. Воспоминание могло вспыхнуть возле любого дерева. Всё было фоном, который не мог потускнеть. Но кто это? Голову опустила, волосы коснулись земли. Как же ты без меня ссутулилась... Сидишь на каменной скамейке... Помоги медбрату!.. Нет, вы можете не уходить, я не заговариваю с незнакомками. На скамейке написано: «В память об Иегуде Гофф. 2010». А рядом дерево стоит ветками вниз. Или это метла? Кто здесь подметает дорожки? Только ветер. Иди домой, Во-

ронин, — спать. Нередко он смотрел только себе под ноги, чтобы не обознаться или не оступиться. Старался ездить автобусом, выбирая самый короткий путь к остановке.

Однажды шёл по тропинке, проложенной между глухой стеной магазина «99 центов» и росшим плотно кустарником. Шёл быстро. Ещё шаг, — и наступил бы на человека, полулежавшего поперёк дорожки, упираясь ботинками в кусты. Виталик как раз забыл дома мобильный телефон и не мог вызвать скорую помощь. Назвав себя подлецом, Виталик приготовился производить искусственное дыхание. В то же мгновение умирающий открыл запавшие глаза. Виталик вздрогнул от неожиданности и спросил: «Are you OK?»¹ В ответ человек протянул ему раскрытый пакетик с чипсами. «А, понятно, ты работаешь в этом магазине и теперь у тебя перерыв!» — воскликнул Виталик. «Si, si»², — ответил человек по-испански.

«Как всё благоприятно порою складывается! — думал Виталик, спеша к последнему автобусу. — Но я опять не пригодился. И всё никак не израсходуюсь!»

В РЕСТОРАНЕ

Красавец сел на стульчик и устремил на Аню свои утомительно прекрасные глаза. Взглянув в маленькое зеркальце, быстро откинул назад светлые волосы, спускавшиеся на щеку ступенькой. Нажал на металлический брусочек, торчавший из уха, и сказал в пространство: «Помидоры завтра умрут, а селедочка ржавая! Где вы нашли в Америке ржавую селедочку? Что? Наша? Нет, сугубо ваша!»

Аня подумала весело: «Молодец! Даром, что глаза печальные!» И вдруг разозлилась на себя: «Не смогу полюбить бизнесмена? Это что за дискриминация такая? По признаку занятости!.. У него глаза одинокие, глубокие, а душа, скорее всего, широкая! Много жертвует на благотворительность». И попросила взволнованно: «Не смотрите по сторонам, пожалуйста!» Ей хотелось воспроизвести на бумаге взгляд, обращённый в себя, но сегодня он ей почему-то не давался.

— Девушка, ты по-русски говоришь! — вскричал неотразимый и, как выяснилось, крутой молодой человек.

«Правильно, сразу на ты», — оценила Аня простоту манер нового русского. — Дружба с первого взгляда!»

— Вадик, — и он протянул ей руку.

— Анна — отозвалась Аня.

— Пошли со мной сегодня в русский ресторан! — пригласил Вадик.

— Ладно, — весело ответила Аня, — пошли.

¹ С тобой всё в порядке?

² Да, да.

* * *

— Две котлеты по-киевски,— распорядился Вадик.

— По-киевски!— вздрогнула Аня.

— Два мороженных, две водки, — завершил он заказ.

Принялись за еду; Вадик всё больше воодушевлялся, Аня всё сильнее волновалась.

— Что же ты не пьёшь, Анюта? — весело спросил молодой человек, опрокидывая рюмку водки...— А ещё богема!

— Я не богема!— воскликнула Аня.

— Пошутил,— заулыбался Вадик. — Хотел сказать — богиня.

Она с надеждой посмотрела ему в глаза, и нечаянно задержала свой взгляд на мгновение дольше, чем это принято

— Что, нравлюсь? — усмехнулся парень.

— Мне раньше казалось, что...

— Что же? — переспросил парень небрежно и словно не слишком интересуясь ответом. Но ответа не последовало.

— Что же? — повторил Вадик взыгравшим голосом.

Отправив в рот несколько кусков, Вадик прожевал, положил нож, вилку и с чувством поощрил:

— Не смущайся, Аннесса!... У меня своя квартира на Гири... Неплохие бабки я делаю, — добавил Вадик прочувствованно и допил Анину водку.

Аня молча жевала.

— Пойдём со мной, в мою берлогу, богиня! — и он приподнялся, чтобы поцеловать Аню, но в этот момент она неожиданно чихнула.

Потом ещё раз. И ещё. Прикрываясь салфеткой, она быстро вышла из зала, смеясь и утирая слёзы.

БАБА ЗИНА

Когда Аня была маленькой, её родители совсем не располагали свободным временем. Зимой — песенные слёты, летом — нехоженные тропы. Отправляясь в турпоход, они подбрасывали дочку немолодой глухонемой родственнице, бабе Зине. Баба Зина казалась им плотно укутанной в тишину, как ребёнок в тёплое одеяло. Интересов взрослых не имела, однако еду для себя готовила регулярно. «С малолеткой ей даже будет веселее»,— говорила мама. «С нахлебницей», — морщился папа. «А мы не с пустыми руками», — возражала мама. И вот на кухонный стол водружались две сетки с консервами: одна с тушёнкой, вторая со сгущёнкой. Баба Зина отворачивалась от приношений, словно не желая их видеть.

У бабы Зины был свой дом на окраине города, доставшийся ей ещё от родителей: учительницы

младших классов и фельдшера. Был и огород. Там росли овощи для борща. Вместе с Аней они их собирали, а потом хорошенько уваривали.

Как-то, срезая лук, баба Зина тихо поманила Аню. Возле луковой грядки сидела маленькая зелёная ящерица. Подняв головку, растопырив лапки и подобрав хвост под брюшко, пришелица напряжённо смотрела на людей. Вдруг она вздрогнула, юркнула в луковый сумрак и пропала.

Прежде чем уснуть Аня вспоминала свой день. Порой впечатления выстраивались в цепочки — будто она ягоды на травинку нанизывала,— а иногда рассыпались и падали куда-то во тьму. «Ты нас не бойся, — шептала Аня ящерице, — ты нам верь». Подозвав бабу Зину, Аня начала рисовать в воздухе: едва возникнув, призрачная ящерица растворилась в нём. Баба Зина поцеловала Аню в глаза. До этого Аню целовали родители, когда уезжали, а сама она целовала лишь пластмассового зайца, в дырку на щеке.

В плохую погоду баба Зина давала Ане мулине, чтобы та делала симметричных куколок — ручки в стороны, ножки врозь, а потом бы с ними играла. Аня же нравилось, чтобы куклы выглядели повеселее. В ящике стола Аня нашла моток медной проволоки, и теперь юбки топорщились, ручки кололись, волосы стояли дыбом. Бабе Зине хотелось причесать кукол и одёрнуть им одежду, но Аня опять всё делала по-своему. Баба Зина, вздыхая, крестила кукол и возвращала их девочке.

По вечерам Баба Зина и Аня медленно читали книги, обычно вдвоём одну и ту же, по очереди останавливаясь, чтобы уточнить непонятное слово. Аня пыталась объяснить его значение рисунком на бумаге, баба Зина звуками, жестами и выраженьем лица. Однажды они прочитали:

В крови горит огонь желанья.

Душа тобой уязвлена.

Лобзай меня: твои лобзанья

Мне слаще мирра и вина.

Тихое лицо бабы Зины задрожало. Привстав, она зачеркнула букву «р» в слове «мирра» и провела по лицу концом косынки.

* * *

В Америке Анины родители по-прежнему не докучали девочке заботой.

Окончив бухгалтерские курсы и устроившись на свою первую работу, Аня стала посылать тётке Зине письма и деньги. Тётя Зина аккуратно отвечала. Её письма состояли из полезных советов, кулинарных рецептов и благословений. Иногда в конце тётя Зина приводила цитату.

Недавно она написала:

Пастила нехороша

Без тебя, моя душа.

РИЧАРД

Аня раньше и слова такого не слышала: аутизм. Будто кто-то аукается с тобой. Да только ответа не слышит. В доме на несколько квартир, где Аня снимала комнату без кухни, жила такая семья. С двумя мальчиками сидел отец. Мама не могла: она слишком расстраивалась. Зато она ходила на работу.

Папа постоянно был на чеку: молча разъединит детей и следит, чтобы они снова не напали друг на друга. Одновременно он старался делать что-нибудь ещё. Будто доказывая себе, что и у него есть нормальная жизнь, он время от времени читал газету или играл с компьютером в шахматы. Иногда он засыпал, но сразу просыпался от крика или просто оттого, что сидя на стуле спать неудобно.

Старший мальчик, Дэн, немного разговаривал и время от времени решал примеры по математике. Младший, Ричард, не мог говорить и часто бился головой о стену, поэтому ему на голову приходилось надевать шлем. Ричард был худенький, высокий, с большими нежадными голубыми глазами; от их густого и яркого цвета кожа мальчика тоже казалась голубоватой, а губы бледными. «Бедный ты мой инопланетянин!» — думала Аня. Однажды, взяв кисточку, она обмакнула её в краску и осторожно вложила в руку мальчика. Ричард, глядя прямо перед собой, немного поводил по бумаге. Получились кляксы, соединённые перешейками. Тогда Аня взяла вторую кисточку. Кое-что подровняв, а кое-где размазав, она нарисовала сосну, мяч, хлеб и несколько других незамысловатых и незаменимых предметов. Солнца было два: весёлое и грустное. Весёлое нужно было для того, чтобы раздвинуть шторы, а грустное, — чтобы задвинуть: яркий свет быстро утомлял Ричарда. Потом она нарисовала много других картинок и поставила их в коробочку в алфавитном порядке. Она показывала мальчику изображения, когда он неясно требовал чего-то или кричал от несознаваемой боли. Ричард выбирал нужную картинку и успокаивался.

Тонкой рукою принца он указывал на те рисунки, которые нравились ему больше всего. Его особенно интересовала вода. Посмотрит на картинку с бутылочкой, Аня сразу даст ему попить, покажет на изображённое мыло, — пойдут мыть руки.

Аня всё время разговаривала с Ричардом, робко надеясь, что однажды он начнёт ей отвечать.

Устав соприкасаться с реальностью, Ричард совершал рывок к стенке. Аня не позволяла ему удариться. Держала крепко, а говорила кротко, и вскоре мальчик начинал смутно улыбаться в ответ. Вернее, девушке хотелось думать, что эти смутные улыбки предназначались ей, но они были адресованы только небольшой части Аниного существа — звуку её голоса. Многим вещам Аня учила его при помощи подкупа. Мальчик подвинет стул к столу или возьмёт

тарелку с полки, Аня ему несколько крекеров поднесёт

«Ну что же я делаю, Виталик! — бормотала она при этом. — Дрессирую ребёнка!» Неожиданно распахивалась дверь. Аня вздрагивала. «Укротительница! — восклицал отец мальчика, вхо-дя.— Теперь Ричард обслуживает себя как человек!» «Он и есть человек», — отвечала Аня.

ВЗГЛЯД В ОКНО

Закзчики один за другим сменяли друг друга, и она сделала много рисунков. Ну и что с того... Она чувствовала себя потерянной. Ричарду прописали какое-то лекарство, он стал очень спокойным, но больше не смотрел на её картинки. Просто сидел на коврик и дремал. Аня дала себе слово поговорить с отцом мальчика.

Почувствовав вдруг безразличие к работе, Аня решительно встала и отправилась бесцельно бродить. Нечаянно она забрела в знакомый тупичок, беспорядочно застроенный старыми домами. За окнами вспыхивала чужая жизнь. Освещённая, она казалась тёплой.

Вот и дом цвета незрелого персика. У входа, растопырив плоские колючие отростки, громоздился тот самый кактус, только из каждой шишечки теперь торчал плотный, похожий на алую лилию, цветок. Вокруг кактуса стояли горшки с розами и азалиями. Аня на мгновение закрыла глаза, чтобы не смотреть на это причудливое великолепие одной. А когда открыла, подумала: зачем рисовать? Разве может нарисованная картина так преобразиться, оставаясь прежней? А главное, показать своё творенье некому... Ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть сразу обоих — Виталика и бабу Зину. Мы бы с тобой её пригласили и купили билет. Ты был бы рад, я знаю! По дорожке, ведущей к двери, вертясь всем тельцем, бежала саламандра, будто предразнивая ту ящерицу.

Семейство собиралось за столом. Окно было раскрыто; весенний сквознячок перебирал редкие волосы бледной хозяйки. Запахло вкусным, и Аня почувствовала, что голодна. Она представила, как разомлевшее мясо в окружении крупнозернистого риса вольготно раскинулось на салатовой лужайке... «Ароматом роз закусим!» — подумала она, даже и не вспомнив о сэндвиче, лежавшем в сумочке с утра.

Чернокожий хозяин зычно крикнул в глубину комнат: «Абби! Таша! Мэрилу!» На его зов выбежали три девочки с кудряшками. Аня отвела взгляд от окна и мысленно дорисовала картину: теперь они что-то медленно пили из синих кружек; над верхней губкой младшей девочки заблестели молочные усики. Это напоминает гляцевую рекламку... На переднем плане кактус, цветы и

саламандра. Окошко — в глубине. Дымок, струящийся над тарелкой, делает лица несколько стёртыми. Тогда молочных усиков не надо, они просто не видны. И себя нарисовать. Или лучше только тень на асфальте, в самом углу: издали приближается человек. Простое название: «Семейный ужин». Или «Взгляд в окно».

На ходу вытирая рот салфеткой, одна из сестёр выбежала на улицу. Она постучала в соседний, ещё довольно крепкий дом, и оттуда, подпрыгивая, пританцовывая и гремя бусами, выбежала смуглая девочка лет девяти в платице с гавайскими цветами. Пройдя по пыльной щебёнке, покрывшей убитый газон, они подошли к следующему дому и вызвали двух белых девочек-близнецов с прыщиками на лицах. Все вместе они постучались в измученный хроническим ремонтом дом. Почему-то на их стук никто не отозвался.

Вдруг Аня почувствовала сильный толчок. В воздухе, словно флажки на демонстрации, замелькали крепкие девичьи руки. Опережая друг друга, они опускались на Анину спину. Неловкие детские удары чередовались с сильными, умелыми. Аня удивилась, что не чувствует ни злобы, ни обиды — только боль. Чужая... глазела...

Когда удар пришёлся по голове, она ещё успела нащупать телефон в кармане и подумать: «Не попрощалась!..» В ту же секунду всё вокруг стало чёрно-белым и пропало.

Она очнулась от громкого крика: два голоса, мужской и женский, сливались. И сразу послышался быстрый топот: дети бросились врассыпную. Вдруг словно кто-то слегка коснулся её руки губами. «Виталик, — прошептала она. — Я знала, что ты придёшь». Слезы, скатываясь по щекам, капали в траву. Он молчал, только сопел сильно. «Простыл?» — спросила Аня, и с трудом открыла глаза. Большая чёрная собака не сводила с неё преданного взгляда. На земле валялись остатки хлеба и кусочек огурца. Аня вспомнила, что у неё был сэндвич с ветчиной. Вдруг собака быстро лизнула её в щёку... «Поела хлеба с солью?» — спросила Аня, пробуя встать. Наконец ей это удалось. «Ну пойдём, Воронушка! Вон как ты насорила! Крошки не будешь подбирать? Оставим птицам, ладно?» Собака так и шла за ней всю дорогу. «А если тебя хватятся?» — спросила Аня у порога, впуская её. В ответ собака грустно посмотрела на неё ореховыми глазами.

СОВПАДЕНИЕ

Утром раздался стук в дверь. «Это за тобой», — понуро сказала она собаке. Вдвоём они настороженно смотрели, как блестящий чёрный ботинок, нечаянно подбросив край лилового балахона, осторожно просунулся в дверь. Потом появилась рука с холщовым мешочком; в нём что-то задребезжало и забулькало. Неожиданно в воздухе

возник бледносиреневый фиолетовый конус, в котором среди робко теснящихся листьев папоротника гордо торчала чайная роза, готовая вот-вот распуститься. «Что за чу... — пробормотала Аня. — Что за чудо!» Из-за конуса показалось чуть запрокинутое, носатое, немного скуластое лицо с ямочкой на подбородке. Виталик вручил Ане розу и пробормотал:

Взгляд — в зеркало, а розу — в банку.

Уже иду я.

Как на нечаянную ранку,
на счастье дуя...

Затем он достал из мешочка эмалированный судок и громко, но с запинкой, сказал: «Бульон! С красным перцем и куриной стружкой!.. Чтoб согреться и насытиться сразу!.. Ты поешь!..» — Аня помотала головой. И тут, за каштановой прядью, Виталик, наконец, увидел большой синяк. Ослабев, Воронин опустился на ручку кресла. Он в страхе посмотрел на собаку, но она ничего разъяснить ему не смогла...

«Понял, — наконец пошевелил губами Виталик. — Блондин». — И громко выкрикнул: «Адрес!» Аня даже вздрогнула. Таких резких интонаций она не могла заподозрить в её Воронкине.

— Виталик, — испуганно заговорила она. — Я шла, гуляла, засмотрелась в окошко и упала.

— Анечка, — еле выдохнул Виталик и пересел на пол. — Здесь места больше, — пояснил он. — Его землистые щёки чуть порозовели.

Потом они заговорили одновременно. Задали друг другу сразу несколько вопросов, и сразу, по ошибке, каждый на свой же вопрос принялся отвечать.

Вдруг Аня замолчала и, взглядывая на похудевшего Виталика, сказала, протягивая ему судок: «Ты сам поешь! Пожалуйста!» Виталик отказался есть. Аня, вздохнув, поставила судок в холодильник, а розу в банку из-под маринованных огурцов.

— Хозяйственная, — заметил Виталик.

Она улыбнулась. Тогда он приблизился и поцеловал её улыбку. Анины губы на вкус напоминали немного подсохшие мандариновые дольки.



Джордж Гордон Байрон

ЛАРА

Перевод с английского
Марины Золотаревской

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ¹

16.

Луч восходивший трогал по пути
Убитых и готовых отойти,
Разбитый панцирь, сорванный шлем;
Вот мёртвый конь в крови, с пустым седлом,
Вот дёрнулась в последний раз рука
Распластанного рядом ездока;
Лежат иные возле самых вод,
И влага дразнит пересохший рот,
И губы страшной жаждою горят,
Терзающий пред смертью всех солдат.
Воды, воды! хоть каплю бы глотнуть
Пред тем, как непробудным сном уснуть!
Отчаянным усилием влеком,
По дёрну обагрённому, ползком,
Ценой остатка жизни, — наконец
Добрался до реки иной боец;
Почуял свежесть волн, почти испил,
Зачем же медлит? Жажду он забыл,
Не утолив её; она была
Последней мукой — и навек прошла!

17.

Под липой, в стороне от битвы той,
Которой он один и был виной, —
Простёртый воин. Лара обречён;
С потерей крови жизнь теряет он.
Лишь верный Калед остаётся с ним,
И шарфом пробует унять своим
Багряный ключ; но судорога вновь,
И снова, всё черней, струится кровь;
Слабей дыханье — и струя скудней,

Да только жизнь равно уходит с ней.
Нет сил для слов — и жестом говоря,
Что помощь только множит муки зря,
Участливую руку Лара сжал;
Улыбкой грустной вожь пажу воздал,
И мир исчез для Каледа в тот миг;
Остались влажный лоб и бледный лик,
И очи угасавшие: они
Светили на земле ему одни.

18.

Враги победой не упыются всласть,
Пока не сдастся Лара им во власть;
Но вот он обнаружен — что с того?
Презрением их встретил взор его;
Оно с судьбой мирит его сполна:
Живущих злоба мёртвым не страшна!
Пред Ото — недруг, некогда в бою
Проливший кровь его, теперь — свою;
А он едва на Ото бросил взгляд,
Как будто помнил-то его навряд;
Позвал паж... и больше ничего
Не поняли слыжавшие его.
Чужая речь звучала! Странно с ней
Сплелась для Лары память прошлых дней, —
О чём же? Из всех, кто здесь внимал,
Один лишь Калед это понимал;
Он отвечал, а зрителям уста
Сковала изумленья немота;
Для тех двоих, казалось, пред концом
Исчезло настоящее в былом;
И не проникнуть окружившим их
Во мрак судьбы, единой на двоих.

19.

Лишь голоса их выдают сейчас,
Как много значит каждая из фраз;

¹ Полностью перевод повести Д.Г. Байрона
"Лара" можно прочесть в книге М. Золотаревской
"Кто ее зовет?.." Сан-Франциско, 2008 г.

Но ты, внимая этим голосам,
Подумал бы, что паж отходит сам;
В тоске он выговаривал едва
Устами побелевшими слова;
И как спокойна Лары речь была,
Пока в ней смерть хрипеть не начала!
Немного наблюдатель бы постиг,
Взглянув на этот отрешённый лик;
Но на пажу, кончаясь, глянул он,
И нежностью был взор его смягчён;
И на восток тогда рука его,
Поднявшись, указала, — отчего?
Явился ли ему зари приход,
Свет, облака пронзающий с высот,
Иль то, что видел он в стране другой,
Куда теперь указывал рукой,
Была ли то случайность — паж не знал;
Он сердцем это утро проклинал,
И, видеть не желая ясный день,
Смотрел на лик, где воцарялась тень.
Но Лара был в сознание — на беду!
К дарящему спасение кресту,
Что был ему поспешно поднесён,
Не пожелал и прикоснуться он;
Лишь усмехнулся — сохрани нас Бог! —
Как будто скрыть презрения не мог.
А паж молчал; от Лары он сейчас
Не отводил в отчаянии глаз;
Но руку, дар поднёсшую святой,
Отбросил с нескрываемой враждой,
Покой вождя желая сохранить,
И знать не знал, что Лара мог бы жить,
Но жизнью вечной, — а её врата
Лишь тем открыты, кто признал Христа.

20.

А Лара задыхался всё сильней,
И паутина чёрная теней
Глаза всё больше застила — и вдруг
В объятьях верных, хоть и слабых рук,
Он вытянулся, страшно задрожал,
И к сердцу руку Каледа прижал.
Оно не бьётся — бесполезно ждать!
Не верит паж, не хочет он прервать
Пожатия леденящего — но нет,
Не ощутит он трепета в ответ.
«Оно стучит!» — безумные мечты!
Лишь то, что было Ларой, видишь ты.

21.

Паж так смотрел, как будто прах немой
С надменной не был разлучён душой.
Когда же отдал он чужим рукам
Умершего, потом был поднят сам,
И в пыль земную, на его глазах,
Упала прахом, отходящим в прах,
Та голова, что на груди бы он
Покоил вечно, охраняя сон, —
Кудрей не рвал он, шагу не ступил,
Стоял, смотрел, пока хватало сил,
Но вот не вынес, рухнул, —недвижим,
Как тот, который был им так любим.
Кого любил... Да нет, груди мужской
Дышать любовью не дано такой!
Минута эта пыткой была,
Что с правды до конца покров сняла.
Ему спешат помочь и грудь открыть,
И тайна перестала тайной быть;
Вернувшись к жизни, паж не прячет глаз.
И что до чести женской ей сейчас!

22.

Вдали от спящих предков Лара лёг;
Глубок его затвор — и сон глубок,
Хотя молитвой холм не освящён
И в мрамор не одет. Оплакан он
Единственной, кто всё ещё скорбит,
Когда народом павший вождь забыт.
Впустую ей вопросы задают,
Угрозы в ход пошли — напрасный труд;
Не вызнать, как она за тем пошла,
В ком так немного видели тепла.
За что могла любить его она?
Да разве страсть от воли рождена!
Он мог быть нежным: не глазам глупца
Прочесть, как бьются сильные сердца,
Когда поллюбят; ведь суровый дух
Едва ли станет изливаться вслух.
Необычайно каждое звено
В цепи, её приковывавшей — но
Ей нестерпима б исповедь была,
Другим же на уста печать легла.



Курт Воннегут

ХОЛОДНАЯ ИНДЕЙКА ПО-АМЕРИКАНСКИ ¹

Перевод с английского
Лины Марковой



Много лет назад я был весьма наивен и думал, что мы, американцы, можем стать гуманной и разумной страной, о которой мечтали многие из моего поколения. О такой Америке мечтали мы во время большой депрессии, когда ни у кого не было работы. Затем мы сражались и умирали за эту мечту во вторую мировую войну, когда на всей земле не было мира.

Однако теперь я знаю, что у Америки нет ни малейшего шанса стать гуманной и разумной, поскольку власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, а люди — это шимпанзе, которых власть опьяняет до безумия.

Говоря, что наши лидеры — опьяневшие от власти обезьяны, подвергая ли я наших солдат, воюющих и умирающих на Ближнем Востоке, опасности утратить всякую мораль? Увы, их мораль, как и многочисленные их тела, уже и так разбита вдребезги. В моё время к солдатам так не относились: с этими поступают так, как богатый ребёнок с игрушками, подаренными ему на Рождество.

* * *

Когда вы доживёте до моих лет, если вам это удастся (мне 81 год), и если вы произвели потомство, то вы обнаружите, что спрашиваете своих детей, которые сами уже люди среднего возраста, что же такое жизнь? У меня семеро детей, четверо из которых усыновлённые.

Многие из читающих эти строки такого же возраста, как мои внуки. Как и мы с вами, они по-царски обматуты нашими бэби-бум корпорациями и правительством.

Я задаю этот вопрос своему биологическому сыну Марку. Марк — педиатр и автор мемуаров “Райский экспресс” о некоем периоде своей жизни, в котором фигурировали смиренная рубашка и палата с мягкими стенами. Со всем этим он управился достаточно хорошо, чтобы получить диплом об окончании медицинского факультета Гарвардского университета.

Доктор Воннегут сказал своему прибалдевшему старому отцу: “Папа, мы здесь для того, чтобы помочь друг другу пройти через всё, чем бы это ни было”. Его ответ сообщаю и вам. Запишите и введите в свой компьютер, чтобы не держать в голове.

Должен сказать, что это вполне достойный ответ, почти такой же, как “Делай другим то, что хотел бы, чтобы они делали тебе”. Многие думают, что это сказал Иисус, потому что это так близко к тому, что Он любил говорить. Однако на самом деле это сказал китайский философ Конфуций за 500 лет до появления величайшего и самого гуманного из всех человеческих существ по имени Иисус Христос.

Через Марко Поло китайцы также снабдили нас лапшой и формулой пороха. Китайцы были настолько тупы, что пользовались порохом только для фейерверков. И каждый, живущий в то время на одном из двух полушарий, был настолько туп, что не подозревал о существовании другого.

Но вернемся к людям, таким как Конфуций и Иисус, а также мой сын-доктор, Марк, то бишь к тем, которые высказались, как вести себя более гуманно и постараться сделать этот мир менее жестоким и жалким. Вот, к примеру, один из наиболее любимых мною людей, Юджин Дебс из города Терри Хаут, находящегося в моем штате Индиана. Как вы посмотрите на такое:

Юджин Дебс, умерший в 1926 году, когда мне было 4 года, пять раз баллотировался на пост президента от социалистической партии, получив в 1912 году 900 000 голосов, 6% от всех избирателей, — можете ли вы представить себе такие выборы? Во время своей предвыборной кампании, он говорил:

Пока существует беднейший класс, я принадлежу ему.

Пока есть криминал, я его участник.

Пока хоть одна душа томится в тюрьме, я не свободен.

Не правда ли, от этого тянет на рвоту, как от всего социалистического? Прямо как от хороших

¹ К вниманию читателей: статья написана в мае 2004 года. — Редакция

государственных школ и медицинских страховок для всего населения, не так ли?

А как насчёт Нагорной проповеди Иисуса?

Блаженны нищие духом, ибо они наследуют Землю.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся.

И так далее.

Пожалуй, не совсем республиканская платформа. Пожалуй, не похоже на речи Дональда Рамсфелда и Дика Чейни.

По какой-то причине наиболее рьяные христиане никогда не упоминают Нагорной проповеди. Зато часто со слезами на глазах требуют, чтобы в общественных зданиях были вывешены Десять Заповедей. Но это Моисей, а не Иисус. Ни от кого из них я не слышал требования повесить текст Нагорной проповеди где-либо.

“Блаженны милостивые” — в зале суда?
“Блаженны миротворцы” — в Пентагоне? Да вы что, одурели?

* * *

В нашей дражайшей конституции есть один трагический недостаток, и я не знаю, как его исправить: только больные на голову желают быть президентами.

Но если вдуматься, только больные на голову захотели бы родиться людьми, если бы у них был выбор. Такие уж мы вероломные, коварные, лживые и жадные существа!

Я родился человеком в 1922 году нашей эры. Что означают слова “наша эра”? Они напоминают об одном из больных этого сумасшедшего дома, называемого нами “Земля”, который был пригвождён к деревянному кресту другими больными. Он ещё был в сознании, когда они штырями прибивали его запястья и ступни. Затем они подняли крест, чтобы он висел на нём и чтобы даже самому маленькому в толпе было видно, как он корчится там во все стороны.

Можете ли вы представить себе, чтобы люди могли делать что-либо подобное другому человеку?

Что ж, это не так сложно. Это ведь развлечение. Спросите рьяного католика Мела Гибсона, который как акт своего религиозного усердия недавно сделал огромное состояние на фильме о мучениях Христа. Учение Христа — вот уж это совершенно неважно.

Основатель англиканской церкви, король Генрих VIII, публично казнил своего противника в кипящем котле. Чем не шоу бизнес!

Следующим фильмом Мела Гибсона должен быть «Фальшивомонетчик». Кассовый сбор снова побьёт все рекорды.

Одной из положительных черт нашего времени

является вот что: если вы умираете страшной смертью и это показывают по телевизору, то вы погибаете не зря: вы дарите нам развлечение.

* * *

Великий английский историк Эдвард Гиббон (1737-1794 н. э.) об истории человеческих деяний, свершившихся к тому времени, сказал: “История, на самом деле, лишь немногим отличается от регистрации преступлений, глупостей и бед человечества”.

То же самое можно сказать и об утреннем выпуске сегодняшней “Нью-Йорк Таймс”.

Писатель Альберт Камю, французско-алжирского происхождения, Нобелевский лауреат по литературе 1957 года, писал: “Единственная подлинная философская проблема — это самоубийство”.

Вот вам ещё одна бочка смеха от литературы. Камю погиб в автомобильной аварии. Даты жизни? — 1913-1960 н. э.

Послушайте. Вся великая литература говорит о том, как сильно повезло тому, кто родился человеком: “Моби Дик”, “Гекльберри Финн”, “Алый знак доблести”, “Илиада” и “Одиссея”, “Преступление и наказание”, Библия и “Атака легкой кавалерии”.

В защиту человечества я всё-таки должен сказать вто что: в какой-то период истории (рай включительно), каждый из нас как-то сюда попал. И, за исключением периода рая, здесь уже существовали безумные игры, которые всех нас принуждали к безумным действиям, даже если кто-то поначалу и не был безумен. Некоторые из этих игр, которые уже во всю шли к моменту нашего появления, были: любовь и ненависть, либерализм и консерватизм, автомобили и кредитные карты, гольф и женский баскетбол.

Ещё более нелепой, чем гольф, является американская политика, в которой, благодаря телевидению и для его же, телевидения, удобства, вы можете принадлежать только к одному из двух видов человеческих особей: к либералам или консерваторам.

Именно это самое случилось с англичанами несколько поколений назад, и сэр Уильям Гилберт из радикальной группировки Гилберт и Салливан, написал следующие слова для песенки:

Я часто думаю, как забавно
Распорядилась природа:
Каждый мальчик или девочка,
Которые рождаются на свет,
Является либо маленьким либералом,
Либо маленьким консерватором.

А кто вы в этой стране? Не правда ли, закон жизни таков, что вы должны быть либо тем, либо

другим? Если вы не то и не другое, можете быть хоть бубликом.

Но если вы всё ещё не решили, кто вы, я помогу вам решить эту проблему.

Если вы хотите отнять у меня оружие, и вы за убийство человеческих зародышей, и счастливы, когда гомосексуалисты вступают в брак друг с другом, и хотите подарить им кухонную утварь для пользования под душем, и при всём этом вы за бедных, — вы либерал.

Если же вы против всех этих извращений и за богатых, — вы консерватор.

Что может быть проще?

* * *

Моё правительство ведёт войну с наркотиками. Но подумайте вот о чём: два наиболее широко распространённых, трудно преодолимых и разрушительных из всех наркотиков вполне легальны.

Один из них, разумеется, этиловый спирт. И президент Джордж У. Буш, не менее того, по его собственному признанию, с 16 лет до 41-го года довольно часто бывал пьян встельку, порой не зная, где он и что с ним происходит. Когда ему исполнилось 41, заявил он, к нему явился сам Христос и заставил его отказаться от пагубной привычки и перестать выставлять напоказ свой красный нос.

Иным пьянчужкам являются розовые слоны.

А знаете ли вы, почему он так зол на арабов? Они изобрели алгебру. Арабы также изобрели числа, которыми мы пользуемся, включая символ, означающий ноль, которого ни у кого до них не было. Вы думаете, что арабы тупые? Тогда попробуйте делить большие числа, пользуясь римскими цифрами.

Мы распространяем демократию, не так ли? Так же, как европейские землепроходцы принесли христианство индейцам, которых мы называем «американскими».

Подумать только, какими неблагодарными они оказались! А как неблагодарны сегодня жители Багдада!

Посему давайте намного сократим налоги сверх-богатым. Это проучит Бин Ладена так, что он надолго запомнит. Хайль вождю!

Этот вождь и его когорта имеют с демократией то же общее, что когда-то европейцы с христианством. А мы, народ, не имеем никакого влияния на то, что они надумают сделать завтра. На случай, если вы не заметили, они уже расчистили нашу казну, раздав её своим друзьям по войне и ракетирам из национальной обороны, оставив нынешнему и грядущему поколениям непомерный долг, который вас попросят заплатить.

Никто не оставил и щёлочки, через которую

можно было бы увидеть, как они это с вами проделали, потому что они отключили все системы сигнализации ограблений: Конгресс, Сенат, Верховный суд, ФБР, свободную прессу (которая, став их составляющей, совершенно пренебрегла Первой Поправкой) и нас, народ.

К слову о моей собственной истории злоупотребления запретными веществами. Что касается кокаина, героина, ЛСД и т. д., я был трусом, так как боялся, что они приведут меня к пропасти. Как-то раз я-таки сделал одну затяжку марихуаны с Джерри Гарсия и группой «Благодарные Мертвецы (Grateful Dead)», но только чтобы поддержать компанию. На меня эта затяжка не оказала никакого воздействия, поэтому я больше никогда ничего не пробовал. И по милости божьей или ещё почему-либо, я не алкоголик, но вероятно, это гены. Время от времени я выпиваю бокал-другой, вот и сегодня сделаю это. Но два бокала — это мой предел. Никаких проблем.

Я, конечно, печально знаменит пристрастием к курению. Я всё ещё надеюсь, что ситуация — на одном конце огонь, на другом дурак — убьёт меня.

Вот что я вам скажу: однажды я пришёл в такое возбуждение, которое невозможно получить даже от крэк-кокаина. Это было, когда я получил свои первые водительские права! Поберегись, мир, едет Курт Воннегут!

И моя машина в то время, Студебеккер, насколько я помню, работала на ископаемом топливе, как почти все виды транспорта, а также все остальные машины и сегодня, включая электростанции и плавильные печи — все маниакально злоупотребляют одним разрушительным наркотиком — ископаемым топливом.

Когда вы появились на свет, даже когда я появился, индустриальный мир был уже безнадежно зависим от своего наркотика — ископаемого топлива, от которого очень скоро ничего не останется, и тогда не избежать мучений наркотического голодания — ломки (называемой «холодной индейкой» в американском сленге наркоманов или «засухой» в русском — примечание переводчика).

Можно сказать вам правду? Разумеется, я имею в виду, не то, что говорят по телевизору.

Я думаю, правда заключается в том, что мы все, являясь жертвами этого наркотика, не можем или не хотим признать этой зависимости и скоро предстанем перед «холодной индейкой» или «засухой».

И как многие наркоманы, которые понимают, что «засуха» неизбежна, наши лидеры совершают тяжкие преступления, чтобы добыть последние крохи наркотика, от которого они не в силах отказаться.



Диана Кини

МАРИЯ, ПОЛНАЯ ЧЕРВЕЙ

Перевод с английского
Аллы Ходос



1

В опустошёньи не ищи прозренья,—
но черви могут жрать живущих.
Ничто не ново под свихнувшейся луной.

2

Зови меня Мария, полная червей.
А ты — по-прежнему Иосиф.
И это не твоё дитя.

3

Пусть одиночество
и черви.
И нерожденья
кровавая река,
застывшая в истоке.
Но если бы ты только
не оставил этих дыр
зияющих,
которых не заполнить.
Жильё пустое.

4

Мама, я только хочу сказать:
отсюда
всё выглядит нормально.
Не пугайся, ведь все проходит,
остывает
и умирает
вполне красиво.
Блуждающие огоньки
нам так знакомы.

5

Потеряв аппетит,
я обрела умение
умирать.
Теперь я знаю,
как надлежит прощаться.
И как не надо.
К примеру, не стоит говорить:
Всего хорошего!
И хлопать дверью.

6

Мама говорит:
Она растёт,
становится все менее эгоистичной.
Я отвечаю : Мама!
У меня в чреве — черви.
Но я тебя слышу.

7

Но что первично: черви
или палата
в сумасшедшем доме?
Я думаю, что палата.
Но это не здесь и не там.



Сол Арис

КТО ТАКОЙ КОРОВЬЕВ?

Перевод с английского
Лианы Марковой



Наконец, я решил разобраться в этом загадочном персонаже романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Коровьев, по кличке «Фагот», — один из свиты сатаны Воланда, утонченный шут. Он скачет по Москве и, к огромному удовольствию читателя, сеет хаос среди несчастных аппаратчиков.

Между тем, его имя сильно отличается от имен остальных членов дьявольской свиты, имеющих отношение к мистике или эзотерике. У всех у них, кроме Коровьева, имена явно связаны с известными мифическими персонажами: Гелла, Азazelло, Бегемот и Абадонна. Только у этого персонажа чисто русская фамилия, ничуть не загадочная, разве что не совсем обычного звучания: «Коровьев» напоминает слово «корова» более, чем «Коровин».

Но в этом персонаже странно не только имя. Его происхождение столь же таинственно и остается таковым до конца. В последней главе перед эпилогом, когда свита покидает Москву, все ее члены преобразуются. Они сбрасывают с себя личины, в которых одурачивали добропорядочных горожан, и принимают свой подлинный облик. Покидая Москву, Бегемот и Азazelло превращаются во вполне законных спутников дьявола — подлинного шута и подлинного убийцу. Но Коровьев остается загадкой, превратившись в печального рыцаря, облаченного в фиолетовый плащ.

Воланд (дьявол) даже считал необходимым объяснить эту метаморфозу героине романа. Однако вот что удивительно: его объяснение только усложняет загадку. Он говорит, что этот рыцарь когда-то пытался пошутить и использовал не совсем удачную игру слов о тьме и свете, из-за чего ему пришлось шутить гораздо дольше, чем он предполагал.

И это все! Неужто это полное объяснение? Оно практически ничего не объясняет, а лишь оборачивается новой загадкой.

Все остальное в книге завершается относительно ясно, все открытые вопросы деликатно закрыты, — все, кроме этого крайне двусмысленного, неразрешенного момента, который не давал мне покоя с моего первого прочтения «Мастера и Маргариты». После нескольких лет размышлений над романом я пришел к не совсем обычной теории, которой жажду поделиться с миром; так что, читатель, пожалуйста, протрите свои очки и расположитесь поудобнее.

ЧТО ГОВОРЯТ О КОРОВЬЕВЕ ДРУГИЕ

Начнем с того, что говорят о Коровьеве литераторы. Наиболее внушительный англоязычный сайт, посвященный «Мастеру и Маргарите», создан Кевином Моссом, профессором колледжа Миддлбери, штат Вермонт. Ниже приведены некоторые из его высказываний:

Фамилия Коровьева так же неопределенна, как и национальность Воланда: «Моя фамилия? Ну, скажем, Коровьев».

Фамилия «Коровьев» происходит от слова «корова» и может быть сравнима с фамилией персонажа повести А. К. Толстого «Упырь», вампира Теляева (от слова «теленек»). Теляев также является рыцарем Амвросием. Булгаков упоминает имя «Амвросий» в пятой главе как имя одного из завсегдаев Грибоедова, а в Главе 32 Коровьев превращается в темно-фиолетового рыцаря так же, как Теляев превращается в рыцаря Амвросия у Толстого.

Как один из банды Воланда, Коровьев обычно носит клетчатый костюм, жокейскую кепочку и пенсне, и этот костюм напоминает костюм черта, который явился Ивану Карамазову в «Братьях Карамазовых» Достоевского.

Профессия Коровьева как бывшего хормейстера относит его к капельмейстеру Крейслеру, персонажу Е.Т.А. Гоффмана.

Другое имя Коровьева — Фагот — также объединяет его с музыкальными линиями романа (напомним, что он бывший хормейстер)

Эти высказывания дают нам несколько увлекательных направлений для исследования, хотя и не отвечают на вопрос, почему имя этого персонажа столь отлично от имен других членов свиты. К тому же следует заметить, что немецкая национальность Воланда фактически вполне определена, поскольку он совершенно намеренно соотнесен Булгаковым с Гетевским Фаустом, о чем и сам профессор Мосс говорит на странице, посвященной Воланду, при этом еще и добавляя,

что имя «Воланд» одного корня с немецким словом «wollen» — хотеть. Так что предыдущее утверждение Мосса о «неопределенности» фамилии Коровьева весьма непоследовательно.

Рассмотрим две следующие теории, объясняющие сущность этого персонажа.

ТЕОРИЯ ПЕРВАЯ

Рассуждая о трансформации Коровьева в конце романа, профессор Мосс видит здесь еще одну литературную связь:

Покидая Москву, все члены свиты Воланда вернулись к своим подлинным обличьям. Коровьев оказывается облаченным в фиолетовый плащ рыцарем, который однажды неосторожно поиграл словами «свет» и «тьма».

Думается, что прообраз этого персонажа отыскивается в романе «Дон Кихот», который Булгаков инсценировал в 1938 году. В этом романе рыцарь Самсон притворяется рыцарем Благородного Образа и вызывает Дон Кихота на дуэль, чтобы убедить его вернуться домой и отказаться от звания рыцаря. Он побеждает Дон Кихота, который, будучи вынужденным вернуться домой, не выдерживает краха своих фантазий и умирает. Таким образом, Самсон становится невольной причиной смерти Дон Кихота.

Булгаков заменил имя Самсон, использованное Сервантесом, на Сан-сон (Sun-son), т.е. сын солнца. Так Булгаков играет мотивами света и тьмы, поскольку рыцарь, связанный со светом через солнце, совершает темный поступок, в то время как Дон Кихот, сошедший с ума и тем самым связанный с темными силами, выступает как светлый человек.

Неудачная шутка рыцаря связана с темой света и тьмы. Эта тема звучит и в эпиграфе к роману, в котором говорится, что желание зла оборачивается деланием добра.

Одеяние темно-фиолетового рыцаря символизируют скорбь и смерть влюбленных, а также их переход в иной мир. Этот цвет использован в этом качестве в поэзии и прозе русского символизма, в частности, Андреем Белым в стихотворении «Последняя песня».

Это объяснение очень интересное, но меня оно несколько не устраивает. Как мог Булгаков использовать такую туманную ассоциацию для такой важной фигуры, как Коровьев?

Остальные члены свиты Воланда — легко узнаваемые архетипы: шут, демон-убийца в самом прямом смысле слова, красавица ведьма-вампир. Почему же Коровьев выстроен по столь отдаленным прообразам, которые известны только литературным докам? Не может такого быть, скорее всего, это кто-то гораздо более значительный и известный.

И неужели его шутка или игра слов — безделица, которая имеет отношение всего лишь к какому-то одному лицу? Не поверю, не в такой многозначительной истории о самом сатане, не говоря уже об Иисусе и Пилате. Наверняка, чтобы получить в свите сатаны, среди его главных представителей, роль ведущего клоуна, необходимо совершить нечто более грандиозное, чем непреднамеренное убийство одного человека, даже такого, как Дон Кихот.

Что же касается фиолетового цвета, то в русской поэзии он действительно символизирует траур, но в общепринятом значении является символом глубоких философских размышлений, а также духовного поиска. Особое значение придавали этому цвету в средние века алхимики, для которых пурпурные небеса символизировали «сбор умов», что позднее нашло отражение в гравюрах Дюрера и работах периода Реформации.

ТЕОРИЯ ВТОРАЯ

Использование в средние века фиолетового или пурпурного цвета как символа духовного поиска ближе ко второй теории о том, кто такой Коровьев и кого он представляет.

К сожалению, я не располагаю сейчас точной ссылкой и сошлюсь на курс, излагаемый в Московском литературном институте. Согласно этой теории, «неудачная шутка» Коровьева о свете и тьме относится к альбигойцам средневековой Франции и знаменитой ереси Катаров. Эти еретики искали ответ на исконный вопрос, является ли дьявол (т.е. тьма) частью Бога (т.е. света) или существует сам по себе. Катары, вероятно, решили, что сатана является частью божественного, а не отдельной ипостасью.

Такие воззрения, разумеется, были анафемой официальному институту христианства того времени, а именно Риму, которому дьявол был нужен в качестве отдельной ипостаси, чтобы использовать его как удобное средство устрашения для уклоняющихся от пожертвований в пользу церкви. Угроза вечного проклятия и адских мук, исходящая от живого сатаны, способствовала более щедрым подношениям.

Согласно второй теории, Коровьев представляет как бы всю ересь Катаров, которые считали, что сатана не существует. У Булгакова люди после смерти убеждаются в обратном: сатана существует и приветствует их как гостей своего великого бала (Глава 23). Так что он, оказывается, совершенно отдельная величина, а шутка состоит в иронии, которая торжествует над теми, кто в прошлом не верил в его существование. И Воланд обращается к голове Берлиоза: "они [гости] служат доказательством совсем другой теории", т.е. того, что дьявол существует.

Откровенно говоря, вторая теория нравится мне гораздо больше, чем первая, связующая Коровьева с рыцарем Самсоном из «Дон Кихота». Ассоциация с Катарами может что-то добавить к пониманию этого персонажа, поскольку содержит чисто христианский подход к дьяволу как таковому и к взаимодействию света и тьмы. К тому же период средневековья

гармонично сочетается с образом рыцаря, который Коровьев принимает в конце романа. Это также гармонирует с Францией, откуда родом королева Маргарита, в честь которой названа героиня «Мастера и Маргариты».

Тем не менее, я вижу недостатки и в этой теории. Прежде всего, согласно моей скромной осведомленности о ереси Катаров, их основное разногласие с Ватиканом состояло в том, что, подобно гностикам, они считали, что «Иегова» — это Демидур, ложный и злой дух, который узурпировал сотворение мира для своих хитросплетений. Я не припоминаю каких-либо сведений о том, как они решали проблему света и тьмы. И главное — их опасная ересь заключалась в том, что сатаной они считали самого бога католиков.

В любом случае, где здесь место для шутки Коровьева-рыцаря, за которую предположительно он был наказан, и в чем же заключалась эта шутка?

МОЯ ТЕОРИЯ

Эти назойливые вопросы продолжали мне докучать своей неразрешенностью. Пришлось мне разработать свою теорию, которую я и предлагаю вашему вниманию.

В ней я опираюсь на один из самых известных стихов Библии, в котором аллегорически представлена игра света и тьмы. Это знаменитый стих 14:12 из книги Исайи, который говорит: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» «Денница, сын зари» — это синодальный перевод, а более новый — «светлый сын утра».

Об этом коротком стихе имеется обширная литература, поскольку в дальнейшем отцы церкви использовали его ни более ни менее как для создания «христианского» варианта сатаны, антитезы Бога, противоположной ипостаси, названной «денницей» или «сыном утра (света)», что на латыни есть «сияющий», «люцифер».

Почему так получилось? Это длинная история, тем более любопытная, что Исайя не пытался решать никаких больших космологических проблем, а просто изливал свою ярость на вавилонского царя, предвещая последнему, несмотря на все его могущество, Божий гнев и разруху.

Имя, которым Исайя называет вавилонского царя, в ивритском оригинале вовсе не «Люцифер» и звучит так: «Гиллель, бен Шахар». Это выражение можно перевести как «Светлый, сын зари». Но Св. Иероним, переводя Библию на латинский язык примерно в 400 году н.э., допустил в этом переводе (известном под названием Вульгата) непростительную ошибку, переведя этот оборот одним словом «люцифер», которое впоследствии стало общеупотребимым именем дьявола.

Причина зловещей ассоциации этой метафоры с дьяволом — большая тема, которая выходит за рамки этой статьи. Ранние христианские историки связывали «падшую звезду» книги Исайи с «падшим ангелом» из апокрифической книги Еноха для того, чтобы создать весь грешный демонический мир тех, кто «пал с

небес» вместе с сатаной. Фактически всё построение было основано на другом ошибочном переводе — слова «нефилим» из Книги Еноха и из библейской книги Бытия. Сегодня многие считают, что слово «нефилим» означает «пришельцы с небес, из других миров», но оно было переведено как «отпавшие от господней благодати», т. е. согрешившие против Бога.

«Шутка», которую Исайя, вероятно, использовал в стихе 14:12, есть не что иное, как некое сатирическое противопоставление, цель которого — показать вавилонского царя шутком, человеком отнюдь не «светлым», а развращенным. Исайя не имел в виду никакого сатану. Идея ипостаси, противоположной Богу, не была известна в его время.

Но его «игра слов» обернулась в дальнейшем шуткой, возможно, самой жестокой из шуток всех времен, ибо в течение двух тысячелетий эти слова используются для удержания всех «грешников» в страхе перед церковью. С другой стороны, Исайе можно воздать должное за невольное «изобретение» дьявола в этом стихе! По крайней мере, так учат в любой воскресной церковной школе, где на этот стих указывают как на источник, свидетельствующий о наличии дьявола. (Считается, что Книга Иова была написана позже.) Итак, маленькая метафора Исайи обернулась злой шуткой.

Связывая эти рассуждения с романом «Мастер и Маргарита», я думаю, что «шутка» Коровьева очень важна для христианского учения, поскольку, вероятно, в ней заложен ответ на вопрос о существовании сатаны. Вот к чему привел этот знаменитейший стих Исайи! И, как это ни странно, я пришел к выводу, что Коровьев символизирует «неудачное выражение» Исайи.

Но здесь возможна и другая интерпретация. Коровьев может также представлять собой некий сборный образ тех, кто сделал первый перевод иронического выражения Исайи «светлый сын зари» на греческий язык.

Этот перевод был сделан около 200 года до н.э. группой александрийских библеистов, известной под названием «Семьдесят», почему их перевод и получил латинское название «Септуагинт». Они первыми отступили от правильного понимания выражения Исайи и перевели его на греческий как «*heosphoros*» — «предвестник света». Историки считают, что Св. Иероним использовал слово «люцифер» для Вульгатного перевода на латинский, поскольку хотел перевести фразу одним словом, как и греческое «*heosphoros*». Так что в искажении смысла следует винить более ранних переводчиков, а не Св. Иеронима.

Итак, я утверждаю, что *Коровьев — это либо сам неудачно высказавшийся Исайя, либо весь Септуагинт*.

Я понимаю, насколько странным может показаться это утверждение, но и весьма трудно найти что-то столь же важное, как «шутка» о свете и тьме, переведенное как «дьявол» и ставшее таким значимым исторически.

Слабым местом здесь является то, что это заключение не просто связать с образом "рыцаря в фиолетовом плаще", кроме, может быть, метафорического изображения поиска алхимической истины. Фиолетовый цвет в таком случае символизирует философию и духовность. Но я не думаю, что это имеет отношение к Исае или к александрийским Семидесяти.

Еще одна деталь, которая также заслуживает серьезного внимания. Некоторые историки считают, что выражение «Hillel ben Shahar» было распространено среди народов Ближнего Востока как обозначение планеты Венеры. В году бывают такие периоды, когда Венера восходит перед рассветом как самое яркое небесное тело, сиянием уступающее только солнцу, восходящему часом позже. Но другие считают, что под "предвестником света" подразумевалась планета Меркурий, которая также часто выступает в роли предзвездной звезды.

Можно полагать, что "предвестник света" Исайи — либо одна из этих планет, либо они обе, Меркурий и Венера, Гермес и Афродита, или Гермафродит — символ, который в древние времена означал Универсальное Знание. Дальнейшее превращение этого символа в дьявола христианской доктриной практически свидетельствует о том, как под влиянием этой доктрины европейские религиозные власти скрывали Истинное Знание на протяжении двух тысячелетий. Для них Знание действительно оборачивается дьяволом или той силой, которая может их низвергнуть, — что, как показала история, и произошло.

Наконец, есть еще одно логическое построение, которое мы должны рассмотреть, поскольку оно как раз и связывает воедино идеи, изложенные выше.

С самых ранних времен корова была широко известным символом плодородия и плодовитости. В древнем Шумере это был символ богини Нинхарсаг, которую называли Великой матерью и которая со временем получила прозвище «Старая корова». Вероятно, это был самый ранний культ плодородия и плодовитости, известный человечеству. Позже, в Египте, богиню Хатор (альтернативный вариант написания Хатхор, англ. Hathor), также богиню-мать, неизменно изображали с коровьими рогами, символизирующими плодовитость.

Таким образом, для древних народов корова представляла «священную женственность», прославляемую в культах плодородия. И именно это же самое значение они вложили в название планеты Венера, «предвестницы зари», утренней звезды! У шумеров и вавилонян звездой утра была Инана/Иштар, у греков — Афродита, у римлян — Венера, и у всех у них это было выражение квинтэссенции священной женственности. Именно в таком качестве это божество было во главе всех культов плодородия. И хотя ивритское выражение «Гиллель бен Шахар» — «светлый сын зари» — мужского рода, ученые единогласно интерпретируют его как утреннюю звезду — Венеру, божество женского рода.

Причина, по которой ранние церковные деятели, такие, как Тертулиан (2-й век н.э.) стремились отождествить слово «люцифер» из стиха Исаии с обозначением дьявола, была, с их точки зрения, достаточно веской. Она заключалась в их желании показать, что культы плодородия и их женские божества исходят непосредственно от сатаны. Люцифер, утренняя звезда, была для древних фактическим и наиболее подлинным выражением священной женственности, так что церковникам было необходимо демонизировать ее, чтобы люди стали ее бояться и забывать для новой религии — христианства.

Так богиня плодородия превратилась в самого дьявола. Парадоксально, что в результате этого самое яркое светило ночного неба — утренняя звезда, Люцифер, — стало именем «абсолютной тьмы» в образе сатаны.

Мне кажется, что все существо Коровьева, включая его имя, — дань такому развитию событий. Его имя, означающее «коровьев человек», как будто служит печальным намеком на то, во что превратилась священная женственность в патриархальной религии: не женщина священна, а мужчина. «Шутка» состоит в том, что «он», несущий свет Люцифер из книги Исаии, стих 14, превратился в сына тьмы. Однако историческая ирония во много раз грандиознее этой шутки: этот стих был использован для подавления священной женственности путем отождествления богини-матери с дьяволом.

В свете изложенного, рыцарь, в которого превратился Коровьев в конце романа «Мастер и Маргарита», олицетворяет всех рыцарей, на протяжении веков являвшихся главными защитниками церкви и главными символами ее власти. Его фиолетовый плащ, таким образом, символизирует власть церкви, которой она пользовалась все эти долгие столетия почти без какого бы то ни было сопротивления. Разумеется, как тут не быть печальным, если в конце концов понимаешь, что подшутили-то именно над тобой.

Надеюсь, моя дерзкая теория вызовет праведные отклики.¹

¹ Очерк «Кто такой Коровьев» вошёл в сборник *Holistic Detection in The Collective Subconscious* (Целительное исследование коллективного подсознания). Вот что пишет об этом очерке и обо всем сборнике Дэниэл Суэлл Ворд, физик, писатель:

«Мне по-настоящему нравится Ваша теория о том, что «Исайя изобрел дьявола» — о том, как «маленькая метафора обернулась злой шуткой».

Мне также очень понравилось сочетание «Гермес и Афродита» (Меркурий-Венера), которое «является Универсальным Знанием».

...В общем, совершенно замечательную, удивительную книгу вы написали.



Алексей Федосеев

ЖИЗНЬ В САМОЛЁТАХ

(Фрагменты)



* * *

Сегодня это случилось опять: я просыпаюсь под гул авиационного мотора и в первые несколько секунд способен понять только одно: я куда-то лечу.¹ Но куда, откуда и зачем, — не знаю.. Скорее всего, в командировку.. а, может, и из командировки... кажется, только что была пересадка? И в каком городе — Далласе, Фениксе или Франкфурте? А может, это очередной форум или даже отпуск? Голова уж слишком замусорена этими поездками; кажется, это пятнадцатый рейс за последние три месяца..

Потом картина постепенно восстанавливается.. я разминаю затекшие части тела и вытаскиваю маленький черный блокнот, перетянутый тесёмкой.. Где и когда можно собраться, подумать и записать свои мысли и впечатления, как не здесь?

Только на высоте тридцати тысяч футов, в этот не очень-то долгий промежуток времени, когда тебе не мешают ни те люди и проекты, что остались в месте отбытия, ни те, что находятся в месте прибытия..

Эти записи, кусочки, вырванные из контекста, складываются в свою особенную мозаику, которая хоть и навеяна «основной», протекающей внизу «земной жизнью», но всё-таки стоит особняком и создаёт свой особый микромир.. Иногда я готов поверить, что на самом деле ничего другого и вовсе нет.. есть только «верхнее» отражение «нижнего» сумбура, которое фокусируется в мало-мальски осмысленную картинку исключительно на высоте тридцати тысяч футов..



¹ Нестандартная пунктуация оригинала сохранена по просьбе автора — *Примечание редакции*

Сан-Франциско — Мехико, 2 декабря, 2004

Творческое вдохновение — штука капризная.. Интересно наблюдать, в какие моменты жизни оно появляется.. Это определённо не связано ни с бодростью духа, ни со степенью усталости.. слабо связано с окружающим пейзажем и наличием собеседника, чуть побольше — с количеством выпитого и, пожалуй, наиболее значительно — с сильными впечатлениями от свежих событий. Но, даже когда оно появляется, встаёт непростой вопрос: как же им лучше воспользоваться..

*При знакомстве с музой
не сочли обузой
её сан..
И сперва любили,
а потом пустили
по рукам..*

Мехико — Сан-Франциско, 7 декабря, 2004

Говорят, что самые ужасные водители — в Москве и Париже.. Не верьте.. Попробуйте проехать Мехико-сити насквозь, с севера на юг, и вы сами всё поймёте.. Здесь я впервые увидел живое воплощение известных русских анекдотов, вроде езды по встречной задним ходом с превышением максимальной скорости.. Причём проделывали эти трюки не только крутые парни в дорогих машинах, но и водители рейсовых автобусов, битком забитых пассажирами..

Выдача же прав в Мексике, по рассказам местных жителей, происходит примерно так:

— Ты водить умеешь?
— Ну, умею..
— Тогда плати и получай..

Количество людей в униформе, военной и полувоенной, превышает все мыслимые пределы.. это что-то типа национальной моды..

Ещё запомнилось обслуживание в ресто-

ранах: все заказанные блюда подают одновременно – закуску, главное блюдо и десерт.. такая местная интерпретация *All-You-Can-Eat*..

Самая распространённая в предместьях города реклама предлагает лечение от алкоголизма – как «пассивными», так и «активными» методами.. А мы всё шутим: текила, текила.. А так всё очень даже понравилось.. чем-то напоминает Россию, особенно их отношение к Америке и американцам.. *Love-Hate* в причудливых вариациях..

Сан-Хосе – Феникс, 1 марта, 2005

Тема: особые моменты прошлого.. Когда происходит событие, впоследствии вошедшее в анналы истории, мир, возможно, даже и не подозревает об этом.. Ведь самые главные вещи – это не сражения, не съезды, и не речи политиков..

Вокруг такие же дома и деревья, под ногами такая же земля, а наверху такое же небо.. И то, что только что произошло, может выглядеть как маленький и незначительный штрих.. Ренуар и Моне, пишущие свои первые импрессионистские работы на чердаке дома на Монмартре.. Два биолога-изобретателя, вваливающиеся в *The Eagle* в Кембридже с непонятным завсегдатаям восклицанием: «Мы нашли секрет жизни!».. Поручик Лермонтов, чудом избежавший шальной пули в сражении при Валерике, начинающий вечером при свечах писать по этому поводу свою новую повесть.. Роджер Уотерс, увидевший кирпичную кладку, как бы разрезанную ножницами, и уловивший первые ноты «Стены».. Антонио Гауди, делающий зарисовки родных Пиренеев, и вдруг увидевший проступающие через них контуры фантастического собора..

Человечеству нужен добротный перечень именно таких событий, а не скандалов, войн, сделок и покушений, которыми переполнены энциклопедии и учебники..

Феникс – Сан-Хосе, 3 марта, 2005

Тема: городской ребёнок. С десяти лет самая интересная часть жизни проходит в метро, где отрабатываются утончённые схемы попадания из точки А в точку Б, включая срезание углов на переходах, перебегание из вагона в вагон на остановках, и, конечно, ловкий бесплатный вход через двери для выхода.. Городской ребёнок задыхается на природе, потому что его лёгкие адаптировались к нормальному смогу и на свежий воздух реагируют как на аллерген.. Городской ребёнок знает, где можно украсть хлеб, где консервы, а где несколько конфет с прилавка.. Городской ребёнок отлично осведомлён, под окнами каких домов можно подобрать самые

ценные выброшенные вещи.. Городской ребёнок ценит свободу передвижения, и в его жизни нет лучшего занятия, чем праздно посидеть час-другой на вокзале, глядя как прибывают и отправляются поезда..

Став *взрослым*, а то и даже *успешным* человеком, городской ребёнок будет всегда ощущать, что нечто очень существенное исчезло из его жизни, но не сможет описать *это* словами..

Сан-Франциско – Франкфурт, 4-е апреля, 2005

Визуальное воплощение толерантности западноевропейского образца: молодому немцу повезло, соседей не оказалось, и он заснул поперёк трёх сидений.. но ноги вывалились в проход.. Пассажиры и стюардессы пару часов деликатно их переступали, не мешая сну товарища.. В конце концов, нашёлся-таки один не очень толерантный и пнул его пару раз, проходя туда и обратно.. один раз как бы нечаянно, потом уж совсем нарочно.. Но нет такой силы в природе, что способна разбудить молодого баварца в состоянии джетлага на трансатлантическом рейсе..



Франкфурт-Цюрих, 11 апреля, 2005

Главный герой романа «*Лила*» Роберта Пирсига – феноменальный классификатор, человек, который способен рассортировать и разложить по полочкам всё что угодно, включая собственные мысли и идеи. О необходимости этого навыка, умения сортировать и классифицировать свои идеи и желания, мы все, в той или иной мере, догадываемся.. но использовать его, увы, совершенно не умеем.. отсюда и часто возникающие неясности в самых простых вещах..

С другой же стороны, от Великого Классификатора до Великого Инквизитора – один шаг.. уж больно страшна единственно правильная модель мира..

Ещё одна интересная аллюзия – созвучие имени главной героини Лила древнешумерскому удивительному слову «*лиль*», обозначающему всё сущее, находящееся между небом и землёй..

А ведь именно это и было объектом исследования Великого Классификатора..

Берн – Мадрид, 14-е апреля, 2005

Офис главной швейцарской телеком-корпорации находится в 12-ти этажном здании; чем выше

этаж – тем круче начальство, которое там сидит. На нашу презентацию приходит большая группа топ-менеджеров послушать про новые сервисы, которые уже запускаются в Америке. Все в тёмных костюмах, светлых рубашках и элегантных двухцветных галстуках.. Только самый главный – в старомодной коричневой паре с накладными полосками материи на рукавах, в квадратных очках. Он напоминает ушлого, но подуставшего от жизни главного бухгалтера какой-нибудь квази-промышленной конторы советского образца. Улыбка не сходит с его лица в течение всей презентации.. но ирония это или одобрение – никто так и не понял.. На приглашение пообедать вместе с нами в ресторане герр президент отвечает: «Ну что вы, у меня жена, двое детей, две собаки и одна кошка..» Все вежливо качают головами.. Ну, конечно, в такой ситуации не до еды!

За обедом наш немецкий менеджер Райнер популярно объясняет мне разницу между германским немецким и швейцарским немецким.. основная идея сводится к тому, что иной раз их носителям проще объясниться по-английски..

Мадрид – Барселона, 17 апреля, 2005

Ну вот, наконец, маршрут, который вызревал во мне лет десять.. и, буквально, все эти годы звучал в ритме стука колёс в дальних уголках подсознания.. превращаясь постепенно в идею-фикс.. Происходило это и от абсолютно физической необходимости увидеть Гауди вблизи, *up, close & personal*, прикоснуться руками к Саграде Фамилии.. пройти по Ла Рамбле.. ощутить дух неведомой Каталонии..

Как можно было не выкроить для этого выходной после бизнес-встречи в Мадриде? *Над всей Испанией безоблачное небо...*

Барселона – Лондон, 20-е апреля, 2005

Постепенно отхожу от культурного шока, вызванного городом Гауди.. в словах это пока не выражается, оставляю многоточие длиннее обычного

.....
Настоящая сила духа – это когда и желаешь, и можешь добиться своего, и знаешь наверняка, что сможешь.. но ставишь себе моральный барьер и останавливаешься буквально в шаге от цели по причинам, находящимся за пределами рационального. Можно назвать это глупостью, а можно и *integrity*.. вот, кстати, одно из тех самых интересных слов, что плохо переводятся на русский..

А если человек, который сам на подобное не способен, считает такой поступок аморальным и предосудительным, – это уже настоящее ханжество.

Типичный пример – люди, «презирающие деньги» только потому, что не могут или не умеют их заработать.. это и смешно, и жалко.. А вот сознательный отказ от возможности стать богатым человеком – это *big deal*...

Сан-Франциско – Ванкувер, 12 декабря, 2005

Накануне – интересный разговор с нашим директором по продажам: звоню ему в конце дня:

– Тед! Мы тут уже все собрались обсудить твой проект, чего не идёшь?

– Не могу, я в Мексике.

– Как в Мексике?? Мы же только утром в офисе виделись?

– Да вот Карлос позвонил, проблемы с контрактом, пришлось срочно вылетать..

Brave New World..

Ванкувер – Сан-Франциско, 14 декабря, 2005

Наконец-то побывал в городе, в котором когда-то собирался жить всерьёз и надолго, но по случайности уехал в другую страну. Всё очень современно, чисто и, по-хорошему, пусто и холодно.. Стекланные высотки выглядят совсем не по-американски и несут в себе *западнобережный* дух, но в европейской обёртке..

Вспомнилось как в начале 90-х, в Москве, я выбирал место предстоящей эмиграции методом тыка, очень мало что понимая в западном мире.. Логика была основана скорее на методе исключения:

– Континентальная Европа – «розовая», социалистическая

– Англия – слишком сыро

– Африка – слишком жарко

– Австралия – слишком далеко

– Азия – культура не нравится, сами почти такие же

– Америка – трудно попасть

– Латинская Америка – проблемы с языком

А в Канаду тогда брали.. И почему-то всегда казалось, что на западном берегу всё устроено гораздо лучше, чем на восточном.. не только из-за вестернов и идей антрепренёрства, но даже инстинктивно, просто от взгляда на карту, возникало чувство, что надо именно туда.. почему-то именно эти имена, эти точки на карте – Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско нравились гораздо больше..

The only real valuable thing is intuition.

Случайные мысли по случайным поводам могут стать доминирующими и даже определяющими в поведении человека.. Как в случае Фореста Гампа, который вдруг решил бежать через всю страну *for no particular reason* (безо всякой определённой

причины), пока не упёрся в берег океана, после чего побежал обратно.. Как я его понимаю..

В аэропорту Ванкувера я долго стоял у одного из эскалаторов в пустующей части терминала.. Его ступени почему-то ползли в два раза медленнее всех остальных.. Время шло, никто им не пользовался.. ступеньки ползли и ползли в своём ужасающем медленном ритме – бесконечно, бессмысленно, упрямо, пусто..

Никаких особых мыслей.. одна рефлексия.. но довольно навязчивая и немного депрессивная..

There is always a reason for some events to have no apparent reason..

Сан-Хосе – Лас Вегас, 4 января, 2006

Из всех людей, у которых я брал интервью для журнала в последние месяцы, наибольшее впечатление произвели поэт Илья Кормильцев и стэнфордский политолог Майкл Макфол..

Девиз Кормильцева «*Всё, что вы знаете – ложь*» мне очень близок, хотя было бы аккуратнее его перефразировать «*Всё, что вы знаете – неточно и относительно*». Ведь парадокс в том, что, если буквально применить правило Кормильцева к нему самому, то оно тоже ложь, так как мы теперь и его знаем. :-))

Макфол – восходящая звезда американской политики, специалист по Восточной Европе и Ирану, консультировавший президента и его окружение. Очень прилично говорит по-русски (пару лет он жил в Петербурге), сразу определяет суть вопроса. Иллюзий по поводу России и её реалий, экономических и политических, у него нет.. Мыслит Макфол не перспективой 1-2 лет, но скорее 10-20.. он поделился своим видением предстоящей российской эволюции, не очень-то радужной и весьма похожей на ту, что нарисовал Буковский, когда я был у него в гостях в Кембридже.

Из политиков новой волны Майкл посоветовал обратить внимание на Владимира Рыжкова; надо будет при случае познакомиться..

Лас Вегас – Сан-Хосе, 10 января, 2006

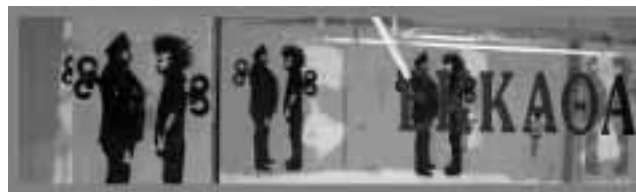
Приехал из Москвы старый друг, ныне ресторатор, чтобы вместе отметить день рождения в Лас Вегасе. Отмечали несколько дней, ходили пробовать разные блюда в местные рестораны, в порядке профессионального совершенствования.. некоторые ему так понравились, что даже пытался перекупить себе в Москву их шеф-поваров.. Один японец почти согласился.. но потом передумал..

Мне был дан урок современного московского языка общения: «*истерика*» (обычное рабочее

состояние), «*я в шоке*» (реакция на большинство новостей), «*ничего не понял*» (повторяется много раз, почти после каждого предложения), «*замутить*» (начать новое дело), «*чешки*» (непродуктивные работники), «*мамку бодрить*» (отношения с супругой) и т.д..

Венцом же новых познаний стало слово, которым новые русские называют население тех стран, где они строят свои резиденции: «*лямзики*».. Как выяснилось, «*лямзики*» ещё и «*икают*».. В переводе на старорусский это означает примерно то, что «*местные жители получают хороший доход от приехавших новых русских, поэтому работать им особо не надо, а только приглядывать за порядком*».

Выразительный образ «*икающих лямзиков*» надолго застрял в моём воображении, даже после отъезда друга..



Франкфурт – Лиссабон, 1 декабря, 2007

Удалось выйти на Владимира Рыжкова и взять у него интервью. Оставил очень приятное впечатление; все ответы разумные и взвешенные. Он не так безапелляционен, как, скажем, Каспаров (в беседе с которым и слова не вставишь), но видна четкая граница: где он готов к компромиссам, а где нет. Макфол прав, Рыжков – перспективный политик, за такого человека вполне можно голосовать на выборах президента. Но только, боюсь, на переходный постпутинский период может потребоваться человек пожёстче..

Обменялись сообщениями с Буковским по этому поводу, однако он сам уже дал согласие выдвинуться.. но, как признался в письме, только для того *чтобы люди перестали бояться*.. А вообще «*шансов на выборах в 2008 никаких*».. Даже на 2012-й год прогноз Буковского был пессимистическим.. Зато до 2016, считает он, власть сменится.. но не через выборы..

Лиссабон – Франкфурт, 10 декабря, 2007

Наверно, нигде я так много не общался с местным населением как в Португалии.. Люди в отелях, ресторанах, магазинах, таксисты, билетёры, прохожие, объясняющие дорогу, – все легко шли на контакт и рассказывали много чего интересного.

Владельцы музыкального магазина, сами оказавшиеся профессиональными рок-музыкантами, сделали для меня выборку лучшей местной

продукции и прокрутили уже, кажется, ушедшие в историю виниловые диски с невероятным качеством звучания. Владелец небольшого магазинчика электроники оказался режиссёром и после долгого обмена мнениями об *артхаусе* и *нуар* подарил мне свой DVD про феномен любимого местного музыкального жанра фадо..

Таксист Рикардо, курсирующий между отелем и центром города и развозящий участников форума по популярным ресторанчикам, немного понимал по-русски благодаря *ex-girlfriend* из Литвы. Он попался мне дважды и рассказал о своём неоднозначном опыте жизни с девушкой из бывшего СССР (красивая, но очень много ругается матом на трёх языках!), о португальском стиле жизни, о футболе и евроинтеграции.. Природная энергия, простые и бесхитростные взгляды на мир и оптимизм молодого таксиста меня очень впечатлили..

Единственный момент напряжения возник на улице *Correlo*, где небритые марокканцы уж очень настойчиво предлагали купить похожий на чёрный пластилин гашиш. Никакие формы отказа не работали, пока я не догадался сказать, что всему предпочитаю крепкий алкоголь. Сказал убедительно, с нажимом, чтобы поняли:

– Я пью водку. Много.. Очень много..

Этот аргумент сработал. Марокканцы уважительно покивали головами и отстали.

Абсолютно поразительным оказался лиссабонский красный мост, двойник нашего сан-францисского *Golden Gate*.. Но он показался мне гораздо выше.. когда проходишь под ним по набережной, особенно вечером, кажется, что поток машин идёт где-то высоко в небе.. это помогает правильно откалибровать масштаб собственной личности.. И так же, как в Эдинбурге надо аутентично пить виски, в Лиссабоне надо пить портвейн.. организм принимает его с глубокой благодарностью, и ощущения совсем не те, как если пить его дома..

Улетая из этого города, я остро почувствовал, что это ещё одно место, где осталась моя целая непрожитая в нём жизнь.. Чувство, вызывающее холодок в груди и непонятную тоску по чему-то абстрактному и, кажется, очень важному, но совершенно не поддающемуся рационализации..

*Забыть Лиссабон,
забыть мостовые и лица
Забыть Лиссабон,
перевернуть пустую страницу..*



Сан-Франциско – Сидней, 8 февраля, 2008

Попытка автобиографии

Был, состоял и участвовал до тех пор, пока не вылечился. В какой-то момент понял, что больше ничего не понимаю. Писать начал от безысходности, но это сделало всё ещё хуже. Чем бы ни занимался, приходил к выводу, что результат никогда результатом не является, а в результате имеешь дело с новым раскладом, в котором исходный набор проблем скорее похож на набор решений, а то, что представлялось решениями, является ничем иным, как новым набором проблем.

Узнав, что мир имеет двенадцать измерений, понял, что, сидя в четырёх, выше головы не прыгнешь, и замер, занимаясь исключительно обозрением того, что ещё способен обозреть.

Сидней – ещё один город-мечта, по тем же самым иррациональным причинам, что и Барселона, Ванкувер и Стокгольм.. ещё несколько часов и эта мечта тоже станет реальностью..

Be careful what you wish for, it might actually happen..

Сидней – Мельбурн, 13 февраля, 2008

Вместо того, чтобы смотреть в самолёте очередной тупой блокбастер, я долго наблюдал за «живой картой» нашего полёта.. В какой-то момент, вместо того, чтобы свернуть на юг, самолёт ушёл далеко в Тасманово море, я даже обрадовался, что пилот решил улететь в Новую Зеландию, но потом он всё-таки выправился. У них здесь юг – как наш Север: чем дальше, тем холоднее.. Отход на Север тут означал бы уход в пустыню.. зной, пыль и одичание среди последних оставшихся аборигенов.. В Австралии сегодня большое событие – премьер-министр принёс им официальные извинения за захват территорий, нарушение прав, политику отбора детей для «цивилизованного воспитания» и прочие причинённые страдания..

Было много людей, называвших себя *Lost Generation* или *Wasted Generation*, но эти ребята пошли дальше и выбрали оригинальную идентификацию: *Stolen Generations*. А кем, интересно, были мы – последние студенты советской эпохи?

Мельбурн – Сидней, 15 февраля, 2008

Австралийцы считают себя *hardworking people*.. Рабочая неделя у большинства – 37 часов, а мой приятель, уходящий с работы в 5, сказал: «Видишь как приходится вкалывать? Я ведь обычно

до 4-х..»

Сидней меня не подвёл, он оказался именно таким, как я его ожидал увидеть.. положила руку на сердце, наверное лучший город из тех, что я видел: опрятный, чистый, строгий, без помпезности, но и без примитивности, *sophisticated*, удобный, располагающий и в центре, и в прилегающих районах. В какой-то момент я наконец понял, в чём его особенность – практически нигде никакихстроек.. Потом мне объяснили что, действительно, несколько лет назад прошло одновременное обновление, и вот вам результат..

А у сиднейской оперы, прямо на улице, играл оркестр, народ сидел на заботливо выложенных прямо на набережной подушках, пил вино и смотрел на Харбор-Бридж и проплывающие мимо яхты. Здесь захотелось остаться навсегда..



Сидней – Сан-Франциско, 16 февраля, 2008

Только что умер Евгений Давидович Боданский. По возвращении, буквально с самолёта, иду на похороны.. и вдруг второй шок: Вета сообщила по телефону, что ушел из жизни Борис Розенфельд.. За одну неделю – два замечательных человека, два лучших автора моего журнала..

*Все города мира смешались в один город
Все языки мира сложились одним хором
Все женщины – сёстры забывшей наказ Евы
И очень непросто сползть перестать влево*

*Погибших вселенных осколки лежат в книгах
Но эти страницы забудутся все мигом
Не сможем – не будем, а будем – так всё ж не сможем
Ведь мы – просто люди, что делать, прости, Боже*

Варшава – Франкфурт, 7 марта, 2008

Никогда в жизни не было у меня такой концентрации чувства исторической вины, (или пусть даже исторической ответственности) за русских, как во время тура по польской столице для коллег-американцев. Пожилой гид-поляк, Казимир, методично показывал то мемориал жертвам Катыни, то памятники погибшим во время обоих восстаний во второй мировой, то историю зажима «Солидарности» под давлением СССР.. плюс всяческие сопутствующие детали.. как, например,

стояние советской армии на правом берегу Вислы в августе 1944-го, пока немцы жестоко истребляли восставших бойцов Армии Крайовой и сравнивали с землёй их город. В какой-то момент он понял, что я русский (уж слишком много знал, плюс акцент), и выразительность его рассказа явно усилилась. После экскурсии у нас состоялся подробный разговор на английском, переходящим в русский и обратно, в котором я пытался объяснить ляху, что не все русские такие, как он думает, однако историческая обида была в нём сильна и аргументы не действовали: «*Мне так всё равно, красный ты или белый, всё равно русский..*»

Пришлось рассказать ему историю о том, как я принял на работу немолодого и несчастного поляка, только прошедшего через банкротство, развод и аварию (и оказавшегося впоследствии замечательным инженером), и о том, что в Калифорнии вообще человек человеку друг. Только тогда Казимир смягчился и поведал мне старинную притчу о трёх братьях – русском, украинце и поляке, которые рассорились и разошлись по жизни, но было им предсказано, что они найдут в себе силы примириться. На это позитивной ноте мы и расстались.

– Как ты его выдержал?! – удивлялись потом коллеги.

– Ну должен же кто-то разорвать этот круг..

А Варшава мне понравилась, современный европейский город, люди уже говорят по-английски, от совка осталось совсем немного, только таксисты-барыги..

Нью-Йорк – Монреаль, 16 мая, 2008

Что-то не до лирики стало последнее время, в компании кончаются последние деньги.. мы очередной раз перестали платить себе (менеджменту) зарплату и бьёмся до крови за каждый, даже самый мелкий контракт. Заметил, что с уменьшением средств на счету резко растёт красноречие в презентациях потенциальным клиентам.. Выживание по методам Остапа Бендера, версия 2.0.

Зато какая коллекция живописи в Метрополитене! Ради таких вещей стоит жить..

Монреаль – Чикаго, 23 мая, 2008

В городе был, но город не видел.. и так случается, когда накрывает волной..

Тема: кинематограф без лиц. Не знаю, додумался ли до этого какой-нибудь режиссёр, – показывать фигуры, руки, ноги, обстановку, разговоры, фрагменты, всё кроме лиц.. И, в зависимости от развязки сюжета, принять решение – показать лицо в конце или нет.. Как принимал решение о глазах Модильяни, – и рисовал их только, если познал душу человека..

Лас Вегас - Филадельфия, 9 июля, 2008

Летим всей командой на «предпродажную встречу» с потенциальным покупателем. По пути мой коллега, VP Engineering, рассказывает как он, сын метеоролога, вырос в индейской резервации в Аризоне, где был единственным белым ребёнком в школе и частенько дрался один против пятерых.

– Это многое объясняет в твоих проектах, – говорю я ему.

Апогеем рассказа становится эпизод, когда его с матерью взяли в заложники, но не индейцы, а заезжий пьяный в стельку ковбой, благополучно уснувший, однако, за рулём автомобиля, после чего мать отвезла его напрямик в полицейский участок.

С другим же коллегой, нашим *Chief Technology Officer*, у меня вышел спор о соотношении церкви, религии и веры, которую он свёл к концепции *семантической доступности*. Несмотря на многие разночтения как содержательного, так и стилистического характера, мы с ним сошлись в том, что каждый человек должен решить для себя, насколько глубоко он готов вникать в подобные вопросы, ведь платой за приобретённое знание может стать сумасшествие..

Из тех выражений, которые Джим использовал в аргументации, мне запомнился «эмпирический нонсенс». Ну где ещё, кроме как в самолёте, американцы готовы говорить на подобные темы?



Лондон - Стокгольм, 7 сентября, 2008

Познакомился с Михаилом Толстым, одним из «потомков», братом Татьяны Толстой, основателем «Конгресса русских соотечественников», открытие которого совпало с введением ГКЧП в 1991-м году.

Он, как и все мы, занимается немного бизнесом, немного политикой, немного литературой.

– Так зачем вы издаёте русский журнал в Америке?

– Да я и сам не знаю, – отвечаю ему..

Тема: Это так просто – сочинять песни..

всего лишь (Илья Кормильцев)

Стокгольм – Мадрид, 12 сентября, 2008

Шведское метро – это, конечно, песня. Всё-таки ценят здесь люди среду своего обитания. После недели работы на форуме привык к нему, как к родному..

Спросил своего приятеля Хокана:

– Что ж вы оставили эти кроны? У всех же евро!

– И нам говорили, – переходите, даже пугали.. А мы не боимся!

Он же просветил меня насчёт супер-популярной в Швеции трилогии Стига Ларссона «Миллениум».. Пришлось купить эти книжки.. «Девушка с татуировкой дракона».. хакеры, журналисты, магнаты, маньяки, убийство на изолированном провинциальном острове.. чует моё сердце, из этого скоро сделают мировой культ..

Мадрид – Лондон – Сан-Франциско, 16 сентября, 2008

В перерыве между двумя бизнес-встречами ехал со своим старинным коллегой Винсенте от Аточи до Эсперанзы, говорили о политике (только прошли выборы).

– Вот взорвали нас (тот самый вокзал Аточа) и сразу пошли разговоры, что «нам правых лучше не надо». И в результате получили - Partido Socialista Popular .. со всеми вытекающими

– А что у вас с отделением басков и Каталонии?

– А зачем им отделяться? Пока они такие «особые» – постоянно требуют больше средств, чем все остальные.. а если отделяться – с кого тогда тянуть будут?

– Логично.. и вспоминается много похожих примеров.

Всем хорош Мадрид.. но как жалко, что в Тиссен-Борнемисе закрыли первый этаж! А там мой любимый период – самое начало XX века.. Но ничего, сходил в Рейну Софию, а там «Герника», и вообще много всего..

Единственный свободный день прошёл не зря..

Феникс – Ньюарк, 25 февраля, 2009

Ушедший от нас в другую компанию один из основателей стартапа мой друг Брэд подарил всем оставшимся *executives* книгу под названием «From Good to Great» («От хорошего к превосходному»)..
Смысл примерно в том, что ты уже успешная

компания, но, благодаря этим советам, можешь стать вообще великой.. Интересно читать про подобные задачи, когда даже до *good* ещё далековато и идёт ежедневная борьба за выживание на фоне глобального кризиса.

Особенно в этой книге мне понравился «*принцип ежа*», вкратце предлагающий фокусироваться на решении одной, но самой важной проблемы и защите от конкуренции.

Have fun every day of your life!

Новый Орлеан – Цинциннати, 7 марта, 2009

Из старой советской песенки:

«*Кто тебя выдумал, звёздная страна?*»

Наш вариант:

«*Кто тебя выдумал, звёздно-полосатая страна?*»

Ещё вертится в голове Б. Г. с его сакраментальным: —

«*Нам, русским за границей, иностранцы ни к чему*».

Совершенно феноменальный памятник иммигрантам на берегу Миссисипи..



Ньюарк - Денвер, 2 апреля, 2009

*Я погиб на этой странной войне
Не от пуль, не от гранат, не в огне
На кромке непрямого льда
Под которым и вода – не вода
В воронке из ненужных затей
Вдали от непонятных людей..*

*Я погиб на этой странной войне
Не зная, что она лишь во мне
А снаружи нет ни войск, ни врагов
Ведь каждый, кто сумел, – был таков
И лишь я сижу в пустынной глуши
Задумавшись о тайнах души..*

*Я погиб на этой странной войне
А может, все приснилось во сне?
И весь мир погибает в плену
Оттого, что я проспал ту войну..*

Сан-Франциско – Токио, 12 сентября, 2009

Такого уровня синхронности я еще никогда не видел: после посадки в Нарите все сидящие в салоне японцы немедленно дружно откинули крышки своих смартфонов и начали с какой-то невероятной ловкостью строчить свои иероглифы: «Я прилетел(а)!»

Токио – Сан-Франциско, 18 сентября, 2009

Мой друг и бывший коллега Брайан, хотя и родился в Гонконге, но в Японии жил и город знает как свои пять пальцев. В первый же день он сказал «никаких туристских троп», и мы пошли в дебри проживания местных.. надо признать это оказался другой город – другие цены, другие люди, другая атмосфера..

Особенно мне понравилось, как ожесточённо кричат гортанными голосами официанты, получающие чаевые.. что-то вроде «сообщи миру о своём достижении!» Надо бы ввести в нашем офисе такую же практику отчисления релизов.. ведь какое облегчение измученному стрессом организму даёт такой идущий из глубины души вопль!

Вообще Токио – город экстремальной вежливости.. даже боишься их лишней раз о чём-то попросить, уж очень стараются, и так переживают, если что-то не получается..

Сан-Франциско – Атланта, 5 ноября, 2009

Тема: – А о чём эта история?– Да ни о чём..

*Был сюжет, – сюжета нет,
Цель была, – и цели нет
Самолёт за самолётом
Рассекает Новый Свет..*

Сан-Хосе – Даллас, 27 октября, 2009

Первый раз воспользовался Интернетом в самолёте.. понравилось..

Всё-таки не будем гневить Бога, мир меняется к лучшему..

Париж - Флоренция, 7 марта, 2010

Во время полёта я редко смотрю фильмы, но в этот раз – впечатляющая передача о Жане-Марке Барре, одном из немногих французских продюсеров, абсолютно гармоничных и в англосаксонском контексте.

Он играл ещё в замечательном фильме Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» с Бьорк, а теперь снимает сам. Поразительная речь, философия и

пластика у человека. Всё-таки лучшее, что возникает в мире, чаще всего бывает сплавом нескольких культур..

Рим – Сан-Франциско, 27 марта, 2010

Что ни говори, а нет в Италии ничего лучше Сиенского собора с его поразительными напольными мозаиками, колоннами и витражами..

А Рим – хоть и вечный город, но также и город вечных проблем.

*И вот однажды
А может быть дважды
Я умирал
От недостатка жажды..*



Сан-Хосе – Лас-Вегас, 15 сентября, 2010

На сайте «Сноба», где помимо светских дискуссий идут непрекращающиеся баталии левых и правых, про- и анти- путинцев, появляется Виктор Суворов, и через пару дней народ задаётся вопросом:

– А где же ожидаемое нашествие троллей?

*Между линией добра
и линией зла
Дрейфует моя лодка
без руля и весла..*

Лас-Вегас – Сан-Хосе, 16 сентября, 2010

На днях поучаствовал в конференции *Teens in Technologies* по приглашению 17-летнего гения Дани Брусиловского, у которого последователей в Твиттере почти как у Обамы.. Смотрю на это поколение и на то, как они пользуются гаджетами и Интернетом – это уже просто другие люди.. с качественно другой скоростью обработки информации и виртуально-социальными навыками и этикетом.. Любая компания, создающая продукт, должна создавать его для них, а не для нас 30-, 40-, 50- летних динозавров..

Сан-Хосе – Феникс – Ньюарк, 15 ноября, 2010

Продажа нашей компании – практически дело решённое, и вопрос о создании собственной встаёт ребром. В этот раз, помимо технологии, моя цель – создать качественный контент, в нём и будет основная ценность.. Название проекта – ключ к успеху: как вещь назовёшь, тем она и станет.. И вот, после нескольких лет раздумий и взвешиваний, останавливаюсь на варианте *IWorld Online*.

Сладкий момент, когда в тебе есть не только идея: и сам продукт можно себе представить целиком и полностью, но никто в мире об этом даже не подозревает.. Теперь дело за малым, – воплотить идею :-)) ..

Года три-четыре на это наверняка понадобится..

And he woke up in the morning.. and there was the sky and the ground.. but it was not the same sky and not the same ground..

Где-то по пути из Ньюарка, 18 ноября, 2010

Опять летим с Леоном, моим боссом.. Обойдётся ли в этот раз без *Третьего Полицейского*?

Мы с ним по традиции обмениваемся книгами, и, в ответ на «*Road*» Кормака Маккарти, я заставил его прочитать О’Брайена. Леон признался потом, что сделал самое большое усилие в своей жизни, чтобы его одолеть.. На фоне этого чтения в самолёте с нами начали твориться странные вещи.. рейсы задерживались и отменялись.. нас отправили в другой город (чтобы побыстрее), а оказались мы в какой-то дыре.. один и тот же подозрительный мужик с рыжими усами попадался нам в трёх городах подряд и задавал одни и те же вопросы про багаж.. Леона уже начал прошибать пот от столкновения с неизвестными силами, к существованию которых он ещё не привык.. в довершение ко всему, его посадили у окна, в котором во время полёта нарушилась герметизация и внешняя половинка стучала очень неприятно у него под ухом в течение всего полёта..

– Не волнуйтесь, так случается, – сказала Леону очень ласково стюардесса, глядя немигающими зелёными глазами..

Я, как мог, старался успокоить Леона, объясняя нюансы появления Третьего Полицейского не только в книге, но и на маршруте нашего следования, однако это его слабо утешило. Полностью решить проблему удалось только по прибытии, в каком-то допоздна работающем ресторане, где он беспромедлительно принял на грудь положенную в таких случаях двойную порцию *Maker’s Mark*.



Феникс – Ньюарк, 15-е ноября, 2010

Покупка одной компании другою – начало медленных, но неизбежных перемен.

Читаю в самолёте последнюю книгу Пелевина «t», и там цитата в тему «*Не знаю, граф, по какому пути вы идёте, но вам определённо можно принять две пилюли...*»

Плюс, конечно, есть и ремарка на злобу дня: тёмный властелин Батрак Абрама..

Как всегда у Пелевина, тут всё сразу: и Маркес, и Маркс, и Матрица..

А завершающий штрих, – абсолютно точное определение отношений человека и государства на исторической родине: «*Любая неординарная личность, видящая свою цель в чём-то, кроме воровства, традиционно воспринимается нашей властью как источник опасности.*»

Тут ни убавить, ни прибавить..

Ньюарк – Феникс, 18-е ноября, 2010

После трёх дней встреч со своим главным клиентом мы с коллегой-канадцем на радостях от завершения проекта заболтались и заблудились по пути в аэропорт. Долго скитались вокруг да около фривейных развязок, потом попали в унылый чёрный пригород Ньюарка. «*This place is so depressing*», – сказал канадец, после чего мы долго обсуждали, где и как живут бедные люди в его Торонто и в моём Сан-Хосе.. Сошлись, как всегда, на том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным..

За ужином, хорошо выпив красного вина, канадец открыл душу: как надоели ему высокие технологии и требовательные провайдеры, и что он только и мечтает открыть семейный бизнес с супругой, типа гостиницы, клуба или ресторана на милых его сердцу канадских озёрах..

Нет ничего нового под луной.. ох, зря так стебали ядовитые Ильф и Петров бедного отца Фёдора с его мечтой о свечном заводике под Самарой!

Сан-Хосе – Лас-Вегас, 5-е января, 2011

Почему главную выставку года решили устроить в первую неделю января? Ведь надо

же людям восстановиться после праздников.. Но нет, западному миру чужды русские затяжные переключения из рабочего состояния в нерабочее и обратно.. Так что летим представлять свой продукт по полной.. опять всё по жёсткому графику, на своём стенде, на стенде партнёров; 10 часов в день на ногах с гарантированно севшим от непрерывного разговора голосом.

А вокруг будут непрерывно идти толпы посетителей, для которых эта выставка – забава, возможность поглазеть на новые гаджеты и пособирать буклеты..

Лас-Вегас – Сан-Хосе, 10-е января, 2011

Всё-таки есть плюсы в работе на большую компанию. На частной вечеринке Моторолы в Вегасе выступал Ленни Кравиц, *up, close and personal*.. Хотя и был он в сильном недосыпе после перелёта из Парижа, но играл завораживающе.. Этакий продолжатель дела Led Zeppelin с элементами африканского вуду и романтики мид-веста.. В кулуарах концерта толпа одетых в красные хипстерские блузоны моторольцев пила в неограниченных количествах бесплатные алкогольные напитки, браталась, и искала в толпе коллег из разных стран и дивизий..

Life Ain't Ever Been Better Than It Is Now? – не знаю, Ленни, не уверен..



Чикаго – Брюссель, 10 февраля, 2011

Во всех новостях – свержение Мубарака в Египте.. особенно интересной в этой истории мне кажется роль Фейсбука, как инструмента объединения оппозиции.. Вылет задерживают более часа, сидим в салоне, народ негодует.. а по мне, пускай уж лучше устранят неисправность до вылета.. если хорошо задуматься, что важнее – жизнь или сэкономленный час.. Не бывает плохих мест и томительных ситуаций, когда с собой есть блокнот и ручка.

Брюссель – Барселона, 10 февраля, 2011

Есть люди, которые не любят долгие европейские пересадки.. для меня же восьмичасовой *connection* в Париже или Брюсселе – одно удовольствие.. всегда выхожу в город и еду в какое-

нибудь полюбившееся место..

В прошлом году, в Париже, это был Монмартр, где в местном музее была чудесная выставка рисунков Дали.. В этот раз в Брюсселе я поехал ещё раз посмотреть на Атомиум, шедевр жанра экспонкострукций, равнозначный Эйфелевой башне, но совершенно недооценённый.

Заодно, слушая автогида в туристском автобусе, узнал последнюю официальную версию того, как живёт страна без правительства. Одно дело – слышать такое от друзей-бельгийцев на форуме (причем от фламандцев и валлонцев – разные версии), совсем другое – на мейнстрим-экскурсии.

Может, страны без правительств и есть наше будущее?

Чудны дела твои, Господи.



Париж – Сан-Франциско, 17 февраля, 2011

Есть в жизни вещи, которые хронически откладываешь на потом.. раз за разом.. много лет подряд.. но в какой-то момент решаешь «ну хватит, пора..» Причём не по какой-то осознанной причине, а просто так – вот пора и всё..

Сколько занимался импрессионистами и французским искусством конца XIX – начала XX века, всегда мечтал сходить в их легендарные кафе или побывать в Живерни, посмотреть на пруды с лилиями.

Наконец. Выбрался. Дошёл. Посидел в Des Mougots. Получил большое удовольствие от публики, атмосферы, китайских атлантов, закуски, коньяка. Вышел счастливый. Разговорился с продавщицей у входа. Тут то и узнал что это не то кафе.. собирались импрессионисты в соседнем. А здесь бывали знаменитости, но другие, например Сент-Экзюпери и Шагал.

Хотел огорчиться, но не смог. Всё равно хорошо!

Берлин – Бонн, 28 мая, 2011

Мой приятель Гюнтер, с которым мы познакомились на выставке в Барселоне, узнав, что я в Берлине, прилетел обсудить наш потенциальный проект, и тут же организовал внезапную встречу с ключевыми фигурами в центральном офисе его компании в Бонне..

Пришлось всё бросить, выпасть из конференции на день, и срочно садиться на локальный рейс Berlin Air... Когда в аэропорту они называли этот маршрут *long distance*, то смущённо улыбались..

Немцы, одно слово.. Старательные, организованные, замечательные люди, но масштаба в них нет, ни в большом, ни в малом..

Бонн – Берлин, 28 мая, 2011

Отстрелялся. Три больших начальника вежливо выслушали мой *pitch* (еще одно слово, не имеющее точного русского перевода) и даже задали вопросы на засыпку. Но люди они тренированные, лица непроницаемые.. непонятно, будет ли продолжение банкета..

Позабавила немецкая экологическая сознательность. В комнате было жарко, и я наивно попросил включить кондиционер.. Оказалось, что в штаб-квартире одной из главных компаний Германии таковых не предусмотрено.

– А как же вы решаете проблему? – спрашиваю обескуражено.

– Так стены же сделаны из «зелёного» материала, они поглощают жар! – просвещают они меня.

Стены может и правда расчудесные, но жарко, просто смерть..

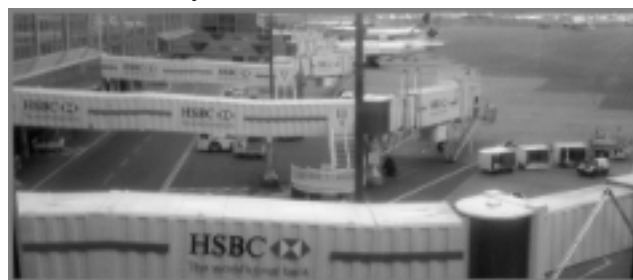
Talk about perception versus reality..

Франкфурт – Сан-Франциско, 5 июня, 2011

Тема: всё-таки много есть ещё очевидных, но невоплощённых, идей, например, сделать сайт « $1+1+1=3$ » где каждому объекту туризма сопутствует близлежащее кафе или ресторан, где можно отведать блюд и напитков местной кухни, плюс музыкальное произведение локального производства (неважно, классика или современный шлягер), под которое рекомендуется знакомиться с достопримечательностью.

Так, в Барселоне это была бы, например, Саграда Фамилия, с тапасами и сангрией из близлежащего кафе «Пикассо» под музыку *Orea De Van Gogh* или *Фангории*.

А в Париже.. а в Лондоне.. а в Стокгольме.. а в Лиссабоне.. ну вы сами понимаете!



Сан-Франциско - Шанхай, 17 сентября, 2011

– Ну как, ты нанял этого русского? – спросил меня на днях босс, вернувшийся из командировки.

– Да, сделали предложение, через две недели приступает.

«Этот русский» на самом деле украинский еврей, проживший много лет в Израиле и переехавший в Америку (на другой, кстати, берег) пару лет назад. В России практически не бывал. Но если американцам так проще нас идентифицировать – *no problem!*

* * *

Когда работаешь в большой компании, определение целей и задач по пути к клиенту дело порой неблагодарное.. ведь если сможешь его заинтересовать и довести дело до контракта, – тебе же самому будет больше работы и всё за те же деньги.. Поэтому работать нужно не на дядю, а на себя.. и чем раньше, тем лучше.

*Тут вам не там
Здесь вам не тут
Тогда когда, у нас – всегда!
А если что, тогда не то,
А если нет, тогда не да..
Куда когда, сюда всегда
Гори, гори, моя звезда!*

* * *

Лететь по случаю в первом классе, конечно, приятно, но не оставляло меня странное ощущение, что вот-вот придут проводники и прогонят в общий салон, как попавшего сюда по недоразумению.. привычка, как ни крути, – вторая натура..

Весь полёт – 12 часов, из них почти десять в окне – только бесконечный Тихий океан.. затем, правда, было интересно посмотреть на густонаселённую Японию, которую мы пересекли наискосок – Нагойя, Осака, Хиросима, Китаakyошу..

Шанхай - Сан-Франциско, 28 сентября, 2011

В то время как Америка медленно, но угрожающе верно ползёт от капитализма к социализму, Китай столь же неукоснительно движется в противоположном направлении. Шанхай выглядит совершенно как типичный западный метрополис, только больше и чище. Хотя элементы коммунизма ещё проглядывают – попадались одинокие пионеры в галстуках, на набережной Бунда прогуливался одинокий дружинник и было заметно много людей в военной и полицейской форме, но во всём остальном обстановка, сервисы, обслуживание абсолютно западные.

Город растёт как на дрожжах, и самый современный район размером с *даунтаун* Сан-Франциско, возник менее чем за 20 лет на месте болот и бараков. А ведь когда-то *Шанхай* в русском языке было именем нарицательным для трущоб..

Сан-Хосе - Лос-Анджелес, 27 ноября, 2011

После знакомства с филологом Анной Герасимовой (более известной как рок-хиппи певица Умка) и её выступления у нас в клубе и на концерте с новыми песнями, я был поражён, как она поймала мою тему в совсем свежей композиции «След от самолёта».

– Я вот исчеркал гору записных книжек, а у тебя всё то же самое уместилось в дюжине строчек.. Эх, взять бы такой саундтрек, да под мои размышлизмы..

– Бери на здоровье, – сказала добрая Аня..

Денвер - Филадельфия, 19 декабря, 2011

В самолёте, по счастью, оказался доступ к Интернету.

Если бы кто-то мне сказал ещё месяц назад, что все четыре часа на борту я буду непрерывно читать новости из России, я бы не поверил. Но факт есть факт: социальные сети совершают чудеса не только в Египте, и москвичи сумели объединиться именно через Фейсбук.. а там и пошла «движуха», которой так не хватало все эти сонные годы.. то ли ещё будет!

Нью-Йорк - Сан-Франциско, 21 декабря, 2011

В этот раз мне повезло: я проснулся, зная, кто я, где я, зачем и куда лечу.. наверно, предназначенная мне в чьём-то неведомом плане генетическая мутация прогрессирует в верном направлении..





Александр Трегуб

АФИНСКИЙ МАРАФОН, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ



Лоренцо Коста: Аргонавты.

Все мы в детстве читали удивительные истории о приключениях греческих героев, главным образом, в виде пересказов "Илиады", "Одиссеи", и других произведений великого Гомера. Время проходило, истории немного подзабылись — но зато в нашей нынешней жизни появилась замечательная возможность побывать на родине великих героев гомеровского эпоса, и на месте разобраться в деталях, что же там все-таки происходило. Памятуя о больших осложнениях — иногда даже с трагическим концом — в личной жизни героев из-за того, что они оставляли своих жен дома, мы решили жен с собой в далекий поход прихватить.

С незапамятных времен греки пользовались славой искусных мореплавателей, победоносных морских воинов, и одних из первых в истории и наиболее удачливых пиратов. Море всегда считалось родным домом для каждого уважающего себя грека. Поэтому странствия новых аргонатов решено было начать с посещения греческих островов.

Выбор первого острова был сделан легко — конечно же, в первую очередь надо было побывать на острове Санторини! Решения было принято единогласно как представителями новых аргонатов, так и сопровождающими их женами, хотя и по разным соображениям. Новые аргонаты горели желанием посетить гипотетическое место легендарной затонувшей Атлантиды и своими глазами увидеть

оставшийся после катастрофы знаменитый, все еще действующий вулкан и кальдеру, в то время как жены купились на рассказы предшествующих аргонатов о великолепных пляжах Санторини и замечательных местных ресторанах.

Нынешний Санторини — это уцелевшая после грандиозного извержения вулкана приблизительно в 16-ом веке до н.э. часть большого острова Стронгили в Эгейском море и, согласно "Диалогам" Платона и взглядам некоторых современных ученых, Стронгили и являлся легендарной Атлантидой.



Были ли Стронгини той самой затонувшей Атлантидой?

В древнем мире хорошо знали знаменитую высококоразвитую минойскую цивилизацию на соседнем острове Крит; как доказано археологическими раскопками в Санторийском поселке Акротири, минойская цивилизация распространилась из Крита на Стронгили. Скорее всего, крушение Стронгили, критского сателлита, и было ошибочно принято древними за гибель центра минойской цивилизации на Крите, что и не удивительно, поскольку CNN, Twitter, WikiLeaks в то далекое время еще не существовали, и новости разносились медленно и в искаженном виде.

Сухопутный лагерь решили разместить в поселке Ия, который греческие капитаны более позднего времени, (18-19 века н.э.), облюбовали для отдыха от морских странствий. У капитанов оказался неожиданно хороший архитектурный вкус. Поселок, украшенный белыми виллами, непонятно как держа-



Городишко Ия — одно из красивейших мест в Греции. щимися на крутом спуске к кальдере, и нарядными бело-голубыми — цвета моря, неба и Израильского флага — церковными куполами, заслуженно пользуется славой одного из красивейших мест в Греции. Основным занятием жителей и гостей острова является любование закатом в кальдере и выбор ресторана, сочетающего хорошую еду и живописный вид.



Фира: очень красивый вид на закат и вулкан из третьего ресторана.

Кальдера и вулкан Неа Камени в ее центре являются двигателями экономики острова: каждый день с острова Санторини на вулкан направляются многочисленные флотилии со странствующими аргонавтами. В межсезонье, с ноября по апрель, когда море становится беспокойным, погода холодной, и аргонавты на постой не приезжают, местные племена в основном отдыхают и живут за счет дани, взимаемой с гостей острова с апреля по ноябрь.

Первыми греческими поселенцами Санторини были спартанцы, и местные жители по-прежнему отличаются независимостью и характерным презрением к торговой деятельности.

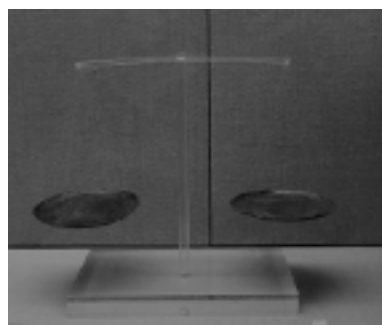
Например, когда вы заходите в продуктовую лавку закупить какой-нибудь товар для странствий, хозяин отнюдь не бросается навстречу и не пытается всучить Вам товар. Гордо и независимо продолжает

он смотреть телевизор или читать газету. К сожалению, эти качества понемногу утрачиваются в связи с притоком дешевой рабочей силы из Болгарии — страны, расположенной чуть южнее Колхиды.

Вслед за Санторини в планы аргонавтов входило посещение Крита, колыбели древнейшей цивилизации Европы.

Мы построили быстроходную модель судна Арго с оракулом, установленном прямо в корабельном баре, и уже через 4 часа (!) причаливали к порту столицы Крита, Ираклиону. Следуя традициям Гомера, наш товарищ по странствиям, сладкозвучный Орфей, сочинил прекрасную короткую песнь всего в 2500 строф, посвященную истории знаменитого острова Крит, исполнение которой собралось в баре всех наяд Эгейского моря; краткое содержание песни Орфея мы как раз и собираемся вам пересказать.

Минойская цивилизация зародилась на острове Крит приблизительно в 27 веке до н.э, просуществовала 12 (!) веков, а расцвет ее пришелся приблизительно на 15 век до н.э. Древние минойцы добились потрясающих успехов в искусстве, строительстве и технологии: их огромные дворцы-города (самый знаменитый из которых — дворец Кноссоса, частично восстановленный по проекту английского археолога сэра Артура Эванса) поражают воображение. Их мастерство в изготовлении ювелирных украшений, глиняных ваз с искусными узорами и настенной живописи опередила европейское искусство веков этак на 20(!).





Минойские меры стандардов: весы, разновесы, меры объема и стандартные орнаменты для различного содержимого сосудов. ~ 17-15 вв до н.э.

Они строили водопроводы приблизительно за 15 веков до водопроводов, "сработанных еще рабами Рима", как сказал поэт. У них была письменность, прошедшая три стадии развития — от иероглифов до так называемых линейных скриптов А и Б. У них были наборы стандартных гирь, стандартных объемов и стандартных мер длины! Каждый аргонвт, в котором еще не умерла жажда новых познаний, может увидеть многочисленные предметы минойской цивилизации в знаменитом Археологическом музее Ираклиона и Доисторическом музее города Фира на Санторини.

На исходе 15 века до н.э. минойская цивилизация стала приходить в упадок. Явились ли причиной тому политические распри, резкое изменение климата после грандиозного вулканического извержения на соседнем Стронгили или другие факторы — мы пока не знаем. Однако известно, что после 15 века до н.э. на Крите начался период политической неопределенности, междоусобных войн и восстаний, упадка искусства и технологии. Все-таки недаром говорят, что музам нужен мир.

Замечательная минойская цивилизация времен ее расцвета всегда привлекала нас, аргонатов микенского периода. Именно поэтому, воспользовавшись ослаблением власти на Крите, мы постепенно захватили остров и вытеснили как самих критян, так и их культуру и обычаи. Конечно, наш микенский менталитет был полной противоположностью минойскому. В то время как минойская цивилизация процветала благодаря торговле и почти полному отсутствию междоусобных войн на острове, наша микенско-аргонвская цивилизация развивалась и расширялась за счет захватнических войн (вспомним, например, знаменитую Троянскую войну).

В то же время у нас, микенцев, и минойцев, было и нечто общее, а именно, уважительное отношение к женщинам. Мы всегда готовы были вступить в войну из-за прекрасных женщин (или, по крайней мере, использовать прекрасных женщин как хороший предлог чтобы развязать войну), — а минойский религиозный культ был основан на поклонении женским идолам. Честно признаемся, нам очень понравились минойские женщины (к сожалению, сохранившиеся только в виде рисунков и скульптур): маленького роста, но очень привлекательные, что подчеркивалось очень смелыми фасонами их нарядов,



Минойские женщины: также любили со вкусом одеваться (справа-богиня мудрости)

— настолько смелыми, что критским мужчинам незачем было тратиться на подписку иностранного журнала "Playboy". Минойки были также очень спортивными — их любимым развлечением были прыжки в длину с переворотом через живых быков.



Минойские женщины: были очень спортивные; особенно любили прыгать через быков в длину с переворотом и приземляться, схватившись за бычьи рога

Следующим естественным пунктом назначения для нас стало посещение материковой части Греции, где, как известно, зародилась наша микенская цивилизация героических воинов, славные деяния которых воспеты знаменитым Гомером. Правда, некоторые так называемые ученые утверждают, что именно из-за постоянных междоусобных войн между нашими великими героями микенская цивилизация как раз и пришла в упадок, и Греция погрузилась на 400 лет в темную эпоху (dark ages). Достижения

архитектуры, технологии и искусства были полностью забыты; более того, греки — в первый и пока в последний раз в истории человечества — ухитрились утратить уже существовавшую письменность! Но мы предпочитаем другую версию, согласно которой Греция была захвачена грубыми и необразованными дорическими племенами — одичавшими потомками нашего величайшего героя Геракла.

Как и положено аргонавтам, мы решили начать наше путешествие на материке с испытания, достойного нашей отваги и чести, а именно: мы должны были пробежать полную дистанцию марафона, 42км 195 метра, по знаменитому историческому маршруту, от города Марафон до города Афины.



Старт! Город Марафон, 31 октября 2010 года: 2,500 лет после легендарной битвы при Марафоне

Хотя город Марафон у большинства современных людей ассоциируется с очень длинной беговой дистанцией, в древности он прославился как место исторического сражения между греками и персами, предотвратившем покорение Европы могучей персидской империей.

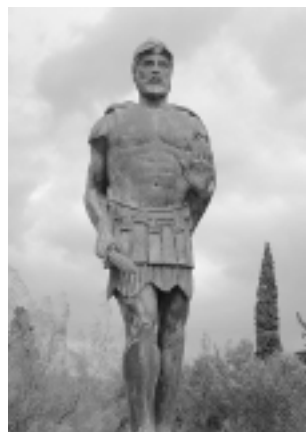
В 490-ом году до н.э. персидский царь Дариус решил захватить Грецию — единственную нацию из многих близких и далеких соседних государств, еще не вошедших в Великое Персидское царство. Дариус решил начать кампанию с завоевания государства Афины.

Согласно военному плану, персы должны были высадиться в удобном месте в низинной части, возле города Марафон, и оттуда маршировать к Афинам.

Оборону Афин возглавил генерал Мильтиадес, талантливый полководец, в прошлом сам служивший наемником в персидской армии, и даже лично знакомый с Дариусом. Мильтиадесу удалось убедить своих военных коллег покинуть надежное укрытие защитных стен города, маршировать к Марафону, занять удобную позицию и встретить считавшуюся непобедимой сухопутную армию персов лицом к лицу.

К сожалению, пресловутая афинская демократия времен Мильтиадеса никому не позволяла принимать единоличные решения. Каждое решение должно было быть обсуждено в подробнейших деталях,

со всеми "за" и "против" на специальном форуме, где каждый участник должен был не только голосовать, но и представить свою хорошо аргументированную позицию. Разумеется, это занимало время, так что окончательные выводы делались не спеша. (Эта демократия в действии может напомнить вам прения в еврейском форуме, но с одним важным различием: в то время как на еврейском форуме, в целях экономии времени, все говорят одновременно, на неэффективном греческом демократическом собрании каждый оратор выступает по очереди). То, что Мильтиадесу удалось в кратчайший срок убедить сограждан в правильности своей стратегии, говорит о выдающихся ораторских способностях полководца.



Марафон, место исторической битвы: памятники полководцу Мильтиадесу (слева) и Афинскому Воину (справа)

Две армии встретились лицом к лицу в Марафоне. В результате нескольких хитроумных военных маневров афинянам удалось полностью — и впервые в истории — одолеть непобедимых персов на суше. Как сказал бы знаменитый спортивный комментатор Николай Озеров, битва под Марафоном "развела миф о непобедимости персидских профессионалов".

Разгромив персов под Марафоном, афиняне посылают профессионального гонца по имени Фелиппидес в Афины с важным поручением: сообщить о блестящей победе и предупредить афинян о персидской атаке с моря. Никто не знает, как быстро пробежал дистанцию Фелиппидес, но поручение свое он выполнил: добежав до Афинской площади, он прокричал "Неникикамен!" ("Мы победили!") и, согласно легенде, скончался прямо на площади.

Правда, легенда также говорит о том, что незадолго до этого забега, он также сбегал в Спарту и обратно. Афиняне пытались вовлечь спартанцев как союзников в битве, но те отказались направить немедленную помощь — поскольку, по официальной спартанской версии, как раз в это время отмечали очень важный религиозный праздник.



Бегун Фелиппидес доставляет в Афины весть о победе под Марафоном: "Неникикамен!" (Мы победили!). К сожалению, это были его последние слова. 490 до н.э.

Наше первое испытание как раз и заключалось в том, чтобы пробежать полностью марафонскую дистанцию и не умереть на финише. Сначала мы внимательно осмотрели трассу забега и даже проехали ее, от старта до финиша, на большой вместительной колеснице. Маршрут начинался на стадионе города Марафон и приблизительно на пятом километре проходил через место исторической битвы. Мы немножко разволновались при виде кургана и памятника на месте какой-то братской могилы — но оказалось, что это захоронение героически павших 192 афинских воинов, а не скончавшихся от переутомления марафонцев. Нельзя, однако, сказать, что афиняне надолго сохраняли признательность своим героям: тот же Мильтиадес через несколько лет был обвинен своими политическими врагами в проигрыше какого-то сражения, и приговорен к тюрьме и штрафу. Ничего не поделаешь, чувство благодарности не свойственно никакой цивилизации.

Дальше дорога к Афинам шла почти все время в гору, и только последние ~ 10 км. проходили по плоской или с уклоном вниз дороге. Как сказал нам один очень опытный греческий марафонец, "хорошая новость — это то, что вам придется преодолеть только один подъем, а плохая новость — это то, что длина этого подъема 30 из 42 км."

В День великого испытания мы и пятнадцать тысяч других участников выстроились на стартовой линии. Оказалось, что забег был юбилейный, и отмечал 2500-летие Марафонской битвы. Организаторы первоначально ограничили число участников десятью тысячами бегунов, символизирующих число афинских воинов в Марафонской битве. Когда количество желающих принять участие в пробеге превысило десять тысяч, организаторы добавили еще одну тысячу, символизирующую число солдат, посланных союзником Афин, маленьким городом Платиа. Когда же число желающих превысило одиннадцать тысяч, организаторы увеличили квоту до пятнадцати тысяч, символизирующую главным образом, национальную

гордость современных афинян международной популярностью события. Разумеется, нас, аргонавтов, допустили вне всякой квоты. На старте нас приветствовали местные политические лидеры и спортивные знаменитости, а для поддержания боевого духа — в соответствии с традициями греческих военных битв — непрерывно проигрывали запись знаменитого "Сиртаки" композитора Микиса Теодаракиса. В девять часов утра был дан старт, и вся большая компания отправилась по стопам самоотверженного Фелиппидеса. На пятом километре мы сделали круг почета вокруг кургана — братской могилы афинских воинов и продолжили свой путь в Афины. Нас приятно поразило дружелюбие потомков свирепых дорических племен: они подбадривали нас восклицаниями: "Браво, брависсимо!", дружески обращались к нам по именам (написанных на наших боевых или беговых доспехах) и протягивали нам оливковые ветви как награды за победу. К слову, о доспехах: как мы заметили, марафонцы уделяли большое внимание символике. Каждый марафонец с гордостью демонстрировал боевые доспехи, содержащие краткое описание предыдущих славных битв, например: "Бостон Марафон. Ноябрь 2005", или: "Сан-Диего рок-н-ролл марафон. Май 2009". При этом доспехи надевались не только во время забегов, но и на дружеских пирах, во время застолий, прогулок и т.д. Нам же эта традиция понравилась, и мы все заказали себе легкие доспехи с надписью: "Колхидский марафон, 11-12 век до н.э."

Также приятно поразило нас большое число замечательно выглядевших наяд и нимф с плавниками, туго обтянутыми специальной материей для стимуляции и согревания беговых мышц. Они навевали прекрасные воспоминания о женщинах острова Лемнос, которые погубили из ревности всех своих мужчин, но затем соскучились по мужскому вниманию и замечательно встретили нас в нашем странствии за золотым руном. Некоторые из нас даже захотели остаться тут же на дистанции в этой хорошей компании, как когда-то на Лемносе самые слабодушные из нас хотели бы остаться с лемнийками (лемносками?), вместо того, чтобы продолжать странствие за руном. К сожалению, эти марафонские наяды оказались очень подвижными и, чтобы держаться с ними рядом, пришлось продолжить путь к цели. Несмотря на все старания, динамичные и спортивные наяды очень быстро исчезли из виду; только иногда вдалеке можно было еще заметить туго обтянутый плавник, уверенно набирающий скорость на крутом подъеме. Приблизительно на пятнадцатом километре, после пяти километров крутого подъема, нам было бы уже трудно отличить лемниек от наяд, к двадцатому километру мы бы уже никак не прореагировали на появление вооруженных амазонок, к тридцатому километру нас уже не тревожили сдвигающиеся скалы Симплегадес, на сороковом

километре прекрасная Медея была неотличима как от жутких воинов-скелетов, возникших из зубов убитого дракона, так и от самого дракона, а на финише счастливые, но полностью дезориентированные аргонавты потребовали, вместо синтетической ленточки для памятных медалей, ленту из золотого руна. Путь был непрост, но испытание было выдержано с честью; хотя, если бы послание в Афины было доставлено через пять часов после окончания сухопутной битвы — еще неизвестно, как бы сложилась судьба экспедиции Дариуса... В этот воскресный день юбилейного пробега марафонцы разных стран доставили в город 15.861 "неникикамен"; наш "неникикамен", хоть и не был первым, тоже внёс свой важный вклад.

Золоторунная лента



Пенелопа

Награда на финише: верные Пенелопы и ленточки из золотого руна.

Город Афины пробудил в наших микенско-аргонавтских душах сладкие воспоминания о былых подвигах легендарных героев. Естественно, мы воспользовались марафонским визитом и провели несколько дней в городе, посещая знакомые и незнакомые нам места. Конечно, город несколько изменился с микенских времен, но греки приблизительно 5-го века до н.э. и более поздних эпох могли бы найти некоторые знакомые храмы и здания в нынешнем старинном центре города. Мы побывали и за пределами исторического центра, однако новый город нас совершенно не впечатлил: довольно беспорядочные застройки, неинтересные многоэтажки, шум и загрязненный воздух от многочисленных многоколесных фэтонов.

Мы посетили знаменитый "Вышгород", или, на греческом, Акрополис.



Акрополис — туристская Мекка

Акрополис — "поэма в камне", по определению Ламартина, был построен во время правления Перикла, когда культурная жизнь в Афинах достигла своего апогея. Перикл пришел к власти, возглавив восстание городской "черни" против аристократов, но, как это ни парадоксально, вместо того, чтобы уничтожить все культурные достижения аристократов, Перикл не только сохранил афинские философские школы, архитектуру, театр, но и вложил огромные деньги в строительство новых храмов и театров, причем настолько этим увлекся, что заработал репутацию самого крупного растратчика народных денег в истории человечества. Акрополис и, в особенности, знаменитый Парфенон, кажутся издавна какими-то воздушными структурами, легко парящими над городом. Гениальный архитектор Парфенона Икинос слегка изогнул колонны храма, что создало оптическую иллюзию легкости, воздушности и бесконечности линий массивного здания¹.



Парфенон-жемчужина Акрополя. В Акрополе ведутся грандиозные реставрационные работы: завершить их намечено к 2020 году

К сожалению, Акрополис был многократно разрушен, восстановлен и снова разрушен.... В разное время он служил Флорентийским дворцом, византийской и католической церковью, мусульманской мечетью и турецким складом для хранения оружия...

Когда уже, как казалось, бурные времена кончились, пресловутый английский ценитель античности Лорд Эльгин для "лучшей сохранности" отрезал и перевез в Англию многие скульптуры Акрополиса, где они и поныне хранятся, и английские музеи не спешат их возвращать. Впрочем, за свою предприимчивость лорд был наказан: какая-то из греческих богинь, то ли Афродита, то ли покровительница города Афина, наслала на него сифилис.

Конечно же, мы посетили и другие знаменитые места в Афинах: Анафиотику — район находчивых и расторопных каменщиков с острова Анафи; одеум (театр) построенный Херодом во 2-ом веке до

¹ Если мысленно продолжить колонны храма, они пересекутся в точности в середине строения на высоте 2000 метров!

Афинский марафон, или новые приключения аргонавтов

н.э; более или менее сохранившуюся римскую Агору и руины древней Агоры — торговую площадь и место собраний в Афинах. Ко времени нашего посещения центр афинской торговли переместился в район Плака, место, где можно купить все, что вам нужно, и еще большее количество того, что вам нужно никогда не было и не будет. Здесь вы можете испытать свои способности к торговым переговорам в состязании с признанными мастерами своего дела. Известно, что в древности афиняне считались лучшими купцами, ораторами и спорщиками. Профессионалы Плаки сохраняют поколениями выработанное мастерство в торговле и в ораторском искусстве, что не оставляет никаких шансов на удачную торговую операцию неискушенным аргонавтам и марафонцам.

В какой-то степени, мастерство афинян и прочих греков в переговорах, дебатах и тонких политических маневрах выработалось под влиянием греческой религии, основанной на сложной системе устройства Олимпа и разделения власти между богами, которым, как известно, были присущи свои прихоти и слабости. Такая система оставляла лазейку для переговоров, политических игр и компромиссов. Так что, если кто-нибудь из аргонавтов впадал в немилость, у него всегда существовала возможность найти защиту и покровительство у другого влиятельного бога. К сожалению, даже уже в предклассические времена появились религии, основанные на поклонении единому, строгому и неподкупному Богу, например, иудейскому богу Яхве или персидскому богу Ахурамазда, а позднее возникли могущественные монотеистские мусульманская и христианская религии.

Совсем недалеко от Парфенона, Пантеона олимпийских богов, на Марсовом поле, находится Ареопаг, традиционное место для собраний афинян, но вошедшее в историю, главным образом, тем, что именно здесь апостол Павел принародно возносил молитвы христианскому богу.

Со времени нашей экспедиции за золотым руном в Афинах произошло много изменений. Город попадал под власть, влияние или просто становился домом многих наций и религий: языческой, христианской, мусульманской, иудейской... В Афинах сохранилось немало памятников и храмов Римской империи, ортодоксальных церквей времен владычества Византии, и даже две синагоги. Однако от мусульманских мечетей в Афинах остались, главным образом, немногочисленные развалины, а в нескольких уцелевших мечетях религиозные службы не проводились со времени выселения в 19 веке турок, что делает Афины одной из немногочисленных европейских столиц без единой действующей мечети. Годы правления Османской империи и постоянной вражды с Турцией оставили горький осадок в душах афинян...

А вот к иудейской религии афиняне относились гораздо терпимее. Конечно, отношения

между греками и евреями не всегда были безоблачными: именно микенские греки, умелые мореходы и основатели колоний на Ближнем Востоке, стали родоначальниками и предками филистимлян — главного и злостного врага евреев в древние времена (вспомните историю сражения царя Давида и филистимлянского гиганта Голиафа). Мы уже даже не упоминаем известных, случившихся значительно позднее, войн между селевкидами и маккавеями. Однако последние 2000 лет греческие евреи никогда не преследовались местными властями.

Греческий ортодоксальный архиепископ Дамаскинос, вошел в историю как единственный религиозный лидер в оккупированной Европе, который не побоялся направить формальное письмо протеста оккупационным властям в защиту афинских евреев



Памятник архиепископу Дамаскиносу напротив Афинского Митрополитского собора

Архиепископ Дамаскинос не побоялся открыто поддержать греческих евреев во время нацистской оккупации.

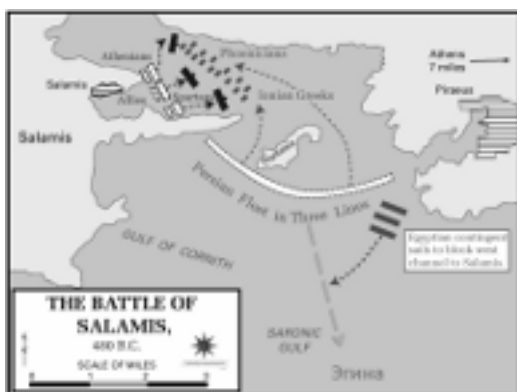
Выдержка из открытого письма архиепископа оккупантам
“Our holy religion does not recognize... qualities based on race or religion. ... 'There is neither Jew nor Greek' . Today we are... deeply concerned with the fate of 60,000 of our fellow citizens who are Jews”.

Протест не помог, и семьдесят тысяч евреев погибли за время нацистской оккупации, поэтому ко времени нашего визита их в Афинах их осталось мало.

Соскучившись по морским странствиям, мы решили посетить близлежащий остров Эгина в Саронском (Saronic) заливе Эгейского моря, приблизительно в двадцати километрах южнее Афин. Остров Эгина известен храмом экзотической богине Афэ и ролью в исторической морской битве между персами и греками близ города Саламис. В 480 году до н.э, ровно через 10 лет после поражения под Марафоном, неутомимые персы, возглавляемые сыном Дариуса, царем Ксерксом, собрали огромную сухопутную армию и самую большую в истории всех морских сражений флотилию и начали наступление на непокоренные греческие города-государства и острова. Греки понимали, что в одиночку каждому отдельному городу с персами не справиться, и сформировали политический и военный союз —

Эллинскую лигу с объединенным командованием. Эгинские моряки считались лучшими в греческом флоте, и маленький остров Эгина поставил второй (после Афин) по численности флот в греческую армаду.

Хитроумный афинский стратег Термистоколис сумел заманить персидский флот в узкий пролив между Саламис и портом Пираеус, где огромное преимущество персидского флота в численности кораблей потеряло значение.



Карта битвы Саламис

Союзники по Эллинской Лиге заманили огромную морскую армаду персов в сужающуюся часть Коринфского залива.

Корабли Эллинской лиги атаковали скопленные и лишенные маневренного пространства персидские корабли в узком проливе и полностью разгромили огромную персидскую армаду. Битва при Саламис не только доказала преимущество хитроумных маневров над грубой силой, но и предоставила яркий исторический пример результатов плохого руководства: micromanagement (стремления контролировать каждый шаг своих подчиненных) и неэффективного performance review (оценки работы подчиненных). Во время битвы Саламис царь Ксеркс оборудовал для себя наблюдательный пункт на высоком холме над морем и приготовился лично оценивать и записывать в специальную книгу заметки о боевых действиях каждого корабля, чтобы по окончании успешного сражения выдать каждому отличившемуся капитану годовую премию и принять соответствующие меры к каждому провинившемуся. Не удивительно, что капитаны кораблей в арьергарде, которые боялись Ксеркса больше, чем греческого неприятеля, приказали гребцам грести что было сил вперед к передовой линии сражения. Это сразу же создало гигантскую пробку из персидских кораблей в заливе и лишило авангард возможности отступления и перегруппировки. Кроме того Ксеркс, который, подобно большинству крупных начальников не слишком хорошо разбирался в деталях, незаслуженно давал хорошие или плохие оценки действиям своим подчиненным. Например, в составе персидского флота находился корабль под командованием царицы Артемисии — единственной женщины на поле брани.

В истории раньше никогда еще не было адмирала женщины и присутствие Артемисии вызвало понятное чувство раздражения у всех мужчин, как греков, так и персов. Пожалуй, если что-то и объединяло в этой битве греков и персов, не прошедших соответствующего курса по избежанию sexual harassment (сексуальных домогательств), так это неприязнь к Артемисии. Греки специально охотились за кораблем Артемисии, и в какой-то момент им удалось его идентифицировать и атаковать. Бежать Артемисии было некуда: впереди находились только персидские корабли, но она не растерялась, протаранила ближайший, свой же персидский корабль и скрылась от преследователя. Растерявшиеся греки решили, что, должно быть, они случайно погнались за союзным кораблем, а царь Ксеркс на своей горе решил, что Артемисия героически протаранила греческий корабль, и сделал Артемисии замечательную запись в ее трудовой книжке: "Мои мужчины сражаются, как женщины, но зато моя женщина сражается, как мужчина!" После битвы Саламис и последующей победы греков в сухопутном сражении при Платии персы уже никогда не посылали военные экспедиции в Грецию, а жестокие военные сражения происходили впоследствии между самими греками, главным образом Спартой и Афинами; персы же ограничивались секретной финансовой поддержкой, попеременно, то спартанцев, то афинян.

История о битве Саламис наполнила аргонавтские сердца патристической гордостью за наших героических потомков, и в хорошем настроении мы отправились в гору к храму Афаи.



Храм невидимой Афаи — одна из вершин равнобедренного треугольника: Парфенон—Храм Афаи—Храм Посейдону.

Афая происходила из благородного критского семейства и, очевидно, была хороша собой, потому что критский царь Минос стал ее домогаться. Девушка оказалась с характером и решила бежать с Крита на эгинском корабле. Однако неотесанные и невоспитанные эгинские матросы стали к ней приставать на корабле, и Афая пришлось броситься в море и добраться до острова вплавь. Доплыв до Эгины, она спряталась в лесу и стала невидимой (а-фая), и таким образом, обезопасила себя от всех сгорающих от страсти мужчин, так что последним ничего не

оставалось, как ее обожествить и, впоследствии, в 5-ом веке до н.э. построить ей замечательный храм. С горы, на которой был построен храм, видны были афинский Парфенон и храм Посейдону в Сунио. Эти три храма образуют совершенный равносторонний треугольник; считается, что места постройки всех трех выбраны не случайно и символизируют ту самую красоту симметрии, которую так высоко ценили греки.

Мы немедленно приняли решение посетить и третью вершину знаменитого треугольника, храм Посейдона. Нам, мореходам, никак нельзя было обделить вниманием главного прокровителя моряков. Вернувшись на материк, мы задержали пытавшегося сбежать от нас возницу очень большого фаэтона — местные жители называют его "рейсовым автобусом" — и потребовали везти нас к Посейдонову храму в Сунио, поселение на самом краю полуострова Аттика, в шестидесяти пяти километрах от Афин.



Храм Посейдону стоит на самом краю полуострова Аттика.

Фаэтон был большой и комфортабельный; кроме нас и возницы в автобусе находился еще один муж с сумкой, именуемый "кондуктором", единственной обязанностью которого было взимать плату с пассажиров. Мы никак не могли понять, зачем в фаэтоне нужны два мужа, и почему сам возница не может выполнять функции "кондуктора", ведь даже сам перевозчик мертвых душ Харон и души перевозил, и плату в один обол взимал! Но вскоре наблюдательный Эхион, сын Гермеса, заметил, что недостойный муж-кондуктор обсчитывает каждого аргоната примерно на один евро-обол. Мы были очень возмущены и хотели немедленно сжечь недостойного грека на медленном костре, но рассудительный Ясон напомнил нам, что в государстве Греция большой экономический кризис и безработица, так что, по-видимому, правители Греции специально создали такую должность для того, чтобы самые бедные греки могли подкармливаться за счет аргонатов. Ситуация настолько тяжелая, сказал Ясон, что, по слухам, современные правители Греции даже готовы продать наши Эгейские острова, чтобы уменьшить гигантский торговый дефицит страны! Очевидно, у этих нынешних правителей не было в юности такого замечательного ментора, как мудрый кентавр Хирон у нашего Ясона!

Между тем комфортабельная колесница

достигла конечности Аттического полуострова, и нашим глазам предстала удивительная картина: стройные колонны, поддерживающие остатки храма, как будто зависшие между небом и морем.

Уединенность храма, расположенного на самом краю высокого утеса, придавала строению особенно величественный и даже философский вид. Недаром один известный поэт, родившийся через много веков после великого Гомера, посвятил этому месту замечательный стих: "Я с высоты сунийских скал смотрю один в морскую даль: я только морю завещал мою великую печаль! Я бросил кубок! Я один, страна рабов, тебе не сын!" Этого поэта звали Лорд Байрон, и его имя выцарапано им же на руинах храма. В наши аргонатские времена, это, кажется, называлось осквернением храма, или даже еще худшим именем, граффити, — но мы простили граффити Байрону за прекрасные поэтические строки о нашей Греции.

Изначально, храм Посейдону был воздвигнут внутри крепости, охранявшей конечность Аттики от атак пиратов и покушений иностранных захватчиков на главный источник богатства Афин, серебряные рудники. Именно на деньги, вырученные от продажи серебра, афиняне, по настоянию Термистокописа, построили флот, победивший персов в битве Саламис. Сунио также связано с трагическим эпизодом: гибелью Микенского царя Эгеуса, ожидавшего возвращения своего сына и нашего национального героя Тессея после битвы с Минотавром на Крите. Тессей обещал папе сменить черный корабельный флаг на белый в случае удачного исхода битвы, но позабыл это сделать, и бедный Эгеус, увидав издали черный флаг на корабле, с горя бросился с высокого утеса в море. То, что море было названо в честь царя Эгейским, было маленьким утешением для микенцев. Но мы уверены, что эта печальная история о забывчивом сыне служила и до сих пор служит хорошим уроком для всех детей, и со времен Тессея ни один ребенок никогда не забывал вовремя написать родителям письмо, отправить телеграмму, позвонить, или хотя бы послать text message с детальной информацией о своем местонахождении и ожидаемом времени прибытия домой.

Мы дождались заката солнца; окрасив храм золотыми и багровыми лучами, солнце медленно и величественно погрузилось в море, привычно одарив зрителей очередным фантастическим зрелищем.

Сразу после заката строгие служители храма изгнали нас с храмовой территории, и мы возвратились в наш лагерь в маленьком городе Вулягмени, на полпути между Сунио и Афинами. Интересно, что в городе Вулягмени невозможно отыскать признаков уже упомянутого экономического кризиса: горожане живут в роскошных виллах, разъезжают на дорогих заморских колесницах, играют в странную игру гольф на прекрасных травяных кортах, а вечером заполняют

роскошные таверны; у нас было чувство, что мы разбили свой лагерь не на заброшенной окраине бедных Афин, а в самом центре царстве Креза. По-видимому, жители Вулягмени все

еще продолжают разработки серебряных рудников в секретных, им одним известным местах.

Следующий пункт нашего визита был выбран единодушно: конечно же, нам следовало посетить нашу историческую родину, Микены, центр нашей микенской цивилизации в период ее расцвета.



Древний город Микены — центр власти в 1300-1100 годы до н.э. (поздний Бронзовый Век).

Расположен на высоком холме, защищенном знаменитой Стеной Циклопов (только Циклопы могли воздвигнуть стену из таких огромных валунов). Руины древнего города раскопаны Генрихом Шлиманом-открывателем Трои.

Именно здесь родились герои Троянской войны, два брата, — Агамемнон, знаменитый воин, и Менелай, супруг самой красивой женщины в мире. Именно отсюда отправился Агамемнон в Трою и, на свою беду, задержавшись в длительной командировке, был убит супругой Клитемнестрой и ее любовником по возвращении домой. Именно в этом месте Орест совершил непростительный поступок по отношению к маме Клитемнестре, за что и был сурово наказан фуриями. Надо сказать, что многие поколения греков очень долго не верили в существование нашей цивилизации, пока, наконец, Генрих Шлиман не раскопал в 19 веке знаменитые теперь места захоронений в Микенах и не доказал всем, что эпос Гомера основан на реальных фактах нашей истории! Мы посетили также раскопанные позднее Верхний город в Микенах, так называемую гробницу Агамемнона и интересный музей, в котором среди прочего экспонировалась золотая "маска Агамемнона".



Золотая погребальная маска, по Шлиману — маска Агамемнона. Согласно ученым, маска сделана в между 1550 и 1500 годами до н.э., до традиционной даты рождения Агамемнона. Оригинал хранится в Археологическом музее Афин.

Однако, поскольку многим из нас доводилось лично встречаться с героем, мы с уверенностью можем утверждать, что эта маска не имела ничего общего с Агамемноном, так же, как и гробница, названная его именем. Так что, в отличие от бессмертных творений нашего великого Гомера, позднейшие мифы правдиво историю не описывают.

Неподалеку от Микен находится поселение Эпидаврос, известное храмом Эскулапу и открытым театром с замечательной акустикой. Конечно же, мы посетили и Эпидаврос, ведь у некоторых из нас еще свежи были сентиментальные воспоминания о наших визитах к доктору Эскулапу, о долгих ожиданиях на прием к доктору, начинающихся с омовения в священных источниках, продолжающихся длительной диетой и оканчивающихся ночевкой в специальном общежитии без удобств. Ко времени приема у доктора большинство наших болезней как-то сами по себе исчезали, и мы покидали врачебное заведение очень довольные собой и доктором. Замечательный театр Эпидавроса, согласно историку и путешественнику Пусениусу, превосходил по красоте и гармонии все театры Греции, а в его великолепной акустике мы убедились сами: с самого высокого яруса огромного театра были хорошо слышны голоса самодеятельных исполнителей без микрофона.



Театр Эпидаврос: голоса певцов без микрофонов в центре сцены слышны на самых верхних ярусах.

К сожалению, песни были нам незнакомы: одна из них начиналась словами: "Не слышны в саду даже шорохи" и, по-видимому, посвящалась похищению

Афинский марафон, или новые приключения аргонавтов

прекрасной Елены троянскими агентами, а другая называлась "God, Bless America", но никто из нас никогда не посещал в наших странствиях государства с таким странным названием. Нашим спортсменам олимпийцам, братьям Диоскурам, интересным также показался прямоугольный стадион для соревнований колесниц.

По дороге домой мы проехали через город Коринф и с изумлением и восторгом увидели канал, соединяющий Ионическое и Эгейское моря.



Коринфский Канал, соединяет Ионическое и Эгейское моря. Шедевр инженерного мастерства 19 века. Построен в 1881-1893 годах по проекту венгерских инженеров Тюра и Герстера.

Как опытные мореходы, мы в полной мере могли оценить пользу этого замечательного сооружения.

Завершить наше путешествие, по старинной традиции, конечно же, следовало посещением знаменитого Дельфийского оракула.

По дороге наша повозка пересекла знаменитое скрещение трех дорог, где Эдип случайно убил своего отца, царя Лаэса, что положило начало целому ряду несчастий, впоследствии описанных многими поэтами и прозаиками и даже использованными для теории психоанализа.



Перекресток трех дорог – место, где Эдип встретил своего отца: начало и причина целой цепи трагических событий. Гора Парнас на дальнем фоне.

А причиной был, всего-навсего, типичный случай дорожного конфликта и отсутствие простого до-

рожного знака "Уступи дорогу".

Нам очень понравилась необычайно живописно расположенная в горах Парнаса симпатичная деревушка Арахова; своим процветанием, в отличие от серебряных рудников Вуягмени, Арахова обязана горнолыжным курортам; как-никак, Парнас – вторая после Олимпа по высоте гора в Греции.

Место обитания оракула нам было хорошо знакомо: в наши микенские времена здесь был небольшой город, в котором находился оракул по имени Гая. Позднее, в 8-ом веке до н.э., в Дельфи установился культ Аполлона, и Дельфийский оракул храма Аполлона стал самым популярным в мире прорицалищем. (Как нам объяснили так называемые ученые, Дельфийский оракул был обязан своим происхождением простой трещине в земной коре, благодаря которой образовался Кастальский сероводородный источник, и запах серы приводил посетителей в состояние транса. Но, конечно, мы им не верим, поскольку на Арго у нас был свой собственный встроенный оракул – навигатор, подарок богини Афины, и он дал нам много полезных советов во время странствий без всякой химической помощи.

Специально отобранная женщина, Пифия, раз в месяц приходила омыться в источнике и подышать сероводородом, после чего она курила травку, жевала листья лавра и запивала все это водой из источника. Прием посетителей начинался, когда жрецы решали, что Пифия достигла необходимой степени экстаза. Пророчества Пифии всегда были довольно туманные и абсолютно невразумительные, так что жрецам приходилось переводить их на доступный язык. Но даже и после перевода пророчества не были однозначными, и посетителям рекомендовалось применять свой собственный здравый смысл перед началом каких-либо акции. Для этого на фронте храма Аполлона были написаны важные юридические оговорки: «познай самого себя» и «ничего сверх меры». К сожалению, не все клиенты следовали юридическим оговоркам на фронте: царь Лидии Крез, например, очень хотел узнать, следует ли ему начать превентивную войну с персидским соседом через реку Халис, царем Киросом, и получил от оракула прямой и однозначный ответ: "Если перейдешь реку Халис, разрушишь великое царство". Крез так и сделал: перешел реку и атаковал персов и, в результате, действительно разрушил великое царство, но свое собственное... Гораздо лучше работала стратегия разумного управления предсказаниями Оракула. Например, между 490 и 480 годами до н.э. главный стратег победы эллинского флота в битве при Саламисе, афинянин Термистоколос, безуспешно пытался убедить своих сограждан в необходимости постройки собственного мощного военного флота для противостояния персидской агрессии. Видя полную безнадежность своих попыток, Термистоколос послал гонцов в Дельфи, надеясь на поддержку авторитетного

оракула. Но оракул дал предсказание, совершенно не соответствующее намерениям Термостокола: "Всем покинуть Афины и спастись от персов, кто как может". Термостокола такое пророчество не устроило, и он велел послам получить более подходящий ответ. Послы записались в длинную очередь на прием к оракулу во второй раз и получили новое пророчество, казалось бы, ничем не лучше первого: "Афиняне должны строить деревянную стену". Но этот ответ неожиданно Термостоколу понравился, и на демократическом форуме в Афинах он объяснил, что оракул его идею построения флота поддерживает, а "деревянная стена" означает не что иное, как надежный флот деревянных кораблей. Конечно, спорить с оракулом никто не решился, и флот, впоследствии разгромивший персов в битве при Саламисе, был построен.



Сокровищница Афин: приношение афинян богу Аполлону в честь победы в битве Саламис в 480 году до н.э. Гонорар за хороший совет "строить деревянную стену". Сокровищница Дельфы исполняла роль Центрального Банка древней Греции.

Вот другой исторический факт: будущий великий полководец Александр Македонский прибыл на свидание с оракулом, чтобы спросить, стоит ли ему начинать поход против персов. Дело, к несчастью, происходило зимой, и оракул был закрыт на зимние каникулы. Но вместо того, чтобы ждать полгода, Александр разыскал Пифию в ее доме и силой потащил к храму. Бедная Пифия неожиданно, на довольно понятном языке, сообщила: "Ого-го, перед этим типом ничего не устоит!" Александр немедленно отпустил Пифию, сказав, что жрецов можно не

беспокоить: перевод не требуется и предсказание его вполне устраивает, после чего и отправился в знаменитый поход на персов.

Древний город Дельфи был заменен не только храмом Аполлону, но также святилищем Афины с необычной архитектуры круглым зданием Толос,— сокровищницей Афины, по сути, казной города-государства, а также театром, многочисленными древнегреческими и римскими скульптурами. К сожалению, нашим глазам предстали только руины великолепных строений, но мы прошли весь традиционный Священный путь, начинающийся сразу после прохода через главные ворота в древний Дельфи. Как оказалось, не все аргонавты следовали за нашим экскурсионным гидом. На обратном пути мы нашли сладкозвучного Орфея, который не мог оторвать взгляда от развалин храма покровителя искусств Аполлона на фоне горы Парнас, обиталища муз. Интересно, что гора Парнас представляет собой очень длинный хребет, причем степень трудности подъема на нее зависит от выбранного маршрута и варьируется от относительно простых некатегорийных подъемов до маршрутов высшей степени сложности, доступной только скалолазам высокого класса. Наш Орфей был как раз погружен в размышления о том, что на горе Парнас есть место многим служителям муз, но каждый артист, поэт, или художник выбирает для подъема на Парнас свою собственную категорию трудности.

Разумеется, у нас тоже было очень много вопросов к оракулу: поднимутся ли акции Арго на бирже, улучшатся ли условия для устройства на работу аргонавтов, надо ли строить новый дворец, но, поскольку Оракул отвечает только на один вопрос, мы задали ему главный: "Вернемся ли мы еще раз в Грецию?" Оракул ответил кратко и невразумительно, в своем стиле: "Спроси жену". Пророчества мы не поняли, но, на всякий случай, вернулись в афинский район Плака и сделали женам очень ценные жертвоприношения.



Инна Трегуб

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

*Светлой памяти моей матери
посвящается.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Примерно в третьем классе я начала вести дневник и продолжала его с относительной периодичностью до двадцати трех лет. Собралось более десяти тетрадок, охвативших мои школьные и университетские годы. Уезжая в Израиль, я оставила их как лишний груз, о чем теперь очень жалею. Лучше бы я сэкономила на простынях.

Об этих дневниках я не вспоминала до недавней маминной смерти. Пока мама жила, мое детство и молодость были со мной. Теперь они ушли навсегда. И мне очень бы хотелось перечитать те неразумные, девочкой написанные тетрадки и вспомнить родителей, бабушку и далекий киевский дом.

Я почти ничего не помню из детства. Более поздние и драматические события стёрли его из памяти. Но еще ярки воспоминания о наших первых нелёгких годах в Америке. И вот я пишу о них, надеясь, что когда-нибудь и у моего сына появится желание мысленно перенестись в далекие дни, когда родители, еще молодые и дерзкие, таскали его по разным странам и городам, в поисках земли обетованной.

ИЗ РОССИИ С ТАЛАНТОМ

«Угроздило же меня с моим умом и талантом родиться в России», — любил повторять друг моей юности, цитируя, не совсем точно, Первого поэта. Таковы были сантименты моего окружения. Нам было неуютно из-за идеологической неволи, невозможности выбирать, думать, работать, путешествовать. Постепенно люди “созревали” и эмигрировали. Если человек решался пройти долгий унижительный процесс исключения из коллектива, комсомола, профсоюза, увольнения с работы, общественного порицания и смешивания с грязью, принять риск “отказа”, значит время пришло. Часто этому способствовал какой-нибудь толчок: например, наша юная соседка, подняла и вывезла всю семью, когда ее, отличницу и умницу, завалили на вступительных экзаменах в строительный институт. Кому-то “перекрыли кислород” на работе, у кого-то провалили диссертацию, — многое могло в те годы послужить последней каплей. Но

для меня переломный момент долго не наступал.

Конечно, из-за своей национальности я не могла и мечтать о мединституте или биологическом факультете, где бы хотела учиться. Однако мне не пришлось корпеть над кульманом в строительном институте или ехать поступать в глубинку: благодаря семейным связям меня приняли на химический факультет университета, и мне там очень нравилось.

Конечно, я не надеялась поступить в аспирантуру, но благодаря заслугам моей семьи в развитии отечественной физической химии, мне удалось распределиться в институт, о котором я была наслышана с детства от бабушки и куда мне больше всего хотелось. А диссертацию я сделала там и без аспирантуры.

Конечно, вопрос жилья и быта стоял очень остро, но дедушка, воспользовавшись старыми связями, сумел прописать меня в своей чудесной трехкомнатной квартире.

Конечно, я не выносила демагогии и беззакония, царивших повсюду, но я была так привязана к Киеву, друзьям, была так увлечена работой. И все, кого я любила, были рядом со мной.

Равновесие нарушилось, когда родился сын. Я не могла допустить, чтобы его жизнь, как и моя, зависела от хорошего настроения правильных людей. Да и бабушка вряд ли уже смогла бы ему помочь. Сын заслуживал лучшей жизни. И все, что так долго тлело, зажглось. Моя пассивная хроническая неприязнь к стране, где я жила, начала переходить в активную острую форму. Уже ничто там не радовало. Друзья разъезжались, интересную работу заменила скучная хозтема, ребенок непрерывно болел, а врача и лекарства трудно было заполучить даже за деньги. Последнюю точку над “и” поставил Чернобыль, показав, что и Киев я не должна принимать как должное. Опустевший, зараженный радиацией любимый город, полгода скитаний с крошечным ребенком по чужим городам, ложь и жестокость, окружавшие нас тогда на всех уровнях, переполнили чашу терпения, сделав эмиграцию главной задачей последующих лет. «В Америку!», как чеховское «В Москву!», стало их лейтмотивом. Но что знала я в те годы о стране, куда так фанатически стремилась?

«В АМЕРИКУ!..»

Можно сказать, что мои знания о жизни за рубежом вообще и в Соединенных Штатах в частности черпались из нескольких независимых источников.

Прежде всего, это была советская официальная пропаганда, которую следовало понимать наоборот. Например, если журналист Иона Андронов публиковал один за другим репортажи о жизни бездомных под мостами Нью-Йорка, надо было сделать вывод, что в Нью-Йорке отсутствовали бездомные. (В наличии там мостов мы все-таки не сомневались, но неизвестно, подходили ли к ним, готовя репортажи, советский официальный журналист).

Вторым источником информации были письма от людей, уехавших в конце 70-х, когда ненадолго приподнялся железный занавес, и осевших в Бруклине или Лос-Анджелесе. Люди осваивались в новой жизни, переучивались, меняли навязанную антисемитизмом нелюбимую специальность, находили работу, ездили отдыхать в Мексику и на Гавайские острова. Они были счастливы и улыбались с фотографий на фоне собственных фордов или даже собственных домов. Вопрос о том, какой ценой достигалось благополучие, и что приносилось в жертву, казался незачем. Иногда, впрочем, в письмах попадалась озадачивавшая меня информация. Так, один родственник, незадолго до отъезда защитивший диссертацию в отраслевом институте и очень этим гордившийся, писал, что «кандидатский диплом надо скрывать, как членство в партии». Я посмеялась хорошей шутке, ни на минуту не задав себе вопрос, а готова ли я отказаться от кандидатского диплома.

И, наконец, литература. Это был мой «глоток свободы». Наши журналы иногда публиковали переводы знаменитых писателей: Уайллера, Мердок, Фолкнера, Апдайка. Там я открыла для себя Джона Стейнбека. Правда, я могла бы это сделать гораздо раньше, поскольку роман «Гроздь гнева» был давно напечатан и даже рекомендован мне для внеклассного чтения. Но это и послужило причиной того, что я так никогда и не прочла роман «Гроздь гнева», ну что хорошего могло порекомендовать мне Министерство освіти? Тем не менее своего любимого Стейнбека я узнала, прочитав в журнале «Новый Мир» рассказ «Заблудившийся автобус». Действие рассказа разворачивалось в районе города Салинос в 50-е годы.

Наводнением на реке смыло мост, и маршрутному автобусу, уже покинувшему отправной пункт, приходится искать обходную дорогу. На этом фоне происходит вынужденное знакомство пассажиров автобуса: бизнесмена с женой и дочерью, официанта станционного буфета, проститутки. Этот, далеко не романтический рассказ, был весь пронизан для меня романтикой. Я готова была, не

глядя, поменяться судьбой с любым из персонажей, я им завидовала. Ну что же. Последние годы я живу в Сан-Хосе и, если мне приходится проезжать хоть и симпатичный, но небольшой и не слишком богатый культурой Салинос, я неизменно вспоминаю «Заблудившийся автобус». Молодой дурочке, читавшей журнал, лежа на диване в теплой и уютной киевской квартире, в Салиносе, скорее всего, не понравилось бы.

ВЫБОР

В конце концов я, наверное, так надоела своему ангелу-хранителю, что он отправил меня даже не в замечательный теплый калифорнийский Салинос, а прямоком в глубинку одноэтажной Америки, Knoxville, штат Tennessee. Причем не из родного Киева, а только через пять лет, из Германии, где в 1993-1994 годах мы жили с израильскими паспортами и работали в университетах на гранты.

Германия нас разбаловала. Там было спокойно, уютно, сытно и очень комфортно. После нее уже не хотелось возвращаться в невротический, так и не ставший нам своим, Израиль. Однако получить права на постоянное жительство в Германии мы не пытались. Это было невероятно сложно и чревато потерей наших временных работ. К тому же мы стремились в Америку, страну обетованную, где всем живется, как в раю, и куда мы когда-то опоздали. В нашей ситуации попасть в американский рай легче всего было через университет. Как известно, в Америке много университетов, в них работает много профессоров, которые пишут статьи и гранты, а для того, чтобы их идеи воплощались в жизнь, нужна дешевая, но хорошо образованная рабочая сила, молодые ученые из Китая, Индии, России и всех других стран мира. Нам просто не терпелось пополнить их ряды, а потом и остаться в Америке навсегда. Мы раздавали свои *vita* на конференциях, посылали их знакомым ученым и тем, кого знали только по публикациям. Мы надеялись, что оказавшись в Новом Свете, наши резюме будут плодотворны и размножаться и найдут для нас хоть какую-нибудь работу. Так и получилось. В середине лета 1994 года муж получил сразу два приглашения: из университетов Теннесси и Делавара. Выбрать между ними было непросто.

За Ноксвилл агитировал знакомый московский профессор, бывавший там и покоренный низкими ценами одноэтажной Америки. Мы не подумали тогда, что дешевая жизнь может быть результатом высокой безработицы.

Делавар нам советовал израильский начальник мужа, профессор Иерусалимского Университета. «Делавар, — это ДюПонт», — сказал он замечательную фразу, к которой нам бы следовало прислушаться. И не только ДюПонт был в Делаваре, а и другие компании, в которых не боялись принимать на работу

иностранцев, оформлять им рабочие визы и гринкарты. Правда имелась одна загвоздка. Оказалось, что через полгода после начала работы в Делаваре, вся группа переезжала в далекий город Сан Диего, и работа должна была продолжаться уже там. Это нам не понравилось, мы опасались землетрясений. (За несколько месяцев до этого мои родственники в Лос-Анджелесе пережили сильное землетрясение и были очень напуганы).

Только очень далекий от американской реальности и лишенный элементарного здравого смысла человек мог из этих двух вариантов выбрать работу в Теннесси. Но мы с мужем как раз и были такими самоуверенными невеждами, и выбрали одноэтажную Америку.

Хорошо было, пока готовились документы, оформлялись визы. К сожалению, это произошло гораздо быстрее, чем мне хотелось бы. Мне совсем не хотелось никуда уезжать из Германии. Жалко было оставлять работу, друзей, красивый город Ульм, уже ставшую привычной жизнь.

Стояла теплая погода начала октября, бабье лето. Я в последний раз прошла по старинным мостовым, устланным желтыми листьями, по набережной канала, мимо стилизованной мельницы, в университетском парке подобрала на память несколько каштанов, потом поела пирожные в любимой булочной. Мной овладела знакомая тоска: так я когда-то прощалась с Киевом, потом с Израилем, теперь с Ульмом, господи, ну сколько еще мне так скитаться? Меня не покидало чувство, что в Земле Обетованной жизнь не будет легкой. Так и случилось.

ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА

В Ноксвиле, и правда, цены были смехотворные. За двухкомнатную меблированную квартиру мы платили университету 260 долларов в месяц. Наши бараки располагались не в лучшей части города.

Рядом проходила шумная трасса, Чэпмэн хайвэй. Это была грязная и унылая серая автострада без тротуаров или пешеходных дорожек. По обеим ее сторонам располагались свалки, дилерские по продаже разбитых машин, магазины уцененных товаров. Поближе к центру города одна за другой выстроились разнообразные баптистские церкви. Улица заканчивалась в Down Town, где красовалось несколько невысоких небоскребов.

Поскольку общественный транспорт отсутствовал, мы, наконец-то, купили первую в нашей жизни машину. Получить водительские права в Ноксвиле оказалось на удивление легко, достаточно было несколько раз потренироваться с друзьями.

Окружавшие нас люди были хоть и не слишком образованные, но приветливые; бедные, но честные; двери в домах не запирались. К сыну в новой школе отнеслись очень тепло. Из полученного нами

информационного письма следовало, что в Dogwood Elementary в том году учились иностранцы из России, Израиля, Германии и Вьетнама. На самом деле, в Dogwood Elementary какими-то судьбами занесло вьетнамца, а все остальные страны единолично представлял наш сын. Школа была очень бедная, практически все дети имели право на бесплатные завтраки, а основным источником существования их семей был Welfare. (Исключение составляли мы и семья, владевшая бизнесом по продаже поддержанных машин). Учился сын очень легко, уже через несколько месяцев сумел выиграть в своей школе соревнования по правописанию (Spelling bee). Я очень восхищалась способностями сына, но отдавала себе отчет, что достижению такого успеха сильно способствовал невысокий уровень школы.

Чтобы сохранять национальные корни, мы записали сына в Junior congregation и Hebrew school при единственной в Ноксвиле синагоге, называвшейся «Хезка Омуна», расположенной в более зажиточной, престижной части города. «Хезка Омуна» оказалась ортодоксальной, чопорной и очень состоятельной конгрегацией, и нам не было там комфортно. Мешали недостаточно хороший английский, незнание американского образа жизни, а главное – наша бедность и неустроенность.

Позже мы узнали, что для менее ортодоксальных и богатых имелась другая конгрегация, расположенная в близлежащем научном городе Окридж (Oak Ridge), обслуживавшем Национальную Лабораторию (ORNL). Возглавлявший ее русскоговорящий раввин, Виктор Р., в первой жизни работал сценаристом на Мосфильме. В Америке окончил ешиву, стажировался в Израиле и по возвращении получил позицию в реформистской конгрегации ученых ORNL. Это был незаурядный человек и нестандартный раввин, недаром конгрегация, состоявшая из ученых и инженеров замечательной лаборатории, выбрала его своим лидером. В конгрегации состояло и несколько русскоязычных семей.

С самого момента нашего знакомства Виктор стал моей поддержкой и моим первым тренером по жизни. Он говорил, что в Америке для всех есть место под солнцем, только нельзя сдаваться, и в подтверждение рассказывал про Океанографа. Оказывается, несколько лет назад причудой судьбы в Окридж занесло бывшего сотрудника какого-то советского Института Океанографии. В окруженном сушей Теннесси шансы найти работу по такой специальности были ничтожны. По всем законам разума Океанографу следовало переучиться в программиста или бухгалтера. Но неразумный Океанограф не желал переучиваться и продолжал упрямо искать работу по своей экзотической специальности.

А в это самое время какой-то серьезной компании неподалеку для какого-то очень важного

проекта вдруг смертельно понадобился океанограф. Компания начала поиски, но откуда мог взяться океанограф в далеком от океана штате. Конечно же, компания никого не нашла, почти совсем загубила важный проект, и вдруг, о радость, в отделе кадров получили резюме нашего Океанографа. Разумеется, Океанограф был немедленно принят на работу и переехал в соседний город, так что мы его не встретили. Мораль гласила, что, если не сдаваться и бить в одну точку, обязательно придет успех.

И вот я проводила дни за днями в поисках работы. Изучала газету с объявлениями, рассылала резюме, звонила, заводила контакты. Однако проходили недели и месяцы, а успех Океанографа меня не посещал. Мешали визовый статус, неамериканское образование, экономический кризис и, конечно, то, что в Ноксвиле и окрестностях просто было очень мало потенциальных работодателей: только один университет и очень немного компаний, а те, что имелись, находились в плачевном состоянии. Не зная, чем себя занять, я страдала от недостатка денег, хорошей еды, культуры, от обилия церквей и простоты.

Один знакомый профессор из сострадания позволили мне поработать волонтером у него в группе. К сожалению, работы не получилось. Слишком далека была тематика, чтобы я могла сразу функционировать самостоятельно. Слишком заняты были сотрудники, чтобы заниматься моим обучением. Слишком тяжелая атмосфера была в этой лаборатории. Меня там потрясла и сильно растроила система отношений профессор – подчиненный (лаборант, студент, докторант, или постдокторант). Ближе всего для нее подходит слово «рабство». Конечно, это не было классическим рабством из «Хижины дяди Тома», упраздненным после Гражданской войны. Однако отношения строились на принципе «Я хозяин, ты дурак», а работать надлежало 24/7 без выходных. После Европы, где докторант и постдокторант пользуются большим уважением и свободой как младшие коллеги, видеть это было очень тяжело.

Обстановка в лаборатории мужа была еще непригляднее. Там царила страшная бедность, не было не только необходимого оборудования, а элементарных колб, пробирок и аналитических весов. Даже наши студенческие лаборатории в КГУ, где проходили практические занятия, были лучше оснащены. А проект был очень амбициозным: надо было вырастить мономолекулярные кристаллы, охарактеризовать, а на последующих стадиях

испытать в условиях невесомости в космосе, если на это будет выделено дополнительное финансирование. Проект казался изначально мертворожденным, невыполнимым, особенно без необходимого оборудования, и никому особенно не нужным. Мы сомневались, что NASA выделит деньги на его продолжение. В этой ситуации разговоры о гринкарте были бессмысленны. Мы честно признались себе, что совершили ошибку, приехав в Ноксвил, и муж обратился к профессору из Делавэра с вопросом, открыта ли еще позиция в его группе.

Ответ пришел быстро и уже из Сан-Диего, куда переехал профессор. Вакансия была. Мужу предложили работу в University of California. Более того, в той же группе была работа и для меня! Америка давала нам второй шанс. Однако теперь воспользоваться появившейся возможностью было гораздо труднее, чем до приезда в Ноксвил. Проблема состояла в нашем визовом статусе. Для тех, кто никогда с этим не сталкивался, будет интересно узнать, что приехавший по «J» визе ученый, не имеет права просто уволиться из одного университета и поступить в другой. Чтобы поменять визу, он должен покинуть страну. Однако, если первый университет не возражает, он может разрешить перевод, и визу менять не надо. Чаще всего такие ситуации разрешаются полюбовно, но, к сожалению, в университете Теннесси «Юрьев день» не соблюдался, поэтому за открепление пришлось бороться. С большим трудом и не сразу, но мы добились перевода и немедленно покинули Ноксвил. Всю дорогу до аэропорта я нервничала, боялась, что что-нибудь нас задержит. Но погода была хорошая, трасса свободная, и самолет улетел по расписанию. Наверное, мой ангел-хранитель решил, что мы успешно прошли испытательный срок в Америке.

В Сан Диего светило солнце, город поразил меня красотой и уютом, а в аэропорту нас встречали моя сестра с мужем, приехавшие из Лос-Анджелеса. Там же, в Лос-Анджелесе, уже несколько лет жили мои родители и бабушка; через пять лет мы снова оказались рядом. И я, наконец, расслабилась и поверила, что отныне все будет хорошо.

Действительно, за год в Сан Диего нам удалось сделать все, что не получалось в Теннесси: мы получили гринкарты и нашли работы в неплохих компаниях. Мудрый раввин Виктор оказался прав: если не сдаваться и бороться, принцип Океанографа обязательно придет в действие. Постепенно он начал работать и для нас.

Инна Трегуб БУХГАЛТЕРИЯ СЧАСТЬЯ

В Америке мне впервые объяснили, что надо делать с деньгами. (Наверное, раньше эта проблема не возникала). Оказывается, деньги надо вкладывать в финансовое *портфолио*, где есть место и для акций, и для облигаций, и для недвижимости. Чем лучше сбалансировано портфолио, тем более комфортно и надежно мы устроены. Теме финансового баланса посвящены многочисленные книги и статьи, проводятся классы и семинары.

Гораздо меньше учебных пособий посвящено сбалансированию жизненного портфолио, хотя оно не менее, а, пожалуй, даже более важно для человеческого счастья, чем финансовое.

Например, мое счастье основано на выполнении сразу нескольких условий: благополучие ребенка, здоровый климат в семье, счастливая личная жизнь и интересная работа. К этому еще можно добавить несколько хороших друзей. Когда все в наличии, я могу в буквальном смысле перевернуть горы, перелопатить невероятное количество разных дел. И люди ко мне тянутся, появляются друзья новые, возвращаются старые, каждый день заполнен до отказа. И на работе все ладится, получается интересный эксперимент или сложный продукт, а с начальством устанавливаются теплые душевные отношения.

Но были в моей жизни периоды, когда утром не хотелось просыпаться, потому что жизнь не приносила радости. Обычно это происходило, когда пропадала одна из составляющих моего жизненного баланса. Чужая страна, отъезд ребенка в университет, потеря работы, по очереди являлись тому причиной. Расскажу по порядку.

В молодости основу баланса для меня составляли мой чудесный сын, хорошая семья, интересная научная работа, подготовка диссертации. Я родилась в семье ученых, где женщины (мои бабушка и мама) не просто трудились в науке, ей они служили. Поэтому я не видела для себя иной перспективы, чем служение науке.

При любой занятости, однако, всегда находилось время для друзей. Каждую субботу я пекла пирог, вечером приходили гости. Правда, иногда не хватало времени на сон, но разве мы его считали в те годы! Подобный жизненный баланс я смогла себе создать и эмигрировав в Израиль, где я очень быстро поступила в постдокторантуру в Институт Вейцмана. Новая интересная работа, новый мир, новые друзья. Грусть или ностальгия иногда подступали, особенно, в сезон дождей, но долго не задерживались, ведь столько надо было успеть сделать.

Когда мой муж получил престижную стипендию в Ульмском университете в Германии, и мы решили поехать туда на год или на два, я немедленно тоже попыталась получить научную стипендию там же, но мне отказали. Я не надеялась найти научную (или любую) работу в Германии, это не удавалось никому, поэтому вскоре начала волонтерствовать в университете, продолжая начатую в Израиле тематику. Дальше произошло невероятное:

меня наняли на зарплату и все подобающие сотруднику университета льготы. Это было настолько удивительно, что я даже приобрела некоторую известность среди жен местных стипендиатов, как “та, которая нашла работу”. Я очень уважала себя за то, что во время разговора о том, где можно купить дешевые сосиски, невольно начинала думать о новом результате и о будущем эксперименте. Мне очень нравилось в Ульме: после нервного Израиля там было спокойно, уютно, вкусно и красиво. С двумя доходами о сосисках можно было не беспокоиться. И друзей мы встретили там удивительных, на всю жизнь. А Париж находился только в нескольких часах езды.

Как давно это было, и как резко все оборвалось. В октябре 1994 наша семья, вооружившись “J” визой отправилась покорять Америку. У мужа был сомнительный контракт с University of Tennessee, Knoxville, у меня ничего, кроме гипотетического права на работу. Не слишком ли много мы ставили на карту?

Почему-то уезжая с мужем в Америку, я не сомневалась, что и там все пойдет как по маслу, легко и сразу: будут работа, деньги, новые дружбы. Но тут система дала сбой. Я не сумела найти даже волонтерской работы и баланс в моей жизни был безнадежно утрачен.

Убогий бюджет определял наш убогий быт. Десять месяцев я без остановки рассылала резюме, но никому не были там интересны ни я, ни мои знания, ни мои научные разработки. На науке, похоже, можно было поставить крест, а ведь она была важным компонентом моей жизни. Сразу пропали самоуважение и оптимизм. По утрам я отвозила сына в школу, возвращалась в сырую и холодную съемную квартиру и плакала от бессилия. Как в дурном сне прошел почти год, о котором я теперь не люблю вспоминать, да и вспомнить особенно нечего.

Жаль, что в то время Life Coaching еще только зарождался, и я о нем ничего не знала. Думаю, что имея хорошего тренера, я многие вещи перенесла бы легче. Не уверена, что он бы помог найти работу, но избежать депрессии и придумать какое-либо занятие помог бы наверняка.

Но, наконец, судьба опять улыбнулась: мы переехали в Сан Диего. Найти работу в Калифорнии оказалось гораздо легче. Жизнь начала набирать обороты. К сожалению, в Теннесси было потеряно драгоценное время, и мне так и не удалось вернуться в научно-исследовательскую среду. Эта ампутация еще долго давала себя знать. Работа в промышленности не приносила мне большого удовлетворения, я воспринимала ее лишь как способ зарабатывать деньги. Но она помогла мне восстановить самоуважение и общественный статус, что тоже было немало.

Через четыре года я попала под сокращение. Для меня, привыкшей «ходить в упряжке», опять настали трудные времена. Выходное пособие включало несколько оплаченных консультаций у профессионалов, обучавших правильно искать новую работу. Под их влиянием я сделала распространенную ошибку – приковала себя к компьютеру и испытывала

угрызения совести за каждый час, проведенный вдали от моих резюме. Я их редактировала, улучшала и шлифовала, распечатывала на гербовой бумаге и рассылала пачками «в никуда». Большинство исчезало в черных дырах. Изредко приходили отказы. Очень быстро я превратилась в немолодое, вечно брюзжащее создание, обиженное на весь мир. Не могу сказать, что полученные знания были бесполезны, я передаю их, уже обновленные, своим клиентам. Но на горьком опыте я еще раз убедилась в том, что в период вынужденного простоя в жизни особенно необходим баланс. Поэтому советую посвящать поиску работы не более 3-4 часов в день, но делать это эффективно, а остальное время использовать на то, что давно хотелось, но руки не доходили (рукоделие, ремонт, занятия спортом, создание бизнеса). Я свято верю, что самое главное в этот тяжелый период – сохранить жизнелюбие и бодрость духа. И если это не получается, стоит обратиться к тренеру по жизни.

И, наконец, отъезд сына в колледж. Этого дня я боялась невероятно, поскольку незаметно ухитрилась присосаться к его богатой событиями жизни и заменить ею свою собственную, скучную трудовую. Из дня в день я спешила с работы, чтобы вовремя забрать его с тренировки и переместить в какой-нибудь кружок, репетицию, церемонию и что-нибудь еще. Так жили многие женщины, матери одноклассников моего сына. У большинства даже не было собственной работы. Пока мужья работали, жены предпочитали помогать в школе, где учились дети. Когда-нибудь это должно было больно по ним ударить. Мне хотелось спросить, что они предполагают делать, когда самые младшие сын или дочь окончат школу и уедут в университет, скорее всего на Восточном побережье? Чем заполнят пустоту?

А пока на смену соревнованиям по cross-country осенью приходило академическое многоборье зимой, а весну ознаменовывал track-and-field. Я старалась не пропустить ничего. Окончание сезона обязательно сопровождалось церемонией награждения и немедленно надо было ехать на следующее мероприятие. Говорят, университеты любят многогранность и разнообразие. Если так, мой сын идеально должен был им подойти.

Так незаметно пролетели его средние и старшие классы. Подошло время для поступления, рассылки аттестатов в университеты. Его приняли многие хорошие американские ВУЗы, и мы начали ездить из кампуса в кампус, знакомиться, выбирать. Благодаря сыну я увидела изнутри MIT и Yale, лучшие учебные заведения Америки, испытала невероятную гордость за моего ребенка, эмигранта в первом поколении, который был сюда принят. Заключительным аккордом той весны явилась полная стипендия в Cal Berkeley, выбор был сделан.

Занятия в Berkeley начинаются рано, в начале августа, и вот я осталась одна в опустевшем доме в Лос Анджелесе, где мы тогда жили. Муж в это время уже работал в Силиконовой долине, и составить мне компанию могла только престарелая морская свинка, которая со временем тоже меня покинула. При мне

осталась только моя собственная жизнь, которую надо было строить заново. Жаль, что мне не с кем было обсудить, что и как делать дальше.

Вскоре я опять осталась без работы. В этот раз я решила использовать появившееся время и сделать то, что мне давно хотелось, – попробовать Life Coaching. Случай привел меня в CTI (Coaches Training Institute). Я записалась в класс, который объяснял, что делает Life Coach, какая разница между Life Coaching и психологией или просто дружеской жилеткой. Я очень увлеклась и за два года окончила всю программу и даже сделала сертификацию. К тому времени я уже давно нашла другую работу, так что второе образование получала «без отрыва от производства», для души. Через некоторое время я начала замечать, что моя жизнь изменилась, в каждой ее сфере появились глубина и качество. Работа стала приносить больше положительных эмоций, отношения с друзьями стали интереснее и перестали сводиться только к застольям, да и друзей прибавилось. В известной ситуации «Мы выбираем, нас выбирают...» явно возрос процент совпадений. Думаю, в результате программы я стала лучше понимать, что «мое», а где нужно сказать «нет», меньше робеть, легче доверять собственной интуиции.

Новое образование позволяет мне работать с людьми, а основная работа оставляет время на небольшое количество клиентов. Эта деятельность приносит удовлетворение другого рода, чем техническая работа. Она дает возможность коснуться чьих-то жизней, помочь, создает чувство востребованности. Особенно если люди благодарят, или возвращаются давние клиенты. Некоторые из них стали моими личными друзьями, и какие это замечательные друзья! Благодаря Life Coaching в моей жизни опять появился баланс, впрочем, нет, такой сбалансированной она никогда еще не была.

Мне нравится сравнивать жизненный баланс с финансовым. На собственном опыте я убедилась, что в жизни, как и в финансах, нельзя «складывать все яйца в одну корзину». Очень важно правильно сбалансировать такое жизненное портфолио, в котором будут и семья, и личная жизнь, и работа, и отдых, и любимые занятия. Чем лучше баланс, тем богаче и разностороннее жизнь. Как и финансовое, жизненное портфолио надо периодически пересматривать, добиваясь баланса в новых обстоятельствах. Ведь то, чего так хотелось в молодости, в зрелости нередко уже утратило остроту, появились новые ценности и другие интересы. При формировании финансового портфолио мы нередко обращаемся за помощью к профессиональному советнику. В жизни в роли такого советника выступает профессиональный Life Coach. Он видит то, что мы не всегда замечаем или не хотим замечать, он способен подсказать, поддержать, не позволить идти против принципов или разминаться на малое. Через несколько месяцев сотрудничества с таким тренером появляется привычка протягивать руку за звездами. Качество жизни улучшается астрономически. Так было со многими моими подопечными. Так было и со мной.



Рита Черкасская

БИЛЕТЫ В ОДНУ СТОРОНУ



*Посвящается моим родителям
Борису и Софии, которые прошли
этот путь со мной и продолжают
идти рядом.*

1992-й был интересным годом. По решению ООН он был назван Международным годом Космоса. Космические корабли Discovery, Columbia, Endeavour, Atlantis, Союз ТМ-14 и Союз ТМ-15 действительно *бороздили просторы вселенной*. Кроме того, этот год был високосным. Это придавало всем событиям особую значимость.

А мне, молодому специалисту-инженеру, было двадцать пять. Моя голова была забита никому не нужными знаниями. Громадную часть моего образования составляли история партии, научный коммунизм и, конечно, правила поведения в случае ядерной атаки. Кстати, курс НВП мне давался очень легко, в нём я видела стройность и порядок.

План жизни был известен: после института замужество, дети, работа. Потом, наверное, многолетние сражения за квартиру с совмещённым санузелом, очередь за мебелью. Иногда истинная радость по поводу приобретения нового пальто или заграничных туфель красиво звучащей и очень иностранной фирмы Саламандра.

И вот тогда мир вокруг меня рухнул. Всё менялось с непостижимой скоростью. Началась неуправляемая цепная реакция. Я совершенно не понимала, что происходит и что я могу делать в этом стремительном потоке событий.

Намного позже происходивший тогда процесс называли *крушение империи* и *исход*. Из Винницы – небольшого города на Украине – где я прожила все свои двадцать пять лет, уезжали все, кто мог. Знакомые, друзья, сослуживцы. У многих вдруг оказались еврейские корни, о которых уже несколько поколений старались не вспоминать. По Всесоюзной переписи населения 1990 года в Виннице проживало 15 тысяч евреев.

По Всеукраинской переписи населения 2001 года их осталось 1700.

Мне было страшно видеть обломки всего того, что казалось нерушимым, но ехать я всё

равно очень боялась. Однажды наступил момент, когда я поняла, что терять уже нечего. Уехали все друзья, все родственники. Все члены моей семьи собиравшись в дорогу.

Сработали годами растимые принципы солидарности, коллективизма и взаимовыручки. Кроме того, уезжающие как-то вдруг стали восприниматься в ореоле избранности и оказались теми, которым несказанно повезло. Это, конечно, наполняло моё сердце гордостью, но тем не менее я не представляла, куда я, собственно, еду и что меня ожидает.

У меня был билет только в одну сторону, на Запад, место назначения – Бостон, на расстоянии 7, 5 тысяч километров от Винницы.

Ровно через 500 лет после того, как Колумб поехал открывать Новый Свет, мы тоже поехали открывать свою Америку.

Новый мир строился постепенно. Понимание происходящего проступало, как проявляется изображение на фотографиях, становясь всё чётче и понятнее. Это оказалось увлекательным процессом. Новая жизнь преподносила удивительные сюрпризы. Я и не подозревала, что можно будет пойти учиться и при этом никого не заинтересуют мои паспортные данные. Благодаря этой возможности мне удалось наконец осуществить тайную и казавшуюся несбыточной мечту – навсегда забыть теоретические основы электроники, начертательную геометрию и релейную защиту, не говоря уже о сопромате. Кроме того, оказалось, что можно найти работу, вне зависимости от того, кем работает мой папа и с кем дружит моя мама. Потом можно будет эту работу много раз поменять и не испортить при этом трудовую книжку. Чудеса случались постоянно. Вот просто взять и снять квартиру, а хочешь – можно и другую. И размеры всех этих квартир всегда были больше 7 кв. метров.

Мой новый мир оказался совершенно другим, почти незнаваемым. Из всех моих представлений о будущей жизни в точности сбылась только одна деталь — совмещённый санузел.

Через 10 лет весь мир вокруг меня опять рухнул. Я опять уезжала. Уезжала от человека, который много лет был самым близким, с которым мы вместе прошли очень непростой путь. Он неожиданно и безжалостно меня предал. Я опятьехала на Запад, в Калифорнию, ещё на четыре тысячи километров удаляясь от того места, где родилась.

Я не хотела уезжать, я совершенно не представляла, как буду жить. Но я знала одно — это опять был билет в одну сторону.

И опять наступили годы строительства новой жизни. Это оказалось гораздо труднее, чем в первый раз. Нужно было научиться не только хорошо исполнять команды, но и постоянно принимать решения. Страшила ответственность за себя и за своих близких. Мне было так трудно научиться слушать советы, но всё-таки поступать, полагаясь только на себя.

Через некоторое время пришло второе дыхание. Оказалось, что можно научиться жить и в этом новом мире. И вдруг передо мной открылись возможности, о которых я только читала в юношеских книжках. Я познакомилась с интересными, достойными, талантливыми людьми. У меня появились настоящие друзья. Я училась сложному и прекрасному искусству общения. И опять, как на фотографии, начали проявляться новые детали. Я обнаружила, что люблю красить стены, лепить из глины, ходить по музеям, что не люблю оперу и арт-модерн, но замираю в восхищении в соборе Святого Петра в Ватикане. Это оказалось интереснейшим занятием — изучение своих способностей и интересов.

И ещё я узнала, что жизнь не обязательно должна быть постоянной борьбой за выживание, где нет права на ошибку, а вполне может быть просто радостным, захватывающим процессом.

Эти два билета похожи. Оба раза я не хотела ехать и абсолютно не представляла, что буду делать в новой жизни. Оба билета открыли мне совершенно новый мир, который оказался интереснее, содержательнее и значительнее предыдущего. И оба раза я не оглядывалась назад и ни на минуту не хотела вернуться обратно.





Галина Курляндчик

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

(Записки для своих)

*Если все, с чем нельзя смириться,
Сделать песней или рассказом, —
Перелитая в строгую форму
Боль от сердца отхлынет сразу...*

Маргарита Алигер

Жизнь на две страны, на два континента, на два мира приносит мне и радость встречи с близкими, и тяжесть разлуки, и неизбежную тревогу за родных, которые далеко и нуждаются в моей помощи, заботе и просто присутствии.

Неизбежно и сравнение этих двух культур, двух историй, двух правд. Я очень остро чувствую перемены в России, которые происходят в мое отсутствие. Приезжая туда, я совершенно забываю свою жизнь в Штатах. Волнуюсь за оставленного мужа, но жизнь в России настолько полна заботами и впечатлениями ежесекундно, что просто нет времени подумать, осмыслить и покопаться в себе. Возвращаясь же в Калифорнию, я места себе не нахожу от беспокойства, постоянного страха за родных и чувства вины перед ними.

И вот как-то случайно нашла для себя терапию, которая меня спасает: попробовала писать об увиденном и пережитом во время моих московских каникул.

АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО МОСКВА, 2010 ГОД

Аномалии в моей жизни в прошлом году возникли задолго до лета. Только слово «аномалия» появилось позже, уже в связи с необычайной летней жарой в Москве. А собственно «отклонения от нормы, от общей закономерности, неправильности», как толкует это слово толковый словарь, начались с больших волнений еще зимой.

ЧАСТЬ 1. ТРЕВОГИ И УТРАТЫ

ХОСПИС

У моей мамы умирала подруга, которую я знала всю жизнь. Звали ее Бэла Зиновьевна Гуревич. Своих детей у тети Бэлы не было, муж умер несколько лет назад, остальные родственники живут в Израиле.

Ближе нашей семьи для нее в Москве никого не было. Тетя Бэла оформила у нотариуса на мою дочь Катюшу, живущую в Москве, доверенность на свои похороны. Израильские родственники тети Бэлы приезжать не собирались, а обещали прислать адвоката за наследством. Моя девочка, конечно, несмотря на огромную занятость, отказаться не могла, она же знала тетю Бэлу с детства.

Буквально через несколько недель после посещения нотариуса тете Бэле стало плохо настолько, что оставаться одна в своей квартире на Арбате она уже не могла. Сиделкам дочка платила сама, потому что тетя Бэла уже не отдавала себе отчета в том, что происходит. После работы моя девочка ездила на Арбат, к ночи домой к детям и мужу, рано утром на работу, в выходные надо было что-то сделать для бабушки с дедушкой, и так по кругу. Она пыталась вызвать врача тете Бэле, но в районной поликлинике диагноз знали и приходиться отказались, потому что помочь уже ничем не могли. Правда, предложили оформить бумаги для хосписа. Еще одно слово (понятие), довольно далекое от нашей повседневной жизни... Об этом хосписе я знала со слов Людмилы Улицкой, на встрече с которой была в 2008 году в Калифорнии. Людмила Евгеньевна тогда много рассказывала о Фонде помощи хосписам «Вера», но ведь в голову не приходило, что придется там каким-то образом побывать, да еще так скоро. Читала я и «Книгу, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно».

Дочь после первой же поездки в хоспис сказала, что не могла себе представить, что в России могут быть такие заведения, где все организовано, чтобы обреченные люди уходили достойно.

На прямой вопрос моей дочери главному врачу хосписа Вере Васильевне Миллионщиковой об оплате та прямо и ответила: ни денег, ни подарков медперсонал не принимает, а хотите помочь — есть банковский счет, куда можно перечислить любую помощь. Создать и возглавлять хоспис мог только

героический человек, каким и была главврач Первого московского хосписа Вера Васильевна Миллионщикова. Я пишу «была», потому что эта женщина-подвижница скоропостижно умерла в декабре 2010 года.

Итак, моей девочке пришлось провожать тетю Бэлу в хоспис, навещать ее там, заботиться о квартире и т.д. Первое время тетя Бэла узнавала нашу Катюшу, но болезнь брала свое, состояние ухудшалось. А волнения у нас всех увеличивались. Конечно, я хотела полететь на помощь, но в начале года я послала российский паспорт, у которого истек срок, на обмен в Российское Консульство в Сан-Франциско, и мне его еще не вернули. Я ждала...

ТЕРАКТЫ

29 марта в московском метро было совершено два теракта. Дочери было страшно спускаться в метро, но навещать умирающего человека в хосписе надо, поэтому она брала себя в руки и ехала через станцию «Парк культуры», где накануне произошел взрыв. Смотреть на платформу, где погибли люди, было мучительно. Состояние у нее явно было далеко от нормы, да у нас всех тоже от страха за неё.

МАМА: ИНСУЛЬТ

Наступил апрель. И вдруг звонит в слезах Катюша: бабушка попала в больницу с инсультом. Мама моя переволновалась за подругу и внуку, так что здоровье не выдержало. У нее парализовало правую сторону, отнялась речь. Хорошо, что это случилось дома, папа быстро вызвал скорую, которая приехала тоже очень быстро, сразу поставили диагноз и стали колоть необходимые лекарства. Потом вызвали другую скорую, которая уже забрала маму в больницу. За это время дочь успела примчаться с работы и увезла бабушку на второй скорой в неврологическое отделение 57-й городской больницы.

ВУЛКАН

Дольше оставаться в Калифорнии я уже никак не могла, начались переговоры с Консульством в Сан-Франциско. Оказалось, что разрешение из Москвы на выдачу мне нового паспорта они уже получили, но прошла неделя, пока мне удалось-таки получить паспорт на руки. А тут как раз случилась еще одна преграда, или аномалия. В Исландии началось извержение вулкана, практически остановившее

все полёты в Европе. В тот день, когда я получила паспорт, билетов на авиарейсы в Европу не продавал никто. Я решила лететь Аэрофлотом из Лос-Анджелеса в Москву, так как этот рейс летает по северному маршруту над Канадой, Гренландией, Норвегией. Словом, была большая вероятность, что рейс из-за вулканического облака, нависшего над центральной Европой, не отменят. Наутро на сайте Аэрофлота начали продавать билеты почти за 4000 долларов в один конец. Опять аномалия! Цена – заоблачная! Что делать? Я прервала заказ на Интернетe, попробовала позавтракать, новая попытка показала, что цена снизилась. Значит, улечу. Когда цена достигла 1000 долларов за билет, я заплатила и начала укладывать чемодан. Как летела – не помню! Просто ничего не помню. Знаю, что долетела из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, перешла на Международный терминал – и всё!

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ

Пока я боролась за свой паспорт и летела в Москву, тетя Бэла умерла. Прощание состоялось накануне моего прилета в Москву. Я не успела... Летом 2009 года мы уже знали о диагнозе тети Бэлы, я навестила ее два раза, пока была в Москве. Тетя Бэла жаловалась на боли, но выглядела удивительно хорошо. Ее природная красота не увядала, невозможно было поверить, что этой прекрасной, умной женщине остались считанные месяцы. Она продолжала остроумно шутить, как делала всю свою жизнь, угощать своими традиционными клецками с бульоном, котлетками, картошечкой, давала мне советы, что показать моей внучке Анюте на Арбате.

МОСКВА: ПАПА

Мой зять Андрей встретил меня в Шереметьево, а по дороге в Москву рассказал, что мой папа, находясь дома один, упал и сильно ушибся. Как я потом поняла, у него закружилась голова, когда он поспешил к телефону. Падая, он, видимо, ударился о косяк двери, так как на руке и на спине были огромные синяки, донимавшие его сильными болями. Сразу начинаю лечить папу.

МАМА: БОЛЬНИЦА

Утром я уже в больнице у мамы. Выписываю пропуск в проходной, прохожу к корпусу, поднимаюсь в неврологическое отделение. Коридор отделения уставлен больничными койками, на которых женщины

и мужчины с капельницами. Когда маму привезли на скорой, ее тоже собирались положить в коридор, но пока оформляли, кого-то из женщин успели выписать, и мама попала в палату на четверых. Все лежачие. С ними сиделки. Дочери мамина палатная врач сразу сказала: «Лекарства все есть. Обеспечьте уход». Это значило, что надо нанять сиделку прямо в отделении. Эти сиделки – молодые медицинские сестры, которые приезжают в Москву работать «вахтовым методом». Они живут прямо в больнице, круглосуточно ухаживая за больными. Уезжая домой на побывку, сиделки передают «новой смене» своих подопечных и их родственников. У каждой сиделки – мобильный телефон, связь с родственниками круглосуточная.

Приношу маме цветы, поздравляю с моим днем рождения. Мы обе рады, что в этот день вместе. Она пытается говорить, пока плохо получается, но при желании понять можно. Пытается с моей помощью дойти до туалета (он почти рядом с палатой), но это для нее подвиг. Палатный врач говорит мне, что через пару дней маму выпишут, что она должна восстановиться месяцев через восемь-десять. Логопед делает маме массаж, советует ей читать вслух. Я объясняю, что она не читает уже семь лет из-за почти полной слепоты. Тогда он говорит: «Петь!» Хорошо, будем петь, проигрыватель стоит у мамы в комнате, диски с песнями есть.

Больных везут и везут, мест в неврологии не хватает, поэтому чуть подлечат и выписывают домой. Мы все ждем маму домой, дома ей будет легче.

Вечером с семьей (вижу, наконец, своих трех девочек – дочь и двух внуков, которых привозит зять) и с верной подругой Ольгой, которая привозит всяческие вкусности, отмечаем мой день рождения. Папа тоже посидел с нами.

ВТОРАЯ ПОТЕРЯ

На следующий день Ольга звонит в слезах: умер Александр Нариньяни – наш общий старый дорогой друг. Тоже инсульт, он несколько недель пролежал в Боткинской больнице (я знала об этом еще в Калифорнии), тоже переживали и надеялись на то, что он выкарабкается. Однако его спасти не смогли. Горько.

ПРОЩАНИЕ С САШЕЙ НАРИНЬЯНИ

За один день пытаюсь организовать все для ухода за мамой (она в своей комнате, я ночую с ней), за папой (он в комнате один), приготовить для всех еду на ближайшее время. На следующий день прошу другую

подругу, Веру, которая давно знает моих родителей, подежурить у нас дома, пока я съезжу в Боткинскую больницу на прощание с другом, умершим накануне.

В Москве уже редко хоронят в землю, поэтому первое прощание с ушедшими проходит либо в храме, если покойный был крещёным, либо в мемориальном помещении при больнице. Туда тоже можно пригласить священника и провести обряд. От дочери знаю, что мемориальные службы работают четко, и работники этого сервиса внимательны, дают советы растерянным родственникам, то есть реально помогают. У нее за последнее время появился такой опыт. После прощания собравшиеся, как правило, едут на поминки либо домой, либо в кафе или ресторан, а гроб с покойным увозят в крематорий. Крематориев в Москве не осталось, их все перенесли за территорию города. Через неделю (месяц) родственникам выдают урну с прахом, и собственно хоронят уже прах – либо в землю, если есть разрешение, либо в колумбарий, на который опять же нужно получить разрешение.

На прощание в Боткинской больнице, кроме семьи (тоже близких нам людей на протяжении многих лет), старых друзей, собираются бывшие коллеги и сотрудники. Александр Семенович Нариньяни был одним из ведущих в России специалистом по искусственному интеллекту, компьютерной лингвистике. Он организовал и возглавил в Москве Институт искусственного интеллекта и активно работал до последних дней своей жизни. Вижу профессоров и сотрудников МГУ, институтов РАН (Российской академии наук). Люди выглядят потерянно. Смерть всегда «аномальна» для тех, кто провожает ушедших.

Я знала Сашу с тех пор, как в 1972 году меня взял на работу в Вычислительный центр Сибирского отделения АН СССР наш с ним общий руководитель, в то время член-корреспондент АН СССР Андрей Петрович Ершов. Я только что закончила институт, а Саша Нариньяни тогда уже защитил кандидатскую диссертацию. Но я не чувствовала с Сашиной стороны никакого превосходства. Москвич, сын известного журналиста и писателя Семёна Нариньяни, писавшего репортажи с Нюрнбергского процесса, Саша променял благоустроенную столичную жизнь на общежитие в Академгородке ради науки. Мы быстро подружились: вместе бегали в столовую на обед, вместе пили кофе в перерывах, которые всегда сопровождались жаркими спорами о науке, политике, культуре. Саша был типичным шестидесятником, у каких я училась всю свою жизнь. Потом – десятилетия работы бок о бок. Он один из первых в стране стал заниматься искусственным

интеллектом, был пионером в области речевого ввода компьютерных команд. Мне очень нравилось, что под его руководством работала целая группа лингвистов. Последний раз я встречалась с ним в Москве за семь месяцев до его смерти. Он рассказывал о своем новом проекте, был полон планов. Еще Саша писал стихи и, несмотря на всю свою ученость, всегда оставался романтиком и был по-детски ранимым.

На поминках в его доме я сказала несколько слов о нем не только от себя, но и своего мужа, Сашиных бывших коллег и сотрудников, которых, как и меня, занесло за последние десятилетия в Соединенные Штаты, где мы продолжаем общаться, иногда сотрудничать и уж, конечно, вспоминать наши годы, прожитые вместе.

МОСКВА: МЕТРО

Но «аномалии» и тревоги в этот день еще не кончились. После поминок, где была совсем недолго, я тороплюсь домой, чтобы отпустить Веру, так как ей пора встречать внука из школы. При пересадке в метро на станции «Площадь Революции» – столпотворение. Поезда по синей ветке в сторону Щелковской не идут. Что-то случилось. Первая мысль: «Теракт?» Метро уже совсем не напоминает «мир спокойных грёз», где еще в прошлом году мне было «уютно». Что делать? С день я в Москве, рядом с родителями.

МОСКВА: ИЮНЬ

Лето пришло. Ждем тепла. Хочется открыть окна и впустить в квартиру свежий воздух. Папа каждую весну вставлял в окна сделанные им рамы с сетками от комаров и мошек. Рамы уже очень старые, сетки с дырками, надо менять. Я ищу в Интернете фирму, где можно заказать новые сетки. Предложений масса. Звоню, объясняю, что нужно сделать. Присылают мастера. То, что он предлагает, нам не подходит, так как каждый раз при открытии окон рамы с сетками надо вставлять, а при закрытии окон – вынимать. Старый, сталинской постройки дом, окна такие же старые, они к такому варианту не приспособлены. Соседка подсказывает, где можно купить новую сетку. Поэтому покупаю сетку и меняю на новую, закрепляю поплотней кнопками, как-то подбиваю рамы новыми гвоздями и ставлю их в окно так, чтобы окна открывались и закрывались без проблем. Папа это придумал много лет назад, но новые технологии до этого не додумались, вернее, им проще вставлять новые окна, новые рамы – это же совсем другие деньги, чем возиться со старым.

В июне в доме отключают горячую воду.

Хорошо, что не на все лето, как раньше бывало, а на две недели. Да еще по очереди. Сначала у родителей, потом у дочери. Неудобно, но все привыкли, иначе лето в Москве и не лето как будто.

ЧАСТЬ 2. СЧАСТЛИВЫЕ АНОМАЛИИ

Когда живешь в постоянной тревоге и печальные события следуют одно за другим, то нечто радостное воспринимается как счастливая аномалия. Их тоже было несколько.

МОСКВА: ПАРКИ

Лето наступает стремительно, да не просто наступает, а налетает. По воскресеньям меня с внуками Андрей вывозит в Сокольники, на ВВЦ (ВДНХ). Он и Аня, старшая внучка, катаются на роликовых коньках, а я веду младшую Алису на аттракционы, на выставки песочных скульптур. В Москве во всех парках каждое лето выставки-конкурсы российских и иностранных скульпторов, творящих в этом жанре. Темы разные: динозавры, исторические памятники, исторические события, разные культуры, оружие, крепости и т.д. Не только дети, но и взрослые с интересом ходят на эти выставки.

В Сокольниках мы попали на Праздник Мороженого! А накануне Аня выступала со своим танцевальным коллективом Степ-Антре во Дворце Детского Творчества там же, в парке Сокольники. Интересно (да и радостно!) было наблюдать нашу девочку и ее подруг в очень профессиональной программе на хорошей сцене.

РЯЗАНЬ: 40-ЛЕТИЕ ВЫПУСКА

Хочу продолжить радостную тему. В конце июня решаю оставить родителей на два дня на соседку Ларису и еду в Рязань. Подруга из Рязани уговорила приехать на 40-летие выпуска моего курса. Останавливаюсь у папиной двоюродной сестры Лили, встречаюсь с родственниками и маминой подругой. Общение с Лилей – это всегда некое очищение, она человек цельный, глубокий, деликатный. С удовольствием хожу с ней по городу моей юности, где все связано с именем Сергея Есенина. Мой бывший Факультет русского языка и литературы переехал в бывший Дом политического просвещения и называется он теперь Факультет русской филологии и национальной культуры. В университете появилось Отделение теологии, и во дворе университета построен Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и святой мученицы Татианы, настоятель которого и

руководит новым отделением. Вот такие новости... Но главное в Рязани – это пришедшие на встречу мои одноклассники (+ один одноклассник), которые 40 лет простояли с мелом у доски, сеяли «разумное, доброе, вечное». Родные мои!

МОСКВА: ТЕАТР

У внучки Анюты продолжают летние каникулы. Покупаем билеты в Ленком на «Юнону и Авось». Увы, Николая Караченцева на сцене уже не увидим, но Виктор Раков в роли Николая Резанова тоже хорош. Театр полон, несмотря на то, что спектакль не сходит со сцены уже почти 30 лет. Стихи Андрея Вознесенского, которого на днях не стало, звучат особенно больно, музыка Алексея Рыбникова пронизывает узнаванием, молодостью, танцы в постановке Владимира Васильева все также выразительны и современны. Мою 12-летнюю девочку завораживает история любви реальных людей. Она бывала в Сан-Франциско, поэтому легко может представить те места, на фоне которых разворачиваются события в рок-опере. Но все же самое большое потрясение у нее от спектакля – это музыка и танцы.

МОСКВА: ВЫСТАВКИ

ВИНЗАВОД

В Пушкинском музее проходит выставка Пикассо, но стоять несколько часов в очереди, чтобы попасть туда, ни времени, ни здоровья у нас нет. Решили посмотреть несколько выставок в Центре современного искусства ВИНЗАВОД. Больше всего нам понравилась экспозиция группы Recycle в Галерее Марата Гельмана. Позже узнаю, что эта группа вышла в финал премии Кандинского. Авторы проекта Recycle Андрей Блохин и Егор Кузнецов задумались о тех следах, которые оставит после себя в культурном слое земли наше поколение.

АЛЛА ВИКСНЕ

До отъезда Анюты в лагерь ДВА (не пионерский, а поэтический – Детско-Взрослая Академия – это встреча профессионалов для профессионалов: высококлассных специалистов – Учителей, школьников и студентов – Учеников) мы с ней еще торопимся на выставку Аллы Вискне. Аня, бывая у нас в Калифорнии летом, пару лет подряд брала у Аллы уроки рисования и живописи. А тут такая удача – выставка Аллы на Рублевском шоссе в галерее «Радуга» в большом

торгово-развлекательном центре Европарк. На выставке пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные маслом, акрилом, акварелью. Алла прекрасно совмещает в своем искусстве традиции русской реалистической школы со свободой импровизации. Москва и русская природа – безусловно ее самые любимые и дорогие темы. Когда только Алла все это успевает? Такая радость от увиденного!

ЧАСТЬ 3. АПОКАЛИПСИС

МОСКВА: ИЮЛЬ

Жара стоит уже несколько недель. В один из выходных дней гуляю с малышкой Алисой в Измайловском лесопарке. Во дворе совсем нечем дышать, а среди старых деревьев и кустов все же легче.

Синоптики обещают дождь, потом переносят свои обещания все дальше и дальше, но наступает момент, когда они уже не знают, что обещать. Дома все идет своим чередом. Папа уже садится за кроссворды. Это очень хороший признак – ему стало легче, боль понемногу отошла, но синяки еще долго не проходят. Мама упорно поет песни, речь немного лучше, настроение тоже.

И в эту жару прилетает из Калифорнии муж в отпуск. Живем с ним у дочери. Родителей уже на ночь можно оставлять одних. Они потихоньку включаются в домашние дела.

МОСКВА: ПОЛИКЛИНИКИ

Мама окрепла уже настолько, что решаемся пролечить глаза в Центре глазного протезирования. Договариваюсь с врачом Тимуром Михайловичем, потихоньку доходим до Центра. А на следующий день температура воздуха еще повышается, выходим на улицу, но мама идти не может. Оставляю ее на лавочке во дворе и выбегаю на улицу ловить машину. Повезло: первый же шофер Юрий довозит до Центра и соглашается подождать. Поскольку он живет и работает в нашем районе, то дает мне свой телефон, и теперь мы с машиной. Юрий всегда вовремя ждет нас у подъезда, а потом у Центра, поэтому лечение (уколы в глаза) мы заканчиваем нормально.

Подходит время посещения мамой и папой невролога в районной поликлинике. Потихоньку доходим самостоятельно. По дороге встречаем их старого знакомого, который работал дворником во дворе рядом с поликлиникой. Я про него слышала от родителей, он им всегда при встрече читал свои стихи

на политические темы. Неопределенного возраста, небритый, в черном рабочем халате – то ли бомж, то ли сумасшедший. С радостью кидается к моим родителям и начинает читать стихи о Путине. Потом разговорились – он сказал, что с прежнего места его уволили, теперь работает дворником в какой-то конторе неподалеку. Я спросила, записывает ли он свои стихи. Он ответил, что нет, что они все у него в голове. Хотела познакомиться – ответил, что зовут его Слава и этого достаточно. Возникает некая аналогия с диссидентами во времена развитого социализма. Но не надолго. Слава начинает читать вирши, восхваляющие Сталина и сетовать на то, что России нужна крепкая рука, что всех надо расстреливать. Мы опешили. Мама пытается что-то возразить, но глаза у «диссидента» горят уже неистово. Пожалуй, с этим нынешним «диссидентом», страдающим в современной «свободной» России, общаться не хочется. Не так ли шарахались от «свободолюбцев» соседи и знакомые в былые времена?

В районной поликлинике невролог в отпуске, но ее заменяет новый врач – Фатима Магомедовна Дибирдаева. Молоденькая, хорошенькая, модная, говорит с акцентом, явно «лицо нерусской национальности», уж точно не москвичка. Чувствую, что ей непросто работать среди москвичей. Вижу, как к большому неудовольствию медсестры, с которой она ведет прием, Фатима настаивает, чтобы мама и папа заходили к ней без очереди, а старшей медсестре тоже вопреки ее явному хамству дает предписание делать моим пациентам уколы на дому.

Позже я отчетливо осознаю, что именно лечение, которое она назначила моим родителям, спасло их в это аномальное лето. Сестры домой ходили регулярно, поэтому мы продержались вполне благополучно. Это были участковая сестра Ирина и дежурная Татьяна. Обе чуткие и красивые женщины, обе профессиональны и терпеливы. Когда Ирина была в отпуске, Татьяне досталось ходить к нам в самую страшную жару. Нам было ее жаль, мы выражали ей сочувствие, а она отвечала, что ходит к нам с удовольствием, так как мы ее всегда ждем, пациенты милые, а дома у нас очень красиво, что попасть в наш дом – это радость. Расстаемся с ней с большой благодарностью.

МОСКВА: ДЫМОВАЯ ОСАДА

Под Москвой начинаются пожары. Дым от пожаров, наступающий на Москву с северо-востока, пришел к нам, жителям района Измайлово, к одним из первых. Дома у родителей был один вентилятор,

купленный моим мужем раньше. Мы носили этот спасительный прибор из кухни в комнаты по очереди. Вскоре Андрей купил себе и родителям еще по одному вентилятору. Напоминаю, кто забыл: кондиционеры в Москвы – это исключение. Слышим рекомендации врачей занавешивать окна мокрыми простынями. Так и делаю. Окна открываю, на них вешаю мокрые простыни, на подоконники ставлю кастрюли с водой, а в ванну, когда она никому не нужна, тоже наливаю холодную воду, открываю дверь из ванны, чтобы еще немного охладить воздух в квартире. Так действительно легче, только менять надо почаще и воду, и простыни. Легко все это описывать сейчас, а тогда мне, при моем росте 149 см., вскарабкаться на окно в полногабаритной квартире, да еще укрепить мокрую простыню на окне было непросто. Но жалеть себя как-то не приходило в голову, когда фактически надо спасать других. Все эти вопросы и рассуждения, которые были свойственны нам, не пережившим войны: а смог ли я, а стал бы я, а сделал бы я, – пропали. И смогли, и стали, и делали. И это не было подвигом, а просто жизнью. Наверное, это генетически в человеке – надо спасаться, надо спасать, надо выживать.

Родители от жары и дыма слабеют, в основном лежат. Еду теперь готовлю только поздно вечером, когда на кухню уже никто не выходит, чтобы за ночь кухня немного остыла. Меню – летнее: окрошка, холодный борщ, холодный фруктовый суп, холодная курица, холодные котлетки, овощи, ягоды, фрукты, компоты, морсы и мороженое. Да и аппетит у всех невеликий. Столько мороженого, сколько мы съели в это лето, мы не съели, пожалуй, за всю свою жизнь. А на ягоды цены подскочили невероятно. Да и откуда взяться ягодам, когда вокруг Москвы несколько областей горят?! Видимо, привозят эти дары природы издалека.

Выйти на улицу можно только в марлевой маске. Маску окунаю в воду, надеваю и вперед. Только глаза болят от едкого дыма. (Прим.: Уже вернувшись в Калифорнию, иду к окулисту, который находит инфекцию на веках. Легко предположить, что это от московского дыма.) Все чаще вспоминается противогаз, от которого в эти дни многие бы не отказались. Идти быстро в маске или без маски не получается, тогда просто задыхаешься. Но я-то недолго: купить продукты и назад. А те, кто работают целый день в магазинах, на улице в киосках! Да и в офисах не везде есть кондиционеры. По вечерам все, кто могут, движутся к водоемам. Я наблюдаю целые демонстрации по направлению к Лебедянскому пруду в Измайловском лесопарке. Прямо из дома большинство выходит прямо в купальниках и шлепанцах. Никого не волнует ни внешний вид его (ее) самого (самой), ни окружающих.

Главной атрибутом одежды – марлевая повязка или маска на лице. В метро, говорят, полно дыма, так как на большинстве станций старая система кондиционеров, которая просто гонит воздух с улицы.

Москвичи растеряны, они чувствуют себя в дымовой осаде. Никто не может сказать, надолго ли этот дым. В новостях показывают пожары. Горят леса, горят торфяники, горят дома. Показывают премьера, который тушит с самолета пожар в Рязанской области. Я знаю, что Лиля должна быть в санатории в Солотче под Рязанью. Звоню в Рязань. Лилия дома, санаторий эвакуировали, так как пожар подобрался близко к поселку, от которого начинаются благодатные Мещерские леса. Они-то сейчас и горят...

Сосед по подъезду, где живут дети, отправляет жену с детьми в Крым. Раньше летом москвичи ездили в Крым за солнцем и теплом, а тут пришлось эвакуироваться в Крым за прохладой и свежим воздухом.

На радиостанции «Эхо Москвы», которую мама слушает почти круглосуточно, некоторые ведущие умоляют москвичей увозить из Москвы детей, спасать стариков. Муж улетает в Новосибирск повидать родственников и друзей. Звонит сын, который живет в Академгородке: «Привозите племянниц!» Дочь тут же покупает билеты всем моим девочкам и собирается улетать в Сибирь, но впереди выходные дни, которые еще надо прожить с детьми в Москве.

МОСКВА: АВГУСТ. КОШМАРНЫЙ УИКЕНД

Дома находиться нельзя, густой и едкий смог просачивается в квартиру и разъедает глаза, горло, нос, легкие. Субботу целый день все вместе, кроме бабушки и дедушки, проводим с детьми в торгово-развлекательном центре «МЕГА» на кольцевой дороге, а воскресенье – в «Европейском» у Киевского вокзала. И там, и там огромные толпы, ведь общественных мест, где есть кондиционеры, в Москве не так и много. В этих центрах можно как-то дышать, работают рестораны, детские клубы, кинотеатры, не говоря уж о магазинах. Родителям завозим еду, меняем простыни на окнах, воду в кастрюлях. Держатся, сказывается военная закалка.

Все больше возникает аналогий с войной, с Москвой 1941 года. Даже лексика военная: осада, эвакуация. Вот только слова «мобилизация» не слышно, как не слышно такого, казалось бы, ключевого слова «штаб» или, говоря современным языком, «центр» по спасению жителей города. Во время войны детей централизованно эвакуировали из Москвы, работали посты Гражданской обороны.

Я помню уроки ГО в школе и институте. Где



«Дресс код»
летом 2010 года.
Внучки Анюта
и Алиса перед
выходом из дома.

Москва, 6 августа
2010 года



Вид с пятого
этажа из окна
квартиры.

Измайлово,
Москва, 6
августа 2010
года



Неужели это
наяву?

Москва, 6 августа
2010 года



Вид на
парковку
около
магазина
ИКЕА

Москва, 6
августа 2010
года

сейчас Гражданская оборона? Ведь нас готовили не только на случай войны, но и на случай стихийных бедствий, природных аномалий, таких, как сейчас – летом 2010 года. Ушла ГО в небытие, как и другие реалии бывшего Советского Союза. Теперь «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». МЧС занято пожарами, с которыми не может справиться. В такой ситуации слова мэра Москвы Юрия Лужкова о том, что виноваты подмосковные хозяйственники, звучат не просто цинично, а кощунственно. Он дал распоряжения усилить противопожарные меры и улетел в отпуск. Многомиллионный город задыхается в дыму, а мэр отсутствует...

Про больных и больницы страшно подумать. Машины скорой помощи ездят с открытыми окнами. У них же тоже нет кондиционеров! А больницы? Что сейчас творится там? А в роддомах? У нас в другой семейной ветви должна на днях родиться девочка...

ОПЯТЬ ПОТЕРЯ

Звонит папина двоюродная сестра Наталья: умер ее старший брат Володя, который меня старше всего-то на семь лет. «Двусторонняя пневмония», как потом напишут в заключении о смерти. А попросту – задохнулся в дыму. Его привозили в больницу, но помочь не смогли. Ждем похорон. Прощание в 36-й городской больнице на 11-й день! Такие очереди... Бесконечно жалко. Мама Натальи и Володи тетя Лена держится стойко. То ли просто не понимает, что случилось? Он был очень добрый и светлый человек, всегда готовый помочь. На прощание собирается многочисленная родня, поверить трудно... Батюшка и служка проводят короткую прощальную церемонию. На долгие прощания нет времени – очереди... Дома на поминках все так и не могут прийти в себя.

Мы узнавали новости, слушали или пытались понять, а что же дальше. «За державу обидно», но, кроме таких обид в голове бродили тревожные мысли: как аукнется эта аномалия внукам, детям, мужу, родителям?

МОСКВА: КОНЕЦ КОШМАРА

У нас в семье в аномальной Москве благополучно появилась на свет чудесная малышка Арина. Пусть будет здорова!

Муж и девочки вернулись из Сибири, затем муж улетел в Калифорнию, он страшно кашлял; с кашлем пришлось бороться несколько месяцев. К концу августа поползли слухи, что начало учебного года в школах Москвы перенесут, но дыма ста-

ло меньше, и старшая внучка пошла в свою гимназию рядом с домом 1 сентября. Маленькая пошла «на работу» в детский сад, частный, потому что в государственном ей места не хватило. Ее мама поставила ребенка в очередь на детский сад сразу после рождения, но в Детской районной комиссии ей объяснили, что «что у ребенка полная семья (мама+папа), ребенок здоров (не стоит на учете по какой-нибудь болезни), семья обеспеченная (не просит у государства пособий), родители не государственные служащие, так что никаких «оснований» для получения места в детском саду у нашей внучки нет. Я прикинула, что «материнского капитала», которым «наградят» ее маму когда-то, как раз хватит на два года садика. Спасибо, господин Путин, за такую замечательную инициативу как материнский капитал! Абсурд? Аномалия? Что это?

Подходит к концу уже пятый месяц моего московского «отпуска». Все понимают, что мне надо бы вернуться в Калифорнию. Родителей оставляю на приходящую помощницу. С тревогой на сердце покидаю Москву: какие еще аномалии нас ждут? Помню, когда дети были маленькие и часто болели, участковый детский врач как-то обронила фразу, что если какое-то отклонение от нормы начинает проявляться у большого процента детей, то оно переходит в разряд «нормы». Не хотелось бы, чтобы аномалии 2010 стали для нас нормой. Пусть останутся аномалиями.

ПОСТСКРИПТУМ

Я уже заканчивала писать эти записки, как мне прислали последний роман Людмилы Улицкой «Зеленый шатер». В самом конце книги она пишет слова благодарности людям, принявшим участие в этом ее труде. Среди прочих имен читаю: «Моих мужественных подруг... и Веру Миллионщикову, переписка и разговоры с которыми были столь важны летом 2010 года, когда книжка шла к концу и силы тоже, благодарю». Насколько я знаю, Людмила Евгеньевна в это время находилась на лечении в Израиле. Вера Васильевна умерла, когда книга явно была уже в печати. Для меня лично ее смерть – это еще одна большая потеря в 2010 году. Но жизнь продолжается. Надо «спешить делать добро», как призывал два века назад еще один прекрасный доктор Гааз Федор Петрович.

Санта Клара, Калифорния
Январь-март 2011 года

Галина Курляндчик
XXI ВЕК И СТАТЬЯ А.П. ЕРШОВА¹
"О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ И
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ФАКТОРАХ В
ПРОГРАММИРОВАНИИ" (1972)²

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется ...*

Ф.И. Тютчев

Наступает момент, когда человек задумывается о своем предназначении и о том, какие его мысли, открытия, идеи останутся жить после смерти. Естественно, что об этом думал и Андрей Петрович Ершов, ученый, педагог, философ, поэт. Вопросы будущему он задает в своем стихотворении:

Неведение

Иисус пронес свой крест и к муке был готов,
«Распни его», – народ кричал, беснуясь.
Но он был Божий сын и знал: в конце концов
Господь его посадит одесную.

Я знание добывал из потаенных мест,
Чтоб человек был жив не только хлебом.
Но сам не ведаю, неся свой тяжкий крест:
Распнут меня иль вознесут на небо?..

Январь 1983 г. [2]

Андрея Петровича нет с нами уже больше двадцати лет, но мы продолжаем у него учиться. Я не стану касаться развития идей Ершова в теоретическом и системном программировании, а возьму на себя смелость остановиться только на одной его статье. О том, какое влияние она оказала на меня, я уже упоминала в своих предыдущих публикациях, посвященных академику А.П. Ершову [6, 8].

¹ Андрей Петрович Ершов (19 апреля 1931, Москва — 8 декабря 1988, Москва) — советский учёный, один из пионеров теоретического и системного программирования, создатель Сибирской школы информатики, академик АН СССР. Его работы оказали огромное влияние на формирование и развитие вычислительной техники не только в СССР, но и во всём мире.

² Эта статья была подготовлена для Второй Международной конференции «Развитие вычислительной техники и ее программного обеспечения в России и странах бывшего СССР»: SORUCOM, 12-16 сентября 2011 года, Великий Новгород, Россия. Полный текст статьи напечатан в Трудах SORUCOM-2011 и представлен на сайте: http://www.mychronicle.ru/press/21_vek.php

Речь идет о статье «О человеческом и эстетическом факторах в программировании».

Эдуард Зиновьевич Любимский, однокурник и коллега Андрея Петровича, так вспоминает историю появления этой работы: «Устроители одной из конференций АСМ³ пригласили его (А.П. Ершова) выступить на первом заседании, открывающем конференцию. Это было почетное приглашение, однако предложенная тема не могла не вызвать сомнений у представителя советской науки: «Программирование в развивающихся странах». Гордо отказаться или покорно согласиться? А оказалось, что можно гордо согласиться. Андрей Петрович ответил, что с благодарностью принимает приглашение и выступит на тему: «О человеческом и эстетическом факторах в программировании». И мы все потом читали это блестящее эссе» [5]. Объединенные осенние и весенние конференции проводились в США ежегодно, торжественные обеды традиционно открывались так называемой «Банкетной речью», Ершов был одним из немногих, удостоенных такой чести. Выступление привлекло всеобщее внимание, его текст был сразу же опубликован во многих англоязычных изданиях и переведен на другие языки. На русском языке эта работа появилась в пятом номере журнала «Кибернетика» за 1972 год и была посвящена памяти Геннадия Исааковича Кожухина, друга и сподвижника Андрея Петровича, рано ушедшего из жизни.

Свое выступление А.П.Ершов начал такими словами: «Должен признаться, что когда я получил приглашение выступить на этом собрании, моим первым действием было узнать, кто до меня удостоивался аналогичного приглашения. Я нашел в списке предыдущих ораторов трех писателей, двух конгрессменов, одного генерала, но практически ни одного представителя нашей программистской профессии. Наверное, это было неслучайно: быстрое и экстенсивное развитие нашей области неизбежно увеличивало число пограничных столкновений и связанного с ними интереса к внешнему миру». Действительно, сегодня трудно назвать такую область «внешнего мира», с которой бы не соприкасались программисты почти за сорок лет, прошедших с момента написания этих строк. О том, что Андрей Петрович Ершов был наделен даром предвидения, не раз говорил его друг и соратник Игорь Васильевич Поттосин: «Он обладал истинной стратегией мышления, предвидя будущность только что появившегося явления, прекрасно видел точки роста» [4]. Статья «О человеческом и эстетическом факторах в программировании» является как раз тем

³ Association for Computing Machinery – Ассоциация по вычислительной технике, профессиональная организация, объединяющая специалистов в области программирования и вычислительной техники.

примером «стратегического мышления», о котором вспоминал Игорь Васильевич.

Говоря о том, что «вольная братия программистов постепенно попадает под влияние администраторов и менеджеров, которые стремятся сделать труд программиста планируемым, измеряемым, однородным и обезличенным», Андрей Петрович предсказывал основное направление развития профессии, а он, можно сказать, предвосхитил бум «стартапов» и «доткомов» и их судьбу в девяностые и нулевые годы: «Однако в этом деле жизнеспособными оказались лишь такие коллективы¹, в которых этот партизанский дух быстро заменялся режимом экономии, иерархией отношений, жесткой дисциплиной, словом, всем тем, что в свое время вытолкнуло их из “родительского дома”». В качестве шутки можно заметить, что вся эта история напоминает сказку о трех поросятах: братья-программисты в конце концов собрались в крепком софтверхаусе, но лишь после того, как первые два были унесены волчьим ветром беспощадной коммерции». Читая эти строки, ловишь себя на мысли, что они вполне могли принадлежать сегодняшнему оратору. Очень образное и совершенно точное стратегическое утверждение о развитии профессии программирования на десятки лет вперед!

Андрей Петрович считал, что программирование с неизбежностью будет подчинено большому бизнесу, он предвидел также трудности и опасности, которые ждут программиста. Сегодня мы видим, что часть огромной армии программистов превратилась в «высокооплачиваемый отряд наемных тружеников умственного труда», но все же эстетическая, или эмоциональная, сторона программирования вознаграждает программиста, когда он выходит со своим продуктом на рынок, и составляет его нравственную опору, когда он «остается наедине с программой или машиной». И дальше Ершов развил свой тезис о том, что «программирование – это самая трудная из всех массовых профессий. Программисты непосредственно “упираются” в пределы человеческого познания в виде алгоритмически неразрешимых проблем и глубоких тайн работы головного мозга».

Хочется обратить особое внимание на следующее высказывание Андрея Петровича, которое очень полюбилось всем читателям статьи и буквально разошлось на цитаты: «...трудность также в том, что программист должен обладать способностью первоклассного математика к абстракции и логическому мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все что угодно из нуля и единицы. Он должен сочетать аккуратность

¹ Имеются в виду небольшие стартапы, организованные программистами, получившими опыт работы в крупных компаниях.

банковского клерка с проницательностью разведчика, фантазию автора детективных романов с трезвой практичностью бизнесмена. А кроме того, программист должен приобщаться к корпоративным интересам, иметь вкус к коллективной работе, понимать цели работ и многое другое». В этих словах впечатляет не только суть сказанного, но и языковая форма, которой мастерски владел Андрей Петрович.

Не могу не напомнить и следующий отрывок, без которого дальнейший анализ окажется неполным. Итак: «Суть проблемы в том, чтобы признать, что программирование требует от человека несколько особого взгляда на мир, его потребности и эволюцию, особой моральной подготовленности к своему долгу. Программист – это солдат технической революции и как таковой должен обладать революционным мышлением».

В центральном тезисе своей речи Ершов утверждает, что *«программирование обладает богатой, глубокой и своеобразной эстетикой, которая лежит в основе внутреннего отношения программиста к своей профессии, являясь источником интеллектуальной силы, ярких переживаний и глубокого удовлетворения. Корни этой эстетики лежат в творческой природе программирования, его трудности и общественной значимости»*. Говоря о творческой природе программирования, Андрей Петрович подчеркивает, что оно «идет намного дальше большинства других профессий, приближаясь к математике и писательскому делу».

Приведу еще один тезис, который любят повторять читатели этой статьи: «Машина, снабженная программой, ведет себя разумно. Программист является первым, кто обнаруживает это. Применяя метафору троицы, он ощущает себя в этот момент и отцом – создателем программы, и сыном – братом этой машины, и носителем святого духа – вложенного в нее интеллекта. Это торжество интеллекта, наверное, самая сильная и самая специфическая сторона программирования». Образность этого высказывания не может не восхищать, а старая библейская истина наполняется новым содержанием.

Идеи, высказанные в статье А.П. Ершова, живут и поныне и приносят свои плоды в самых разнообразных направлениях человеческой деятельности. Ища этому подтверждение, я обратилась к самому простому, я бы даже сказала, обыденному инструменту, общедоступному в XXI веке – к интернету. Опять же не могу не процитировать Ершова: «Разработка и распространение софтвера, мне кажется, во многом напоминает то, что произошло в результате появления книгопечатания. Как книги накапливают внешний образ мира в глазах их авторов и позволяют воспроизвести процесс его познания, так и программы и банки данных накапливают информационную и операционную модели мира и позволяют не только воспроизводить, но и предсказывать его эволюцию,

давая тем самым небывалую власть над природой».

Я не хочу сказать, что мне удалось найти абсолютно все упоминания статьи Ершова, но и полученные данные, несомненно, показывают значение его работы, написанной в 1972 году, для нового века и новых поколений. Завершая свою статью, он писал: «...поколения людей меняются значительно медленнее, чем поколения машин... как сделать, чтобы программист в возрасте свыше 50 лет был бы не меньше полезен ему, чем 30-летний. Через 30 лет у нас таких программистов будет миллион. Пожалуй, честно будет сказать, что сейчас у нас нет даже подхода к тому, как ассимилировать ветеранов в современных условиях изменчивости и нестабильности, сделав тем самым профессию программиста пожизненной и дающей человеку ощущение социального удовлетворения». Я надеюсь, что этой своей работой я смогу в какой-то степени дать «ощущение социального удовлетворения» той огромной армии программистов, благодаря которым интернет стал доступен миллионам людей в их повседневной жизни.

Если задать поиск по названию статьи, например, в Google, то за 41 секунду он выдает 58,500 ссылок. Они относятся к разнообразным областям знаний: педагогике, психологии, биологии, философии, экономики, истории науки. Сайты-библиотеки либо публикуют статью А.П. Ершова целиком, либо упоминают ее в списках рекомендованной литературы для студентов и ученых разных специальностей. Статья цитируется на иностранных сайтах и оживленно обсуждается на форумах.

На первое место по цитированию статьи А.П.Ершова по праву надо поставить ACM Digital Library. Ведь именно в журнале «Communications of the ACM» эта замечательная статья «Aesthetics and the Human Factor in Programming» была напечатана впервые. В библиотеке ведется статистика обращений к содержащимся в ней материалам. Интересно, что за последние 12 месяцев статью Ершова скачивали 50 раз.

Следует отметить, что к статье А.П. Ершова и по сей день обращаются его бывшие сотрудники и коллеги. Приведу один из недавних примеров. В 2010 году в статье «От операционного стиля мышления через педагогические компетенции к универсальным учебным действиям» Юрий Абрамович Первин, много лет работавший в Лаборатории экспериментальной информатики ВЦ СО АН, которую возглавлял Ершов, пишет, ссылаясь на статью: «Неслучайно образ мышления этих специалистов (*программистов – прим. автора*), который стал актуальным именно в процессе становления информационного общества, на первых порах был назван программистским. Термин «программистский стиль мышления» (а этот стиль эмпирически наблюдался психологами, которые исследовали поведение людей, связанных с вычислительными машинами) отражает значительную

роль программистов в формулировке и решении важнейшей социальной задачи – формировании нового поколения людей, способных активно жить в условиях нового информационного общества».

В заключение хотелось бы привести еще одно замечание Э.З. Любимского об А.П. Ершове: «Когда-то он высказал очень интересную мысль о евангельски триедином отношении программиста к создаваемой им программе. Он – ее творец, он – носитель ее духа, идеи, и он же, в определенном смысле, приносит себя ей в жертву. Вот так же соотносятся Андрей Петрович Ершов и наша отечественная информатика» [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ершов А.П. О человеческом и эстетическом факторах в программировании//Кибернетика. – 1972. - № 5. – С. 95-99.
2. Ершов А.П. Стихи. – Новосибирск: ИСИ СО АН СССР, 1991. – С.9.
3. Поттосин И.В. Андрей Петрович Ершов: жизнь и творчество// Андрей Петрович Ершов: Материалы к биобиблиографии сибирских ученых. – Новосибирск: ООО «Сибирское Научное Издательство», 2009. – С. 17-40.
4. Поттосин И.В. А.П. Ершов – пионер и лидер отечественного программирования//Становление Новосибирской школы программирования (мозаика воспоминаний). – Новосибирск: ИСИ СО РАН им. А.П.Ершова, 2001. – С. 7-16.
5. Любимский Э.З. Воспоминания об академике Ершове//Андрей Петрович Ершов – ученый и человек. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. - С. 282-286.
6. Курляндчик Г.В. Светлые годы//Там же. – С. 269-281.
7. Возродить гармонию человека и природы (Интервью А.П.Ершова Агентству печати «Новости»)//Там же. – С. 43-44.
8. Курляндчик Г.В. Мой мессия // Труды семинара «История информатики в Сибири». – Новосибирск: ИСИ СО РАН, 2009. – С. 57-60.
9. Крайнева И.А., Черемных Н.А. Путь программиста. – Новосибирск: Нонпарель, 2011.

*Санта Клара, Калифорния, США
Москва, Россия*



Лена Цуркан

КОГДА-ТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ



Я вернулась на Украину после 17 лет проживания в Калифорнии и не знала, чего ожидать. План у меня был простой — следовать за родителями и слушать их воспоминания. На следующие три недели время для меня остановилось.

На Украине я почти все бы отдала ради большой чашке кофе. В любом кафе даже обычный кофе подавали в маленьких чашечках; в Америке из таких пьют эспрессо. Эту чашечку я выпивала за секунду и при этом чувствовала, как мне казалось, какое-то напряжение и суету. А теперь, сидя в Старбаксе, я скушаю по той чашечке. Не из-за того, что уже не могу обойтись без того кофе, а потому что хочу вернуть время, когда слова “семья” и “любовь” означали для меня все. Я совсем не ориентировалась в той стране, но эти слова обозначали весь мой мир.

Моя поездка началась с того, что наш самолет задержался в Чикаго, и у на пересадку в Варшаве у нас осталось 5 минут. Однако мне их хватило, чтобы сцепиться с сотрудником таможенной службы. Вернее, это он сцепился со мной. На наш самолёт мы едва успели.

Уже в Одессе, на выходе из аэропорта, какой-то незнакомый молодой человек подошел ко мне, обратился по имени и попробовал взять мой чемодан. Я не могла понять, кто он и откуда знает меня. Но тут мой папа подошел к нему, пожал ему руку и назвал его по имени. Тогда я наконец поняла, кто это: мой двоюродный брат, которого я помню только по фотографиям 17 летней давности.

У Одессы, конечно, история богатая, и мне было чрезвычайно приятно пройти по тем улицам, по которым ходили мои родители, когда им было столько лет, сколько мне сейчас.

Одесса оставила огромное впечатление; и всё-таки не там, а скорее в Хмельницкой области, в маленьком селе, я почувствовала себя дома.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

После двух недель в Одессе мы на поезде поехали в Хмельницкий. Я не знала, чего вообще ожидать от сельской жизни. Прежде всего меня поразило, что рабочий день заканчивался в 11 часов вечера. Когда мы садились ужинать, уже была полночь. Мы часто шутили: если будем в полночь пить, это до работы, или после? В следующие дни меня научили доить корову и жарить блинчики: показали, как делают муку, и т.д. Именно в эти дни время не имело для меня никакого значения.

К концу недели я познакомилась с моими троюродными братьями. Я до сих пор зла на себя за то, что из-за своей стеснительности потеряла драгоценное время, отпущенное для общения с ними. Когда мы наконец разговорились, я поняла, что этого потерянного времени уже никак не верну. Как-то сразу оказалось, что время, которое для меня остановилось, на самом деле мчалось с невероятной скоростью. Ведь я уже не могу просто подъехать к ним, когда захочется повидаться, и даже позвонить не всегда получается, так как чаще всего слышишь: “вне зоны...связи нет.”

Из-за тех людей, которых со слезами на глазах я называю своими братьями, я звоню в турагентство, и снова, снова лечу туда...



Виталий Шрайбер

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ



ПРОПУСК В РАЙ

В начале шестидесятых годов моего отца, гражданского хирурга, пригласили на работу в Ленинградскую Военно-медицинскую академию на должность профессора кафедры военно-полевой хирургии. Пригласили, имея в виду, в первую очередь, его обширные познания в общей хирургии и педагогическое мастерство, но также и то, что с военной хирургией он был хорошо знаком со времен Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что отец был вольнонаемным по должности и оставался человеком штатским, он успешно встроился в коллектив военных медиков и проработал в академии больше пятнадцати лет.

Одним из молодых коллег, с которым у отца сложились дружеские отношения, был Анатолий Владимирович Алексеев. Отец звал его за просто Толей. Он ценил Алексеева не только за его профессионализм. У Алексеева была приятная манера поведения – очень спокойная, выдержанная, доброжелательная. Папа говорил, что на Алексеева в любом деле можно положиться. По-видимому, это качество Алексеева было известно также его начальству. А потому его часто направляли в весьма опасные и трудные командировки. Он вывозил раненных из Анголы, участвовал в мероприятиях по спасению жертв землетрясения в Перу.

Летом 1977 года мой отец неожиданно умер, и в эти тяжелые для меня дни Анатолий Владимирович оказал мне такую дружескую поддержку, которую я никогда не забуду. Вскоре после этого Алексеев надолго уехал в Афганистан.

Через некоторое время после возвращения из Афганистана, он однажды зашел к нам провести маму. И тут, слово за слово, вдруг стал рассказывать о своей последней командировке.

Он работал в военном госпитале в Кабуле. В один, далеко не самый прекрасный день 27-го декабря 1979 года, ему приказали срочно отправиться во дворец Тадж Бек – резиденцию тогдашнего президента Афганистана Хафизуллы Амина. Алексееву было сказано, что Амин чем-то отравился. А надо заметить, что Амин, как и его предшественник

Тараки, свергнутый и убитый Амином, не доверял своим врачам и предпочитал пользоваться услугами советских. Алексеев вместе с коллегой-терапевтом Виктором Кузнеченковым, тоже из Ленинградской Военно-медицинской академии, и женщиной-медсестрой отправились во дворец.

Прибыв во дворец, они обнаружили довольно мрачную картину. Там был банкет или какое-то застолье, и все его участники, включая Амина, лежали полутрусами с явными признаками отравления. Алексеев с коллегами, как им и было велено, занялись лично Амином; делали ему многократные промывания желудка, капельницы, инъекции, еще что-то. В конце концов им удалось привести его в чувство, буквально вытащить с того света. Затем они отправили медсестру с пробами желудочного содержимого обратно в госпиталь с тем, чтобы там сделали анализы и определили, чем вся эта компания отравилась, а Алексеев с Кузнеченковым остались во дворце ждать ответа из госпиталя. Прождав какое-то время, Алексеев с разрешения охраны Амина сам позвонил в госпиталь. В ответ на его вопрос о результатах анализов некто неизвестный ему сказал: це-о. Алексеев не понял, попросил повторить, ему снова несколько раз сказали "це-о, це-о" и повесили трубку. Наконец, до него дошло, что сказанное надо понимать как химическую формулу "СО", то есть окись углерода, или, попросту говоря, угарный газ.

– Что за ерунда? – думали Алексеев и Кузнеченков. – Какая окись углерода, какой угарный газ? Нет никаких сомнений, что отравление желудочное.

Их размышления были прерваны странными и тревожными событиями. Снаружи, за стенами резиденции раздался взрыв, затем выстрелы, крики, шум. Внутри началась суета, по коридорам забежали люди. Выбежал в коридор полуодетый, еще не вполне очухавшийся Амин, держа в руках банки с капельницами, которые он не успел или не смог отсоединить. Затем погас свет. Алексеев с коллегой заскочили в какую-то пустую комнату, ломая голову над тем, что же это творится. Поначалу они думали, что, вероятно, это какие-то внутриафганские разборки.

Откуда Алексееву и его товарищу было знать,

что на этот день был назначен штурм резиденции главы Афганистана советским спецназом. Никто, естественно, их не предупредил, а скорее всего, их непосредственные начальники об этом тоже не знали. Хотя тот, кто выдавал им по телефону бредовую версию причины отравления, видимо, был в курсе. Звуки выстрелов приближались. Через несколько мгновений в проеме двери появилась темная фигура человека с автоматом, который начал поливать комнату очередями. Вспыхнула штора на окне; вскрикнув, упал Виктор, и Алексеев бросился к нему. Человек с автоматом замешкался и сказал что-то вроде: счастье твое, что я твой погон увидел. То есть в момент, когда Алексеев наклонился к своему товарищу, свет горячей шторы упал на его погон, и спецназовец, поняв, что перед ним советский офицер, не нажал на спусковой крючок. "А вообще-то я должен был бы и тебя тоже ... У меня приказ.... " – сказал он и побежал дальше, оставив потрясенного Алексея с умирающим Кузнеченковым. Через несколько минут был убит и Хафизула Амин.

Домой Алексеев вернулся с гробом товарища.

Таким мне запомнился рассказ Алексея, хотя, может быть, что-то я передаю не совсем точно.

Я, разумеется, не был столь наивным, чтобы верить тому, как освещались ввод войск и дальнейшие события в Афганистане советскими средствами массовой информации. Впрочем, слово *наивный* слишком мягкое, ибо надо было быть просто недоумком, чтобы купиться на неуклюжее лукавство формулировок типа «выполнение интернационального долга» или «ограниченный воинский контингент». (Можно подумать, что воинский контингент может быть неограниченным!) Да и забугорное радио все-таки работало и, несмотря на глушилки, доносило до нас реальную информацию. О том, например, что в Афганистане воюет стотысячная армия, что есть тысячи убитых советских военнослужащих и бог знает сколько афганцев.

И все же рассказ очевидца, к тому же человека, которого мы хорошо знали, произвел сильное впечатление. В действиях организаторов атаки на резиденцию Амина поражающе сочетались вероломство, жестокость и идиотизм. Ведь Амин, какой бы он там мерзавец ни был, все же, как следовало из рассказа Алексея, доверял советским дипломатам, военным специалистам и врачам, обращался к ним за помощью. И ведь именно обращениями руководства Афганистана, то есть Амина и его предшественников, за помощью к советскому руководству объясняли ввод советских войск в Афганистан. Ничего себе помощь: первым делом пристрелили того, кто просил о помощи. Ситуация же с отравлением Амина и отправкой во дворец Алексея и его товарищей вообще не лезет ни в какие ворота. Сначала Амина отравили, потом

допустили, чтобы свои же врачи поехали и ценой огромных усилий спасли отравленного. Затем убили его, а заодно мимоходом и одного из врачей угрохали. Причем из рассказа следовало, что не Кузнеченков погиб случайно, а случайно жив остался Алексеев.

Прошло несколько лет. Завеса официального молчания и вранья вокруг афганских событий была прорвана во время горбачевской перестройки. Всем, конечно, памятно выступление Сахарова на первом съезде народных депутатов СССР в 1989 году и яростное неприятие этого выступления большинством депутатов. Особое негодование зала вызвали слова Сахарова о том, что ему сообщали о случаях, когда советские военнослужащие вели огонь по своим. На голову Сахарова посыпались проклятия. И все же какое-то изменение отношения общества к афганской эпопее произошло. Стали допустимы критические высказывания в адрес тех, кто принимал решение о вводе войск.

Где-то в начале 90-х годов Алексеев был приглашен на одну из передач Ленинградского (а может быть, уже Санкт-Петербургского) телевидения. Он повторил там свой рассказ, хотя более лаконично и с меньшими подробностями, чем это было у нас дома. Во всяком случае, впервые широкой огласке была предана история гибели Виктора Кузнеченкова.

Теперь, спустя много лет, коснувшись этой темы в своих записках, я заглянул в Интернет и обнаружил большое количество материалов об Афганских событиях вообще и о штурме дворца резиденции главы Афганистана в частности. Делятся воспоминаниями непосредственные участники и очевидцы, излагают свои версии журналисты и писатели. В некоторых преобладает не критическое отношение к действиям советского руководства и восхваление героизма участников штурма дворца при полном игнорировании моральной стороны, да и просто целесообразности этих действий. Но есть и более объективные описания событий. Так или иначе, для себя я узнал немало нового и интересного. При этом обнаружил, что и у нас дома, и в телевизионном интервью Алексеев не захотел, не решился или не мог рассказать все, что знал и видел, опустив ряд подробностей, которые делают картину происшедшего 27 декабря 1977 года в Кабуле еще более мрачной и трагичной. Вот эти подробности.

Во-первых, оказывается, банкет во дворце был устроен Амином на радостях, потому что ему сообщили, что советское руководство, идя навстречу его настойчивым просьбам, наконец-то приняло решение ввести войска в Кабул.

Во-вторых, отравление участников банкета было делом рук повара (или поваров), работавшего на советскую разведку.

В-третьих, во дворце находилось много родственников Амина, в том числе его дети. Сколько всего там было детей – я не знаю, но во всех источниках

упоминаются, по крайней мере, маленький сын и взрослая дочь (по одним источникам – беременная, по другим – с грудным ребенком). В какой-то момент сын вместе с Амином, Алексеевым и Кузнеченковым прятались в баре. Затем сын был убит вместе с отцом. Дочь была ранена автоматной очередью в ногу. Ее отправили в госпиталь вместе с другими ранеными – как участниками штурма, так и защитниками резиденции. Что потом с ней стало – мне выяснить не удалось. Что касается жены и остальных родственников, точно не знаю, но похоже, многие из них были убиты. Сколько всего погибло родственников и людей из личной охраны Амина – я тоже не знаю. Некоторые добровольно сдались, но не всем, кто к этому был склонен, удалось это сделать. В воспоминаниях одного из участников штурма написано: «мы оставили дворец, в котором ковры были пропитаны кровью и хлюпали под ногами».

Опубликованы данные, что с советской стороны при штурме резиденции из двух групп спецназа КГБ численностью 60 человек погибло 11 человек, большинство остальных были ранены. Еще 30 человек десантников погибли и более сотни были ранены при штурме других правительственных объектов в Кабуле. Среди убитых оказался командир спецназа полковник Бояринов, причем, по мнению некоторых участников штурма, он, как и Кузнеченков, погиб от случайной пули своих же подчиненных, ибо неразбериха в ходе боя была страшная. Все участники боя с обеих сторон были одеты в форму афганской армии. Единственным отличием штурмующих была белая повязка на рукаве, которую в темноте было не разглядеть. Суперпрофессионалы из КГБ, прошедшие подготовку для разведывательной и диверсионной работы, владеющие иностранными языками, бегали по дворцу, громко ругаясь русским матом, ибо это был единственный способ отличить своего от чужого.

В-четвертых, в опубликованном дневнике одного из участников событий, полковника Е.В. Чернышева, исполнявшего в те дни обязанности оперативного дежурного Генерального Штаба в Афганистане, отмечается, что в долго готовившейся операции был допущен ряд просчетов, в том числе такой: «не было развернуто медицинское обеспечение, не было медицинских сил и средств». Ничего себе небольшой просчет! Поэтому были вынуждены «объезжать дома, где жили семьи советников, собирать их жен, которые имеют отношение к медицине. Собрали всех в поликлинике. Туда свозили раненых и убитых. Им оказывали первую помощь, отвозили в госпиталь».

Из других заметок я узнал, что Алексеев из дворца уехал в госпиталь вместе с ранеными и телом Виктора Кузнеченкова, а потом до утра, до изнеможения стоял у операционного стола, спасая тех, кого еще можно было спасти – и своих, и афганцев. В одной из статей я прочел еще такую подробность:

когда Анатолий Владимирович, с трудом тащивший на себе тяжелое тело Виктора, подошел к машине, люди, занимавшиеся погрузкой раненых для отправки в госпиталь, не хотели брать тело Кузнеченкова, сказав, что он все равно мертв, а у них приказ срочно отвозить раненых. И Алексею пришлось соврать, что Кузнеченков еще жив, и его нужно срочно везти в госпиталь, где Алексеев будет его оперировать.

В-пятых, Хафизулла Амин был убит не случайно и не потому что оказал сопротивление, а потому что перед нападавшими именно такая задача была поставлена, и о ее выполнении они должны были первым делом доложить. При этом авторы многих материалов пишут об отсутствии достоверных фактов, свидетельствующих о наличии сговора Амина с американцами (что указывалось как одна из причин для ввода советских войск), выражают сомнения в целесообразности ликвидации Амина и осуждают способ, которым это было сделано. Уже упомянутый полковник Чернышев пишет: «Поражаешься тому цинизму, дикой жестокости, презрению к общественному мнению, которые были проявлены при разработке плана убийства» президента Афганистана. Он предлагает мысленно выстроить «в одну шеренгу погибших и искалеченных в ходе операции советских офицеров, сержантов и солдат, афганских офицеров, сержантов и солдат (которые в подавляющем большинстве считали нас друзьями), жену Амина, его детей» и задуматься, стоило ли убивать и калечить всех этих людей ради того, чтобы ликвидировать Хафизулу Амина.

В качестве одного из факторов, решивших судьбу Амина, называют неприязнь к нему лично Леонида Брежнева. Брежнев не мог простить Амину обмана. Во время визита Амина в Москву Брежнев просил его оставить в живых предшественника – Тараки, кресло которого Амин занял. И Амин пообещал Брежневу не убивать Тараки, хотя в действительности Тараки был убит по приказу Амина еще за два дня до этого разговора. Можно понять чувства Леонида Ильича: кому понравится, когда тебя так нагло надувают. Да и неприглядная личность Амина тоже лишний раз высвечивается.

А через два дня после штурма резиденции Амина и ввода войск в Афганистан, правдолюбивый Леонид Ильич пишет письмо президенту США Джимми Картеру следующего содержания:

«...Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности является содержащееся в Вашем послании утверждение, будто Советский Союз что-то предпринял для свержения правительства Афганистана. Должен со всей определенностью подчеркнуть, что изменения в афганском руководстве произведены самими офицерами, и только ими. Спросите об этом у афганского правительства... Должен далее ясно заявить Вам, что советские воинские контингенты не предпринимали никаких

военных действий против афганской стороны и мы, разумеется, не намерены предпринимать их...»

Комментарий полковника Чернышева: «Как не восхищаться умению вождя врать и считать всех дураками!!!»

И, наконец, последнее. Закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР за штурм дворца награждены были около семисот человек. Некоторым присвоили звания Героев Советского Союза, другие получили ордена Ленина. По линии КГБ наградили 400 человек, включая даже каких-то секретарш и машинисток. Неугомонный полковник Чернышев и тут не удержался от критического замечания, полагая что наградили слишком многих, а некоторые, по его мнению, «зная, что убили своего полковника-врача и, возможно, полковника КГБ, руководившего штурмом, могли бы и воздержаться от принятия наград. Но это уже из области чести, достоинства и порядочности». Вот куда хватил! Ох уж эти полковники! Одни под пули лезут, другие руководство критикуют. Разговорились, понимаешь.

Полковника Кузнеченкова посмертно наградили Орденом Красной Звезды. Полковнику Алексееву никаких орденов не досталось. Дали только грамоту. Большого не заслужил. Но это на Родине. А вот за ее пределами нашелся человек, который счел Алексеева достойным поистине уникальной награды. Этот человек – папа Иоанн Павел II. На Международном симпозиуме по медицине катастроф, проходившем в Италии, он вручил Алексееву символический *пропуск в рай* за самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях.

О *пропуске в рай* я тоже узнал из Интернета. К сожалению, не знаю никаких подробностей. Знал бы раньше – расспросил бы Анатолия Владимировича. Теперь уже не спросить. После телевизионной передачи с его участием я видел Алексеева раза три - четыре. Изредка обращался к нему, когда нужна была помощь или совет по медицинской линии, но делал это только в серьезных случаях, по мелочам не беспокоил. Сам-то он всегда с готовностью предлагал помощь, звонил маме, справлялся о здоровье, поздравлял с праздниками. В девяностых годах он был уже заместителем начальника клиники. И тогда же я узнал, что он перенес инфаркт. С виду он всегда производил впечатление крепкого и здорового человека. Наверно, раньше он и был таким, да уж очень много перегрузок выпало на его долю. К тому же у него серьезно болела жена. А где-то в 2000-ом, когда тяжело заболела мама, я позвонил ему и с огорчением узнал, что Алексеев умер.

Одно утешает – у него был *пропуск в рай*.

СМЕРТЬ СТАЛИНА

Хорошо помню день смерти Сталина. Точнее, конечно, не день его смерти, а день, когда об этом было официально объявлено.

Когда наша учительница Антонина Ивановна с трагическим лицом вошла в класс и начала было что-то говорить на эту тему, с передней парты в правом ряду раздался дикий вопль. Орал благим матом ученик Саенков, которому сидящий на второй парте дылда, обалдуй и двоечник Ромка Симулев вонзил в спину ручку (вставочку) с пером. Учительница бросилась к Саенкову, стащила с него куртку, и мы, повскакав с мест, увидели, как на спине по белой рубашке расплывается кроваво-чернильное пятно. На лице Ромки Симулера застыла глупая кривая улыбка. Он бормотал что-то вроде: "А чё он а чё, он первый начал ..." Огрев Симулера подвернувшейся под руку линейкой, учительница повела плачущего Саенкова в медкабинет, и на несколько минут мы остались одни. Все, конечно, заорали, каждый свое: кто-то говорил, что у "Сайки" теперь будет заражение крови, так как перо было в чернилах, кто-то предрекал "Симулянту" исключение из школы, кто-то грозился устроить над ним ответную расправу, и главный в классе любитель подраться, толстяк и силач Петя Гороховер уже начал вылезать из-за парты, явно желая привести эту угрозу в исполнение; кто-то все же спрашивал: а чё там со Сталиным, а кто теперь будет Сталиным.

Наконец, вернулась Антонина Ивановна и сообщила нам о смерти Сталина и отругала Симулера, а заодно всех нас за то, что в день, когда у страны такое горе, даже в этот день мы не можем вести себя по-человечески. Потом мы вышли в коридор. Там возле бронзового бюста Сталина в почетном карауле стояли старшеклассники-комсомольцы с траурными повязками на руках. Затем нас всех раньше отпустили по домам. Я дошел до угла улицы Софьи Перовской и Невского проспекта. На Невском был установлен громкоговоритель, вокруг которого собралась огромная толпа: все слушали выступление, кажется, Берии (или, может быть, Молотова, не помню точно). Было начало марта, холодно, но все стояли с непокрытыми головами. Многие женщины плакали. Поглядев вокруг, я тоже снял шапку. Постояв некоторое время и проникнувшись трагизмом момента, я пошел домой. В квартире все домохозяйки в крайнем возбуждении обсуждали случившееся, кое у кого были красные от слез глаза. Бабушка, сидя в комнате, причитала: "Что же с нами теперь будет, что же будет?". В противоположность всем, мама, пришедшая домой из университета, не выражала никаких горестных эмоций. Она сказала невозмутимо: "Успокойтесь, ничего с нами не случится. Хуже не будет." Было заметно, что мамино настроение как-то отличается от настроения других. Не успел я об этом подумать, как она отправила меня делать уроки. Я сказал: "А нам

сегодня ничего не задали". Мама возразила: "Иди и займись чистописанием, а то в прошлый раз ты схватил тройку". По их с папой мнению, тройка – это просто конец света. Я сказал: "Так Сталин же умер!" А мама говорит: "А ты все равно займись чистописанием". Наконец, я прибегнул к последнему аргументу: "Мама, а у нас Симулев ударил Саенкова ручкой с пером в спину, а перо было в чернилах. У него теперь будет заражение крови?" Мама сказала: "Симулев ваш – дурак, заражения крови не будет, а ты не заговаривай мне зубы и иди заниматься чистописанием". Я понял, что ни смерть Сталина, ни Симулев с Саенковым не спасут меня от занятий чистописанием.

Когда через несколько лет, после выступления Хрущева на 20-м съезде КПСС, преступления сталинского режима стали достоянием гласности (хоть далеко не полностью, но достаточно для того, чтобы все, кто не утратил желание и способность реально смотреть на вещи, раз и навсегда изменил свое отношение к Сталину), я вспомнил мамину реакцию на его смерть и подумал, что мама и тогда уже понимала, что он собой представляет на самом деле. Понимала она также, кто был инициатором так называемого «дела врачей», из-за которого отец, успешный хирург и доктор наук, потерял работу в Ленинграде и смог найти ее только в Караганде.

Спустя несколько месяцев после смерти Сталина вдруг выяснилось, что с врачами-убийцами-космополитами вышла ошибка. Оказывается, они никого не убивали, а, наоборот, честно лечили советских людей. Эта весть была народом воспринята спокойно, хотя и не так радостно, как это было тогда, когда этих евреев разоблачали и клеймили. Ну а кто виноват в ошибке? Судя по фольклору того времени, виновата Лидия Тимашук:

*Дорогой товарищ Коган
За тебя я рад.
Ты расстроен, ты расстроган,
Но не виноват.
Долго ты сидел-томился
В камере сырой,
Но свергать ты не стремился
Наш советский строй.
Вы лечили аккуратно
Наш рабочий класс,
Но какая-то зараза
Капала на вас.
Ты не порти себе нервы,
Кандидат наук,
Из-за этой из-за стервы,
Из-за Тимашук.*

Что с ней стало с этой Тимашук, народу неизвестно, да и неинтересно. Ну а чья заслуга в восстановлении справедливости? Лаврентия Павловича Берия, конечно. Даже моя бабушка стала

уважительно говорить о том, что Берия, видно, умный человек, смог во всем разобраться. Впрочем, справедливость была восстановлена только в отношении нескольких арестованных крупных московских профессоров, которых выпустили из тюрьмы и восстановили на службе. Но об антисемитском характере всей кампании, конечно, не было сказано ни слова, и тысячи евреев по всей стране, пострадавших в результате нее, никакого восстановления справедливости не дождались. Никто перед ними не извинялся и в прежних должностях не восстанавливал. А кое-кто из них так и сгинул в ГУЛАГе. До речи Хрущева на 20-м съезде еще было далеко. Так что папа, видимо, не считал, что смерть Сталина что-то принципиально меняет, и от своего намерения уезжать в Караганду не отказался¹.

А вскоре народу было объявлено, что и Берия оказался негодяем, врагом народа и агентом иностранной разведки, то ли даже сразу нескольких разведок. Затем его быстренько без суда расстреляли. (Впрочем, похоже, что никто точно не знает, когда именно и где его расстреляли и кто непосредственно это сделал. Публикации на эту тему весьма разноречивы). Народ опять-таки эту новость принял с удовлетворением и еще больше сплотился вокруг родной Коммунистической партии и ее Центрального Комитета. Председателем Совета министров стал Маленков, первым секретарем ЦК КПСС Хрущев, Ворошилов остался Председателем Президиума Верховного Совета, а попавший было в опалу в последнее время при Сталине Молотов снова оказался на посту министра иностранных дел.

В фольклоре все это мгновенно нашло отражение. Например, от своих одноклассников я услышал:

*Лаврентий Палыч Берия
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков
Надавал ему щелчков.*

Так простенько – щелбанов надавал, совсем как у нас в классе, когда кто-то что-то проспорил.

А вот творчество более взрослых юмористов:

¹ В действительности смерть Сталина уберегла нас от куда больших неприятностей. Уже и в те годы ходили слухи, подтвержденные в наше время, что дело врачей, как и предшествующее ему дело Еврейского Антифашистского комитета (ЕАК), являлись прологом к более масштабным акциям. По сталинскому плану эти акции должны были завершиться массовым переселением евреев в Биробиджан, подобно тому как это было проделано с чеченцами, немцами Поволжья, крымскими татарами, турками-месхетинцами и другими неблагонадежными народами. Так что нам крупно повезло.

*Растет на юге алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.*

Интересно, что никого особенно не удивило и не огорчило, что всесильный министр внутренних дел, фактически второе после Сталина лицо в государстве, оказался шпионом; все охотно в это поверили. А довольно скоро оказалось, что и Вячеслав Михалыч с Георгием Максимилиановичем, да и Климент Ефремыч – тоже не такие уж белые и пушистые. Верный ленинец Никита Сергеевич Хрущев сообщил народу об антипартийной группировке Молотова, Маленкова и Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Эта группировка противилась разоблачению культа личности Сталина, была недовольна Хрущевым и что-то замышляла. А Климент Ефремович Ворошилов, как выяснилось позднее, тоже фактически был "примкнувшим к ним" и на пленуме потрясал кулаками, клеймя верного ленинца, но его, так уж и быть, в "примкнувшие" не записали из уважения к сединам и заслугам в гражданской войне (хотя, как выясняется уже в наше время, никаких особых заслуг вовсе и не было). Ну и фольклор, конечно не мог не отреагировать. Так что, когда мы, студенты первого курса физического факультета, сразу после сдачи приемных экзаменов и зачисления в университет, были направлены на уборку картошки в совхоз "Бугры", то отъезжая на автобусе от Менделеевской Линии, дружно грянули песню:

*Расскажу я вам, ребята,
Как была у нас когда-то
ФРАК-ЦИИ-Я.
Разводила волокиту
Чтоб спихнуть с поста Никиту
ФРАК-ЦИИ-Я.
Припев:
Нас не купишь ни водкой, ни золотом,
Лишь в единстве всей партии сила
ХА-ХА,
Маленков, Каганович и Молотов
И примкнувший к ним Шепилов!!!*

Лучше всего хору удавалось "ХА-ХА" – очень лихо и с разбойничьим свистом.

Маленкова, Кагановича и Шепилова отправили на заслуженный отдых (еще раньше эта участь постигла легендарного полководца и министра обороны маршала Жукова), а Молотова, учитывая его большой опыт по дипломатической части, направили послом в братскую Монголию, а уже потом на пенсию.

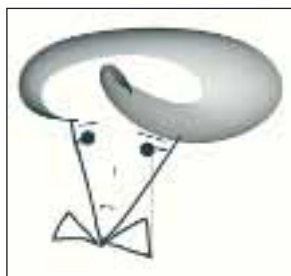
Ну, а уж только после всего этого полувивший, наконец, почти неограниченную власть

Хрущев решился-таки выступить с разоблачениями Сталина и осуждением культа личности. И как бы не относиться к Никите Сергеевичу, к тому, что сам он был замешан во многих преступных акциях сталинского времени, к тому, что наломал немало дров в политике и экономике, к его малообразованности, к тому как с трибуны ООН он грозил показать всем кузькину мать и устраивал разносы деятелям культуры, несмотря на все это, нельзя, на мой взгляд, не признать, что он все-таки сделал благое дело, и не испытывать к нему за это признательности и уважения. Как-никак прозрение хотя бы части общества дорого стоит, и еще дороже то, что сотни тысяч людей вышли благодаря Хрущеву из тюрем и лагерей на свободу, а некоторым погибшим вернули доброе имя. Боюсь, однако, что далеко не все в России сейчас так считают. А вскоре его товарищи по партии скинули и его самого, хорошо еще, что не расстреляли и не объявили врагом народа и шпионом.

Казалось, все эти события, последовавшие за смертью Сталина, могли бы подорвать всякое доверие к властям у самого доверчивого человека. И тем не менее многие продолжали идеализировать или, по крайней мере, оправдывать Сталина, а некоторые продолжают это делать и до сих пор, спустя 50 лет, когда уже вся чудовищная правда выплыла наружу. Как это понять? Чем объяснить безразличие к факту гибели миллионов ни в чем не повинных соотечественников, преклонение перед погубившей их тиранией и восхваление могущества державы, построенной тираном на их костях? Каким образом формируется эта странная психология, в которой пренебрежение к жизни и достоинству отдельного человека, зависть и неприязнь к богатым и удачливым согражданам сочетаются с рабованием перед властью, перед сильной рукой? Как сказал недавно поэт-правдоруб Игорь Иртеньев:

*Товарищ Сталин, вы не горстка праха,
Живой ваш образ в сердце не угас,
И чтобы не случилось – кнут и плаха
Любого слаще пряника для нас.*

А может быть, просто у людей больше ничего по большому счету не было, кроме слепой веры в эти ложные идеалы, кроме гордости за свою причастность к величию и мощи советской империи, и они не хотят расставаться со своим последним достоянием. И вместо того, чтобы возненавидеть тех, кто обманывал их много лет, они ненавидят тех, кто сейчас пытается сказать правду и лишает их иллюзий.



Кирилл Рыскин

ПРО ОСЕНЬ, СОБАК И НЕ ТОЛЬКО

ЧИК-ЧИРИК



ХРЮШКА В НЕБЕСАХ

Хрюшка разлеглась посредине огромной лужи. Когда вода успокоилась, хрюшка оказалась в небе. В небе, отражённом лужей.

ДРАКОНЧИК

Один художник нарисовал дракончика. Он так хорошо его нарисовал, что дракончик ожил, отделился от листа бумаги и улетел через форточку.

Люди показывали на него и говорили:

- Смотрите, смотрите!
- Ой, какой симпатичный, совсем не злой!
- Позвольте, но ведь драконов нет?!
- Значит, есть. Вот такие. Маленькие.

А художнику остался лист бумаги с дырой.

ПРО ОСЕНЬ И СОБАК

В парке под деревьями и кустами лежат вороха осенних листьев. С ночи и до самого полудня на них белеют круглые пятна инея.

Между чёрными мокрыми стволами мелькает рыжая, с белой грудкой колли. Будто бежит охапка осенних листьев с белым пятном инея. Наверное, она такая же мягкая. Очень хочется её погладить. Но этого нельзя сделать, потому что колли – чужая.

ЧАЙ ИЗ КЛЕНОВОГО ЛИСТА

Осенние листья пахнут крепким чаем. Я взял домой один, кленовый. Высушил его утюгом, накрошил в чашку и попытался заварить кипятком, как мама заваривает чай. Получилось клейко, тягуче, невкусно и совсем на чай не похоже. И запах куда-то пропал.

РАЗГОВОР НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

- Гав!!! Гав!!!
- Гав-гав-гав! Ты кто?
- *Собака Баскервильей*. А ты кто?
- *Муму*. А зачем ты такая страшная?
- Чтоб учились не бояться. А зачем ты такая грустная?
- Чтоб учились грустить.





Нурия Мурсалимова СКАЗКИ-ПЕРЕСКАЗКИ



КОТ КОТОФЕИЧ

Кот Котофеич состарился и разучился ловить мышей. Хозяева уже собрались было выгнать его из дому, но тут Кота Котофеича пожалели мыши.

Каждое утро одна мышка притворялась мёртвой, а Кот Котофеич делал вид, будто это он её поймал. Хозяева решили, что кот снова начал выполнять свою работу, и не выгнали Кота Котофеича.

Мышам тоже хорошо стало: они с котом подружились и даже приходили к нему на день рождения, ели сыр с тарелочек.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Жил-был царь, и было у него три сына. Задумал царь сыновей женить и велел каждому стрелу пустить. На чей двор упадёт стрела, там и невесту надо искать.

После старшего и среднего братьев пустил стрелу Иван-царевич, и полетела она далеко-далеко. Долго искал стрелу Иван-царевич, наконец, видит – сидит на болоте царевна-лягушка и держит стрелу. Хотел Иван-царевич посадить царевну-лягушку в платочек и отнести домой, а она и говорит:

– Иван-царевич, зачем нам во дворец идти? Я не хочу быть царевной, лягушкой куда лучше оставаться. Смотри, как на болоте здорово: никаких вредных царских невесток нет, голубики и клюквы полно, камыш растёт, лягушки заливаются...

Подумал Иван-царевич, да и остался у лягушки на болоте. И не жалеет ни капельки – ест себе клюкву с голубикой, камышом любитесь, лягушкам подпевает, когда никого рядом нет.

Вот так-то.

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

У одной козы было семеро козлят. Однажды утром коза ушла из дому, наказав козлятам никому не отпирать дверь.

Сидят, сидят козлята. Вдруг песенку мамы-козы запел из-за двери грубый волчий голос:

Козлятушки, ребятушки,
Отворитесь, отопритесь!..

Козлята отвечают: – Не отопрём, у тебя голос волчий.

А голос из-за двери говорит:

– Я и есть волк. Из кооператива «Добрые услуги». Молока вот вам принёс и капусты. Не бойтесь, я вас есть не буду: я на работе. Да и ем я не козлят, а докторскую колбасу.

Козлята взяли и открыли дверь. Волк выгрузил из сумки капусту, семь бутылок молока и ушёл.

А на столе квитанцию оставил.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Жили-были три брата: двое умных, а третий Емеля – дурак. Он всё время лежал на печи и не любил работать. Ушли раз старшие братья из дому, а невестки послали Емелю за водой. Еле-еле упросили.

Емеля пришёл к проруби, зачерпнул ведром воду и поймал щуку! Вот, думает, уха сладка будет! А щука и говорит человеческим голосом:

– Отпусти меня, Емеля, назад в реку. А я твои желания исполнять буду.

Емеля отпустил щуку и тут же говорит:

– По щучьему велению, по моему хотению, пусть я перестану лениться!

А потом взял вёдра и понёс домой. Сам. Потому что по щучьему велению перестал лениться. И на печи верхом не ездил, потому что сделался фермером, заработал денег и купил себе автомобиль «Москвич».

ТРИ ПОРОСЁНКА

Жили-были три поросёнка: Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф. Решили они к зиме построить себе домики: Ниф-ниф – из соломы, Нуф-нуф – из хвороста, а Наф-наф – из кирпича (потому что Наф-Наф был самый умный). Насобирали Ниф-ниф соломы, Нуф-нуф – хвороста. А Наф-наф сидит и думает. Наконец всё обдумал и говорит:

– Поросята! Всё равно, когда волк дунет, плюнет, и ваши домики рассыплются, вы ко мне придёте. Давайте сразу строить втроём один домик из кирпича!

Поросята согласились и соорудили очень крепкий кирпичный домик. Стали они там дружно жить. Соломой набили матрацы, а хворостом печку топили – не пропадать же добру!

Волк увидел домик из кирпича и даже не попытался дунуть и плюнуть, чтобы развалить его. Он немного посчитал на калькуляторе и решил, что не стоит: крепкий домик!

Инна Мельницкая

НЕМНОГО ОРНИТОЛОГИИ

СОРОКА

Повсюду известно: сорока – воровка.
У них, у сорок – воровская сноровка:
Чуть где-то увидит, что что-то блестит –
Она за добычей сейчас же летит!
Ворует негодница вилки и ложки,
Булавки и кнопки, приколки и брошки,
И даже, при случае, связку ключей,
Хотя непонятно – зачем они ей?
Недавно (а это совсем уже худо!)
Щипать стала шерсть на горбу у верблюда –
Гнездо конопатить! От таких дел
Верблюд огорчился, верблюд заболел –
Такая была зоопарку морока!
А всё натворила злодейка-сорока!
Гнездо у сороки всегда неопратно –
Зато уж сама неизменно нарядна
И вроде бы так уж была б хороша,
Когда б не её воровская душа!

19-21 января 2009

СКВОРУШКА

У меня живёт жилец –
Удивительный скворец:
Он то лает, то мяучит,
То кудахчет, наконец;
То, как ворот у колодца,
Он натруженно скрипит,
То бранится, то смеётся,
То невнятно говорит;
То, сменить желая сцену,
Выходя в прямой эфир,
Он садится на антенну
И вещает на весь мир,

А захочет порезвиться –
Вдруг зальётся соловьём.
Замечательная птица!
Мы с ним весело живём –
Только боязно немножко,
Если рядом бродит кошка.

Те же дни 2009

Говорят, что стрижи в полёте
Спят в движенье на автопилоте.
Что там, в крохотном этом теле,
Их выводит к заветной цели?
Как – по солнцу или по звёздам –
Долететь к прошлогодним гнёздам?
Только маленькой, гордой птице
Ни на миг нельзя приземлиться:
Если стриж приземлится в пути –
Значит, он уже не взлетит.
Я по самому краю хожу,
Но упрямо себе твержу:
Да, конечно же – ты не птица,
Но не дай себе опуститься!
На любом крутом вираже
Помни, помни полёт стрижей:
Если стриж опустился в пути –
Значит, он уже не взлетит!

Апрель 2010





Тихон Енькин
СТРОКИ ОТ ЛУКАВОГО

ПОДСКАЗКИ КЛАССИКАМ

Федору Тютчеву

*Душа моя, Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных...
А всех живых, корявых и несчастных,
Я попрошу не приближаться к ней.*

Борису Пастернаку

*Все яблоки, все золотые шары...
А также погромы, а также костры.*

Иосифу Бродскому

*Я входил вместо дикого зверя в клетку....
Зверь писал за меня стихи нередко.*

Федору Сологубу

*Под качельною доской
чёрт ругает род людской.
Говорят, на Сологуба
он обиделся сугубо.*

Подражание Ренате Мухе¹

*Не различала лица я,
но то была полиция.*

ПРО АПОСТОЛОВ

1.

*Апостол Пётр,
Великий муж,
Позавтракал сначала.
И принял душ,
И принял душ,
И принял душ
Немало.*

2.

– А по столу стучали?
– Апостолу?! Стучали!!

ЗАПЧАСТИЦЫ

* * *

*Пальцы тянутся к перу,
А ладонь-то – к топору!*

* * *

*Забилось сердце. Под кровать.
Мне страшно, страшно... лень вставать.*

* * *

*Говорите, пожилая?
Но еще ведь не жила я.*

* * *

*То ли вправду я живу,
То ли это дежавю.*

* * *

*Пошел он ближним рожи бить:
Решил самим собою быть.*

¹ Первоначальное заглавие «Под Муху» было изменено по требованию редакции.

– *Примечание автора.*

* * *

Напишу о Томасе Манне я,
Напишу эссе о романе я,
Иль рассказ, иль поэму
На свободную тему –
Допекла меня графомания!

* * *

Золотой, тончайшей работы алтарь покрыт слоем
пыли. Простодушный цинизм природы...

* * *

Оставь себе надежду навсегда.

* * *

Взял себя в руки и тут же с отвращением бросил.

* * *

Высокий уровень глубоких знаний.

* * *

Добро побеждает зло. И грубо.

* * *

Пей за жизнь, пейзажист!

* * *

В основу либретто поэма легла. И не встала.

* * *

Свобода не есть осознанная необходимость.
Свобода – это отсутствие необходимости.

* * *

Стихи без рифмы, без ритма, и без слов.

* * *

Литература – это нажатие на точку в мозгу. При
этом человек видит вспышку света, хотя рядом с
ним никто не включал лампочку.

* * *

Подайте бедному литератору талант.
Хотя бы полталанта. Можно даже не золота, а
серебра.

ПАРОДИЯ

*(...) Все не так, моя радость, и все не то
целую вечность. То есть пока мы здесь(...)*

*(...) Возле твоей кровати стоит капкан
вместо домашних тапочек. По стене
мечется тень, как спятивший таракан.
Выключи свет и повернись ко мне.*

(...) Вот ангел с голосом недужным.

(...) Там черт тасует чет и нечет...

Ян Шенкман

КОМНАТНЫЙ СОРРЕАЛИЗМ

Пыли барханы везде лежат на полу.
Я же просил, моя радость, тебя убрать.
Ангел застрял в паутине, жужжит в углу.
Черт над картами киснет – могла бы с ним и
сыграть.

Возле кровати ты бросила вновь капкан,
Ружья развесила криво ты по стене.
Думаешь, это тень? Да нет, таракан...
Ладно, выключи свет и иди ко мне.

1

Однажды утром Воронкин обломал розовый жасмин, нахально растущий возле гаража. Редкого сорта куст стал совсем редким. Увидев такое, Женька вскричал: «Ты варвар, Воронкин! Из чего я теперь буду делать веники?!»

После чего он демонстративно вскипятит не только чай для себя, но и фруктовый сок, предназначавшийся для друга. Пить последний стало невозможно, и Воронкин, разинув от жажды рот, побрёл на набережную.

По набережной валила счастливая толпа, от радости подбрасывая в воздух всё, что попадалось на пути: серебрянных столпников вместе с их тумбами, конных полицейских вместе с лошадьми, тюленей, из любопытства выползших на тротуары. С трудом увёртываясь от подброшенных, в небе парили чайки. Увидев Воронкина с разинутым ртом, они приняли его за птенца и накормили свежим кислым хлебом. В эту минуту Воронкин понял своё призвание: «Буду артистом!»

Тут он увидел, что какой-то хлыщ сидит на мостовой и шевелит поднятыми над головой руками с растопыренными пальцами. Хлыщ изображал куст, но люди не вдавались в обман, потому что шевелился он без ветра. Воронкин, уже видевший во всяком уличном артисте коллегу, возмутился столь бездарной игрой и, схватив хлыща за шиворот, потащил к океану, приговаривая: «Будешь водорослью, водоросли шевелятся всегда!» При этом у того вывалились из-за пазухи сперва удавка, потом гильотина, и, наконец, испанский сапожок. Стало ясно, что мнимый куст только что ограбил расположенный на набережной музей ужасов¹. Уличённый в преступлении, хлыщ захныкал, обещал исправиться и завтра же прийти с шоколадной бомбой. Тогда Воронкин его отпустил.

¹ В Сан-Франциско действительно имеется таковой.

2

Однажды утром Воронкин, отвинтив массивный железный люк, ведущий в его жилище, выглянул наружу посмотреть, что попало в расставленные им накануне воздушные сети. В сетях оказались: двухмоторный самолётик, принадлежащий иной державе, воздушный шарик и горсточка тополиного пуха. Самолётик жужжал, грозя разорвать сети и международные дипломатические отношения; пришлось его выпутать и выпустить. Воздушный шарик Воронкин спрятал на случай кислородного голодания, а тополиный пух тщательно собрал и ссыпал в наволочку. Ещё горсточек сто-двести, и наберётся на вполне приличную подушечку-думку. «Настоящий артист всё сумеет добыть из воздуха!» – радовался Воронкин.

3

Однажды Аня зашла в почти пустое кафе, где вяло крутились двое: у стойки – продавец, а под потолком – вентилятор. Допив заказанный лимонад и доев даровой лёд, она вдруг ощутила липкое прикосновение. Оказалось, что к её тени ластится тень продавца. «Оскорбление действием!» – подумала Аня и со злостью стукнула тень продавца тенью каблука.

4

СТИХОТВОРЕНИЕ ВОРОНКИНА

Ты в океан сиганула вчера –
Отогнуть от причала айсберг.
Ты могла простудиться насмерть,
А быть может, поймала насморк,
И тебя мне спасать пора.
Твой тихий чих услышав за версту,
Я немедля примчался пулей.
От простуды лучше принять доброту, –
Это что-то вроде пилюли.
А я, чтоб совсем тебе угодить,
Саламандрой влезу на кручу
И крикну: «Эй, сосны, бросайте курить –
Ваша хвоя слишком горяча!»



Лина Маркова

О СКАЗКЕ МАРИНЫ ЗОЛОТАРЕВСКОЙ «КОРОЛЬ ЗАВИДИЙ»

О, женщина великим сердцем
Может
Все тайны мира разгадать:
Ведь мир роднее ей.

Малоизвестный поэт Аки-Паки

Новый ли, старый ли этот жанр — сказка-антиутопия? На это я не берусь отвечать, но с радостью приветствую автора сказки о короле Завидии. Сказка захватывает, поскольку интересна и по мысли, и по языку.

"Король Завидий" — антиутопия человеческого характера, в котором доминируют зависть и злоупотребление властью. В сказке встречаем двух королей: Нивзуба Нагого, погубленного его собственной тупостью, и его наследника Зариция, которого звали так на заре его правления, а, когда он стал одержим завистью, переименовали в Завидия.

С Нивзубом все ясно: тупой, возомнивший себя знатоком, деспот. Со вторым, Зарицием-Завидием, сложнее. Он ведь отнюдь не глуп, ценит знание и опыт и поначалу правит страной прекрасно: распределяет обязанности своих подданных по их способностям. Но, наблюдая людей, реализующих себя по своему призванию, он понимает, что сам он такого ярко выраженного призвания лишен, а значит, лишен полноты и радости жизни, которые есть у людей талантливых или просто хорошо делающих свое дело.

Ему указывают на то, что он может себя проявить как разумный властитель, но власть ему не в радость: это лишь его обязанность, а не призвание. И он начинает завидовать мастерам черной, разрушительной завистью, которая губит и страну, и его самого. В конце концов — и слишком поздно — он видит, что люди, увлеченные своим делом, выживают благодаря своему призванию даже тогда, когда это вроде бы невозможно. Не преданность ли призванию, идеалам или просто делу, которое надо делать, спасает Александра Исаевича Солженицына и его героя Ивана Денисовича?

Мотив наполненности жизни у людей, хорошо делающих свое дело, перекликается с книгой художника Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». Кочергин — страдалец сталинского режима — выжил в нечеловеческих условиях благодаря своей воле и таланту. Но не призвание ли

порождает волю и мотивацию, необходимые для жизни? Наталья Дельяго, PR-директор изд-ва "Вита нова", выпустившего книгу Кочергина, говорит: «... книжка Кочергина — это песнь профессионализму, это рассказ о том, что в профессии человека его спасение. ... И как только появляется в этой книге речь о профессии, о том, что человек что-то делает хорошо ... — в любом случае профессиональный человек, во-первых, живет всегда очень интересно, во-вторых, у него всегда появляется возможность выжить и какая-то надежда».

В сказке «Король Завидий» люди, противоположные королю Завидию, добрые люди, а лучше по-украински — добродії (делающие добро) — воспринимаются не как фантазия, а как реальность. Этому способствуют и имена таких людей: физика — Тарконт и поэта — Шмель, в которых угадываются анаграммы близкие к именам «Канторович» и «Мандельштам». Мандельштам и сам упоминал, что в его фамилии «гудит» шмель.

Истинный *герой* (во всех смыслах) сказки не король Завидий, а простой солдат. Он был ранен в ногу из-за абсурдного приказа прежнего короля, и зовут его Однопят. Но во лбу у Однопята семь пядей. Это гармоничный-симпатичный человек. Ему дарован чрезвычайно развитый здравый смысл, который свойственен людям с умением сосредоточиться на проблеме, а не на ее следствии — опасности. Именно такие люди сами обладают высокой степенью выживаемости и способны помочь выжить другим.

Предназначенная для неизбежного уничтожения узников тюрьма, в которую попадают солдат Однопят, ученый Тарконт и поэт Шмель, называется Домом Умников. Каждый из узников-умников выживает благодаря своим выдающимся способностям. Ученого и поэта спасает всепобеждающая потребность творчества, а солдата — его здравый смысл и близость к земле, природе. В его камеру прогрызла ход крыса,

которой солдат несказанно обрадовался: живое существо!.. Он стал делиться с ней тюремной пайкой, приручил ее и назвал Умницей, потому что она сделавшись его другом, добровольно осталась в Доме Умников.

Король Завидий решает посетить тюрьму и, к своему изумлению, находит там узников живыми. Талант убить нельзя, доказывают ученый и поэт. А солдат Однопят объяснил королю, что выжил, потому что у него такая замечательная подружка — крысонька, и продемонстрировал королю ее таланты. Обезумевший от зависти король хотел уничтожить ее, обнаружив, что и у животного может быть талант. Тогда Однопят сказал, будто выдохнул: «Постыдитесь, государь!» Глагол в императиве прожег сердце короля, и Завидий сгорел. Доброта и здравый смысл свершили правосудие.

В этой жуткой тюрьме Умница — единственное существо женского пола. Возможно, в этом качестве она и сохраняет жизнь своего друга-человека, а через него и всей страны. И в конце, когда Однопят умирает, Умница уходит вслед за своим другом туда, откуда появилась, — в недра земли.

Следует сказать и о языке сказки. Все персонажи имеют значащие имена, текст изобилует игрой слов, множеством анаграмм и рифм внутри предложений. Уже были упомянуты значащие имена королей — Нивзуб Нагой и Зариций-Завидий — и анаграммированные имена ученого и поэта. У всех остальных персонажей тоже имена со значением: строитель мостов инженер Крептер, солдат Однопят, начальник службы РАСПРАВ генерал Шиш, бывший шут.

Вот пример рифмы и анаграммы — шутуш — в предложении: «А этот [шут] больше не надевал колпака, не валял дурака, и старался стушеваться в толпе придворных. Что за шут

такой?» В тексте таких примеров множество, чуть ли не весь он звучит так, как предложение: «Переплавили на сковородки почти все чугунные лодки — последнюю оставили, на пьедестал поставили...»

Игра слов часто *буквально* материализуется, вплоть до ее апофеоза — кончины короля Завидия, который сгорает от стыда. Особо примечательно также название учрежденной в стране новой службы: «...называлась она Служба Распределения Справедливости, сокращенно Служба РАСПРАВ».

В беседе со мной автор заметила, что в сказке она только ставила вопросы, отвечать на них не было ее задачей. Но благодарный читатель может найти ответ на вопрос, который, возможно, не раз задавал себе сам. Ведь и правда, что тем, у кого есть призвание, жить намного интересней, чем людям, живущим рутинной, не знающим больших взлетов. Однако далеко не у всех призвание выражено с достаточной силой, не все могут обнаружить свои наилучшие способности. Что же им остается делать? Страдать от своей неполноценности?

В сказке можно найти ответ на этот вопрос таким образом: постыдитесь не только зависти, но и своих страданий! И сделайте это вовремя, не то сгорите от стыда, как это случилось с королем, который из Зариция превратился в Завидия: он постыдился по-настоящему слишком поздно и буквально сгорел от стыда, испепелился. Будучи от природы неглупым человеком, он, вероятно, всегда в глубине души стыдился своих решений, продиктованных завистью, и в конце концов, стыд, глубоко осознанный, сжег его. Стыд, как известно, — производная совести, так что сказка без слов подсказывает, как жить-быть: вовремя услышать голос совести, она поможет и примирит с жизнью.

Ах, как много смыслов! Эта многозначность и создает *качество* мысли.

Отнюдь не все смыслы-идеи и языковые находки здесь названы, но читатели их наверняка найдут, к своему удовольствию.

Лиана Маркова
**ПО ПРОЧТЕНИИ РОМАНА
ЕЛЕНА КАТИШОНОК
«КОГДА УХОДИТ ЧЕЛОВЕК»**

В этом году вышел роман Елены Катишонок «Когда уходит человек». Романы с такими концовками может писать только такой прозаик, который по существу — поэт. Это то, что захлебывается в груди, это «и жизнь, и слезы, и любовь».

Отзыв надо писать, когда чувства упорядочатся, когда возможным станет толковое изложение и аргументированное толкование. Но нет, надо сейчас, по свежим впечатлениям, навеянным этим гулом, пением, запахами, звуками, шорохами, взглядами, тенями, камнями, ветвями, сонно-мистическим колыбанием истории, порой воплощающейся в чудесную плоть жизни — в пффефферкухен — ароматный десерт с перцем, рождением и смертью.

«Пишет не как женщина, не «женский» роман» — что это? комплимент? Нет, увы, это ходульное поощрение патриарха. Женщина, родившая, рожающая (или рожденная рожать — «Бог тебя создал такой!» — Блок) может писать от своего имени — ведь мир, выношенный ею, роднее ей. Так и пишет Елена Катишонок.

Её новый роман — это история 20-го века на примере истории города-аристократа¹, города с европейско-русской культурой, города на границе между западом и востоком. Это история века, возможно, в пограничной ситуации истории человечества, когда невольно думается, что не обнять миллион в том доме, который мы знаем, помним и любим — в доме европейской цивилизации и культуры.

Читайте книгу — вот вам и доказательство!

«Структуральнейший» лингвист Роман Якобсон сделал разбор поэтического языка стихотворения Блока «Девушка пела в церковном хоре». Критики и студенты-филологи от этого блестящего разбора выиграли, а стихотворение осталось самим собой. Последней строкой из него заканчивается третий роман Елены Катишонок. (Блок, он же ребенок, причастный тайнам, знал, что «никто не придет назад», и это знание до срока увело его туда, куда уходят и не возвращаются... По крайней мере, в той же ипостаси и в том же месте.)

В одном из интервью Елена Катишонок сказала, что она пишет одну бесконечную книгу: это как Маргарита за прялкой, или как норны, которые «прядут свою пряжу» до самой гибели богов.

Да, одна книга. «Дом, который построил ты».²

¹ Е. Катишонок «Тот город был аристократ». Порядок слов, Бостон, 2009

² Там же

Это любимый дом. Дом, вобравший и несущий пласты нашего опыта — раздумий, философий, поэзии, красоты. Это дом, о котором мы читаем в книге «Когда уходит человек». И к этой книге-дому стали причастны и мы, читатели, «дети страшных лет России».

Рожденные в года глухие,
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забить не в силах ничего.

А.Блок

Роман Елены Катишонок раскрывает пророчества трагических стихов Александра Блока, созданных в годы первой войны 20-го века. Но книга — это сбалансированная мозаика жизни, в которой, пока жизнь теплится и земля вертится вокруг привычной оси, найдётся место добру: ветке сирени, или кусту вереска, или доброму человеку.

Читайте книгу. Там Громов громил, а став Тихоном, все забыл и мог только хоронить. Не случайно и отчество Тихона — Савельич. Ведь имя «Савелий» — это русский вариант библейского имени «Саул». Саул, Савл, стал Павлом. Вот и Громов стал Тихоном.

Там красавица с нежным именем Леонелла не ведая, что она сеет ненависть, невинно сообщает долгожданному человеку, человеку, с которым связана надежда на лучшее, может, даже на счастье, человеку-горю (Берг-ману — по-немецки), что в квартире его соседа снова живут «жиды», и этим перечёркивает «и жизнь, и слезы, и любовь». Макс Бергман, до войны забывший, что он еврей, не в силах забыть об этом после войны, неся в мыслях и в сердце кровавый отсвет гибели своих друзей — еврея Зильбера (которого он не успел спасти) и немца Шульца (который спас его).

Мозаика жизни. Мозаика — как известно, от имени Моисей... В дополнение к эпиграфу из Библии, от которого холодеет кровь («Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя»), в книге есть и строки (и *восстал брат на брата* и много других), и мотивы из Библии, как Моисеевой, так и Нового Завета, начиная от упомянутого выше «Грома Тихоновича». Младенец в корзинке, которого спасает — пусть не принцесса, но фея красоты; уходя из родного города и родного дома, нельзя не обернуться, говорит автор, и соляной столп — это слезы прощания и разлуки. Автор не спорит, но размышляет, ведет разговор с Библией — ведь закон Моисеев всячески поощряет именно размышление.

Самый главный герой романа — Дом № 21 на Палисадной ул. — живой, дышащий, говорящий. Дом-теремок, заселенный, при благих обстоятельствах, в общем-то симпатичными людьми, пока не обрушивается «всех-давишь».

Как и большинство людей на белом свете, жильцы Дома — не борцы и не идеологи, коль скоро это не становится профессией или условием выживания. В романе нет мотива возмездия как нет и идеологии, ибо, по-библейски, — «Мне отмщение, и Аз воздам».

Они не борются ни с властью, ни с Богом, однако Израиль как народ Библии здесь присутствует во всей своей судьбоносно-трагической роли: как участник всего происходящего наравне с другими народами и как народ-жертва, народ особой судьбы. Отношение к народу Израиля — пробный камень человечности других народов, а человечность — это залог выживания человечества.

Есть и подлинные родители этого дома и в этом качестве — родители всех его первых обитателей — Ян и Лайма Майгарсы. Это — боги, хранящие кров и очаг. Это хранители самой Земли.

Елена Катишонок без пафоса, без возмущения, а просто с болью, скрытой за доброй улыбкой женщины-матери, напоминает: «Человек, оглянись и взгляни на дом свой, который ты покидаешь». В этом доме все живое и такое жизненно-хорошее и родное. В этом доме — все, что может быть любимо человеком. Все, что могут дать любящие родители — сама планета любимая, Земля.

Лестничные площадки и фойе дома выложены мозаикой из восьмиугольных плиток трёх-четырёх ласкающих глаз оттенков. А в романе — мозаика из огромного числа персонажей, и каждый запоминается своим индивидуальным характером, физическим обликом и речью. В романе — симфония звуков и красок, гул и гармония, шум мирных улиц и гром войны, тихое пение и «вой и скрежет зубовой» — исторический и библейский.

Мозаичен и стиль романа: это роман-эпопея, в котором отражены без всякого нажима и риторики вековые исторические трагедии — войны, репрессии, геноцид; роман-притча о многих судьбах, смысл которых читатель поймёт как сумеет, ибо автор предоставляет ему полную свободу суждения; роман-стихотворение-в-прозе; а также роман-фельетон. Последнее — новое по сравнению с первыми двумя романами. Читайте книгу — найдете это все.

Взгляни же на дом свой, человек! Это все, что ты любишь... или любил?! Ибо может так стать, что никто не придет назад. Эти слова говорит человек по фамилии Устал. Он не цитирует. Это говорит человек, который так устал! Это также говорит мать всех сыновей и всех дочерей, женщина-автор, которая хочет их уберечь, ибо в этом смысл ее жизни.

О КНИГЕ ЕЛЕНЫ КАТИШОНОК «ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ»

*Новых земель и других морей
Тебе не увидать — нет!
Город родной, как твоя судьба,
Будет идти вослед.
Тем же кварталом, улицей
прежней
Вечно тебе бродить,
В тех же домах сединою снежной
Голову остудить.*

Костантинос Кавафис

Книга Елены Катишонок «Против часовой стрелки» стала мне другом в нужную минуту. Жалко было дочитывать, но дочитав, подумала, что мысли о книге останутся со мной, как останутся со мной друзья.

Это вторая книга автора, продолжение романа «Жили-были старик со старухой».

Обе книги — сага об одной семье, от донского казака Григория Иванова и его жены Матрёны (Старика и Старухи) до четвёртого колена, правнучки Ольги. После Первой мировой Старик и Старуха поселяются в Риге (в обеих книгах именуемой Городом), куда двинулись и другие казачьи семьи из Ростова-на-Дону. Многие из них были староверами.

Будучи продолжением первой, вторая книга совсем другая, хотя личность автора и его творческие родники узнаваемо те же. В обеих книгах важнее всего живое присутствие персонажей, жизнь трёх поколений: Григория и Матрёны, их детей, внуков, а также родственников, соседей и значимых посторонних. Это их живая речь с характерными интонациями и словарём, их привычки, манеры и переживания. И когда мастерство автора вовлекает тебя в эту жизнь, уже не возникает или отпадает вопрос: чем замечательны эти люди, зачем я о них читаю, когда жизнь так коротка и заполнить ее надо бы чем-то действительно значимым?

Почему так надолго притягивает взгляд иная картина, — например, «Мальчик с собакой»¹ Мурильо? Потому что оба персонажа этой картины чудодейственно живы на полотне. Они схвачены в движении, в дыхании, в увлеченности игрой, и зритель вовлечен в эту сцену, как если бы он увидел ее в самой жизни.

Вовлеченность в творчество и есть наиболее значимое заполнение жизни. Ведь все непрестанно ведут разговор о жизни — сами с собой или с другими — о своей, о жизни близких, друзей и знакомых, о жизни обществ, стран, эпох. Когда же

¹ Картина находится в Эрмитаже, Санкт-Петербург.

автору удаётся вовлечь читателя в круг жизни своих персонажей настолько, что тот начинает вести с ними разговор, страдает с ними и радуется, и более того — находит в их жизни много общего со своей жизнью и своими переживаниями, — тогда читателю достался счастливый лотерейный билет: участие в созидании творческой энергии, возможность войти в поле искусства.

Войдя в жизнь мебельщика Григория Максимыча и его своенравной, обаятельной жены Матрёны, «мамыньки», с её говорящими соболинами бровями; пройдя с этими людьми через перипетии семейных отношений их пятерых детей и похоронив эту чету в первой книге, мы начинаем вторую, которая вводит нас в жизнь старшей дочери, Ирины Григорьевны. Эта жизнь пересмотрена, продумана и снова выстрадана Ириной с передышками на недолгое, но острое счастье — по полному кругу против часовой стрелки.

«Против часовой стрелки» — отнюдь не метафорическое название. Старый, довоенный, до 1939 года, будильник с «металлическим бантиком» для завода (против часовой стрелки) — ценнейший для сердца героини пенат-носитель жизни. Он приобретен в счастливое время самым дорогим человеком, мужем Колей, единственным возлюбленным, отцом ее детей.

Наряду с людьми в книге как бы живут и взаимодействуют такие стихии как время, пространство, Вера, а также космос в виде примет, гаданий и снов. Одушевлены и предметы быта. Они действуют по-настоящему, без снисходительных оговорок и объяснений, наравне с людьми и всей той большой и малой средой, в которой обитает человек. Елена Катишонок обладает редчайшей способностью контакта с этими стихиями и дает возможность своим читателям испытать этот контакт всеми пятью (и более) чувствами.

Как живы иконы, которым молятся, так и обычные вещи могут быть участниками жизни. «В каждом доме существует какой-то предмет, порой нелепый, значимость которого непонятна чужим. ... У вещей, как у людей, своя судьба», — говорит автор. Если в них вкладывается жизненное значение, вещи несут его, и порой даже посторонние это замечают.

Таков старый будильник, заслуживающий подробного разговора. Живыми предстают и другие вещи. Вот тумбочка, которую смастерил Старик Максимыч и где держал он свои лекарства и газеты. Внучка Таисья поставила на нее граммофон, которым пришла похвастаться. Граммофон никому не пришелся по душе, а маленькая правнучка Ольга, дочка Таисьи и внучка Ирины, назвала его «Магафоном», каковое название перешло ко всей тумбочке.

Маленькая Ольга (Лёлька) стала держать в ней свои детские книжки поверх прадедушкиных газет, и тумбочка вместе с внучкой переехали жить к бабушке Ирине. Потом Лёлька держала в ней свои школьные книжки и тетрадки. И уже через много лет, когда Лёлька стала взрослой, был момент, когда понадобились газеты для оклеивания оконных рам к зиме, а их под рукой не оказалось. Лёлька-Ольга вспомнила про старые прадедовы газеты, которые все эти годы пролежали в «Магафоне» и которые вдруг пригодились для защиты от холода; они обогрели ещё и воспоминаниями — рубрикой «Сегодня» 30-х годов.

Такова и картина над столом, на которой уютно расположились две дамы образца 1910-х за чтением книги, вероятно, приятной. Картина висела напротив Ириной кровати, и Ирина всегда ее замечала и постоянно ощущала малый уют, которым картина никогда не уставала делиться.

Когда требовалось на время перебираться к внучке, «... бабушка [Ирина] всякий раз собиралась положить в торбу будильник, но ограничивалась тем, что заводила его, держала, согревая в руках холодный металл, и... ставила на место. Понимала, что унести его отсюда — всё равно, что снять со стенки и унести картинку с читающими дамами ... Пусть они остаются дома».

Картина и «Магафон» были беззвучно говорящими, а будильник говорил, резонировал и располагал неким словарным запасом. «И было утро, и был новый день. Будильник возвестил начало этого дня сипловатым, но добросовестным бренчанием, после чего утратил к нему всякий интерес», — вот одно из многочисленных проявлений жизни будильника в жизни его хозяйки.

В книге он звучит часто, как концертмейстер, задающий оркестру тон. Вернувшись из эвакуации, Ирина находит его в опустевшей квартире.

«...[будильник] безмолвно стоял на подоконнике, лишившись привычного компаньона — комода. Ирина обвела глазами опустевшую квартиру. Взяла в руки будильник и привычным жестом, словно не было этих шести лет, начала медленно заводить: gegensinnig, gegensinnig, gegensinnig. Против часовой стрелки. Немецкое слово точно передавало звук завода: действие озвучилось. Будильник задумчиво цокнул несколько раз, а потом застучал, одобрительно прислушиваясь: так-так. Так-так. Так-так...»

В последний раз его заводил Коля» .

Это органическое, озвученное время всякий раз отражает ритм переживаний героини:

«таки-так» или «туки-тук» или «тут как тут».

«У каждого свои часы», — говорил Коля. — «Новый день беспомощен и слеп, как только что родившийся котёнок, но ты заводишь часы — и в нём оживает память о вчерашнем. Обернуться назад — поворот против часовой стрелки, чтобы ступить вперёд. Помни то, что было утром, вчера, в прошлом году: время движется вперёд, отталкиваясь от памяти. У него нет другой точки опоры».

Итак, будильник — это время, память. Память — это не только способность, это само бытие с его главной стороной — моральной. Память Ирины — это и ее судьба, отмеченная постоянной работой памяти, то есть сознания, или присутствия, как сказали бы философы востока.

Старый будильник из ее далёкого прошлого, любимого и хранимого, несёт в себе поток времени, дарованного ей. Вопреки некоторым философам запада, утверждающим, что время не существует, оно присутствует в книге в облике старомодного будильника как его инкарнация. Присутствует оно и как пространство разных городов и весей, участвующих в жизни семьи Старика и Старухи и их дочери Ирины: Ростов, Прибалтика, Поволжье, Город. Эти пространства — также и периоды жизни. Один современный философ¹ выразил это так: «Удивительная вещь, время. Оно как будто «везде»! Все на свете есть время. Даже время — это время. «Приходит ли время, если оно всегда и везде?» — на этот риторический вопрос нет ответа. Нам остаётся только изменить свой статус и надеяться».

Говоря на нашем человеческом языке, приходится признать, что приходит время, когда происходит такое «изменение статуса» как смерть или второе рождение и последующие изменения, когда, как сказала одна страдальца, «Надо снова научиться жить»². Таких изменений статуса на долю Ирины по часовой стрелке выпало столько, что хватило бы на несколько судеб.

Но прежде чем обратиться к ее судьбе, побудем ещё в самом дорогом для автора и ее героини пространстве — городе под названием Город. Вместе с Ириной вы ходите и прогуливаетесь по этому старому европейскому городу, видите его улицы и вывески, которыми можно описать историю этой части Европы, вы слышите запах и шорох осенней листвы под ногами, ощущаете настроение его улиц, перекрестков и старинных зданий.

Иной, но, возможно, и более важной

¹ Сол Арис. Из переписки с друзьями

² А. Ахматова. «Реквием»

средой-стихией книги является вера. Григорий и Матрёна Ивановы (Старик и Старуха) — староверы, и в этой вере вырастили своих детей. Вера в обеих книгах Катишонок присутствует как часть жизни и быта семьи, как и в классических романах. Но в отличие от неистовой веры по Достоевскому или спасительной веры по Толстому, вера Ирины — это не воспитание, не традиция, и не убеждение: это ее природа. Поэтому, в один из самых тяжких моментов ее жизни, когда в милиции у нее отнимают самое дорогое — внучку — именно из-за ее веры, она отвечает полицейской чиновнице на вопрос «Вы в Бога верите?» — «Верю». Этот ответ не был вызовом или подвигом, а как если бы у неё спросили «Вы дышите?», она бы сказала «Дышу». Ответ этот как раз чуть не отнял у нее дыхания: эпизод в милиции закончился инфарктом.

Каждый персонаж верит в меру отпущенного ему при рождении таланта верить (по Чехову)³. Для Ирины вера — это духовная природа ее бытия, она родилась с нею так же, как со своим певческим голосом. По биографии она староверка, ходит в «моленную». Родись она в любой другой среде, она нашла бы своё поле духовного обитания, и никакие особенности той или иной эпохи не могли бы изменить ее природы. Ведь она чуть не погибла не за убеждения, а потому что физически не выдержала духовного насилия.

У её родственницы, Надежды, противоположной Ирине по духовной природе, вера засела где-то в подсознании как суеверная привычка, которая, несмотря на все «безбожные» разговоры и поступки, заставляет ее зажигать лампадку перед иконой Николая Чудотворца. Однако даже это почти механическое действие спасает — не Надю, а Ирину. Когда у той случился инфаркт, и она утром не вышла в кухню, Надя вошла в ее комнату и увидела, что Ирина без сознания. Забыв, что смерть Ирины означала бы исполнение ее заветной мечты о дополнительной жилплощади, Надя вызывает скорую помощь. Вот как психологически убедительно описано это в книге:

«К Тайке [дочери] побежала, не иначе ... и неосознанная надежда на это «не иначе», что означало конец проходной комнате, воплощение мечты... Часто-часто застучал пульс ... Отступила на шаг, испугавшись, и даже взгляд отвела от двери [Ирининой комнаты], попятилась; глаза растерянно заматались по стенке и привычно остановились на образе в углу. Лампадка не горела. В ранних ноябрьских сумерках тускло поблескивал серебряный оклад иконы. Николай Чудотворец, избавитель от многих бед. Она осторожно потянула

³ А. П. Чехов: «Вера — это талант, с нею надо родиться».

ручку двери, и дверь оказалась не заперта.

Ирина лежала, прижав руку к груди и глаз не открывала.

Никакой дилеммы и никакого соблазна у Нади не осталось, и думала она уже на бегу, а бежать, она понимала, надо очень быстро».

Для иных вера — суеверие, а суеверия — «бздур», как говорила Матрёна, имея в виду «вздор». Приметы, гаданья и сны для иных суеверия, а для других глубокий разговор со средой или с чем-то «без лица и названья», но непреложно существующим, с чем надо как-то взаимодействовать. Ирина, как пушкинская Татьяна, «верила преданьям простонародной старины».

«Преданья простонародной старины» — это разговор древних с природой, вселенной, со всеми ее элементами. Разговор со звездами, солнцем и планетами стал астрологией. Гаданье, приметы, духи явлений природы, всяческих проявлений и поведения предметов окружающего мира стали объектом церковного преследования. Но мы несколько не сомневаемся в искренней вере в Бога Татьяны Лариной, несмотря на ее веру «и снам, и карточным гаданьям». Такая вера — это тоже, возможно, признак таланта, признак глубокой памяти и ощущения своей связи с огромным и малым окружающим миром. Таков был талант и у Мандельштама.

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожно рукой,
Позволено их переставить.

Философы востока и древней Греции связывали познание самого себя со способностью к сознательному взаимодействию с такого рода явлениями. Религия и наука объединились в этой области, дабы примитивный материализм (сведенный к пяти чувствам) стал доминирующим в сознании современного человека.

Возвращаясь к пласту примет и знаков в книге, надо заметить, что мастерски изображенное единство психики Ирины с окружающим миром и делает книгу такой живой. Наряду с верой в Бога связь с сигналами из глубин времен и пространств — из космоса — является тканью жизни и судьбы ее персонажей. Вот несколько примеров таких сигналов.

Сопротивление Ирины гаданью цыганки в начале книги вызвано не мировоззрением, а собственным предчувствием беды или — в начале жизни — беспокойством за будущее, поскольку настоящее было счастливым: рядом был любимый

и безошибочно выбранный человек. А в таком случае, как мудро писала Ахматова, человек боится потерять счастье: «Пушкин считал гибель только тогда страшной, когда есть счастье».¹ Гадание-предсказание, которого боялась Ирина, сбылось.

В другой драматической ситуации Ирина согласится с соседкой-цыганкой, что у дочери в глазах есть блеск, но нет света.

Куличи, опавшие перед смертью отца, стали понятным сигналом перед смертью сестры. «Для бабушки причина [почему куличи опали] не имела значения; важен только результат, и результат был зловещим. Сестра?!»

А вот связь с животными: кошка Мурка, умершая в день смерти своего хозяина, добрейшего Федора Федоровича:

«... в то утро Мурка беспокойно кружила по спальне и, вопреки обыкновению, протяжно мяукала, да кто обращал на неё внимание! ... Как вскочила на кровать, так и стояла над его подушкой, недоумённо и жалобно... не мяукая, нет: постанывая. Тоня [жена] вспомнила и поняла со стыдом, что единственный человек, который бы этим обеспокоился, никогда уже этого не сделает».

Но неспроста, будучи безнадежно больной, Тоня как бы случайно вспоминает Мурку; покойная Мурка напомнила о ее, тоинной, собственной участи. И она обращается к сестре Ире, зная, что та бы, вероятно, обеспокоилась. Тоня просит сестру взять оставшиеся от матери Матрёны украшения для внучки. Но чуткая Ирина отказывается, не желая дать сестре понять, что слышит, о чем та думает.

А вот и сон Ирины с уходящей по знакомой тропке немолодой женщиной: космос готовит Ирину к очередной утрате члена семьи — младшей сестры. В обеих книгах приводится немало «говорящих» снов. Как известно, сны занимают весьма значимое место как участники человеческой истории и в Библии.

Космос говорит со всеми, но не все это слышат, а некоторые из тех, кто слышит, не хотят с ним взаимодействовать. Ирина не могла не взаимодействовать, поскольку она не только «не воровала» другие души, но и не обкрадывала свою, принимая в голову и сердце трудные, необъяснимые явления. Принимая, старалась приспособиться.

Она не боролась с судьбой, она старалась прожить выпавшую на ее долю жизнь. И делала она это чисто, ни разу не сфальшивив. Внучка хорошо, верно называла ее Ласточкой: «с нею солнце краше и весна милей».

¹ А. Ахматова. «Каменный гость Пушкина».

* * *

Как убедительно описать чистого, почти святого человека? Чистого человека, не борца, не героя, человека с трагической судьбой, страдающего, но не сетующего, не бунтующего, трудно изобразить так, чтобы читатель был захвачен. Для этого нужен талант памяти и правды жизни, которым обладает Елена Катишонок. «Помнить, что было утром, вчера, в прошлом году».

Ирину, абсолютно не способную к лукавству, дважды в книге «уличают» именно в нём: один раз муж Коля, когда она боялась гаданья о своей судьбе и назвала Колю братом; другой раз автор, когда она боялась показать сестре, что понимает, что та тяжело больна. Но эти невинные уловки, названные «лукавством», преувеличены, поскольку относятся к Ирине. Это «уловки» автора; они показывают чистоту помыслов человека, якобы уличая его в обратном.

Еще один нехарактерный поступок Ирина совершает в детской комнате милиции, когда дочь, с помощью властей, отнимает у нее самое дорогое — внуку. Она поднимает голос не за себя, а старается уберечь внуку. Это выступление едва не стоило ей жизни: к утру после сцены в милиции у нее случился инфаркт. Но если бы только в защиту от чуждых сил было это выступление: в нём и в последствиях его была та страшная боль, которая выпала на долю Ирине. Это был крик отчаяния матери, окончательно осознавшей, что ее собственная дочь — «самая чужая», не ее, Иринина плоть, а плоть от плоти бесчеловечных сил. И, дочь своей матери, Матрёны (бескомпромиссно не принявшей того, что, по ее понятиям, принять невозможно), Ирина решает больше никогда не видеть свою дочь, едва не заплатив за это решение своей жизнью.

Даже по улице той, где жила дочь, ходить перестала. Но ничто не могло «заглушить боли от слов «родная кровь»... Не подкидыш, не кукушонок, не сиротка, взятая на воспитание: родная кровь. Значит, такая кровь? Против этого всё в душе восставало: нет! ... Оставалось в утешение народное присловье: «в семье не без урода».

"Страшненькая приговорка.
Или — истина?
Не было ответа, одни вопросы...
Примирение не пришло никогда."

Эти раздумья Ирины говорят лишь о силе любви и о человеческих противоречиях, на которых выстроен ее характер.

Верная своей вере, Ирина остаётся и

верной себе: поистине не лукавить. Жена сына, благодарная Ирине за помощь в выздоровлении ребёнка, соглашается на просьбу Ирины крестить его. Но неверующей невестке крещение не совсем приятно, и она предлагает крестить ребёнка как бы без ее ведома. На это Ирина отвечает:

«Я не ворую души. ... Можно было, конечно, напомнить, что сами крещёные; что ж детей-то... Да мало ли что можно было сказать!

Зачем?»

В этом «Зачем?» так много сказано об Иринином характере. Она верна той истине, что душу «младенца тайком или силком» в купель (или куда бы то ни было) окунать не следует. В этом «непоступке» — природная верность чистоте, правде, а не догме и ритуалу. В нём и природная мудрость: неправдой добра не добыть и никого не переделать.

Что-то библейски-непреклонное, точное и радующее, как чистый звук, есть в самой природе Ирины. Может быть, это верность своей душе, нечто врожденное, как ее певческий голос: как поступать, чтобы с душой своей было согласие. Не каждому такое знание дано, потому и существуют учения, как такое знание в себе воспитать и построить.

Может быть, характером Ирины подсказан и стиль книги, напоминающий библейский.

«И было утро, и был новый день». (Начало главки)
«И стало так». (Конец подглавки)

Отсюда и язык книги — без словес. Трудно после этой книги читать другую, написанную менее истинно — вылезает лишнее, ненужное суесловие.

Возможно, есть люди, которые говорят «так сегодня не пишут». Пожалуй, они правы, если слегка изменить порядок слов: сейчас пишут не так. Для Елены Катишонок родной язык это не только термин, но и просто самый родной. Язык книги чист и по словарю, и по интонации. Писать хорошо можно всегда — и сегодня, и позавчера, и послезавтра.

И увидел читатель, что книги Елены Катишонок — это хорошо.



Михаил Голубовский

СЛОВА-ПОВТОРЫ В ЯЗЫКЕ (РЕДУПЛИКАЦИЯ)

Легок на мякине
(прикол)

В пространстве языка есть занимательные и любопытные уголки ландшафта.

Сюда относится феномен повторения слова или его корневой части. Лингвисты обозначают это термином редупликация, понимая под ним удвоение всего слова или основной части слова. Повтор может быть либо полным, либо повторяется основа слова в другом падеже, либо с добавлением предлога, приставки или суффикса. Некоторые лингвисты склонны выделять такого рода образования в особую часть речи. Действительно. Вот начало многих сказок: “В некотором царстве, в некотором государстве жила-была принцесса...” “Жила-была” — очевидный повтор из двух сходных по звучанию и слоговому составу глаголов. Они как бы сами собой ритмически прилепляются друг к другу, образуя уже некоторое единство, отличное от просто “была” и просто “жила”. Ну, а вот, скажем, такая словоформа: “*Была не была*”. Это что — глагол? Нет. Это новое слово для выражения риска, отчаянной решимости. Образование повторов в самых разных языках часто связано со звукоподражанием. Таковы звуки животных: *ква-ква*, *ку-ку*, *му-му*, *чик-чирик*, всплеск воды, *кап-кап*, *буль-буль*. В японском языке повторы — звуковые имитации встречаются в три раза чаще, чем в английском или русском языке. Специальными терминами обозначают звуковые имитации (*giseigo*) — звуки и движения животных, людей, природных объектов и чувственно-ситуативные (*gitaigo*), связанные с чувствами и образными представлениями, где звуки составляют лишь часть впечатлений. Кембриджская энциклопедия (Language, 2000) приводит ряд типичных примеров (слева звучание японского слова, справа — перевод) *гачагача* — треск, грохот, шумная болтовня; *касакаса* — шорох, шелест; *чиринчирин* — звякать, звенеть, звон колокольчика; *тоботобо* — тащиться; *фурафура* — бродить, скитаться; *дабудабу* — небрежный, неряшливый; *киракира* — блестеть как звездочка, мерцать.

По этому же принципу звукоподражания

образованы в русском слова типа *татакать*, *хохот*, *сюсюкать*. У Булгакова в “Собачьем сердце”: “Фить-фить,— посвистел господин и добавил строжайшим голосом: — Бери!.. Фить-фить! За вами идти?”

В разных языках лингвисты заметили удивительную связь между звучанием буквы или слога с определенным смыслом. Так, в английском языке слова, которые начинаются со звука *sl* нередко связаны с неприятными ощущениями: *slime* — слизкий, *slither* — скользкий, *slug* — слизняк, *slush* — слякотный, *sloppy* — неряшливый и т. д. Среди слов, которые начинаются на ‘f’, группируются слова, означающие ошибки, обман, жульничество: *fallacy*, *fake*, *false*, *felony*, *forgery*, *fraud*, *failure*. Даниил Гранин в мемуарной книге-размышлении (Причуды моей памяти, 2009, с. 215) приводит сходное скопление в русском языке на “про”: *пройдоха*, *проныра*, *прохиндей*, *прохвост* (добавлю: *проходимец*). Но, пожалуй, самая большая плеяда слов со звуками, несущими негативный смысл, начинается с “об”: *обалдуй*, *оболтус*, *обжора*, *оборотень*, *оборомот*, *обирала*, *обманщик*, *оборванец*, *образина*. Мало кому будут приятны и другие слова на “о”: *оглоед*, *олух*, *осел*, *отребье*, *охальник*, *охламон* и *отморозок*.

Повторы особенно свойственны детской речи, указывая на интимную связь процесса овладения речью с ритмикой, рифмовым созвучием. Склонность к ритму/рифме — врожденная, генетически обусловленная особенность восприятия. Греческий гекзаметр возник как имитация мерного ритма волн, набегающих на берег. Видимо, нет музыкальных пьес без повторов, а большинство песен включают повторы-припевы. Ритм/рифмика прямо-таки завораживают детей от двух до пяти. Типична детская считалка “эники-беники си колеса, эники-беники ба!” Или дразнилка “*тили-тили тесто, жених и невеста*”. Известный питерский композитор, музыковед и культуролог Абрам Григорьевич Юсфин

вспоминает, как в возрасте двух лет он целыми днями бегал по дому, с упоением выкрикивая : “У та-акана усики, а у Аб-амы т’у-сики”. Недаром самые главные для ребенка понятия детства *мама, папа, баба, тятя* (у Пушкина: “Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца”) — это повторы, слитые в разных языках в одно слово. Занятно, что при неизменности этих звуковых повторов порядок слогов и соотнесение к полу могут варьировать. Так, в тамильском языке мама — *аммаа*, папа — *аппа*, а в грузинском языке *мама* означает отец.

Классики детских книжек, К. Чуковский, С. Маршак всюду использовали повторы и сочиняли новые, типа Бибигон или “Мистер-Твистер, бывший министр” (академик Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал услышанную в лагере на Соловецких эпитаграмму: “ Не слушайте, дети, / Врет вам Маршак: /Мистер-Твистер совсем не дурак, / И не было этой глупой истории /Ни в “Англетере, ни в “Астории”).

Слова-повторы рассыпаны в стихах Н. Гумилева:

Когда я кончу наконец
Игру в саше-саше со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.
И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.
(Персидская миниатюра)

Я выделил редупликаты *саше-саше* (игра в прятки — франц.) и *еле-еле*.

Или в других стихах: “Дива дивные зрелись тогда,/ Чуда чудные деялись сами (“Змей”) ; “День, когда ты узнала впервые,/Что есть Индия, чудо чудес”.

В языке взрослых повторы чаще всего встречаются в разговорном языке, газетных статьях, языке сказок и народных песен. Негативная рецензия на один театральный спектакль 2000 года называлась “Жик-жик по пушкинскому ямбу”. В середине 1970-х возник *хип-хоп* — примитивистский молодежный музыкально-танцевальный жанр с элементами афрокультуры: движения-скачки и вверх ногами на голове, в сочетании с однообразными отрывистыми повторными бормотаниями рифм-фраз.

В самом общем виде слова повторы (или редупликаты) можно классифицировать по четырем группам:

I. Точные или почти точные повторы: *бай-бай, еле-еле, только-только, едва-едва*.

II. Повторы, при которых изменяется склонение или же добавляются связки (предлоги, приставки, суффиксы): *дурак дураком, полным-полно, точь-в-точь*.

III. Повторы с заменой одной гласной или согласной буквы *динь-дон, пинг-понг, гоголь-моголь, тары-бары, шалей-валей*.

IV. Самая обширная группа повторов, образуемых по принципу сходного сочетания гласных/согласных (аллитерация) или доминирующего слога: *там-сям, то да се, с бухты-барухты, шиворот-навыворот, в пух и прах*. Сюда же примыкают устойчивые аллитеративные присловья, типа: *подобру-поздорову* (ооу-ооу), *дол-го ли, коротко* (оо-и-оо), *серединка на половинку*. Или же пословицы, явно возникшие из рифмового повтора: *на чужой роток не накинешь платок*. Вот, к примеру, выражение *целиком и полностью*. Кажется, если целиком, то ведь уже и полностью. Но эти два слова, как заметил К.Чуковский, естественно нашли друг друга из-за аллитеративной связки *л-и-о- и-о-л*, они усиливают смысл друг друга.

Повторы обычно служат для усиления или уменьшения какого-либо признака или действия, его продолжительности. Не просто толстый, а *толстый-претолстый*. Не просто точно, а *точь-в-точь* или *тютелька в тютельку*. Не просто тянут, а *тянут-потянут* — действие очень натужное и длительное. Иногда один из элементов повтора сохраняет свой смысл, а другой его утратил или же это просто фантом — звукоподражание — *фокус-покус*. Либо уже обе части сами по себе ничего не значат — *фигли-мигли*. Когда Светлана Аллилуева, дочь Сталина, осталась за рубежом, возникла частушка: “Малина-калина, /сбежала дочка Сталина, /Светлана Аллилуева, /Ну и семейка ...уева”. Здесь ударение в повторе перенесено на первые слоги, рифмуясь с первым слогом имени тирана. А исходный смысл слов ушел в тень и как бы стушевывался. Этот повтор я недавно встретил в заголовке одного размышления “ Малина-калина, или Жизнь Сталина” (см. В. Пригодич, 2003 www.lebed.com). Два слова в повторе, объединяясь в одно целое, нередко образуют новую смысловую единицу — елки-палки: “Ёлки-палки лес густой, ходит Ванька холостой,” — это выражение удивления, досады. Здесь новая форма слова творит его новое содержание!

Слова-повторы в языке (редупликация)

Разные языки отличаются по встречаемости и роли повторов. Этот феномен анализировал выдающийся лингвист Эдвард Сапир (1884—1939) (родившись в ортодоксальной еврейской семье из Германии, которая эмигрировала в конце XIX века в США, он стал знатоком множества языков индейцев и одним из основателей структурной лингвистики). Сапир установил “естественность редупликаций, или повторов”, в самых разных языках для обозначения таких понятий, как распределение, множественность, увеличение в объеме, повышенная интенсивность, длительность. В разговорном языке, отметил Сапир, повторы распространены гораздо больше, чем об этом пишут учебники. “Такие слова, как *goody-goody* ‘паинька’ и *pooh-pooh* ‘фыркать на ...’, вошли в состав нашего нормального словаря, но ведь метод удвоения порою используется еще свободнее, нежели в этих стереотипных примерах. Такие выражения, как *a big big man* ‘большой — большой человек’ или *Let it cool till it's thick thick* ‘(остужайте, пока не станет густым-густым)’, гораздо распространеннее, в особенности в речи женщин и детей, чем предполагают наши учебники... Слова этого типа почти повсеместны”.

Можно заметить удивительное сходство в использовании повторов в обычных языках и в генетическом языке. Уже сам термин “редупликация” — один из основных в генетике. Он означает удвоение, самовоспроизведение цепи молекулы ДНК, кодирующей код жизни. Повторы генов, как в обычном языке, обычно служат для усиления функции какого-либо гена. Иногда эти повторы связываются воедино, образуя новую генетическую семантику. В других случаях повторы служат знаками генетической пунктуации в хромосомной нити-фразе.

По моим ощущениям, в английском языке повторы бытуют гораздо даже чаще, чем в русском. Приведу некоторые примеры:

chin—chin — болтовня, светская беседа, тост “за ваше здоровье”

fat cat — богач, денежный мешок

flip—flop — резкий переворот, шлепанцы (сланцы)

fifty—fifty — поровну, половина на половину

hush—hush — секретное дело или совещание

nit—wit — дурак, простофиля

hob a nob — панибратство, дружеский тост “за ваше здоровье!”

tit for tat — глаз за глаз, как аукнется, так и откликнется

dilly—dally — слоняться без дела, валять дурака

fiddle—faddle — болтовня, околесица, вздор

fuddy—duddy — консерватор, лицо, не одобряющее современные идеи

higgledy—piggledy — полный беспорядок

hither and thither — туда—сюда

hoity—toity — обидчивый, раздражительный, “скажите пожалуйста”

hurly—burly — смятение, сумятица, суматоха

knick—knack — безделушка, дешевый сувенир

know—how — знание и умение, накопленный опыт, “ноухау”

razzmatazz — пустые обещания, надувательство (вешать лапшу на уши)

razzle—dazzle — кутеж, суматоха

tittle—tattle — судачить, болтать о жизни других людей

willy—nilly — волей—неволей

wishy—washy — невыразительный, бледный, плохо заваренный чай

Помнится, повтор *super-duper* в значении “потрясающий, необыкновенный” мелькал в газетах США несколько лет назад, когда сверхсекретный самолет с потрясающей системой обнаружения был брошен на поиски машины, на которой разсызжали убийцы мирных людей в штатах Вирджиния и Вашингтон. В итоге машину убийц обнаружил не *super=duper*, а просто наблюдательный человек на одной из стоянок.

Во французском языке повторы, возможно, более редки. Но и здесь мы находим типичные

звукоподражания: *coucou* — кукушка *glou-glou*—звук воды, *joujou* — игрушка, *murmur* — мурлыканье кошки, *niam-niam* — вкуснятина. И конечно же, есть типично французские повторы *chichi* — манерничать, *bebette* — глуповатый, *frou-frou* — шум, шелест юбок, *cocotte* — кокотка, *gueguerre* — маленькая война, *tohu-bohu* — неразбериха, *bric-a-brac* — беспорядок ¹.

В приложении дан составленный мной словарь повторов, классифицированных по четырем группам. Насколько мне известно, такого словарика ранее не было.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛОВАРЬ ПОВТОРОВ (РЕДУПЛИКАЦИЙ)

I. Повторы из идентичных или почти идентичных однокоренных слов:

Агар-агар
Бай-бай, баю-бай
Бери-бери
Буль-буль
Дум-дум
Ей-ей
Еле-еле
Дзинь-дзинь
Едва-едва
Жик-жик
Канкан
Как-кап
Кис-кис
Ку-ку
Кускус
Мур-мур
Мяу-мяу
Ну-ну
Няня
Ням-ням
Сю-сю
Так-так
Тик-так
Только-только
Тук-тук
Трюх-трюх
Тю-тю
Тятя
Фифи

Фуфу
Ха-ха-ха
Хе-хе-хе
Хип-хип
Хлоп-хлоп
Хохот
Хруп-хруп
Хрю-хрю
Цаца
Цок-цок
Чача
Ча-ча-ча
Цып-цып
Чуть-чуть
Шлеп-шлеп
Шу-шу-шу

II. Повторы, образуемые с помощью другого падежа или связки (предлога, приставки, суффикса и т. д.)

Абра-кад-абра
Была не была
Был да сплыл
Волей-неволей
Горе-горькое
Видимо-невидимо
День в день, день за днем, день ото дня
День-деньской
Диво дивное
Дурак дураком
О-го-го
Кар-кар, каркать
Плечо в плечо, плечо к плечу
Полным-полно
Пьяным-пьяно
Рука об руку
С боку на бок
Скок-поскок
Слыхом не слышать
Сюсюкать
Так-таки
Татакать
Тартарары
Тет-а-тет
Точь-в-точь, точка в точку
Трах-тарарах
Темным-темно
Тьма-тьмущая
Тютелька в тютельку
Хихоньки да хаханьки

¹ Л. Кирпичникова — личное сообщение.

Час в час, час за часом, час от часу
Честь честью
Чин чином
Чисто начисто
Что в лоб, что по лбу
Чудо чудес, чудо чудное
Чур-чура
Шаг в шаг, шаг за шагом

III. Повторы из слов с заменой одной-двух гласной/
согласной буквы

Аты-баты
Буги-вуги
Ванька-встанька
Во веки веков, во веки вечные
Воленс-ноленс
Жил-был, жила-была
Зигзаг
Мать-и-мачеха
Пиф-паф
Рыжий-пыжий
Помпон
Сопли-вопли
(вульг. молодежный жаргон)
Супер-пупер
(молодежный жаргон — превосходный, шик-
модерн)
Фигли-мигли
Флип-флоп (электронпереключатель, перескок
молекул в слоях биомембран)
Флик-фляк (в акробатике — прыжок назад с двух
ног)
Фокус-покус
Хали-гали
Чик-чирик
Сыр-бор
Так-сяк
Такой-сякой
Там и сям
Трень-брень
Триктрак (старинная французская игра типа
нард)
Тыр-пыр
Тяп-ляп
Чудо-юдо
Шалтай-болтай
Шахер-махер
Шахсей-вахсей
Шурум-бурум

IV. Повторы из слов, сходных по рифме или
сочетанию гласных/согласных

Бухты-барахты
Вкривь и вкось
Елки-палки
Жадина-говядина (детская дразнилка)
Живете-можете
Каша-малаша (детская речь)
Лягушка-квакушка (сказочный персонаж)
Ноу-хау
От ворот поворот
Пух и прах
Рожки да ножки
Сбоку припёку
Страсти-мордасти
То да се
Так и сяк
Там-сям
Трали-вали
Трын-трава
Туда-сюда
Фон-барон
Халды-балды
Хухры-махры
Цап-царап
Чижик-пыжик
Шатия-братия
Шило на мыло
Шиворот-навыворот
Шито-крыто

Михаил Голубовский

СОБЛАЗНЫ ЛИМЕРИКА

Лимерик – оригинальный жанр английской поэзии нонсенса.¹ Его изобрел и «запустил в мир» прекрасный художник-иллюстратор, страстный путешественник и пейзажист, поэт викторианской эпохи Эдвард Лир (Edward Lear, 1812-1888).

Лимерик обрел популярность в 1860-е гг., практически одновременно с публикацией Льюисом Кэрроллом «Алисы в стране чудес». Эти сотворения абсурда, по словам Гилберта Честертона, были плодом «неукротимой фантазии одного века и одного народа». Они появились на свет «из подсознательного царства английского духа, его основ, традиции в целом... нечто, что может понять, вероятно, только англичанин». В жанре нонсенса пространство-время-логика как бы перестают существовать отдельно, становятся объектом озорных манипуляций, с неперменной игрой словами и веселым словотворчеством. Честертон даже сравнивает появление абсурдной поэзии и прозы с одним из тех «изобретений вроде готической архитектуры, которых ранее не существовало».

Фантазия лимерика заключена в строгий 5-строчный ритмический канон, с неким внутренним динамичным действием или конфликтом, которые разрешаются в абсурдной и парадоксальной последней строке. Пять строк рифмуются по канону аавва. Серединные две строки обычно двухстопные, а две начальные и конечная – трехстопные. Мир нонсенса, вначале созданный талантами Э. Лира и Л. Кэрролла для детей, вскоре покорила и взрослых, особенно в среде интеллигенции. Сочинение лимериков захватило студентов Кембриджа и Оксфорда. В Англии и Америке сатирические журналы стали проводить регулярные конкурсы.

Пожалуй, наиболее полная тематическая антология лимериков принадлежит профессору Баринг-Гулду (William Baring-Gould) и называется «Очарование лимерика» (The Lure of the Limerick). В состав книги входят и классические лимерики Э.Лира, и лучшие современные, сопровождаемые рисунками изысканных художников-эстетов (Олби Бердслея и Андрэ Домена). Книга вышла впервые в 1967 г. и с тех пор выдержала более 10 изданий. Другое изысканное собрание лимериков, «Lots of Limericks», изданное солидной книжной корпорацией Barnes & Nobles, выпустил известный поэт и литературный критик Луис Энтермейер (Louis Untermeyer) – его антология современных американских и британских поэтов превышает миллионный тираж. Подборка из 250 лимериков имеет игровой подзаголовок: Light, Lust, and Lasting, или «Привлекательные, Пикантные и Непреходящие». Многие лимерики сопровождаются смешными иллюстрациями художника Р.Тэйлора.

Перед соблазном сочинительства лимериков не устояли многие писатели и учёные. Вот как философ Бертран Рассел акцентировал в этом жанре свою иронию по отношению к религии:

There was a young girl of Shanghai,
Who was so exceedingly shy,
That undressing at night—
She turned out the light
For fear of the All-Seeing Eye.



Юмористический парадокс здесь в том, что сверхстыдливая девушка, раздеваясь перед отходом ко сну, желает скрыть свои прелести. И от кого? – от Всевидящего Ока (All-Seeing Eye). Привожу два варианта перевода – свой (слева) и известного московского биолога-теоретика А.Оловникова (справа).

Китайночка, что из Пекина,
Так стыдлива была и невинна:
Раздеваясь спать,
В темноте шла в кровать,
Чтобы скрыть от Всевышнего спину.

К тому, кто владеет Всевидящим Оком,
Монашка всегда становилась боком.
Чтоб мыслей излишних
В вершинах всевышних
Не вызвать бы ей ненароком.

¹ Предполагается, что название этого жанра восходит к рефрену шуточной игровой песенки – «Вы поедете в Лимерик?»

Лимерик – город в Ирландии. — *Примечание редакции.*

Соблазны лимерика

Известный английский эмбриолог и автор многотомного исследования по истории цивилизации Китая Джозеф Нидхэм на своем 90-летию прочел любимый лимерик, своего рода мини-драму с парадоксальным исходом (перевод автора):

**There was an old monk in Siberia
Whose existence became drearier and drearier.
With a hell of a yell
He escaped from his cell.
And he left with the mother superior.**

**Жил в Сибири монах. От молений
Изнемог он в своем отдалении.
С криком: «К черту все зелье!» –
Убежал он из кельи.
С ним сбежала и мать-игуменья.**

Забавен лимерик английского классика Дж. Голсуорси (перевод Ю.Голубовской):

**To an artist a husband called Bicket
Said, “Turn your backside, and I’ll kick it.
You have painted my wife
In the nude to the life.
Do you think for a moment that’s cricket? ”**

**Опрокинув мольберт и полотна,
Муж назвал живописца животным:
Тело голой жены
Он узрел со спины.
«Здесь, – кричит, – что-то нечистоплотно».**

Даже уважаемые отцы церкви не устояли перед соблазном лимерика. Уильям Инге (1860-1954), настоятель собора Святого Павла в Лондоне и профессор теологии в Кембридже, сотворил такой лимерик:

**There was an old man of Khartoum
Who kept two ugly sheep in a room.
“They remind me”, he said,
Of two friends who are dead,”
But he never would tell us of whom.**

Дословный перевод: *Один старичок из Хартума / Держал двух безобразных овец в своей комнате/ «Они напоминают мне, – говорил он,–/ О двух друзьях, которые уже умерли»./ Но он совсем не помнил, кто эти друзья. Мой перевод таков:*

**Старичок, почитатель Корана,
Двух баранов держал в своей ванной.
Вечной памяти след,
Двух друзей, – их уж нет.
Кто друзья, – он забыл, как ни странно.**

Говорят, лимерики делятся на три группы: те, что нельзя прочесть при священниках, те, что нельзя прочесть при дамах, и просто лимерики. Дж. Оруэлл в эссе «Искусство Дональда Макгилла» заметил, что в Англии очень велик разрыв между тем, что можно сказать, и тем, что может быть напечатано: «Реплики и жесты, против появления которых на сцене вряд ли кто возразит, вызовут взрыв общественного негодования при их воспроизведении на бумаге». Поэтому многие лимерики, как и анекдоты, долго бытовали в устной форме.

В 1993 году мне довелось более полугода работать в области генетики в научном центре Австралии – ее столице Канберре. Там, в одной лавке, я случайно нашел книгу нецензурированных лимериков и, листая ее, вдруг увидел нечто знакомое:

**There was a young lady named Starkie
Who had an affair with a darkie.
The result of her sins
Were quadruplets, not twins,
One black and two white and one khaki.**

Тут я вспомнил одну старую тоненькую книжечку библиотеки журнала «Огонек», купленную в конце 1950-х годов (они издавались тогда почти миллионным тиражом и продавались в любом киоске). Это были переводы С.Я. Маршака из английской поэзии. Одна эпиграмма в переводе называлась «Наследственность по Менделю». Я тогда не помышлял быть генетиком, но веселый стишок запомнил:

**В наследственность верит не всякий.
Но белая, бывшая в браке
С одним из цветных,
Родила шестерых-
И черных, и белых, и хаки.**

И вот надо же такому случиться, что спустя 40 лет я обнаружил в Австралии оригинал переведенного Маршаком лимерика! Более того, тут вырисовывается забавная интрига. В книжечке массового издания имя основателя генетики Менделя было упомянуто «за здравие». Но в то время еще продолжалось господство Лысенко, и Мендель в массовой печати упоминался лишь негативно: «реакционный менделизм». А тут, пожалуйста, в названии спокойно стоит «Наследственность по Менделю». Как объяснить этот парадокс? Маршак, проучившийся два года в Англии и ценивший юмор, конечно же, знал бытовавшие в студенческой среде озорные и неподцензурные лимерики. У поэта, видимо, возникла озорная мысль напечатать перевод лимерика в облатке юмора, как бы в насмешку над «пресловутыми законами Менделя» (тогдашний штамп). И затея прекрасно удалась!

Теперь взглянем на оригинал: в нем ничего не говорится о браке, а лишь об affair (связь), при этом родилась четверка (quadruplets), а не шестеро близнецов, что было бы сверхредким событием. В оригинале цвет кожи назван «хаки» – так обычно называют окраску солдатских мундиров. Маршак сохранил этот юмор, тем более, что хаки удачно рифмуется с «в браке».

Мне показалось занятным создать более близкие к оригиналу варианты перевода:

**Девушка грешила с мулатом
Итог оказался богатым:
Четыре ребенка
Лежали в пеленках:
Два белых и негр с полосатым.¹**

**Мулату в цилиндре и фраке
Девушка отдалась во мраке.
От этого пенделя
Потомство по Менделю:
Два белых, и черный, и хаки.**

В первом варианте грех «одной белой» назван своим именем (her sins), и число детей соответствует оригиналу. Вроде бы неплохо. Но исчезла изюминка – цвет кожи «хаки». Во втором варианте это удалось сохранить.

¹ *Ответный лимерик Безответственного Редактора данного альманаха:*
Не желал переводчик конфуза,
Но предлог не заменит союза.
Вышел негр с полосатым –
Разумеется, братом! –
Отчего же ты вспыхнула, муза?!

Соблазны лимерика

Читая эту же книжечку, я обнаружил, что Самуил Маршак переложил под видом эпиграммы один забавный лимерик, вошедший в коллекцию Энтермейера, и назвал его «Про одного философа» (привожу оригинал и перевод Маршака):

**There was a faith-healer of Deal
Who said, "Although pain isn't real,
If I sit on a pin,
And it punctures my skin,
I dislike what I fancy I feel.**

**«Мир, – учил он, – мое представление!»
А когда ему в стул под сиденье
Сын булавку воткнул,
Он вскричал: «Караул!
Как ужасно мое представление!»**

Дословный перевод: Один идеалист из городка Deal/ Сказал: «Хотя боль не является реальностью./ Но если я сяду на булавку,/ И она проколет мою кожу,/ То мне не понравится мое чувственное ощущение». Здесь спародирован основной тезис философии субъективного идеализма (Дж.Беркли, А. Шопенгауэр), и, кстати, из лимерика следует, что этому тезису нельзя отказать в логике, когда речь идёт о познании мира.

Большинство лимериков Лира имеют географическую привязку. (Так, отыскивая на карте все названные им города и районы Англии, можно весьма глубоко изучить географию этой страны.) Вероятно, эта особенность объясняется страстью поэта к путешествиям. Один из лимериков Лира «на русскую тему» запечатлелся в детской памяти Владимира Набокова. В автобиографии «Другие берега» он вспоминает своего учителя английского языка, светлоглазого шотландца, и его манеру регулярно декламировать мальчику-Набокову лимерик о lady from Russia, которая визжала (screamed). Произнося это слово, шотландец «все крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал этого лимерика до конца». Вот исходный текст Лира и его забавная вольная набоковская аранжировка:

**There was a young lady of Russia,
Who screamed so that no one could hush her.
Her screams were extreme –
No one heard a such scream,
As was screamed by that lady of Russia.**

**Есть странная дама из Кракова:
Орет от пожатия всякого.
Орет наперед
И все время орет,
Но орет не всегда одинаково.**

Лимерик детства Набокова – чемпион по числу переводов на русский язык. Их насчитывается уже более двадцати пяти, это стало игрой. Привожу два варианта:

**Вот вам некая мисс из России.
Визг ее был ужасен по силе
И разил, как кинжал.
Так никто не визжал,
Как визжала та мисс из России.**
(Е.Клюев)

**Голосила девица в России,
Так что прямо святых выносили.
Слушать не было сил,
Сроду не голосил
Так никто, как девица в России.**
(Б.Архипцев)

Известный переводчик английской поэзии Г. Кружков решил изменить пол кричащей особы и усилить абсурдность всей ситуации :

**Жил мальчик вблизи Фермопил,
Который так громко вопил,
Что глохли все тетки,
И дохли селетки,
И сыпалась пыль со стропил.**

Многие современные лимерики – переработки или модификации исходных лимериков Лира. Так, в одном из них поэт сотворил абсурдного старичка из Мадраса, который решил прокатиться на осле, но так испугался его громадных ушей, что умер от страха. Ниже – оригинал и перевод Б.Архипцева:

**There was an Old Man of Madras,
Who rode on a cream-coloured ass;
But the length of its ears
So promoted his fears
That it killed that Old Man of Madras.**

**Взгромоздился старик из Мадраса
На осла мелового окраса:
Уши страшной длины
Животине даны –
В страхе умер старик из Мадраса.**

В современных вариантах этого лимерика месту старику уступила девушка – «lass».

**There was a young lass from Madras,
Who had a magnificent ass.
Not what you think –
Soft, round and pink.
It was gray, had long ears and ate grass.**

Пикантность современной модификации придает омоним «ass»; традиционное значение слова – осел, а в околomаргинальной лексике – «попка». Упоминание о «magnificent ass» девушки из Мадраса, естественно, заставляет читателя вообразить мягкую женскую округлость. Но в конечной строке выясняется, что «ass» – серый длинноухий осел, жующий траву. Можно ли найти подходящие по семантике русские омонимы, сохранив в переводе юмор оригинала? Оказывается – да, и в довольно забавной аранжировке. Вот два варианта перевода:

**Жила дева в мошаве Пурнах
С попкой-ух! – и не меньше никак
Но не думай об образе
Круглом, мягком и розовом.
Попка ел, попка пил и выкрикивал:
«Попка дурак !»**

(А. Полищук) ¹

**Жила девушка под Волгоградом
Все столбы, задевая задом.
Ты представил уже
Аппетитную же?...
Нет, машины проржавленной задом.**
(Юлия Голубовская)

¹ *Вариант Безответственного Редактора:*

Проживает в Мадрасе девица,
Что заслуженно попкой гордится, –
Не размером, не цветом,
Дело вовсе не в этом.
Просто он – говорящая птица.



По моим наблюдениям, почти каждый американский интеллигент помнит со студенческих лет и сходу прочтет какой-либо пряный или крутой лимерик. В автобиографическом романе Курта Воннегута «Бойня номер 5» автор, переживший трагедию бомбежки Дрездена в 1945г., решает спустя 23 года написать о ней. И вдруг он осознает, что острота переживаний ушла и трудно уже найти слова, способные передать его чувства. Воннегут вспоминает соловатовый лимерик о человеке, укоряющем свой «tool», которому он отдал и здоровье, и деньги, а теперь тот стал скверно исполнять свое предназначение, ясное из последней строки (перевод Ю. Голубовской):

**There was a young man from Stamboul
Who soliloquized thus to his tool:
“You took all my wealth
And you ruined my health,
And now you won’t pee, you old fool”.**

**Молодой человек из Ростова
Инструмент обнажил свой сурово:
«Ни здоровья, ни денег
Не оставил бездельник,
И нужду ты справляешь фигово».**

Переводившая роман Воннегута Рита Яковлевна Райт-Ковалева, столкнулась с трудной задачей: адекватно перевести этот озорной лимерик в варианте, допустимом для сверхбдительной лицемерной советской цензуры.

В вышедшем из печати в СССР переводе романа этот лимерик звучит так: «И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

**Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал».**

В вольном переложении лимерика некий малый из Стамбула возведен до звания доцента, а естественная функция «инструмента» (tool) в переводе Райт-Ковалевой так мастерски завуалирована, что читатель вправе думать о каком-либо дорогом «ученом» приборе, вроде электронного микроскопа или даже ускорителя.

Воннегут называл Райт-Ковалёву гением перевода. Во время войны она работала как переводчица с экипажами британских и американских конвоев, сопровождавших транспорты, которые перевозили вооружение и продовольствие в СССР. Умея имитировать все британские жаргоны, с акцентом британского кокни она рассказала писателю историю, забавнее которой он никогда не слышал. Якобы один богатый англичанин оставил свое завещание тому, кто сочинит самый смешной лимерик. Но, понимая, что такие лимерики обычно неприличны, он особо оговорил, что любые непристойности ни в коей мере не должны влиять на решение жюри. Жюри единогласно и с воодушевлением отдало первенство одной домохозяйке из Восточной Англии, но публиковать лимерик не решилось. Далее цитирую Воннегута: «Поскольку из-за этой истории начала пробуксовывать английская военная машина, сам Уинстон Черчилль попросил домохозяйку прочитать свой лимерик по Би-би-си, а там, где словцо – или там слог – слишком крепко звучит для ушей солидной семейной публики, пусть заменит его чем-нибудь, – «да-да» например. Она согласилась. И вот какой лимерик прозвучал по радио: Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да!» Райт-Ковалева рассказывала Воннегуту

эту историю, добавляя с лукавством, что, поскольку английский язык для нее не родной, ей все равно, как выразиться на нём – прилично или неприлично.

В современных лимериках (как и анекдотах) преобладает бесконечная тема взаимоотношений в сфере пола (перевод Ю. Голубовской).

**You have written a sonnet, said Chloe,
On my bosom so rounded and snowy.
You have sent me some verse on
Each part of my person.
That's lovely. Now do something, bo-y!**

**К рифмоплету прижавшись всем телом,
Хлоя манит его бюстом белым.
– Ты воспел, – молвит дева,–
Меня справа и слева.
Так когда же займешься ты делом?!**

Обыгрываются все человеческие слабости и грехи, известные с библейских времен. Вот лимерик на ковбойскую тему о девиантных половых предпочтениях. Привожу оригинал и два перевода – Юлии Голубовской и генетика А.Полищука (Израиль):

**There was a young gaucho named Bruno,
Who said, "Love is all that I do know.
A tall girl is fine,
A short one's divine;
But a llama is Numero Uno!»**

**Пастух, развлекаясь в ненастье,
Познал виды все сладострастья.
С толстушками – знатно,
С худыми – приятно,
Но с козами, – вот оно, счастье!
(Юлия Голубовская)**

**Ковбой, по фамилии Квин,
Божился, что любит фемин.
Высоких, грудастых,
И толстых, задастых,
А трахался с ламами, блин.
(А.Полищук)**

В России лимерик прижился и как бы обрёл вторую родину. Возможно, потому, что он сродни частушке. Однако между ними есть явное различие. Настоящий лимерик непременно содержит элемент нарочитого абсурда, гротеска, особенно в последней строке. В этом с ним скорее сходны «гарики» Игоря Губермана – например, его обжигающая издевка над КГБ, который в советское время называли «органы»: *Я государство вижу статуей / Мужчина в бронзе, полный властности / Под фиговым листком сокрыт / Огромный орган безопасности.*

Борис Акунин наделяет своего героя-детектива Н.Фандорина талантом сочинения лимериков («Алтын-Толобас»):

**Жених, ошалевший от счастья,
Вскричал: «Налобзаюся всласть я!»
Стал он шлепать невесту
По мягкому месту
И сломал себе оба запястья.**

Этот лимерик, на мой взгляд, можно назвать образцовым по всем канонам: раскованности содержания и стиля, напряженной завязки сюжета, неожиданно разрешаемой смехотворным абсурдом последней строки.

Смешные и изящные лимерики создал математик Кирилл Кац. Вот его современная пересмешка памятного нонсенса Лира о лживеньком старце из Гретны (городок на границе Шотландии и Англии, известный своими давними

Соблазны лимерика

брачными традициями):

**В Гуантанамо старец из Гретны
С базы спер мощный крейсер ракетный.
На вопрос: «На хрена?»
Отвечал: «Для зерна!».
Этот лживенький старец из Гретны.**

И, конечно, поражает математическая эстетика миниатюры Каца, сотворенной в каноне лимерика на интимную тему и оставляющей простор воображению читателя:

**Математик из города Тосно
Не любил искривленные сосны,
Видя в корчах сосны
Суть иной кривизны –
Тех фигур, что должны быть соосны.**

Использовать приём Лира, географическую привязку, я надумал во время пребывания в Австралии. Эта далёкая страна-континент – федеративное государство из шести штатов, каждый из которых имеет свое правительство. Я соблазнился сочинить лимерики, привязанные к каждому штату. Первый лимерик касается столицы страны Канберры:

**Молодой человек из Канберры
Жил с Надеждой, Любовью и Верой.
Врач ему говорит:
«Ждет вас, юноша, СПИД.
Но зато не болеть вам холерой».**

Далее о штате Виктория со столицей Мельбурн.

**Одна вдовушка, что из Мельбурна,
Сексуально жила слишком бурно.
На укоры друзей,
Мол, не прелюбодей,
Отвечала: «Секс – вовсе не дурно»!**

С восточным штатом Квинсленд и его столицей Брисбеном (мне как раз довелось выступать там на ежегодном съезде генетиков Австралии) возникла проблема. Ну никак не удавалось найти в русском языке рифму к слову Брисбен! Тут я подумал о нетрадиционной сексуальной ориентации, и задача была решена:

**В штате Квинсленде две брисбеянки
Оказались в любви лесбиянки.
Всем кругом господам
Говорили: «Не дам!»
Дверь открыли матросы – два янки.¹**

¹ Безответственный Редактор решил напомнить автору ещё об одной достопримечательности Австралии, заливе Ботани-Бей:

Тип, живущий близ Ботани-Бея,
Так утратил свой пост чичисбея:
Через Ботани-Бей
Прилетел воробей
И пометил костюм чичисбея.



Состязание в переводах лимериков может быть увлекательной творческой семейной игрой, которая интересна и родителям и детям разного возраста.

Ниже приведены семейные варианты переводов двух лимериков: мои и моей дочери Юлии (слева и справа соответственно).

**There was a young lady of Wilts,
Who walked on the Highland on stilts.
When they said: "O how shocking,
To show so much stocking",
She answered, "Well, what about kilts?"**

**Одна дева, легка как голубка,
На ходулях пошла в мини-юбке.
Люди в крик: «Это шок,
Виден снизу чулок!»
Отвечала: «А выше, под юбкой?»!**

**На ходулях туда и обратно
Озорница шагает развратно.
Ей кричат, что от стирки
На чулках видны дырки.
«Ерунда! И на солнце есть пятна!».**

* * *

**A classical Master of Arts,
Told his wife he was still keen on tarts.
Said she: "That's just dandy",
To think you're still randy;
You still know your principal parts".**

**Один мэтр искусств, даже гений,
Не скрывал от жены похождения.
Она рада: «Прелестно!
Мне особенно лестно –
Не забыл ты, где центр вдохновений».**

**Мэтр искусств в состоянии бредовом
Десять баб заказал себе с ромом.
Жена счастьем горит:
«У тебя аппетит!
Бегу хвастаться бабам знакомым».**

Закончить мне хочется невинным лимериком, который я сочинил в канун 2010 г. на тему папы Карло, Буратино и Мальвины:

**Папа Карло для милой Мальвины
Из бревна сотворил Буратино.
Утром девушка плачет:
Надо было иначе –
Почему только нос вышел длинным!¹**

Позабавиться в «вольном городе лимериков» можно, заглянув в виртуальное арт-кафе на русскоязычном сайте www.kulichki.com/limer/art.html.⁴

¹ Заключение Безответственного Редактора:

Даже в каменных джунглях Америки
Нынче дикие бродят лимерики.
Невозможно постичь,
Кто завёз эту дичь
На берега современной Америки.

Михаил Голубовский
**ВОЛШБА — ПАМЯТИ ПОЭТА
Д. АВАЛИАНИ**

Мите-лопуху дано на духу: полетим

Д.Авалиани



Д.Е.Авалиани

Перед самым Новым годом¹ пришла печальная весть. 20 декабря в Москве под колесами машины погиб Дмитрий Евгеньевич Авалиани — удивительный поэт и оригинальнейший художник слова...

В ландшафте современной русской поэзии Дмитрий Авалиани занимал особую нишу — он был и останется навсегда непревзойденным маэстро игрового словотворчества — анаграмм и палиндромов в их разных воплощениях. Здесь Авалиани продолжил линию Велемира Хлебникова, ему он посвятил монопалиндром:

Рим еле видим и кони, дома...

Тьму азиата таи.

Заумь там.

Одиноким иди, Велемир.

Авалиани обогатил жесткий палиндромный жанр огранкой философичности, дыханием современности и юмором, от саркастического до озорного (см. эпиграф) — последнее качество, кажется, отсутствовало в поэзии Хлебникова.

Море могуче — в тон ему шумен ответу Гомером
Море, веру буди — яркок, скор, я иду буревером

Мудрим. Хитрим.

Мир тих. Мир Дум.

Я не меж иными «я»,

И «мы» ниже меня

Логик и дик и гол

Ум роняю, не ценю я норму

От Эроса зло, мол, засор это

Венер хотят, охренев

Д. Авалиани — коренной москвич, проводивший детство в арбатских переулках. Одна из отцовских ветвей его родословной уходит конями в Грузию, в Сванетию. Его отец был художником. Авалиани учился на географическом факультете МГУ, но стал свободным художником. С 16 лет начал писать стихи, увлекаясь аллитерациями, каламбурами, создавая гибридный жанр букво-словесной графики или визуальной поэзии. Как сказано в одной заметке, Авалиани стал «прижизненным классиком в формалистических жанрах». Но до начала 90-х годов и падения советского режима формализм был идеологически подозрителен. Путь к публикациям был для Авалиани практически закрыт. Пришлось зарабатывать на жизнь охранником в научных институтах (в частности, в Институте молекулярной биологии). Отсюда, видимо, идут палиндромный шедевр **Дорого небо, да надобен огород** и гетерограмма: **Не бомжи вы / Небом живы.**

После 1995 г. вышло три поэтических сборника Авалиани, последний из них назван «Лазурные кувшины» (СПб. Изд. Лимбаха. 2000). Палиндромные подборки печатались в журналах «Новый мир» (№9, 1994), НЛО и широко представлены в Интернете.

Авалиани, по его словам, старался вернуть средневековое доверие к знаку: *«Мы живем в эпоху словесной инфляции. Язык обесценивается, мы теряем ощущение его красоты. Замедляя темп речи, вырывая слова из контекста, рассматривая их как бы через микроскоп, я пытаюсь вернуть это утраченное ощущение».*

¹ Имеется в виду 2004 год.

Квартира Авалиани, по рассказу М. Крушинского (напечатан в «Комсомольской Правде» в 1998 году) напоминала Музей Слов, нарисованных, вывернутых наизнанку, вырезанных на дереве и камне. Всюду были разложены, развешаны, расклеены листовертни, когда «Афина» при повороте листа превращалась в «Венеру», а «черт» в «ангела».

Пристрастием Авалиани была графика, он мыслил шрифтовыми образами букв, как математик — формулами. В его мозгу буквы — слоги как бы сами собой отделялись от исходной словесной семантической оболочки-скелета и в свободной импровизации принимали вдруг совершенно неожиданное другое семантическое воплощение. Это производило ощущение чуда. Так, по свидетельству Крушинского, Авалиани, даже закусывая, под водочку, мог «рассеянно пробормотать что-то вроде «Постукай капустой», — и только вдумавшись, ахнешь: батюшки! Анаграмма же!»

Вот его другие совершенно замечательные находки — семантически связанные пары анаграмм:

РУСАЛКИ
КРАСУЛИ

ФОРМА
АМФОР

ВЕСЕЛО НА
СЕНОВАЛЕ

ЛЕВИЗНА
НИЗВЕЛА

НИЗМЕННОЕ
НЕИЗМЕННО

ВСЕЛЕННАЯ
НЕ СЛАВЯНЕ

ТИСКАЙТЕ
СТАТЕЙКИ

МУЧЕНИК
НИ К ЧЕМУ

Но Авалиани, как и Эшеру, доступно и непостижимое — отточенные цельные стихотворные миниатюры, составленные из анаграмм в соседних строках:

Ангелы пропали.
Наглые пропали.
Ангелов отмена.
Главное — монета.

* * *

Что целуете, робея?
Что, бояре, уцелеет?
Свалит времечко — слетите,
Вечерком листва истлеет.

Или эти поразительные строчки:

Аз есмь строка, живу я мерой остр.
За семь морей ростка я вижу рост.
Я в мире сирота,
Я в Риме Ариост.

Еще раз увидим и удивимся — каждое слово в четной строке этих миниатюр имеет свой анаграммный аналог в предыдущей строке! Возникает невыразимое на рациональном уровне чувство красоты, как в шахматной комбинации.

Одна из Интернет-подборок Авалиани названа выразительно точно ВОЛШБА. И начинается волшба стихом о юркой ящерке.

Я ящерка
Ютящейся
Эпохи,
Щемящий
Шелест
Чувственных
Цикад,
Хлопушка
Фокусов
Убогих,
Тревожный
Свист,
Рывок
Поверх
Оград.
Наитие,

Минута
Ликованья,
Келейника
Исповедальня.
Земная
Жизнь
Еще
Дарит,
Горя,
Высокое
Блаженство
Алтаря.

Прочитаешь на едином дыхании этот стих и опять невольно ахнешь: каждое нисходящее слово начинается со следующей в обратном порядке от Я буквы алфавита: я-ю-э-щ-ш-ц.... и до «а».

Авалиани создал оригинальный жанр словесной графики — листовертни. Графические вариации одной и той же буквы под рукой художника получают разное знаковое воплощение в контексте целого слова-рисунка. Я бы сравнил здесь новаторство Авалиани в поэзии с тем, что Морис Эшер воплотил в своих непостижимых рисунках и гравюрах.

На выступлении в Москве в «Салоне салонов» в 1997 г. Авалиани держит в руках листовертень с надписью «Что делать» (См. фото). Лист поворачивается — возникает другая надпись — Переболеть!

А вот другие пары листовертней: *Плюну уеду/Реальность; Президент/Ты навредил.*

Из исходного слова «Петербург» Авалиани, к 300-летию города, графически создал около 15 разных пар листовертней.

Этот вид творчества кажется сейчас вычурным трюком-иллюзией, «искусством для искусства». Хотя это уже само по себе

прекрасно. Но нам не дано предугадать все гавани будущего плаванья. Кино на заре своего существования тоже казалось трюком... Вот, кстати, один возможный вариант прагматического использования листовертных созданий Авалиани — компьютерный анализ разных почерков: где граница трансформации рукописной буквы, при которой она сохраняет или меняет исходное знаковое значение...



Коллаж-листовертень Д.Е.Авалиани:
Ожидание / Зимы стужа

У Авалиани есть и прекрасные философско-лирические стихи, написанные в традиционной манере. Один из них похож на эпитафию, посвященную памяти его друга. Уместно привести ее здесь:

Аркадию Гаврилову

Прости мне, друг, живущий уже там,
где не тверды ни камень, ни металл,
лишь образы горят.
Прости, что ты зарыт, а я иду, и лед
под тяжестью звенит.
Не веривший в бессмертие души,
теперь скажи,
ты сильно удивлен
или, напротив, скукой раздражен,
что превратился в буквы, падежи,
или не этим вовсе жив,
ты нежно лишь глядишь на небосклон.



Соня Мельникова-Рэйч

НЕУЛОВИМАЯ ПОЭЗИЯ ВАБИ-САБИ



В 2011 в Дзен-центре Сан-Франциско состоялась выставка Сони Мельниковой-Рэйч «The Elusive Poetry of Wabi Sabi», то есть «Неуловимая поэзия ваби-саби». Работы, представленные на выставке, убедительно продемонстрировали родство мировоззрения фото-художницы с японской философией *Моно но Аварэ* и эстетикой *Wabi Sabi*, характеризующимися способностью ценить красоту того, что несовершенно, мимолетно, незаконченно, и приятие естественного цикла в природе и жизни – рождение, расцвет, увядание – в каждой стадии которого есть своя красота.

Буквально перевести эти поэтические и многослойные термины очень трудно. Приблизительный смысл *ваби-саби* – это *скромная, но изысканная простота*. *Ваби* ассоциируется со скромностью, неяркостью, *саби* – с патиной, стариной, неподдельностью. Этими же словами можно передать чувства одиночества и запустения. В учении *дзен* они видятся как положительные, как стремление к простой, но осмысленной жизни, как освобождение от материального мира и трансцендентный выход за его пределы.

Близкая по духу к *ваби-саби* философия *моно-но-аварэ* может быть вкратце объяснена как осознание преходящести вещей, их печальное очарование. Художница предлагает и такое объяснение: «Если какой-то момент или предмет вызвали в вас чувства светлой грусти и духовной жажды, тогда можно сказать, что этот момент и есть *моно-но-аварэ*, а предмет или его окружение – *ваби-саби*».

Духом *ваби-саби* проникнуто большинство работ Сони, в том числе серия “Left Behind” («Покинутое»), которая состоит из образов, запечатленных в заброшенных «городах-призраках» Калифорнии, Аризоны и Новой Мексики, покинутых после Золотой лихорадки. Поражают не только сами покинутые дома, но и оставленные тюлевые занавески на окнах, посуда в буфетах, детские кроватки, семейные реликвии. «Как ни странно, но я испытываю некую ностальгию по прошлому Америки, которое ушло задолго до того, как я сюда приехала», – говорит Соня. В основе её «ностальгических» серий лежит размышление о не столь давно оставленных местах, исторически, возможно, не менее важных, чем руины Помпеи или Мачу Пичу, и старых вещей, чья ценность определяется не сегодняшней полезностью, драгоценностью материала или традиционным представлением о том, что «красиво», а теми воспоминаниями, которые они вызывают. Соня говорит, что в большинстве своих «фото-картин» она избегает сильных контрастов и ярких цветов и не стремится к экзотике, а скорее находит поэзию и загадочность

в самых простых окружающих нас вещах. Наверное, недаром в виде эпитафии к виртуальной галерее своих работ она выбрала строфы Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда».

Работы Сони Мельниковой-Рэйч из этой и других серий можно посмотреть на ее веб-сайте <http://art.soniamelnikova.com>



MORNING PAPER



LEFT BEHIND



OLD PORCH



PRESIDIO GROUNDS



STILL ROCKING



SECRET GARDEN



DUSTY JARS



LOST AXE

МАГИЯ ВЫШИВКИ

Галина Курляндчик

Как знает каждый, кто пробовал, вышивка требует не только беззаветной любви к оригиналу, но и дзен-буддийского упорства. Поскольку медитация не бывает пошлой, все эти народные гобелены обладают вневещественной ценностью. Они служат конденсатором жизненной энергии, которую любители фэнишуй зовут «ци», а остальные – как придется.

Генис А.А. Фантики. М., 2010

Психологи считают самые ранние детские воспоминания важнейшим источником достоверной информации о личности человека. Для меня очевидно, что события, происшедшие со мной в раннем детстве, произвели на меня незабываемое впечатление и послужили неким фундаментом, на котором была построена вся моя последующая жизнь. Нетрудно догадаться, что речь пойдет о моей семье, а еще точнее – о моей маме.

НЕМНОГО СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

Прежде чем поделиться своими детскими воспоминаниями, я бы хотела рассказать о том, что произошло в жизни мамы до моего появления на свет. Для этого я воспользуюсь страницами дневника моего деда Шуры, маминого отца, Александра Дмитриевича Сорокина, военного человека. Его дневниковые записи я буду комментировать, чтобы пояснить некоторые факты, имевшие, на мой взгляд, непосредственное влияние на мамину судьбу.

О себе дед пишет на первой странице дневника (далее курсивом выделен подлинный текст дневника):

Родился в 1896 году в деревне Дымовщина Рождественской волости, Уржумского уезда, Вятской губернии в семье крестьянина бедняка. По национальности русский.

Я буду краткой. Дед закончил два класса церковно-приходской школы, с 8-9-ти лет пас скот у себя в деревне, а с 14-ти был уже главным кормильцем в семье. Во время Первой Мировой войны был ратником 2-го разряда, то есть его должны были призвать в армию в первую очередь, но на фронт он так и не попал, а в феврале 1918 года поступил в Красную Армию. Воевал в Сибири, на Украине, вошел со своей частью в Крым через гнилой Сиваш, после чего заболел туберкулезом, но продолжал служить. В 1922 году его часть перевели в Днепропетровск, где он встретил свою

будущую жену Марию Георгиевну Студенникову, дочь машиниста поезда.

В октябре месяце 1923 года у нас нашелся первенец, назвали его Юрой.

В октябре 1925 года меня перевели в г. Белая Церковь, где у нас нашлась – славная умница дочка – Светлана. Она родилась 10-го января 1926 года.

Город Белая Церковь, где нашлась моя мама, недалеко от Киева. У деда все шестеро детей *нашлись*. Так, наверное, говорили в деревне Дымовщина. Как приятно мне узнать, что дед называет мою маму «славная умница дочка»! Дед пишет о своей дочке в традициях русской сказки, как бы предсказывая ее доброе будущее. Эта фраза дает мне ясно понять, что он хотел детей, любил их и гордился ими. Что касается имени, то бабушка Маша собиралась назвать ее Сусанной. Сусанна – слишком вычурно для русского уха, но это был результат бабушкиной начитанности. У нее было аж четыре класса образования! Дед считал свою жену *культурной и образованной*. Сусанна – древнееврейское имя, которое означает «белая лилия». Остановились все же на славянском имени Светлана – «светлая»! Впрочем, имени Светлана не было в святках, оно только входило в моду в 20-е годы. Я уверена, что это имя маме было дано неслучайно, в нем есть некая магия, оставившая отпечаток на ее судьбе. Бабушка Маша всегда стремилась к красоте, к высокому и светлому, поэтому влияние ее эстетических и духовных устремлений на жизнь детей начиналось именно с выбора имени.

Дата рождения – 10 января! Эта дата – всегда особый день в нашей семье, а с 2007 года уже двойной праздник, потому что в этот день у нас *нашлась* моя внучка, а мамаина правнучка, Алиса.

В 1934 году нас постигло большое несчастье. В феврале умер старший сын Юрий, а в октябре мл. Вадим. Это был тяжелый удар по нашему семейному счастью.

Мама не раз рассказывала, как их семья потеряла двух мальчиков, одного за другим. Первым умер старший 10-летний брат Юра от туберкулезного менингита, а вскоре и младший 10-месячный Вадим – от дизентерии. Осталась одна 8-летняя девочка, моя мама. Врачи сказали бабушке: «Берегите девочку». У нее был туберкулез в закрытой форме. Бабушка Маша увезла своего последнего уцелевшего ребенка в Крым, в Феодосию, в детский санаторий. Маму спасли, но она росла слабой девочкой. И моя мама, и ее брат Юра заразились туберкулезом от отца.

Деда переводили по службе в разные места, семья переезжала с ним. Мама меняла школы



Мама с родителями. 1936 год

много раз. В 1937 году у нее *нашлась* сестра Стелла («Звезда» по-латыни, а в семье – Тала), а в 1939 *нашлась* Леокадия (имя греческое, а дома – русское – Лада).

В мае 1940 года дивизия, где служил дед, была переведена в бессарабский город Бельцы на границе с Румынией. Семьи офицеров жили в центре города, а воинские части располагались на окраине.

ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ

22 июня 1941 года.

Полки дивизии заняли оборону по реке Прут на 140 кил. по фронту.

В 22.00 2-6-41 г. эшелонам отправили семьи и ни у кого из нас мало (не) было уверенности, что наши семьи доберутся благополучно.

Маме было 15 лет, и она хорошо помнит этот день. Вот что она рассказала:

Мы с мамой эвакуировались два раза. Первый раз из г. Бельцы (Бессарабия) вечером в первый день войны, т.к. война у нас началась в 4:00 утра, над головой летал самолет и летели транссирующие пули. Вечером семьи погрузили в товарные вагоны, и мы поехали в Днепропетровск, где служил отец до Бессарабии, и там жили бабушка с дедушкой и другие мамин родственники.

Я долго не могла понять, как удалось спасти семьи, эвакуировав их в первый же день войны. И вот что я узнала от мамы, расспросив ее подробнее.

Обстановка на границе была очень напряженная уже за несколько дней до 22 июня. Их семью, как и другие семьи, переселили из центра города

непосредственно в расположение дивизии, где служил дед. Вещи еще не распаковали, поэтому, например, уцелели семейные фотографии. Когда девочки проснулись от гула самолетов и свиста транссирующих пуль, то на веранде они увидели связанного молдаванина. Как мама поняла, его арестовали за то, что он подавал сигналы немецким пилотам. Мама также сказала, что если бы их не перевезли из города в часть, то ночью 22 июня их бы всех перерезали. И это всё произошло в первые же часы войны!

Мне стало ясно, что в части деда, которая располагалась в непосредственной близости от границы, готовились к войне, несмотря на приказы из Ставки и прочие препоны. Семьи из города переселили в часть, эшелоны подготовили тоже наверняка заранее, да и молдаванина так быстро поймали, потому что ждали нападения со стороны немцев. Кто-то из военных командиров взял на себя ответственность и принял решение о спасении людей, нарушая при этом приказ сверху и рискуя быть расстрелянным за «паническое настроение». Поклон ему от меня и от всей моей семьи!

Бабушка Маша с детьми, с трудом добравшись до Днепропетровска, поехала во вторую эвакуацию в Оренбургскую область в деревню. Там мама работала в колхозе в поле и на току вместе с другими подростками, получала трудодни, которые помогли им пережить первую военную зиму. Постепенно она окрепла и стала забывать о своем туберкулезе. Это время закалило ее физически и духовно.

Связи с дедом все эти долгие месяцы не было, как не было и денежных аттестатов, которые выдавались семьям фронтовиков, потому что дед попал со своей частью в окружение. Но он сумел вывести остатки дивизии к своим уже в начале зимы 1941 года. Они спасли знамя дивизии, за что дед получил орден Красного Знамени, а позже был отправлен служить в морскую пехоту на Черноморский флот, который тогда держал оборону в Севастополе.

ИНСТИТУТ И ЗАМУЖЕСТВО

Школу мама закончила в городе Потти, где в то время базировался Черноморский флот и куда деду удалось забрать семью из эвакуации. Перед выпускными экзаменами в школе мама заболела малярией, сдавала экзамены с температурой 40, но опять выжила. В январе 1945 года *нашелся* Гоша, мамин младший брат Георгий, названный в честь маминого деда, погибшего в Днепропетровске во время бомбежки. Семья переехала в Симферополь, где мама поступила в педагогический институт на

филологический факультет. Вот что она рассказала об этом времени:

Институт восстанавливался после войны. Первые дни в институте пришлось много поработать, создавая хоть какие-то условия для занятий. Все ведь было разрушено, но главное учебное здание сохранилось. Сидели на досках, положенных на кирпичные столбики, таскали книги из городской библиотеки в свою (видимо, для сохранности перед оккупацией их туда переместили). Кроме того, что учились, устраивали и сам институт, чистили подвал. Везде же были свалки.

Во время учебы она познакомилась с моим будущим папой, младшим лейтенантом-танкистом Владиленом Натановичем Бабушкиным, окончившим школу в Москве в 1941 году и прошедшим всю войну. Они поженились в 1948 году, когда мама окончила институт. Папа тогда служил в Германии, но семьи туда еще не ввозили.

В 1949 году *нашлась* я, их дочь. А через два года папу перевели служить на Дальний Восток. Туда уже можно было ехать и нам с мамой. И мы поехали. На семнадцать лет.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Первое, что я видела, когда просыпалась утром, — мамины вышивки на стенах нашей комнаты. Изысканные розы, великолепные маки и нежные ромашки говорили мне: “С добрым утром!” Мне было тогда года четыре или пять, но чувство радости от красоты, которая меня окружала, я помню до сих пор. Мы жили в гарнизоне на берегу озера Ханка, в Приморском крае на границе с Китаем. У папы была тяжелая служба. А мама всегда рядом и всегда за работой. Я знала, что моя мама — рукодельница. Кроме картин, вышитых гладью, нашу комнату украшали также вышитые гладью и крестом скатерти, салфетки, подушки. Я ходила в платьях, сшитых мамой и украшенных ее вышивкой, у папы была рубашка, вышитая мелким украинским крестиком, а ее собственные самодельные наряды вызывали неизменный восторг у всех соседок.

Я знаю от мамы, что дома у них никто не вышивал, не рисовал, хотя иголку в руках мама держала с детства. Она рано научилась шить и сама себя одевала. Ей очень нравилась вышивка гладью, но учиться этому было негде. В годы ее молодости этот род занятий считался мещанством, пережитком буржуазности. Живя в Симферополе, она смогла, наконец, найти женщину, которая дала ей начальные уроки по вышивке гладью. Первая ее работа — «Маки».

В этой работе она осваивала сложнейшую вышивальную технику, училась «живописи иголкой». Все остальные виды вышивки мама постигала самостоятельно. Жизнь с мужем-военным по гарнизонам способствовала этому занятию.

В то время в военных городках уже вышивали многие женщины. В нашем гарнизоне устраивались выставки рукоделия, там мамины вышивки всегда



Маки.
Гладь, шелк,
47х110 см

занимали первые места. Ее работы отличались вкусом и тончайшим мастерством исполнения, поэтому их отправляли на другие, более представительные выставки. И даже там (на выставках Дальневосточного военного округа в Хабаровске) они получали первые призы. С тех дней у нас дома хранится семейная реликвия — инкрустированная шкатулка — мамина награда за ее великолепные вышивки.

Наш гарнизон был большой, с построенным при нас Домом офицеров, где проводилось множество интересных вечеров. Если это был Ситцевый бал, то мамино платье из ситца матрасной расцветки удостаивалось первой премии. На Вечере пирога мамины оригинальные рецепты восхищали самых больших гурманов, а впоследствии она принимала участие в этих кулинарных праздниках уже как член жюри. Незабываемы маскарадные балы на Новый год, где костюмы, придуманные и выполненные мамой, вызывали неизменный восторг всех присутствующих и получали самые высокие награды. Например, карикатура в журнале “Огонек” подала идею двойного костюма “Вальс современного Штрауса”: тогдашний канцлер ФРГ Штраус, известный своими воинственными заявлениями, танцевал в обнимку с “атомной бомбой”. Или другой пример: тоже двойной костюм “Сказка о рыбаке и рыбке”, где старик со старухой были на балу с настоящей сетью, настоящим разбитым деревянным корытом и “золотой рыбкой”. Ну как мне было не гордиться своей мамой!

Я росла, а мама совершенствовала свое мас-

терство в разных видах рукоделия. Она освоила вязание на спицах, взяв пару уроков у другой жены офицера, латышки, которая вязала с детства. Потом мама взялась за крючок, и у нас в доме появились кружева.

В школе я участвовала в самодеятельности, танцевала, и все костюмы для моих выступлений: татарский, китайский, индийский, украинский, венгерский – были настоящими произведениями искусства. А замуж я выходила в белом ажурном платье, связанном моей мамой. Это, конечно, не укладывалось ни в какие нормы и традиции – невеста в вязаном платье! Но оно было так красиво, что ни одно другое не могло бы конкурировать с этим маминым шедевром.

РЯЗАНЬ

Кстати, замуж я выходила в Рязани, где тогда жили мои родители после демобилизации папы из армии. Там мама организовала для своих друзей “Клуб веселых гостей и находчивых хозяев”. К каждому собранию этого клуба, будь то день рождения, юбилей, свадьба или другое радостное событие, выпускалась стенгазета с ее стихами, полными юмора, доброты и тепла. Эти самодельные газеты до сих пор хранятся у одного из членов этого клуба, бывшей заведующей Рязанским областным архивом Веры Иосифовны Холмогорской.

Нарисованный мною портрет выглядит, вероятно, несколько однобоко. Можно подумать, что мама всю жизнь не отрывалась от нитки с иголкой, крючка или спиц. На самом деле она очень активный, необычайно трудолюбивый и отзывчивый человек. Будучи гуманитарием по образованию, мама всегда работала в библиотеках гарнизонов, где мы жили, проводила читательские конференции, за что получила множество наград и даже грамоту ЦК ВЛКСМ.

У нас дома всегда в ходу были швейная машинка, позже вязальная машина, но мама не любила машины, ей нравилась больше ручная работа, поэтому одежду себе, мне, моим детям, вещи для дома всегда украшала вышивкой. Подарки для родственников и друзей старалась не купить, а сделать своими руками.

Мама любила гостей, которых принимала с истинным радушием, угощая вкуснейшими пирогами и другими яствами. Помимо многочисленных родственников, в доме у моих родителей бывало много друзей, которых мама тоже одаривала уникальными подарками. На свой день рождения она любила устраивать девичник для подруг, и для каждой ею был вышит подарок крестом, гладью или ленточками. Устраивалась викторина, и гости

уносили домой подарки от именинницы.

МОСКВА

Выйдя на пенсию и уже живя в Москве, мама посещала занятия крючком в студии «Декоративный костюм» под руководством дизайнера Ольги Литвиной. Наши гардеробы пополнились уникальными вещами, в которые мама внесла свои творческие идеи. Там мамины работы оценила редактор «Журнала мод» Ирина Нечаева. И мамины работы в разных видах вышивки публиковались в этом журнале на протяжении десятка лет в специальных выпусках по рукоделию. Мы, вся наша семья и близкие друзья, очень рады за маму: благодаря этому журналу она получила признание как настоящая художница. Теперь новое поколение рукодельниц может воспользоваться ее мастерством и просто насладиться прекрасным творчеством. А вот так оценивают мамино творчество редакторы «Журнала мод»:

«Восхитительные вышивки нашего давнего автора Светланы Бабушкиной – подлинное украшение нашего журнала. Чувство цвета и тонкость работы просто поражают». – Журнал мод. Рукоделие, 2003, № (438).

В середине 90-х годов мама стала быстро терять зрение. Дистрофия сетчатки – болезнь наследственная (бабушка Маша страдала тем же) и неизлечимая, а оставаться без своего любимого занятия мама не могла, поэтому она переключилась на вышивку шелковыми ленточками. Моего мужа в это время пригласили на работу в США, и у меня появилась возможность привозить маме книги по этой вышивке и сами ленточки. В России их еще не продавали в то время, а я ходила в магазины по рукоделию и подбирала ленты разной ширины и разных цветов. Например: для листьев – 10 оттенков зеленых от светло-зеленых до темно-зеленых, для сирени – 10 оттенков сиреневых от светло-сиреневых до темно-фиолетовых и т.д. Поскольку у мамы был огромный опыт в рукоделии, то она стала изобретать собственную технику для своих новых моделей. Ленточки дали ей дополнительные возможности для творчества, натолкнули на совершенно новые идеи в создании картин, где используется и вышивка гладью и ленточками, и аппликация. В ее голове постоянно зрели новые образы, которые приобретали краски и объем в ее руках.

Я несколько раз наблюдала реакцию людей, впервые увидевших мамины вышивки лентами. Это было полное изумление и радость при виде

букетов с цветами: «Как живые!»

Пособия на русском языке по вышивке шелковыми ленточками очень редки, а освоить эту технику хотят многие, поэтому мама, сейчас практически слепой человек, передает свое умение другим. Она ведет занятия по вышивке шелковыми лентами в Отделе искусств библиотеки района «Восточное Измайлово» города Москвы, который находится



Панно с сиренью.
Гладь,
ленты,
аппликация,
23х33 см

во дворе дома, где она живет. Ее приглашают проводить мастер-класс по этому виду рукоделия для подопечных Центра социального обслуживания этого же района. Библиотека и ЦСО берут ее работы на творческие выставки, а в 2009 году мама получила Диплом за участие в такой выставке ко Дню города Москвы.

Главный ценитель, первый критик и основной помощник во всех маминых творческих делах – мой папа. Он всегда был готов увеличить рисунок для вышивки, сделать рамку, вставить и повесить картину и, что самое ценное, поддерживает маму во всех ее многочисленных начинаниях.

А уж какая она замечательная бабушка и прабабушка! Мы жили и работали в Академгородке под Новосибирском, а на лето всегда отправляли детей в Рязань, затем в Москву, где мои родители устраивали им интересные каникулы. Не только наша семья, но и наши друзья любят приходить в дом моих родителей, чтобы насладиться красотой убранства квартиры и радушием хозяев.

В прошлом году мама перенесла инсульт, но не испугалась, опять поднялась, и опять в строю, как истинная дочь командира и жена офицера. С трудом заново научившись ходить, она первым делом отправилась в библиотеку, где в это время проходила выставка работ ее учениц.



Я с родителями в День 62-й годовщины их свадьбы.
1 августа 2010 года, Москва

АЛЬБОМ, САЙТ, КАЛЕНДАРИ

В 2005 году накануне ее 80-летия наша семья сделала маме подарок – мы опубликовали альбом с ее вышивками под названием «Живопись иглой». Она привыкла дарить подарки, сделанные ею самой, а из-за потери зрения это стало невозможно. Альбом и позже ежегодные календари с ее работами несколько восполняют ей эту утрату.

Мамин альбом вызвал теплые отзывы у многих людей. Вскоре после выхода в свет в 2006 году в канадском русскоязычном журнале «Самовар» появилась статья Татьяны Савиной под названием «Галочка», посвященная альбому «Живопись иглой».

Когда альбом был готов, мы сделали на Интернет-е выставочный сайт www.svetart.ru. Сайт существует на русском и английском языках. В него вошли не только вышивки гладью, крестом, лентами, в смешанной технике, но и интерьеры, одежда, разные аксессуары. Он регулярно пополняется. Мы иногда находим и публикуем «новые работы», которые были подарены мамой ранее родственникам и друзьям. Иногда мы помогаем ей доделать задуманное. К некоторым работам в сайте даны описания и схемы, чтобы желающие могли выполнить их самостоятельно. Есть «Книга отзывов», где посетители сайта оставляют свои впечатления от работ мастерицы. Эти отклики мы печатаем для мамы. Это приносит ей радость. Я не буду цитировать в этой статье все отклики, которые мы получили. Приведу здесь только один:

«...Начну, наверное, по-порядку, со Светланы Александровны, потому что именно она первопричина дальнейших событий. Облик Светланы Александровны дышит поразительной гармонией, а красивая самобытная одежда только подчеркивает абсолютную неординарность ее

хозяйки. Представить ее в костюме или платье из ГУМа (или, точнее, из того, что сейчас в бышем ГУМе) не только невозможно, но и неуместно. Одухотворенность, веющая от ее личности, требует такой же одухотворенной одежды. Антон Павлович Чехов, формулируя кредо человека, в котором должно быть все прекрасно, имел в виду именно такие русские души – талантливые во всем, чтобы они ни делали – живописали ли иголкой, пекли ли румяные пироги, или растили детей столь же талантливых и с такой же благородной душой, как они сами.

Русские женщины послевоенного поколения – наши мамы – особый социальный феномен, требующий специального изучения. Светлана Александровна – его лучший представитель, потому что воспитала дочь, которая по достоинству оценила и мамину жизнь, и мамин труд, а главное при маминной жизни успела подарить ей бессмертие. ...Мною правит шквал чувств, перед которыми даже наш «великий, могучий русский» оказывается бессилен. Чтобы я сейчас ни писала, будет лишь бледным подобием тех глубоких переживаний, которые вы, Галя, мне подарили.

Larissa Watkins
05.03.2006»

Сайт пользуется большим авторитетом в Интернете. Его дают в рекомендациях другие сайты по рукоделию и домоводству. В форумах рукодельницы рекомендуют его друг другу. Используют и в других ссылках. Например, мамыны «Березки» я увидела в Карельских новостях. Рассказывалось о том, как юные футболисты сломали во время игры несколько молодых березок в парке. Видимо, фотография не отличалась выразительностью, а березы, вышитые гладью, придали событию большую эмоциональность.



Березки. Гладь, шелк, 60х40 см

Идея опубликовать мамыны работы возникла естественно. Нам казалось, что это будет не только хорошим подарком, но и ниточкой, связывающей нашу семью. Я, к сожалению, не унаследовала от

мамы страсти к рукоделию, хотя и шила, и вязала, как того требовали условия, в которых мы жили. У дочери было желание и способности последовать по стопам бабушки, но ответственная работа и семья не оставляют времени для собственных увлечений. Нам всем хотелось как-то продолжить традицию семьи. Мамины работы вдохновляют нас, а ниточки тянутся в разные концы ко множеству знакомых и незнакомых людей, которые находят в них источник радости, света, поражаясь таланту, мастерству, упорству рукодельницы.

После опыта с альбомом мы решили попробовать издать календари с маминными работами. Замысел первого календаря был прост. Календарь на 2007 – «Поэзия вышивки» – мы составили из маминных пейзажей, выполненных крестом и сопроводили их стихами русских поэтов, посвященных временам года. Все календари мы выпускаем на русском и английском языках, пропагандируя русские традиции рукоделия и среди американских друзей и знакомых.



Осень.
Крест,
мулине,
23х15 см

Календарь на 2008 год назывался «Магия розы», а поскольку роза – один из древнейших поэтических и художественных образов, то в нем мы собрали мамыны розы, исполненные гладью, крестом и лентами, прокомментировав вышивки цитатами из «Журнала мод», в котором публиковались мамыны работы.



Подушка
с розами.
Ленты,
45х45 см

«Старинное искусство вышивки тесьмой и лентами стало забываться. Однако тесьма успешно заменяет (и дополняет) вышивку гладью и аппликацию. Цветы, выполненные в этой технике, выглядят рельефнее и исполняются гораздо быстрее. Букеты и гирлянды из тесьмы и лент очень эффектно не только для декоративных панно и

салфеток, но и для отделки шитой и вязаной одежды».

— Журнал мод. Рукоделие, 2003, № 439 .

«Мелодия цветов» — так назывался календарь на 2009 год, который был посвящен маминым цветущим полянам и букетам с ландышами, незабудками, фиалками, нарциссами, маками, гиацинтами, гвоздиками, анютиными глазками, сиренью, гортензией, розами и, конечно же, мамиными любимыми ромашками. Все вышивки сопровождалось стихами о цветах, поэтизированными нами в мировой поэзии.



Ромашки.
Гладь, шелк,
25х37 см

В календарь на 2010 год мы поместили мамины вышитые подушки и назвали «Гармония уюта».

«Всего несколько вечеров — и вы обладатель такой вот уютной подушки. Цветочные мотивы — традиционно самые популярные, и что бы не витворила ветренница-мода, думая о домашнем уюте, мы всегда в первую очередь вспоминаем о цветах. Подушки-панно, украшенные ленточной вышивкой, — это маленькие поляны с вечноцветущими ландышами и анютиными глазками». — Журнал мод. Рукоделие, 2005, № (462).



Подушка с
цветами и
орнаментом.
Крест, мулине,
50х40 см

«Дни солнцеворота» — пейзажный календарь 2011-ого года, в котором мамины работы перекликаются с лирикой Бориса Пастернака,

посвященной природе. Этот календарь мы отправили в Дом-музей Б.Л. Пастернака в Переделкино и получили ответ от директора музея Натальи Анисимовны Пастернак: *«Потрясены красотой художественных картинок Вашего календаря. Повесим календарь в самом музее, будем вспоминать Светлану Александровну с любовью. Большое спасибо. Н. Пастернак. Сент. 2010. Переделкино».*

Недавно вышел из печати календарь на 2012 год. В нем мы поместили мамины вышивки гладью, которые сопровождаются «Сонетами» В.Шекспира в переводах С.Я.Маршака. Этот календарь называется «Классика жанра», так как он составлен из классических канонов двух творческих направлений.



Натюрморт
с арбузом.
Гладь, шелк,
70х50 см

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Несколько историй.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

2006 год. Соседи по московскому двору Тамара Владимировна и Люда Мараховские рассказали следующее. Отец Люды, бывший военный моряк, тяжело болевший перед смертью, держал только что выпущенный и подаренный их семье альбом «Живопись иглой» с вышивками моей мамы рядом со своей постелью. Он то и дело брал его в руки и смотрел на вышивки в этом альбоме. Видимо, ему было легче переносить физическую и душевную боль, которые принесла его болезнь. Хочется надеяться, что теплая красота маминых работ помогла ему перейти в мир иной «спасенным».

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Примерно в это же время у родителей была помощница Нина, женщина с Украины, приехавшая на заработки в Москву и работавшая дворником у них во дворе. Нина отвезла подаренный мамой альбом своей больной матери, которая спала за занавеской в своем доме, как это принято до сих пор в русских и украинских деревнях. Больная женщина не выпускала альбом из своих рук до самой своей

кончины.

И хотя обе истории с очень печальным концом, но хочется думать, что мамины работы, собранные в этом альбоме, принесли радость двум прекрасным людям в последние дни и часы их жизни.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Моя подруга-американка, человек физически очень хрупкий, вешает мамины календари напротив своей кровати и, просыпаясь по утрам, а также проводя долгие месяцы в постели после травм, любитесь мамиными работами. Она говорит, что они ей очень помогают переносить боль и тяжелые моменты в жизни. Она также говорит, что с волнением ждет наступления нового месяца, чтобы прочитать новые стихи и соединить увиденное и прочитанное в одно прекрасное ощущение.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Помощница нашего семейного доктора, в офис которого я каждый год приношу новые календари и карманные календарики, рассказала, что как-то в автобусе, которым она ездит на работу, она показала водителю вместо проездного билета мамин календарик, спохватилась и стала искать проездной, но водитель сказал, что она ему часто показывает эту красивую карточку и он ничего не имеет против.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

Совсем недавно одна давняя подруга поведала о том, что, оказывается, относит мамины календари в библиотеку Новосибирского государственного университета, в котором она работает по совместительству. Все библиотекари очень трепетно относятся к этим календарям. Им нравятся и работы по рукоделию, которые их вдохновляют на собственное творчество, и оформление календарей со стихами, которые добавляют эмоций и мыслей к увиденному на картинках.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

18 октября 2009 года Инна Трегуб организовала в нашем доме в городе Санта Клара, штат Калифорния, США, вечер-салон «Творчество женщин», где гости познакомились с творчеством местных женщин-художниц, поэтесс, музыкантов, ювелиров – и с мастерством моей мамы.

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ

Несколько подруг, которым я дарю календари в Калифорнии, вешают их у себя на работе в своих рабочих кубиках, так как считают, что на работе они проводят больше времени, чем дома.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

«Ничто так не успокаивает, как вышивка гладью декоративных панно, скатертей и салфеток – это занятие родни медитации». –

Журнал мод. Рукоделие, 2004, № 2(450).

«Крупная вышивка гладью всегда выглядит эффектно и способна изменить любой предмет, облагородить его. Домашние скатерти, приготовленные специально для званных обедов и уютных чаепитий, непременно вызовут восхищение мастерством хозяйки. Безусловно, такие вещи мы не используем каждый день, а вот передавать их по наследству – это самая стойкая и приятная традиция. И если раньше эти «бабушкины» скатерти вызвали у родственников тихую тоску, то теперь философия жизни, к счастью, изменилась, и мы можем по достоинству оценить прекрасные традиции наследования». –

Журнал мод. Рукоделие, 2005, № (462).

Эти слова в журнале появились под фотографией маминой скатерти. Мамины работы – это наследство не только нашей семьи, но и наших друзей, посетителей сайта и других поклонников ее творчества. Когда мы видим, как мамины работы вдохновляют, призывают взяться за иглу, и жить, и творить, мы начинаем верить, что в этих работах таится некая магия. Я не хочу сказать, что вышивки захватывает всех. Красота вообще понятие субъективное, но она является одной из первостепенных жизненных потребностей. Поэтому то ощущение счастья, с которым я просыпалась в детстве, подтолкнуло, а вернее сказать, вдохновило меня поделиться этим счастьем.



На кинофестивале.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

– Расскажи о какой-нибудь вашей постановке того времени. Чтобы можно было "увидеть" хоть фрагменты.

– Ну, вот, скажем, "Сон в летнюю ночь", по Шекспиру. Я – Титания, королева лесных фей и эльфов. Все мы – лесные духи и, значит, не можем же ходить, двигаться привычно, как люди, а должны быть в каком-то особенном ритмическом измерении, в каком-то ином движении.

И на репетициях мы это ищем, импровизируем под музыку. Тут и казусы случаются, наш композитор Соколов-Федотов смеется. А я сама уже удивляюсь своей изобретательности, выдумываю какие-то умопомрачительные движения. Все в конце концов выливается в то, что наш руководитель, Смышляев, называет упражнением "Зеркало": поскольку, по пьесе, Титания и Оберон часто ссорятся, они вместе со своими свитами эльфов встречаются в музыке, и эльфы в каждой свите зеркально повторяют движения Титании и Оберона.

Теперь представь наш лес: на сцене – кубы (это кусты), висят узкие полосы бумаги или материи (стволы деревьев), светит фонарь перебивающимся светом; лес живет своей волшебной жизнью, без людей.

Люди входят – он замирает в остановившемся, одиотном свете.

Дальше. Мы лежим на спинах; лес оживает – мы поднимаем сначала пальцы, потом локти, руки: "трава растет"; потом переворачиваемся – смотри на меня! – и так вот получается полет. Целую пантомиму изобрели, построили. Одеты были: прозрачные плащи, трико – ну эльфы же... Словом, игра, как видишь, и условность. В конце же, как и у Шекспира, выходил Пэк и, обращаясь к публике, говорил:

Думайце, што вы паснулі

І што здані мільганулі

Перад вамі як драма,

Мільганулі – і няма.

И на его "мільганулі" мы все, невидимые, вскрикивали:

–Жыхх!

А вот еще что было там у нас. Эльфы поют мне, Титании, колыбельную. Я должна уснуть, тогда Оберон вылетит мне на глаза любовный напиток, и я влюблюсь в Основу, ткача с ослиной головой, – так у Шекспира. У нас придуманы были качели на фоне из черного бархата, и, чтобы они не были видны, я ложилась на них, рукой и ногой закрывая веревки – получалось, что раскачиваюсь взад-вперед над землей в темноте. Оберон – Санников Костя –

впрыгивал на качели, тоже прикрывая их, и раскачивался вместе со мной, как в пустоте. Гром аплодисментов!..

– Похоже на такой наивный, цирковой "конструктивизм".

– В общем – да, близко к этому. Такое было тогда веяние. Кстати, мы в цирке своего "Царя Максимилиана" сдавали, уже окончательно. А главное, самим нам очень нравилось. Все это связывалось с разного рода "революционностью" в искусстве, поисками новых форм, со смелым вызовом прежним, классическим принципам. Эх, молодость! Отрывками все вспоминается, несвязно... Мы начали, живя сперва на Сретенке, с физической подготовки. Чтобы научиться владеть своим телом. Швед Матисон из Камерного театра преподавал нам шведскую гимнастику.

Работая над "Максимилианом", мы были просто помешаны на сохранении цвета, найденного в эскизах к спектаклю нашим художником Леонидом Александровичем Никитиным. Как одержимые, бродили по Смоленскому и Арбатскому рынкам, по Трубной площади, искали куски материи нужных цветов. Если уж требовался чистый аквамариновый – не уступали ни в малейшем оттенке. Сами шли все необходимое для спектакля. В общем, все – театру. О себе, своем быте, о еде, здоровье не задумывались. Видела однажды молодого Москвина, бегущего за трамваем и кого-то в нем убеждающего в чем-то – горячо, с отчаянием. Это он так репетировал какую-то роль. Вот на такое "служение" искусству и ориентировались. А благополучие жизненное... Даже и понятия не имели. Это совсем другое. Как-то попала с подругой в английское посольство. Еда для тех лет – сказка!.. Ее муж, рыжий англичанин с красным лицом в веснушках, с белыми ресницами, ехал на извозчике и лениво читал вывески: "Ма-шо-фак-тор-р..." Ма-нуфактура, значит...

Валентин Сергеевич Смышляев старался прививать нам не навыки игры в тех или иных амплуа – скажем, героини, инженеру – а всесторонность. Задавал, может, и непосильные для нас задачи, но так мы приобщались к мастерству, учились профессиональному отношению к Делу: ты – всегда непосредственный участник происходящего на сцене, пусть и в массовке, пусть и при пустом зале. Сегодня ты – героиня, завтра – в "хоре", но все – с полной отдачей, в любом случае. Что отличало Смышляева? Его направление в работе с нами от всего другого в тогдашней театральной Москве? Совершенно определенно и кратко сказать мне сейчас нелегко. Но например. У Фарегера, в его мастерской, на первом плане была форма, вычурность даже и какая-то сложнейшая геометрия или тригонометрия внешнего рисунка, лично мне просто непонятная. А Смышляев, думаю, хотел соединить характерность, заостренную форму с глубиной содержания. При этом многое доверял выразительности, пластике, такой же интенсивной, как и внутренний мир персонажа.

Может быть, он пытался что-то использовать у нас и из своего опыта театральных студий Пролеткульта, а не только второго МХАТа. С двадцать третьего года он работал у нас уже не просто преподавателем, а художественным руководителем студии – это назначение было сделано Белорусским наркомпросом и представительством БССР в Москве. Конечно, сделал он для нас немало, что и говорить. Мне особенно нравилось, что он старался развить наше воображение, готовность к импровизации, восприимчивость музыки. Сам очень любил Скриabinу, а дочь композитора Мария Александровна Скрибина, актриса второго МХАТа, часто приходила к нам на занятия. Приходил, бывало, и Павел Антонович Аренский, сын композитора – переводчик, специалист по Индустану.

Ольга Георгиевна Лобанова, старушка, хромя, учила нас дыхательной гимнастике. И в какой-то военной академии – генерального штаба, что ли – мы даже выступали с ней, демонстрировали правильное дыхание носом. Вообрази только. Грим преподавал Аркадий Васильевич Потоцкий, гример МХАТ-II. По замыслу его и художника Никитина, я, "чужеземная" богиня Венера в "Царе Максимилиане", выглядела так: крошечная корона с высоким шпилем, надетая на бок, красный бюстгалтер, белая балетная пачка и красные панталоны с оборками из марли или тарлатана, золотые туфли. Рыжая, вызывающая, глаза обведены ярко-зеленой краской "Поль Веронез" и маслянисто блестят – что-то в них было козье, по-моему... Гример Потоцкий, этакий врубелевский. Пан, старый и пьющий, еще писал мне стихи, воображал себя моим поклонником, поэтом, называл Стеллой. Воскличал: "Откуда у нее такая посадка!" Или: "Это ноздри должны вдыхать ароматы нежнейших цветов!" Один образец его лирики помню до сих пор:

Стелла! Стелла! Это, верно, осень,

И Селен, что клонится на мхи,

Это зябнущие кроны сосен

И слагающиеся стихи...

В таком роде. Грим делался для "Царя Максимилиана" гротескный: накладки из ваты использовались для мускулов лица, больших носов – все было как маски.

¹ Продолжение. Начало публикации - в первом номере альманаха "Образы жизни".

Вообще о людях, опекавших нас тогда, помогавших, учивших нас, вспоминается только хорошее. Танцы ставил нам балетмейстер Большого театра Лашилин Лев Александрович, если не ошибаюсь. Он говорил обо мне: "Вот кого надо в балет!" И я думаю иногда, хоть тебе это и нескромным покажется, что если бы я пошла в балет, то большой балериной была бы – да, не улыбайся так.

Спектакль "Апраметная" ("Преисподняя") Василя Шашалевича ставил у нас Павел Павлович Пашков, а "Черта и бабу" Франтишка Алехновича – Александр Александрович Гейрот из МХАТа второго. С ним был смешной случай. Он говорил: "Пусть баба потя-а-анется так лениво, как бы в раздумье". А наша Таня Бондарчик, она-то хорошо знала белорусских баб, – заметила негромко: "Да никогда она не потя-а-анется так, это нашей бабе не подходит". И правда, это же не купчиха Кустодиева.

И был еще у нас прекрасный мастер сцены Егунов, на него мы всегда могли положиться. Разве без него в нашей "Преисподней" могли быть такие декорации! Представь: на все окно сцены – громадная паутина из тросов. Она выдерживала человек десять на себе. Паука "делал" Микола Мишкевич, а где-то в стороне была "спящая Беларусь". А мастера из портняжной мастерской, что шили нам костюмы! Ведь стояли за кулисами, глядя на нас, с иголками, нитками наготове. Следили, чтобы какой-нибудь шов не разошелся. И если случалось это – тут же бросались поправлять. А один костюмер всегда стоял со щеткой, чтобы сразу почистить костюм на актере, если понадобится. Это все были люди театра, искусства. Люди, преданные театру и своему делу в нем. Теперь же, если что потребует непредвиденное, то получается, что вы заставляете человека делать лишнее, обижаете, задерживаете... А какой вальс написал для танца моей Титании к "Сну в летнюю ночь" композитор Соколов-Федотов! Где это все сейчас? Не сохранилось, пропало...

«СТЭФЦЫ СТАНЮЦЕ»

– Это, может, теперь кажется высокими словами – тогда мы их не произносили, не думали о них, – но ведь действительно было время национального возрождения – те двадцатые годы. Вот уж поистине – не хлебом единым. И какой тогда был настоящий хлеб? Не помню. Зато помню – и благодарна памяти за это – то живое, человеческое, будничное, что входило в понятие "возрождение". И как приходили к нам наши поэты, писатели – Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Тишка Гартный, председатель белорусского правительства Александр Григорьевич Червяков (он говорил: "Вы – наши орлята!"). Мы ведь были тогда первой веточкой, что ли, протянувшейся из Беларуси сюда, в большое, и не только русское, но, по сути, и в европейское, мировое искусство. И сделано это было не для нас самих, а для всей нашей национальной культуры, ее будущего: мы, напивавшись культурой, знаниями, развив какие-то свои задатки, способности, должны были потом отдать все это, вернувшись домой. Это – как саженцы, как рассада, которые потом высаживают на своей земле.

И белорусские писатели, руководители республики, бывая в Москве, шли сюда, к нам в общежитие, во дворы того квартала перед Красной площадью, где на стене висит мемориальная доска Радищева (он там когда-то жил) – и под арку в древних изразцах, в здании, под сводами которого был наш репетиционный и спортивный зал. Так странно сейчас это, удивительно – как все соединилось: дом Радищева, "Путешествие из Петербурга в Москву", Красная площадь двадцатых годов двадцатого века и наша белорусская речь под сводами, где по ночам на трапезин раскачивался "дух Бориса Годунова"...

У меня тогда уже был этот маленький альбом – ты много раз его просматривал, – и с ним я подходила к нашим гостям из Минска, чтобы они в нем оставили несколько слов... Вот стихотворение Якуба Коласа "Стэфке Станюте на память", ноябрь 1923 года, – господи, когда все это было, даже не верится...

Я пайдз, міну лясчкі,
Што чарнісоў, нібы бровы –
Там пабачу я сьвет новы,
Там пацешу свае вочкі.

А в конце вот так:

Адбгаюць мае далі,
Далі новыя відаць;
Палбівацца ножкі сталі –
Цяжка мне адной дыбаць!

Я думаю, у Коласа к тому моменту, когда я к нему подошла в конце его встречи со студийцами, стихотворение уже было сочинено, уже как-то "дышало", в уме или где-то на бумаге, потому что он аккуратно, не спеша и без единой помарки, видишь, тут же написал его в моем альбоме, посвятив мне, – подарил таким образом.

– А эта последняя строка в последней строфе: "Цяжка мне адной дыбаць!" – за ней что, какая-нибудь "конкретность" жизненная, которую он знал о тебе, или как?

– Ну, ему, наверное, показалось, что я одна в то время, что никого у меня нет, никакого спутника в жизни – пока, разумеется. А может просто захотелось так сказать в ту минуту, разве объяснишь? Поэзия.

У нас были тогда и свои литераторы в студии. Например, Кудзелька, он же Михась Чарот, – помню его с большой шевелюрой, в косоворотке; за него вышла тогда наша Аня Савич. И еще Василь Сташевский, он стал драматургом, и его пьесы позже ставились у нас в Витебске – "Америка" шла, кажется, в начале тридцатых.

А вот автограф Змитрака Бядули, тоже ноябрь двадцать третьего.

Смотри, какой пафос, как возвышенно – это было очень характерно для того времени и для такого случая:

"На добрую памятку Стэфцы Станюце

Доўгі, доўгі, цярысты шлях нашага адраджэння. Шмат, шмат байцоў загінула на ім без пары. Распрасторыла дарогу Моладзі.

Імцеце Вы, маладая, поўная энергіі і сіл, на гэтым слаўным шляху. Імкнесьце і Вы к бязмежным высотам Хараства, к сьвятому гмаху Мастацтва.

Шчасце прамеціцца перад Вамі.

Васількі і сонца".

А это вот – Тишка Гартный, его стихотворение, тоже мне посвященное... В прошлые века в домах были альбомы, туда гости писали шутки или стихи, в которых восхищались хозяйкой. Так в мой альбом писали тоже – вот же осталось навсегда это написанное там, у Красной площади. Когда в Москве бываю, всегда захожу в тот двор, где было общежитие, поклониться святым местам своей молодости.

– А мавзолея не было еще на площади, когда вас Колас и другие навещали. Это же двадцать третий только шел.

– Да, не было, выходит... Была когда-то фотокарточка: Александр Иванович Кручинский – молодой кремлевский курсант из Минска, о котором я тогда еще и думать не могла как о своем втором муже, твоём отце, – стоит в карауле у только что построенного временного мавзолея той лютой зимой. Получается, что мы с ним были в Москве в одно время и, может, жили через площадь, Красную, друг от друга... Во всяком случае, в том январе, когда хоронили Ленина, это было так. На фотографии его лицо под надвинутым на лоб шлемом со звездой блестит от глицерина – им всем в карауле тогда смазывали кожу лица, чтобы не обморозились на сильном холоде и ветре...

Боже мой, когда же это было и как недавно, и как все связано – нет, будто сращено одно с другим. По крайней мере, так сегодня видится... Москва тех лет, а потом Витебск, где мы своим выпускным курсом начали новый, Второй Белорусский театр, и потом в тридцатые мы приезжаем на гастроли в Минск, играем и зачем-то ходим учиться вольтижировке в расквартированный в городе полк. И как в романе: он был кавалерийский офицер, она – артистка. Он нас учил, мне помогал в седло садиться, потом поддерживал, когда слезала. У него конь был ярко-рыжий, Огонек, со светлой гривой. Он мимо дома нашего, где я жила во время гастролей у отца с мамой по Ленинградской, – мимо окон наших проезжал к своим родителям, жившим недалеко от нас, и ехал не спеша так... гарцевал. Это уже когда мы познакомились.

– Я знаю.

Я знаю это, почти вижу – и другое тоже: как лет через десять с небольшим, глубокой осенью сорок четвертого, в вечерних сумерках она со свекровью, моей бабушкой, спиливает на дрова черный ствол липы ("твердый, как камень") как раз там, на Ленинградской улице, где стоял ее сгоревший в войну дом, и тащит санки с чурбаками по чуть прикрывшему землю снегу.

Город в развалинах, жизнь начинается сначала, а тот, кто гарцевал тут перед ее окнами до войны, скоро окажется в товарняке на запасных путях – и в дальний путь, до снежной Воркуты. И без возврата... А раньше она шла к военным парадом для его Огонька белые "чулки", и все его родные с улицы Толстого ходили смотреть, как он верхом после парада проезжал под Западным мостом в свой полк. Когда же он приезжал к родителям, Огонек стоял во дворе, привязанный у дома (железная скоба в черной бревенчатой стене – вот для чего она была, – во время войны, в детстве, все никак не удавалось сообразить, зачем она там вбита). И если он со стариком-отцом сидел на крыльце, Огонек стоял спокойно, а если долго был в комнате, тот осторожно просовывал длинную голову со светлой челкой в открытое окно, прямо к столу... Отец отца Иван Антонович, когда-то был городовым, потом железнодорожным кондуктором и со значением иногда напоминал домашним о минском доме первого съезда РСДРП: "Я знал, что они там собираются, – но молчал..."



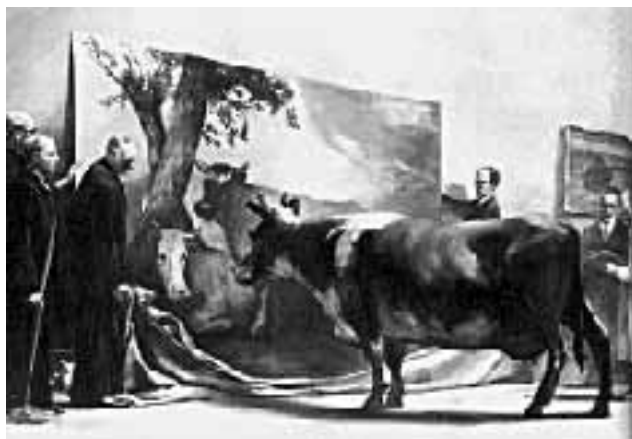
Борис Бернштейн

РАЗГОВОРЫ О ЗРИТЕЛЕ



В ПОИСКАХ НЕВИННОГО ВЗГЛЯДА

В 1981 году неоконцептуалист Марк Тенси (Mark Tansey) написал картину «Испытание невинного глаза» (“The Innocent Eye Test”). Ярлык «неоконцептуалист» не должен отпугивать неискушенного зрителя: картина написана традиционным способом, это вполне реалистическая живопись. Тем не менее, ее понимание требует предварительной осведомленности.



М.Тенси. Испытание невинного глаза. 1981. Нью Йорк. Музей Метрополитен.

Представлена сцена, не лишенная юмора. К стене, видимо – музейной (рядом висит «Стог» Клода Моне), прислонена картина голландского художника XVII в. Паулюса Поттера «Молодой бык» (1647, Mauritshuis / Маурицхейс, The Hague). Это огромный холст размером 236 x 339 см., и помещенные на первом плане животные – молодой бык, лежащая рядом с ним корова, семейство коз – написаны почти в натуральную величину. Перед картиной Поттера стоит корова; по отношению к скотине, написанной Поттером, эта корова – как бы настоящая. Она и есть главное действующее лицо. Ее окружают исследователи, которые внимательно наблюдают за поведением подопытного животного. Это эксперимент: группа ученых исследует акт зрительного восприятия, как предполагается, в его «чистом», первичном, докультурном виде: картина Паулюса Поттера предложена в качестве предмета эстетического созерцания подопытной корове. Чтобы устранить

помехи, которые может представить масштаб изображения, выбрана картина, где животные написаны с честной и искусной голландской иллюзорностью в масштабе, соответствующем масштабу коровы-зрительницы. Учтен и момент внезапности зрительного контакта: корова уже стояла в «созерцательной» позиции, когда с картины сбросили покрывало. Словом, условия, обеспечивающие невинность взгляда, были тщательно соблюдены – и теперь ученые наблюдают за реакцией коровы, созерцающей лицом к лицу (если можно так выразиться) живописное изображение своих сородичей. Кто-то из экспериментаторов пристально следит за поведением животного, кто-то делает записи...

Цель исследования понятна: требуется выявить и описать элементарную зрительную реакцию на живописное подобие. Таковой может быть реакция «невинного глаза» – стерильная, очищенная от любых посторонних примесей, от культурного контекста, от группового и персонального опыта, свободная, с порога, от любых покушений на поиск значений и интерпретации смысла. Все просто: живая корова узнает другую корову в массе красок, размазанных по холсту. Именно так, надо полагать, обнажается примарная биологическая основа, на которой возводятся структуры эстетического восприятия и переживания визуальных подобию. Найти человека, который бы отвечал таким требованиям, практически невозможно, по меньшей мере это должен бы быть маугли. Поэтому его заменяет подлинное животное.

Понятие «невинного глаза» не Тенси выдумал. Поиски уровня чистой визуальности, как теоретического конструкта, уже занимали умы людей искусства. Метафора «невинного глаза» восходит к знаменитому английскому критику и теоретику XIX в. Джону Рёскину – это он, поощряя бунт против академических догм, против обременяющих зрение и память художника канонических образцов, пропагандируя непредвзятый, «естественный» взгляд на природу, провозглашал принцип девственного видения как основу нового искусства. Не случайно в картине Тенси, в глубине справа изображен «Сток сена» Клода Моне – намек на непредвзятый, «невинный» взгляд на природу самого последовательного из импрессионистов.

Можно предположить, что Марк Тенси, сын двух искусствоведов, внимательно читал «Art and

Illusion» («Искусство и иллюзия») другого выдающегося искусствоведа, Эрнста Гомбриха – знаменитую книгу, где идее невинного глаза посвящены многие страницы. А если читал, то должен был заметить, что автор классической книги оценивал возможность невинного зрения скептически¹. Возможно, поэтому живописец-концептуалист поднял на порядок выше эстетический градус своего рассуждения, заменив природу картиной, художника – зрителем, а зрителя, неспособного освободиться от культуры, – культурно стерильным субъектом. Идее невинного глаза тем самым придано универсальное измерение: указан стартовый уровень, предельная черта пассивного смотрения. Поскольку полной пассивности взгляда должен отвечать нулевой уровень выражения, подопытная корова молчит.



М.Тенси. Проверка чистоты. 1982. Чейз Манхеттен банк.

Год спустя М.Тенси показал другую картину, «Проверка чистоты». Она была развитием темы.

На высокой скале над обрывом – несколько подлинных, не испорченных цивилизацией всадников-индейцев, явившихся откуда-то из доколумбова мира². Перед ними разворачивается даль Большого Соленого Озера с одним из классических творений ленд-арта – абсурдно упорядоченной спиральной дамбой Роберта Смитсона (1970). Дамбу они и разглядывают.

Некоторые интерпретаторы картины усматривают в индейцах еще одну метафору «невинного глаза». Это ошибка. Тут отношение обратное. Смитсонова «Спираль Джетти» – одна из этапных эфемерностей искусства XX века, чья изысканная программа предусматривает чистое созерцание: Смитсон был сторонником прямого воздействия художественного объекта, как «сочетания элементов, сохраняющегося со дня на день», без покушений на репрезентацию чего-либо.³ «Спираль Джетти» ни-

чего не замещает, ни о чем не сообщает и ни на что не указывает, кроме самой себя. Это предельный случай авторепрезентации, эквивалентный нулевой репрезентации. Единственный смысл ее существования заключается в ее существовании. Вы можете ходить по ней, вы можете к ней прикоснуться, а еще лучше, главное, – вы можете ее разглядывать. Это объект, предназначенный для чистого, ничем не осложненного, ни с чем не смешанного пассивного смотрения. Смело можно утверждать, что создатель «Спирали» рассчитывал именно на невинный глаз – и, кажется, Тенси, послушный воле автора «Спирали», делает зрителями самодовлеющего эстетического объекта невинных детей природы, «благородных дикарей» – индейцев.

Но Тенси не так прост, он концептуалист-ироник. На самом деле он говорит о провальной неудаче смитсоновского проекта.

Ибо невинный глаз – беспочвенная утопия, его нигде взять. Разве что корову поставить. А индейцы отнюдь не невинны. Это люди традиционной, достаточно сложной культуры – и потому они оказываются неправильными зрителями. Будучи носителями культивированного на свой манер взгляда, они воспринимают спираль не как самодовлеющий предмет для смотрения, а как *символ*. Спираль – один из древнейших символов, она встречается еще в графике палеолита. В кратком справочнике древних символов перечень символических значений спирали занимает полтора столбца убористого шрифта⁴; упомянуты там, разумеется, и американские индейцы. Нет сомнения в том, что персонажи Тенси дешифруют спираль на свой манер – так, как это принято в их культурной традиции.

Традиционные понятия, будучи приложены к таинственному геометрическому узору, позволяют приписать ему магические свойства, т.е. счесть его непосредственным соучастником жизненных процессов, способным защищать, охранять, притягивать, отпугивать, травмировать, исцелять, помогать, мешать, призывать некие силы... Нет сомнения, что эти индейцы с картины Тенси именно так толкуют открывшийся им рукотворный объект.

Две картины Тенси говорят о важных вещах. В сущности, центральная проблема двух его картин – это проблема зрителя. Он предложил для обдумывания две провокационные ситуации. В одной художник посылает зрителю некое образное послание – послание нехитрое, ясное и легко читаемое. Но увы – «зритель», лишенный какой-либо культурной оснастки, не в состоянии опознать в нем образ реальности. Во втором случае та же ситуация вывернута наизнанку. Художник предлагает зрителю не образ чего-то и вообще – «не послание», а вещь без значения, «чистую вещь», рассчитанную на стерильное смотрение. Но вот появляется зритель с определенным культурным

¹ См., напр.: E.Gombrich. Art and Illusion. Princeton: Princeton University Press, 1972, pp.297-298.

² Скорей всего, это индейцы навахо.

³ http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/robert_smithson.html

⁴ См.: J.C.Cooper. Lexikon alter Symbole. Leipzig: Seemann, 1986, S. 180-181.

запасом, и он начинает извлекать разветвленные значения из ничего не значащей фигуры...

История искусства занимается историей произведений, историей художников, историей групп произведений, объединенных понятием жанра, вида, стиля, направления – и т.д. Но мне не удалось еще найти где-либо историю зрителей. Между тем, в зрителе больше половины дела. В музейных залах экспонированы квадратные, прямоугольные или овальные доски и куски холста, натянутые на деревянные подрамники и заключенные в рамки, покрытые где тонкими, а где и грубыми слоями краски, а также куски камня или металла, которым придана некая форма. Вот, собственно, и все. Для того, чтобы опознать в этой совокупности красок иллюзию коровьей фигуры, а в куске мрамора подобие скорчившегося мальчика, необходим не только глаз – человеческий, а не коровий, требуются еще интеллектуальные и эмоциональные запасы и возможности человеческой личности. Картина как произведение искусства, как образ, актуализируется – распечатывается, пробуждается, досоздается, завершается, живет в одном месте – внутри меня, тебя, его/ее. Это банальная истина!

Но почему-то зритель – главное место жизни картины – это фигура, наименее заметная в наших рассуждениях об искусстве. А иногда, и не так уж редко, – предмет насмешек: вспомните, какими мы видим парижан образца семидесятых годов XIX века, этих буржуазно ограниченных, самодовольных мещан, тупиц, наглецов, возмущенно тыкавших зонтиками в гениальные (как **мы** знаем!) картины импрессионистов! О, эти слепцы в неизменно сверкающих цилиндрах, эти манерные дамы с турнюрно откорректированными силуэтами!

...Возможно, я осмелюсь за них заступиться. Намерение рискованное, я знаю. Но все-таки есть достаточные основания, чтобы задаться вопросом: так ли уж они виноваты?

ДВЕ БОГОРОДИЦЫ

Поставим рядом два образа – один без труда восстанавливается в памяти, другой можно реконструировать по старинным гравюрам и сопоставляющим текстам.

Первый образ: середина 1950-х гг., выставка картин из Дрезденской галереи в Москве, в Музее им. Пушкина, перед возвращением коллекции в Германию. Эта выставка, хорошо разрекламированная, положила начало «выставочной мании» в послевоенном Советском Союзе. В знаменитом собрании герцогов Саксонских много первоклассных картин. Впрочем, для привлечения публики было достаточно одного магического имени – «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

Место в очереди на выставку люди занимали с вечера, терпеливо дежурили ночами, чтобы попасть на сеанс, который длился три часа. Я видел на цоколе музейного здания героическую надпись: «Здесь

стояли насмерть. Сталинградцы». Нас, профессионалов – художников, художников-копиистов, искусствоведов, фотографов – выпускали заранее, в шесть часов утра, в девять вторгалась первая орда зрителей из очереди...

Итак, первый образ: здание Музея им. Пушкина окружает огромная, терпеливая и патетическая очередь людей, желающих увидеть великие творения, собранные некогда курфюрстами саксонскими. В моем распоряжении нет фотографии той исторической очереди, на снимке – очередь более поздняя, потомок той, дрезденской, которая положила начало всем последующим.



Очередь на выставку в ГМИИ им. А.С.Пушкина

Другой образ восходит к старинным гравюрам и потому требует более пространственных пояснений.

В Британском музее хранится эстамп немецкого художника XVI века Альбрехта Альтдорфера. Изображен интерьер культового здания – каждый, кто когда-либо посещал древние синагоги, без труда поймет его назначение. Латинская надпись сверху листа подтверждает догадку. Вот она, «медь торжественной латыни»:

ANNO.DOMINI.D XIX
JUDAICA.RATISPONO
SYNAGOGA.IYSTO
DEI.YUDICIO.FVNDIT(I)S
EST.REVERSA.

В переводе на более современный язык это значит:

«В год Господа нашего 1519 еврейская синагога Регенсбурга, по справедливому решению Божьему разрушена до основания».

Справедливое решение Неба состоялось не ранее февраля 1519 года по земным причинам. Главные из них следующие.

В сложной позднефеодальной структуре Империи Регенсбург принадлежал к так называемым имперским городам. Еврейские общины в этих городах находились под защитой самого императора. За эту привилегию, т. наз. Judenschutze, евреи

расплачивались огромным налогом в императорскую казну. Но городские власти Регенсбурга и церковь были недовольны подобными поблажками. И когда в начале 1519 года император Максимилиан скончался, настал их час.



Альбрехт Альтдорфер. Синагога в Регенсбурге. Гравюра на металле. 1519. Лондон. Британский музей.

Городские власти быстро постановили: вещи, отданные еврейским ростовщикам под залог, безотлагательно вернуть владельцам, долги простить, а самих евреев изгнать из города. Гетто было превращено в развалины, синагога разобрана до основания. Здесь, собственно, начинается наш сюжет.

Богоугодной акции, как и следовало ожидать, сопутствовало чудо: один из работников, упавший во время разрушения с большой высоты и получивший тяжелую травму, явился на другое утро на работу совершенно здоровым. То был, разумеется, знак вмешательства небесных сил. Всем регенсбургским, а затем и выше, вплоть до папы, стало понятно, что чудо совершила почитаемая в городе икона Богородицы – так называемая «Красивая Мадонна», авторство которой приписывали самому святому Луке, евангелисту, первому христианскому живописцу. На месте разрушенной синагоги была сооружена часовня, куда поместили икону. Заодно перед часовней поставили статую Богородицы с младенцем.

Когда весть о чуде дошла до Рима, папа пообещал отпущение грехов на сто дней каждому, кто совершит паломничество к чудотворной иконе. Правда, спасенный чудом строительный работник скончался, не протянув и года, но это уже никого не интересовало. От паломников не было отбоя. Копии знаменитой иконы заказали известному в тех краях художнику, крупному мастеру немецкого Возрождения, Альбрехту Альтдорферу, тому самому, который запечатлел интерьер синагоги. Изображения иконы были отчеканены на металлических бляшках, которые паломники усердно раскупали: до конца 1519 г. их было продано 12 тысяч, а в следующем году – около 119 тысяч. Экономическая ситуация в Регенсбурге счастливо улучшилась.¹

¹ См.: Landau, David and Peter Parshall. The Renaissance Print: ca 1470-1550. Yale Univ. Press, 1994,



Альбрехт Альтдорфер. Копия византийской иконы из капеллы в Регенсбурге. 1519. Регенсбург. Музей епископства.

Вот как запечатлел паломничество к чудотворной Мадонне современник и очевидец событий, художник Михаэль Остендорфер.



Поклонение иконе «Красивой мадонны» в Регенсбурге в 1519 г. Гравюра М.Остендорфера. Ок. 1520 г.

Итак, перед нами две внешне аналогичные очереди: и там, и тут люди, желающие увидеть своими глазами искусно выполненные рукотворные изображения. Тем не менее, зрителями я могу назвать только тех, кто ждет перед входом в музей. Их далекие собратья из Регенсбурга и его окрестностей – не р. 337-342. Cp. Freedberg, David. The Power of Images. Studies in the history and theory of response. Chicago and London: Univ. of Chicago Press, 1989, p. 100-104.

зрители, а паломники. Им надо не увидеть, а узреть, не картину или статую, но святыню. Обратите внимание, в каком экстатическом исступлении паломники обнимают цоколь статуи и падают перед нею ниц – так, словно сама Богоматерь явилась на площадь перед часовней и вникает сейчас их пламенным мольбам. Примечательно, что «Красивая Мадонна» – вовсе не название иконы, которая виднеется в глубине часовни. Это название возникшего в XV в. иконографического типа изображений Богоматери. Разных «красивых Мадонн» было написано немало, и далеко не все они были прекрасны.

Очевидно, что собственно эстетические достоинства регенбургской иконы ничего не прибавляли к ее притягательной силе: чудо да еще и обещанное отпущение грехов были главными магнитами. Терпеливых очередников под стенами ГМИИ им. Пушкина привлекали иные качества дрезденских картин.

Теперь сделаем шаг в сторону.

Кто был тот римский папа, который столь деятельно поддержал регенбургское чудо? Престол Святого Петра в те дни занимал папа Лев X, один из тех ренессансных пап, чьей инициативе и просвещенной расточительности обязаны своим возникновением многие шедевры итальянского Высокого Возрождения. Самым известным изречением этого папы из рода Медичи были слова, сказанные сразу после избрания: «Ну, что же, будем наслаждаться папством, раз нам Господь его даровал». Не все папские наслаждения, дарованные Господом, можно назвать высокими. Но одновременно этот папа – как и его двор – умел наслаждаться искусством. Папа умел быть зрителем! Возможно, он, покровитель Рафаэля, незадолго до ранней смерти художника обещавший ему кардинальскую шапку, был среди тех, кто первыми увидели только что законченный Рафаэлем алтарный образ для монастыря в Пьяченце, известный ныне под именем Сикстинской мадонны: Рафаэль завершил работу над картиной в тот самый год, когда кардинал Джованни Медичи стал папой Львом X. Спустя примерно четыре с половиной сотни лет москвичи стояли в долгой очереди на выставку, чьим «гвоздем» была Сикстинская мадонна. Хотели видеть.



Рафаэль. Сикстинская мадонна 1513. Дрезден. Галерея старых мастеров.

Вот так в одно и то же время одни умели быть зрителями, тогда как другим такая позиция была недоступна. Точно так же одно и то же рукотворное изображение при одних условиях могло быть предметом зрительского взгляда, а при других – нет, не могло. Поэтому любой разговор о зрителе должен начинаться с ответа на два главных вопроса:

Где становятся зрителями?

Когда становятся зрителями?

Похожие вопросы уже задавали. Один известный философ предлагал непременно спрашивать:

Где искусство?

Когда искусство?

Нетрудно заметить, что вопросы о зрителе – производные от вопросов об искусстве. Для более тонкого различения можно добавить еще один:

Всегда ли искусство адресовано зрителю?

Нет. Далеко не всегда.

НЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗОРА

Там же, в Пушкинском музее, в залах древнего искусства, хранится замечательная коллекция живописных портретов, относящихся к началу нашей эры. Большая часть этих картин была найдена в районе Фаюмского оазиса в Египте, отсюда их название – «фаюмские портреты». Очередей в эти залы не бывает, но кое-кто заглядывает и туда.



Фаюмский портрет из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина. II век.

Вот эти кое-кто и будут нас сейчас занимать. Конечно, остановившись перед пронзительным в своем реализме древним портретом, они превращают себя в зрителей, готовых получить особое удовольствие от созерцания, которое мы назовем эстетическим. Они, разумеется, не знают, что с точки зрения человека, заказавшего этот портрет, и с точки зрения мастера, его написавшего, они сейчас совершают непозволительное кощунство. Ибо этот портрет, как и все прочие фаюмские портреты, не предназначен для рассматривания его кем попало, а точнее сказать – *не предназначен для рассматривания живым человеческим взором вообще.*

Все фаюмские портреты – заупокойные, их место – в гробнице. Когда оригинал покидал этот мир, его тело мумифицировали, а портрет бинтами

прикрепляли к лицу мумии – так, вместе с мумией, картину погребали навсегда. Видеть ее – если тут уместно это слово – могла только душа-двойник умершего, «ка», которая посещала мумифицированное для вечности тело и одновременно пребывала в царстве мертвых. Таков был один из важнейших элементов культа мертвых, который отправляли в Древнем Египте в течение трех тысячелетий, если не больше. Фаюмские портреты – поздний отблеск этой традиции; почти все древнеегипетские скульптурные портреты, украшающие самые престижные современные музеи, предназначались для захоронений и именно оттуда извлечены. С точки зрения древнего египтянина вторжение археолога в гробницу и извлечение оттуда предметов культа есть катастрофическое нарушение миропорядка, космический скандал. Пребывание его портрета в музее – обломок этой катастрофы, оно незаконно, а рассматривание портрета как эстетического предмета, удовольствие от рассматривания, его искусствоведческое описание и анализ – все это действия по меньшей мере неадекватные. Иными словами, все произведения, связанные с заупокойным культом, занимавшим огромное место в жизни и представлениях древних египтян – все эти портретные статуи и доски, росписи на стенах, мелкая пластика, короче – львиная доля того, что мы называем искусством Древнего Египта, **ни на какого живого зрителя не рассчитано**. Правильное существование этих изображений – существование закрытое и невидимое. Тот же принцип можно встретить едва ли не повсеместно. В семидесятых годах прошлого века была раскопана гигантская, десяти тысячная армия терракотовых воинов, охранявших усопшего за две сотни лет до нашей эры первого китайского императора Цинь Ши Хуанди. Это работа ваятелей высокой квалификации – фигуры воинов, несколько больше натуральной величины, тщательно проработаны, лица индивидуализированы и психологически выразительны... Никто не должен был их видеть.



Войско, охраняющее гробницу императора Цинь Ши Хуанди. III век до н.э.

Этруски, населявшие Центральную Италию до латинян, щедро украшали свои гробницы росписями и заупокойными изваяниями – для кого?

Только что, весной 2011 г., в китайской провинции Хенань археологи раскопали гробницу

знатной дамы Сунской эпохи (960-1279): прекрасные росписи со сценами из повседневной жизни дамы до наших дней никто не имел возможности видеть. Только теперь они получили зрителя, который никак не был предусмотрен.

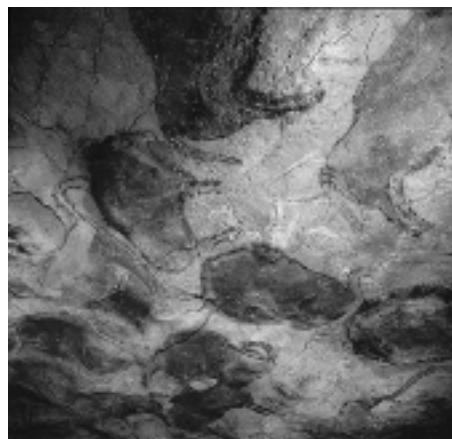


Фреска из «Гробницы леопардов» в Тарквиниях. Фрагмент. Ок. 480-470 до н.э.



Китайская гробница эпохи Сун. Провинция Хенань.

В сущности, образ без зрителя – исходная для изобразительных искусств ситуация: древнейшие изображения, нам ныне известные, были сделаны не для созерцания. Становление культуры изображений – круглых, рельефных и собственно живописных – датируется протяженным периодом верхнего палеолита (30 000 – 10 000 лет до н.э.); безусловная кульминация начальной изобразительной деятельности пришлось на т. наз. мадленскую эпоху (15 000 – 10 000 до н.э.)



Палеолитическая живопись на потолке пещеры Альтамира Эпоха Мадлен. Верхний палеолит. Испания.

Живопись и скульптура палеолита задают исследователям множество загадок. В обширной специальной литературе предложены глубокие гипотезы относительно их происхождения, смысла и функций. Впрочем, и вздора сказано немало: там, где ощущается нехватка бесспорных фактических оснований, где нет никаких письменных свидетельств, фантазеры чувствуют себя особенно привольно. Даже в серьезных исследованиях нередко явные модернизации: так, скажем, принято говорить о палеолитическом реализме, хотя само понятие реализма возникло лишь в XIX веке и тогда речь шла отнюдь не только о видимом жизнеподобии изображения. Право же, кони у Пуссена не менее узнаваемы, нежели олени у Курбе – художника, придумавшего понятие реализма в искусстве. Но вот что интересно: ни у кого из рассуждавших о палеолитическом искусстве я не встретил ни строки о палеолитическом **зрителе**. Для сочинения такой фигуры не хватило воображения даже у самых разнузданных фантазеров: пещерный зритель – это уже слишком.

Действительно, трудно представить себе палеолитического охотника, который в часы досуга забирается в ближайшую пещеру, чтобы полюбоваться искусством современника, можно сказать – модерниста, мастера изображения зверей. Если эта пещера – Альтамира, то ему пришлось бы захватить с собою факел (а может быть, прежде того, еще изобрести его), ибо в пещере темно, а для лучшего обозрения лечь на пол – ибо главные росписи палеолитический живописец расположил на потолке. Надо полагать, что у него для этого были веские основания, о которых мы вряд ли когда-нибудь узнаем что-либо достоверное.



Плафон Альтамиры. Испания.

В других пещерах трудности бы возросли, ибо изображения часто бывают помещены в самых темных и труднодоступных местах. Нет, не для зрителя-эстета трудился мадленский живописец: изображения, в том числе и возможно более жизнеподобные изображения, нужны были ему для каких-то других целей. Великое искусство создания подобий родилось, это был один из революционных шагов в становлении человека. Но рождение картин и изваяний не повлекло за собой рождения зрителя. До появления зрителя еще далеко.

Когда же зритель?

ЗРИТЕЛЬ ПОДАЕТ ГОЛОС

Для того, чтобы зритель проявил себя, он должен заговорить. Пока он молчит – а молчит большинство – он закрыт и недоступен для обсуждения не менее, нежели подопытная корова Тенси.

Первый заговоривший зритель был слеп. Смушенная душа чует здесь отблеск истины. Слепца звали Гомером.



Камиль Коро. Гомер и пастухи. 1845. Сен-Ло. Музей изящных искусств.

Описание художественного произведения именно как художественного, с подлинно зрительской точки зрения, впервые встречается в «Илиаде», в XVIII песни. Произведение это – щит Ахилла, созданный самим Гефестом, описано оно высоким греческим гексаметром – на что-либо менее торжественное трудно было бы согласиться.

И вначале работал он щит и огромный и крепкий,
Весь украшая изящно; вначале вывел он обод
Белый, блестящий тройной, и приделал ремень
серебристый.

Щит из пяти составил листов и на круге
обширном

Множество дивного бог по замыслам творческим
сделал.

Там представил он землю, представил и небо, и
море,

Солнце в пути неистомное, полный серебряный
месяц...

.....
Там же два града представил он ясныхречивых
народов:

В первом, прекрасно устроенном, браки и
пиршества зрелись.

Два свойства художественного произведения с неожиданной точностью названы в гомеровских стихах: это, во-первых, **рукотворная вещь**, изделие, продукт мастера, и во-вторых, это искусственное и искусно сделанное **подобие зримой реальности** – то, что *зрелось*. При этом искусность измеряется мерой иллюзии, сам материал умирает в образе:

Сделал на нем и широкое поле, тучную пашню,
Рыхлый, три раза распаханый пар; на нем
землепашцы
Гонят яремных волов, и взад и вперед
обращаясь...

Нива, хотя и золотая, чернеется сзади орущих,
Вспаханной ниве подобясь: такое он чудо
представил.

Гомер предвосхищал будущую ситуацию зрителя. Если бы слепой певец прозрел¹, он бы нигде вокруг себя не увидел ничего похожего на описанные им чудеса искусства; время еще не наступило. Известное нам ныне искусство гомеровской эпохи – искусство так наз. геометрического стиля – было еще очень далеко от изображенного поэтом чудесного иллюзионизма.



Ваза геометрического стиля.
VIII в. до н.э. Афины.
Национальный музей.

Но дело к этому шло, нужно было потерпеть несколько столетий, чтобы увидеть в Греции, а затем в эллинистическом и римском мире настоящего зрителя, способного свободно наслаждаться искусством как искусством.

Если перенестись из восьмого века до н.э. (когда предположительно жил легендарный сказитель) в третий (до н.э. же), то мы застанем там новую и невиданную в далекие гомеровские времена ситуацию. Она изображена не в высоком эпосе, а в бытовой сценке, «мимиабме», сочиненной поэтом Герондом. Там ей и место.

Действие разворачивается сначала перед храмом, а затем и внутри храма бога врачевания Асклепия на острове Кос. К храму являются две дамы, одна из них принесла жертву, петуха, – в благодарность за то, что бог-целитель «злую снял болезнь». Около храма и в самом храме, в согласии со сложившимся к тому времени обычаем, хранится и выставлено для всеобщего обозрения множество статуй и картин. Дамы разглядывают их с восхищением и делятся своими восторгами.

¹ Напомню на всякий случай, что слепота Гомера – мифологического свойства, предание не поддается проверке. Здесь это всего лишь троп.

КОККАЛА:

Голубка, ты на девушку взгляни эту,
Что вверх глядит на яблоко – она, право,
Коль не получит плод, дух испустить может!
На старика на этого взгляни, Кинна!
А гуся-то, о Мойры, мальчик как душит!
Не знай я, что стоит передо мной камень,
Подумала б, что гусь загоготать сможет!



Мальчик с гусем.
Римская мраморная
копия с бронзового
оригинала III в. до
н.э. Ватикан, музеи.

Наверняка со временем смогут люди
И в камни жизнь вливать... Ты посмотри, Кинна,
На статую Баталы, – знаешь, дочь Митта –
Так и плывёт она! Кто не видал девы,
На образ взглянет, и, поверь, с него хватит!

А вот картина в храме:

КОККАЛА:

Душа моя, Кинна,
Какие чудеса! Наверно, ты скажешь,
Что это всё – второй Афины рук дело.
Привет владычице! Коль вон того тронуть
Нагого юношу – получит он ранку!
Не видишь ли, с какою теплотой, Кинна,
Трепещет на картине всё его тело?
Ухват серебряный! Сам Патекиск с Миллом,
Сыны Ламприона, не отвели б взора,
Решив, что вправду он из серебра сделан!
И бык, и поводырь, и женщина с ними,
И горбоносый муж, и тот, с кривым носом, –
Не правда ли, что жизнью все они дышат?

Похвалы дам не отличаются разнообразием: они восхищены искусностью мастеров, добившихся поразительного жизнеподобия. Это – то и есть одна из возможных и чрезвычайно распространенных *зрительских* реакций на произведения *изобразительного* искусства.

Однако в сценке, нарисованной Герондом, можно обнаружить скрытый план, подтверждающий рождение зрителя в мире искусства классической Греции. Важно не только то, чем восхищаются античные дамы – не менее показательным то, о чем они

молчат.

Центральное место в интерьере греческого храма занимала статуя бога, которому храм был посвящен. В храме Асклепия – на самом видном месте, напротив входа – непременно должна была стоять большая статуя самого бога врачевания, либо одна, либо в сопровождении статуи дочери бога Гигиен.¹ Стояли такие изваяния и в храме, о котором рассказывает Геронд.² Но дамы, посетившие храм ради принесения жертвы богу, о статуе бога не рассуждают вовсе. Это не значит, что они ее не видят. Видят. К ней, в сущности, обращается исцеленная в самом начале действия:

КИННА:

Привет тебе, Пэан-владыка, царь Трикки,
Обитель чья – и Эпидавр, и Кос милый!
И Корониде, матери, привет тоже,
И Аполлону, и Гигии, длань к коей
Тобой простёрта...

Пэан (т.е. Целитель) и есть Асклепий. Кинна обращается к статуе, как к самому богу – это длань статуи простерта к стоящей рядом статуе Гигии.

Но к этой статуе героиня относится не как зритель к произведению скульптурного искусства, рукотворному подобию бога, а как смертная, поклоняющаяся чему-то большему, нежели образ – месту присутствия бога.

Тут проходит пограничная черта: поклонение еще не угасло, а эстетическое созерцание уже родилось. Среди растущего множества культурных ролей появляется и начинает оформляться роль зрителя.

ФАС И ПРОФИЛЬ

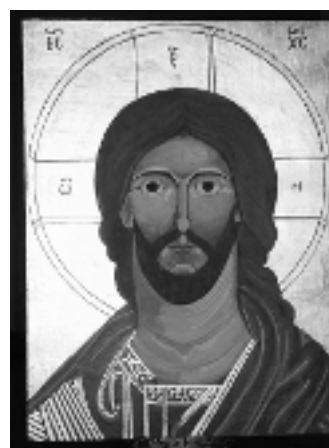
Сценка, изображенная Герондом, – прекрасное и отнюдь не единственное свидетельство появления зрителей в нашем, современном смысле слова (хочется даже сказать «массового зрителя») в классической Греции. Вскоре «умение быть зрителем» растеклось по всему средиземноморскому ареалу, было унаследовано и широко культивировано в Римской империи. Сказанное вовсе не означает, что эта культурная роль утвердилась раз и навсегда. История никогда не движется по прямой, предпочитая зигзаги, лабиринты, движения вспять, хождение по кругу. С каждым значительным поворотом перемещаются, меняются, обретают силу, слабеют, исчезают культурные полюсы, чьи поля ориентируют

¹ См., напр., описание храма Асклепия в Сикионе, сделанное Павсанием в I веке н.э. – Павсаний. Описание Эллады. II, 11, 6. (Павсаний. Описание Эллады. Т.1. М.: Ладомир, 2002, с. 132).

² И у Геронда дама Кинно велит подруге Коккале: Ты, Коккала, от Гигии поставь справа Дощечку с посвящением... Речь идет, разумеется, о статуе богини.

наше поведение, наши устремления, наши понимания, наше смотрение, наконец. Я попробую высветить некоторые критические точки.

Мы начали разговор с фаумских портретов. Пора заметить, что персонажи на этих досках изображены прямо в фас – всегда. Изображение в профиль или в три четверти там появиться не могло: доску с портретом фиксировали прямо на лице мумии и в некотором смысле вместо него: вечный живописный образ сохранял то, что обречено было исчезнуть ввиду эфемерности мертвой плоти. Принято считать, что фаумский портрет был дальним предком средневековой иконы. Предположение вполне правдоподобное, хотя и не поддающееся проверке. Сходство очевидно. Икона, если только она не изображает какое-либо событие, если она есть изображение лика святого, – такая икона представляет персонажа фронтально. Профильный фаумский портрет невозможен – он не соответствует функции. Но также невозможен иконный образ Христа в профиль. При этом следует помнить, что иконный образ считается портретом; предполагается, что всякий иконный образ восходит к некому оригиналу, написанному с натуры; в других случаях верный облик получается посредством отпечатка с лица, дается художнику чудесным образом, явлением, визитом во сне и т.д.; легенд этого рода сохранилось множество. Невзирая на разнообразие иконных обликов одного и того же святого, обусловленное разнообразием местных традиций, иконописных школ, уровнем мастерства иконописцев и прочими обстоятельствами, в глазах верующего, равно как и в глазах самого иконописца, иконный образ есть правдивый **портрет** священного персонажа. И персонаж этот представлен прямо в фас.



Христос Пантократор
Гейдельберг. Ц. Св. Иоанна.



Св. Николай. Икона из
монастыря
Св. Екатерины. XIII в.



Святитель Григорий Палама. XIV в. Москва. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Когда в искусстве раннего Возрождения появилась светская портретная живопись, художники поначалу словно бы избегали расположения модели в фас. Более того, в моду вошел чистый, идеально выдержанный профильный портрет.



Пизанелло. Портрет принцессы из дома Эсте. 1435-1440. Париж. Лувр.



Сандро Боттичелли. Портрет молодой женщины. 1480. Берлин. Государственные музеи.



Пьеро делла Франческа. Баттиста Сфорца и Федериги да Монтефельтро. 1455. Флоренция. Галерея Уффици.



Доменико Гирландайо. Джованна Альбицци Торнабуони. 1489-1490. Мадрид. Музей Тиссен-Борнемиса.

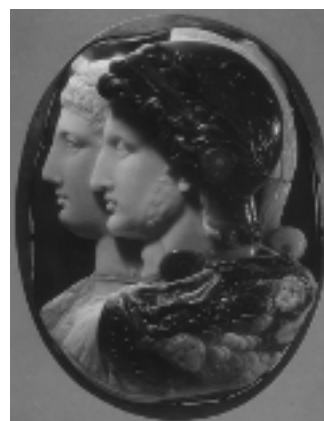


Фра Филиппо Липпи. Двойной портрет. 1440-1446. Нью Йорк. Музей Метрополитен.

Считается, что ренессансную идею профильного портрета художники Возрождения заимствовали у античных медалей, монет и резных камней, которые в то время стали предметом увлеченных поисков и страстного коллекционирования – это было наиболее доступное видимое послание из наново открытой античности.



Фракийская тетрадрахма с профилем обожествленного Александра Македонского. IV в. до н.э.



Камея Гонзага. III в. до н.э. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Гипотеза не вызывает сомнений, переключка очевидна. Но, как кажется, у этой взрывообразной смены фаса на профиль есть еще одна сторона: тем самым меняется место зрителя, или, если угодно,

зрителю указывается его место. Еще точнее – место зрителя определяется: зритель, ты *здесь*. А тот, портретируемый, – он *там*. **Вы располагаетесь в разных пространствах.**

Иконный образ, как только что было сказано, – тоже портрет: в пределах богословия иконы каждое изображение священного персонажа достоверно. Но икона такого четкого пространственного разделения не предусматривает. Обращенность святого непосредственно к тебе есть разрешение общения, призыв к общению. И ты, верующий, отзывается на него особыми, ритуализированными формами общения – поклонением и молитвой. Препграда между миром изображения и миром твоего пребывания если не вовсе снята, то во всяком случае проницаема, упразднена, забыта. Эта символическая общность пространства делает возможным духовное единение.

Но властитель Монтефельтро или флорентинская знатная дама на ренессансном портрете ничего о тебе, смотрящем на них, не знают. Они – за прозрачной, но непроницаемой препградой, в другом мире, мире оптической иллюзии. Они позволяют себя рассматривать, они даже этого хотят. Но обращаться к ним с молитвой невозможно.

Зритель, знай свое место.

ДАЙДЖЕСТ

Если захотеть – для наглядности – выпрямить кривые, петляющие, тупиковые, зигзагообразные, ветвящиеся и снова сливающиеся тропы истории, дело можно было бы представить в виде некоторого порядка. Или, иначе сказать – в виде саги о рождении зрителя.

Большие пласты *первобытной живописи* – во всяком случае т. наз. пещерная живопись верхнего палеолита – никакого «места зрителя» не предусматривали вовсе, ибо не предусмотрен сам зритель. Какую бы разумную (я вынужден подчеркнуть – *разумную*) гипотезу относительно назначения этих росписей мы бы не приняли, найти место для созерцающего эти росписи кроманьонского человека будет невозможно. Такого места просто нет.

На первый взгляд кажется, что знаменитые заупокойные росписи в гробницах *древних цивилизаций* в этом отношении подобны палеолитической пещере. В замурованных навеки пространствах гробниц не должно быть праздных посетителей, разглядывающих росписи на стенах. Там происходят события высшего порядка, события сакральные, тайные, там мир живых встречается с вечностью и перетекает в нее. Тем не менее, если присмотреться к назначению этих росписей и скульптур попристальней, окажется, что зрительское место зарождается.

Наиболее полные и пышные формы заупокойного культа были выработаны в Древнем Египте, где короткая земная жизнь, подобие быстролетного сна, была в значительной части посвящена подготовке к вечному посмертному

существованию. Там, где заупокойные верования и ритуалы наиболее развиты, многое лучше видно.

Так вот, в древнеегипетских заупокойных практиках, связанных с обильным украшением гробниц, идея возможного зрителя получает первые очертания. Место, для него приготовленное, кажется парадоксальным, оно приготовлено для зрителя с нашей точки зрения мнимого. Попробуем, однако, отвлечься от точки зрения, от пониманий нашей культуры и настроиться на понимания древней культуры, породившей эти изображения. Тогда мы увидим, что место для виртуального зрителя приготовлено *внутри самой картины*, и зритель этот – *сам покойник*. Он тоже изображен в этих росписях и – к тому же – присутствует в ансамбле заупокойных образов в виде портрета – скульптурного или, позже, как в Фаюме, живописного. Будучи изображенным объектом, он в то же время присутствует там, во мраке заупокойных комнат, в качестве созерцающего субъекта. Входить в детали представлений древних египтян о загробной жизни и о способах участия в ней персоны умершего сейчас невозможно: они сложны, запутаны и, к тому же, менялись со временем. Я сошлюсь на слова одного из крупнейших современных египтологов, немецкого ученого Яна Ассманна:

*«Со своей гробницей египтянин создает место, где он бы мог оглянуться на свою жизнь в перспективе ее окончания, место самонаблюдения и самотематизации. Он смотрит на свою гробницу как на зеркало, сохраняющее идеальную форму и окончательный образ, какие он хотел бы придать своей жизни, форму, в которой он хотел бы, чтобы его запомнили навеки».*¹ Я бы подчеркнул, что в той сложной, магически поддерживаемой жизни, которую ведет этот человек после смерти, самотематизация и самонаблюдение могут продолжаться как некий бесконечный и непрерывный процесс. Именно он, он сам – в своих посмертных продолжениях – остается единственным созерцателем заупокойного комплекса росписей и скульптур. Такое по замыслу бесконечное сокрытое созерцание будет длиться десятки веков – пока не явятся грабители или археологи и не разрушат этот клубок веры, тайны, магии, самонаблюдения, самооправдания и самовозвеличения, превратив его в памятник в рамках культурного канона и, заодно, в материальную ценность. Тайное единство будет развалено, магические связи исчезнут – и то, что останется, будет выставлено на профаническое разглядывание будущим зрителям.

Исходная же ситуация такова, что *зритель оказывается внутри произведения* – будучи лишь зародышем возможной культурной роли, он *раздваивается: оставаясь изображенным, он в то же время становится смотрящим*.

Следующая логическая ситуация – это *ситуация молящегося перед иконой*, о которой выше была речь. Это очередной шаг в истории разделения смотрящего и

¹ Jan Assmann. The Mind of Egypt. History and Meaning in the Time of the Pharaohs. New York: Metropolitan Books, 2002. P.70.



Стенная роспись гробницы Мериба. Ок. 2450 г. Из Гизы. Ныне – Египетский музей, Берлин.

видимого: смотрящий – назовем его «протозрителем» – ни в каком отношении более не тождествен персонажу, но и не отделен от него. Иконное пространство и пространство зрителя-верующего-молящегося взаимно разомкнуты и составляют единое поле духовного общения. Сложившаяся еще в первом тысячелетии христианства концепция иконного образа предусматривает свободную трансляцию духовных энергий: поклонение через образ переходит на первообраз, небесная благодать нисходит на молящегося.

То, что в сублимированном богословии иконы возвышено до мистического общения, в народном воображении нередко материализуется. Таковы наивные средневековые легенды об оживающих изображениях Богородицы: о том, как из груди изображенной на иконе Богородицы забила струя молока и подкрепила силы утомленного молитвой (или укрепила веру истомленного сомнением) святого, или о том, как



Алонсо Кано.
Видение
св. Бернарда.
1650. Мадрид.
Прадо.

Богородица сошла с изображения и отерла пот со лба жонглера, который долго славил ее своим жонглерским умением, ибо ничего другого не умел...

Эти способы общения персонажа картины и

человека вне картины были отвергнуты – в европейской традиции – когда мастера Ренессанса в XV веке изобрели автономное картинное пространство. Правда, у них был древний образец, почти забытый и наново открытый – этим образцом стала ситуация, впервые сложившаяся в античной культуре. Но художники Ренессанса наделили забытую традицию новой жизнью. В результате «человек смотрящий» оказался по сю сторону прозрачной мембраны, совпадающей с картинной плоскостью, в своем пространстве, «здесь», тогда как мир картины – за нею, в другом пространстве, «там». Так этот смотрящий человек вполне образовался в своем основном качестве смотрящего. *Окончательно обособившись, он стал зрителем.*

Тут его ждали новые метаморфозы.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Апраксина Татьяна творческую жизнь начинала в среде неофициальной рок-культуры 70-х, занимаясь графикой и киноплакатом. Позже получила известность как художник, профессионально связанный со сферой классической музыки. Многолетнее тесное взаимодействие с музыкальными коллективами и солистами Петербурга, Москвы, европейских стран и США нашло отражение в многочисленных выставках, публикациях и лекциях о живописи, музыке и философии творчества — дома и за рубежом. Первое турне по США с картинами и циклом лекций в 89-90 гг. финансировалось Фондом Сороса. Второе образование (синолога) получала в Восточном институте С.-Петербурга.

Прозаические и поэтические произведения публиковались в оригинале и в переводах в России, Германии, Израиле, США.

С 1995 года — главный редактор российско-американского междисциплинарного журнала «Апраксин блюз».

Арис Сол (Шауль Всеволод Волков), известный по публикациям в Интернете как «Сол», пользуется этим псевдонимом с 1990-х. Живет в городе Яффо, Израиль.

У Сола разнообразный жизненный опыт, который позволяет ему заниматься исследованиями в разных областях знаний. Он родился в Украине, вырос в США, закончил университет в Израиле и много лет работал адвокатом, а затем программистом. Одновременно, начиная с 1980-х, выступал как рок-гитарист и певец, а также участвовал в спектаклях и комедийных шоу; для некоторых из них придумал костюмы. В первые годы после университета участвовал в общественной жизни страны. Служил в армиях США и Израиля.

С 2005 года Сол занимается исследовательской и писательской деятельностью, главным образом в области альтернативной истории; он пишет на английском языке. Вначале в течение нескольких лет вел в Интернете две философские группы и публиковал свои статьи на сетевых форумах. Затем его статьи стали публиковаться в

американских журналах «Atlantis Rising» и «UFO Digest».

Сол Арис — автор книг *Holistic Detection in The Collective Subconscious (Essays on Alternative Thinking)* и *The Reston Capar*, изданных в Соединенных Штатах.

Арнаутов Виктор Степанович (р.1951) родился в селе Пудино Томской области в семье спецпереселенцев.

Окончил Кемеровский институт культуры и аспирантуру Ленинградского института культуры им. Н.К. Крупской. После окончания института работал на кафедре Научно-технической информации.

С 1996 года занялся литературной деятельностью. В 2001 году был принят в Союз писателей России. Написал десятки рассказов, эссе, повестей и стихов.

Издано 7 книг: «Вариации на тему «Вокруг рыбалки» (Новосибирск, 1999 г.), «Кольцом едины» (Новосибирск, 2000 г.), «От Ленинграда до Курил» (Кемерово, 2001 г.), «Где Чузик мой коричнево змеится...» (Кемерово, 2002 г.), «На рифах памяти...» (Кемерово, 2004 г.), «Деревья обрастают мхами с северной стороны» (Кемерово, 2007 г.), поэтический сборник «Клад вдохновений» (Кемерово, 2007 г.). Явился инициатором и автором коллективного сборника стихов и прозы писателей-выпускников библиотечного факультета КГИК — «След от полёта» (Кемерово, 2004 г.)

Бернштейн Борис Моисеевич (р. 1924) — доктор искусствоведения, профессор-эмеритус Академии Художеств Эстонии. Книги, статьи и альбомы по истории русского, эстонского искусства и по всеобщей истории искусства, а также по теории искусства и методологии искусствознания опубликованы на русском, эстонском, английском, немецком, польском, испанском, венгерском, словацком, латышском, литовском и др. языках.

Бертин Лев — инженер, поэт и журналист. Автор нескольких сборников стихотворений и многих публикаций в изданиях США, Израиля, Белоруссии,

Канады, а также на литературных сайтах в Интернете. В настоящее время занимается книжным бизнесом. Живёт в Атланте, США.

Голубовский Михаил Давидович (р.1939) – генетик, историк науки, эссеист. Окончил кафедру генетики Ленинградского университета. С 1963 по 1988 работал в Новосибирском Академгородке в области генетики популяций, мутационного процесса и теории эволюции, затем в Санкт-Петербурге в Институте истории естествознания и техники РАН. Доктор биологических наук, автор более двухсот работ, в их числе книга «Век генетики: эволюция идей и понятий» (2000). В 2002 г. награжден Дипломом журнала «Звезда» за статью «Библия и Ген». Работал во Франции, Австралии, различных университетах США; в последние годы аффилирован в университете Калифорнии, Беркли. Увлекается словесными играми: анаграммами, лимериками, палиндромами. Некоторые из палиндромов М. Голубовского вошли в российскую антологию палиндромов. Публикации в журналах «Природа», «Звезда», «Нева» (С.-Петербург), «Вестник» (Балтимор), альманахе «Средний Запад» (Сент-Луис), «Мосты» (Германия). Проживает в г. Беркли, Калифорния.

Дашевский Валерий в двадцать три года дебютировал в журнале «Юность» рассказом «Инцидент», затем издал первую книгу в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 100 000 экз. За отказ сотрудничать с КГБ в Харькове не был принят в СП СССР. Окончил Литературный институт (1986). Повесть «Чистая вода» была переиздана в сборнике «Поколение. Повести и рассказы молодых русских советских писателей». Рассказы «Инцидент» и «Долгий год» экранизированы на Мосфильме. Фильм «Папа» вышел в прокат «первым» экраном.

Был заграничным представителем АПН на Украине, Генеральным менеджером РТВ-Пресс РФ, Генеральным менеджером медиа-проектов Союза экспортеров энергии РФ, менеджером журнала «Огонёк». На Украине руководил проектом национального издания и тремя проектами, поддерживаемыми Всемирным Банком. Специалист Минфина РФ Первой категории по ценным бумагам и фондовому рынку.

Занимается продюсерской деятельностью (шоу-бизнес, масс-медиа), готовит несколько арт-проектов, среди которых интернет-журналы стиля жизни – Art и Fashion.

Зевелёв Александр (р.1958). Родился и жил в Москве. В 1983 году окончил экономический факультет МГУ. С 1991 года живёт в Сан-Франциско. Первую песню написал и исполнил в 16-летнем возрасте. Пишет песни на свои стихи, пробует себя в прозе, драматургии и публицистике. В мае 2000 года вышел

компакт-диск «Пятнадцатый этаж». В мае 2005 года записан второй компакт-диск «Жизнь напролёт». В 2007 году – финалист конкурса радио «Шансон» (Москва). В 2005 – 2008 годах работал ведущим на радио «Русский Голос» (Сан-Франциско). В октябре 1995 года основал в Сан-Франциско русскоязычную творческую «тусовку» ХЛАМС (художники, литераторы, актеры музыканты сопутствующие), существующую и по сей день.

Золотаревская Марина (р.1960). Пишет прозу и переводит с английского. Окончила Харьковский политехнический институт. Автор книги «Кто её зовёт?..» (2008, Сан-Франциско, иллюстрации Владимира Витковского), включающей прозу, стихи и перевод поэмы Д.Г. Байрона «Лара». В 2011 году издана книга «Переход», составленная из произведений Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Марина Золотаревская была постоянным автором, переводчиком и членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova», издававшегося в Калифорнии. Редактор литературного альманаха «Образы жизни». Публикации в журналах «День и ночь», «Радуга», «Новый берег», на литературном сайте «Интерлит». Живёт в Сан-Франциско.

Катишонок Елена родилась и жила в Риге, Латвия. Закончила филологический факультет Латвийского университета. Эмигрировала в 1991 году, живёт в Бостоне, США, преподаёт русский язык, занимается редакторской работой и переводами.

Елена Катишонок дебютировала сборником стихов «Блокнот» (2005). Спустя три года в соавторстве с Евгением Палагашвили выходит «Охота на фазана» — поразительный сплав мастерских фотографий со стихами, им созвучными. Второй поэтический сборник – «Порядок слов» – появился через год.

Многие читатели знают также и прозу Е. Катишонок: романы «Жили-были старик со старухой», «Против часовой стрелки» и «Когда уходит человек». Роману «Жили-были старик со старухой» в 2009 году присуждена Гоголевская премия. Почти одновременно имя автора оказалось в списке финалистов литературной премии «Русский букер». Теперь проза Е. Катишонок хорошо известна и российским читателям – все романы и сборник стихов «Порядок слов» изданы в Москве. В 2011 году за роман «Жили-были старик со старухой» Елене Катишонок присуждена премия «Ясная Поляна» им. Л.Н. Толстого.

Кини Диана (р.1988) родилась в Нью-Йорке. Русский язык начала изучать в школе. Получила степень бакалавра искусств в Бостоне. Несколько раз ездила в Россию учиться и работать волонтером. Теперь она живет в Манхэттене.

Работает соработником в Бронксе, изучает поэзию в Сити-Колледж в Гарлеме. Пишет стихи и переводит с русского на английский.

Кононова Анна родилась в Минске. Ребенком выступала на белорусском радио, в передаче «Пиянерская зорка» и радиоспектаклях. После окончания Минского радиотехнического института работала внештатным корреспондентом журнала «Рабочая смена». Автор книги стихов «Пляска женская», опубликованной в Минске, и коротких рассказов. Участница литературного объединения «Восхождение», созданного поэтессой Валерией Моргулис. Печаталась в журнале «Рабочая смена» и на русскоязычном международном литературном сайте «Интерлит». Живёт в Израиле, работает программистом.

Короткова Екатерина Васильевна – прозаик и переводчик. Дочь писателя Василия Гроссмана. Родилась в Киеве, где прошло почти всё её довоенное детство. После войны жила во Львове, где окончила школу; училась на славянском отделении Львовского университета, затем в Институте иностранных языков. Работала учительницей английского языка в шахтёрском поселке (по семейной традиции выбрала Донбасс), позже – в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Печатается с 1958 года. Переводила английских классиков – Твена, Диккенса, Эллиота, Теккерея, Честертона, Киплинга и других, а также мастеров современной английской прозы. Ей принадлежит первый перевод Агаты Кристи на русский язык. Автор романов и повестей в жанре исторической прозы, рассказов, мемуаров (в том числе воспоминаний об отце). Произведения Е. Коротковой опубликованы в России, на Украине, в Англии и США.

Кошкина Тина – участник литературной студии «Аллея» под руководством Михаила Стрельцова (Красноярск). Пишет и публикуется с семи лет. Участница конкурсов «Король Поэтов» 2006-2010 (Красноярск), «Естественный отбор» (Кемерово), «Снежная Королева» (Красноярск), «Мама, папа, я – читающая семья» (Минусинск).

Принимала участие во Всероссийском семинаре молодых литераторов под руководством Риммы Казаковой «Очарованные словом» (2006г.) и печаталась в одноименном сборнике.

Тина Кошкина – автор книг «Ангел -Хранитель», 2004, Из-во *Амальгама*, КГПУ;

«Я – Кошка», 2006. *Кузичкин*, Красноярск;

«Генератор Крыльев». 2009 *Амальгама*, КГПУ Красноярск.

Кузнечихин Сергей Данилович (р.1946). Родился в посёлке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт. Работал инженером в городе Свирске Иркутской области; сторожем в Красноярске. Печатается как поэт с 1977-го года. Автор книг стихов «Жесткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулевая бочка». Постоянный автор и член редколлегии журнала «День и ночь». Член СП СССР (1991). Живет в Красноярске.

Курляндчик Галина (р.1949). Родилась в Крыму, выросла в Приморье, окончила факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. Более 20 лет проработала в научной библиотеке по программированию в Новосибирском Академгородке. Живёт в городе Санта Клара, Калифорния и Москве.

Организовала и пополняет сайты: «Живопись иглой» (www.svetart.ru), «Чудеса рукотворные» (www.chudosite.ru) и «Летопись моей семьи» (www.mychronicle.ru). galina.kurlyandchik@gmail.com

Маркова Лина. В Советском Союзе Лина Маркова была диссиденткой, активисткой движения за эмиграцию в Израиль. Она путешествовала по стране, собирая подписи под петициями, обращёнными к правительству СССР. Эти подписи, а также информацию об арестах единомышленников Лина Маркова передавала иностранным СМИ. Агенты КГБ, которые следовали за ней всюду, предупреждали Лину, что она может очутиться не на Ближнем Востоке, а на Дальнем (в Сибири). Она была одной из первых четырех советских граждан, которые подали заявление в Верховный Совет СССР об отказе от советского гражданства. В марте 1971 года Лина эмигрировала в Израиль, а с 1974 года живет в Америке. Л. Маркова участвовала в нескольких поездках к местам библейского и мифического прошлого Земли, возглавляемых ученым-библеистом Захарией Сичиным. Многие годы работала в компании «Интел», одной из ведущих компьютерных компаний Силиконовой Долины. Являлась членом редколлегии и автором русскоязычного журнала «Terra Nova». Живёт в Маунтен-Вью, Калифорния.

Мачулин Леонид Иванович Член Национального союза журналистов Украины (1985), член Союза писателей России (2007). Автор книг по истории Харькова и Слобожанского края: «Основание Харькова», «Улицы и площади Харькова», «История тюремного Харькова», «Негосударственные СМИ Харькова. 1990-2000 гг.», «Клады в Харьковской губернии», «Украинская столица для Красного императора», «Тайны подземного Харькова», «Kharkiv

visitor's guide» (соавтор), «Краеведы Харьковщины» (соавтор).

Член Общественного совета по охране культурного наследия при управлении культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации (с 2006).

Директор издательства «Харьковская старина» (с 2002).

Редактор литературно-художественного журнала «Славянин» (с 2009).

Один из первых медийных топ-менеджеров Харькова. В начале 1990-х принимал участие в создании первого в СССР негосударственного эфирного телеканала, в 1991 был его главным редактором. Издавал первую на Левобережье Украины частную литературную газету «Мастер» (1991-1996) и журнал (1995). Открыл первую на Левобережье Украины частную радиостанцию в FM-диапазоне (1993-2001).

Окончил Харьковский государственный университет им. А.М.Горького (филологический факультет, 1987), аспирантуру философского факультета Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина (2004).

Мельникова-Рэйч Соня родилась в Москве, где закончила художественную школу при Академии художеств и Московский Архитектурный институт. Эмигрировала в США в 1987 г. после десятилетнего «отказничества». всю жизнь так или иначе была связана с искусством: проектировала здания, оформляла интерьеры, курировала выставки русских художников-«нонконформистов», занималась живописью, позднее увлеклась фотографией. Ее работы нередко больше напоминают живопись, чем фотографии. У Сони было несколько персональных выставок; за последние годы она была в числе финалистов более чем пятидесяти местных, всеамериканских и международных конкурсных выставок.

Мельницкая Инна Владимировна – поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парاپете» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью ASS.NAZ. ALPINI, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата

конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной дилогии, – международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» – юбилейная премия журнала «Радуга».

Мелодьев Мартин Михайлович (р. 1953). Родился в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 года живет в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор книг стихотворений: «Сочетания» (Новосибирск, 1991), «Шлюз» (изд-во Hermitage, Нью-Джерси, 1998) и «Цветной проезд» (Новосибирск, 2000). Публикации в газетах и ежегодниках США: «Альманах Поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке». В России публиковался в сборниках «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), «География слова» (Москва, 2000), «СП: Поэзия новой волны» (Новосибирск, 1993), «К востоку от Солнца» (Новосибирск, 1999-2007), «Петербургский литератор» (СПб, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001). Страница в интернете www.mmelodyev.narod.ru

Мурзин Дмитрий Владимирович (р.1971). Поэт, выпускник литинститута им. Горького (семинар Игоря Волгина). Автор книг «Ангелопад» (1997), «Белое тело стиха» (1998), «Клиническая жизнь» (2010). Публикации в журналах «Москва», «Наш современник», «Дети Ра», «День и ночь». Ответственный секретарь журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Член редколлегии журнала «День и ночь».

Мурсалимова Нурия (р.1956). Родилась во Львове, на Украине. Довелось жить в ГДР, Литве, Белоруссии. Окончила историко-филологический факультет Казанского университета по специальности «Русский язык и литература». Переехав в Минск, работала корреспондентом в отделе культуры в газете «Знамя юности», редактором заводского радиовещания, инженером по научно-технической информации, библиотекарем. Одновременно работала по контракту в детском журнале «Кваждыква». Переехав в 1993 году в Казань, устроилась в Центральную городскую библиотеку, где работает и сейчас завсектором литературы на иностранных языках. Сотрудничала с детским журналом «Зонтик» (Казань). В 1993 году в Минске в издательстве «Красико» вышла книжка сказок Нурии Мурсалимовой «Раскраски-сказки-пресказки».

Евгений Палагашвили – иржанин.

Фотографировать начал с детства. Окончил физмат Латвийского университета.

В 1988 году эмигрировал в США; жил в Бостоне. Здесь в 1999 году прошла выставка его фотографий.

«Охота на фазана» – альбом, где представлены фотографии Евгения и стихи Елены Катишонок; оба авторских почерка образуют удивительно стройное, гармоничное сочетание.

Евгений Палагашвили скончался 9 января 2012 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Перцова Мария родилась и выросла в Баку. С 1990 года живет в США, в маленьком городке Кемпбелл, неподалеку от Сан Франциско. По образованию – физик, по наклонностям – ...

Вместе с Жанной Шпиц (музыка и исполнение) стала автором песенного альбома «Понятные и странные». В 2008 году вышла книга стихов Марии Перцовой «По другую сторону обмана».

Станюта Александр Александрович – профессор, писатель, журналист. Преподавал русскую классическую литературу в Белорусском государственном университете. Исследователь творчества Ф.М. Достоевского. Автор книг «Стефания», посвященной жизни и творчеству замечательной белорусской актрисы Стефании Станюты, матери писателя; «Городские сны», включающей роман и рассказы. Готовится к изданию книга «Сцены из минской жизни», куда войдут роман, повесть, рассказы, очерки, интервью.

Трегуб Александр. Учился (инженер-электронщик) и защитился (кандидат химических наук) в Киеве; эмигрировал с семьей в Израиль, работал в Иерусалимском университете и на Гумбольдтовской стипендии в Германии, затем переехал в Америку, где работал в университете Теннесси, в Калифорнийском университете Сан Диего и в Стэнфордском университете. Последние десять лет работает в компании «Интел» в Северной Калифорнии.

Трегуб Инна родилась в Киеве. Училась на химическом факультете Киевского университета, защитила кандидатскую диссертацию. В 1990 году эмигрировала в Израиль, там поступила в постдокторантуру в Институт Вейцмана. Впоследствии работала в университетах в Англии, Германии и США. С 2004 г. работает в Силиконовой Долине в High Tech индустрии. В 2007-2008 годах получила еще одно образование – Life Coach, и эта профессия стала важной частью ее жизни. В качестве хобби организует вечера-встречи бывших

соотечественников – «Салон». Писать начала в 2007 для журнала «На здоровье» как Life Coach. («Русские дети», «Саботажница и будущая я» и др.).

Федосеев Алексей родился в Москве, в доме на набережной.

После окончания аспирантуры МГУ вместо защиты диссертации создал компьютерную компанию и начал на собственном примере, с переменным успехом, изучать реалии перехода от социалистической экономики к экономике рыночной. После переезда в Калифорнию в 1996 году работал в нескольких технологических стартапах, на этот раз изучая и испытывая на себе, тоже с переменным успехом, систему капиталистическую, в экстремальных вариантах Силиконовой долины.

Параллельно продвигал русские культурные проекты, издавая журнал TERRA NOVA и организовав одноименный клуб, ставший местом выступления многих известных и просто интересных людей. При этом писал технические и литературные статьи для разных изданий, интервьюировал гостей и участников TERRA NOVA. Как это всё удавалось делать, не может объяснить до сих пор.

Основные сферы интересов: русская культура, особенно в контексте мировой, и всё, что происходит на стыке технической и гуманитарной мысли; в частности, влияние открытых информационных систем на развитие общества. С 2009 года ведёт блог на сайте "Сноб" <http://www.snob.ru/profile/7003/blog>

Ходос Алла (р.1958). Родилась в Минске. Окончила филфак Белорусского государственного университета. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в Райсобе-се, социологом на заводе, учителем в школе. Живёт в Америке с 1994 года. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» (Сан-Франциско) и в школе. Автор книг стихов и прозы: «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой». В книге «Переход» собраны прозаические произведения Марины Золотревской и Аллы Ходос. Публиковалась в журналах и альманахах «День и ночь», «Тегга Nova», «Зеркало», «Панорама», «Вестник», «Побережье», на сайтах «Интерлит» и «Другие берега». Редактор литературного альманаха «Образы жизни». Живёт в Сан-Леандро, Калифорния.

Цуркан Елена родилась в 1990 г. в Одессе. С 1993 живёт в США. Окончила университет Беркли, получив двойную специальность: «communication» и «русский язык и литература». Во время учёбы увлеклась журналистикой и художественными переводами. Опубликовала ряд статей и очерков в газете *Pacific Tribuna*, была основателем и главным редактором студенческого журнала *The Academician Times*. Во время последних президентских выборов в США готовила

репортажи, освещающие общественное мнение, для передач радиостанции БиБиСи. Перевела с русского языка на английский книгу «Страницы памяти» Клары Кармель – автора, пережившего Холокост.

Черкасская Рита родилась в Виннице (Украина). Закончила Винницкий политехнический институт. В 1992 году эмигрировала с семьёй в Америку. 10 лет жила в Вирджинии. В 2003 году переехала в Калифорнию. Работает в Пало Алто, в компании по разработке и производству медицинских лазеров. Пишет стихи и короткие рассказы.

Шрайбер Виталий родился в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) Государственного университета. Много лет работал на физическом факультете и в НИИ Физики университета. Доктор физико-математических наук. В качестве приглашенного исследователя работал в университетах Польши и Германии. С 2004 года живет в Калифорнии. Работает в одной из компаний Силиконовой долины.

* * *

Читатель может заметить, что мы не публикуем сведений о четырех авторах: **Байрон Джордж Гордон, Воннегут Курт, Енькин Тихон и Рыскин Кирилл**. Что касается двух первых, причина очевидна. Двое вторых, независимо друг от друга, попросили редакцию никаких сведений о них не публиковать. В подобных случаях мы идём автору навстречу – при условии, что он сообщает эти сведения самой редакции.

* * *

Редакция, как правило, не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, однако иногда публикуются. В последнем случае редакция в переписку вступает.

* * *

Контакты:

E-mail: obrazyzhizni@yahoo.com

Website: www.obrazyzhizni.com

Стоимость номера, включая пересылку, 25 долларов. Заказать альманах можно по электронной почте: obrazyzhizni@yahoo.com